

РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

КНИГА VI

МОСКВА.

1908.

68

89

△
P slav 605.10
✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE
ARCHIBALD CARY COOLIDGE FUND
MAR 26 1934



Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., соб. д.
Москва—1908.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
I. ГРАЖДАНИНЪ УБЛЕЙБИНЪ. Повѣсть.—Ив. Шмелева. <i>Окончаніе</i>	1
II. СТИХОТВОРЕНІЯ.—Л. М. Василевскаго	43
III. ДѢТИ. Наброски къ роману.—Н. А. Крашенинникова.	45
IV. КОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ. Романъ изъ театральнаго міра. Днатоля Франса.—Перев. Ал. Чеботаревской. <i>Окончаніе</i>	93
V. СТИХОТВОРЕНІЕ.—А. М. Федорова	129
VI. НЕВѢСТА И ЖЕНА.—В. Д. Андріевскаго	130
VII. СТИХОТВОРЕНІЕ.—Льва Круповецкаго.	140
VIII. ШУТКИ ЖИЗНИ. Разсказъ Граціи Деледа.—Перев. съ итальянс. М. Ратнискон	141
IX. СТИХОТВОРЕНІЕ.—Р. Забѣжинскаго	166
X. LA MOUSNE. Романъ на смертномъ одрѣ (Изъ жизни Гейне). Акселя Лундсгорда.—Перев. со шведск. М. П. Благовѣщенской	167
XI. ВЕРБА.—Алексѣя Ремизова	191
XII. БАЗНЬ ЯБОВА СТЕБЛЯНСКАГО.—Владимира Анучина	1
XIII. БАНТЪ И ГѢТЕ. Георга Зиммеля.—Перев. съ нѣм. С. Л. Франка.	41
XIV. ВОПРОСЫ ПЕРЕСЕЛЕНІЯ. I. Переселеніе и колонизація.—А. А. Науфмана. II. Замѣтки по переселенческому вопросу.—Вл. Виногорадова.	68
XV. ПИСЬМА ИЗЪ ПОЛЬШИ.—А. Л. Погодина	89

	<i>Стр.</i>
XVI. ПОЪЗДКА ВЪ ЕГИПЕТЪ.—М. И. Ростовцева.	107
XVII. ИЗЪ МОИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ. Очерки.—М. П. Щепнина. .	128
XVIII. ФИЛОСОФІЯ ПОЛОВЪ ОТТО ВЕЙНИНГЕРА.—Г. Ш.	147
XIX. СВОБОДА ЛИЧНОСТИ ВЪ УГОЛОВНОМЪ ПРОЦЕССЪ. (<i>П. И. Люблинскій</i> : «Свобода личности въ уголовномъ процессѣ.— Мѣры, обезпечивающія неуклоненіе обвиняемаго отъ правосудія».)—М. П. Чубинскаго	159
XX. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЖИЗНЬ.—В. Н. Линда. ,	169
✓ XXI. БОЛЬШЕВИСТСКІЕ «ДУРАЧКИ» И УМНИКИ.—А. С. Изгоева.	175
XXII. ПАМЯТИ А. А. БАКУНИНА И П. А. БОРСАКОВА.—Петра Струве	202
XXIII. БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ. I. Книги: Беллетристика.— Исторія.—Соціологія, правовѣдѣніе.— Политическая экономія.—Философія.—Публицистика.—II. Списокъ книгъ, поступившихъ въ редакцію журнала «Русская Мысль» съ 1 мая по 1 іюня 1908 г.	119
XXIV. ОБЪЯВЛЕНІЯ.	1

Для личныхъ переговоровъ, приѣма и выдачи рукописей редакція «Русской Мысли» въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюнь, іюль, августъ) открыта только по средамъ отъ 1—3 час. дня.

Непринятія редакціей рукописи хранятся въ теченіе 6 мѣсяцевъ со дня отправки извѣщенія автору, а по истеченіи этого срока уничтожаются.

ГРАЖДАНИНЪ УКЛЕЙКИНЪ *).

Повѣсть.

XV.

Въ тишинѣ комнатки, сидя передъ лампочкой, Уклейкинъ ощутилъ тоскливое одиночество. Оно подобралось на снѣгну яркаго, шумнаго зала, толпы, освѣщеннаго мѣсяцемъ неба и снѣга, выползло изъ желтаго попискивающего огонька лампочки, изъ грязныхъ стѣнъ и тишины.

Скучная тишина глядѣла изъ угловъ. Глядѣла и молчала. На кровати разметалась Матрена, и ея бѣлая, полная нога неподвижно, какъ мертвая, торчала изъ-подъ одѣяла вмѣстѣ съ краемъ розовой рубахи. Беззвучно спалъ Мишка на лавкѣ, показывая грязныя пятки и стриженный затылокъ. Переливающимся монотонный храпъ жильца вливался въ тишину, нагоняя сонъ.

«И съ чего это усталъ я такъ...—думалъ Уклейкинъ, прислушиваясь къ писку лампочки.—И не работалъ вечеръ, а усталъ... Гм...»

Онъ взялъ луковку, мокнулъ въ солонку и сталъ грызть. А глаза смотрѣли въ уголъ, черезъ уголъ, куда-то. Такъ онъ сидѣлъ и хрустѣлъ луковой. Не замѣчая, онъ нѣсколько разъ съ силой вздохнулъ. Потомъ сталъ хлебать квась, сочно пережевывая хлѣбъ и смотрѣлъ въ уголъ. Ходики простучали и напомнили, что пора спать.

Онъ прошелся по мастерской, чтобы обойтись, сбросить съ себя что-то непривычное, связывающее. Но сбросить не удавалось. Въ головѣ была тяжесть, громадный комъ спутанныхъ мыслей. Кто-то вдвинулъ ихъ туда, и онѣ катаются тамъ и путаются.

Вспомнился Балкинъ, и какъ его прогнали. Прогнали и приста-

*) *Русская Мысль*, кн. V, 1908 г.

ва. Да, все какъ-то чудно было, шиворотъ - навыворотъ. Брехали сверху—«вонъ полицію»—и полиція скрылась. А когда говорилъ тотъ, въ пальтишкѣ, неизвѣстно кто, одобряли. Да, тамъ было все по-другому, и никто никого не боялся. А вотъ что завтра будетъ?... Что сдѣлаетъ прокуроръ, приставъ?...

Завтра опять на липку, бѣгать по заказчикамъ. Позоветь Балкинъ, и придется стоять въ кухнѣ, ждать и кланяться. Чудно... А если парикмахеръ позоветъ?...

Да, тамъ все было сообща, дружно, оттого и не страшно было. Въ засліе вошли.

Проснулась Матрена и увидала огонь.

— Барасинъ-то чево жжешь!... Митрій!... Тебѣ говорятъ...

— А?...

— А-а!... Чево глаза-то пучишь?... А-ахъ... на стирку итить скоро...

«Ахъ ты... Скрипучи-то и не починилъ...»

— Чинить стану...

Онъ подвязалъ грязный фартукъ и, не переставая думать, сталъ работать. И подъ стукъ молоточка проходили въ памяти обрывки рѣчей, лица, выкрики. И вдвинутый въ голову клубокъ такъ и не могъ распутаться.

Что теперь будетъ?... Обязательно новая жизнь откроется. За чѣмъ же и собраніе было, если ничего не будетъ... И подъ стукъ молоточка онъ прикидывалъ въ умѣ, какъ все будетъ.

Уже дешевѣетъ сахаръ, чай, керосинъ, хлѣбъ, говядина. Потомъ... Ну, тогда многое будетъ, чтобы всѣмъ было хорошо.

«Ужъ на точку поставятъ...»

И не видать было раньше хорошихъ-то людей, а на собраніи-то и оказались...

И чѣмъ больше вспоминалъ Уклейкинъ про собраніе, тѣмъ яснѣе отлагался въ душѣ слѣдъ чего-то большого и радостнаго.

Мишутка завозился, и одѣяло упало на полъ. Уклейкинъ всталъ и закрылъ, а когда закрывалъ, Мишутка проснулся. И, должно быть, еще до сна была у него какая-то мысль, потому что онъ сейчасъ же вытащилъ изъ-подъ подушки синій пакетикъ и сказалъ:

— Папанька, а я тебѣ пряничка сберегъ...

— А-а... Ну, спи, братъ Мишутка... ладно...

— Мнѣ Палъ Сидорычъ цѣлый пяточокъ далъ!...

— А-а... Ишь ты...

— Онъ двѣ бутылки пива купилъ...

— Ну, ладно, ладно... спи...

Но Мишутка не сказалъ, что ему наказали купить пряники непременно у Яшкина, куда пришлось бѣжать черезъ весь городъ. Не сказалъ и о томъ, какъ долго не отпирали ему дверь.

«Вотъ душевный-то человѣкъ...—думалъ Уклекинъ, засовывая пакетики Мишуткѣ подъ голову.—Прямо образованный человѣкъ».

И не было никакого подозрѣнія, потому что въ головѣ все еще продолжалъ шевелиться и путаться клубъ мыслей и образовъ, а на сердцѣ было свѣтло.

Онъ окончилъ починку и пошелъ помыть руки, — и спать.

А утромъ Синица хлопалъ Уклекина по плечу и спрашивалъ:

— Ну, какъ? понравилось?

— Ну, вотъ... еще бы... То-ись такое было!...

— Завтра опять пойдешь?...

— Обязательно.

— Теперь тебѣ разъ отъ разу понятнѣй будетъ.

— Это ты правильно... Только вотъ никакъ столковаться не могутъ... Каждый все по-своему... Но видать, что всѣ по-новому хотятъ...

А наборщикъ хлопалъ Уклекина по плечу и ободрялъ:

— Перемелется, братъ, мука будетъ...

XVI.

На выборахъ спорили двѣ партіи, и Уклекинъ уже зналъ, за кого подавать голосъ. Ужъ, конечно, не за Балкина и не за городского голову.

Городской голова, во-первыхъ, ни слова не сказалъ на собраніяхъ, а сидѣлъ въ первомъ ряду въ бобровой шинели въ накидку и только потиралъ лысину; во-вторыхъ, —человѣкъ богатый и вообще «прохвость», черносотенецъ и «шпана».

Балкинъ хоть и рѣзко говорилъ, но тоже черносотенецъ и выслушивается въ прокуроры, какъ смѣялись на галеркѣ.

Нужно было выбирать «вѣрныхъ» людей, а такіе были. Кто-то подобралъ и напечаталъ на бумажкахъ.

Во-первыхъ, —предсѣдатель собраній, слѣдователь, прогнавшій става; человѣкъ рѣшительный, и голосъ у него какъ труба. Во-вторыхъ, —лохматый адвокатъ, милѣйшій и понимающій парень, обѣщавшій всѣхъ поставить на точку.

«Ужъ этотъ отъ всѣхъ отгрызется, —разсуждалъ Уклекинъ. —чѣ попадетъ, пару нагонитъ».

Третьимъ стоялъ конторщикъ, парень разбитной, хорошо объяснявшій о трудѣ и про налоги. Былъ еще адвокатъ, такъ себѣ. Тотъ больше говорилъ про евреевъ и поляковъ, про какую-то «анатомію», вообще что-то непонятное. Лучше бы, если бы записали Васильева, паренька въ драповомъ пальтишкѣ, складно говорившаго про землю. Ну, ужъ разъ пропечатали, мѣнять не стоитъ, тѣмъ болѣе, что и лохматый адвокатъ тоже можетъ про землю сказать: на галеркѣ разсуждали, что онъ можетъ на все пойти и никому не удасть.

Уклеikinъ жалѣлъ, что не записали старичка, но успокоился, когда ему объяснили, что старичокъ «обязательно пройдетъ» гдѣ-то въ другомъ городѣ.

Къ народному дому, гдѣ происходили выборы, Уклеikinъ пришелъ рано, къ восьми утра, хотя въ объявленіи рекомендовалось ему явиться между 4 и 6 часами, въ порядкѣ нумеровъ. Но было трудно сидѣть дома и ждать въ такое горячее время. Вездѣ разговоры, афиши, да и день праздничный.

Билетъ съ кандидатами, тщательно завернутый въ газету, былъ запрятанъ въ боковой карманъ пиджака. Эта маленькая бумажка, лежавшая возлѣ сердца, подымала духъ и будила надежды. Вотъ онъ, Уклеikinъ, простой сапожникъ, а, оказывается, нуженъ для общаго дѣла, и эта бумажка пойдетъ изъ его кармана куда-то *туда*. Пробуждался азартъ: чья возьметъ.

Тѣ, другіе, которые за Балкина и вообще противъ него, Уклеикина, тоже расклеили афишки, суютъ свои бумажки и упрасиваютъ, а онъ идетъ противъ нихъ, противъ Балкина и городского головы, противъ всѣхъ. И никто ничего ему сдѣлать не можетъ.

Чья возьметъ? Ну, это ясно. Конечно тѣ, съ кѣмъ онъ, Уклеikinъ.

— Давай, давай... годится, — говорилъ Уклеikinъ, собирая въ карманъ бумажки «тѣхъ». — Обязательно за васъ...

А самъ думалъ: «Меньше останется».

— Вотъ годи, какъ наладимъ... Вдрызгъ полетите!...

— Кто?... Мы? — кричалъ шорникъ съ Золотой улицы. — Да насъ тутъ самая сила! Берите, православные!...

— Старайси, братъ, старайси... — явилъ Уклеikinъ. — Домъ выстроишь...

— У насъ есть... Вотъ которые безпартошные...

— И вдругъ напаяютъ!... Какъ бы домикъ-то не убѣгъ...

Образовались группы. Спорили. На площади, въ сторонѣ отъ полиціи, шло состязаніе. Уклеikinъ старался за своихъ.

— Мы за рабочій народъ, за права... за свободу! — кричалъ

онъ.—У кого брюхо толстое да дома въ три этажа, такихъ намъ не надо!

— Духу у васъ нѣтъ настоящаго... русскаго!—укоряль шорникъ.

— Вотъ поглядимъ, какой у васъ духъ, какъ выпустимъ! Ишь катить!... въ бобѣрахъ!...

Бъ подъѣзду подвятиль толстый кучеръ, и городской голова вошелъ въ домъ.

— Скушный...—не унимался Углейкинъ.—Ну, мы его выберемъ... Ну, давай, што ль, бумажку-то... Ну, вотъ мальчонкѣ мому на кораблики...

— Ха-ха-ха...

— У, обормоть, чортъ... Въ морду тебѣ...

— Дай, на... Раньше это меня всякій могъ въ морду-то слазить, а теперь погоди... Теперь избирательное право! Что?... Теперь тайное право... На-ка вотъ, узнай, за кого я!... На-ка!... Въ карманѣ вотъ у меня. Можетъ, я тебя написалъ? а?... Больно борода у тебя хороша... А можетъ, голову написалъ?! Домъ мнѣ его идравится...

— Ха-ха-ха... Во-острый, шуть...

— Кто это?

— Сапожникъ Углейкинъ... разговорилси... Ну-ка!

— Мотри, какъ бы ротъ-то не завязали!—грозилъ шорникъ.

— Завязокъ такихъ нѣтъ... Были, да семнадцатаго числа всѣ вышли...

— Сыщутся. Ты народъ-то не мутн!

— Чай, не вода... Да не плачь, не впишу...

— Э, дуракъ!...

— Самъ дуракъ! У дураковъ навсегда борода въ лопату... Весь мозухъ въ бороду убѣгъ.

— Ха-ха-ха... Зубастъ сапожникъ!...

— Будешь зубастъ, какъ мяконькова-то не дають...

— Пускать начали... Ну, Господи благослови...

Углейкинъ съ бьющимся сердцемъ направился къ стекляннымъ дверямъ народнаго дома.

— Ваша повѣстка?—спросилъ околоточный въ нитяныхъ перчаткахъ.—Та-акъ... Пожалуйте...

«Ага,—подумалъ Углейкинъ.—Вотъ ужъ и «пожалуйте»... А бывало...»

Въ залѣ театра, гдѣ еще такъ недавно было шумно и занятно, геперь царила жуткая, выжидающая тишина. Стоялъ столъ подъ зеленымъ сукномъ, за столомъ члены комиссiи съ серьезными лицами.

Горѣли лампы подѣ зелеными колпаками. Передъ столомъ высокій деревянный ящикъ, перевязанный бечевками, съ яркими пятнами сургучныхъ печатей. У ящика въ креслѣ плотная фигура городского головы въ бобровой шубѣ внакидку. Разлитая кругомъ въ темномъ театрѣ выжидающая тишина, тусклыми зеленыя пятна лампъ, молчаливая комиссія и самъ голова у ящика—придавали собранію видъ подозрительнаго, тайнаго засѣданія. Уклеикинъ почувствовалъ жуть и подвигался къ столу, стараясь не стучать сапогами.

Что-то важное вершилось въ тиши.

— Уклеикинъ, Димитрій Васильевичъ...—прочелъ голова повѣстку.

И, какъ эхо, въ пустомъ театрѣ отозвалось:

— Уклеикинъ, Димитрій Васильевичъ... Есть... № 4261.

— Такъ. № 4261... Позвольте...

Уклеикинъ хотѣлъ опустить самъ, но этого ему не дозволили, и на его глазахъ завѣтный листокъ окунулся въ ящикъ.

— Больше ничего-съ...—сказалъ городской голова.

Точно гора съ плечъ свалилась. Какое-то большое, важное дѣло сдѣлано и теперь не повернешь. Нѣчто похожее испытывалъ онъ, когда, бывало, отходилъ отъ причастія. И хотѣлось машинально перекреститься.

Онъ шелъ къ выходу, а навстрѣчу заглядывающей впередъ вереницей тянулись еще и еще, знакомые и незнакомые. Вотъ и самъ предсѣдатель собраній, Стрѣлковъ.

Уклеикинъ осклабился радостно, и тотъ вѣжливо приподнял шляпу.

Сказать ему развѣ, что за него? Но удержался, вспомнивъ, что выборы тайные. Эта тайна особенно нравилась ему. Никто ничего не знаетъ, ждетъ,—и вдругъ—пожалуйте!

«Нѣтъ, голова-то! Вы—говорить. Можетъ, думаетъ, что за него подалъ. Держи карманъ! И по отчеству... Митрій Васильичъ... Эхъ, Матрены нѣтъ!... Прониклась бы... А то все равно не повѣрить»...

— Чего толчешься тутъ!... Проходи... нечего тутъ!—крикнулъ окомочный, когда Уклеикинъ остановился на ступенькахъ крыльца.

Ему хотѣлось, чтобы его всѣ видѣли, что и онъ былъ въ комиссіи и подавалъ, и потому онъ стоялъ на ступенькахъ.

Окрикъ рѣзнулъ Уклеикина. Онъ даже явственно почувствовалъ, какъ рука окомочнаго коснулась его плеча. Острое, злое чувство дрогнуло въ немъ, онъ хотѣлъ отвѣтить, но только вызывающе взглянулъ въ безусое лицо, перевелъ глаза на перчатки и бабуру и отошелъ въ сторону, ворча подѣ носъ:

— Нечего толкаться... Я записку подавалъ... По-ли-ці-я!...

Онъ стоялъ въ сторонкѣ и все еще вызывающе глядѣлъ на околочнаго, дожидаясь, когда тотъ встрѣтится съ нимъ глазами. Но околочный ни разу не поглядѣлъ въ его сторону: избиратели шли густой массой и предъявляли повѣстки.

«Господи!... Все идутъ, идутъ... Си-ила...» думалъ Улейкинъ, оглядывая подходившихъ съ сосредоточенными, застывшими лицами, точно таившими что-то отъ всѣхъ, то, что извѣстно имъ однимъ.

И было грустно сознавать, что все кончилось, что отъ него ничего больше не требуется. Не будетъ больше собраній, опять все по-старому пойдетъ...

Онъ уже чувствовалъ потребность того новаго, что пронизало сѣренькую жизнь его яркой, жгучей полосой.

И не хотѣлось уходить отъ народнаго дома. Онъ вздохнулъ и вмѣшался въ толпу, гдѣ все еще горячо спорили о «вашихъ» и «нашихъ».

XVII.

— Поговорилъ я съ подчаскомъ!—сказалъ Улейкинъ женѣ.— Ошпарилъ его здорово.

Ему хотѣлось вѣрить, что это такъ и было, что онъ «поговорилъ».

— Кончилъ, што-ль, таскаться-то?

— Буда я таскался?... куда? Какъ ты такъ можешь говорить, а?... Я въ трактиръ хожу?... а?... въ трактиръ?... Баба несуразная!... А?... Таскаться?...

Въ немъ сразу поднялось все острое и больное, что послѣднее время умирало. Слово «таскаться» оскорбило его. То, что онъ дѣлалъ всѣ эти дни, было такъ необыкновенно, ново. Оно его захватило, держало въ состояніи сладостнаго напряженія, отодвинуло далеко-далеко все похожее, скучное, нудное, къ чему онъ привыкъ и о чемъ не хотѣлось теперь и думать. И вдругъ—«таскаться». Точно сонъ свѣтлый снился ему,—такъ все непохоже было на жизнь, на его мертвую жизнь. И грубая рука толкаетъ его и будить. Вѣдь ро все новое пойдетъ и уже идетъ, а тутъ Матрена не желаетъ съ чѣмъ считаться. Не можетъ проникнуться тѣмъ, что стало ть и теплиться въ немъ. Что это такое, онъ не зналъ, но пережить и берѣгъ. Что-то должно случиться скоро. Нѣчто похожее испыталъ онъ раньше, когда кто-нибудь звалъ его на именины, и онъ, сидя липкѣ, раздумывалъ, какъ онъ вечеромъ пойдетъ и будетъ уго-

щаться. Или когда наказывали придти къ новому богатому заказчику, и онъ высчитывалъ, сколько слѣдуетъ запросить.

Но то, что онъ переживалъ теперь, было неизмѣримо лучше, только непонятнѣе.

И потому онъ крикнулъ на Матрену и крикнулъ не со злобой, а скорѣе съ тоской. Должно быть, это былъ особенный выкрикъ, потому что Матрена какъ-то особенно оглянула тощую фигуру мужа и сказала уступчиво:

— Ну-у... Время тратьшь-то... Вонъ починка-то второй день валяется.

— Знаю!—съ-сердцемъ сказалъ Улейкинъ, сѣлъ на липку и началъ работать, выставивъ острия плечи.

Матрена видѣла его осунувшееся, зеленоватое лицо, ввалившіяся щеки, блѣдныя прозрачныя уши. Слышала, какъ переливались хрипы въ его впалой груди.

«Чисто мертвецъ сталъ... И не пьеть, давно не пьеть... И тощій же сталъ».

И повернулось что-то въ душѣ, не то жалость, не то тоска. Она не раздумывала.

— Хошь ситничка-то?

Улейкинъ забылъ, что съ утра ничего не ѣлъ. Онъ съ удивленіемъ взглянулъ на жену, хотѣлъ было сказать ласковое что-нибудь въ отвѣтъ и не нашелся.

— Што-жь, дай...—задумчиво сказалъ онъ и вздохнулъ.

И когда Матрена подавала ему ломоть, онъ глядѣлъ въ окно. Тамъ было ясно. На противоположномъ домѣ ярко горѣли окна и свергаль снѣгъ. Подтаивали сосульки. Шла капель, первая весенняя капель.

Онъ жевалъ, чмокая и двигая носомъ, не отрывая глазъ отъ яркихъ пятенъ на стеклѣ. Было тихо. Слышно, какъ спѣшили одна за другой капли.

— Въ деревнѣ теперь хорошо...—сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ.—Грачи прилетятъ.

Тишина и капель, сосульки таютъ и яркое солнце въ небѣ.

— Ежели бы деревня у насъ была... я бы...

— Ну, болтай...

— Я бы... рябину посадилъ... большу-ущую рябину... или бы березу сучкастую.

— Ну?...

— Ну... и наставилъ бы скворешниковъ.

— Ну?...

— Скворцы бы пѣли...

Помолчали.

Старый заскорюзлый сапогъ лежалъ на колѣняхъ. Уклеинъ жевалъ ситный, а за окномъ постукивала веселая капель. Часто-часто.

Спѣшила весна.

— А то еще...—говорилъ Уклеинъ, жуя и смотря черезъ окно, далеко куда-то, въ то, что тамъ въ немъ самомъ,—пѣтухи по веснѣ весело кричатъ.

Солнце перевернулось, подкралось и вдругъ брызнуло зайчиками въ тускляя стекла. Зайчики заиграли, заюлили по потолку, забились въ паутинныхъ углахъ,—веселые, весенніе зайчики.

— Папанька! Зайчики, зайчики!—крикнулъ Мишутка.

А за окномъ шла капель.

XVIII.

Апрѣльское солнце затопило городъ. Было воскресенье. Весело, по-весеннему, играли колокола.

У Уклеина уже давно выставили окна, и невѣдомо откуда, должно быть, изъ стараго полицеймейстерскаго сада тонкой струйкой врвался въ душную комнатку острый запахъ черемухи и тополей.

Уклеинъ стоялъ у окна и глядѣлъ въ небо. Оно было ясное, свѣтлое, это весеннее небо. Оно манило къ себѣ, будило къ жизни, смягчало взглядъ, бросая въ тускляе глаза яркіе вздрагивающіе лучи. И молодило.

Мимо тянулись крестьянскія телѣги съ базара и на базаръ, шли бабы съ мѣшками, и мужики съ вьючицами на ходу подтягивали плечами возы съ сѣномъ, помогали лошадямъ взбираться въ гористую, изрытую ямами улицу.

Въ это воскресенье Уклеинъ проснулся въ хорошемъ настроеніи. Завершалось послѣднее, чтò входило въ кругъ новаго: сегодня уѣзжали депутаты. Положимъ, не тѣ, кого выбиралъ онъ, но все же одинъ попалъ, а именно лохматый адвокатъ, обѣщавшій всѣхъ поставить на точку. Пришлось помириться съ этимъ, тѣмъ болѣе, что выборные были народъ острый все, умнѣющій, а одинъ даже въ тюрьмѣ сидѣлъ и можетъ «за всѣхъ постоять».

— Прямо отборный нашъ,—говорилъ Синица.—Ну, и ваши ничего...

— Какіе это ваши?... Не наши, што ль?...

— А такіе. Нашъ—соціалъ-демократъ, а ваши—буржуи. У нихъ

программа не радикальная. Но всетаки дѣло дѣлать могутъ. Наши ихъ раскачаютъ тамъ.

— А лохматый-то? Онъ такой, прямо...

— Ну, лохматый ничего. Пойдешь, что ли, провожать?

— Да вотъ... починку бы...

— Плюнь на починку. На послѣдокъ ужъ... Я тебѣ прямо со-
вѣтую... пойдешь. Рѣчи будутъ говорить, депутація будетъ...

Углейкинъ и самъ рѣшилъ идти и сказалъ о починкѣ только для оправданія себя: ужъ очень надоѣли сѣтованія Матрены.

— Мишутка! Мать придетъ,—скажи, што по дѣлу, къ заказчи-
ку пошелъ. Слышь?

— Слышу, скажу...

— Да. А то ругаться будетъ... Бъ заказчику, молъ...

— Вотъ чудакъ!—усмѣхнулся Синица.—И съ чего ты ее боишь-
ся?... Баба она у тебя хорошая...

— Хорошая-то хорошая...

— Ласковая баба...—съ усмѣшкой продолжалъ Синица, ощу-
щая острое удовольствіе отъ своихъ словъ.—Только надо умѣть
съ ней...

Углейкинъ вопросительно поглядѣлъ на него и уловилъ насмѣшку
въ глазахъ и складѣ рта.

— Чего умѣть? Ты чего это...

— Чего! Самъ знаешь, не маленький...

У Углейкина сдавило сердце. Онъ пристально взглянулъ на Си-
ницу и встрѣтилъ прежній подмигивающій и задирающій взглядъ.

— А ты почему знаешь?

— Ну, вотъ еще... Чай, догадываюсь... А что?...

— Ничего...—хмуро сказалъ Углейкинъ и взялъ картузь.

— Съ бабами, братъ, тоже умѣючи надо. Ну, идемъ.

Они пришли сравнительно рано и стали близко отъ входа, такъ
какъ въ вокзалъ не пускала полиція. Толпа на вокзальной площади
увеличивалась. Начинали спорить съ околоточнымъ и доказывать,
что нѣтъ такого правила, чтобы не допускать на вокзалъ.

— Не велѣно, господа... Поймите же, что не велѣно!...

Споръ разгорался. Уже кричали, что полиція для народа, а не на-
родъ для полиціи. Слышались отголоски рѣчей на собраніяхъ, вошед-
шія въ обиходъ фразы.

Бто-то кричалъ о безконтрольности, отвѣтственности и прово-
каціи.

— Развѣ вы не понимаете, что вѣдь и вы—гражданинъ.

— Понимаю-съ... очень хорошо понимаю... Но не при-ка-за-но!... Нельзя нарушать порядокъ... нельзя, господа!...

— Нельзя мѣшать общенію съ депутатами!... Они наши довѣренныя!

— Полиція должна уважать права гражданъ!

— Послушайте... Вы узурпируете... власть?...

Но околоточный былъ непоколебимъ, искалъ глазами пристава, разводилъ руками и убѣждалъ:

— Господа... Но вы пой-ми-те... Но если не...

Тутъ ему удалось поймать пристава и сдѣлать жестъ. Тотчасъ же явилось подкрѣпленіе изъ городскихъ. Пропускали лишь «отъѣзжающихъ», и околоточный однимъ взглядомъ рѣшалъ, кто отъѣзжаетъ. «Отъѣзжали», главнымъ образомъ, извѣстныя въ городѣ лица, чисто и по формѣ одѣтыя.

— Брышка, братцы! Всѣ наши благодѣтели отъѣзжаютъ!

Синица и Уклеинъ протиснулись къ самымъ дверямъ и составляли планъ, какъ прорваться.

— Ъдутъ! Наши ъдутъ! Ур-ра!!...

Это былъ молодой фабрикантъ. Онъ соскочилъ съ извозчика. Толпа раздалась. Приставъ взялъ подъ козырекъ съ одной стороны. Околоточный—съ другой. Городовые умерли. Моментъ—двери щелкнули, и депутатъ скрылся. За нимъ прорвалось два-три человѣка, такъ какъ дюжие городовые сразу приросли спинами къ дверямъ, а околоточный прижималъ руку къ груди и успокаивалъ.

— Терпѣніе, господа...

— Куропаткинъ!

Протиснулся мужичокъ съ окладистой бородой и въ синей поддѣвкѣ. Его, было, задержали, но онъ спокойно сказалъ:

— Мы депутаты.

— Пропустить!—сказалъ приставъ, кивая головой депутату, а околоточный, помня инструкцію, наскоро прикоснулся къ носу.

— Етому не надоть... Жирно будетъ... Ха-ха-ха... Ну, и полиція!...

Подъѣхалъ еще депутатъ съ тросточкой и портфелемъ, получилъ ударъ козырекъ и скрылся.

— Нашъ идетъ!... Нашъ!—крикнула кучка подъ самымъ носомъ околоточнаго.

Бричалъ Синица, кричалъ и Уклеинъ, хотя еще ничего не дѣлалъ.

Въ синей блузѣ, въ пальто внакидку, въ мягкой шляпѣ, пробился въ толпѣ депутатъ отъ рабочихъ. Онъ вдругъ выросъ надъ

толпой, такъ какъ кто-то уже приспособилъ ему ящикъ. Сомкнулись кольцомъ, и начался митингъ. Приставъ пытался предпринять что-то, околоточный бросился къ приставу, городовые вытянулись.

А депутатъ уже излагалъ, чего онъ будетъ добиваться.

Съ каменнаго помоста вокзала, въ гулъ толпы, было плохо слышно, и только отрывочныя слова вырывались, какъ языки пламени.

— ...народу!!...

— Ур-ра!... А-а-а-а!...

— ...волю!...

— Ур-ра!...

— ...и тайное!...

— А-а-а-а...

— ...амнистія!... по трупамъ!...

— Ур-ра-а-а!...

Углеикинъ пытался составить смыслъ по отрывкамъ и чуялъ, что вотъ кто «ихъ». Тѣ прошли, ни слова не вымолвили, а этотъ катаетъ себѣ при полиціи...

— Вотъ каковъ нашъ-то!—кричалъ на ухо Синица.

Но уже пробирался пятый. То былъ лохматый адвокатъ, непобѣдимый на собраніяхъ, кровный врагъ Балкина, какъ полагалъ Углеикинъ.

Онъ взбѣжалъ на каменные ступени, и когда околоточный поковырялъ и пріоткрылъ дверь, чтобы пропустить, пятый депутатъ ловко вывернулся спиной къ двери, занялъ удачную позицію и снялъ шляпу. Городовые, помня инструкцію, держали подъ козырекъ.

— Пожалуйте-съ...—вѣжливо просилъ околоточный.

— Позвольте-съ... я знаю...

Послѣдовалъ поклонъ, благодарность и краткое слово. Адвокатъ благодарилъ за довѣріе, сравнилъ себя съ растеніемъ, корни котораго остались «здѣсь, въ самой гущѣ народной», заявилъ, что если вырвутъ его,—вырвутъ ихъ, что онъ кость отъ кости... и т. д... и закончилъ общаніемъ вернуться «со щитомъ или на щитѣ».

— Съ чѣ-ѣмъ?—спросилъ Углеикинъ Синицу.

— Со щитомъ. И все-то вретъ...

— Ну, вотъ... Обязательно такъ...

И Углеикинъ старался понять, о какомъ щитѣ говорилъ адвокатъ. Толпа шумно отозвалась на горячее слово.

— Воли намъ! Земли!... Налоговъ чтобы...—кричалъ Углеикинъ надъ самымъ ухомъ адвоката.—Отцы вы наши!...

Рабочій депутатъ въ кольцѣ головъ подвигался къ дверямъ. Открыли входъ, чтобы пропустить его, и волна хлынула.

— Стой! Куда? Не всё!...

Околоточнаго оттерли, смяли городскихъ и затопили дебаркадеръ. Гдѣ-то уже пѣли марсельезу, гдѣ-то кричали ура.

Окружили крестьянскаго депутата, и тотъ, снявъ шапку и тряся бородой, говорилъ что-то, путался и крестился.

Углекинъ не слышалъ ни слова, но необычайное воодушевленіе захватило его такъ, что хотѣлось плакать.

Вольное разливалось по дебаркадеру вмѣстѣ съ жгучимъ солнцемъ, криками, бѣгающими взглядами. И только, какъ напоминаніе о жизни, вскрикивалъ въ сторонѣ дежурный паровозъ.

Выскочилъ изъ толпы какой-то мужичокъ, выхватилъ изъ-за пазухи иконку и стремительно благословилъ депутата отъ крестьянъ.

— Отъ міра тебѣ, примай! ото всёхъ! .

Сунулъ въ руки и скрылся.

Бѣ-то запѣлъ «Царю небесный». Подхватили, сдергивая шапки:

Станціонный жандармъ, вытянувшись, стоялъ у дверей, подъ колоколомъ, съ рукой на кабурѣ, подрыгивалъ плотной ногой, и на здоровомъ лицѣ его свѣтилось покойное самосознаніе.

Съ конца дебаркадера, отъ мастерскихъ, какъ ударъ по металлу, прокатывалось:

«Впе-редъ... впе-редъ... впе-редъ!...

Тамъ окружали депутата отъ рабочихъ.

Базалось, тусклая трудовая жизнь растворилась въ яркихъ лучахъ солнца, въ крикахъ, пѣснѣ, въ широкихъ вздохахъ.

Ударилъ колоколъ: кто-то еще слѣдилъ за планомѣрнымъ ходомъ жизни.

Подходилъ изъ-за товарныхъ вагоновъ поѣздъ.

— Н-скіе депутаты ѣдутъ! Ур-ра-а!!...

Поѣздъ гремѣлъ отзывнымъ крикомъ. Махали платками съ площадокъ, шляпы качались. Базалось, весь поѣздъ гремѣлъ, и не слышно было лязга колесъ и свистковъ.

Углекинъ вытягивалъ голову.

— Ёдутъ, ёдутъ, — бормоталъ онъ, чувствуя дрожаніе и зудъ во всемъ тѣлѣ. — Совсюду ёдутъ... Господи... Ёдутъ...

Синицу онъ давно потерялъ. Ему хотѣлось кричать, броситься къ депутатамъ, сказать имъ что-нибудь, охватить, перецѣловать. За что? Онъ и самъ не зналъ. Тутъ, на разставаньи, почувялъ онъ близость къ нимъ, точно вдругъ объявились они, его братья, съ которыми онъ жилъ долго-долго, которыхъ онъ не зналъ и которые не знали его.

Онъ протискивался къ депутатамъ, но и другіе протискивались и оттирали его.

Н-скіе депутаты раскланивались съ площадокъ, ловили цвѣты, обращались съ рѣчами.

— Братцы!—кричалъ, забывъ все, Уклеинъ.—Съ Богомъ! съ Богомъ! За насъ!...

Но его сильный, пропитый голосъ тонулъ. На него никто не обращалъ вниманія. Въ давкѣ ему порвали рукавъ, но онъ и не замѣтилъ.

— Братцы! Господа депутаты!—кричалъ онъ, мокрый отъ пота, продираясь въ толпѣ.—Съ Богомъ!!...

Онъ увидалъ ихъ черезъ три вагона. Садилась наша!

Но толпа была какъ одно сбитое цѣлое, стиснула депутатовъ, что-то кричала, требовала, наказывала. Депутаты что-то доказывали, разѣвали рты, но все пропадало въ крикахъ.

Не пройти. Но хотѣлось что-то такое сдѣлать. Растерянно окинулъ Уклеинъ толпу и пропалъ. Онъ юркнулъ подъ вагонъ, пробѣжалъ по шпаламъ, ударяясь головой и спиной о цѣпи, и вылѣзъ у самыхъ ногъ депутатовъ. Тутъ онъ схватилъ за плечи крестьянскаго депутата и облобызался.

— Съ Богомъ! Поѣзжай, братикъ!—бормоталъ онъ, и глаза были влажны, а въ горлѣ сжимало.

Толпу оттирали. Свистокъ сверлилъ взбудораженный воздухъ.

— Отъ вагоновъ! Дальше отъ краю! Нельзя, господа... повольте...

Въ громъ, грохотъ, крикахъ «ура», залитый солнцемъ, отходилъ поѣздъ. Трепетали платки. Полоскался ярко-красный лоскутъ. Слабо отвѣтилъ рожокъ съ ближней стрѣлки.

— Съ Богомъ!—кричалъ Уклеинъ.

— Ну, проходи... Чего надсаживаешься-то...

Мясистый жандармъ заслонилъ удаляющійся поѣздъ.

— А што?... Съ Богомъ, говорю...

Онъ надѣлъ картузь и слился съ толпой.

Она все еще гудѣла, распалзываясь по улочкамъ и переулкамъ. Вытирались потныя лица. Хлопали калитки. На городъ шелъ покой, и взбудораженная жизнь снова укладывалась въ свою обыденную колею.

И солнце, казалось, сияло не такъ ярко.

XIX.

Теперь стоило жить, такъ какъ каждый день могъ принести что-нибудь.

Такъ думалъ Углеикинъ.

Обсудить и устроить. Иначе незачѣмъ было бы дѣлать такую склоку. А склока была большая, и ее онъ чувствовалъ на себѣ.

Сидѣлъ онъ въ своей каморкѣ, никому не нужный, никѣмъ не знаемый. Пьянствовалъ недѣлями. Видѣлъ только то, что было около глазъ, не заглядывая въ себя, не только въ будущее.

И вотъ теперь онъ смотрѣлъ въ это будущее, далеко за предѣлы своего городка, и ждалъ. И внутри у него совсѣмъ другое, и горечи прежней слѣда нѣтъ, и болѣзнь, должно быть, прошла. Совсѣмъ и не позываетъ на водку. Только по временамъ дрожить въ немъ что-то, клокочетъ, а не позываетъ. А вѣдь совсѣмъ ничего не измѣнилось въ жизни. Развѣ только не приходится ночевать въ участкѣ. Но и это потому, что онъ пересталъ пить и не затѣваетъ скандаловъ. А работа такъ же мало даетъ, какъ и раньше, и жизнь такъ же дорога, если еще не больше.

Да и Матрена измѣнилась, стала веселѣе поглядывать и почти не ругается. Должно быть, тоже стала проникаться.

Да, Матрена измѣнилась. Выраженіе ея глазъ стало мягче. Что-то грустное иногда пробѣгало въ нихъ.

Онъ иногда, когда она не замѣчала его, всматривался въ нее, стараясь разгадать, отчего это стала она такой.

Разговоръ съ Синицей въ день проводовъ депутатовъ прошелъ безслѣдно. Только тогда, на одинъ моментъ задумался Углеикинъ, а потомъ какъ-то все стерлось.

И вотъ недавно онъ понялъ, такъ казалось ему, отчего Матрена измѣнилась.

Май выдался жаркій. Падали душныя ночи. Тысячи мухъ гудѣли въ духотѣ мастерской, и Синица перебрался спать на волю.

Ночью какъ-то проснулся Углеикинъ. Матрены не было возлѣ. Онъ уже не могъ заснуть: тучами, въ блѣдномъ сумракѣ съ гуломъ носились мухи. Тикали часики, время тянулось, свѣтлѣли предутреннія сумерки.

А Матрена не приходила.

«Буда она?»

Онъ вспомнилъ, что и Синицы нѣтъ въ комнатѣ... Острое подозрѣніе родилось внезапно. Всплыли въ памяти слова Синицы.

«Съ бабами надо умѣючи»...

«Вотъ отчего она такая»...

Онъ уже не могъ лежать, поднялся и заглянулъ въ пустую комнату жильца.

— Матрена!—глухо позвалъ онъ, все еще не рѣшаясь идти «туда».

Мишутка заворочался, отмахнулся отъ мухъ и натянулъ на голову одѣяло.

«Проклятая!»

Онъ пріоткрылъ дверь во дворъ и выглянулъ. Была совсѣмъ бѣлая ночь, та тихая ночь, когда можно слышать, какъ опускается роса на желѣзные кровли.

— Ма-тре-на!—шопотомъ позвалъ онъ.

Спалъ дворъ. И только «Шарикъ», вывернувъ сонную морду, облизнулся, позѣвывая, и снова уткнулся подъ брюхо.

— Матрена!

Изъ-за сарая, гдѣ въ корзинѣ розвальней ночевалъ Синица, вышла она въ одной рубахѣ, босая и простоволосая. Въ бѣломъ полусвѣтѣ майской предзори, съ холодкомъ розоваго мата на поблѣднѣвшихъ щекахъ, сильная и колышущаяся, она казалась порожденною силой земли, блесоватымъ ночнымъ видѣніемъ, что обманчиво бродить туманами въ росистыхъ лугахъ и поляхъ.

— Матрена!—обликнулъ онъ, испуганный тишиной бѣлой ночи, ровнымъ, покойнымъ движеніемъ бѣлой фигуры.

И теперь, видя, что это она, дрожащій и бѣшенный, крикнулъ:

— Буда ходила?...

Она остановилась, придерживая колышущуюся грудь, съ поднятымъ лицомъ и вызывающимъ взглядомъ, сильная и недоступная.

— Бу-да хо-ди-ла?!

— Чего—куда?—грубо спросила она.—Еще што?...—Борова я тебѣ?... Не сведуть...

Но онъ уловилъ въ голосѣ замѣшательство и ложь.

— Буда ходила? Сволочь!!...—крикнулъ онъ, задыхаясь, охваченный бѣшенствомъ, уже понявъ все, что случилось.

Потревоженный «Шарикъ» поднялся, вытянулся, изгибая спину и позѣвывая, и, виляя хвостомъ, подошелъ поласкаться. Уклейкинъ ударилъ его ногой.

Она уже шла на него увѣренная, грудью впередъ, поблѣднѣвшая отъ свѣжести утра.

— Пусти... Чего сталъ...

Но онъ уперся руками въ косяки и поднялъ ногу, точно хотѣлъ ударить въ животъ.

— Ду-рагъ!—спокойно сказала она.—У, бѣшенный! Ну, чево еще? Ну, куръ глядѣла...

— Буръ?... Ты... куръ?

— Да, курь... кричали... А ты што думалъ!?... Спать въ жилъ-цу, можетъ?... Ду-ракъ... Захотѣла бѣ спать и спала бы...

— Убью, сволочь!...

— Ну, чево сталь-то... Пусти, што ль... холодно...

И она передернулась, вздрагивая обнаженными плечами и грудью.

— Ду-ракъ! Вѣдь чишолоя я... пусти...

Онъ опустилъ руки. Что-то вдругъ повернулось въ немъ щемящее и замгрывающее. И радость, и острая боль подозрѣнія.

— Какъ... чи-жо-лая?...

— Такъ и... Какъ бываетъ-то?... Чай, не холостые... Да, сдвинься ты!...

И она прошла, хлопнувъ дверью.

Кошка неслышно пробиралась по самому гребню сарая, отряхивая лапки. А Улейкинъ стоялъ, точно разсматривалъ кошку и небо. Оно, сонное, безцвѣтное, начинало пробуждаться, принимая окраску зари. Уже розовымъ перламутромъ просвѣчивали только что неподвижныя, внезапно тронувшіяся въ путь перистыя облака.

Должно быть, выглянуло изъ-за земли солнце.

«Чишолоя»... — повторялъ мысленно Улейкинъ, не чувствуя уже острой боли, только что пережитой. А въ душѣ нарастала мигающая свѣтлая точка, давно желѣмая, никому не высказанная, никогда, можетъ быть, не обдуманная надежда.

— «Чишолоя»... Развѣ бы она сказала такъ, ежели бы»...

И радость крѣпла.

«Вѣдь прямо задушевный, жалѣющій человекъ... Да развѣ онъ допустить... Такой политическій... прямо обходительный... А съ чего же ей и не быть-то»...

И онъ сталъ вспоминать и соображать. И чѣмъ больше соображалъ, тѣмъ сильнѣе увѣрялъ себя, что такъ и должно быть. И Матрена стала ласковой, и Синица съ нимъ прямо другъ и собирается даже жениться на модисткѣ, какъ разговаривали они въ чайной. А мѣсяць назадъ, да, мѣсяць или недѣль шесть, Матрена вела себя какъ и слѣдуетъ быть женѣ. Ну вотъ и... И пить онъ давно бросилъ, ну вотъ и...

И ему такъ хотѣлось вѣрить, что онъ повѣрилъ. И захотѣлось зспросить, все узнать, подойти къ Матренѣ и сказать ей хорошее слово.

Онъ вошелъ въ мастерскую, улыбаясь глазами.

— Матреша... — позвалъ онъ ее шепотомъ.

— Ну, чево?... Спать хочу...

И онъ нашелъ ее въ сумрачномъ свѣтѣ и сѣлъ на кровать.

— Матреша, — просительно заговорилъ онъ, дотрогиваясь до ея плеча, накрытаго одѣяломъ. — Какъ же это ты такъ...

— Чего такъ?...

— А вотъ што сказала-то...

— А што я сказала?...

— А вотъ што... чижолая-то... А?... Какъ же это?... а?... Ужли вправду?...

— Ну, чего привязался-то... Ну, и вправду... Чего мнѣ врать-то...

Она сказала мягко и благодушно, какъ говорила въ послѣднее время. И Уклекинъ думалъ, что она говорить такъ потому, что она и сама рада тому, что она «чижолая».

— Вотъ што... Ты...

— Ну, што?

— Какъ же это такъ... Вотъ што...

Онъ хотѣлъ бы заглянуть ей въ глаза, но нимъ узнать все, но было еще сумеречно.

— Ну, чего ты присталъ? Вотъ што да вотъ што... Ну, чего присталъ?...

— Отъ меня?..

— Што отъ тебя?

— Чижолая-то... Отъ меня?... Ты лучше... скажи...

— Отъ козла!... У, дуракъ... Тебѣ, чай, лучше знать... Будеть дурака-то ломать... Што я шлюха у тебя, а? Шлюха?

— Да вить... Чудно!... — протянулъ онъ задумчиво и улыбаясь глазами, увѣренный.

— А ты... ты... побожись...

— Да отвяжись ты, ей-Богу... Ну, ей-Богу... Ну... Спать хочу...

Она отвернулась къ стѣнѣ и накрылась. А онъ сидѣлъ около и, улыбаясь, глядѣлъ на свѣтлѣвшія окна.

XX.

По воскресеньямъ Уклекина тянуло за городъ, на волю. И раньше, бывало, захаживалъ онъ въ монастырь, верстъ за десять отъ города, къ обѣднѣ. Но теперь онъ уже не могъ усидѣть въ пыльномъ переулкѣ, звалъ Матрену, бралъ Мишутку и отправлялся. Иногда принималъ участіе и Синица, но послѣднее время онъ уклонялся; у него завязалось знакомство съ модистой Варькой, и онъ подумывалъ устроить свою жизнь на новыхъ началахъ.

Вставали въ пять утра, чтобы поспѣть къ поздней обѣднѣ. Шли вдоль шоссе, боковиной, пробираясь во ржи. У перваго оврага, гдѣ въ глубинѣ протекалъ въ осочкѣ ручей, гдѣ берега были голубыми отъ незабудокъ, а распаленныя солнцемъ стрекозы недвижно висѣли на крыльяхъ, дѣлали первый привалъ.

Мишутка гонялся за коромысломъ и рвалъ незабудки, Матрена разувалась и мыла ноги въ ручьѣ, а Уклеинъ, раскинувшись крестомъ на откосѣ, поглядывалъ на крѣпкую фигуру Матрены, на ея яркій платокъ, какъ макъ горѣвшій на солнцѣ, засматривалъ въ небо и слушалъ.

Въ березовой рошѣ куковала кукушка, жаворонки журчали серебромъ въ небѣ.

— Папанъ! Мотри-ка каку изловилъ!... Вотъ муха-то!

И Мишутка подносить къ уху трепещущее коромысло.

Тррстррр...

Уклеинъ жмурить глаза, вбирая солнце. Даже паръ идетъ отъ потертаго, заношеннаго пиджака. Стрекоза такъ приятно трещить, истома, жаръ охватываютъ члены, и не хочется говорить, а такъ бы лежать, лежать. Но онъ открываетъ глаза, смотритъ на трепещущее коромысло, на раскраснѣвшуюся Мишуткину рожицу и говоритъ лѣниво:

— Это, братикъ, не муха... Это коромысло... Пусти ево, пусть... ея полетаетъ.

Въ эти минуты и на Матрену сходило что-то томящее покоемъ и истомой, умиряющее. Оно входило въ нее незамѣтно и расплывалось. Оно поселилось въ ней впервые однажды ночью, когда вприсонкахъ что-то мягко, съ щемящей щекоткой, толкнуло ее изнутри, трепыхнулось и замерло. И когда она, проснувшись, глядѣла расширившимися удивленными глазами въ темноту, въ ней снова судорожно и приятно затрепыхалось. И стало тепло на сердцѣ и покойно, точно что-то блуждавшее гдѣ-то и искавшее ее, наконецъ, нашло ее и освѣтило.

И теперь, у ручья, покойная истома наваливалась на нее. И она жмурилась, чувствуя въ себѣ живое. А, можетъ быть, это жаръ укрытаго отъ вѣтра лога, напоенный зеленой силой земли, острымъ запахомъ мяты, дягиля, медуницы и дикой конопци, входилъ въ нее и пьянилъ.

Иногда лягушка, лѣнивая, распаленная зноемъ, томно протягивала нотку и точно вдругъ теряла сознание отъ зноя и страсти.

— Ишь, стерва... чисто-парная...—соннымъ голосомъ говорилъ Уклеинъ.—Какъ цецеть-то... Искупаться штолика.

Въ заросляхъ лозняка и калины скрипитъ себѣ сорока, точно гдѣ-то подламываютъ сухой хворостъ. А изъ рощи, за логомъ, выкатывается волнующійся, свѣжій ударъ колокола.

— Ударили... Итить пора. Э-эхъ, и жарница же!...

Они взбираются логомъ къ рощѣ, бодрый вѣтерокъ обдуваетъ ихъ, а глаза уже отыскиваютъ сквозные золотые кресты и голубые купола.

Вдумчиво выстаиваютъ долгую обѣдню, приглаждаются ко всемъ образамъ, читаютъ по складамъ славянскую вязь на стѣнахъ, лобызаютъ руку іеромонаха у мощей, ѣдятъ просвирку на паперти. Потомъ идутъ въ чайную, за монастырской стѣной, пьютъ чай въ садикѣ, у пчельника, Мишутка боится пчелъ, а Уклеинъ ловитъ ихъ стаканомъ на сахарѣ. Ыдятъ вволю ситнаго и крошатъ индюшкамъ, а бойкій паренекъ, половой, пощелкивая салфеткой и перегибаясь, вопрошаетъ:

— Яишенку не прикажете ли, ваше степенство? Съ колбаской, можетъ... съ салъцемъ-съ?...

Хорошо бы, но жалко.

— Яишенку-у...—проситъ Мишутка.

— Ну што-жь...—отзывается Матрена.

— Тащи безо всего...—рѣшительно говорить Уклеинъ.

Закусили хорошо. Теперь—къ рѣкѣ искупаться, поглазѣть, какъ ловятъ подлещиковъ съ моста, вздремнуть въ ивнячкѣ.

Потянулись долги тѣни! Клонится солнце. Багрянцемъ переливаются золотыя цѣпи крестовъ. Вечеръ крадется въ золотистомъ сянни. По вечернему заиграла рыба широкими всплесками. Подаютъ голоски камышевки.

Тише! Вечеръ крадется въ багряномъ сянни.

Вдоль бѣлыхъ стѣнъ прохаживаются черныя фигуры въ широкихъ кожаныхъ поясахъ. Цвѣтныя платочки выглядываютъ въ кустахъ монастырской сирени, мелькаютъ красныя юбки. Задохитъ дѣвичій смѣхъ.

Уснули столѣтніе клены.

— Глянь-ка, Матрена! Ай-да честная братія!... И житье имъ!

— А, ну ихъ!

Потянуло медомъ съ луговъ. Домой пора.

Въ слободѣ разливаются гармоника. На шоссе длинной линіей гуляютъ съ двухрядками парни. Луцать сѣмечки пестрыя, шумливыя дѣвки. А задами, коноплей и крапивою, поднявъ подошвы рясъ, сторожко пробираются черныя фигуры.

— И житье же...—вздыхаетъ Уклеинъ.

Влѣво, къ рѣкѣ и за рѣкой, разметались дуга, тысячи десятинъ, и монастырь сторожитъ ихъ, поблескивая пламенными крестами.

Идутъ боковиной. Впереди, версть за восемь, виденъ городъ, ждѣдѣ подмигивающій искрой: и тамъ догораютъ кресты.

Солнце погасло. Вонъ изъ-за взгорья поглядываетъ багровый глазъ. Ночь идетъ.

На полдорогѣ отдыхъ, на этотъ разъ во ржи, у дороги, подъ старой плагучей березой.

Вобравшійся за долгій сытый день жаръ солнца бродитъ позывными думами. Въ глазахъ ходятъ цвѣтныя юбки; отдаются въ ухахъ сочные дѣвичьи голоса; щекочуть запахи травъ, аромат созрѣвающей ржи.

— Пристанемъ, Матреша... Мишутка-а!... Ишь, подлець, убѣгъ куда... Нако-сь ножъ-то... во-онъ пѣ кустики-то... Срѣжь вѣничекъ, для дому припасемъ... Да хо-о-ро-шій, смотри! Полежимъ, Матрешъ... Глянь-ка, затеплилось... во-на!

У Матрены лицо свѣжее, чуть поблѣднѣвшее отъ тѣней ночи. Алый платокъ сдвинулся къ шеѣ. Край юбки загнулся и открылъ ноги.

— Ну, да оставь... Чижилая я... Да ну-у...

Чуть зыблется рожь темной волной. Слышно, какъ Мишка потрескиваетъ въ сторонѣ вѣтками. Чуть погромыхиваетъ желѣзная дорога.

— Вотъ такъ вѣникъ!... Папанька-а!... Глянь-ка, вѣникъ-то какой!...

Углеикину говорить не хочется, и онъ вяло бормочетъ:

— Тебя вотъ этимъ бы вѣникомъ... А-ахъ!... И разморило же меня... А-а-ахъ... Духъ-то какой... Ме-одъ... Хорошшо-о.

По шоссе катитъ запоздавшая телѣга. Прыгаетъ, рвется льняная пѣсня.

— Домой ѣдутъ...—говоритъ Углеикинъ, провожая телѣгу.— Въ деревню... д-да-а...

— Ъсть што-то охота...—говоритъ Матрена.

— Съ воздуху это, вотъ што... А мы вотъ што... У заставы печонки возьмемъ на пятакъ... а?...

— Печонки-и!—проситъ Мишутка, глотая слюни.

— Ну-къ што-жь... Дома-то не варили.

Они идутъ молча, усталые. Ночь идетъ за ними и накрываетъ. зды ясивють. Блѣветъ мѣсяць. Кричатъ коростели. Городъ зовъ вспыхивающими огнями.

Пошли огороды, плетни. Скучные столбы заставы впереди.

Слышно, бьютъ городскіе часы.

XXI.

Дни шли за днями, сѣренькіе.

И завтрашній день шелъ, и шелъ за нимъ другой завтрашній день, и шла вереница дней. Такъ же вставало солнце, какъ и раньше, взбирался изъ-за края земли мѣсяць, вспыхивали и гасли звѣзды, падали и таяли туманы. Также недосыпали и недоѣдали люди, попрежнему съ тоской думали: что-то будетъ.

И умирали.

И попрежнему земля свершала оборотъ суточный, чуждая всему.

Да, шли дни, и Уклекинъ не слѣдилъ за ними и не считалъ, сколько прошло ихъ и сколько осталось еще. А бодрое настроеніе, которое переживалъ онъ недавно, когда ходилъ на собранія и особенно когда провожалъ депутатовъ,—самое яркое въ жизни, тускло въ вереницѣ сѣренъкихъ дней.

Наваливалась тоска, знакомая, щемящая тоска.

Дорожала жизнь. Накинули на квартиру. Падалъ заработокъ, такъ какъ всѣ точно съезжились и заскупились. А купецъ Овсянниковъ, напротивъ, рядомъ съ домомъ, выводилъ новый на мѣстѣ пустыря.

Да и погода измѣнилась: лили дожди, и грязныя полныя лужи стояли подъ окнами.

Ночью вдругъ просыпался онъ отъ мягкаго внутренняго толчка и уже не могъ заснуть. Это было знакомое ощущеніе сердечной слабости. Когда припадокъ усиливался и нехватало воздуха, Уклекинъ садился на постели и теръ грудь, у сердца, со свистомъ втягивая воздухъ. Выступала испарина, расширялись зрачки и устало глядѣли въ темноту. И тянулась ночь. И никто не отзывался на вздохи. А Матрена лежала на спинѣ, положивъ руки на животъ, точно защищала живущее и трепыхающееся въ ней, никому ненужное и все же готовящееся отдѣлиться отъ нея и зажить.

— А-а-ахъ... — тяжело вздыхалъ Уклекинъ. — Го-спо-ди... Чи-чи, чи-чи, чи-чи... — перебоемъ отвѣчалъ маятникъ.

— Что, братъ, нахохлился? — спрашивалъ иногда вечеромъ Си-ница. — Аль часъ твой подходить?

— А, ну... Хоть бы сдохнуть.

— Ну, сдохнуть-то всегда успѣешь... Еще поживемъ!

— Не видать ничего.

Какъ-то въ чайной знакомый самоварщикъ Брючокъ спросилъ, посмѣиваясь:

— Живеть жилецъ-то?

— Живеть. А што?

— Да и-ничего... Еще не сигналъ?

— А за што мнѣ ево гнать?

— Да вить конечно... ежели не за што...

— Ну и... нечево...

А на сердце залегло. Бое-что вспомнилось. Бѣлая майская ночь.

И послѣ разговора ходилъ мрачный, не заговаривалъ ни съ женой, ни съ Синицей, а поглядывалъ исподлобья, стараясь уловить что-нибудь, и думалъ, думалъ.

И уже чувствовалъ онъ, что все хорошее, что бережно носилъ и таилъ въ себѣ, что когда-то ночью пришло къ нему, обожгло и заставило «поддержаться», — выбирается изъ него. И нельзя удержать. Въ душу ползла пустота, что дѣлала жизнь безъ выхода, отъ которой онъ и хотѣлъ уйти куда-нибудь, гдѣ бы ни пути — ни дороги не было, а такъ... лѣсъ...

И чувствовалъ онъ, что близокъ часъ его, какъ говорилъ Синица, и не стоитъ «выдерживать», потому что все равно ничего не видать.

Близилось.

XXII.

И пришелъ день. Пришелъ дождливый день.

Возвращались депутаты.

Ходить, ходить по крышѣ дождикъ, ползаетъ, царапается въ водосточахъ. Прыгаютъ пузыри въ дужахъ. Плынуть въ мутной сѣткѣ тѣлги, хоронятся подъ мокрыя рогожи мужики. Буры намочили и рядами жмутся по стѣнкамъ.

А дождикъ ходить, ходить по крышѣ.

И уже не сидѣлось на липкѣ, и вываливалась работа. И не сказавъ никому — куда, Углекинъ пошелъ на воздухъ.

Одну секунду задержался онъ на порогѣ лавки, постоялъ, оглянулся. Но все вокругъ заволочла мутная, постукивающая сѣтка.

И тутъ же, у лавки, запрокинувъ голову, пилъ, глядя въ небо.

— На парахъ гонишь... — сказалъ знакомый кузнецъ. — Наверстывай, братъ... Наскрозь прохватываетъ.

«А теперь домой», — уговаривалъ себя Углекинъ, зная, что пойдеть домой, повертится и придетъ назадъ.

А когда отворялъ дверь, услышалъ, какъ Матрена въ комнатахъ жильца кричала:

— А теперь на шлюху промѣнялъ?!

— Сама-то кто?! — лѣниво отзывался Синица.

— Я кто? Я?... Мужняя жена я, вотъ кто!... Коть несчастный!

— Му-ужняя... Бери кому не нужно... И родить-то отъ мужа, должно, будешь?

Духъ перехватило у Уклейкина. Онъ рванулъ дверь и смотрѣлъ, на нихъ, обжигая глазами и не находя словъ. Теперь они сошлись всѣ трое, чтобы развязать запутавшійся узелъ играющей жизни. Или еще больше запутать.

— Вы!... вы!...

Онъ бросился къ Матренѣ и поднялъ ногу, чтобы ударить въ животъ, но Синица сильнымъ ударомъ сбиль его.

— Пользешь?... Сбѣсился... чортъ!...

— Ты... ты... меня... ты еще меня...—бормоталъ, задыхаясь, Уклеикинъ, ища глазами что-нибудь тяжелое, чувствуя беспомощность передъ этимъ сильнымъ человѣкомъ. И, схвативъ попавшуюся подъ руку колодку, съ силой ударилъ наборщика въ грудь.

Они схватились снова, и Синица, навалившись, билъ Уклейкина хлюпающими, короткими ударами по глазамъ и лицу, а Уклеикинъ старался запрятать голову, разѣввалъ ротъ и хрипѣлъ.

— Фелить!... Дворникъ!... дворникъ!...—кричала Матрена во дворъ.—Господи!... Да разыми ты ихъ... чертей...

— Ну васъ къ яду... котѣ... шкандалисты...—басилъ дворникъ, шлепая по лужамъ.

Медлительный и недовольный, онъ вошелъ въ мастерскую. Синица, съ порваннымъ воротомъ пиджака и яркимъ шрамомъ на блѣдномъ лицѣ, тяжело отдувался, держась за косякъ. Утирая вспухшее, разбитое лицо грязной тряпичей и сплевывая кровь, растерянный и задыхающійся, сидѣлъ на липкѣ Уклеикинъ.

И былъ онъ какой-то пришибленный, злой и жалкій. Обида большая, неизбытная, быть можетъ, самая большая изъ тысячъ перенесенныхъ и привычныхъ, на которую не было силъ отвѣтить, пришибла его.

— Такъ ты... вотъ какъ... вотъ какъ...—повторялъ онъ, разглядывая окровавленную тряпицу.

И когда увидалъ дворника и испуганную Матрену сзади, съезжившагося въ углу у лохани Мишутку, большими глазами выглядывающего на него, онъ еще острѣе почувствовалъ свой позоръ и издѣвающуюся несправедливость.

— За-рѣ-жу!!—взвизнулъ онъ, бросаясь къ Синицѣ.

— Не лѣзь!! Морду разобью!!..

— Да будетъ,—чай, не маленькіе. Ты!...—взялъ его сзади за плечи дворникъ.—Ерой!

— Пусти!

Углекинъ рванулся, но дворникъ сталъ между нимъ и Синецей, покойный и вялый, и толкалъ его къ двери.

— Развоевался... Махонькій, штоль, право.

— Полицію зови!—кричалъ Углекинъ, пытаясь забѣжать сбоку и не отрывая глазъ отъ Синецы.—Зови полицію!

— Нуженъ ты полиціи! Шкандалистъ!... Не знаетъ тебя полиція... Не напарывайся... не пуцу... Ишь, чортъ какой.—А ты парень, оставь,—убѣждалъ онъ Синецу.—Не задирай ты ево... Вишь онъ какой... меченый...

Онъ сѣлъ по срединѣ, на лпкѣ, и равнодушно муслилъ «ножку».

— Вышло-то съ чего у васъ все?... Ты погоди... не напарывайси... Безпорядокъ завели... За грошъ живутъ, а на цѣлый рупь скандаловъ.

— Ты дворникъ, а?... Дворникъ ты?

— Ну-къ што-жъ, што дворникъ... Ну, дворникъ, не служаешь... не надсаживайси...

— Съ квартиры ево бери!... Бери!... Сымай ево съ квартиры!... Полицію зови!... Все равно... Ночью зарѣжу.

Синеца курилъ папироску отрывистыми затяжками, не спуская глазъ съ Углекина, а тотъ метался, отшвыривая попадавшіяся подъ ноги колодки.

— Я управу найду... Думаешь, не найду управы?... Я найду управу... Я все найду!...

— Ну, во-отъ... ты и жалуйси. Изобидѣли тебя, ну, и жалуйси... къ мировому... а не штобы... всамдѣлѣ...

— Какое имѣлъ меня право бить!... Всю морду мнѣ избилъ... Вонъ онъ, што сдѣлалъ... Съ Матрешкой моей... Путаная...

Онъ хотѣлъ бы высказать самое нутро обиды, выкинуть изъ себя накипь, боль жгучую, и не находилъ словъ, и только ругался, ловя подходящія выкрики, чтобы хоть этимъ облегчить обиду.

— Да съ чего у ихъ вышло-то?

— А шутъ ихъ разбереть... Полѣзъ пьяный драться... ни съ чего...

— Молчи!

— А-а... та-агъ... Сталыть изъ тебя... И вредная же ты баба...—сказалъ дворникъ.

— Слушай ты ево... озорника.

— И на-ародъ!... А вы бы вотъ по любовному... Выпили бы да и замирились, пра... И кончили.

— Съ квартиры его сымай!... Сичасъ сымай!... Сукинъ ты сынъ послѣ этого... Разъ ты дворникъ...

— Тебя, вшиваго чорта, гнать надо... Ботьё!

— Фекли-истъ!... Куда ты черти унесли?... Хозяинъ влечетъ... — крикнулъ со двора кто-то.

— Питайся тутъ съ вами, чертями... Помни ты у меня... што-бы безъ скандалу... Сичасъ прямо свистокъ подамъ.

— Бери его съ квартиры!... Обязанъ ты ево...

— Сказалъ я тебѣ...

— Феклисть?... Да пойдешь ты!... Хозяинъ ругается.

— Иду!... Такъ ты помни... безобразіевъ этихъ не было штобъ... безпокойства...

И дворникъ ушелъ.

— Жу-улигъ, чортъ!—не унимался Углейкинь.

Въ немъ билась обида непокрытая, сосущая. Она пронизала его всего и завалилась камнемъ, какъ всѣ прежнія, неотплаченные, а лишь заколоченныя внутрь и ноющія обиды. Ихъ было много. Вся жизнь какъ будто только изъ обидъ и состояла. А кругомъ стѣны, и нѣтъ управы, и нигдѣ нельзя найти правды.

Онъ стоялъ у двери и осыпалъ Синицу ругательствами, хотѣлъ унижить, доказать его подлость, уличить. А Синица сидѣлъ на лавкѣ, опершись на колѣни и выставивъ широкія плечи, и вызывающе, съ усмѣшкой глядѣлъ на взбудораженнаго, растеряннаго Углейкина. Было досадно, что такъ вышло, со скандаломъ. Давно бы уже слѣдовало развязать эту канитель съ бабой. Онъ взялъ отъ нея уже все, и она надоѣла ему, и не было уже въ ней прежнихъ порывовъ.

Онъ, пожалуй, готовъ былъ теперь незамѣтно уйти, даже готовъ былъ признать, что, пожалуй, даже виноватъ немного. Но назойливость Углейкина, острыя и обидныя слова, вскрывая его «подлость», будили сознание неправоты, и оттого, что онъ чувствовалъ эту «подлость», онъ старался показать, что ему все равно. И не хотѣлъ сдаваться и смотрѣлъ вызывающе.

— А вотъ и не пойду!—съ злораднымъ сознаниемъ преимущества силы, дѣланно-покойнымъ тономъ повторялъ онъ, ощущая болѣзненное наслажденіе, желаніе еще болѣе доганать Углейкина. Не пойду вотъ... Спроси ее, кого она желаетъ... Ты смотри!... Ты не подходи, ты не...

— Чортъ! дьяволь!—безсильно кричалъ Углейкинь, отыскивая что-то на полу.

— И ничего ты со мной сдѣлать не можешь... А ты попроси... Можеть и уйду... Ты по-про-си.

— Да што-жь ты со мной дѣлаешь?... Да вить это што же!...

— Безстыжій ты, безстыжій!...—крикнула Матрена.—Измывайся, измывайся!

— Слякоти вы, больше ничего.

— Ладно!... Я на тебя сыщу управу!

— Сыщи, сыщи...—смѣялся Сеница, постукивая рѣзаконъ по лавкѣ.—Сыщи!

— Будешь ты меня помнить!

И Улейкинъ ушелъ.

— Слякоть!

Они остались съ глазу на глазъ, близкіе недавно, теперь далекіе. Въ уголкѣ, у локани, недвижно стоялъ Мишутка и смотрѣлъ, не понимая многого, и боялся.

— Ну васъ къ чертямъ!—сказалъ Сеница рѣшительно, швырнулъ рѣзакъ и прошелъ къ себѣ въ комнату.

— Безстыжій, безстыжій!

— Извозчика пришлю за постелью.

Онъ пошелъ къ двери.

— Паша...

Она, робкая, дотронулась до его ругава, все еще прикрывая рукой животъ. И глядѣла просительно.

— Чего еще?

— Паша!

Она заплакала, опутивъ лицо въ фартукъ. Она принизилась, затихла, стала покорной и слабой.

Такая она ставала когда-то вечерами въ темныхъ сѣняхъ полицеймейстерскаго дома и плакала.

Онъ остановился вплотную, суровымъ, жесткимъ взглядомъ смотря черезъ ея голову на захлестанныя дождемъ оконца.

— Чего еще?... Чего?

— Па-ша... Тошно мнѣ... тош...

— А-а-а... Надоѣло мнѣ все... Ну, васъ.

Она схватила его за руки и уткнулась головой въ его грудь, вздрагивая плечами.

— Куда, куда мнѣ ево... Выкинетъ онъ... вы... вы...

— А мнѣ куда?

И замолчалъ.

— Да ну васъ.

Онъ оттолкнулъ ее и ушелъ, хлопнувъ дверью.

Ходить, ходить по крышѣ дождикъ. Прыгаютъ въ лужахъ мутные пузыри.

XXIII.

Оставался послѣдній выходъ—идти въ участокъ и жаловаться. И Уклеинъ пошелъ, чувствуя свою правоту, неся обиду, безсиліе и надежду. На этотъ разъ онъ положился на участокъ, послѣднее прибѣжище. Хотя тамъ должны возстановить правду и возстановить быстро.

Онъ подвигался съ трудомъ: такая сильная дрожь, дрожь знакомой болѣзни и пережитаго возбужденія охватила его. Онъ дѣлалъ нѣсколько шаговъ и присаживался на тумбочку, чтобы перевести духъ. Идя мимо винной лавочки, онъ остановился, купилъ водки и выпилъ.

Почувствовалъ себя бодрѣе и увѣреннѣе шелъ къ участку.

— Тебѣ чево?—спросилъ дежурный городской.

— Пристава надо...—рѣшительно сказалъ Уклеинъ.

Приходило боевое настроеніе. Брѣгъ всегда искательный, приниженный голосъ.

— Нѣтъ пристава. Въ десять вечера будетъ. Тебѣ зачѣмъ?

— Пристава мнѣ надо!—повторилъ Уклеинъ.

— Нѣтъ пристава, сказано тебѣ!

— А мнѣ нужно!... Помощника тогда!...

— Нѣтъ никого, одинъ дѣлопроизводитель. Ужо приходи. Штой-то это морда-то у тебя вся?...

— Дѣлопроизводителя давай. Ладно!... И его мнѣ нужно.

— Проваливай, проваливай. Нечего тебѣ тутъ... Лѣзешь пьяный... Проваливай.

Городовой только теперь разобралъ, что Уклеинъ выпилъ.

— Нужно мнѣ... Р-разъ говорятъ нужно!... Слово хочу.

— Ты еще разговаривать желаешь. Проходи, проходи... Проспишься, вотъ и приходи, ежели по дѣлу.

— Сейчасъ мнѣ надо! Экстренно!

— Комаровъ! Что за шумъ?

— Уйдешь ты?! Слышь, дѣлопроизводитель.

— Ваше благородіе!... Дозвольте слово...

— Да выпимши онъ, ваше благородіе... Уклеинъ...

— Гони его!... Чортъ знаетъ...

— Кто? я выпимши?... Дѣло у меня! Ваше благородіе!... Вникните!... Войдите въ такое мое...

— Сказано тебѣ... Ступай, ступай. Ну?!...

— Вашъ благородіе! Войдите въ такое мое положеніе!... Управы ищущу... Ваше благородіе, будьте...

— Комаровъ! Позови его сюда!

Стараясь держаться твердо, Уклеининъ вошелъ въ канцелярію. Старичокъ дѣлопроизводитель пилъ чай и читалъ *Губернскія Ведомости*.

— Ну, чего тебѣ нужно?... И рожа же у тебя!

— Такъ што внимните, ваше благородіе... Такое мое положеніе... Подлецъ этоть... Синица.

— Какой еще тамъ «Синица?»

— Жилецъ мой, подлець... Спутался, стало быть, съ моей законной... супругой... и вотъ...

— А-а.

Идя въ участокъ, Уклеининъ думалъ, что скажетъ убѣдительно, такъ все выяснитъ, что всѣ поймутъ великую обиду. Но когда началъ говорить, увидѣлъ, что дѣлопроизводитель прихлебываетъ чай и смотритъ на него; сморщившись, и даже слова, которыя онъ произносилъ самъ, стараясь высказать въ нихъ тяготу душевную, были самыя простыя: ничего особеннаго, потрясающаго не было въ нихъ.

— Ну?... Спутался... Ну?...

— Ну и... избилъ меня... вотъ присмотрите... все это вотъ мѣсто... и сюда... и подъ сердце... и... я...

— Ну и что же?... Ну, избилъ... ну?... Обокралъ, что ли?

— Этого, конечно, не было... только што... Ваше благородіе! Да вы внимните!... Измытарилъ онъ, подлець... съ квартиры не сходить, а сидитъ... какъ идола... Гдѣ-жъ это видано!... Да я его самъ тогда...

— Ну и что же?... Комаровъ!... чаю дай.

— И управы никакой... Вить это прямо... сволочь.

— Ты не ругайся, здѣсь не...

— Явите божескую... Вить это што же такое... самоуправленіе... Ваше бла...

— Дуракъ ты и больше ничего... Мы тутъ не причемъ... Какъ ты, пьяный, и смѣешь...

— Я, ваше благородіе, ничего не смѣю... Махонькій я человекъ, ваше благородіе... Но ежели я могу понимать... Обидно вить... Съ квартиры... моей мѣстожительствы не сходить...

— Къ судѣ, къ судѣ...—замахалъ рукой дѣлопроизводитель.—Это дѣло насъ не...

— Ваше благородіе!... дозвоьте съ полицейскимъ снять... взять его, подлца... Онъ меня...

— Пшелъ вонъ!... Комаровъ!...

— Дозвоьте, ваше благородіе, объяснить... Я не пьянъ... я

ни-ни... Вотъ здѣсь самъ Государь Ампиаторь... при емъ... Вы приникните... Я выборы дѣлалъ... я хушь махонькій человекъ... Обидно... За што-жъ это а? а?... Онъ, сукинъ сынъ... бабу мою... съ ней такое дѣло...

— Комаровъ, возьми его!

Уклеинъ выдернулъ руку и подбѣжалъ къ дѣлопроизводителю.

— Ваше благородіе!... Да гдѣ же правда-то?! Да што-жъ самому мнѣ его, рѣзакомъ?... рѣзакомъ его, сво...

— Бери, бери его!... Вотъ болванъ!...

— Песъ я, што-ль?... Ваше благо...

— Ну, иди, иди... Живо!...

Комаровъ тянулъ его за руку и повертывалъ.

— Ваше благородіе!... Мнѣ господину приставу... слово... Ваше благ...

Комаровъ уже толкалъ его въ спину, несъ сзади свое большое тѣло и тѣснилъ грудью.

— Я жаловаться буду!... Господину губернатору... Въ архирею пойду... Ни суда, ни закона... А?! Што-жъ теперь?... По моему дѣлу... по семейному... Всякій подлець...

— Ты не разсыпайся, а то за рѣшотку вправлю... Бьютъ тебя?... Бьютъ?... Чортъ лохматый!

— Ваше благородіе!... Вникните въ семей...

Его голосъ перешелъ въ высокій, надтреснутый альтъ, и оборвался, потерялся въ всхлипываніяхъ.

— Сказано, ничего тебѣ у насъ не выходитъ...—сказалъ городской, подводя Уклеина къ выходу:—Ну, шелъ!

И дверь захлопнулась. Но Уклеинъ сдѣлалъ еще попытку. Онъ отворилъ дверь, высунулъ голову и крикнулъ:

— Ваше благородіе!...

— Такъ ты ешно!... Просунь ешно... Прямо за рѣшетку всажу!... Сунься ешно вотъ!...

XXIV.

Домой онъ не пошелъ, чего-то опасаясь. Что-то сдерживало его. Да и зачѣмъ бы онъ пошелъ теперь? Показать свою безпомощность? Признать побѣду силы при всей своей правотѣ?

Онъ шелъ переулками, безъ цѣли, крутился вмѣстѣ со своими пьяными мыслями,—то вдругъ ясно сознавая позоръ и обиду, чувствуя потребность расплаты, то стараясь поймать и вспомнить какія-то свѣтлые обрывки того, что еще такъ недавно теплилось въ немъ.

Если бы еще сияло солнце въ небѣ, если бы еще голубой просторъ манилъ... Но этотъ неутомимый, скучный дождь, набухшее небо, опустившееся мутью къ землѣ—давили... Грязь плыла во всю ширину проулковъ, хлопала, просачивалась въ трещины старыхъ сапогъ. И все кругомъ было сѣро, мутно, грязно и мокро. И повислыя стояли деревья за набухшими, гниющими заборами.

Встрѣтился знакомый фельдшеръ Блюковкинъ и обошелъ стороной, скучный, намокшій. Улейкинъ остановился и посмотрѣлъ вслѣдъ. И фельдшеръ тоже обернулся и посмотрѣлъ.

На углу одного изъ переулковъ, на заборѣ съ остатками пестрыхъ влючевъ афишъ и объявленій, бросился въ глаза большой, бѣлый кусокъ съ черными, жирными буквами.

Улейкинъ остановился, вспомнивъ что-то. Это былъ значительно потускнѣвшій обрывокъ прошлаго. Прыгающія черныя буквы еще говорили:

«Граждане-избиратели!

«Сегодня, 22 февраля, въ 8 часовъ вечера»...

Только всего и осталось. Чуть-чуть поднялось въ душѣ щемящей болью, поныло и сгасло.

Онъ постоялъ, покачиваясь, потрогалъ пальцемъ, провелъ ногтемъ по афишѣ морщинистую царапину и пошелъ.

На углу базарной площади, въ чайной, скрипѣлъ граммофонъ:

«Я знаю, что ты хо-очешь,

Напрасно ты хло-по-чешь...

На-прасно-о... на-прасно-о»...

Улейкинъ вошелъ въ чайную, пробрался въ уголокъ и сѣлъ.

— Парочку?—подлетѣлъ половой.

— А?... Дай... тово... въ чайникъ.

— Понимаю-съ...

Улейкинъ сидѣлъ и пилъ изъ чашки водку. Пилъ и ни о чемъ не думалъ. Всѣ мысли точно слиплись въ комъ, завязли гдѣ-то. Кругомъ, въ скрежетѣ граммофона, прыгали отрывки говора.

— Возьми, гритъ, двѣ красныхъ... Это онъ Михалъ Иванову-то... За кобылу ту... Двѣ, гритъ, красныхъ...

— Ласковый чортъ...

— И неизвѣстно гдѣ... быдто за границу уѣхали... и оттуда ужъ шлюють...

— Да ужъ ихъ теперь не допустють... ни въ какомъ разѣ... ть это такъ въ этому и шло...

— Опять соберуть... безъ астого нельзя... штобы не собрать... юй законъ...

— Имъ бы не надоть горячиться спервоначалу... а помаленьку бы во власть входить...

— Да вить кабы знать...

И вдругъ стихли разговоры. Только одинъ граммофонъ скрежеталъ и скрежеталъ знакомое:

«Ямщикъ вздохнулъ и кнуть ре-ме-е-нный

Съ го-ли-цей за поясъ заткну-уть.

Р-родные... стой!... Эхъ, ты, неугомо-о-онный»...

Уклеикинъ покачнулся, двинулъ рукой и уронилъ голову на грудь. Откинулся къ стѣнѣ и смотрѣлъ въ одну точку. Изъ нутра, изъ самой глыби, гдѣ все было такъ примято и забито, начинало подыматься, бурлить. Онъ снялъ картузь и двинулъ ногой. Пошевелилъ плечами и забралъ воздуху. И все смотрѣлъ въ одну точку. А ноги совсѣмъ ушли куда-то.

Граммoфонъ умолкъ. Снова заговорили кругомъ. Звякнула посуда на столигѣ, упала чашка. Стихло въ чайной. Повернулись головы въ сторону Уклеикина.

— Жульё!!... Шкалик!!...

— А-а... Уклеикинъ!... Не видать все было...

— На точку попалъ... гы-гы-г-ы... Штой-то физиономія-то у ево...

— Починился...

— Предались!... Упр-равы нѣтъ!... Жульё!...

— Ну, какъ нѣтъ!... А на Золотой улицѣ-то... подь гербомъ...

Уклеикинъ уже стоялъ у столика, покачиваясь, безъ картуза, уставившись глазами въ одну точку. Хозяинъ за стойкой далъ знакъ. Быстро подбѣжалъ половой и унесъ посуду. Стремительно подскочилъ другой, вѣжливо охватилъ Уклеикина за спину и сталъ направлять къ двери.

— С-сволочи!... Най-ду... Всѣхъ сыщу!... За-рѣ-жу!...

— Пойдемте, господинъ Уклеикинъ... мы всѣхъ найдемъ...— уговаривалъ половой, жестомъ подзывая на помощь.

— Не ж-жала-ю!... Си-часъ... говорить буду... все!...

— Дай ему разойтись... уважь... Сребруть его тамъ...

— Слеза въ емъ плачетъ...

— Я бы радъ-съ... Хозяинъ не приказываетъ. Пожалуйте, господинъ Уклеикинъ... гулять-съ... на воздухъ... на Золотую улицу сичасъ...

— Стой!... Братцы... Господа изби... биратели!... Пого-ди!... Не трожь!... Вы меня... оставьте... вы меня не... тово... Слово хочу сказать... В-вотъ!!...

Онъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь.

— Выпили!... Н-нѣтъ ничего... А?... чево?... Рази я што?...

Снова заскрипѣлъ граммофонъ, пущенный по знаку хозяина.

— Стой!... Музыку хочу!... игру!...

— Пожалуйте, пожалуйста... Двадцать копеечекъ получить съ васъ... Ну, запишемъ-съ... Только скандалу не затѣвайте, уважьте хозяину... Они завсегда вамъ уваженіе дѣлаютъ... Проходите...

«Ахъ, вы, Сашки-канашки мои»...

XXV.

А съ улицы уже несло:

— Жульё!!... Сыщу!!...

Чайная опустѣла. Бѣжали за Углеинимъ, который уже стоялъ у входа въ народный домъ, на лѣсенкѣ, окруженный любопытной толпой. Выскакивали изъ лабазовъ, изъ щепного ряда.

Углеинъ смотрѣлъ на стеклянныя двери народнаго дома, въ темную глубь вестибюля за ними.

— Братцы!... Слово хочу сказать!... Пуца-ай!... Отворий!...

Онъ стучалъ въ окна и дубовый переплетъ. А изъ темной пустоты за дверями, въ каменныхъ стѣнахъ, какъ въ пустой кадкѣ, отзывалось гулкое эхо.

— Чер-рти!!... заперлись!!... Пуцай!!...

— Энь, куда захотѣлъ!... Про политику... Катай здѣсь, все едино...

— Што-жъ не пуцаютъ?!... Какова дьявола...

Онъ приложилъ лицо къ стекламъ и всматривался.

— Да, братъ, теперь не пуцаютъ...

— Онъ сичасъ это... произведетъ... Цапни-ка хорошенько...

— Будя баловать-то, онъ и впрямь... вишь не въ себѣ...

— Шпана!... Городская голова!... Ты што-жъ... это...

— Полицейскій идетъ!... Э, чортъ, сичасъ заберутъ.

— Ну-ка, ну-ка... двинь!... Р-разъ!...

— В-во-отъ!

Углеинъ поднялъ руку и съ силой ударилъ. Съ четкимъ звономъ запрыгали стекла за дверью, по каменнымъ плиткамъ вестибюля, точно мелкое серебро посыпалось.

— Порѣзался, братцы!... Тагъ и хлыщеть.

— Да бери его, оттаскивай!...

— Отымай, ребята!

Углеина схватили за плечи, но онъ вырывался, билъ ногами, выгналъ кровью.

— Пу-у-скай!... Предались!... Убью!...

Полицейскій расталкивалъ толпу.

— Расходись!... расходись!... Гдѣ онъ тутъ?...

— А, ты у меня еще окна бить... ты окна бить!

— Господинъ полицейскій! Нельзя такъ... Бить нельзя.

— Што-жь это такое! Ты ево такъ бери. Зачѣмъ бить!—слышалось изъ толпы.

— Фараоны-черти! Какъ бьеть-то! Господи!

Уклеинъ лежалъ на каменныхъ ступенькахъ. Городовой давалъ тревожный свистокъ.

— Ишь ты, въ кровь избилъ!

— За-чѣмъ?... Самъ порѣзался... Онъ легонько.

— Легонько-о... Какъ въ глазъ-то саданулъ!... И морда вся взбита.

— За што... ты меня ударилъ?... За што-о?—слышался протяжный, жалобный голосъ Уклеина.

Онъ кричалъ пронзительно, и въ крикахъ бились и жалоба, и протестъ, и помраченное, вспыхивающее сознание, и обида, опять не возвращенная. И изъ каменной глубины пустыхъ коридоровъ народнаго дома кто-то тоже, казалось, отзывался жалующимся, безсильно протестующимъ крикомъ.

— Сидоро-овъ!... — кричалъ городовой. — Да иди, чортъ сивый... Извозчика!... Ты еще полѣзь!...

— Баба, не толпись!

— За што-о... ты меня... ударилъ?!... Братцы-ы!... ка-ра-у-уль!...

— Ты не ори!...

— За што ты... меня ударилъ?—повторялъ Уклеинъ, облизывая руку.—За што ты...

— А вотъ за то!...

И Уклеинъ ударился головой о двери народнаго дома.

— Нельзя!... За што вы ево бьете?... С-сволочь! Бьеть его и на! Развѣ нонче такъ возможно?! А? Нельзя этого нонче.

— Взгрѣть бы вотъ самого... Боровъ, чортъ!

Изъ заднихъ рядовъ, расталкивая толпу и сверля глазами городского, выдвинулся высокій человекъ въ черной рубахѣ, кузнецъ.

— Ты за што его ударилъ? за што?

Онъ спрашивалъ, стиснувъ зубы и впиваясь глазами въ полице скаго, спрашивалъ, надавливая на каждое слово, точно вбивалъ гвозди

— А тебя спрашивали? спрашивали тебя?...

Р-разъ!...

Громадный черный кулакъ, какъ котельный молотъ, упалъ съ тупымъ звукомъ, и кузнецъ затерялся въ толпѣ.

— Эт-то дѣ-бло!...

— Чи-исто!...

Толпа порѣдѣла. Отходили подальше и наблюдали издали. Растерявшійся городской искалъ кузнеца, но толпа снова сомкнулась: подъѣхалъ на извозчикѣ новый городской.

— Не давай, братцы! не давай!—кричали въ заднихъ рядахъ.

— Пущай, пущай... Да подъѣзжай, чортъ!...

— Куда на народъ-то прешь!... ты!...

— Не пущай, братцы!... излупять его въ участѣ.

Теперь Углекина рвали со всѣхъ сторонъ. На немъ уже не было пиджака. Ситцевая рубаха была въ клочьяхъ; и виднѣлась впалая и костлявая, въ царапинахъ и синякахъ, грудь. Недоумѣвающіе, остеклѣвшіе глаза остановились. По жидкой бородѣ изъ угла рта струилась алая жилка.

— Ка-ра-у-у-уль!...

Это былъ какой-то страшный, хриплый вой животного.

Начиналась свалка. Изъ заднихъ рядовъ камнями били стекла народнаго дома, пшвыряли грязью. Подоспѣвшіе дворники окружили Углекина и старались взвалить на извозчика, но онъ упирался, бился ногами и вылъ. Раза два голова его стучалась о подножку. Съ него стащили сапогъ, оборвали штаны. Только узкой тесемкой держалась на шеѣ рубаха.

Наконецъ его удалось положить поперекъ, городской сѣлъ бокомъ, придерживая за волосы бьющуюся голову, надавливая сапогомъ на ноги.

— Въ участокъ!...

Бѣжала толпа. И далеко въ падающихъ дождливыхъ сумеркахъ, по проулкамъ и тупичкамъ, сился и замирая, несся человѣческій вой:

— Кара-у-у-уль!...

— Сапогъ-то оставди,—сказалъ кто-то изъ оставшихся у народнаго дома.—Свѣдуть еще.

— А его туда, въ дыру сунуть.

И тяжелый, намокшій сапогъ гулко шлепнулся за разбитыя двери.

XXVI.

На утро онъ проснулся за рѣшеткой, открылъ глаза, увидалъ зный асфальтовый полъ, лоскутья, мокрую швабру и шайку. Подъ голову и опустил въ безсиліи.

Было холодно, и онъ потянулся за лоскутами, но не досталъ. Тогда, не пытаясь подняться, поднесъ къ лицу руки и хотѣлъ сжать голову, выдавить шумящую боль. И не смогъ. Провелъ языкомъ во рту и почувствовалъ пустоту.

Ломило тѣло, обжигало внутри, охватывало неудержимой дрожью.

И ни одна мысль не удерживалась въ головѣ. Вспыхивала, запутывалась и тонула.

Такъ онъ просидѣлъ до обѣда. Привалился къ стѣнкѣ и сидѣлъ.

Послѣ обѣда городской отомкнулъ рѣшетку.

— Можешь идти?

Уклекинъ поднялся и ударился головой о стѣну.

Его вывели къ дверямъ участка, накинули на плечи остатки пиджака. Но онъ не могъ идти и сѣлъ на землю. Тогда городской поднялъ его, довелъ до угла и оставилъ у забора.

— Теперь и самъ дойдешь.

XXVII.

Еще семь дней прошло въ жизни Уклекина. Онъ не видалъ ихъ. Они проползли безъ задержки, проваливаясь подъ ровное и сухое чиканье ходиковъ въ тусклой и затхлои мастерской. Для него уже не было времени, потому что онъ уже не могъ различать, когда начинался день, когда густились сумерки.

Ни долгій, ни короткій рядъ спутанныхъ видѣній кружилъ его въ одной точкѣ пространства, неизвѣстно—въ какой, потому что и сознание пространства потерялось, какъ теряется оно для завертѣвшагося на одной точкѣ человѣка. И не жалко, пожалуй, было потерять и время, и пространство. Жалко терять цѣнное, а какую цѣну могъ дать Уклекинъ времени и пространству? Время уже давно обратилось въ одинъ долгій, пустой и томительный часъ, — такъ всѣ часы были похожи и скучны этой похожестью.

Пространство... Оно было такъ невелико. Мастерская и переулокъ, винная лавочка и чайная и, какъ предѣлъ, голубые купола и облупившіяся стѣны въ землю растающего монастыря. Было еще далекое—тамъ... откуда вершила жизнь невѣдомая сила, откуда наплывали пути и петли. Тамъ, на землѣ, надъ землей или подъ землей, кругомъ. За далекими ли звѣздами или невидимо розлитое повсюду, близкое или далекое. Незвѣстное тамъ...

Но теперь уже ничего не существовало для него. Ни *здѣсь*, ни *тамъ*. Онъ былъ нигдѣ и вездѣ.

Онъ не спалъ эти семь для другихъ протекшихъ дней. Онъ не спалъ и все же не видалъ ихъ, не могъ различить дня отъ ночи. Иногда, на мгновеніе, вертящійся, неуловимый зайчикъ, много-много блестящихъ зайчиковъ врывались въ темную пустоту, крутились мелкой дрожью вокругъ и сразу проваливались. Иногда густая чернота на мигъ одинъ заливала все, и снова выпрыгивали зайчики, или близился кто-то, похожій на дождь, туманный и мокрый, крался неподалеку, постукивая часто-часто. Иногда ни одинъ звукъ, даже грохотъ пустыхъ бочекъ по мостовой, не проникалъ въ мозгъ, точно между нимъ и міромъ было пустое пространство. И вдругъ—маятникъ начиналъ бить, какъ молотъ по пустому котлу, и переходилъ въ грохотъ.

Это пришли великаны и гигантскими рычагами перешвыриваютъ желѣзныя балки. И не дивился Углекинъ, такъ какъ зналъ, что необходимо перешвырять всѣ балки и растащить, иначе ихъ накопится страшно великая груда, закроетъ окна и двери, и нельзя будетъ выйти.

А великаны работали большими волосатыми руками, шептались и поглядывали на него и что-то объясняли, какъ будто совѣтовали продать эти балки купчишкѣ Ухалову. Накатывалась туманная волна, и опять билъ молотъ ровно-ровно въ котелъ, раскалывая голову.

Маятникъ отсчитывалъ шаги времени.

Приходили проститься видѣнія жизни. И было немного ихъ, и скучныя, и пугающія были они.

Не море шумѣло волнами, не тихій плескъ вызывалъ покойную тоску.

Углекинъ не видалъ моря.

Не шумныя улицы, торжища людского пота; не гулкіе очаги людской жизни; не золотыя стекла, стоящія больше человѣческой жизни,—пробѣгали блестящіе передъ ослабѣвшими, тусклыми глазами.

Углекинъ не видалъ шумныхъ улицъ и гулкыхъ очаговъ.

Падала закопченная стѣна, —и сотни тяжелыхъ ногъ нагоняють, сотни разинутыхъ глотокъ ревутъ:

— Углекинъ!

И цапають руки, и бьютъ, и тащутъ.

Иногда Мишутка, напуганный хриплымъ стономъ, тихо-тихо, дучись, подходилъ къ деревянной кровати, гдѣ съ потемнѣвшимъ ономъ и широко открытыми глазами метался Углекинъ. И смолкъ, боязливый и спрашивающій, закусивъ палець. И думалъ что-И огликалъ, осматриваясь:

— Папань...

Но его голосокъ тонулъ въ хаосъ чугунныхъ ударовъ.

Желтый огонекъ рождался изъ тьмы, неподвижный и скучный, назойливо-неподвижный огонекъ. И ширился.

Но это не было солнце, такъ какъ Уклеинъ и солнца не разглядѣлъ какъ слѣдуетъ за свою жизнь. И не помнилъ его. Это былъ мертвый огонекъ лампочки-коптилки, молчаливаго спутника долгихъ рабочихъ вечеровъ и ночей.

И этотъ неподвижный огонекъ начиналъ шириться и расплываться, заливать все. И все ширилось и заливалось свѣтомъ, яркимъ, какъ солнце по вечеру, когда весь западъ начинаетъ пылать тихимъ пожаромъ. И изъ свѣтлаго мѣста выплываютъ головы, головы, головы, шевелятся, расходятся, строятся въ ровные ряды съ деревянными спингами за ними, и выплываетъ знакомое лицо старичка, котораго Уклеинъ видѣлъ когда-то и запомнилъ, близится, щурится глазъ, и старичокъ подмигиваетъ, перебираетъ листочки и спрашиваетъ:

— А у насъ?...

И головы тонуть, и только одинъ парикмахеръ остался, машетъ платкомъ, показываетъ золотые часы и голосомъ, похожимъ на голосокъ Мишутки, окликаетъ:

— Папань!...

Но бьютъ шумы и пугаютъ, и надо бѣжать: тысячи ногъ наступаютъ сзади, и тѣ, кто бѣжить, молчатъ.

И мечется Уклеинъ, кричитъ хрипло и бьетъ ногами, но не бѣжить, потому что его уже настигли и держатъ. Тогда что-то бѣлое и большое около, пухнетъ, близится и нагибается. Двѣ черныя щелки глядятъ, чьи-то строгіе, пронизывающіе и пугающіе глаза.

Это Матрена, но не прежняя, а совсѣмъ особенная, до потолка.

Она сейчасъ навалится и задушитъ вздрагивающими пальцами.

И онъ жметъ къ стѣнѣ, хочетъ вдавиться въ нее и кричитъ, стучаясь головой, и не отводитъ глазъ. Потому что, если закроетъ глаза, вздрагивающіе, цѣпкіе пальцы задушатъ и поволокутъ.

Чья-то голова въ золотыхъ очкахъ нагибается. Что-то холодное трогаетъ за руку.

И Мишутка, и Матрена знаютъ, что это полицейскій докторъ, и слушаютъ, что у сапожника «горячка», и что «завтра же нужно отправить его въ больницу, а ночью отнюдь не отлучаться». Но Уклеинъ не слышитъ, а видитъ отлично, что это Синица придѣлалъ себѣ бороду, надѣлъ очки и хочетъ заманить его въ глухой переулокъ у

мостка черезъ канаву, гдѣ зеленая, стоялая вода въ ямѣ, и будетъ настаивать, чтобы онъ непременно окунулся, и тогда будетъ обязательно молодымъ и сильнымъ, какъ онъ, Синица; но Улейкинъ знаетъ Синицу, рвется и бьетъ его по рукѣ, и бѣжитъ, но его снова хватаютъ и давятъ на голову чѣмъ-то тяжелымъ и холоднымъ.

И кто-то тихо-тихо зоветъ:

— Митюшъ...

Но это обманъ. Стоитъ только опустить ноги съ полочки, на которой онъ лежитъ, сейчасъ тутъ и провалъ, черный провалъ.

Онъ свѣшиваетъ голову и засматриваетъ. Да, провалъ.

Кто-то тихо-тихо раздвигаетъ половицы и снова сдвигаетъ.

Кто-то хотѣлъ его обмануть и не успѣлъ: хоть и сдвинулъ опять, но Улейкинъ замѣтилъ, какія огромныя были щели, а теперь чуть замѣтныя черныя трещинки, и бѣлое въ нихъ что-то. Это *оно*, большое и стерегущее, притаилось тамъ, подъ досками, и если ступить, опять разбѣдутся половицы, и *оно* захватитъ за ноги и повлечетъ въ глубину. И дальше отъ края отодвигается Улейкинъ. Бладеть руку на грудь.

Такъ и есть. Это они всѣ и повыскакали изъ-подъ пола, когда раздвигали половицы. Мыши... бѣгаютъ, бѣгаютъ, юлятъ, мельбаютъ бѣлыми хвостиками, дѣлаютъ вѣтеръ и посвистываютъ. Бѣлыми ленточками сверкаютъ вокругъ, вертятся, точно запутываютъ кольцами. И не видно ихъ въ этихъ мельбающихъ, опутывающихъ петляхъ. Они запутаютъ его, бросятъ концы въ щели, а *тамъ* схватятъ концы и потащатъ внизъ, въ черноту.

И онъ рветъ петли, хочетъ схватить хоть одну мышъ,—и это необходимо, потому что сейчасъ же всѣ онѣ останутся и распутаются, и ленты опадутъ. И онъ, должно быть, поймалъ, такъ какъ мыши остановились, рассыпались, а одна усѣлась на рукѣ, у груди, зеленая, какъ лягушечка на солнцѣ, и юркая. Она вертится на рукѣ, вспыхиваетъ зеленоватымъ блескомъ и дѣлается сквозной, какъ шаръ въ аптекѣ на Золотой улицѣ. И еще, прозрачная и зеленая, на тоненькихъ ножкахъ, ходитъ неслышно, какъ вѣтерокъ... и еще...

онѣ собрались на груди и начинаютъ подградываться ползкомъ орлу, чтобы задушить. Но онъ дуетъ на нихъ, и онѣ, чтобы обуть его, мѣняютъ цвѣтъ свой на красный, становятся ярко-пунными и сквозными, какъ летающіе шары на солнцѣ, худѣютъ, гнѣютъ и опадаютъ, и видно лишь розовую шелуху ихъ шкурокъ. хиваетъ ихъ Улейкинъ и рветъ ситцевую рубаху.

внизу кто-то уже опять раздвигаетъ половицы, скрипитъ ими,

и оно подымается и пухнетъ, бѣлое и теплое, съ шевелящимися пальцами и желтымъ огонькомъ въ ружѣ.

Онъ видитъ, что это Матрена, но опасается, — не превратилось ли оно въ Матрену, чтобы заставить его ступить на полъ.

— Митрій... ты што?... а?...

Онъ слышитъ, но отмахивается руками и жметъ къ стѣнкѣ. Слышитъ, какъ кто-то шепчетъ:

— Достойна еси выстину...

Это знакомо, и хочется поднять глаза кверху, въ самый послѣдній рядъ иконостаса. Тамъ золото сверкаетъ, и двое, старецъ и молодой, въ мантияхъ, голубыхъ, какъ небо, сидятъ на облакѣ и поддерживаютъ крестъ, надъ которымъ паритъ бѣлый голубь.

Хорошо, что не подыжалъ глазъ. Оно виситъ надъ нимъ и глядитъ, и двигается по стѣнѣ черная лапа, хочетъ схватить его, какъ только онъ пошевелинется. Бѣто-то фукнулъ, пропалъ желтый огонекъ, черная лапа.

Упала тьма.

Бѣлое тянется въ окна, что глядятъ большими, холодными глазами, бросая сѣдые, ломающіяся полосы. И никого нѣтъ тамъ, откуда глядятъ они. Мѣдники въ темнотѣ стучать по самоварамъ.

Полная луна бросила два молчаливыхъ, грустныхъ снопа свѣта.

Потянулись черныя тѣни и умерли. Перевалялись черезъ переулокъ многоэтажный домъ купца Овсянникова и задавилъ все. Упала высокая колокольня собора, накрыла площадь, и тѣнь креста изломалась на трактирномъ заведеніи Дутикова. Все переломалось и пало черными, чудовищными тѣнями.

Бѣлый и воздушный, дремалъ на черномъ подножии городъ.

Въ этомъ бѣломъ, что наполняло собой мастерскую, прячутся, таятся и стерегутъ. Уже ползутъ и глядятъ, крадутся къ стѣнѣ, близятся. Давно крадутся.

И Уклеинъ отодвигается отъ стѣны: можетъ быть, они пройдутъ между нимъ и стѣной въ темноту.

Крадутся, ближе крадутся. Въ ногахъ уже стоитъ оно, подымается, перегибается и глядитъ сверху, тянется, тянется. Петли, бѣлая петля качаются.

Онъ забылъ о щеляхъ въ половицахъ, неслышно сползъ на полъ, полѣзъ подъ кровать и забился. Но бѣлое уже тянулось за нимъ.

Ходжки отсчитывали секунды ночи. И были живые они, точно дышали то тихо-тихо, какъ бьется сердце, то испуганно, страшно, какъ тревожная барабанная дробь.

А оно ползло, накрывшись бѣлымъ пятномъ.

Онъ поползъ отъ пятна, какъ ползаютъ неумѣющія ходить дѣти. Онъ старался уйти въ темноту, но уже другое пятно сторожило его, и только одна узкая черная тѣнь спасала его, и онъ держался на ней, поглядывая на бѣлыя пятна, и сторожилъ ихъ. Но черная тѣнь уходила изъ-подъ него, и пятно наплывало. Онъ отодвинулся.

Одно пятно переходило на стѣну. Онъ понялъ, что его хотятъ накрыть сверху, сжалъ черную тѣнь подъ собой, но та уползала и тоже перебиралась на стѣнку. И близилось къ нему молчаливое и неумолимое бѣлое. Онъ сжался и бился о стѣнку. Но оно шло и шло. Ужасъ кричалъ въ немъ безмолвнымъ крикомъ.

Онъ уже бился головой въ стѣнку, защищался руками, и уже бѣгли концы пальцевъ.

И когда понялъ онъ, что погибаетъ, онъ съ силой ударилъ руками объ полъ и сжалъ что-то холодное и свергающее.

И скрипнуло что-то позади, и зашевелилась стѣна, и ушла. И оно стояло теперь надъ нимъ, большое и бѣлое, съ вздрагивающими пальцами и черными прядями волосъ.

И вдругъ нагнулось съ крикомъ, и вытянуло вздрагивающія руки, чтобы схватить. Но онъ молніей ударилъ въ него тѣмъ, что было въ рукѣ, и вертѣлъ, и сверлилъ.

И бѣлое крикнуло всѣми страшными голосами, и билось между нимъ и стѣной.

И еще крикнуло что-то звонкое, и еще.

И разлетѣлось со звономъ разъ, и другой разъ разлетѣлось со звономъ. Черныя головы лѣзутъ въ свѣтлыя дыры въ стѣнѣ и кричатъ. И чирикаютъ, и вспыхиваютъ огни.

Онъ оторвалъ руку отъ бѣлаго, уже притихшаго, и старался сорвать съ себя бѣлыя петли, но они опутывали и душили.

А огни вспыхивали, и кто-то ударялъ въ стѣны, глухо, какъ въ пустоту.

Тогда, слабѣя и задыхаясь, онъ ударилъ съ размаху по горлу и оборвалъ петли. И они поплыли отъ него, блѣдныя и тая, а въ него винула красная, теплая волна и потопила.

Онъ вытянулся, какъ послѣ долгой работы, усталый и тихій.

Чуть отдавались шумы. Чуть, какъ далекія зарницы, вспыхивали ии.

— Что еще тутъ? чего свистали?—спрашивалъ съ улицы строгосось.

— Убиство вышло... сапожникъ жену зарѣзалъ...

— Какъ зарѣзалъ?!... Пусти... пусти ты...

— А вотъ извольте смотрѣть... Ну-ка, чергани еще...

Вспыхнула спичка, освѣтила блѣдныя, заглядывающія лица.

— А-а-ахъ ты... Го-спо-ди... Все!... и онъ...

Дверь рвали.

— Ну-ка, ну-ка... еще чергани... Господи!... Кровищи-то...

Объи лежать... Да не засти ты!...

Дверь сорвали.

Иванъ Шмелевъ.

На Иматрѣ.

I.

Разсказать тебѣ это—не смѣю,
Не найду я стремительныхъ словъ,
Только память смиренно лелѣю
Этихъ странно-обманныхъ часовъ.

Быль я счастливъ? Не помню... не знаю,
Только жадно я въ омутъ глядѣлъ,
Приближался къ безвѣстному краю,
Смутно чужалъ далекій предѣлъ.

Были радостны вольные гимны
И безсвязныя пѣсни волны,
Были зори туманны и дымны,
Какъ суроваго сѣвера сны.

Было небо бездонно и блѣдно,
Догоралъ сѣро-синій закатъ
И тоскующимъ далямъ побѣдно
Отвѣчалъ грохоча водопадъ...

Разсказать я тебѣ не сумѣю,
Ты сама мою душу прочти,
Надъ усталой, забвенной—надъ нею
Голубые открылись пути.

Пусть и это былъ проблескъ обманный,
Но въ забвенности тусклыхъ годинъ
Не забуду я дали туманной
И побѣдно гудѣвшихъ стремнинъ...

II.

Съ бѣшеной жаждой измѣны,
Съ тоской незабытыхъ обидъ
Брызги опаловой пѣны
Дробятся о сѣрый гранитъ.

То улыбнутся напѣвно,
То кинутся въ пасть глубины, —
Брызги вздымаются гнѣвно
И грузно встають валуны.

Прыгають капли изъ скважинъ
Со звономъ серебряныхъ струнъ, —
Пѣной столѣтнею сглаженъ
Безстрастный и мертвый валунъ.

Слиты конецъ и начало,
Въ единое слиты кольцо,
Смерть мнѣ киваетъ устало
И жизнь обвѣваетъ лицо.

III.

Я полюбилъ твою бессонность,
Твою живую красоту,
Твоей тоски неутоленность
И бѣлыхъ гребней наготу.

Люблю и царственный твой грохоть,
И лепетъ пѣнныхъ жемчуговъ,
Звѣриный вой и дерзкій хохоть
Надъ мохомъ мертвыхъ береговъ.

Твоей стремнины хоръ нестройный
Изъ сердца стихшаго исторгъ
Порывъ къ святынѣ безпокойный
И передъ вѣчностью восторгъ.

И я — бѣгу, бѣгу отсюда
И по тебѣ моя тоска:
Я сохраню тебя какъ чудо
Издалека!

Л. М. Василевскій.

Д Ъ Т И

Наброски къ роману.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Въ июнѣ 1903 года въ саду, прилегавшемъ къ дому помѣщика Смирнова, сидѣло трое молодыхъ людей: двѣ дѣвушки и мужчина въ черной поддевкѣ и въ картузѣ.

И домъ, и садъ были одинаково стары и хороши. Домъ былъ изъ такихъ, о которыхъ говорятъ, что они крѣпко спиты: тяжеловѣсныя бревна, большія, остроконечныя, вродѣ готическихъ, окна, дубовыя ставни, дубовыя ступени и навѣсъ крыльца. Отъ дома и его пѣтушковъ на карнизахъ вѣяло чѣмъ-то старымъ, роднымъ и славнымъ; отъ наводнявшей садъ цвѣтущей зелени лишь вокругъ пахло русскою брагой, а отъ немолчнаго крика грачей становилось какъ-то весело на душѣ.

Обѣ дѣвушки, сидѣвшія съ молодымъ мужчиной въ душистомъ липнякѣ, весело и непринужденно смѣялись. Обѣ—высокія, обѣ блѣдныя и черноглазныя, онѣ замѣчательно походили одна на другую и казались сестрами-близнецами; только приглядѣвшись, можно было замѣтить, что одна была значительно старше другой. Если одна изъ нихъ, великолѣпно красивая, находилась въ самомъ расцвѣтѣ своей красоты,—то красота другой только обѣщала еще распусться: руки у нея были нѣсколько красны какъ у подростка, въ глазахъ было того блеска, какъ у вполне взрослой дѣвушки, походка была столь спокойная; но, уступая сестрѣ въ красоту, младшая была оша своей юностью и чистымъ незнаніемъ. И смѣхъ у нея былъ иче, и лицо подвижнѣе, и чаще вскакивала она со скамьи и верасъ вокругъ молодого человѣка, но разница только въ этомъ и а: когда же обѣ молчали, было трудно отличить одну отъ другой.

— Которая же изъ васъ красивѣе? Которая красивѣе?—съ улыбкою спрашивалъ ихъ молодой человекъ и не то шутливо, не то серьезно и внимательно къ нимъ приглядывался. И глаза у него, всегда печальные, начинали блестѣть, и по блѣдному лицу расплывалась чуть замѣтная краска.

— Зина красивѣе!—твердила младшая.—Зина гораздо красивѣе меня. У меня, напримѣръ, уши больше. У Зиночки уши маленькія, какъ у мышки.

Тася смѣялась, а Ленева смотрѣлъ на обѣихъ съ тихимъ, радостнымъ любопытствомъ и переводилъ на младшую глаза и улыбался тихо, съ маленькимъ недоумѣніемъ и чуть замѣтной неясной печалью.

Потомъ всѣ, точно по командѣ, встали и, взявшись за руки, медленно пошли по липовой аллеѣ, ронявшей на песокъ свои блѣдныя и душистые цвѣты. Вѣтви, колеблемыя чуть уловимымъ еще весеннимъ вѣтромъ, слабо бились одна о другую и слабо звенѣли, какъ бы шепча другъ другу что-то весенне-таинственное, и легкія кружевные тучки таяли въ воздухѣ, уносясь не вправо и не влево, а куда-то въ высь, въ бездонно-голубое пространство.

— Ахъ, какъ я радъ, что я снова съ вами!—говорилъ Ленева.—Опять здѣсь, въ этомъ тихомъ, словно сонномъ лѣсу, въ старомъ домѣ, полномъ чудесныхъ легендъ, съ вами двумя... Такъ было много работы въ Москвѣ!... Такъ усталъ, такъ намучился!

— Рассказывайте, рассказывайте!—просили дѣвушки. И Тася юлила вокругъ него и гладила мягкой ладонью его блѣдныя, тонкія руки.

И Ленева началъ рассказывать о себѣ, о жизни студентовъ, объ ихъ стремленіяхъ и мечтаніяхъ, волнахъ свободы и свѣта, захватившихъ всю молодежь. И тѣ слушали жадно, съ горящими глазами, въ самыхъ интересныхъ мѣстахъ останавливаясь на аллеѣ и замирая, какъ статуи.

II.

Не успѣлъ еще Ленева рассказать дѣвушкамъ всего о своей жизни въ Москвѣ, какъ по парку разнеслись удары колокола.

— Папа звонитъ!—крикнула Тася, отбѣжавшая было въ сторону отъ Ленева за какими-то ягодами.—Пойдемте обѣдать!

И всѣ трое, смѣясь солнцу, веснѣ и своей молодости пошли къ дому и дорогою говорили о домѣ, объ его хозяевахъ и гостяхъ, о душистыхъ липахъ, — тоже хозяевахъ сада.

Когда они подходили, толстый человекъ съ краснымъ блестящимъ лицомъ усердно звонилъ въ колоколъ, привѣщенный у кухни. Это былъ хозяинъ дома, отецъ обѣихъ дѣвушекъ, помѣщикъ Викторъ Ивановичъ Смирновъ.

— Бушать, бушать!—заговорилъ онъ, спрыгивая съ помоста и задыхаясь.—Небойсь, не наговорились еще... всѣ руки, братъ, отзвонилъ! Маршъ въ столовую.

Столовая была старинная: темненькая, косенькая, съ трехаршинными часами, на циферблатѣ которыхъ стояло «Лондонъ» и чуть ниже: «мастеръ Тихонъ Козловъ». Часы, какъ водится, или совсѣмъ не били, или, когда принимались за это,—звонили безконечное число разъ. По стѣнамъ были развѣшены въ узкихъ орѣховыхъ рамкахъ картины, изображавшія охотниковъ, стрѣляющихъ птицъ. У охотниковъ лица были засижены мухами, а собаки почему-то, должно быть отъ массы травы, казались зелеными. По угламъ висѣли домодѣланныя чучела птицъ, похожихъ на звѣрей, и звѣрей, похожихъ на птицъ; мебель была сборная и старая; бронзированное красное дерево смѣшивалось съ простымъ дубомъ и букомъ, но было уютно, тепло и непринужденно.

Когда трое вошли въ столовую, вся она была уже переполнена народомъ. На нихъ почти не обратили вниманія, потому что все были люди свои. Только становой приставъ Ереминъ преувеличенно вѣжливо раскланялся съ Леновымъ и ребромъ протянулъ ему унизанную перстнями руку. Ленева подалъ ему свою и, подъ обезпеченнымъ взглядомъ Смирнова, прошелъ къ своему мѣсту.

Вскорѣ всѣ зашумѣли, захлопали пробки, начали пробовать доморощенные наливки, квасы и шипучки, много пили водки и говорили: дамы объ отсутствовавшихъ дамахъ, мужчины—объ охотѣ и хлѣбахъ.

— А вотъ у насъ народецъ появился!—сказалъ вдругъ становой Ереминъ, упирая на слово «народецъ».—Особенные пошли.

Ленева пожалъ плечами, повернулся къ смѣявшейся Тасѣ, а священникъ о. Тимофеевъ, быстро мотнулъ головою и выдвинулся изъ ряда обѣдавшихъ.

— А что такое, Иванъ Ильичъ?

Ереминъ чуть замѣтно скосилъ глаза на Ленева и отвѣчалъ небрежно:

— Такъ... незанимающіеся. Себя, видите ли, зовутъ «строители жизни».

О. Тимофеевъ посмотрѣлъ въ сторону Ленева, какъ бы не зная,

чѣмъ отозваться... потомъ выпятилъ нижнюю губу, словно желая сказать, что прозрѣлъ, и слабо хихикнулъ въ кулачокъ.

Леневъ обернулся.

— А что-жъ здѣсь смѣшного?

Старшая дочь Смирнова, Зина, тихо положила подъ столомъ свои пальцы на его руку, какъ бы удерживая отъ спора.

— Такъ. Ничего-съ!—отвѣчалъ приставъ за священника.—Мы только сказали свои заключенія... насчетъ молодежи. Потому что мы видѣли: идеи разныя, братство, пролетаріатъ!... «Подавить господство эксплуататоровъ, социалистическія начала...» Знаемъ мы эти штучки! Чего платить долги: разграбъ все банки да казначейства, и заведемъ свои собственные фабрики... Лицо Еремина побагровѣло.—Только слава Богу, у нашихъ-то строителей это не надолго. Кончилъ университетъ,—смотришь, и орденочъ повѣсилъ.—Тутъ ужъ, братъ, не до равенства... Тутъ, небось, триста, четыреста въ мѣсяць, а при обобществленіи-то, неудобно ли паекъ гречневой крупы, восьмушечку хлѣбца-съ?... Люди толковые!... Какъ не понять!

Леневъ безглаголиво сморщился.

— Ну, знаете, все это гадко!

Ереминъ слегка поблѣднѣлъ. Склоненный надъ своею тарелкой хозяинъ съ усиліемъ что-то проглотилъ и сказалъ торопливо, осипшимъ отъ натуги голосомъ:

— А знаете, кого сегодня я видѣлъ? Марью Трифоновну!

Дамы захохотали. Становой придвинулъ къ себѣ водку и пробурчалъ:

— Что же? Человѣкъ какъ человѣкъ: не какой-нибудь вольтерьянствующій!

Повидимому, о. Тимофей прозрѣлъ окончательно. Онъ съ безпокойствомъ завозился на стулѣ и началъ немного въ носъ говорить о романѣ Толстого «Воскресеніе», порицая его главнымъ образомъ за то, что заглавіе романа кощунственно.

— И такимъ святымъ именемъ назвали столь безбожную вещь,—говорилъ онъ, и Тася хохотала, не будучи въ силахъ сдержаться.

Въ общемъ обѣдъ кончился благополучно.

Вечерѣло. Всѣ вышли на террасу.

— И охота была вамъ вмѣшиваться!—упрекнула Ленева Зина.—Вы знаете, вѣдь я несдержанная, однако, ни слова... А вы... Смотрю я на васъ: ребенокъ еще вы, вотъ какой ребенокъ.

Смѣшливо отмѣрила она вершокъ своими тонкими розовыми пальцами и, взявши Ленева подъ руку, повела его въ садъ.

Тамъ уже сидѣли неизвѣстно когда успѣвшіе перебраться гости

и пили коньякъ чайными чашками. Кто-то бренчалъ на разстроенной гитарѣ, кто-то напѣвалъ нелѣпымъ голосомъ старинный романсъ: «Другъ милый, другъ сердечный, тебя ли вижу я?»

Леневъ нахмурился.

— У, злой!—шепнула Зина.—Надо смотрѣть на все проще. Дѣлать имъ нечего, вотъ и пьянствуютъ. А дайте имъ работу,—они поднимутся.

— Долго еще!—Леневъ вздохнулъ.—Съ такими, какъ этотъ Ереминъ...

— Опять про него!—воскликнула Зина.—Пойдемте-ка лучше въ паркъ; вѣдь я не мечтательница, а посмотрите, какая чудная ночь, какая великодушная, блѣдная луна. Помните у Некрасова: «Пускай мечтатели осмѣяны давно»? Вѣдь ужъ это по вашей части.

Ночь, дѣйствительно, была хороша. Тонкія прозрачныя тучки смѣшливо перегоняли одна другую, крутились по небу, мѣняли цвѣта подъ лучами луны, и попрежнему бѣжали куда-то не въ стороны, а вверхъ, гдѣ ѣ таяли.

Дорожки парка были залиты голубымъ свѣтомъ и казались безконечными. Большія деревья молча и сосредоточенно о чемъ-то думали, маленькія шаловливо смѣялись промежъ собой, касаясь другъ друга слабо звенѣвшими вѣтками. Пахло сосною. Огромныя липы дышали яснымъ дыханьемъ; чуть поблескивалъ вдали прудъ, полный заснувшихъ камышей.

— У пруда страшно!—сказалъ Леневъ.—Но въ то же время, въ эту лѣтнюю ночь, тамъ безконечно красиво. И такъ много тамъ таинственной, неизвѣстной намъ жизни! Можетъ быть, у берега на лопухѣ тамъ сейчасъ сидитъ жаба... и глаза у нея блестятъ, какъ огни. Можетъ быть, она ждетъ, чтобы кто-то пришелъ и, сказавши слово, превратилъ ее въ чудесную принцессу, которой она раньше, несомнѣнно, и была. Можетъ быть, на днѣ этого омута и въ самомъ дѣлѣ сидитъ водяной и у него много дочерей, прекрасныхъ русалокъ... Все это и страшно, и красиво, и знаменательно.

— Ереминъ чудной!—сказала вдругъ Зина, и Леневъ вздрогнулъ; какъ отъ неяснаго предчувствія.—Онъ не злой; онъ—озлобленный. И ему, собственно, интересно не то, какихъ убѣжденій вы держитесь и каковы вообще бываютъ убѣженія. Ему важно другое.

— Что же?

Зина хотѣла отвѣтить. За ними кто-то крикнулъ.

— Вотъ и онъ,—шепнула Зина. Бѣ гуляющимъ подошелъ Ереминъ. Отъ свѣта мѣсяца онъ казался блѣднымъ, отъ быстрой ходьбы запыхался, и было въ немъ что-то дерзкое и вызывающее.

— Зинаида Викторовна, вот вы гдѣ. А я васъ все ищу.—Ереминъ слегка толкнулъ локтемъ Ленева.—Не знаю, почему все время у меня на умѣ слова Соленого изъ пьесы Чехова: «вылилъ я на руки цѣлый флаконъ, а онѣ все трупомъ пахнутъ».

— А вы развѣ видѣли «Три сестры?»—спросилъ Зину Ленева. Ереминъ рѣзко двинулся впередъ.

— А то какъ же!—крикнулъ онъ.—Ужъ вы думаете, мы со всѣмъ медвѣди? Вмѣстѣ ѣздили!

Онъ особенно рѣзко подчеркнул слово «вмѣстѣ» и усмѣхнулся.

— То-есть мы вмѣстѣ ѣздили съ папой и Тасей, а Иванъ Ильичъ заходилъ къ намъ въ ложу,—сухо поправила Зина.

— Зиночка, Зиночка,—торопливо заговорилъ изъ темноты Смирновъ. Онъ быстро выбрался изъ кустовъ, и простодушное лицо его было полно испуга.—Чай надо давать... Чай. Гости, братъ, чаю ждутъ.

— Хорошо, я приду,—сказала Зина.—Алексѣй Александровичъ, приходите.

Она пошла впередъ, а за нею быстро засѣмнилъ ногами Викторъ Ивановичъ. Онъ все перебѣгалъ съ одной стороны на другую, махалъ руками и о чемъ-то оживленно говорилъ дочери.

Леневъ хотѣлъ было идти за нею. Ереминъ выкрикнулъ:

— Ну-съ?

— Что вамъ?—Леневъ обернулся.

— Ничего-съ!—взвизгнулъ Ереминъ. Онъ скривилъ ротъ, и рыжіе усы его точно оцетинились.—Я только такъ-съ. Смотрю. Побѣждать пріѣхали?

— Послушайте,—проговорилъ Леневъ, вспыхнувъ.—Вы меня оставьте.

— Оставляю-съ, оставляю-съ!—неестественно высоко прокричалъ Ереминъ.—Только вотъ что я вамъ скажу-съ. Хотя я и безъ образования, не профессоръ какой-нибудь, но человекъ я крѣпкій. Съ дороги я не сверну-съ!—Глаза Еремина блеснули. Такъ и знайте. Имѣю честь кланяться.

Онъ круто повернулся и пошелъ по направленію къ дому.

III.

Леневъ остался одинъ.

— Вотъ еще!—проговорилъ онъ.—Соперникъ, что ли? Главное. онъ и Зина!... Зина—эта чудная, добрая... и онъ, приставъ Ереминъ.

Онъ досадливо осмотрѣлся во тьмѣ, точно спрашивая кого-то, и задумчиво побрелъ къ дому, не то недоумѣвая, не то тоскуя.

Передъ входомъ на террасу его обликнули. Онъ сначала не разбравъ откуда. Потомъ поднялъ голову:

— Зайдите ко мнѣ! — негромко сказала Зина. — Только незамѣтно. Съ той стороны.

Леневъ обогнулъ домъ и вошелъ въ кухню. Тамъ никого не было. Только поварь, старикъ Александръ, сидѣлъ въ углу и дремалъ у печки; его красное, усталое морщинистое лицо выглядѣло жалкимъ.

По тонкой скрипучей деревянной лѣсенкѣ поднялся Леневъ наверхъ. Вошелъ въ одну комнату, тамъ было темно и пахло липами. Онъ вступилъ въ другую.

И въ ней не было огня, но свѣтъ луны пробѣгалъ сквозь стекла двери и ложился на полу широкими лентами.

— Леневъ, — позвали его тихо.

Онъ вошелъ еще въ одну комнату, очень большую и пустую; передъ старинными иконами горѣла лампада, посреди комнаты находился круглый столъ съ клеенчатыми креслами и диваномъ. У печи, большой, полукруглой, съ раскрашенными изразцами, стояли кровать и ночной столикъ.

— Совсѣмъ заблудился я у васъ! — сказалъ Леневъ, найдя, наконецъ, въ сумракѣ Зину.

Но та остановила его быстрымъ и безпокойнымъ вопросомъ:

— О чемъ вы говорили?

Она подошла къ Ленеvu близко, пытливо заглянула ему въ глаза и крѣпко стиснула руку. Леневъ вздрогнулъ. Что-то особенное, новое скользнуло по его душѣ. Онъ склонился къ лицу дѣвушки, внимательно заглянулъ ей въ глаза... и, все болѣе и болѣе охватываемый заливавшимъ его необычнымъ и неяснымъ чувствомъ, сказалъ задумчиво и мягко:

— Ни о чемъ существенномъ, Зина.

Онъ впервые назвалъ ее Зиной и, назвавши, вдругъ крѣпко почувствовалъ, что онъ долженъ такъ называть ее, что только это короткое названіе ему близко и необходимо.

— Зина! — повторилъ онъ, чувствуя неизъяснимую прелесть ладомъ звукѣ. — Зина!... Не надо безпокоиться.

— Я боюсь, — тихо сказала Зина и вздрогнула. — Онъ — опасен! Онъ пойдетъ на все! Знаете, здѣсь такіе люди... такіе здѣсь дядя, Алексѣй, что намъ страшно подумать. Они здѣсь все еще во власти, въ плѣсени, все еще живутъ, какъ жили и раньше... и говорятъ словами старыхъ генераловъ. Они грубы и жестоки; вмѣсто

нервовъ у нихъ канаты, имъ ничего не стоитъ оскорбить и убить. Убить!... Алексѣй, мнѣ страшно!

— Зина, ну, что это! — тихо остановилъ ее Ленева, и голосъ у него зазвенѣлъ попрежнему мягко и задушевно. — Ну, можно-ль такъ нервничать?... И какъ странно! — онъ свѣтло улыбулся: — я только что приѣхалъ, и такъ говорю съ вами здѣсь, точно мы не разлучались эти два года, точно мы... братъ и сестра...

Онъ хотѣлъ сказать другое и смутился, и сказалъ «братъ и сестра», весь затуманенный, весь растерянный, и растроганный, и еще яснѣе чувствующій, что случилось что-то большое и незаурядное.

— Алексѣй, — чуть слышно шепнула дѣвушка, — я позвала васъ для того, чтобы сказать вамъ: будьте осторожны. Жить здѣсь не легко... — Голосъ ея оборвался, и она договорила чуть слышно:

— Берегитесь Еремина.

Внизу громко захохотали.

Зина порывисто отстранилась отъ Ленева и подошла къ двери.

— Это онъ! — быстро сказала она, и руки ея дрогнули. — Онъ что-нибудь сказалъ, и меня разыскиваютъ.

И дѣйствительно, съ террасы послышался голосъ Еремина:

— Зинаида Викторовна, гдѣ же вы спрятались? Покажитесь намъ! Ленева поблѣднѣлъ.

— Хотите, я ему отвѣчу?

Онъ сдѣлалъ уже нѣсколько шаговъ къ двери, но дѣвушка остановила его быстрымъ движеніемъ.

— Ахъ, нѣтъ, ради Бога!... — сказала она умоляюще и, сходя внизъ, проговорила громко:

— Господа, это ужъ не деликатно. Нельзя же слѣдить за мной по пятамъ.

Вслѣдъ за Зиной сошелъ внизъ и Ленева. Ереминъ посмотрѣлъ на него съ усмѣшкой и негромко присвистнулъ; впрочемъ, сейчасъ же отошелъ прочь.

Гости прощались. Было шумно и суетливо. Искали свои шляпы, пальто, бранили кучеровъ, громко цѣловались и зазывали другъ друга въ гости.

Викторъ Ивановичъ, весь мокрый, суетился до чрезвычайности: подавалъ однимъ свертки, другимъ что-то записывалъ на бумажкахъ, третьимъ пихалъ въ карманы пряники.

Тася уже спала, и Ленева не пришлось съ нею проститься. Съ Зиной онъ простился какъ-то особенно задушевно, и опять не сдержался и повторилъ:

— Право, такъ мы сошлись съ вами! И сразу, несмотря на два года!

Онъ медленно поѣхалъ домой въ своемъ маленькомъ старомъ экипажикѣ, самъ правилъ лошадей и разсѣянно посматривалъ на дремавшаго подлѣ него мальчика Силантія, своего кучерка, котораго сморили долгое ожиданіе и жирные смирновскіе пироги.

Проѣхали деревню, выѣхали въ степь, всю блѣдно-голубую, прекрасную какъ море и на море похожую. Вѣтеръ чуть шелестилъ высокой травой, и трава, чудилось, дышала, шепталась и выкрикивала птичьими голосами о томъ, какъ вольготно и привольно въ безбрежномъ пространствѣ.

Кто-то зашумѣлъ за спиною Ленева. Онъ не обернулся: не хотѣлось оборачиваться назадъ, потому что впереди открывались картины одна другой краше.

Шумъ увеличился. Ленева распозналъ конскій топотъ. «Кто-нибудь изъ нихъ», — подумалъ онъ, вспомнивъ про гостей. Вхавшій поровнялся съ нимъ быстро. Ленева узналъ въ немъ Еремина. Тотъ усмѣхнулся, какъ-то вычурно отдалъ честь и, ударивъ лошадь нагайкой, поскакалъ дальше, запѣвъ высоко и фальшиво, но какъ-то особенно внушительно и угрожающе:

«Паду ли я, стрѣлой пронзенный...»

Ленева посмотрѣлъ ему вслѣдъ, и сейчасъ же забылъ о немъ, вспомнивъ о Зинѣ. «Какая она славная, простая, довѣрчивая! — подумалъ онъ. — И какъ она похорошѣла! Два года тому назадъ она была похожа на Тасю; такая же подвижная, шаловливая...» — Онъ подумалъ о Тасѣ: «Тася спитъ!» — и засмѣялся ласково и нѣжно, сказавши: «Милая Тася!»

Незамѣтно проѣхалъ онъ степью и достигъ деревни Ключи, отъ которой было ужъ близко до его хутора. Онъ очень удивился, увидавши, что на деревнѣ еще не спали. Почти во всѣхъ избахъ видѣлся свѣтъ, на многихъ дворахъ что-то прилаживали, стучали топорами, кое-гдѣ пѣли пѣсни, гдѣ-то смѣялись... Онъ подѣхалъ къ одной избѣ, — жилъ тамъ его знакомый, рыбоволовъ Степанъ Бутинъ, — и спросилъ, что случилось. Кучеренокъ Силантій все еще спалъ.

Бутинъ былъ дома. Онъ очень обрадовался приѣзду Ленева и сталъ зазывать его, несмотря на поздній часъ, въ гости... и когда, вмѣсто отвѣта, Ленева опять спросилъ о причинахъ суматохи, Степанъ отвѣтилъ вполголоса:

— Да такъ что... грабить завтра поѣдемъ.

Леневъ удивился.

— Грабить? Кого? За что?

Бутинъ ночесалъ затылокъ.

— Такъ что... ужъ не знаю, какъ и сказать. Приказъ такой отъ начальства вышелъ, чтобъ грабить. И всѣ, значить, на мельницу, потому что тамъ, вишь, того... хлѣба. А понимаешь ли, недородъ, голодуемъ. Ну, начальникъ въ орденахъ пріѣзжалъ, сказалъ: «грабь Терехова, наказанья не будетъ». Они и собираются.

Удивленіе Ленева все возрастало.

— Что такое? Какой начальникъ?

— Да тамъ люди ужъ сказываютъ. Съ кокардой. Не то лѣсничій. Самъ староста съ десятскими ходилъ. Завтра чтобъ каждый на подводѣ,—приказывалъ. И всѣ къ Терехову.

Леневъ пожалъ плечами и поѣхалъ къ себѣ домой. О природѣ онъ ужъ не думалъ. Было не обыкновенно на душѣ, было неловко, обидно и страшно за Степана и тѣхъ, которымъ «начальство приказало грабить Терехова».

Въ имѣніе къ себѣ Леневъ пріѣхалъ поздно. Елизавета Николаевна встрѣтила его*безпокойными вопросами. Она обожала сына и при малѣйшемъ его опозданіи начинала волноваться, придумывать всякіе ужасы и приставала съ разспросами къ двумъ другимъ сыновьямъ—Павлу и Владиміру,—не говорилось ли чего на улицахъ и не было ли вблизи какого несчастья.

Поздоровавшись съ матерью, Леневъ прямо прошелъ въ комнату младшаго брата Владиміра. Володя былъ его любимецъ. Весь былъ онъ неясный и загадочный. Казалось, было въ немъ два человѣка и оба были такъ противоположны другъ другу и такъ несомвѣстимы одинъ съ другимъ, что было страшно надъ этимъ задумываться. Такъ и чувствовалось, создано было что-то слабое, контрастное, хрупкое и недолговѣчное. По внѣшности это былъ нервный худощавый мальчикъ, молодой студентъ, очень нѣжно сложенный, съ капризнымъ и вспылчивымъ лицомъ. Волосы у него были бѣлокурые и слегка вились, глаза сѣроватые, большіе, носъ прямой и тонкій, на щекахъ почти постоянно игралъ румянецъ... а внутри этого мальчика было цѣлое море нервовъ, тоски и неуравновѣшенности. Онъ и краснѣлъ часто, и терялся, и любилъ показать себя самостоятельнымъ, и капризничалъ, какъ балованное дитя, а умъ былъ въ немъ ясный, оригинальный и тоскующій, сломанный... такъ все и чувствовалось: тонкое, больное, страшно хрупкое.

Леневъ былъ старше Владиміра только на два года, но въ домѣ

къ нему относились какъ къ главному лицу въ семьѣ, потому что самый старшій былъ, по словамъ всѣхъ, «простячокъ»; онъ не кончилъ курса даже въ гимназіи, любилъ жить въ деревнѣ и время проводилъ такъ же, какъ и всѣ крестьяне,—въ полевыхъ работахъ. Его нигуда больше не тянуло. Онъ ничего не читалъ, ничѣмъ, кромѣ сельскаго хозяйства, не интересовался, въ городъ ѣздилъ съ крайнею неохотой и весь досугъ свой посвящалъ бесѣдамъ съ мужиками о хлѣбахъ, лѣсѣ и скотѣ.

— Володя, ты слышалъ?—спросилъ Ленева, войдя въ комнату брата.—Крестьяне собираются на мельницу. «Грабить», говорятъ, «велѣно».

Владимиръ встрепенулся.

— Грабить?—переспросилъ онъ.—Откуда ты узналъ это?

Ленева рассказалъ про встрѣчу со Степаномъ, про свой разговоръ съ нимъ и передалъ свои впечатлѣнія отъ этихъ разговоровъ.

— Ну, а ты что же сказалъ ему?—вдругъ спросилъ Владимиръ.

— Что сказалъ?—Ленева вздрогнулъ.—Я... ничего не сказалъ ему, Володя.

Ленева терялся все больше и больше. «Въ самомъ дѣлѣ, почему это я ему ничего не сказалъ?—думалъ онъ.—Почему я не отговаривалъ, не сталъ убѣждать, ничего не разъяснилъ, а уѣхалъ?»

Лицо Ленева тускнѣло.—«Что это?—тоскливо носилось въ его умѣ.—Почему я молчалъ?...»

Казалось, Владимиръ понял настроеніе брата: онъ всталъ, медленно подошелъ къ нему, медленно улыбнулся, и лицо у него стало кроткое, красивое и особенное.

— Алеша, все это такъ,—тихо сказалъ онъ, и голосъ его зазвучалъ съ необычной ему ласковостью.—Ты такой, инымъ быть ты и не можешь. Это мы волнуемся, бьемся, мы въ вѣчной борьбѣ... А ты... какъ тебѣ сказать, что ты за человекъ, какой у тебя характеръ? Я не знаю. Ты...—Владимиръ замялся.—Будущій! Ты такъ далеко стоишь отъ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ ты въ ней весь... Мысли твои *надъ* жизнью, не въ ней самой. Если бы ты сталъ совѣтовать Бутину, разубѣждать его, ты не былъ бы собой... Ты слушалъ его и, вѣроятно, думалъ: какъ это громадно! И, задумавшись о величій явленія, забылъ о случаѣ... о маленькомъ случаѣ земли.—Володя покраснѣлъ, замялся, началъ опять было говорить, смолкъ, опять заговорилъ.—Я не знаю... какъ это выйдетъ на словахъ... ты, мнѣ кажется... ты всегда будешь такъ: скользнешь по явленію жи-

зни и—мимо. И не потому, чтобы ты не любилъ жизни: любишь ее ты, быть можетъ, и больше, чѣмъ мы, но ты выше ея, то-есть выше ея отдѣльныхъ случаевъ, и занять ты будущимъ, и душа твоя не въ ея частностяхъ, а въ цѣломъ... во всемъ!...

Владимиръ умолкъ. А Леневъ, уйдя къ себѣ, долго сидѣлъ и думалъ о томъ, какъ скользнулъ онъ мимо большого и грознаго явленія.

«Трусость ли? Робость ли? Или это равнодушіе? Или я не люблю людей?—Голова его кружилась и пламенѣла. —Что-жъ это?...»

IV.

Громадная, въ три тысячи десятинъ, экономя Терехова, называемая крестьянами «Жоховъ хуторъ», раскинулась по обѣимъ сторонамъ рѣки Асея и со всѣхъ сторонъ была окружена горами и лѣсомъ.

Нѣкогда экономя эта принадлежала старинному дворянскому роду Каменскихъ. Съ паденіемъ крѣпостного права богатый родъ, какъ водится, разсѣялся. Каменскіе раздѣлились, пораспродали свои земли купцамъ и кулакамъ и разбрелись по городамъ, почти совсѣмъ забросивъ деревню.

Среди новыхъ покупателей также началось разсѣяніе, —помельче исчезали, крупные владѣльцы дѣлались еще болѣе крупными. Вскорѣ почти всѣ земли Каменскихъ скупилъ нѣкто Илья Тереховъ, деревенскій кабатчикъ, мужикъ-«лапотъ», изъ набожныхъ, съ умильнымъ лицомъ и робкими движеніями. Ходилъ Тереховъ всегда такъ, точно сапоги у него были бархатные, и походка у него была такая, словно подкрадывался онъ къ мышамъ. Прошло только два года, а Тереховъ ужъ изловилъ всю деревню: мужики оказались ему должными, исправникъ—женатымъ на его дочери, красавицѣ Луверѣ, строгой великаншѣ, помыкавшей мужемъ, какъ послѣднимъ батракомъ.

Отъ послѣдняго представителя рода Каменскихъ, Юрія Всеволодовича, маленькаго тщедушнаго человѣчка съ робкимъ веснуцатымъ лицомъ, Тереховъ приобрѣлъ родовой домъ дворянской фамиліи. Домъ этотъ былъ большой, выстроенный изъ дуба, и походилъ на дворецъ. Правда, главный фасадъ его былъ выведенъ съ колоннами въ классическомъ духѣ, а черное крыльцо было все въ пѣтушкахъ. Но домъ былъ крѣпкій и помѣстительный, съ пудовыми стульями, съ кроватями, похожими на эшафоты, и съ посудой, выписанной изъ Парижа. Хорошъ былъ и паркъ, полный исполинскихъ березъ, на-

чавшихъ уже подсыхать съ верхушекъ отъ старости; масса липъ и черемухи давала по веснамъ особую прелесть полузаросшимъ аллеямъ съ разбѣжавшимися по нимъ неизвѣстно какимъ образомъ изъ клумбъ цвѣтами. Статуи древнихъ олимпійцевъ валялись по этимъ тропинкамъ, полуразбитыя. Терехову было не до боговъ... Искусственные пруды, озера и гроты тоже состарились и заплѣсневѣли, но за всѣмъ этимъ въ паркѣ и домѣ было особенно хорошо.

Самъ Тереховъ однако въ домѣ не поселился, онъ передалъ его своей дочери Лукерьѣ, а та стала жить въ немъ съ мужемъ, оставшимъ исправникомъ Федоромъ Свистуновымъ, желтолицымъ ворчунномъ и тюфякомъ, умѣвшимъ однако кричать и драться. Лукерья самымъ домою не занималась; она вся была поглощена вареньями, мочеными яблоками и гусями; была она также религіозна, молилась съ утра до вечера, хотя часто во время молитвъ бранила мужа или кричала прислугѣ въ окно: «Загони гусей, безстыдница, загони гусей!» Любила она и по гостямъ ѣздить; хвалилась тамъ своимъ мужемъ, своимъ отцомъ и тѣми же яблоками; одѣвалась въ зеленныя платья, платокъ на головѣ носила съ шитьемъ; платокъ этотъ очень портилъ ея красивое лицо. Лукерья не интересовалась и паркомъ; деревья въ немъ остались неподрѣзанными, аллеи неподчищенными. Поваленныя бурей деревья такъ и не убирались, клумбы были засыпаны ворохомъ побурѣвшихъ, погнившихъ листьевъ; вмѣсто цвѣтовъ однообразно и скучно тянулись ряды репейника, лебеды и полыни; ровъ и валъ, окружавшіе паркъ, почти сровнялись съ землею, а пруды и совсѣмъ заросли водяными лиліями; въ нихъ стали мочить лубки.

Оставивъ старый домъ на житье Лукерьѣ, самъ Тереховъ поселился тутъ же вблизи, за селомъ, на своемъ хуторѣ. Была тамъ мельница, были мыловаренные и конскіе заводы, заведена была пасѣба и различныя мастерскія. Хуторъ по разиѣрамъ напоминалъ поселокъ. Въ свое время онъ дѣйствительно и былъ занятъ крестьянскимъ селеніемъ.

Цѣлое общество «споконъ вѣку» сидѣло на этой мельницѣ, когда появился скупавшій въ округѣ земли Тереховъ; но привезли землемѣра, нарыли ямъ, и оказалось, что крестьяне сидѣли не на своей, а Тереховой землѣ. Мужиковъ выселили, вспахали и засѣяли даже тцы селенія, а изъ хатъ понадѣлали конюшни для тереховскихъ падей.

Тщетно міръ предлагалъ Терехову арендовать у него эту землю. Тереховъ не двинулся. Крестьяне ушли. Пытались было они идти на ли въ Сибирь, все пораспродали за безцѣнокъ тому же Терехову,

наголодались въ Сибири и, по приказанію начальства, были водворены на прежнее жительство, еще болѣе голодные, еще болѣе нищіе.

Скоро земли Терехова обвѣли крестьянъ кольцомъ, и тѣ очутились у него запертыми, какъ въ вѣткѣ. Черезъ хуторъ не стало ни проѣзда, ни прохода, потому что за то и другое стали братья штрафы; брались деньги и за сборъ въ лѣсу грибовъ, за хожденіе по ягоды, за забредшую на хуторъ крестьянскую скотину. Скоро штрафованіе вошло у Ильи Терехова въ систему. Появились штрафы даже за купанье въ мельничномъ прудѣ. У купавшихся уносили платье, и тѣ должны были или платить гривенникъ, или идти нагишомъ къ старшему приказчику.

Самый хуторъ былъ почти весь попрытанъ въ лѣсу и окруженъ каменнымъ заборомъ; дорога къ нему вела черезъ овраги и косогоры и бѣжала вокругъ озера, окруженнаго болотными топями, по мосткамъ изъ хвороста; поэтому хуторъ походилъ немного на разбойничье гнѣздо, какъ рисовались они въ старинныхъ сказкахъ. Прямо отъ озера дорога перерѣзалась воротами, тоже похожими на крѣпостныя; за ними тянулись сторожки работниковъ, затѣмъ шли лавки, дальше заводы, и все это свертывалось къ серединѣ спиралью, а въ серединѣ подъ тремя кудрявыми сосенками стоялъ бревенчатый домикъ съ соломенной крышей, съ крохотными окнами, по виду ничѣмъ не отличавшійся отъ другихъ избъ. Въ немъ и жилъ самъ Илья Тереховъ со старухой Минодорой, своей женой. Въ домѣ все было просто и бѣдно: столы и стулья березовые и некрашеные, большіе старые образа; пучки мяты были развѣшаны по потолку, огромная печь занимала почти треть комнаты. А комнатъ всего и была одна, если не считать прихожей. Направо и налево отъ дома Терехова раскидывались, тоже кольцомъ, липы; подъ ними стояли ульи, а посреди нихъ косенькая часовня, двѣ лавчонки и домикъ «Васи», какъ всѣ его называли, сына Терехова, забитаго и запуганнаго парня лѣтъ двадцати пяти, рябоватаго, глуховатаго, бѣлокураго и ничего при отцѣ не значившаго. Приказчики не только его не боялись, но и бранили его въ глаза; женщины и дѣвки съ нимъ заигрывали и подсмѣивались; мать Минодора, сама запуганная и забитая и въ сущности добрая, тоже почему-то его сторонилась и не жалѣла; въ народѣ ходили темные слухи насчетъ прошлаго Минодоры: поговаривали, что Василій не сынъ Терехова.

У отца Василій занималъ какое-то особенное положеніе. Не то былъ онъ приказчикъ, не то гучеръ; когда отецъ куда-нибудь выѣзжалъ, Вася садился на козлы; надо было получать по распискѣ отъ мужиковъ деньги, посылали Васю; и отъ этого крестьяне его не

любили. Онъ же ходилъ за лошадьми Терехова, чистилъ конюшни; умѣлъ онъ шить на швейной машинѣ, и его заставляли шить рубахи; былъ онъ грамотный, и ему приказывали писать торговые заказы, но читать ему не дозволялось и читалъ онъ книжки только урывками. Обѣдалъ Вася въ людской съ работниками; хотя самъ Тереховъ ѣлъ то же, что и всѣ служащіе, но къ своему столу сына не приглашалъ.

Леневъ хорошо зналъ Василия Терехова. До него доходили слухи, что Василий въ опалѣ не безъ причинъ: поговаривали, будто онъ, какъ-то въ голодный годъ, роздалъ крестьянамъ два воза отцовскаго хлѣба.

Самъ Василий Ленева объ этомъ не говорилъ, а на вопросы отмалчивался, но рассказывали, что съ той поры Василий оглохъ, что взбѣшенный отецъ жестоко билъ его по головѣ и ударомъ разорвалъ ему въ ухѣ барабанную перепонку. Только отъ Ленева Василий и получалъ книги. Читалъ онъ ихъ съ жадностью, весь преобразался тогда и словно хорошѣлъ, но разговоровъ о книгахъ боялся... и краснѣлъ и весь смущался, когда Ленева спрашивалъ его о прочтенномъ.

Иногда, впрочемъ, въ особенно покойныя минуты, когда они бывали одни вечеромъ въ заснувшемъ лѣсу, Вася рѣшался говорить и о книгахъ.

— А вотъ... пишутъ,—робко шепталъ онъ, и лицо его темнѣло,—будто во Франціи... никто никого не смѣетъ... ударить?...— глаза Василия начинали часто мигать.— Да ужъ правда ли это... Предположимъ, отецъ бьетъ меня. Кто-жъ въ правѣ мѣшаться?... А то еще про законы сказано. Законы пишутъ господа... а вотъ нѣтъ, на примѣръ, закону... отъ голода. Намедни вотъ мужикъ въ Опалихѣ умеръ. Приѣзжалъ докторъ, становой... испотрошили. Какая этому польза? У становаго жалованье, у доктора жалованье, а человѣкъ съ голоду померъ. Не понимаю. Вонъ тоже и у отца. Земли-то—ой-ой! А мужикъ—на душу-то осьминникъ всего, да.

Ленева слушалъ и говорилъ Василию, что все перемѣнится. Вася качалъ головой.

— Куда, нѣтъ! Намедни отецъ велитъ: къ Борщу ступай. Опять за штрафомъ!—голосъ Василия задрожалъ.— Чтò подѣлаешь? Я иду. ть и началъ. Ужъ костилъ, костилъ. «Вы, говорить, ироды, анаы; погодите только—будетъ вашему отродью! Жрать, говорить, его, дѣти воютъ, а они: давай съ шеи крестъ!» Постоишь этакъ, тоишь, да назадъ, а тамъ—отецъ. Эхъ! Убѣжать бы... А то разалъ отецъ. На дворѣ-то голодныхъ—уйма! А пришелъ, вижу: ть его сундукъ, а тамъ бумаги, расписки... деньги... Накло-

нился отецъ въ сундуку, а меня такъ и подмываетъ: толкни да крышкой на шею,—разъ! Шея тонкая, грязная... Ахъ, грѣхи! Ну, взялъ расписки да и пошелъ. Иду, а тамъ ведутъ мужика, оштрафовали за куренье. Волокуть, онъ ругается. Зубовъ нѣту! Рваный! Лицо въ кулачокъ! Эхъ, удавиться бы!...

V *).

Чуть брезжило утро, когда Ленева поднялся. Ночью онъ не заснулъ ни на минуту и все думалъ то о братѣ Владимірѣ, то о мужикахъ. Осторожно прошелъ онъ по маленькимъ комнатамъ своего деревенскаго дома, вышелъ на дворъ и сѣлъ на деревянное потрескавшееся крыльцо. Онъ любилъ свой маленькій и простой деревенскій домикъ, выстроенный изъ развалинъ некогда пышныхъ родовыхъ хоромъ, строенный неуютно и неумѣло, торопливымъ мужицкимъ топоромъ, крытый тонкимъ, неровнымъ тесомъ, съ маленькими окнами и простыми печами. Сейчасъ же передъ домомъ тянулся дворъ, весь заросшій подорожникомъ и оттого точно крытый зеленымъ ковромъ. Дворъ былъ большой, пустой, на дворъ непохожій и отъ этого красивый; въ самой дали тянулись каретники. Тамъ хранилось то, что осталось у Леневыхъ отъ былого: старыя стопудовыя кареты, сани, подобныя эшафотамъ, тарантасы, похожіе на сундуки, и сундуки, похожіе на тарантасы; окна у каретниковъ были круглыя и темныя, и жили въ нихъ дикіе голуби, непугливые, какъ ручныя; въ особыхъ клѣтушкахъ были свалены фамилыныя портреты—генералы съ медалями и генералы безъ орденовъ; Ленева все собирался разобрать въ предбахъ и все было какъ-то лѣня и некогда. Заборъ вокругъ двора шатался при малѣйшемъ вѣтерѣ и съ каждою осенью, когда Ленева выѣзжали изъ деревни, становился все меньше, потому что осенью леневаскіе арендаторы, денегъ Леневаымъ не платившіе, разбирали заборъ на дрова.

Арендаторовъ этихъ было всего четверо. Избы ихъ стояли сейчасъ же напротивъ дома Леневаыхъ, черезъ площадь, также чудно зеленую, какъ и дворъ; на этой площади въ пасхальное время ставились какимъ-то мужичкомъ карусели, онъ же ихъ самъ и вертелъ. Тихо улыбаясь, смотрѣлъ Ленева на эти избы, гдѣ жили арендаторы, уже много лѣтъ обѣщавшіе отдать деньги «въ середу»; на избу мѣстнаго интеллигента, у котораго на двери было написано: «Парикмахеръ, я же чиню гармоніи»; Ленева думалъ объ этомъ парикмахерѣ, кото-

*) Эпизодъ, изложенный въ главахъ V—IX, былъ уже разработанъ на столбцахъ *Русскихъ Вѣдомостей* въ 1906 г.

раго не кормило въ деревнѣ его прямое ремесло, думалъ о землѣ, которая не кормила мужиковъ, о своемъ мѣстѣ въ полтора десятинъ, тоже его не кормившемъ, и улыбка дѣлалась печальной.

«Всежъ намъ холодно и голодно, — думалъ онъ. — Голодно потому, что мы не умѣемъ жить и не можемъ взять жизнь въ свои руки».

Было такъ славно, свѣжо. Ленева поднялся съ крыльца и прошелся по двору разъ и другой, какъ-то особенно тоскуя и въ то же время смутно что-то предчувствуя...

«Жизнь перемѣнится, — мечталъ онъ, глядя на деревню. — Будетъ свѣтло».

Блѣдное молодое лицо нарисовалось передъ нимъ. Онъ трепетно вздохнулъ.

«Ахъ, милая!... Зина... Какая она славная... Глаза у нея были такъ печальны, — онъ слегка наклонился, какъ бы желая всмотрѣться, — зато другіе глаза!... Милая, славная Тася... Ушки, какъ у мышки»... — вспомнилъ онъ и тихо засмѣялся, ощущая, какъ льется въ него что-то свѣжее, бодрящее.

Стало еще свѣтлѣе, чѣмъ было раньше, еще теплѣе; еще прозрачнѣй сдѣлался воздухъ, запахло липами и черемухой.

«Тебя люблю я! — сказалъ онъ замирающимъ голосомъ. — Тася — ребенокъ, Тасѣ сказки нужны, не любовь. А ты... — глаза Ленева блеснули восторженно, — ты — только любовь, ты — вся очарованье, въ тебѣ одной все мое, ты во мнѣ, надо мною»...

И онъ вспомнилъ балъ въ маленькомъ городкѣ, вспомнилъ залу съ бѣлыми стульями, теплый, точно дымящійся воздухъ, висѣвшую надъ головами люстру. Тогда онъ, гимназистомъ, еще танцевалъ. Они много танцевали, когда въ залу вошли съ матерью двѣ дѣвочки или «барышни», какъ ихъ называли гимназисты. Одной было пятнадцать, другой всего десять лѣтъ, и обѣ были бѣленькія, обѣ смѣющіяся, обѣ смущенныя.

«Смотрите, Смирновы!» — шептали вокругъ Ленева надушенные гимназисты.

Около дѣвочекъ раскланивались и что-то шумѣли тѣ, которымъ на завтра грезились единицы.

Было смѣшно, тогда понятно и славно... Ленева познакомили. танцевали дѣвочки робко, и мало говорили, но помнится темный головокъ, маленькое зеркало, маленькая пальма. За пальмой сидѣли и вѣбствѣ. Потомъ какіе-то ряженые пріѣхали: гусары, турки, чересы. Потомъ подавали ужинъ, онъ опять говорилъ, она улыбалась звѣрчиво, а вѣки ея глазъ еще робко подрагивали... Вотъ оно кончилось... Милая Зина...

И сейчас же все вдруг треснуло, все смѣшалось, исчезло. Вспомнилось о мужикахъ, объ экономіи Терехова, которую они собирались грабить... Ленева поднялся и пошелъ сѣдлатъ себѣ лошадь.

VI.

Было свѣжо. Дула порывистый вѣтеръ, деревья шумѣли; отдохнувшая за ночь зелень красиво блестяла каплями росы. Въ степи было не тихо: кричали перелетавшія съ озера на озеро утки, трещали коростели, чирикали проснувшіяся пичужки.

Ленева ѣхалъ задумчивый, не то радостный, не то грустный. Дорогой онъ все смотрѣлъ на открывавшіяся картины. А картины были одна другой живѣе и великолѣпнѣе... Онъ и не замѣтилъ, какъ подъѣхалъ къ Ключамъ, къ избѣ Степана Бутина.

И на разсвѣтъ Ключи были такъ же полны жизнью, какъ было то вчерашнею ночью. Такъ же суетились по дворамъ у телѣгъ, такъ же кричали и о чемъ-то спорили. Ленева прямо подъѣхалъ къ избѣ Степана Бутина. У него во дворѣ особенно много шумѣли и хлопотали. Степана онъ засталъ за налаживаніемъ телѣги: четверо крестьянъ помогали ему продѣть въ передѣ шкворень, двое лежали подъ колесами, двое двигали коробъ взадъ и впередъ, но говорили всѣ совсѣмъ не о томъ.

— Кто-жъ сказывалъ-то?—спрашивалъ Бутинъ, багровый отъ напряженія (двое отошли, и онъ одинъ поддерживалъ кузовъ).

— Сотскій и сказывалъ, — отвѣчалъ лежащій подъ телѣгою горбатый сѣрый мужичокъ съ разсѣченной губой. — Сотскій ходилъ, да... Грабъ, говоритъ, Терехова. Теперь война, теперь за то ничего не будетъ. А кто, говоритъ, не поѣдетъ, сожжемъ.

— Самъ видѣлъ, — говорилъ еще одинъ, скрипѣвшій, какъ коростель и дергавшійся изъ стороны въ сторону. — Алексѣй Тимоѣичъ такъ и говорить: «Собирайтесь на бунтъ, не то спалимъ. Вышли, говоритъ, такіе законы, чтобы сначала завладѣть барской землей, а къ Успенью всю, говоритъ, и раздѣлите. У всѣхъ — какъ больше двадцати десятинъ»... Наддайте впередъ, наддайте...

— Манифестъ когда вышелъ, — медленно говорилъ старикъ, — его Ленева зналъ, это былъ горшечникъ Павелъ Шолоховъ, бывший ихъ крѣпостной, — тогда неправду и сдѣлали: нужно было пополамъ, а они вонъ какъ подѣлили. Теперь, значить, указъ и вышелъ, чтобы уравнивать.

Ленева не успѣлъ сказать слова, какъ во дворѣ ввалилась еще кучка крестьянъ, возбужденныхъ и, видимо, подвыпившихъ.

И всё сразу загалдѣли, всё замахали передъ Степаномъ руками, всё засуетились, заспорили. Ленева они точно не видѣли. Сквозь гулъ голосовъ еле разобралъ онъ, что всё должны тронуться по набату, что во дворахъ все ужъ готово... Степанъ затормошился, замахалъ руками, куда-то побѣжалъ, принесъ вожжи, опять скрылся, вернулся съ какимъ-то ремешкомъ, пробормоталъ:

— Я сейчасъ, сей минутой.

И опять побѣжалъ. Во дворѣ появился староста съ медалью и бумажками и началъ браниться, топая на мужиковъ ногами и что-то записывая въ бумажкахъ.

— Отвѣтите, отвѣтите! — кричалъ староста, приплетая ругательства, — барину скажу!

Вокругъ быстро образовалась толпа; зашумѣли, начали толкаться; какой-то молодой, совсѣмъ безусый парень прорвался сквозь кольцо къ старостѣ, крикнулъ ему:

— Сними бляшку-то, у насъ безъ медалей!

И, вырвавъ у него записку изъ рукъ, тутъ же изорвалъ ее въ клочья и подбросилъ надъ головами. Староста ахалъ, а кругомъ смѣялись, выкрикивали:

— Здорово! Важно! Лизуны вы такіе!

— Ваше дѣло уговаривать, — говорилъ парень старостѣ, — а мы себя понимаемъ!... Гайда, братцы! Чего мы, двѣсти душъ, свистуна будемъ слушать? Небойсь, надоѣло платить аренду по двѣ красенькихъ. Нашими же трудами у Терехова собрано. Ъсть каждому нужно. За что тутъ наказывать!

И, снова прорвавшись сквозь цѣпь, быстро пошелъ къ воротамъ, а за нимъ съ криками побѣжали и забредшая толпа, и самъ растерянный староста.

Про Степана всё забыли. Всѣ заспѣшили дальше, и Степанъ остался одинъ; Ленева видѣлъ, какъ онъ вышелъ изъ закута со сбруей, какъ посмотрѣлъ вокругъ, подумалъ, бросилъ сбрую на землю и побѣжалъ за народомъ самъ.

Ленева поглядѣлъ ему вслѣдъ. Онъ бѣжалъ за толпой, а та, сопровождаемая тѣмъ же растеряннымъ старостой, уже заходила въ эту самую дворянскую дворъ; потомъ оттуда побрели еще кучи, и все это суетило, кричало, волновалось... Ленева чувствовалъ себя въ этой суетѣ лишнимъ и не зналъ, что ему дѣлать. На него никто не обращалъ вниманія, точно его и не было, и отъ этого на душѣ ощущалась тревожная неловкость.

Онъ сѣлъ на лошадь и медленно поѣхалъ по суетившейся деревенской улицѣ, неопредѣленно о чемъ-то думая, и вдругъ вздрогнулъ,

услышавъ полный, великолѣбный ударъ колокола, во весь голосъ крикнувшаго что-то рѣзкое, необъятно-громадное.

Онъ невольно обернулся къ церкви и вдругъ вездѣ,—и справа отъ себя, и слѣва, и впереди, и позади,—увидѣлъ мужиковъ, лошадей, телѣги, подводы, увидѣлъ дѣтей и бабъ, услышалъ шумъ колесъ, трескъ дерева, человѣческіе крики... А колоколь все ревѣлъ, все говорилъ слово за словомъ, и гулъ разгнѣванной мѣди сливался съ гуломъ людскихъ голосовъ.

И внезапно всѣ,—и справа, и слѣва,—соединились въ одну кучу, въ одну гигантскую скрипящую змѣю, и всѣ двинулись прямо на Ленева и съ шумомъ, и трескомъ поскакали по дорогѣ. Ленева свернулъ въ сторону, и мимо него пронеслись дребезжавшія телѣги, запряженные косматыми, маленькими лошадками, которыхъ сидѣвшіе въ телѣгахъ нещадно хлестали кнутами и веревками; столбы пыли взвились надъ землей, и въ этой пыли зазвенѣли нестройные звуки гармоники, пестрые крики людей и пестрый стукъ желѣза и дерева.

Все стукнуло, точно разомъ, однимъ громаднымъ стукомъ, и все вдругъ промелькнуло, исчезло, и остались только пыль и силуэтъ исполинской змѣи.

Ленева опять остался одинъ.

«Что это?»—спросилъ онъ себя съ какимъ-то особеннымъ, тайнымъ предчувствіемъ.

Онъ подумалъ, измѣнился въ лицѣ и сказалъ:

«Неужели?...»

VII.

Илья Тереховъ шелъ съ пасѣки ужинать, какъ замѣтилъ четырехъ крестьянъ, юркнувшихъ къ мыловаренному заводу.

«Чего имъ, еще вечеромъ»...—подумалъ онъ, и хотѣлъ было подойти.

Но въ тотъ день ему нездоровилось, и онъ, лѣниво махнувъ рукою, вошелъ въ избу.

Въ окно неожиданно стукнули, гдѣ-то глухо проворчали, потомъ дверь распахнулась настѣжь, и въ избу вбѣжалъ сынъ Терехова Василій.

— Чего еще?—спросилъ Тереховъ, вскидывая глаза и тихо улыбаясь.

Онъ всегда улыбался, когда грозилъ, и Василю была хороша знакома эта усмѣшка. Онъ съезжился и торопливо крикнулъ:

— Бѣда!

У Терехова забѣгали глаза, запрыгали щеки; весь багровый, онъ поднялся со скамьи, подошелъ къ сыну, толкнулъ его въ дверь и началъ сыпать ругательства.

— Мужички пришли, мужички, — бормоталъ Вася.

Онъ не договорилъ. Сразу поднялся шумъ, поднялись крики, что-то затрещало, гдѣ-то стукнули... Илья Тереховъ вздрогнулъ, осмотрѣлся и, вдругъ вскрикнувъ, побѣжалъ къ воротамъ. Бѣжалъ онъ легко и быстро, точно не чувствовалъ своихъ лѣтъ, не разбиралъ дороги, давилъ насаженные ягодные кусты, овощи, ронялъ по дорогѣ угли... За нимъ растерянно спѣшили Вася, за тѣмъ бѣжали работники и поденщицы-дѣвки. Когда Тереховъ добѣжалъ до воротъ, тамъ уже было нѣсколько перепуганныхъ батраковъ; они привалились къ дверямъ, а въ двери били ломами и колыями, и несся особенный, рѣжущій слухъ смѣшанный гулъ голосовъ и ударовъ.

— Вотъ, вотъ, — растерянно бормоталъ Вася, и лицо у него было обиженно-испуганное, точно готовился онъ заплакать.

Тереховъ взглянулъ на него, ударилъ его по головѣ кулакомъ и закричалъ во весь голосъ:

— Прочь всѣ вы!

Онъ криво прыгнувъ, подскочилъ къ воротамъ, сорвалъ засовъ и, мгновенно распахнувъ ихъ, остался передъ толпой одинъ. Вася и батраки всѣ попрятались.

— Чего вамъ? — крикнулъ онъ, и голосъ сорвался. — Что нужно? Ахъ, дьяволы!

Мужики опѣшили, стихли. Передніе стали оглядываться. Тереховъ обернулся къ своимъ, опять крикнулъ, весь передернулся, точно готовясь вступить въ борьбу, и только по глазамъ его было видно, что онъ боится.

Между тѣмъ крестьяне пришли въ себя.

— Ну, ну, — забормотали въ толпѣ. — Ладно, не рассказывай. Довольно повластвовавъ! — Гулъ сталъ разрастаться, толпа задвигалась, старики исчезли, впереди появились парни. — Воля намъ дадена.

И сейчасъ же все смолкло, точно не было никого... и всѣ плотной стѣной двинулись въ ворота, оттѣснивъ собою и Терехова, и Васю, и батраковъ.

И всѣ пошли прямо и неторопливо, и чувствовалось что-то тягостное, неуклонное и зловѣщее въ этомъ молчаливомъ движеніи толпы. Тереховъ весь осунулся, весь сгорбился, потускнѣлъ, сдѣлался тѣмъ похожимъ на Васю, побѣжалъ за толпой мелкими шагами и шипящимъ голосомъ бормоталъ:

— Мужички, оставьте... Что же это вы, мужички...

Когда дошли до хлѣбныхъ амбаровъ и кто-то изъ толпы ударилъ ломомъ по желѣзной накладкѣ двери, Тереховъ вдругъ затрясся, захлипалъ, пробился впередъ, повисъ у двери и съежился.

Шапка свалилась у него съ головы, лицомъ онъ прижался къ двери, и было только видно спину и сѣро-сѣдую голову съ круглой лысиной. Подошли два парня. Одинъ подумалъ, посмотрѣлъ на трясущуюся голову, замахнулся... Потомъ отвелъ руку, весь сморщился... Другой быстро схватилъ Терехова за воротъ и швырнулъ его въ сторону. Тереховъ полетѣлъ какъ мячъ, что-то крикнувъ. Въ это время въ толпѣ раздался еще крикъ, еще болѣе тонкій и пронзительный... Къ лежавшему Терехову протискался Вася, упалъ около и заплакалъ.

— Ну его, — рѣшили мужики. И, точно по командѣ, трое разомъ ударили колыями въ дверь; дверь затрещала, звякнуло желѣзо, что-то скрипнуло, дверь распахнулась. Всѣ вскрикнули и бросились въ амбаръ.

Тереховъ поднялся съ земли, взглянулъ на толпу и вдругъ, слабо всхлипнувъ, побѣжалъ прочь, наскочилъ на дерево и сталъ, что-то крича, цѣпляться ногтями за его стволъ, точно собираясь взлѣзть наверхъ... потомъ побѣжалъ дальше, натываясь на улы, на людей, падая, поднимаясь и опять падая.

Какъ былъ, безъ шапки, въ разорванномъ платьѣ, онъ вскочилъ на лошадь и понесся куда-то съ хутора. А за нимъ кто-то все бѣжалъ и визгливо, по-заячьи вскрикивалъ... бѣжалъ—и не могъ догнать... Это былъ Вася.

VIII.

Между тѣмъ погромъ продолжался.

Часть толпы уже въѣхала на подводахъ во дворъ. Одни таскали мѣшки, другіе валили ихъ въ телѣги; въ сторонѣ разбивали топорами улы, у дома обыскивали приказчика Чайгу, который бранился и влялся, что ключи у хозяина. Изъ амбара кричали другъ другу: «Берите, чего вы... Берите, когда люди берутъ... У него много, онъ себѣ купитъ».

Было шумно и у погреба. Кто-то, залѣзши въ яму, выбрасывалъ оттуда куски свиного сала, яйца, селедки, жестянки съ какими-т маслами... Тутъ же, на мыловаренномъ заводѣ, ломали шеворнемъ замокъ и впрягали лошадей въ телѣги Терехова. «Бейте замки!— кричали въ толпѣ.— Тамъ на заводѣ у него кровати спрятаны...» Рослый мужикъ долго старался надъ пудовыми замками, напрятс:

еще, рвануль, — замогъ разсѣлся надвое. Онъ толкнуль дверь ногой и кригнуль: «Ну, теперъ наша взяла... всѣ входите!»

Заводъ былъ длинный, похожій на сарай и темный. Въ сумракѣ ничего не было видно. Кто-то кригнуль: «Спичекъ!» Кто-то чиркнуль, кто-то подалъ лучину... Брестьяне разбрелись съ огнями по заводу, залязгало желѣзо, загромыхали кадучки и бочки, звякнули стекла. Снаружи кригнули: «Водку нашли!» Многие бросились изъ сарая, кинувъ тамъ лучины... Произошла свалка.

На дворѣ ужъ стемнѣло. Бучки людей сидѣли на травѣ, на ульяхъ, подъ навѣсами и пили водку. Откуда-то изъ избъ доносилось пѣніе. Потомъ кригнули: «Деньги забыли!» И всѣ вскочили на ноги и бросились къ избѣ самого Терехова. Въ одно мгновение изба наби-лась биткомъ... Непомѣстившіеся въ сѣняхъ выбивали стекла, выставляли рамы и влѣзали въ окна. Въ домѣ перевернули все вверхъ дномъ: опрокинули скамьи, разбили столы, выдвинули ящики, взломали сундукъ, въ которомъ денегъ почему-то все же не оказалось, и раскидали всѣ записки. «Вотъ штрафы, — кричали одни, подбрасывая надъ головами бумажки. — Держите штрафы... Летать! Кончено!»

Появилось много сильно подвыпившихъ, начали выкидывать изъ печки горшки, изъ подушекъ выпускали перья и пухъ, били кочергами посуду, кто-то одѣлся въ кофту исчезнувшей Минодоры и плясалъ въ ней на опрокинутомъ столѣ... Кто-то залѣзъ на печку и кричалъ оттуда: «Бараси жареные!» Потомъ все вдругъ смолкло передъ тонкимъ крикомъ: «Пожа-а-а-рь!» И всѣ на мгновение оцѣпенѣли, затѣмъ ринулись изъ хаты, побросали забранное и высыпали на дворъ. Горѣлъ мыловаренный заводъ.

Сначала огня не было видно и зданіе казалось чернымъ. Что-то грозно ворчало, потомъ разомъ треснуло, рухнуло, и ослѣпительно-яркій свѣтъ прорвался наружу, и миллиарды красныхъ искръ полетѣли вверхъ. Сдѣлалось свѣтло; рѣзкія черныя тѣни залегли въ разныхъ направленіяхъ и задвигались на яркомъ фонѣ земли. Понеслись разноголосые крики, поднялась суета, кто-то завопилъ: «Воды, воды!»

Многіе куда-то побѣжали, надъ толпой повисъ новый крикъ, — кто-то закричалъ оглушительно: «Громите! Жгите!» — И всѣ, кто, побросали ведра, всѣ засуетились, закружились на мѣстѣ, точно ки, часть побѣжала къ забору, повиыдергала жерди, поломала та... Въ огонь полетѣли колья, доски, солома, скамьи... Рѣзко хло дымомъ, на мгновение стемнѣло, затѣмъ вдругъ поднялось ное пламя... Заревомъ окрасились еще уцѣлѣвшія избы; движущіе люди, молчаливо стоящія деревья... пламя взвилось, точно сто-

аршинное, и при свѣтѣ огня жалко блеснулъ маленькій крестъ часовенки. Кто-то крикнулъ: «Церкву блюдите!»—и всѣ разомъ ахнули, всѣ побѣжали съ жердями и кольями къ часовнѣ и суетливо, дѣловито начали разбирать близъ лежащiе сараи, чтобы не допустить до церкви огня. Стало тихо и жутко; всѣ озабоченно и строго спѣшили, быстро и обдуманно накладывали руки и съ дѣльной поспѣшностью растаскивали бревна. Нѣкоторые стоя рубили топорами стропила пылавшихъ сараевъ; по временамъ искрящiйся дымъ совершенно пряталъ стоявшихъ на крышахъ... имъ подавали лѣстницы, обливали водою... работа шла.

— Становой прiѣхалъ!—вдругъ закричали, и крикъ этотъ разнесся по хутору:—Становой!... Становой!...

Кто-то пискнулъ дѣтскимъ, безпомощнымъ голосомъ:

— Становой прiѣхалъ!

И всѣ засуетились, всѣ побросали кольца и стали сдвигаться въ гучи.

IX.

Оказалось, ошиблись. Прибылъ не становой, а урядникъ Тышкевичъ съ волостнымъ старшиной, сотскими и десятскими.

Тышкевичъ прiѣхалъ не столько разсерженный, сколько изумленный и растерянный. Видимо, онъ еще не освоился съ обстоятельствами, не зналъ какъ держаться, и побаивался. Для вида онъ прикрикнулъ было:

— Какъ вы смѣете?—но сейчасъ же засуетился и побѣжалъ къ избѣ Терехова.—Вы отвѣтите, отвѣтите!—кричалъ онъ на ходу; въ дверяхъ столкнулся съ выносившими сундукъ крестьянами, затрясся и приказалъ десятскимъ:—Остановите!

Трое дюжихъ десятскихъ двинулись—было отнимать, но ихъ сейчасъ же оттолкнули съ бранью:

— Нѣтъ теперь десятскихъ!—крикнулъ кто-то, и сейчасъ же всѣ повторили хоромъ:—Нѣту десятскихъ, нѣту!

— Смотрите!—грозилъ урядникъ, стоя въ дверяхъ избы.—Сейчасъ вотъ становой съ солдатами будетъ. Онъ вамъ покажетъ грабить-то...

Вмѣсто отвѣта трое крестьянъ, бросивъ ношу, двинулись на Тышкевича. Тотъ не договорилъ фразы и скрылся за дверью.

Мужики поторкали дверью, выбралились, посмѣялись и, забравъ сундукъ, понесли его дальше.

Становой дѣйствительно прiѣхалъ. Но прiѣхалъ онъ незамѣтно, для всѣхъ врасплохъ.

Было ли это особымъ маневромъ Еремина, — только появился онъ съ полуротой солдатъ на пожарищѣ сразу, словно выросъ изъ-подъ земли.

Появленіе солдатъ произвело на крестьянъ ошеломляющее впечатлѣніе. Въ Блючахъ военнаго поста не было, солдаты стояли лишь въ деревнѣ Тяглевѣ, неподалеку отъ города. Очевидно, о крестьянскомъ движеніи въ Блючахъ были освѣдомлены задолго до начала погрома. На подводахъ вмѣстѣ съ солдатами прибылъ и самъ Тереховъ.

На пожарище солдаты явились мѣрнымъ и звонкимъ шагомъ, ровно выстроенные и блестящіе оружіемъ.

— А-а-а! — заревѣлъ Ереминъ, бросившись въ первую попавшуюся ему кучу. — Такъ вотъ вы что!... Бунт-а-вать!... — Послышался трескъ. Неистово бранясь, Ереминъ билъ направо и налево, и крестьяне бѣжали отъ него въ разныя стороны. — Взять мерзавцевъ! — приказалъ онъ подбодрившимся десятскимъ, среди которыхъ появился и урядникъ Тышкевичъ. Десятскіе поспѣшно окружили одну кучку и начали скручивать пойманнымъ на спинѣ руки. Остальные, оторопѣвшіе и уничтоженные, стояли молча и неподвижно, смотря на расправу. — Шкуру спушу! — бѣшено кричалъ Ереминъ. Онъ остановился передъ связаннымъ старикомъ и такъ ударилъ его по головѣ, что тотъ зашатался и упалъ на землю. Крестьяне заволновались.

— Бить нельзя, — говорили въ толпѣ. — Убилъ человѣка-то...

Гулъ разрастался.

— Что-о? — рявкнулъ Ереминъ, подскочивши къ несвязаннымъ. Но толпа уже не шарахнулась въ сторону. Она выросла втрое и вчетверо... и вдругъ, плотная и угрюмая, двинулась впередъ какъ живая стѣна. — А-а-а! — завздыхалъ Ереминъ, даваясь отъ ярости. — Такъ вотъ оно!... Вы еще!...

Ему не дали договорить. Кто-то впереди взмахнулъ палкой и ударилъ Еремина по головѣ, Ереминъ зашатался, слабо охнулъ. Къ нему подбѣжали офицеръ и солдаты. Кто-то еще отдѣлился отъ толпы и подскочилъ къ лежащему Еремину. «Ахъ, какъ же, — заговорилъ онъ, — всѣ узнали сына Терехова Васю. — Убили!... Ахъ, какъ же!»

— Ничего, ничего, — бормоталъ Ереминъ, весь блѣдный, злобѣ улыбаясь. — Ничего... Я имъ покажу... — Онъ шатался, поддерживаемый съ одной стороны солдатомъ, съ другой — Васей, потомъ потрѣлъ на него, кригнувъ: «А этотъ-то!...» — размахнулся и ударилъ Васю прямо въ переносицу. — «Ничего, ничего», — кригнувъ, но изъ носу и изо рта хлынула кровь, и онъ захлебнулся.

Все еще шатавшийся, Ереминъ снова подошелъ къ застывшей толпѣ.

— А-а, голубчики... отцы крестные... А-а, милые. Маршъ, дьяволы... на колѣни-а-а! Сол-да-ты-ы...

Изъ толпы вдругъ выдвинулся тотъ парень, который оттолкнулъ Терехова отъ амбара, и, обернувшись, крикнулъ: «Братцы, не поддавайся!... Не вѣрстные, вѣтъ! Держися!» Ереминъ что-то крикнулъ и двинулся было въ толпу, но та разступилась на-двое и, двинувшись къ связаннымъ, прорвала цѣпь десятскихъ.

— Теперь вамъ, вамъ...—яростно закричалъ Ереминъ на офицера.—Я все сдѣлалъ, видите!—Тотъ подался впередъ и сказалъ негромко: «Разойдись, буду стрѣлять».

Тотъ же парень, вынырнувъ изъ толпы, прокричалъ: «Братцы, пугаютъ... Развязывай». Офицеръ что-то скомандовалъ; солдаты двинулись впередъ и стали тѣснить прикладами... Толпа побѣжала. Часть засѣла въ двухэтажномъ амбарѣ. «Братцы, стрѣлять не будутъ!—кричалъ кто-то.—Я самъ унтеръ,—я знаю, только пугаютъ. Вали!»... Изъ амбара на солдатъ полетѣли колья, палки и камни. «Намъ ѣсть нечего, чего тутъ стрѣлять»,—кричали еще.

— Разойдись!—высоко и тонко выкрикнулъ офицеръ. Заиграли на рожкѣ. Потомъ выстрѣлили вверхъ.

— Вотъ, вотъ, вверхъ!—крикнулъ кто-то.—Бей станového.

Передніе схватили колья и бросились впередъ. Что-то треснуло сухо и отрывисто, и мгновенно затѣмъ все задвигалось, захлипало, затряслось и завывало.

— Не смѣйте!... Не смѣйте...—закричалъ только-что подѣхавшій Ленева и, не помня себя, двинулся куда-то впередъ. Усмѣхающееся лицо Еремина поднялось передъ его глазами. Ереминъ показалъ зубы, щеки его сморщились, концы усовъ поднялись кверху, прищурились глаза. Кто-то толкнулъ Ленева въ спину и поволокъ за собою. Голова отяжелѣла, разноцвѣтныя линіи зарыбились въ глазахъ.

— Володя, Володя,—забормоталъ онъ, припоминая юное застѣнчивое лицо... Сейчасъ же запахло чѣмъ-то удушливымъ, передъ глазами закачалась нагруженная лодка... Ленева упалъ на нее ничкомъ,—все всколыхнулось, поплыло внизъ и—исчезло.

Х.

Въ домѣ Смирновыхъ стоялъ переполохъ; Тася ходила съ заплаканными глазами, прислуга говорила шопотомъ, Викторъ Ивановичъ кричалъ и бранился на весь домъ. Разъ пять поднимался онъ наверхъ

въ комнату старшей дочери Зины; дойдетъ до половины лѣстницы, постоитъ, побормочетъ и опять направится прочь, фырча на прислугу... Наконецъ, онъ рѣшился и вошелъ. Зина сидѣла блѣдная и задумчивая, вся исхудавшая, съ опущенной головой, точно думала о чемъ-то неизмѣримо тяжеломъ. Приходъ отца она встрѣтила равнодушно. Даже не двинулась. Виктора Ивановича это нѣсколько поколебало.

— Я пришелъ,—заговорилъ онъ какимъ-то особеннымъ, пугливо-торжественнымъ голосомъ.—Я пришелъ, братъ, какъ ты это видишь... Удивляюсь, я удивленъ! Однимъ словомъ, я прочелъ ваше письмо...

Онъ остановился, ожидая, что дочь заговоритъ. Зина осталась неподвижной, даже головы не подняла.

Лицо Виктора Ивановича побагровѣло.

— Такъ вотъ!—выкрикнулъ онъ.—Вотъ она, благодарность дочери!... Я, братъ, пришелъ васъ спросить: неужели вы твердо рѣшили... вы, моя дочь, порядочная дѣвушка, рѣшили ѣхать къ нему, къ этому погибшему молодому человѣку?...

— Да, рѣшила,—сказала Зина и подняла голову.

— Хорошо-съ!—быстро выкрикнулъ Викторъ Ивановичъ.—Мы не станемъ спорить объ убѣжденіяхъ. Но долгъ мой—отца: на краю вы гибели! Вы, порядочная дѣвушка, и онъ!... Онъ навѣки скомпрометировалъ себя тюрьмою! Онъ колодникъ! влятвопреступникъ!... Хороши дѣти! И въ кого это появились вы, такія... р-революціонныя!...

Викторъ Ивановичъ хлопнулъ себя ладонями и заходилъ изъ угла въ уголъ. Долго молчалъ, потомъ заговорилъ снова.

— И я, старый башмагъ, чего я смотрѣлъ? Какъ я, дворянинъ и уважаемый человѣкъ, допустилъ къ себѣ въ домъ какихъ-то нигилистовъ, социалистовъ, анархистовъ! Но развѣ я зналъ? Развѣ я зналъ!

Зина невольно улыбнулась.

— Папа, вы же знаете—все равно я поѣду. Я люблю Алексѣя и должна его видѣть.

— Люблю!—Викторъ Ивановичъ взвизгнулъ и подпрыгнулъ на каблучкахъ.—Развѣ я мѣшалъ вамъ любить? Но я рассчитывалъ, что будете благоразумны. Я все допускаю,—я человѣкъ передовой: любите вы бѣднаго, некрасиваго... ну, допустимъ, даже мѣщанина... но человѣка, посаженнаго въ тюрьму,—нѣтъ, лучше меня ѣжьте! Да нѣтъ, вы, конечно, шутите... вы смѣтаетесь надъ моими динами; вы, дворянка Смирнова, полюбили государственнаго преступника?

Зина опять улыбнулась.

— Да, преступника!—Викторъ Ивановичъ упалъ на диванъ, пружины подъ нимъ зазвенѣли.

Зина медленно подошла къ нему.

— Дѣло вовсе не такъ страшно, папа, вы просто утомились.

Викторъ Ивановичъ и въ самомъ дѣлѣ усталъ.

— Но что же вы будете дѣлать?—простоналъ онъ изнеможеннымъ голосомъ.—Что дѣлать?

Зина подошла къ отцу и сѣла съ нимъ рядомъ.

— Написала я вамъ потому, что мнѣ нужна ваша помощь,— сказала она,—у меня нѣтъ, напримѣръ, денегъ. Не ужасайтесь, это такъ просто: безъ денегъ не уѣдешь. Далѣе, чтобы избѣжать неприятныхъ для васъ деревенскихъ разговоровъ, вамъ, по моему мнѣнію, слѣдовало бы ѣхать со мной вмѣстѣ. Вотъ и все.

Зина повернулась, чтобы идти. Викторъ Ивановичъ вскочилъ и беспомощно ухватился за ея руку.

— Постой!—закричалъ онъ отчаяннымъ голосомъ.—Такъ ты окончательно рѣшилась... Значить, ты рѣшила опозорить на старости лѣтъ отца, чтобы каждый могъ говорить о томъ, что моя дочь сбѣжала въ тюрьму, къ катор... О, моя бѣдная жена!... ты не видишь...

Викторъ Ивановичъ заговорилъ на «благочестивыя» темы. Зина ждала терпѣливо, потому что знала, что такими тирадами всегда оганчивались вспышки отца. Она дала ему наговориться вволю, не слушала его длинныхъ рѣчей и подъ гулъ ихъ старалась обсудить всѣ детали принятаго рѣшенія.

XI.

Викторъ Ивановичъ любилъ рассказывать, что предки его служили при Иоаннѣ Грозномъ и что тогда у нихъ была другая фамилія: Зиновьевы, Смирновыми же имъ приказалъ называться Иванъ Васильевичъ за ихъ кроткій нравъ, вѣрность престолу и услужливость. Сколько во всемъ этомъ было правды, разобрать было трудно; Викторъ Ивановичъ любилъ прихвастнуть, и анекдотъ о перемѣнѣ фамиліи рассказывалъ обыкновенно съ самыми разнообразными варіаціями. Иногда дѣло доходило до того, что родоначальникомъ своимъ Викторъ Ивановичъ называлъ какого-то выходца изъ Литвы; потомъ выходило, что этотъ выходецъ былъ казненъ въ тринадцатилѣтнемъ возрастѣ, и, производя отъ него дальнѣйшую родословную, Викторъ Ивановичъ обыкновенно очень путался.

Какъ бы то ни было, Смирновы владѣли довольно большимъ «жа-

лованнымъ» помѣстьемъ; правда, съ паденіемъ крѣпостничества они испытали общій удѣлъ, но все же у Виктора Ивановича осталось солидное имѣніе въ нятъсотъ десятинъ очень хорошаго чернозема и порядочный денежный капиталъ. Капиталъ этотъ Викторъ Ивановичъ уменьшилъ уже «отъ себя».

Отцомъ онъ былъ отданъ въ военную службу, выпелъ, какъ водится, въ уланы, жилъ весело, кутилъ и самымъ коварнымъ способомъ, при самой романической обстановкѣ, увезъ молодую московскую вдову, на которой, къ ужасу своихъ родственниковъ, и женился.

Ужасались родные потому, что Анна Григорьевна—такъ звали молодую вдову—была небогата и происходила изъ купеческаго сословія. Но вскорѣ всѣ ее полюбили, такъ какъ была она самое безобидное и веселое существо.

Она все любила: и покушать, и поспать, и танцовать, и читать, и говорить; сплетнями она занималась мало, съ большимъ выборомъ, и то больше отъ скуки. Скучать она не любила и потому занималась всѣмъ, что только подъ руку попадалось... и во всемъ находила для себя развлеченіе. Она и грибы любила собирать, и варенье варила, и спектакли ставила, даже на роялѣ играла, хотя этому ее не учили.

Съ появленіемъ ея въ домъ Виктора Ивановича домъ немедленно обмылся, приструнился. Появились цвѣты, скамеечки, чайныя салфетки: она много вязала, и всѣ кружевные вещицы въ домъ были ея работы. Вязать и вышивать Анна Григорьевна чрезвычайно любила. Она ухитрялась вязать даже во время обѣда: проглотить тарелку супу и повязать, съѣсть жаренаго и опять спицы въ рукахъ...

Въ усадьбѣ Виктора Ивановича сдѣлалось шумно. Постоянно кто-нибудь то уѣзжалъ, то вновь пріѣзжалъ; специально для гостей пристроили двѣ комнаты. Въ именины свои Анна Григорьевна выпивала изъ города фейерверкера—онъ же былъ и кондитеръ,—приучила садовника подносить букетъ, дѣтей научила читать поздравительныя стихотворенія. Сама даже стихи сочиняла къ днямъ именинъ, и стихи выходили довольно гладкіе.

Выйдя въ отставку, Викторъ Ивановичъ хотѣлъ было, по положенію, облечься въ халатъ и феску, Анна Григорьевна этого ему не дала. Она принудила его бриться и мыться и приставала къ нему до того, что Викторъ Ивановичъ уступилъ и сталъ, несмотря на деревенское житье, ходить въ крахмальныхъ сорочкахъ, носить батистовые галстуки, цвѣтные манжеты съ брилліантовыми запонками и не позволялъ себѣ, какъ дѣлалъ то раньше, послѣ обѣда разстегивать

жилетку. Мелочи эти утомляли его, но, отличаясь от природы уступчивымъ характеромъ, онъ не протестовалъ; въ чести Анны Григорьевны надо сказать, что она всѣ свои требованія умѣла предъявлять въ формѣ просьбъ, заботливо и мягко; имѣя подъ бокомъ молодую и веселую жену, Викторъ Ивановичъ изъ-за этихъ удобствъ смирялся съ досаждавшими ему мелочами ихъ жизни и не ропталъ на крахмальныя сорочки. Онъ не успѣлъ и оглянуться, какъ прошло десять лѣтъ, и Анна Григорьевна умерла. И умерла она какъ-то особенно просто и даже, если только можно сказать, весело: въ день своихъ именинъ, великолѣпнымъ лѣтнимъ вечеромъ, послѣ веселой кадрили съ шумнымъ гранд'рондомъ, среди котораго выдѣлывали самыя разнообразныя фигуры-фантази предводителя дворянства.

Послѣ танцевъ она только успѣла дойти до кресла, крикнула: «Ахъ!» — даже улыбнулась... и умерла мгновенно, разрывомъ сердца. Смерти ея Викторъ Ивановичъ долго не вѣрилъ. Когда ему свазали объ этомъ (сидѣлъ онъ за картами), онъ улыбнулся и крикнулъ: «Глупости!!» Ему повторили. Викторъ Ивановичъ не всталъ. Лицо у него вытянулось. Онъ согнулся надъ картами и сказалъ: «Продолжайте-ка»... И тѣ машинально додержали талию, и было жутко видѣть, какъ играютъ люди передъ еще не остывшимъ трупомъ.

Послѣ талии Викторъ Ивановичъ неторопливо всталъ, вошелъ въ залу, посмотрѣлъ на лежавшую на диванѣ Анну Григорьевну, сказалъ: — Что-жъ, уберите, — и медленно пошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Родственники поспѣшили за нимъ неслышною цѣпью. Онъ подошелъ къ столу, сѣлъ въ кресло и, посмотрѣвъ на вошедшихъ за нимъ, сказалъ:

— Тагъ-то, мои милые!

Потомъ вскочилъ на подоконникъ, выпрыгнувъ въ окно и побѣжалъ по парку. А за нимъ побѣжали и всѣ.

Его поймали у рѣки, привели, раздѣли, уложили въ постель. У Виктора Ивановича начался жаръ.

— Музыку, музыку! — кричалъ онъ, пытаясь подняться съ кровати.

Его держало четверо мужчинъ. Въ утру онъ стихъ. Утромъ же пріѣхалъ докторъ и нашелъ у него нервную горячку. Викторъ Ивановичъ проболѣлъ два мѣсяца и поѣхалъ поправляться въ Ялту. Потомъ горе забылось. Тайкомъ отъ подраставшихъ дочерей Викторъ Ивановичъ сходилъ съ женщинами, но встрѣчи были случайны, въ домъ онъ не привелъ ни одной. И память о маленькой, полновеселой женщинѣ, немного болтливой, немного ворчливой и любивше чистоту, такъ и осталась въ посѣдѣвшей головѣ.

— Эхъ, Аннушка! — забывшись, бормочетъ Викторъ Ивановичъ и задумчиво кусаетъ сѣрые усы.

ХІІ.

Когда тарантасъ, везшій Виктора Ивановича съ дочерью въ городъ, выбрался за деревню, раскинулась безпредѣльная степь. Утреннее солнце еще не жгло и чудесно грѣло. Вѣтерокъ былъ слабый, чуть замѣтно ласкавшій щеки, лошади бѣжали ровно, на козлахъ монотонно мурлыкала кучеръ Платонъ. Викторъ Ивановичъ заслушался пѣсни Платона о томъ, какъ на серебряной рѣкѣ, на золотыхъ песочкахъ онъ отъ дѣвы молодой «ожидалъ слѣдочковъ», засмотрѣлся на ровное голубое, безоблачное, ясное небо, на зеленую безбрежную степь, не сдержался и крикнулъ: «Какъ хорошо!»

Дѣйствительно, небо и молчавшія вдали горы были прекрасны; но лучше всего была необъятная дикая степь. Въ томъ уголкѣ, гдѣ жили Смирновы, было еще много дѣвственно нетронутыхъ мѣстъ. Правда, край заселялся и терялъ свою оригинальность. Уже вырубались вѣковые лѣса и чернѣли кое-гдѣ мертвыя поляны съ безобразными пнями; но общая красота еще была жива, а степи, особенно къ горамъ, были и совсѣмъ нетронуты. Только одна дорога робко пробивалась между моремъ травы; и дорога была узкая, такъ же зеленая, такъ же мягкая, какъ бархатная трава. Тарантасъ неслышно катился между двухъ пестрыхъ, двигавшихся на вѣтрѣ, полосъ, и при взглядѣ на нихъ почему-то думалось, что ѣдешь среди моря, что море разступилось на двѣ стороны, какъ въ древнемъ сказаньи... и становилось немного жутко.

Когда вѣтеръ останавливался, море превращалось въ богатый коверъ разныхъ цвѣтовъ, начиная съ незатѣливой кашки и кончая громадными колокольчиками, барскою спесью. Тысячи пѣсенъ неслись изъ тѣни ковра: назойливыхъ, ярыхъ, веселыхъ и скучныхъ. Перемежались онѣ свистомъ, трескомъ и криками, и отъ этого концерта кузнечиковъ, стрекозъ, малиновогъ, чижей и жаворонковъ становилось ясно и легко на душѣ...

— Платонъ, не гони, — сказалъ Викторъ Ивановичъ, — и, щуря отъ истома глаза, покосился на дочь. Казалось, и Зина была охвачена властью степи. Она молча смотрѣла передъ собой, и лицо у нея было ровное, ясное и спокойное. Виктору Ивановичу хотѣлось говорить. Говорить о себѣ, о покойной женѣ, о дорогѣ, о малиновкахъ, жаворонкахъ... даже о томъ, кто сидѣлъ въ тюрьмѣ...

Но не было словъ. Викторъ Ивановичъ смущался, собирая расте-

равшія слова, и чѣмъ больше старался ихъ собирать, тѣмъ запасъ дѣлался меньше...

Вхоть имъ приходилось долго. Отъ имѣнія до города было сто съ лишнимъ верстъ, и въ одинъ день Смирновы туда не ѣздили. Обыкновенно они заночевывали въ деревнѣ Каменной, — на половинѣ пути.

Было ужъ жарко, когда они подѣхали къ мѣсту своей первой остановки. Поселокъ былъ маленькій, въ десятокъ дворовъ, и скучный. Ослабая отъ жары Зина тотчасъ же по приѣздѣ на постоянный дворъ вошла въ избу, а Викторъ Ивановичъ остался во дворѣ, разговорившись съ хозяиномъ, котораго онъ не видалъ лѣтъ двѣнадцать.

Стали распрягать лошадей. Бабы захопотались надъ самоваромъ. Принесли жирныхъ сметанныхъ лепешекъ, глиняную крынку молока. Зина лѣниво разсматривала расклеенныя по стѣнамъ лубочныя картинки, изображавшія святыхъ, съ оранжевыми и зелеными лицами, съ очень маленькими губами кренделемъ и глазами, занимавшими все лицо. Тутъ же висѣли и картины особеннаго содержанія, — картины съ текстомъ: на одной рассказывалось, какъ лихой солдатъ спасъ отъ разбойниковъ Петра I, и были нарисованы огроболенные головы, снесенныя солдатомъ у тѣхъ разбойниковъ; было много и возмутительныхъ рисунковъ изъ русскихъ войнъ съ турками и японцами, самаго дикаго, жестокаго и нелѣпаго содержанія.

На дворѣ Викторъ Ивановичъ уже бранился съ давно невиданнымъ содержателемъ постоялаго двора и, весь багровый, тыкалъ въ овесъ указательными пальцами.

Зина терпѣливо ждала, когда отецъ напьется чаю, лѣниво слушала его безконечные разговоры и смотрѣла на часы. Видимо, Викторъ Ивановичъ чувствовалъ себя хорошо. Рѣчи его катились волнами, и онъ едва успѣвалъ подливать себѣ въ чай коньяку.

Изъ поселка выбрались они, когда жара схлынула. Лошади бѣжали бодрѣе, зато Викторъ Ивановича такъ и клонило ко сну. Дремалъ на козлахъ и древній вучеръ Платонъ. Ему перепало таки отъ щедротъ хозяина, и на болѣе трудныхъ мѣстахъ онъ считалъ нужнымъ придерживаться за облучокъ.

Тучки быстро бѣжали по небу, перегоня другъ друга и сталкиваясь. Колокольчикъ и бубенцы звякали однообразно и скучно... справа и слѣва отъ экипажа одинаково клубилась сѣрая пыль... Зина молча смотрѣла впередъ. Почему-то думалось, что она будетъ ѣхать такъ безконечно всю жизнь... что сегодня — пыль, степь, позвякиванье колокольчика и вдали горы и лѣсъ; завтра — опять пыль, жара, степь... опять наступитъ утро, поднимется солнце, опять станетъ въ

зенитѣ, опять опустится, потемнѣютъ горизонты... и нужно будетъ ѣхать и ѣхать; настанетъ третій день, — снова солнце и степь и снова ѣхать и ѣхать. Она поймала себя на своемъ настроеніи, выпрямилась, оглядѣлась. Такъ недавно восторгавшійся природой Викторъ Ивановичъ слегка похрапывалъ, откинувшись въ глубь экипажа и потряхивая отъ толчковъ головой. Зина долго смотрѣла на отца. Чувство неопредѣленной жалости охватило ее. Опять она поймала себя на томъ, что нервничаетъ... и вдругъ вспомнила о Ленеѣ.

— «Милый!» — обожгло ее мозгъ. И стало какъ будто немного стыдно, что мысль о немъ точно вычеркнулась изъ головы, точно исчезла, какъ что-то маленькое... Сейчасъ же передъ глазами нарисовалось лицо... тонкое, изящное, блѣдное... съ особеннымъ, всегда грустнымъ и печальнымъ выраженіемъ глазъ, грустныхъ даже тогда, когда онъ смѣялся.

— «Милый!» — повторила она, улыбнулась и сейчасъ же нахмурилась. Вспомнилось о томъ, что было, и сердце сжалось тоскою...

Экипажъ начало сильно встряхивать. По дорогѣ попался громадный обозъ въ безконечное число упряжныхъ быковъ, и кучеръ, чтобы не плестись за обозомъ шагомъ, началъ его обгонять по запаханному полю. Отъ толчковъ Викторъ Ивановичъ два раза ударился головою о кузовъ тарантаса и проснулся, тараща глаза. Проснувшись, по обыкновенію началъ бранить кучера, и тотъ, не оборачиваясь, только помахивалъ сморщенной коричневой рукой; потомъ, объѣхавъ обозъ, кучеръ и баринъ долго о чемъ-то препирались между собою, а Зина смотрѣла на кособокія избы деревни, которой они проѣзжали, на стаю ожесточенно лающихъ собакъ, голодныхъ, съ проступавшими ребрами, на пучки соломы, привязанные къ воротамъ постоялыхъ дворовъ, темныхъ, грязныхъ и бѣдныхъ, и опять на душѣ становилось тоскливо. Стали попадаться по дорогѣ овраги, настоящіе залустные овраги, кривые, косые, усѣянные обломками телѣгъ и костями лошадей, трудно минуемые въ благополучную пору и почти совсѣмъ невозможные для проѣзда въ дожди. Викторъ Ивановичъ былъ очень трусливъ. Онъ выѣзжалъ въ каждомъ оврагѣ и заставлялъ выѣзжать дочь. Кучеру въ оврагахъ отъ него прямо «не было житья».

рѣшаясь подойти и помочь, онъ называлъ Платона всевозможными чинами, и тому нужно было стоическое терпѣніе, чтобы выслушать безтолковыя приставанія и ругательства барина.

Въ каждомъ оврагѣ Викторъ Ивановичъ задерживался чрезвычайно долго. Приходилось долго поджидать, когда онъ пройдетъ тѣмъ весь оврагъ и, весь запыхавшись, поднимется на кручу...

Только къ позднему вечеру они сдѣлали полпути и достигли деревни Каменной.

Викторъ Ивановичъ вылѣзъ изъ экипажа весь раскисшій послѣ долгаго и неподвижнаго сидѣнья; продолжительная поѣздка его рас-трясла, да и вылѣзанія на оврагахъ сморили... Онъ торопливо напился чаю и завалился спать прямо на войлокѣ, постланномъ на полу. Зина не спалось. Опять она ходила по комнатѣ изъ угла въ уголь, опять смотрѣла на расклеенныя по стѣнамъ лубочныя карти-ны. За картинами шуршали тараканы, тараканы же усѣяли зеркало, заклеенное цвѣтными бумажками съ конфетныхъ коробокъ, тарака-ны бѣгали по потолку, по столу, заползали въ сахаръ и хлѣбъ, въ чайную посуду.

ХІІІ.

Зина вышла во дворъ и остановилась посреди его, охваченная тишиной сна, свѣтомъ луны и величиною роскошнаго неба. «Какая красота!—сказала она,—красота эта вѣчна».

И сейчасъ же взгляды ея упали на землю, на темную, сырую землю, на изморенныхъ лошадей, лежавшихъ на грязной соломѣ, на спавшихъ въ телѣгахъ измученныхъ людей, спавшихъ неподвижно, мучительно, точно въ столбнякѣ, съ раскрытыми ртами и судорожно сжатými пальцами.

— Это жизнь!—мелькнуло въ сознаниі.—Все это невѣчно. Мо-жетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ имъ не надо биться за это... Такъ много другихъ, такихъ же честныхъ... а этихъ—такъ мало! И смерть одно-го—потеря для всѣхъ.

И страстное желаніе видѣться съ нимъ, слышать его голосъ, съ нимъ говорить охватило ее... Сердце заняло отъ тоски и боли, за-хотѣлось идти сейчасъ же, немедленно, не дожидаясь разсвѣта... идти и увидѣть.

— Онъ и тюрьма!—тихо сказала она, и спазма сдавила горло.— Онъ, такой нѣжный и чувствующій, и холодные камни, камен-ный полъ, желѣзо на окнахъ... караульный съ ружьемъ.

Она бросилась въ домъ, разбудила отца.

— Поѣдемъ, поѣдемъ!—твердила она, вся блѣдная, и голосъ ея дрожалъ какъ отъ невыносимой боли.—Больше я ждать не могу...

Викторъ Ивановичъ, только наполовину проснувшійся, никакъ еще не могъ придти въ себя и понять, чего хочетъ отъ него дочь. Онъ теръ кулаками глаза, фырчалъ, спрашивалъ осипшимъ отъ сна голосомъ, который часъ, и только послѣ долгихъ разговоровъ по-нялъ, чего отъ него требуютъ.

— Что ты? Что ты?—заговорилъ онъ и даже вскочилъ съ войлока.—Теперь еще ночь! Развѣ можно ѣхать? Теперь, братъ, разбойники! Въ каждомъ оврагѣ. Возьмутъ и выстрѣлятъ! Н-нѣтъ, я знаю.

Но Зина просила неотступно. Викторъ Ивановичъ сердился, пытался было закрыть голову подушками, потомъ все-таки всталъ и, какъ бывало всегда, уступилъ.

— Вотъ ужъ непосѣда-то,—ворчалъ онъ, сидя на стулѣ и зѣвая.—И чего только не спится вамъ, не понимаю. Ночь дана не для того, чтобъ вздыхать, а чтобы сномъ пользоваться. Эти, братъ, тамъ луны разныя, соловьи да звѣздочки—непостоянство одно. Голову будетъ ломить, да вѣдь и Платонъ не согласится. Лошади-то небойсь не чай пили.

Все же онъ вышелъ во дворъ, растолкалъ кучера и, по обыкновению, началъ браниться. Нѣкоторое время оба кричали, потомъ пошли къ лошадямъ подъ навѣсъ. Викторъ Ивановичъ опять тыкалъ въ овецъ пальцами, распекая древняго кучера за расточительность, а Не-Блади-Плоховъ увѣрялъ, что овецъ бросовый и что теперь, ночью, не только лошади, а и «никакая тварь не пойдетъ».

Однако тарантасъ снарядили. Разбудили хозяина постоялаго двора. Тотъ, почесываясь, пришелъ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и въ громадныхъ валенкахъ. Ему заплатили за постой. Зина дала и отъ себя рублевикъ. Хозяинъ засуетился, предложилъ «наставить самоварчикъ», и Викторъ Ивановичъ уже мычалъ наполовину утвердительно... но Зина торопила, и они выѣхали.

Кучеръ Платонъ все ворчалъ; неторопливо проѣхали они соннымъ селомъ и выѣхали въ степь, называемую Горюномъ, потому что обыкновенно зимой здѣсь происходили, по общему повѣрью, съ путниками несчастья: то лошадь падеть, то сани сломаются, то разбойники ограбятъ. Они ѣхали неторопливо среди холодной предутренней тьмы; чтобы не заснуть, Викторъ Ивановичъ отвисающими губами жевалъ пирожки и что-то ворчалъ насчетъ темноты; потомъ вдругъ приказалъ Платону:

— Подвяжи колокольчикъ.

— Зачѣмъ это?—удивленно спросила Зина.

— Ну тебя,—торопливо отвѣтилъ Викторъ Ивановичъ и началъ шевелиться.—Привлекать не надо,—добавилъ онъ скороговоркой.

Какъ ни была грустно настроена Зина, она улыбнулась: Викторъ Ивановичъ боялся разбойниковъ.

Подвязали колокольчикъ. Онъ едва позвягивалъ; дробно гремѣли и бубенцы. Викторъ Ивановичъ хмурился, ощупывалъ лежавшую чюгахъ старую саблю и время отъ времени кричалъ Платону:

— Смотри, на мостахъ осторожнѣе! Почему знать, что у *нихъ* на умѣ!

Начинало свѣтать; чуть забрезжила на горизонтѣ зорька; появился кудрявый дымокъ, сдѣлалось еще холоднѣе; Викторъ Ивановичъ немного успокоился. Заря разгоралась; гдѣ-то чирикнула птица, пролетѣли галки на хлѣбъ. Дымокъ на востокѣ заглубился еще живѣе, поля посѣдѣли. Холодъ крѣпчалъ. Викторъ Ивановичъ надвинулъ фуражку на уши, сталъ клевать носомъ; для развлечения досталъ опять пирожокъ, но не доѣлъ его, выронилъ изъ рукъ и задремалъ. Платонъ воспользовался этимъ и отвязалъ колокольчикъ, лошади побѣжали быстрѣе, запрядали ушами и настораживали ихъ въ сторону звона. Мельница попалась по дорогѣ; она казалась тоже еще сонной и лѣнливо махала крыльями; вѣхали въ оврагъ. Викторъ Ивановичъ все спалъ, а Зина отказалась вылѣзть изъ экипажа. Въ тому же на днѣ его бѣжала маленькая, чистая какъ янтарь рѣчущка; всѣ камешки можно было сосчитать на ея днѣ. Поѣхали по рѣчкѣ. Лицо спавшаго Виктора Ивановича морщилось и кривилось, точно онъ и во снѣ чувствовалъ опасность своего положенія. Когда выѣзжали изъ оврага, экипажъ сильно накренило. Съ головы Виктора Ивановича упала шапка. Платонъ соскочилъ, закричалъ на лошадей свое «ну-у!» поднялъ фуражку и нахлобучилъ ее, полную пыли, на голову хозяина. Тотъ все еще спалъ, и они поѣхали дальше. Поднялось солнце; заблестѣла на травѣ ночная роса, воздухъ теплѣлъ. Виктора Ивановича пригрѣло, и онъ проснулся.

— Ого!—сказалъ онъ, осмотрѣвшись.— Да мы ужъ у Больдяевки! Я, кажется, чуточку и вздремнулъ!

Заѣхали въ Больдяевку покормить лошадей и напиться чаю. На постояломъ дворѣ Викторъ Ивановичъ по обыкновенію бранился, но уже не съ хозяиномъ (овесъ дали хорошій), а съ заѣзжими мужиками грабарами. И было непонятно, съ чего онъ бранился, потому что грабари его не сердили и самъ онъ, повидимому, чувствовалъ къ нимъ нѣкоторую симпатію. Онъ разспрашивалъ ихъ о томъ, сколько они получаютъ за косьбу, удивлялся тому, что хозяева платятъ имъ въ день пятнадцать копеекъ, и спрашивалъ, чѣмъ же они живы. Тѣ отвѣчали: «чаемъ», и рассказывали, что существуютъ они такъ: напьются утромъ чаю съ хлѣбомъ, днемъ, въ обѣдъ, тоже чаю съ хлѣбомъ, а вечеромъ «съѣдятъ хлѣбца». Про мясо же и кашу у нихъ не слышно. «Бдимъ тюрю съ квасомъ, это—когда какъ. Мы—грабари»... и сердце Зины обливалось кровью. Съ жуткимъ вниманіемъ оглядывала она покорныя крестьянскія лица землистаго цвѣта, со

впалыми, точно высохшими щеками, съ изморщившимися, тощими шеями.

«О мужицкое счастье!» думала она съ тоской, и многое ей становилось понятнымъ и близкимъ.

XIV.

Бъ вечеру, вдали, на послѣднихъ солнечныхъ лучахъ, заблестѣлъ куполами своихъ церквей городъ. Викторъ Ивановичъ выпрямился, посмотрѣлъ на дочь торжествующе. Онъ какъ-то не помнилъ, зачѣмъ собственно они ѣхали; его радовало уже то, что они достигли города и побываютъ въ немъ, на мощеныхъ улицахъ, на бульварахъ, въ соборахъ. Опять пришлось подвязать колокольчикъ. Въѣхали въ предмѣстье. Викторъ Ивановичъ съ дѣтскимъ любопытствомъ осматривалъ городскія зданія, каланчи, соборы и повторялъ, какъ ребенокъ:

— Однако странно, какъ это я въ самомъ дѣлѣ такъ долго не былъ въ городѣ.

Городъ былъ небольшой и очень грязный. Считался онъ городомъ губернскимъ, но былъ хуже многихъ уѣздныхъ городовъ. Не всѣ улицы были мощены и мало было больницъ, но на главныхъ улицахъ стояли электрическіе фонари. Правда, фонари все еще не зажгались, но фонарями обыватели хвастались; городъ былъ бѣденъ, но чиновники строили себѣ хорошіе дома; масса нищихъ бродила по городу, а въ окрестностяхъ находились два богатыхъ монастыря. Присутственныя мѣста были, какъ и вездѣ, желтыя, будки передъ домомъ губернатора были пестрыя, губернаторъ былъ сановникомъ либеральнымъ, но низшіе чины сидѣли на старомъ крѣпко.

Губернаторъ въ городѣ былъ молодой, читалъ Щедрина, подсмѣивался надъ разными «администраторами», не любилъ, когда чиновники называли его «ваше превосходительство», а приказывалъ звать попросту «г. губернаторъ». Человѣкъ онъ былъ очень доступный, игралъ па любительскихъ спектакляхъ, пѣлъ, танцевалъ мазурку, кажется, даже стихи сочинялъ. Въ обществѣ считался онъ хорошимъ губернаторомъ, главнымъ образомъ потому, что занимался ими мало и склоненъ былъ важныя перемоніи обращать въ шутку, правда, не теряя своего достоинства. Съ публикой онъ объяснялся тогда въ такихъ выраженіяхъ: «Я имѣлъ счастье вамъ докладывать, смеѣлюсь просить васъ меня выслушать». Рассказывали, будто даже онъ писалъ въ неофициальныхъ вѣдомостяхъ сатирическіе этюды... если и не писалъ, то во всякомъ случаѣ былъ либераль-

нимъ цензоромъ. Звали его Николаемъ Леонтьевичемъ. Въ канцеляріи у него всегда бывало чисто, въ кабинетѣ пахло гелиотропомъ, чиновники у него обходились съ публикой вѣжливо... хотя чиновниковъ обыватели побаивались; говорили, что губернаторъ имъ слишкомъ довѣрялся; по крайней мѣрѣ, всё указывали на Лихарева, совѣтника губернскаго правленія, съ которымъ генераль держался въ особенноти близко.

Этотъ Лихаревъ доводился Смирновымъ родственникомъ, и Викторъ Ивановичъ порѣшилъ прежде всего обратиться за совѣтомъ именно къ нему.

Лихаревъ былъ маленькій, круглый человекъ, очень самолюбивый. Службу онъ началъ съ самыхъ маленькихъ чиновъ, но сумѣлъ пристроиться и двигался полегоньку, пока губернію не посѣтила холера. Скончалось тогда два начальника отдѣленія; долго обсуждали, кого бы назначить на мѣсто одного—дѣла у него были большею частью все щекотливыя; думали-думали и опредѣлили на эту должность Лихарева. Счастье и дальше повезло Ивану Ивановичу. На балу у губернатора имъ заинтересовалась одна барышня, Лидія Львовна Тяглова, двоюродная сестра Виктора Ивановича. Лидія Львовна жила больше въ деревнѣ и выѣзжала въ городъ только по зимамъ, исключительно на балы.

Иванъ Ивановичъ, узнавши про ея имѣніе, предложилъ ей руку и сердце немедленно и немедленно же обвинчался. Въ Лидіи Львовнѣ онъ не ошибся нисколько. Прошло двадцать лѣтъ со времени ихъ свадьбы, а Лидія Львовна казалась все такъ же влюбленной въ мужа. Она сама убирала ему на ночь постель, сама подавала утромъ кофе, разговоры его о службѣ слушала съ удовольствіемъ и интересовалась ею не меньше мужа.

Лидія Львовна скоро изъ сонной помѣщичьей дочки превратилась въ любящую чиновницу. Научилась она угощать гостей—каждаго по заслугамъ и положенію, для мелкихъ чиновниковъ клала въ прихожей на Пасху и Рождество листъ съ карандашомъ и сама больше Ивана Ивановича слѣдила за тѣми, кто не расписывался. Знала она всю канцелярію и правленіе наперечетъ и тоже лучше самого Ивана Ивановича. Съ деревенскими родственниками Лидія Львовна переписывалась тщательно, за что между прочимъ аккуратно къ праздникамъ и получала отъ нихъ подарки въ видѣ копченыхъ гусей, масла и окороковъ. Съ Смирновыми она переписывалась больше всѣхъ, и замѣчательно, что Викторъ Ивановичъ, обыкновенно не терпѣвшій у себя на столѣ карандашей и чернильницы, писалъ Лихареву всегда исправно, и дома, по полученіи отъ Лидіи Львовны писъ

ма, всегда долго рассказывалъ о немъ каждому встрѣчному и поперечному.

Дѣтей у Лихаревыхъ было семеро и всѣ они, за исключеніемъ старшаго, Андрея, или учились первыми учениками, или ходили особенно приличныя и чистенькія. Каждому изъ дѣтей родителями было подарено по копилкѣ, и въ большіе праздники отецъ подзывалъ дѣтей по порядку къ столу и дарилъ каждому по рублю мелочью; дѣти тутъ же, при немъ, опускали деньги въ коробочки и прятали ихъ въ нескораемый шкафъ. По воскреснымъ же днямъ имъ позволяли пересчитывать накопленное. Дѣти всѣ прыгали отъ радости, кромѣ Андрея.

Андрей былъ въ семьѣ, какъ называлъ Иванъ Ивановичъ, «выродокъ». Учился онъ скверно, постоянно ссорился съ учителями и классными наставниками, а дома велъ себя дерзко даже съ отцомъ. Не проходило и недѣли, чтобы Ивана Ивановича не вызывали въ гимназію для объясненій съ директоромъ.

Директоръ былъ человекъ старый, тупой и сонливый, въ гимназіи его всѣ ходили сонные какъ мухи, но когда нужно было «распекать», онъ оживлялся необыкновенно. Онъ и должность свою понималъ больше какъ обязанность «распекать». Лицо его краснѣло, морщился носъ, и онъ такъ размахивалъ руками, что его манжеты вылетали изъ рукавовъ вицмундира.

Андрея Лихарева директоръ не взлюбилъ въ особенности. Сначала не взлюбилъ онъ его безъ всякой причины, просто, по лицу Андрея, составивъ себѣ представленіе, что онъ дерзкій; затѣмъ причины появились: классные наставники доложили директору, что Андрей Лихаревъ гуляетъ по улицамъ послѣ шести вечера, что постановленіемъ директора было запрещено строго-настрою; затѣмъ про Андрея рассказывали, что въ партѣ у него нашли сочиненія Щедрина: директоръ тогда разсердился въ особенности.

— Откуда это, откуда?— кричалъ онъ на учителей и морщилъ носъ, точно отъ дурного запаха.— Что вы здѣсь? Бто вы? Вольтерьянцы, что ли... Не могли вбить имъ въ башки понятія? Вбить, я васъ спрашиваю, не могли?

— Совѣтую внигнуть ему въ душу,— сказалъ онъ на другой день Ивану Ивановичу Лихареву.

А Иванъ Ивановичъ только подивился.

— Ваше превосходительство, да какая у семнадцатилѣтняго ѣчишки душа?

Однако въ тотъ же вечеръ онъ имѣлъ съ сыномъ продолжитель-

ное объясненіе, отобралъ Щедрина и тутъ же заперъ книжку въ негоряемый шкафъ.

Послѣ этого онъ долго не говорилъ съ Андреемъ, да и дѣла не позволяли. Только послѣ визитовъ къ директору всегда замѣчалъ сыну за обѣдомъ:

— А вѣдь порядочный негодяй изъ васъ выйдетъ. Только въ кого?

VI.

Лидія Львовна чинила мужу фракъ, когда горничная доложила ей, что пріѣхалъ Викторъ Ивановичъ.

— Викторъ Ивановичъ?—вскрикнула она, обомлѣвъ.—Какъ, Викторъ Ивановичъ? Какой?

— Съ дочерью,—отвѣтила горничная,—съ Зинаидой Викторовной.

— Ахъ, Господи!—Лидія Львовна засуетилась.—Викторъ Ивановичъ! Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Какими судьбами!

Она безъ счету цѣловалась съ запыленнымъ и перепачканнымъ Викторомъ Ивановичемъ, цѣловалась съ Зиной, радуясь имъ, повидимому, нелицемерно. Степное добродушіе и хлѣбосоольство въ ней всплыло, и она не знала, куда посадить и чѣмъ угостить давно невиданныхъ родственниковъ.

— Да-съ, Лидочка, пріѣхали,—говорилъ Викторъ Ивановичъ. Съ непривычки къ городу онъ немного конфузился, старался говорить свободнѣе и чѣмъ болѣе старался, тѣмъ меньше ему это удавалось.—Велѣніе, такъ сказать, судьбы,—объяснялъ онъ, двигая пальцами и пакашливая.—Ни ждано, ни гадано.

Но Лидія Львовна его не слушала. Она суетилась съ тарелками и рюмками, задавала вопросы, сразу цѣлую кучу вопросовъ, и, не дожидаясь отвѣтовъ, сыпала еще и еще... безъ конца.

— Ну, что Тасичка?—спрашивала она и тутъ же прибавляла:—а мой Ваничка теперь со Станиславомъ! Губернаторша у насъ добрая, не какъ другія вельможи.—И тутъ же какъ изъ ведра лились у нея самыя послѣднія новости, канцелярскія сплетни и тайны. Она бранила однихъ чиновниковъ, одобряла другихъ и восхищалась умомъ Ивана Ивановича.

— Зиночка, какъ вы похорошѣли!—лепетала она потомъ.—У насъ здѣсь есть Леонидъ Константиновичъ, чиновникъ особыхъ порученій, петербургскій аристократъ, красавецъ! Сейчасъ же влюбитесь. Представьте, пріѣхалъ съ рекомендательнымъ письмомъ отъ

сенатора, а говоритъ такъ ласково: «пожалуйста разрѣшите покурить». Ваничка сразу сказалъ: если бы у насъ была дочь, т.-е. взрослая дочь, лучшаго бы зятя намъ и не надобно.

Среди этихъ разговоровъ появился и Лихаревъ.

Сначала, увидѣвъ гостей, онъ не зная, обрадоваться ему или опечалиться, но, подумавъ, рѣшилъ обрадоваться и началъ жать Смирновымъ руки; потомъ вышелъ, снялъ свой вицмундиръ и сказалъ послѣ этого:

— Теперь я не государственный человѣкъ, и принадлежу семьѣ.

Онъ тоже началъ рассказывать и говорилъ долго и гладко, особенными, чисто канцелярскими періодами... жена казалась немного недовольной (ей тоже хотѣлось говорить), но періоды слушала съ восхищеніемъ.

— А въ виду того, — говорилъ Иванъ Ивановичъ, — что съ одной стороны въ городѣ скука, а съ другой — жители, ища развлеченій, предаются карточнымъ играмъ...

— Только театр! — добавляла невытерпѣвшая Лидія Львовна, — генералъ у насъ общественный человѣкъ... Высокая личность!

Чѣмъ-то давнишнимъ, чисто гоголевскимъ вѣяло отъ всѣхъ этихъ разговоровъ, и было странно видѣть, что каста не измѣнилась, что ея помыслы и вожелѣнія остались приблизительно тѣ же, какъ и много лѣтъ тому назадъ.

Среди обѣда въ столовую вошелъ Андрей Лихаревъ.

Это былъ блѣдный, словно чахоточный мальчикъ, лѣтъ семнадцати, съ некрасивымъ сморщеннымъ лицомъ, немного сутулый, немного растерянный и разбросанный. Личико у него было маленькое, словно у куклы, волосы висѣли въ беспорядкѣ, какъ шерсть, но глаза, огромные, сѣрые, задумчивые, были прекрасны.

Все лицо его преображалось, когда онъ поднималъ глаза и улыбался. Зина посмотрѣла на него дружески, улыбнулась ему и подумала:

«Экіе глаза!»

Вошелъ Андрей неровно и застѣнчиво, какъ будто конфузился. Застѣнчиво поздоровался съ Зиной, — онъ взялъ у нея руку, точно собирался поцѣловать, но не поцѣловалъ, а только тряхнулъ ее сильно, по-мужски и, подъ произительнымъ взглядомъ отца, прошелъ къ своему мѣсту. Всѣ остальные дѣти сидѣли чинно, и казалось, что внутри cadaго изъ нихъ былъ вложенъ аршинъ; они и головы не повернули, когда вошелъ старшій братъ, а такъ же смиренно смотрѣли въ свои тарелки.

Викторъ Ивановичъ слышалъ объ Андрѣе не мало. Поэтому онъ

смутился, когда тотъ подошелъ къ нему поздороваться, и, не зная, какъ ему встрѣтить мальчига, кригнувъ, сказалъ:

— Здравствуйте... здравствуй... молодой человекъ!

— Ну, ты, либераль!—встрѣтилъ сына Лихаревъ.—Опять безъ обѣда?

— Опять безъ обѣда,—равнодушно - спокойно отвѣтилъ Андрей.

Лицо Ивана Ивановича заалѣло, онъ покачалъ головою, какъ бы указывая Смирнову на непокорное чадо, и раздраженно проговорилъ, обращаясь къ Зинѣ:

— Вотъ, Зинаида Викторовна, рекомендую: анархистъ, социалистъ,—что хотите! А всего-то семнадцать лѣтъ! Въ наше бы время какъ свободно—попѣть, потанцовать... а теперь это не принято-съ! это мелко. Философамъ нельзя-съ! Политики! Вотъ каждую недѣлю жду, что придетъ съ волчьимъ паспортомъ. Резолюціи какія-то въ гимназіи составляетъ... «Процентная норма»,—тьфу!

На нѣкоторое время наступило неловкое молчаніе. Викторъ Ивановичъ вытянулъ шею и спросилъ:

— Процентная... это что же, Иванъ Ивановичъ? По математикѣ?

— Какое!—Лихаревъ замахалъ руками.—Было бы по ученю! Нѣтъ, куда! «Мы опередили!... Куда намъ науки: мы по-ли-ти-кой занимаемся! Процентная норма-съ,—это, изволите ли видѣть-съ, насчетъ жидковъ. Жидковъ, видите ли, по ихъ мнѣнію, въ гимназіи мало! Еще пожалуйте! безъ жидковъ учиться не хотимъ.

Викторъ Ивановичъ, видимо, не вполне понимая, счелъ за нужное для приличія покачать головой.

— Да какъ они смѣютъ требовать?!—вдругъ взвизгнувъ Лихаревъ.—Требовать какъ смѣютъ? Въ наше время бывало пиннуть передъ учителемъ не можешь, а тутъ, изволите ли видѣть, свободные граждане! Министры и сенаторы уставъ составили... съ видами правительства разсудили, а они,—подите-ка!—не такъ составлено! Прописать бы имъ хорошенько, свободнымъ-то гражданамъ!

— Ну, знаете, Иванъ Ивановичъ, вы неправы!—сказала Зина, и всѣ вздрогнули. Викторъ Ивановичъ даже ложку изъ рукъ выпрогнулъ. Зина давно уже порывалась вступиться, но все сдерживалась.—Ужъ очень вы за старину держитесь. Если раньше, напрямѣръ, на дыбу поднимали да языки рѣзали, то, согласитесь, вѣчно безъ языковъ людямъ не быть.

Иванъ Ивановичъ, заалѣвшій въ началѣ, подъ конецъ кис улыбку и сказалъ не безъ важности:

— Зинаида Викторовна, вы меня извините, — только все это вы... по молодости!... Мода эта пройдет. Ученики-то такъ, а родители высказались: сохранить «процентную норму»! Е-ди-но-гласно, — я подчеркиваю! И позвольте спросить: кто больше имѣетъ опыта и знанія жизни: взрослые ли люди или незрѣлые, только что оперившіеся юнцы? Уже давно извѣстно, что яйца курицу не учатъ!

— А по-моему, куръ надо учить, — небрежно сказала Зина. — Право, что можетъ быть глупѣе курицы?

Углы губъ Лихарева слегка дрогнули. Онъ откинулся къ спинкѣ кресла и уставился на свои ногти. Викторъ Ивановичъ чувствовалъ, что происходитъ что-то неприятное, но не зналъ, съ чѣмъ вмѣшаться въ разговоръ.

— Отцы наши — враги наши! — вдругъ сказалъ Андрей Лихаревъ, и всѣ повернули къ нему головы. — Они намъ больше враги, чѣмъ учителя, классные наставники, директора! Прежде всего и больше всего! Стоить намъ только сойтись втроемъ, вчетверомъ, — первымъ просунетъ носъ не классный наставникъ, а отецъ. «Что читаютъ? Не прокламацію ли? Еще влетишь съ ними!» Кто крикнулъ: «не допускать!» когда мы попросили разрѣшенія собираться? — Отцы! Кто сказалъ: «учителямъ не вѣримъ, вѣримъ начальству!» — Отцы! Кто въ забастовки силою сажалъ дѣтей на извозчиковъ и отправлялъ въ гимназію? — Отцы, отцы и отцы! — Голосъ его зазвенѣлъ истерически.

— Андрей, — крикнулъ Лихаревъ и позеленѣлъ. — Ступай вонъ!

— Мы задыхаемся въ этой домашней тинѣ, — продолжалъ Андрей, не поднимая глазъ отъ тарелки. — Отъ отцовъ мы только и слышали: не груби, учи уроки, кланяйся, цѣлуй руку! А брань, а пощечины? Развѣ это намъ не отцы?...

— Во-онъ!! — закричалъ вдругъ Лихаревъ не своимъ голосомъ. Онъ окончательно потерялъ самообладаніе и затопалъ ногами. Лицо его перекосило, волосы ошетинились, глаза заморгали. — Вонъ, вонъ! Мальчишка, щенокъ!

Андрей болѣзненно улыбнулся и медленно вышелъ изъ столовой.

Наступила неприятная пауза. Лихаревъ неподвижно сидѣлъ въ своемъ креслѣ, разставивъ руки какъ деревянный идолъ. Онъ силился звать на губы улыбку, но одеревенѣвшія губы не повиновались, и въ только поводилъ глазами.

Точно въ такомъ же положеніи находилась и Лидія Львовна. Она такъ не ожидала, что ея мужъ такъ взвинтится, и ей было сожтно передъ родственниками. Совсѣмъ растерянный и посинѣвшій

сидѣлъ и Викторъ Ивановичъ, дѣти припилились надъ тарелками... Зина разсматривала окаменѣвшую семью съ любопытствомъ.

Послѣ обѣда Лихаревъ вышелъ изъ дому и вернулся только вечеромъ, прямо къ ужину. Видъ у него опять сдѣлался вполне благообразный; онъ много говорилъ о своемъ губернаторѣ, о чиновникахъ, о дѣлахъ канцеляріи. Андрея за столомъ не было, и Иванъ Ивановичъ заливался соловьемъ.

На Зину отъ всѣхъ этихъ словъ: «превосходительство», «канцелярія», «рапорты», «внушенія», напала безысходная тоска, и она съ томленіемъ ждала, когда, наконецъ, прекратится потокъ Лихаревского краснорѣчія. Надо было объяснить цѣль своего пріѣзда. Она все ждала, что скажетъ объ этомъ Викторъ Ивановичъ, но, видя, что отецъ все еще молчитъ, начала сама... Викторъ Ивановичъ сконфузился, побагровѣлъ, закашлялся, забормоталъ: «да, да, дѣло этакое», и запутаннымъ, сконфуженнымъ языкомъ началъ объяснять, что лѣтомъ къ нимъ ѣздила въ гости сосѣдка по имѣнію, что былъ онъ очень порядочный человекъ, но что случилось вблизи на одномъ хуторѣ нѣкоторое несчастье и онъ невинно пострадалъ... «Даже не невинно,—поспѣшилъ поправиться Викторъ Ивановичъ и еще болѣе сконфузился.—А по смѣлу и совокупности обстоятельствъ... т.-е. даже не по совокупности...»

— Знаю, знаю,—прервалъ его Лихаревъ.—Если не ошибаюсь, говорите вы о нѣкоемъ Ленеѣ...

— Ну, да, о Ленеѣ!—громко сказала Зина.

Лидія Львовна подняла на нее глаза и насторожила уши, точно готовясь услышать что-то вкусное; Лихаревъ внимательно покосился на нее черезъ очки.

— Сынъ чиновника,—дополнилъ онъ.—Знаю. Я—извѣстенъ. Но, позвольте спросить, почему вы интересуетесь этимъ человекомъ? Зина поблѣднѣла.

— Потому, что онъ мнѣ дорогъ,—сказала она черезъ минуту. Лихаревъ откинулся къ спинкѣ стула, Лидія Львовна взвизгнула отъ удовольствія: такого отвѣта она никакъ не ждала, Викторъ Ивановичъ поперхнулся кускомъ и закашлялся.

— Та-акъ,—протянулъ наконецъ Лихаревъ, придя въ себя и оправивъ съѣхавшія очки.—Допустимъ. Но только... только позвольте вамъ, Зинаида Викторовна, доложить: человекъ этотъ судимъ по политическому дѣлу.

— Это мнѣ все равно!—рѣзко бросила Зина.—Политика тутъ не при чемъ...

Лихаревъ снисходительно покачалъ головой.

— А подумали ли вы, Зинаида Викторовна, что молодой человек этот может быть осужден по всей строгости законов?...

— И это мнѣ безразлично!—Въ голосѣ Зины прозвѣла нескрытая насмѣшка, и Викторъ Ивановичъ опять задвигался на своемъ стулѣ.—Будетъ ли онъ осужденъ или не будетъ... И къ чему это все вы мнѣ говорите...

Встали изъ-за стола. Лидія Львовна отвела гостей въ приготовленные для нихъ комнаты. Викторъ Ивановичъ долго ворчалъ на дочь, пенялъ ей за несдержанность передъ «нужнымъ человѣкомъ»; казалось, и въ спальнѣ Лихарева говорили объ инцидентѣ. По крайней мѣрѣ, оттуда несло мѣрное бормотанье голоса «нужнаго человека»... Что тамъ говорили, разобрать было нельзя. Зина заснула не скоро...

XVI.

Викторъ Ивановичъ черезъ Лихарева получилъ аудіенцію у губернатора и тамъ узналъ неожиданную вѣсть, что дѣло Ленева производствомъ прекращено и онъ на свободѣ. Восторженно сообщая Лидіи Львовнѣ о подробностяхъ аудіенціи, онъ увидѣлъ выходящую въ дверь Зину и разсѣянно освѣдомился:

— Куда ты?

— Къ Леневу,—просто отвѣтила Зина.

Викторъ Ивановичъ привскочилъ.

— Стой!... Что такое?! Опомнись!...

Но Лидія Львовна выступила защитницей: она чуяла скандалъ.

— Не мѣшайте, Викторъ Ивановичъ, не мѣшайте порыву,—воскликнула она. Лицо ея стремилось выразить восторгъ и отъ этого казалось прокисшимъ.—Движеніе юной души!... Какая славная и самоотверженная теперь у насъ молодежь!...

Зина вышла на улицу, слыша въ дверяхъ, что все еще загнипнотизированный Викторъ Ивановичъ уже забылъ о ней и снова превозносить генерала.

Припоминалось, будто Ленева говорилъ, что въ этомъ городѣ, на самомъ краю, у какого-то бульвара находился небольшой домъ, гдѣ по зимамъ жила его мать, Елизавета Николаевна. Но какъ найти этотъ домъ, Зина не знала. Ее смущало и то, что она не была знакома и съ братьями Ленева. Какъ ни странно, изъ всей семьи Леневаыхъ она знала только одного Алексѣя, съ которымъ познакомилась на вечерѣ у родственниковъ. Когда-то, въ старину, Ленева и Смирновы были хорошо знакомы домами... со смертью же Ленева-отца осиротѣвшую семью, какъ водится, совсѣмъ забыли.

Идя по сонной провинціальной улицѣ, Зина старалась припомнить названіе бульвара, о которомъ говорилъ ей Алексѣй. Она прошла нѣсколько однообразно-скучныхъ улицъ, вышла на гостиный дворъ, полный тюковъ съ хлопкомъ и шерстью, переполненный верблюдами... Затѣмъ прошла она торговыми рядами, толгучимъ рынкомъ... Бульвара все не было. Наконецъ за угломъ, у собора, показалась зелень. Дѣвушка поспѣшила туда. Два ряда тощихъ акацій стояло на обрывѣ рѣки. «Вѣроятно, бульваръ», подумала Зина. Городъ она знала плохо.

Маленькій садикъ и въ самомъ дѣлѣ былъ городской бульваръ, — вокзалъ, какъ называли его обыватели. Называли потому, что тамъ посреди акацій стояло двухъэтажное каменное зданіе, не то театръ, не то ресторанъ. Была тамъ открытая сцена, время отъ времени наѣзжали туда пѣвицы... Раза два въ недѣлю играла на бульварѣ музыка... Зина какъ разъ попала туда въ музыкальный день. Солдаты добросовѣстно тянули «Расскажите вы ей», потомъ что-то цыганское, затѣмъ духовное... — и все съ одинаковой усталостью и съ одинаковымъ усердіемъ. На одной скамьѣ сидѣли точно пришитыя двѣ барыни; какіе-то очень молодые люди говорили на скверномъ французскомъ языкѣ и посматривали на барынь съ гордостью... Городовой курилъ трубку подъ акаціями. Зина подошла къ нему и спросила, не знаетъ ли онъ здѣсь поблизости дома Леневыхъ. Городовой попытѣлъ трубкой и проговорилъ лѣниво: «Это тотъ, что въ тюрьмѣ сидѣлъ? Ступайте по берегу»... Онъ постоялъ было на мѣстѣ, потомъ пошелъ за дѣвушкой и началъ пространно ей объяснять, указывая пальцами. Было видно, что ему скучно и хотѣлось поговорить... Зина торопливо поблагодарила его и пошла по берегу, какъ указывалъ полицейскій. «Дойдете до синяго дома, вы въ него не ходите, а будетъ вотъ домъ деревянный, плохонькій, — туда и ступайте», припомнила она и улыбнулась.

Передъ маленькимъ бѣлымъ домомъ она остановилась. Сердце въ ней занялось... «Войти?» спросила она себя. Она глянула на простое желтое крыльцо съ желѣзными желобками, на дверь, обитую старой клеенкой, на маленькія окна, свозъ стекла которыхъ виднѣлись занавѣски, мебель и изразцовая печь. Опять посмотрѣла она на дверь. Сбоку виднѣлся проволочный звонокъ, бѣлѣла какая-то бумажка. Чье-то лицо мелькнуло за окнами...

Уже не колеблясь, взошла она на крыльцо и тронула ручку звонка. Отворилъ ей дверь юный студентъ съ бѣлокурыми вьющимися волосами, съ свѣтлыми ясными глазами, немного грустный, немного улыбавшійся, одѣтый въ синюю ситцевую рубашку, съ гитарой въ рукѣ.

Онъ сконфузился, увидѣвши даму, но не растерялся, а сказалъ: — Пожалуйста, войдите.

Зина окинула его мгновеннымъ взглядомъ... И не зная его, она знала: братъ Алексѣя, Володя. «Какъ онъ похожъ на него! — мелькнуло въ ея умѣ. — Ахъ, какъ похожъ!... Только этотъ еще ребенокъ... У него совсѣмъ еще свѣтлые, дѣтскіе глаза»...

Она прошла маленькой передней, заставленной шкафами, и внимательнымъ женскимъ взглядомъ мгновенно рассмотрѣла всю ее, до послѣднихъ мелочей. Въ стѣнѣ былъ вдѣланъ бѣлый шкафъ и былъ онъ полураскрытъ. Въ шкафу стояли банки, утюги, кастрюли и прочая мелочь. Въ стѣнѣ этой прихожей было продѣлано окошечко, выходявшее въ крошечный садикъ... это показалось ей простымъ, уютнымъ и милымъ... вдоль другой стѣны рядами тянулись большіе ящики изъ-подъ сахара, набитые книгами. Ее насмѣшили и эти ящики... Затѣмъ она прошла въ маленькую комнатку, похожую больше на коридоръ, — въ ней висѣли студенческія пальто, было много картонокъ со шляпами... прямо, въ раскрытыя двери, виднѣлась бѣлая гостиная, она же столовая, а направо синяя комната. «Его кабинетъ», мелькнуло въ головѣ, и ей захотѣлось войти, посмотреть, но вошла она въ гостиную и сѣла на крошечный диванъ, неровный, нолупровалившійся, обтянутый странной и смѣшной пестрой матеріей. Два-три кресла, такихъ же старыхъ и развинченныхъ, стояли около, окружая овальный столъ, покрытый кисейкой. Двѣ картинки въ узкихъ багетовыхъ рамкахъ висѣли у зеркала на стѣнѣ... Владиміръ Ленева что-то спрашивалъ, Зина спохватилась.

— Мнѣ хотѣлось бы видѣть Алексѣя Александровича...

Казалось, Володя понялъ; онъ чуть покраснѣлъ, взглянулъ внимательно и проговорилъ:

— А онъ скоро придетъ, очень скоро...

И опять смутился... а Зина чуть улыбнулась и подумала:

«Какой онъ славный! Я понимаю, что Алексѣй его такъ любить».

Владиміръ не зналъ, что ему говорить, и счелъ за лучшее скрытъя. Явилась сама Елизавета Николаевна. Зину поразили ея тихіе и чальные глаза. «У Алексѣя такіе же»... пронеслось въ умѣ. Ицо у Елизаветы Николаевны было измученное, преждевременно соинное въ морщины; изморщнены были и маленькія, тонкія ариэратическія руки, но волосы были черны, только на вискахъ сѣбрились тонкія нити.

Вошла она просто; просто и хорошо поздоровалась. — «Какая она

аристократка, — было первою мыслью Зины. — Аристократка, не смотря на эту обстановку».

— У васъ было горе, — начала Зина и сама удивилась тому, какъ просто и искренно сказала она эту фразу.

— Да, да! — Лицо Елизаветы Николаевны все двинулось, глаза потускнѣли и складки собрались у рта. — Я сколько пережила за это время...

«Идетъ, идетъ!» вдругъ кто-то сказалъ Зинѣ. Она инстинктивно глянула въ окно; никого не было. Но ей все говорило: «идетъ, идетъ»!... Дрожь охватила тѣло, заныло сердце, голова вдругъ закружилась и запылала, разговоръ сразу оборвался... Она не отрывалась отъ окна и вдругъ увидѣла его. Взгляды ихъ встрѣтились. Она встала. Мелькомъ, какъ въ чадѣ, замѣтила она, что Елизаветы Николаевны уже не было въ комнатѣ. Что-то схватило ее и понесло... хотѣлось броситься черезъ окно прямо на улицу, гдѣ онъ шелъ, — въ дверь, въ прихожую, въ коридоръ... Послышались шаги, кто-то вошелъ... въ глазахъ у нея потемнѣло.

— Зина! — крикнулъ онъ удивленно-восторженно и бросился къ ней. Онъ держалъ ее въ своихъ объятіяхъ и не цѣловалъ ея, а смотрѣлъ ей въ глаза долгимъ, вопрошающимъ, измученнымъ и безумно-счастливымъ взглядомъ.

— Зина? — тихо спрашивалъ онъ, точно видя и не видя, понимая и не понимая происшедшаго... Потомъ лицо его стало все ближе и ближе склоняться къ ея поблѣднѣвшему лицу, губы ихъ встрѣтились... она дрогнула въ его объятіяхъ и шепнула прерывающимся, сдавленнымъ голосомъ:

— Алексѣй... что же это?...

Н. Крашенинниковъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

КОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ *).

Романъ изъ театрального міра Анатоля Франса.

(Съ французскаго.)

ХІ.

Окончивъ молитву, Нантэйль, не слушая рѣчи Праделя, прыгнула въ карету, чтобы присоединиться къ Роберту де-Линьи, ждавшему ее на площади, у вокзала Монпарнассь. Среди толпы прохожихъ они пожали руки и молча взглянули другъ на друга. Тѣснѣе чѣмъ когда-либо чувствовали они свою близость. Робертъ любилъ Фелиси.

Онъ любилъ ее, самъ того не подозрѣвая. Она была для него, казалось, лишь однимъ изъ безконечнаго ряда возможныхъ наслажденій. Но наслажденіе для него приняло образъ Фелиси, и если бы онъ хорошенько подумалъ о безчисленныхъ женщинахъ, которыя рисовались ему въ длинной перспективѣ его новой жизни, то долженъ бы былъ признать, что всѣ онѣ походили на Фелиси. Онъ могъ бы, по крайней мѣрѣ, замѣтить, что, безъ всякаго желанія оставаться ей вѣрнымъ, ему и въ голову не приходило измѣнить ей; съ тѣхъ поръ, какъ она его любила, онъ не желалъ другой женщины. Онъ этого не замѣчалъ.

Въ этотъ день, однако, на шумной и будничной площади, видя ее не въ сладострастномъ мрагѣ ночи, не въ мягкомъ свѣтѣ алькова, придававшемъ ея обнаженнымъ формамъ очаровательную неопредѣленность млечнаго пути, а въ суровомъ свѣтѣ блѣднаго дня, въ жгучихъ лучахъ солнца, безъ блеска и безъ тѣней, которое особенно выдавало подъ вуалью ея красныя отъ слезъ вѣки, ея блѣдныя ги и помятыя губы, онъ почувствовалъ, что испытываетъ къ му существу глубокую и необъяснимую любовь.

Онъ ее не разспрашивалъ. Они обмѣнялись нѣжными словами Она

1) *Русская Мысль*, кн. V, 1908 г.

была голодна, и онъ повелъ ее завтракать въ извѣстное кафе, названіе котораго золотыми буквами блестяло на одномъ изъ старыхъ домовъ площади. Они приказали подать себѣ завтракъ въ зимнемъ саду, скалы, бассейнъ и деревья котораго отражались во множествѣ обрамленныхъ зеленою зеркаль. Сидя за столомъ, накрытомъ скатертью, и рассматривая меню, они болтали съ большою неприужденностью, чѣмъ до сихъ поръ. Онъ говорилъ, что волненія и беспокойства послѣднихъ трехъ дней разстроили ему нервы, но что онъ больше объ этомъ не думаетъ, и было бы безуміемъ продолжать заниматься этимъ дѣломъ. Она говорила о своемъ здоровьѣ, жаловалась на то, что не можетъ спать и что ее мучать кошмары. Но она не говорила, что представлялось ей въ этихъ кошмарахъ, и избѣгала упоминать имя покойнаго. Онъ спросилъ, не былъ ли этотъ день утомительнымъ для нея, журилъ ее, зачѣмъ она поѣхала на владбище, что было совершенно лишнимъ.

Не будучи въ состояніи раскрыть передъ нимъ свою душу, преданную обрядамъ и молитвеннымъ церемоніямъ, она только покачала головой, словно говоря: «такъ надо было».

Въ то время какъ завтракавшіе за сосѣдними столами оканчивали послѣднее блюдо, они все еще бесѣдовали вполголоса, ожидая, когда имъ подадутъ завтракъ.

Робертъ далъ себѣ обѣщаніе, поглялся никогда не упрекать Фелиси въ томъ, что Шевалье былъ ея любовникомъ, и даже никогда не предлагать ей по этому поводу вопроса. А между тѣмъ, вслѣдствіе нахлынушаго на него дурного настроенія, изъ любопытства, а также и потому, что онъ слишкомъ сильно любилъ ее, чтобы удержаться, онъ сказалъ ей съ горечью:

— А всетаки раньше ты принадлежала ему.

Она смолкла, не отрицала. Не потому, чтобы чувствовала всю бесполезность дальнѣйшей лжи. Напротивъ, она привыкла отрицать очевидное и, конечно, черезчуръ хорошо знала мужчинъ, чтобы не понять, что въ любви нѣтъ достаточно грубой лжи, которой они не повѣрили бы, если имъ это пріятно. На этотъ однако разъ, вопреки своей привычкѣ, она не лгала. Она боялась оскорбить покойнаго. Ей казалось, что отрицать его значить быть къ нему несправедливою, отнимать у него то, что ему принадлежитъ, раздражать его. Она замолкла, боясь снова увидѣть, какъ онъ подойдетъ къ столу, облокотится на него, съ застывшею улыбкой на лицѣ, съ прострѣленной головой, и скажетъ жалобнымъ голосомъ: «Фелиси, ты же не могла забыть нашей маленькой комнатки въ улицѣ Мучениковъ».

Того, чѣмъ онъ сдѣлался для нея послѣ смерти, она не могла себѣ объяснить: настолько это было противно ея вѣрованіямъ и ея разуму, настолько слова, въ которыя надо было это вылить, казались ей старыми, смѣшными и вышедшими изъ употребленія. Но, благодаря отдаленной наслѣдственности или скорѣе нѣкоторымъ разсказамъ, слышаннымъ ею въ дѣтствѣ, она смутно чувствовала, что онъ принадлежалъ къ разряду мертвецовъ; мучившихъ въ былыя времена живыхъ людей и заклинаемыхъ священниками: ибо, думая о немъ, она инстинктивно начинала креститься и удерживалась только изъ боязни показаться смѣшною.

Линьи, видя ее печальною и взволнованною, упрекнулъ себя за сказанныя слова, жесткія и безцѣльныя, и въ ту же минуту прибавилъ къ нимъ еще столь же жесткія и столь же безцѣльныя слова:

— Ты однако мнѣ сказала, что это была неправда!

Она отвѣтила съ жаромъ:

— Это потому, что я хотѣла, видишь ли, чтобы это была неправда.

И прибавила:

— Ахъ, милый, съ тѣхъ поръ какъ я—твоя, клянусь тебѣ, что не принадлежала никому. Я не ставлю себѣ этого въ заслугу: это просто было бы для меня невысказано.

Подобно молодымъ животнымъ, ей нужно было веселье. Вино, сверкавшее въ стаканѣ, словно жидкій янтарь, радовало ея взглядъ, и она съ наслажденіемъ омочила въ немъ языкъ. Съ любопытствомъ разглядывала она блюда, которыя подавались, и особенное вниманіе ея возбудилъ жареный картофель, похожій на золотистые пузыри. Затѣмъ она наблюдала людей, завтракавшихъ въ залѣ за отдѣльными столиками, и забавлялась, приписывая имъ, судя по ихъ наружности, смѣшныя чувства или необычныя страсти. Она замѣтила, какъ женщины бросали на нее недоброжелательныя взгляды и какъ мужчины прилагали всѣ старанія, чтобы показаться красивыми и значительными. Она сдѣлала наблюденіе общаго характера:

— Робертъ, ты замѣтилъ, что люди никогда не бываютъ естественны? Они не говорятъ иной вещи, потому что думаютъ ее. Они тогда говорятъ извѣстныя вещи, такъ какъ думаютъ, что это слѣдуетъ сказать. Эта привычка дѣлаетъ ихъ очень скучными. Чрезвычайно рѣдко встрѣишь простаго, естественнаго человѣка. Ты—естественень.

— Дѣйствительно, я, кажется, не рисуюсь.

— Ты рисуешься, какъ и другіе. Но это у тебя отъ природы. Я лично вижу, когда ты хочешь меня изумить.

Она говорила о немъ и, переходя по невольной ассоціаціи идей къ драмѣ въ Нейльи, спросила:

— Твоя мать тебѣ ничего не говорила?

— Нѣтъ.

— А между тѣмъ она вѣдь знала...

— Вѣроятно.

— Ты съ нею въ ладахъ?

— Конечно!

— Говорятъ, твоя мать еще очень хороша собой. Правда ли это?

Онъ не отвѣчалъ и старался перевести разговоръ на другой предметъ: онъ не любилъ, когда Фелиси говорила о его матери и занималась его семьей. Господинъ и госпожа де-Линьи пользовались самымъ высокимъ уваженіемъ въ парижскомъ обществѣ. Г. де-Линьи, дипломатъ по происхожденію и по профессіи, былъ человѣкъ весьма почтенный. Онъ былъ почтеннымъ человѣкомъ еще не родившись, благодаря дипломатическимъ услугамъ, оказаннымъ Франціи его предками. Прадѣдъ его скрѣпилъ своею подписью уступку Пондишери англичанамъ. Госпожа де-Линьи жила съ мужемъ вполне корректно, но, не обладая состояніемъ, жила на широкую ногу, и ея туалеты славились по всей Франціи. Въ тѣсномъ домашнемъ кругу принимала она бывшего посланника. Это лицо, его возрастъ, положеніе, взгляды, титулы и огромное состояніе придавали этой связи почтенный видъ. Госпожа де-Линьи держала въ почтительномъ отъ себя разстояніи дамъ республики, давая имъ время отъ времени уроки приличій. Ей нечего было бояться мнѣнія избраннаго общества. Робертъ зналъ, что въ свѣтъ ее уважали. Но онъ всегда боялся, чтобы Фелиси, говоря о ней, не нарушила при этомъ необходимой осторожности. Онъ боялся, чтобы, не принадлежа къ свѣтскому обществу, она не сказала того, чего говорить не слѣдовало. Онъ былъ неправъ: Фелиси не знала интимной жизни госпожи де-Линьи; а если бы и знала, то не стала бы порицать ее. Эта барыня внушала ей наивное любопытство и удивленіе, смѣшанное со страхомъ. Видя, что ея возлюбленный не хочетъ говорить съ нею о матери, она въ этой осторожности находила аристократическую спесь и извѣстное неуваженіе, возмущавшее ея гордость свободной дѣвушки и дочери народа. Съ горечью говорила она ему:

— Я думаю, что смѣю говорить о твоей матери.—Въ первый разъ она прибавила:—Моя не хуже ея.

Но замѣтила, что это было вульгарно, и больше этого не повторила.

Теперь зала опустѣла.

Фелиси взглянула на часы и, увидѣвъ, что было три часа, сказала:

— Мнѣ надо бѣжать. Сегодня послѣ полудня репетируютъ «Рѣшетку». Константинъ Маркъ, должно быть, уже въ театрѣ. Вотъ странный малый! Онъ рассказываетъ, что въ Виварѣ кружилъ головы всѣмъ женщинамъ. А между тѣмъ онъ такъ робокъ, что почти не осмѣливается говорить съ Фажетъ и Фалемпенъ. Меня онъ просто боится. Это забавно.

Она была такъ утомлена, что у нея нехватало силъ подняться.

— Странная вещь! Повсюду говорятъ, что я приглашена въ Comédie Française. Это—неправда. Объ этомъ даже нѣтъ и рѣчи. Разумѣется, я не могу оставаться здѣсь вѣчно. Подъ конецъ можно здѣсь одурѣть. Но ничто меня не гонитъ. Мнѣ поручена большая роль въ «Рѣшеткѣ». Затѣмъ видно будетъ. Всего же больше мнѣ хотѣлось бы сыграть роль въ комедіи. У меня нѣтъ охоты поступать въ Comédie Française, чтобы сидѣть тамъ сложа руки.

Вдругъ, устремивъ передъ собою глаза, полные ужаса, она откинулась назадъ, поблѣдѣла и испустила дикій крикъ. Вѣки ея сомкнулись, и она пробормотала, что задыхается.

Робертъ разстегнулъ воротъ платья и смочилъ ей водою виски.

Она сказала:

— Священникъ! Я видѣла священника... На немъ былъ стихарь... Губы его шевелились, но не произносили ни звука... Онъ поглядѣлъ на меня...

Робертъ старался ее успокоить:

— Послушай, дорогая, какъ можешь священникъ, да еще въ стихарѣ, войти въ ресторанъ?

Она слушала, покорная, поддавалась его убѣжденіямъ.

— Ты правъ, ты правъ, я отлично понимаю это.

Въ ея маленькой головкѣ иллюзіи разсѣивались быстро. Она родилась двѣсти тридцать лѣтъ спустя послѣ смерти Декарта, о которомъ никогда ничего не слыхала, но который тѣмъ не менѣе научилъ ее пользоваться разсудкомъ, какъ сказалъ бы докторъ Сократъ.

Въ шесть часовъ по окончаніи репетиціи Робертъ заѣхалъ за нею въ аркадамъ театра и увезъ ее въ каретѣ.

Она спросила:

— Куда мы ѣдемъ?

Онъ помедлилъ.

— Ты не хочешь вернуться туда, въ нашъ домъ?

— Ахъ, нѣтъ, ни за что! Никогда!—воскликнула она.

Онъ отвѣтилъ, что такъ и думалъ, что подыщеть что-нибудь

другое: маленькую квартирку въ первомъ этажѣ въ городѣ; но въ ожиданіи этого сегодня придется довольствоваться случайнымъ помещеніемъ.

Она взглянула на него пристально, тяжелымъ взглядомъ, привлекла его къ себѣ и обожгла ему ухо и шею горячимъ дыханіемъ страсти. Затѣмъ руки ея разомкнулись, и, слабая и печальная, она откинулась на подушки кареты рядомъ съ нимъ.

Когда извозчикъ остановился, она сказала:

— Ты на меня не разсердишься, не правда ли, мой Робертъ, за то, что я тебѣ скажу: не сегодня... завтра...

Она сочла нужнымъ принести эту жертву ревнивому покойнику.

ХII.

На другой день онъ привезъ ее въ меблированную комнату, выбранную имъ, банальную, но веселую, въ первомъ этажѣ дома, выходившаго въ садикъ вблизи библіотеки. Посреди садика поднимался бассейнъ фонтана, поддерживаемый здоровыми нимфами. Окаймленные лаврами и бересклетомъ аллеи были пустыни, а съ малолюдной площади доносился огромный и успокаивающій шумъ города. Репетиція кончилась поздно. Когда они вошли въ комнату, ночь, спускавшаяся въ это время года уже гораздо медленнѣе, окутала стѣны мракомъ. Большія зеркала шкафа и надъ каминомъ были полны смутнаго свѣта и тѣней.

Фелиси сняла мѣховую кофточку, подошла къ окну, заглянула за занавѣски и сказала:

— Робертъ, ступеньки крыльца мокры.

Онъ отвѣтилъ, что крыльца нѣтъ, а есть тротуаръ и мостовая, затѣмъ еще тротуаръ и рѣшетка сквера.

— Ты, жительница Парижа, должна хорошо знать это мѣсто. Здѣсь посрединѣ, скрытый въ деревьяхъ, стоитъ гигантскій фонтанъ, съ громадными женскими фигурами, у которыхъ тѣло далеко не такъ красиво, какъ твое.

Въ нетерпѣніи онъ кинулся помогать ей. Но не могъ найти застежекъ и укололъ пальцы булавками.

— Я неловокъ,—сказалъ онъ.

Она отвѣчала, смѣясь:

— Разумѣется, ты не такъ ловокъ, какъ госпожа Мишонъ!.. Но ты не столько неловокъ, сколько боишься уколоться. Мужчины—трусы. Въ то время, какъ женщинамъ необходимо привыкать страдать... Вѣрно! Женщина почти всю жизнь страдаетъ.

Онъ не замѣчалъ ея блѣдности, синихъ круговъ подъ глазами.

Онъ сказалъ ей:

— Женщины очень чувствительны къ боли, но онъ также чувствительны и къ наслажденію. Знаешь ли ты, кто такой Блодь Бернаръ?

— Нѣтъ!

— Это былъ крупный ученый. Онъ сказалъ, что безъ колебаній признаетъ за женщиной превосходство въ области физической и моральной чувствительности.

Нантѣйль отвѣтила:

— Если онъ хотѣлъ этимъ сказать, что всѣ женщины одинаково чувствительны, то онъ ужасно глупъ. Слѣдовало бы послать къ нему Фажетъ, и тогда онъ увидѣлъ бы, легко ли отъ нея получить что-либо въ области... какъ онъ это сказалъ?... физической и моральной чувствительности.

И она прибавила съ покорною гордостью:

— Не заблуждайся, мой Робертъ, такихъ женщинъ, какъ я, не очень много.

Когда онъ обнялъ ее, она сказала:

— Ты мнѣ мѣшаешь.—Затѣмъ, сидя нагнувшись и разстегивая башмаки, прибавила:—Знаешь? Докторъ Сократъ рассказывалъ мнѣ на-дняхъ, что у него были видѣнія. Однажды онъ видѣлъ погонщика муловъ, убившаго дѣвочку. Мнѣ приснилась сегодня эта исторія, только въ моемъ снѣ я не могла узнать, былъ ли погонщикъ мужчиною или женщиною. До чего запутанъ былъ мой сонъ!... Что касается доктора Сократа, угадай, чей онъ любовникъ... той дамы, знаешь, которая содержитъ бібліотеку въ улицѣ Мазаринъ. Она не молода уже, но очень умна. Думаешь ли ты, что онъ ее обманываетъ?

Затѣмъ, рассказавъ одну изъ театральныхъ исторій, она сказала:

— Я положительно думаю, что останусь недолго въ Одеонѣ.

— Почему?

— Сейчасъ увидишь. Прадель сказалъ мнѣ сегодня передъ репетиціей: «Моя маленькая Нантѣйль, между мной и вами никогда ничего не было. Это смѣшно». Онъ былъ вполне приличенъ, но далъ мнѣ понять, что наше положеніе по отношенію другъ къ другу не-вильно и не можетъ такъ продолжаться. Потому что, знаешь, я-дель установилъ правило. Прежде онъ выбиралъ среди своихъ лицъ. У него были любимицы, на это жаловались. Теперь, въ ви-зъ наилучшаго управленія театромъ, онъ беретъ всѣхъ, даже тѣхъ, о-рыя ему не нравятся. Нѣтъ больше любимицъ. Все идетъ какъ-аслу. Ахъ, этотъ человѣкъ—настоящій директоръ.

Робертъ слушалъ молча, она подошла къ нему и встряхнула его за плечо.

— Тебѣ, значить, все равно, если бы я сошлась съ Праделемъ?

— Нѣтъ, дорогая, нѣтъ. Это было бы мнѣ не все равно. Но мои слова этому не помѣшаютъ.

Склонившись надъ нимъ, она разсыпала ему горячія ласки, въ видѣ угрозъ и наказаній, и говорила:

— Ты значить не любишь меня, если не ревнуешь? Я хочу, чтобы ты ревновалъ меня.

Затѣмъ внезапно она отошла отъ него и, остановившись передъ туалетомъ, спросила съ безпокойствомъ:

— Робертъ, ты ничего не привезъ сюда изъ той комнаты?

— Ничего.

Тихонько, робко она скользнула въ постель. Но едва улеглась, какъ, облокотясь на подушку, вытянувъ шею и полураскрывъ ротъ, стала прислушиваться. Ей почудился тотъ же легкій скрипъ песка, который она слышала въ домѣ на бульварѣ Вилье. Она подбѣжала къ огню и увидѣла въ немъ Іудино дерево, лужайку, рѣшетку. Зная напередъ, что она увидитъ вслѣдъ за этимъ, она закрыла лицо руками. Но руки упали, и лицо Шевалье выплыло передъ нею.

XIII.

Фелиси вернулась домой въ мучительной лихорадкѣ. Робертъ, побѣждавъ съ родными, ушелъ къ себѣ наверхъ. Въ томъ состояніи, въ какомъ его покинула Нантѣйль, онъ испытывалъ раздраженіе и дурное расположеніе духа.

Рубашка и платье, разложенныя на его постели лакеемъ, съ какою-то покорностью ожидали его. Его охватило нетерпѣливое желаніе куда-нибудь пойти. Онъ растворилъ слуховое окно, прислушался къ шуму города и увидѣлъ надъ крышами свѣтъ, которымъ Парижъ озарялъ небо. Ему показались желанными всѣ волнующія любовью женщины, собранныя въ эту зимнюю ночь въ театрахъ, въ кафе, въ кафе-концертахъ и ресторанахъ.

Раздраженный Фелиси, Робертъ рѣшилъ отправиться куда-нибудь въ другое мѣсто, и, не чувствуя никакого предпочтительнаго влеченія, думалъ, что затрудненъ лишь выборомъ; но вскорѣ замѣтилъ, что не жаждетъ ни одной изъ женщинъ, которыхъ зналъ, не жаждетъ и незнакомыхъ. Онъ заперъ окно и сѣлъ передъ каминомъ.

Въ каминѣ горѣлъ коксъ. Госпожа де-Линьи, носившая манто в двадцать пять тысячъ франковъ, сэкономила на столѣ и топливѣ: он не позволяла жечь въ комнатахъ дрова.

Робертъ раздумывалъ надъ своимъ положеніемъ, о которомъ до тѣхъ поръ мало заботился, о своей карьерѣ, только что начатой имъ и еще темной. Министръ былъ большимъ другомъ его семьи. Уроженецъ Севеннскихъ горъ, вскормленный на каштанахъ, онъ конфузился на парадныхъ обѣдахъ. Впрочемъ, онъ былъ слишкомъ уменъ и ловокъ, чтобы не удержать надъ старинной аристократіей, принимавшей его у себя, всѣхъ выгодъ твердой воли и гордыхъ отказовъ. Линьи зналъ его и не ожидалъ отъ него никакихъ милостей. Въ этомъ онъ былъ проницательнѣе матери, думавшей, что она имѣетъ нѣкоторую власть надъ этимъ маленькимъ чернымъ косматымъ человѣкомъ.

Робертъ считалъ его нелюбезнымъ. Кромѣ того, между ними что-то произошло. Вслѣдствіе несчастнаго стеченія обстоятельствъ Робертъ оказался предшественникомъ своего министра въ близости съ одною особой, госпожей де-Нэйль, которую послѣдній любилъ до безумія. Линьи казалось, что маленький косматый человѣкъ зналъ объ этомъ и смотрѣлъ на него за это косо. Наконецъ, въ министерствѣ составилось мнѣніе, что министры не все могутъ и мало чего хотятъ. Онъ ничего, однако, не преувеличивалъ и считалъ возможнымъ, что его причислятъ къ кабинету министра. До сихъ поръ это было его желаніемъ. Ему очень не хотѣлось покидать Парижъ. Его мать, наоборотъ, предпочла бы, чтобы онъ ѣхалъ въ Гагу, гдѣ освободилось мѣсто третьяго секретаря. Теперь его желанія склонились вдругъ на сторону Гаги. «Уѣду,—сказалъ онъ себѣ.—И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше». Принявъ это рѣшеніе, онъ взвѣсилъ его мотивы. Во-первыхъ, это было превосходно для его будущей карьеры. Затѣмъ, мѣсто въ Гагѣ было приятно. Товарищъ Роберта, занимавшій его раньше, хвалилъ очаровательное лицемѣріе маленькой заснувшей столицы, гдѣ все было придумано и подстроено для услады дипломатическаго корпуса. Роберту пришло даже въ голову, что Гага является священной колыбелью новаго международнаго права, и онъ даже подумалъ, что эта причина доставитъ удовольствіе его матери. Передумавъ все это, онъ замѣтилъ вдругъ, что хочетъ уѣхать только изъ-за Фелиси.

Онъ думалъ о ней неблагопріятно. Онъ зналъ, что она лгунья и усиха, что она недобрая къ друзьямъ. Онъ имѣлъ доказательства то, что она любила ничтожныхъ комедіантовъ, или, по крайней рѣ, уживалась съ ними. Онъ не былъ увѣренъ въ томъ, что она обманываетъ его, не потому, что онъ открылъ что-нибудь подотельное въ ея жизни, но потому, что онъ не безъ основанія сомнѣлся во всѣхъ женщинахъ. Онъ представилъ себѣ все то худое, что

зналъ о ней, и убѣдилъ себя въ томъ, что она была безсердечная женщина; и, чувствуя, что любить ее, онъ подумалъ, что любить ее только за то, что она красива. Этотъ мотивъ показался ему убѣдительнымъ, но, взглянувъ на него, Робертъ замѣтилъ, что онъ ничего не объясняетъ, и что онъ любитъ эту дѣвушку не потому, что она красива, а потому, что она красива особымъ образомъ, по-своему, что любить ее за то, что въ ней есть рѣдкаго и несравненнаго, за то, что она, наконецъ, является чудесной носительницей искусства и сладострастія, живымъ перломъ, которому нѣтъ цѣны. Тогда, почувствовавъ себя слабымъ, онъ заплакалъ; онъ плакалъ о своей потерянной свободѣ, о своей плѣненной мысли, о плоти и крови своихъ, отданныхъ во власть маленькаго, слабого и коварнаго существа.

Отъ того, что онъ смотрѣлъ на красный коксъ за рѣшеткой камина, у него заболѣли глаза. Онъ закрылъ ихъ отъ боли и под сомнутыми вѣками увидѣлъ негровъ, скакавшихъ въ кровавомъ и грязномъ туманѣ. Въ ту минуту, когда онъ старался припомнить, изъ какой книги путешествій, прочитанной имъ въ годы юности, встали передъ нимъ эти дикари, они начали вдругъ уменьшаться, расплываться еле замѣтными точками и исчезли въ красной Африкѣ, которая мало-по-малу превратилась въ рану, освѣщенную слабымъ свѣтомъ спички въ ночь самоубійства. Онъ сказалъ:

— Несносный Шевалье! Я о немъ и не думалъ.

Вдругъ на фонѣ крови и огня появилась стройная фигура Фелиси, и онъ почувствовалъ, какъ все его существо охватило жгучее, неумолимое желаніе.

XIV.

На другое утро Робертъ отправился къ ней въ маленькую квартиру на бульварѣ Сень-Мишель. Обычно онъ этого не дѣлалъ. Онъ не любилъ встрѣчаться съ госпожею Нантѣйлъ, которая была съ нимъ вѣжлива, даже назойлива, но которая ему надоѣдала и стѣсняла его.

Въ маленькой гостиной его встрѣтила госпожа Нантѣйлъ. Поблагодарила за вниманіе, съ которымъ онъ относился къ здоровью Фелиси, сообщила, что бѣдная дѣвочка весь вечеръ наканунѣ была взволнована и больна, но теперь ей лучше.

— Она разучиваетъ въ своей комнатѣ роль. Я предупрежу ее томъ, что вы здѣсь. Она будетъ вамъ очень рада, господинъ де-Линь. Она знаетъ, какъ вы къ ней расположены. А истинные друзья рѣки, особенно въ театральномъ мірѣ.

Робертъ разсматривалъ госпожу Нантѣйлъ съ такимъ вниманіемъ

котораго онъ ей раньше никогда не оказывалъ. Онъ старался увидѣть въ ней дочь, когда та состарится. Онъ любилъ по лицамъ матерей предсказывать будущее ихъ дочерей. И на этотъ разъ онъ упорно разбирался въ чертахъ и формахъ этой дамы, какъ въ интересномъ пророчествѣ. Онъ не прочелъ въ нихъ ни дурныхъ, ни хорошихъ предзнаменованій. Госпожа Нантѣйль, полная, со свѣжимъ цвѣтомъ лица; обладала приятною внѣшностью. Но дочь совсѣмъ не походила на мать.

Видя ее спокойною и ясною, онъ сказалъ:

— Вы не нервны?

— Никогда не страдала. Дочь въ этомъ отношеніи на меня не похожа. Она — живой портретъ отца. Онъ былъ хрупокъ, не отличаясь плохимъ здоровьемъ. Онъ умеръ отъ паденія съ лошади... Вы откушаете чашку чая, г. де-Линьи?

Вошла Фелиси. Съ распущенными по плечамъ волосами, закутанная въ пеньюаръ изъ бѣлой шерстяной ткани, свободно перехваченный у пояса толстымъ витымъ шнуркомъ, и шлепаня красными ночными туфлями, она походила на ребенка. Другъ дома Тони Мейеръ, торговецъ картинами, видя ее въ этой одеждѣ монашескаго покроя, называлъ ее братомъ Ангѣломъ де-Шаролэ, такъ какъ находилъ въ ней сходство съ портретомъ Натъе, изображавшимъ мадемуазель де-Шаролэ во францисканской одеждѣ. Робертъ стоялъ удивленный и молчалъ передъ этой дѣвочкой.

— Какъ мило съ вашей стороны, — сказала она, — придти узнать о моемъ здоровьѣ. Благодарю васъ. Мнѣ лучше.

— Она много работаетъ, черезчуръ много работаетъ. Ея роль въ «Рѣшеткѣ» ее утомляетъ.

— Да нѣтъ же, мама.

Заговорили о театрѣ; разговоръ тянулся вяло.

Послѣ молчанія госпожа Нантѣйль спросила у де-Линьи, продолжаетъ ли онъ свои поиски старинныхъ модныхъ гравюръ.

Фелиси и Робертъ взглянули на нее съ изумленіемъ. Они говорили ей когда-то о модныхъ картинкахъ, съ цѣлью объяснить ей свои свиданія, скрыть которыя они не могли. Но теперь они забыли ихъ. Одна только госпожа Нантѣйль, глубоко уважавшая вымыслы, помнила о нихъ:

— Моя дочь говорила мнѣ, что у васъ много старинныхъ картъ и что онѣ вдохновляютъ ее въ дѣлѣ созданія костюмовъ.

— Совершенно вѣрно, сударыня.

— Пойдемте ко мнѣ, господинъ де-Линьи, — сказала Фелиси. — Хочется показать вамъ проектъ костюма для Цециліи де-Рошморъ.

И она увлекла его въ свою комнату.

То была маленькая комнатка, со свѣтлыми обоями, съ зеркальнымъ шкафомъ, съ двумя мягкими стульями и желѣзною кроватью, покрытой бѣлымъ стеганнымъ одѣяломъ, надъ которою на стѣнѣ была прибита кропильница и буксовая вѣточка.

Долгимъ поцѣлуемъ она впиалась въ его губы.

— Я люблю тебя, знаешь!

— Въ самомъ дѣлѣ?

— О, да! А ты?

— Я тоже тебя люблю. Я никогда не думалъ, что полюблю тебя такъ.

— Значитъ, это случилось потомъ?

— Это всегда случается потомъ.

— Правда, Робертъ. Раньше ничего не знаешь.

Она покачала головой.

— Я была очень больна вчера.

— Ты совѣтовалась съ Трюблѣ? Что онъ сказалъ?

— Онъ сказалъ, что мнѣ необходимъ отдыхъ, покой... Милый, намъ придется быть благоразумными еще недѣли двѣ. Тебѣ это неприятно?

— Разумѣется.

— Мнѣ также. Но что же дѣлать?...

Онъ обошелъ два-три раза комнату, заглядывая во всѣ углы. Она слѣдила за нимъ съ безпокойствомъ, боясь, что онъ спроситъ что-нибудь по поводу ея скромныхъ драгоценностей и бездѣлушекъ, происхожденіе которыхъ не всегда бываетъ можно объяснить. Можно говорить, конечно, что угодно, но можно причинить себѣ и неприятности, а въ самомъ дѣлѣ этого слѣдуетъ избѣгать. Она постаралась отвлечь его вниманіе.

— Робертъ, открой мой ящикъ съ перчатками.

— Что въ твоемъ ящикѣ съ перчатками?

— Фіалки, которыя ты мнѣ подарилъ въ первый разъ. Милый мой, не бросай меня. Не уходи!... Когда я подумаю, что ты каждый день можешь уѣхать за границу, въ Лондонъ, въ Константинополь, — я схожу съ ума.

Онъ успокоилъ ее, сказалъ, что его собирались послать въ Гаи. Но онъ не поѣдетъ, устроить такъ, чтобы его причислили къ кабинету министра.

— Ты мнѣ обещаешь это?

Онъ общалъ искренно. И она повеселѣла.

Указывая ему маленькій зеркальный шкафъ, она сказала:

— Видишь ли, милый, передъ нимъ я разучиваю мои роли. Когда ты пришелъ, я разбирала сцену четвертаго акта. Я пользуюсь одиночествомъ, чтобы отыскать вѣрный тонъ. Я стараюсь выдвигать главное и общее. Если бы я слушала Ромилы, то отдѣлывала бы мелочи, и это было бы мѣщанствомъ. Я говорю въ этой пьесѣ: «Я васъ не боюсь». Это самое эффектное мѣсто. Знаешь, какъ требовалъ Ромилы, чтобы я говорила «я васъ не боюсь»? Я сейчасъ тебѣ объясню. Я подношу руку къ носу, растопырываю пальцы и говорю по словамъ, перебирая каждымъ пальцемъ отдѣльно, особымъ тономъ, съ особымъ выраженіемъ лица: «Я—васъ—не—боюсь», словно я показываю марионетокъ! Еще немного, и я надѣла бы на каждый палецъ по маленькой бумажной шапочкѣ. Это остроумно, тонко, не правда ли?

Затѣмъ, откинувъ волосы со своего мужественнаго лба, она сказала:

— Я покажу тебѣ, какъ дѣлаю это я.

Внезапно преображенная и выросшая, она сказала, съ видомъ наивной гордости и спокойной невинности:

«— Нѣтъ, сударь, я васъ не боюсь. Къ чему мнѣ васъ бояться? Вы думали поймать меня въ свою ловушку, и вмѣсто этого отдали себя въ мои руки. Вы—честный человекъ. Теперь, когда я подъ вашимъ кровомъ, вы скажете мнѣ то же, что вы сказали вашему врагу, кавалеру, Д'Амберръ, когда онъ переступилъ за эту рѣшетку. Вы скажете мнѣ: «Вы у себя дома: приказывайте».

Она обладала таинственнымъ даромъ мѣнять душу и внѣшность. Линьи былъ очарованъ прекраснымъ обманомъ.

— Ты—изумительна!

— Послушай меня, дружокъ. На головѣ у меня будетъ большой батистовый чепецъ, съ завязками, которыя этажами будутъ падать мнѣ на щеки. По пьесѣ, ты вѣдь знаешь, я дѣвушка временъ Революціи. И я должна дать это почувствовать. Надо, чтобы Революція сидѣла во мнѣ, понимаешь?

— Ты знаешь Революцію?

— Конечно!... Я не знаю, разумѣется, чиселъ, въ которыя происходили разные событія. Но у меня есть чувство эпохи. Для меня революція—значитъ дышать всею грудью подъ завязанной крестъ-накрестъ косынкой, свободно двигаться въ своей полосатой юбкѣ и тобы на щекахъ играть легкій румянецъ. Вотъ и все!

Онъ началъ спрашивать ее о пьесѣ, и увидѣлъ, что она не аеть ея содержанія. Ей не нужно было знать его. Она угадывала, ходила инстинктомъ все необходимое.

— Во время репетицій я и намека не дѣлаю ни на одинъ изъ моихъ эффектовъ. Я все берегу для публики. Ромильи зеленѣетъ отъ злости... До чего всѣ они будутъ досадовать... Ахъ! милый мой, Фажетъ навѣрное заболѣетъ.

Она сѣла на плохонькій стульчикъ. Ея лобъ, бывший сейчасъ бѣлые мрамора, порозовѣлъ; снова она имѣла видъ мальчишки.

Онъ подошелъ къ ней, заглянулъ глубоко въ ея прекрасные сѣрые глаза и, какъ наканунѣ вечеромъ, передъ каминомъ, подумалъ о томъ, что она лгунья, трусиха, недобрая къ друзьямъ; но подумалъ объ этомъ снисходительно. Подумалъ, что она любитъ плохихъ комедіантовъ, или, по крайней мѣрѣ, уживается съ ними; но объ этомъ подумалъ съ тихою жалостью; вспомнилъ все дурное, что зналъ о ней, но безъ горечи. Онъ почувствовалъ, что любитъ ее, и не столько за то, что она красива, сколько за то, что она красива по-своему; наконецъ, любить ее за то, что она—живая драгоценность, несравненное орудіе искусства и наслажденія. Онъ заглянулъ въ ея чудные сѣрые глаза, въ ея зрачки, гдѣ подъ блестящей влагой словно плавали мелкіе астрологическіе знаки. Взглянулъ на нее такимъ глубокимъ взглядомъ, что она почувствовала, какъ онъ пронизалъ ее всю насеквозъ. И, зная, что онъ въ ней увидѣлъ, она сказала ему, глядя въ глаза и охвативъ его голову обѣими своими руками:

— Ну, и что же! Да, я знаю, что я ничтожная комедіантка; но я тебя люблю и плюю на деньги. А такихъ, какъ я, не много найдется. Ты это отлично знаешь.

XV.

Они встрѣчались ежедневно въ театрѣ и гуляли вмѣстѣ пѣшкомъ.

Нантѣйлъ играла почти каждый вечеръ и усердно работала надъ ролью Цециліи. Мало-по-малу спокойствіе вернулось къ ней, она меньше волновалась по ночамъ, не приказывала больше матери сидѣть около нея и держать ея руку, пока она не заснетъ, и не задыхалась болѣе отъ кошмаровъ. Такъ прошло недѣли двѣ. Затѣмъ, однажды утромъ, когда она сидѣла передъ туалетомъ и расчесывала волосы, въ пасмурную погоду, она наклонилась къ зеркалу и увидѣла въ немъ не себя, а покойника. Тонкая струйка крови стекала изъ угла его рта, онъ смѣялся и смотрѣлъ на нее.

Тогда она рѣшила сдѣлать то, что считала полезнымъ и нужнымъ. Наняла карету и отправилась къ нему. Проѣзжая по бульвару Сень-Мишель, купила у цвѣточницы букетъ розъ. Принесла ему въ

розы. Стала на колѣни передъ маленькимъ чернымъ крестомъ, отмѣчавшимъ мѣсто, гдѣ онъ былъ похороненъ. Говорила съ нимъ. Просила его быть благоразумнымъ, оставить ее въ покоѣ. Просила у него прощенія за то, что нѣкогда обращалась съ нимъ жестоко. Не всегда въ жизни люди понимаютъ другъ друга. Но теперь онъ долженъ понять ее и простить. Зачѣмъ ее мучить? Бя единственное желаніе—это сохранить о немъ добрую память. Время отъ времени она будетъ навѣщать его. Но онъ долженъ перестать ее пугать и преслѣдовать.

Она сдѣлала попытку польстить ему и успокоить его ласковыми словами:

— Я понимаю, что ты хотѣлъ отомстить за себя. Это естественно. Но ты не золь отъ природы. Не сердись же на меня. Не пугай меня. Не приходи больше. Я же буду приходить, буду приходить часто. Буду приносить тебѣ цвѣты.

У нея было несомнѣнно желаніе его обмануть, усыпить его обманчивыми обѣщаніями, сказать ему: «Лежи, не волнуйся, будь покоенъ, и я клянусь, что не сдѣлаю ничего, что бы тебѣ не понравилось, обѣщаю повиноваться твоей волѣ». Но она не посмѣла лгать на могилѣ и была увѣрена, что это бесполезно, такъ какъ мертвецы знаютъ все.

Немного усталая, она продолжала еще въ теченіе нѣсколькихъ минутъ свои мольбы и уговоры, и замѣтила, что на этотъ разъ перестала испытывать тотъ ужасъ, который ей внушали могилы и этотъ мертвецъ. Она стала искать причину и открыла, что онъ не страшитъ ее потому, что его тамъ нѣтъ. Она подумала:

«Его здѣсь нѣтъ; его здѣсь никогда не бываетъ; онъ—повсюду, за исключеніемъ того мѣста, гдѣ его схоронили. Онъ—на улицахъ, въ домахъ, въ комнатахъ».

И она поднялась съ могилы въ отчаяніи, убѣжденная теперь въ томъ, что будетъ встрѣчать его повсюду, исключая кладбища.

XVI.

Послѣ двухъ недѣль терпѣнія Линь началъ настаивать, чтобы Делиси вернулась къ прежней жизни. Срокъ, поставленный ею, истекъ. Онъ не хотѣлъ болѣе ждать. Она страдала такъ же, какъ и въ. Но боялась снова увидѣть покойника. Она измышляла неловкіе редлоги, чтобы откладывать свиданія, и наконецъ призналась, что оится. Онъ презиралъ ее за то, что она выказала такъ мало мужества и благоразумія. Онъ не чувствовалъ, что она его любитъ, и

говорилъ ей жесткія слова. И онъ преслѣдовалъ ее непрерывно своимъ желаніемъ.

Тогда наступили трудные дни и неблагоприятные часы. Она не смѣла болѣе находиться съ нимъ подъ одною кровлей, и они нанимали извозчика и, объѣхавъ всѣ предмѣстья, выходили и углублялись въ мрачныя аллеи, шагая подъ рѣзкимъ восточнымъ вѣтромъ, словно погоняемые дыханіемъ невидимаго гѣва.

Однажды день былъ такой мягкій, что они прониклись его нѣжностью. Плечо къ плечу, блуждали они по пустыннымъ аллеямъ Булонскаго лѣса. Почки, начинавшія разбухать по концамъ тонкихъ и черныхъ вѣтвей, окрашивали верхушки деревьевъ, отдѣлявшіяся на розовомъ фонѣ неба, въ лиловый цвѣтъ. Налѣво онъ ихъ разстилался лугъ, усѣянный обнаженными деревьями, и были видны дома Отейля. Медленно катились по дорогѣ колясочки стариковъ, и няньки толкали передъ собою дѣтскія повозки. Тишину Булонскаго лѣса прервалъ грохотъ автомобиля.

— Ты любишь эти машины?—спросила Фелиси.

— Нахожу ихъ удобными, вотъ и все.

Правда, что онъ никогда не былъ шофферомъ. Его не тянуло ни къ какому спорту, онъ любилъ только женщинъ. Указывая на извозчика, ѣхавшаго мимо, Фелиси сказала:

— Робертъ, ты видѣлъ?

— Нѣтъ.

— Внутри была Жанна Перренъ и еще какая-то дама.

Онъ былъ мирно невозмутимъ, и она сказала ему съ упрекомъ:

— Ты, какъ докторъ Сократъ: находишь это естественнымъ?

Ясное и спокойное озеро дремало среди черныхъ стѣнъ сосенъ. Они пошли направо по тропинкѣ у самаго берега, у котораго бѣлые гуси и лебеди чистятъ свои перья.

При ихъ приближеніи цѣлая стая утокъ, какъ живые челночки, вытянувъ шеи, быстро поплыла къ нимъ.

Фелиси сказала имъ съ сожалѣніемъ, что ей нечего имъ дать.

— Когда я была маленькой,—прибавила она,—отецъ водилъ меня по воскресеньямъ кормить звѣрей. Это было моею наградой, когда я всю недѣлю хорошо училась. Отецъ любилъ природу. Любилъ собакъ, лошадей, всѣхъ животныхъ. Онъ былъ очень добрый, очень умный. Много работалъ. Но офицеру безъ состоянія страшно труднѣе. Онъ страдалъ отъ того, что не могъ жить, какъ богатые офицеры, и кромѣ того ссорился съ мамашей. Онъ не былъ счастливъ, бѣдный отецъ. Онъ часто бывалъ печаленъ. Онъ былъ молчаливъ, но, не говоря ни слова, мы съ нимъ понимали другъ друга. Онъ мен

очень любилъ... Робертъ, позже, черезъ много, много лѣтъ, у меня будетъ домигъ въ деревнѣ. И когда ты прїѣдешь туда, мой милый, ты застанешь меня въ короткой юбкѣ, кормящей куръ.

Онъ спросилъ ее, какъ ей пришла въ голову мысль сдѣлаться актрисой.

— Я хорошо знала, что не выйду замужъ, такъ какъ у меня не было приданого. А поступать въ модный магазинъ или на телеграфъ, какъ многія изъ моихъ подругъ, меня не прельщало. Уже маленькой дѣвочкой я находила, что быть актрисой очень хорошо. Въ пансіонѣ я играла въ одной дѣтской пьесѣ. Это мнѣ понравилось. Учительница сказала, что я играла плохо; но это потому, что мамаша была должна ей за три мѣсяца. Начиная съ пятнадцати лѣтъ я стала серьезно думать о театрѣ. Поступила въ консерваторію. Работала, много работала. Наше ремесло беретъ много силъ. Но когда имѣешь успѣхъ, оно даетъ удовлетвореніе.

Противъ маленькой хижинки на островѣ они застали паромъ, стоявшій у пристани. Робертъ прыгнулъ на него и увлекъ за собою Фелиси.

— Эти громадныя деревья прекрасны даже безъ листьевъ, — сказала она, — но я думала, что въ это время года хижинка бываетъ заперта.

Перевозчикъ отвѣтилъ, что въ хорошіе зимніе дни, гуляющіе любятъ ѣздить на островъ, такъ какъ тамъ никто не беспокоитъ, и что недавно только онъ перевезъ туда двухъ дамъ.

Слуга, жившій на одинокомъ островѣ, подаль имъ чай въ деревенскую комнату, въ которой стояли два стула, столъ, пианино и диванъ. Панели были покрыты плѣсенью, паркетъ разохся. Фелиси взглянула въ окно на лугъ и на высокія деревья.

— Что это за темный шаръ на тополѣ?—спросила она.

— Это омела, дорогая.

— Можно подумать, что животное обвилось вокругъ вѣтки и гложетъ ее. Это неприятно видѣть.

Она положила голову на плечо своему другу и сказала ему
ТОННО:

— Я люблю тебя.

Онъ увлекъ ее на диванъ. Она чувствовала, какъ онъ, упавъ къ ногамъ, скользитъ по ней неловкими отъ нетерпѣнія руками; она сопротивлялась, обезсиленная, неподвижная, зная, что это безопасно. Въ ухахъ у нея звенѣли колокольчики. Затѣмъ звонъ прервался, и она услышала справа, какъ чужой звучный и леденящій голосъ произнесъ: «Я кладу вамъ запретъ другъ на друга». Ей по-

чудилось, что голосъ говорилъ сверху, изъ свѣтлаго пространства, но она не осмѣлилась поднять голову. То былъ незнакомый голосъ. Невольно, сама того не желая, она старалась припомнить *его* голосъ и вдругъ замѣтила, что не вспомнить его никогда. Она подумала: «Быть можетъ, это тотъ голосъ, которымъ онъ говоритъ теперь». Испуганная, она быстро оправила платье. Но удержала крикъ и не сказала, что она слышала, изъ страха, чтобы Робертъ не счелъ ее безумной, и потому, что она знала все-таки, что это не было реально.

Линьи отошелъ:

— Если ты не любишь меня болѣе, скажи откровенно. Я не хочу брать тебя силою.

Вся какъ-то сжавшись, она сказала:

— Пока мы въ толпѣ, пока насъ окружаютъ люди, я стремлюсь къ тебѣ, желаю тебя; а какъ только мы остаемся одни, я боюсь.

Онъ отвѣтилъ ей плоской и злой насмѣшкой:

— Ахъ, чтобы любить меня, тебѣ нужна публика!...

Она встала и подошла къ окну. По щекъ ей текла слеза. Она долго плакала молча. Потомъ вдругъ позвала его съ живостью:

— Взгляни-ка!

И указала ему на Жанну Перренъ, гулявшую по лужайкѣ съ молодою женщиной. Онъ шли обнявшись, давая другъ другу вдыхать аромать фіалогъ, и улыбались.

— Посмотри, эта женщина счастлива и покойна.

Жанна Перренъ шла довольная и спокойная.

Фелиси смотрѣла на нее съ любопытствомъ, въ которомъ не смѣла сама себѣ признаться, и завидовала ея спокойствію.

— Она вотъ не боится.

— Оставь ее въ покоѣ. Она не дѣлаетъ намъ зла.

И онъ съ силою охватилъ ея станъ.

Она высвободилась, вся дрожа. Въ концѣ-концовъ, разочарованный, обманутый, униженный, Робертъ разразился гнѣвомъ, обозвалъ ее дурой, влялся, что не потерпитъ дальше этихъ смѣшныхъ выходовъ.

Она не отвѣчала и принялась снова плакать.

Раздраженный ея слезами, онъ сказалъ ей жестоко:

— Такъ какъ ты меня болѣе не любишь, то бесполезно намъ и видаться. Намъ не о чемъ больше говорить другъ съ другомъ. Я вижу отлично, что ты меня не любишь. Признайся, скажи же хоть разъ правду: ты никого никогда не любила, кромѣ этого жалкаго комедіанта.

Она разразилась гнѣвомъ и застонала отъ отчаянія:

— Лгунъ, лгунъ! То, что ты говоришь, отвратительно! Ты видишь, что я плачу, и хочешь заставить страдать меня еще больше. Ты пользуешься тѣмъ, что я тебя люблю, чтобы сдѣлать меня несчастной. Это подло! Ну, хорошо же! Я тебя не люблю! Уйди! Я не хочу тебя видѣть! Уйди!... Но въ самомъ дѣлѣ, что же это мы дѣлаемъ? Развѣ мы будемъ всю жизнь смотрѣть такъ другъ на друга съ гнѣвомъ, съ отчаяніемъ, съ яростью? Это не моя вина... Не могу, не могу. Прости меня, милый, любовь моя. Люблю тебя, обожаю, хочу тебя. Но прогони же ты его! Ты мужчина, ты знаешь, что надо сдѣлать! Прогони его! Ты же его убилъ, а не я. Ты! Убей же его до конца... Я съ ума схожу, Боже мой! Я схожу съ ума...

На слѣдующій день Линьи подалъ прошеніе о командировкѣ въ качествѣ третьяго секретаря въ Гагу. Черезъ недѣлю пришло назначеніе, и онъ уѣхалъ тотчасъ же, не простившись съ Фелиси.

ХVII.

Госпожа Нантѣйлъ только и думала, что о своей дочери. Ея связь съ Тони Мейеромъ, продавцомъ картинъ изъ улицы Блнши, оставляла ей много свободного времени и не занимала ея сердца. Она встрѣтила въ театрѣ г. Бондуа, фабриканта электрическихъ приборовъ, еще молодого человѣка, весьма состоятельнаго и отличавшагося необыкновенною вѣжливостью. Онъ былъ влюбчивъ и въ то же время робокъ отъ природы; молодыя и красивыя женщины его пугали, и онъ привыкъ мечтать только о другихъ. Госпожа Нантѣйлъ была еще очень пріятна. Однажды вечеромъ, когда она была дурно одѣта и неинтересна, онъ сдѣлалъ ей предложеніе. Она приняла его съ цѣлью поддержать домъ и дать возможность дочери ни въ чемъ не нуждаться. Ея преданность дала ей счастье. Бондуа полюбилъ ее и окружилъ горячимъ вниманіемъ. Сначала удивленная этимъ, вскорѣ она стала покойною и счастливою; ей показалось естественнымъ и справедливымъ быть любимой, и она не вѣрила, что это время для нея прошло, когда дѣйствительность доказывала ей обратное.

Она всегда проявляла благосклонность, легкій уживчивый нравъ и ровное расположеніе духа. Но никогда еще она не наполняла домъ акимъ весельемъ и такими милыми выдумками. Мягкая въ обращеніи съ окружающими, съ улыбкой, несмотря на всѣ превратности изни, открывавшей ея прекрасные зубы и углублявшей ямочки на полныхъ щекахъ, благодарная жизни за то, что она ей давала, асцвѣтная, свѣжая, щедрая, она была радостью и молодостью дома.

Въ то время какъ госпожа Нантѣйлъ видѣла во всемъ только

свѣтъ и радость, Фелиси становилась мрачною, угрюмою и печальною. На ея хорошенькомъ личикѣ пролегли морщины; голосъ сталъ хриплымъ. Она тотчасъ же догадалась о положеніи, занятомъ господиномъ Бондуа въ ея семьѣ, и потому ли, что предпочитала, чтобы мать жила и дышала только ею, была ли оскорблена въ своей дочерней любви, принужденная меньше уважать мать, завидовала ли она, испытывала ли она то чувство тягости, которое причиняютъ намъ любовныя исторіи, когда онѣ разыгрываются черезчуръ близко отъ насъ, но Фелиси ежедневно и преимущественно за обѣдомъ въ цѣломъ рядѣ весьма ясныхъ намековъ и плохо скрытыхъ словъ горько упрекала госпожу Нантѣйлъ за новаго друга дома, а встрѣчаясь съ самимъ Бондуа, выражала ему явное и постоянное отвращеніе. Госпожа Нантѣйлъ относилась къ этому только съ легкимъ прискорбіемъ и прощала дочери, которую считала слишкомъ мало опытной въ жизни. А Бондуа, которому Фелиси внушала нечеловѣчскій ужасъ, старался успокоить ее многочисленными подарками и знаками вниманія.

Ея злоба происходила отъ ея страданій. Письма, получаемыя ею изъ Гаги, раздражали ея любовь и дѣлали ее мучительною. Она сохла, находясь во власти жгучихъ образовъ. Когда она слишкомъ ясно сознавала отсутствіе своего друга, то въ вискахъ у нея стучало, сердце колотилось, тяжелая тѣнь окутывала ея мозгъ; вся чувствительность ея нервовъ, весь жаръ ея крови, всѣ силы ея существа, собираясь вмѣстѣ, превращались въ одно глубокое, неутолимое желаніе. Въ такія минуты она думала только о томъ, чтобы вновь увидѣть Линьи. Его одного она желала, и сама удивлялась тому отвращенію, которое испытывала ко всѣмъ, кромѣ него. Далеко не всегда подчинялась она столь исключительному инстинкту. Она давала себѣ обѣщаніе идти просить тотчасъ же денегъ у Бондуа и съ первымъ поѣздомъ ѣхать въ Гагу. Но не дѣлала этого. Ее останавливала не столько мысль разсердить своего любовника, который нашелъ бы это путешествіе безтактнымъ, сколько опасеніе разбудить уснувшій призракъ.

Со времени отъѣзда Линьи она его больше не видѣла. Но внутри и вокругъ нея все еще происходили какія-то тревожныя событія. На улицѣ за нею слѣдомъ шелъ пудель, появившійся и исчезавшій внезапно. Однажды утромъ, когда она лежала еще въ постели, мать сказала ей: «Я иду къ портнихѣ», и ушла. Двѣ или три минуты спустя Фелиси увидѣла ее входящею въ комнату, словно она тамъ что-то забыла. Но призракъ двигался впередъ, не глядя, не говоря безшумно и исчезъ, коснувшись кровати.

У нея бывали и болѣе тревожныя иллюзіи. Однажды, въ воскре-

сенье, на утреннемъ спектаклѣ она играла въ «Аталіи» роль молодого Захарія. У нея были красивыя ноги, и поэтому мужская роль ей нравилась; она также была довольна показать, что умѣетъ читать стихи. Но она замѣтила, что въ оркестрѣ сидѣлъ священникъ въ рясѣ. Не въ первый разъ на утреннемъ представленіи этой трагедіи, заимствованной изъ Писанія, присутствовало духовное лицо. Тѣмъ не менѣе это произвело на нее тягостное впечатлѣніе. Когда она вышла на сцену, она ясно видѣла, какъ Луиза Даль, съ тюрбаномъ на головѣ, передъ будкой суфлера заряжала револьверъ. Фелиси была достаточно тверда разсудкомъ и обнаружила столько присутствія духа, чтобы прогнать это глупое видѣніе, которое и исчезло. Но первые стихи свои она прочла едва слышнымъ голосомъ

Она чувствовала, какъ горѣло у нея все въ желудкѣ. Страдала отъ удушій; иногда, безъ всякой причины, невыразимая тоска сковывала ея душу; сердце колотилось безумными толчками, и она боялась умереть

Докторъ Триблѣ продолжалъ лѣчить ее съ внимательной осторожностью. Она часто видала его въ театрѣ, а также ходила на консультацію въ старую квартиру на улицѣ Сены. Она не проходила черезъ приемную; слуга проводилъ ее тотчасъ же въ маленькую столовую, гдѣ въ темнотѣ сверкалъ арабскій фаянсъ, и докторъ принималъ ее первою. Однажды Сократу удалось втолковать ей, какимъ способомъ образуются въ мозгу человѣка представленія, а также и то, что эти образы не всегда соотвѣтствуютъ виѣшнимъ предметамъ или, по крайней мѣрѣ, не соотвѣтствуютъ имъ въ точности.

— Галлюцинаціи, — прибавилъ онъ, — всего чаще не что иное, какъ ложныя представленія. Человѣкъ видитъ, что есть, но видитъ это не совсѣмъ вѣрно, и изъ плюмажа дѣлаетъ взъерошенную голову, изъ красной гвоздики — часть звѣря, изъ бѣлой рубашки — призракъ въ саванѣ. Незначительныя заблужденія.

Въ этихъ доводахъ она почерпала силу для презрѣнія и для разсѣянія видѣній собакъ, кошекъ, живыхъ или близкихъ ей лицъ. Но боялась увидѣть снова покойника. И мистическій страхъ, гнѣздившійся въ темныхъ углахъ ея мозга, былъ сильнѣе, чѣмъ доказательствъ а врача. Сколько ей ни говорили, что мертвецы не возвращаются, была убѣждена въ обратномъ.

Сократъ и на этотъ разъ порекомендовалъ ей разсѣяться, повиѣ друзей, и предпочтительно друзей пріятныхъ и, какъ злѣйшихъ говъ своихъ, избѣгать темноты и одиночества.

И онъ прибавилъ слѣдующее предписаніе:

— Особенно старайтесь избѣгать тѣхъ лицъ и тѣхъ вещи, кото-

рыя могутъ имѣть какое-либо отношеніе къ предмету вашихъ видѣній.

Онъ не замѣтилъ, что это было невозможно. Нантѣйлъ тоже этого не замѣтила.

— Итакъ, вы меня вылѣчите, мой добрый Сократъ?—сказала она, поднимая на него свои красивые сѣрые глаза, полные мольбы.

— Вы сами вылѣчитесь, дитя мое. Вы вылѣчитесь, потому что вы трудолюбивы, разсудительны и мужественны. Да, да, вы одновременно и трусливы, и мужественны. Вы страшитесь опасности, но имѣете мужество жить. Вы выздоровѣете, потому что вы не симпатизируете боли и страданію. Вы выздоровѣете, потому что вы хотите выздороветь.

— Вы думаете, что можно выздороветь, когда хочешь?

— Когда хочешь извѣстнымъ образомъ, внутренне, глубоко, когда этого хотять въ насъ клѣточки, когда этого хочетъ наше безсознательное; когда человѣкъ хочетъ всею силою слѣпой, обильной и полной воли, какъ могучее дерево, которое хочетъ зазеленѣть весною.

XVIII.

Въ эту ночь, не будучи въ состояніи уснуть, Фелиси ворочалась на постели и раскидывала одѣяла. Она чувствовала, что сонъ еще далеко, что онъ появится вмѣстѣ съ первыми лучами, полными танцующихъ пылинокъ, которые утромъ прорвутся сквозь щели занавѣсокъ. Ночникъ, маленькое пылающее сердечко котораго свѣтилось сквозь его фарфоровое тѣло, былъ ея таинственнымъ и привычнымъ товарищемъ. Фелиси открыла вѣки и взглядомъ пила этотъ бѣлый, молочный свѣтъ, который ее успокаивалъ. Потомъ, закрывъ снова глаза, она впала въ тревожную тоску безсонницы. Минутами ей приходила на память какая-нибудь фраза изъ ея роли, которой она не придавала никакого значенія, но которая ее преслѣдовала: «Наша жизнь есть то, что мы сами изъ нея дѣлаемъ», и ея умъ утомлялся, переворачивая безъ усталости четыре или пять мыслей.

«Завтра мнѣ надо ѣхать примѣрять платье къ мадамъ Роямонъ. Вчера я вмѣстѣ съ Фажетъ вошла въ уборную Жанны Перренъ, которая одѣвалась. Она не безобразна, Жанна Перренъ; у нея даже красивое лицо, но мнѣ не нравится его выраженіе. За что госпожа Кольберъ требуетъ съ меня тридцать два франка? Четырнадцать три—семнадцать и девять—двадцать шесть. Я должна ей всего двадцать шесть франковъ. «Наша жизнь есть то, что мы сами изъ нея дѣлаемъ». Какъ жарко!»

Однимъ прыжкомъ гибкихъ бедеръ она перевернулась и раскинула свои обнаженные руки, словно желая охватить воздухъ, какъ нѣжное и свѣжее тѣло.

— Мнѣ кажется, что прошла вѣчность съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ Робертъ. Это дурно съ его стороны оставлять меня такъ одну. Я тоскую по немъ.

И, свернувшись въ клубочекъ на постели, она въ мельчайшихъ подробностяхъ припоминала его объятія. Она звала его:

— Ботенокъ мой! волченокъ мой!

И тотчасъ же мысли начинали снова мучительно путаться въ головѣ.

— «Наша жизнь есть то, что мы сами изъ нея дѣлаемъ. Наша жизнь»... Четырнадцать и три — семнадцать и девять — двадцать шесть. Я отлично замѣтила, что Жанна Перренъ нарочно выставляетъ напоказъ свои длинныя мужскія ноги, покрытыя темными волосами. А правда ли, говорятъ, будто она платитъ деньги женщинамъ? Завтра, въ четыре часа, я должна идти мѣрять платье. Ужасно, какъ эта мадамъ Роямонъ никогда не умѣетъ вшить рукавовъ. Фу, какъ жарко! Сократъ — хорошій докторъ. Но иногда отъ его лѣченія можно совсѣмъ одурѣть.

Вдругъ она подумала о Шевалье, и ей показалось, что отовсюду, съ каждой стѣны на нея исходитъ его вліяніе. Ей даже почудилось, что отъ этого затмился свѣтъ ночника. Это вліяніе было неудовимѣе призрака, но вызывало тревогу. Внезапно ей блеснула мысль, что эти тонкія вѣянія шли отъ портретовъ покойнаго. Въ ея комнатѣ ихъ не было; но въ квартирѣ еще оставались неуничтоженными его фотографіи. Тщательно подсчитавъ, она увѣрилась, что ихъ должно было остаться три: первый портретъ, снятый въ ранней молодости, на облачномъ фонѣ; другой, улыбающійся—въ вольной позѣ—верхомъ на стулѣ; третій—въ роли донъ Сезара-де-Базана. Въ своемъ стремленіи ихъ уничтожить она соскочила съ постели, зажгла свѣчку и въ одной рубашкѣ, шаркая туфлями, проскользнула въ гостиную къ столу изъ палисандроваго дерева, стоявшему подъ рѣдкимъ экземпляромъ пальмы, и, приподнявъ скатерть, обшарила ящикъ. Тамъ были жетоны, розетки, кусочки дерева, отломившіеся отъ мебели, два-три подвѣска отъ люстры и нѣсколько фотографій, среди горыхъ оказался только одинъ портретъ Шевалье, самый молодой, — облачномъ фонѣ.

Остальные она принялась искать въ шифоньеркѣ, занимавшей остѣнокъ между окнами, на которой красовались двѣ китайскихъ ипы. Тамъ были сложены матовые шары отъ лампъ, абажуры, хру-

стальные вазочки съ украшеніями изъ золоченой бронзы, фарфоровая расписная спичечница, съ изображеніемъ ребенка, уснувшаго подлѣ собаки, прислонясь къ барабану; растрепанныя книги, вѣлки партитуръ, два сломанныхъ вѣера, флейта и незначительная пачка визитныхъ фотографическихъ карточекъ. Тутъ нашелся второй Шевалье— въ роли донъ Сезара-де-Базана. Но послѣдняго не было. Тщетно задавала она себѣ вопросъ, куда онъ могъ дѣваться. Тщетно перерыла коробки, вазы, корзины съ цвѣточными горшками, музыкальный ящикъ. И въ то время, какъ она страстно искала его, портретъ все увеличивался и опредѣлялся въ ея фантазіи, достигалъ человѣческихъ размѣровъ, принималъ насмѣшливое выраженіе и дразнилъ ее. Голова ея горѣла, а ноги оставались застывшими, и она чувствовала, что гдѣ-то глубоко внутри ея закрадывается ужасъ. Въ ту минуту, когда она уже хотѣла отказаться отъ поисковъ и зарыться съ головой въ подушку, она вдругъ вспомнила, что мать ея прятала фотографіи въ зеркальный шкафъ. Къ ней вернулось мужество. Она тихонько вошла въ комнату спавшей госпожи Нантѣйль, неслышными шагами подошла къ шкафу, отворила его медленно и безъ шума и осмотрѣла верхнюю полку, заставленную старыми коробками. Она перелистала альбомъ, существовавшій со временъ второй имперіи и двадцать лѣтъ не раскрывавшійся. Перебрала кучи писемъ, связки гербовыхъ бумагъ и квитанцій изъ городского ломбарда. Госпожа Нантѣйль, разбуженная свѣтомъ свѣчи и глухимъ шорохомъ, спросила:

— Кто тамъ?

Но тотчасъ же увидѣла взобравшуюся на стулъ маленькую знаковую фигурку призрака, въ длинной ночной рубашкѣ, съ толстой косой за плечами.

— А, это ты, Фелиси? Надѣюсь, ты не больна?... Что ты дѣлаешь?

— Я ищу одну вещь.

— Въ моемъ шкафу?

— Да, мама.

— Ступай спать! Ты только простудишься... Скажи, по крайней мѣрѣ, что ты ищешь. Если шоколадъ, то онъ на средней полкѣ, рядомъ съ серебряной сахарницей.

Но Фелиси уже схватила пачку фотографій и быстро ихъ перебирала.

Подъ ея нетерпѣливыми пальцами проходили: госпожа Дульс вся окутанная кружевомъ; блестящая Фажетъ съ выпцвѣтшими волсами; Тони Мейеръ съ черезчуръ близко поставленными глазами нависшимъ надъ губами носомъ; бородатый Прадель; лысый и куръ

сый Триблэ; господинъ Бондуа съ трусливымъ взглядомъ и крѣпкимъ носомъ надъ густыми усами. И, несмотря на то, что голова ея вовсе не была занята въ настоящую минуту господиномъ Бондуа, она все же мимоходомъ бросила ему враждебный взглядъ и нечаянно капнула ему на носъ воскомъ.

Госпожа Нантэйль, совсѣмъ проснувшись, спрашивала съ удивленіемъ:

— Фелиси, да что это ты роешься въ моемъ шкафу?

Но Фелиси, державшая уже въ рукахъ столь долго отыскиваемый портретъ, отвѣтила ей только дивимъ радостнымъ крикомъ и спрыгнула со стула, унося съ собой покойника, а вмѣстѣ съ нимъ по ошибкѣ и г. Бондуа.

Вернувшись въ гостиную, она присѣла передъ каминомъ, развела огонь съ помощью бумаги и бросила въ него три фотографіи Шевалье. Она глядѣла, какъ онѣ пылали, и когда всѣ три карточки, почернѣвшія и покоробленныя, улетѣли безформенной массой, вздохнула съ облегченіемъ. На этотъ разъ она твердо вѣрила, что лишила ревниваго покойника возможности его появленій и освободилась окончательно отъ наважденія.

Взявъ снова подсвѣчникъ, она замѣтила Бондуа, носъ котораго скрылся подъ бѣлымъ кружечкомъ воска. И не зная, куда его дѣть, она со смѣхомъ бросила и его въ пылавшій еще каминъ.

Войдя въ свою спальню, Фелиси стала передъ зеркаломъ и обтянула рубашку, чтобы формы ея тѣла лучше обозначались. На этотъ разъ она дольше обыкновеннаго остановилась мыслью на одномъ соображеніи, иногда приходившемъ ей въ голову. Она говорила себѣ:

— Почему человѣкъ сотворенъ именно такимъ, — съ головой, руками, ногами, кистями, ступнями, съ грудью и животомъ? Почему такъ, а не иначе? Это странно...

И въ эту минуту человѣческій обликъ представлялся ей произвольнымъ, страннымъ, чуждымъ. Но удивленіе ея быстро прошло, и, разглядывая себя, она нравилась себѣ. Она смотрѣла на себя съ глубокимъ и сильнымъ волненіемъ. Обнаживъ груди и осторожно придерживая ихъ ладонями, съ нѣжностью разсматривала ихъ въ зеркало, словно онѣ не составляли части ея тѣла, а принадлежали ей какъ къ одушевленнымъ существа, два живыхъ голубя.

Улыбнувшись имъ, она легла снова въ постель. Проснувшись рано утромъ, на мгновеніе изумилась, что спала одна. Иногда во въ существо ея какъ бы раздваивалось и, ощущая свое тѣло, она злила о получаемыхъ ею ласкахъ.

XIX.

Генеральная репетиція «Рѣшетки» была назначена въ два часа. Уже съ часа докторъ Трюблэ занималъ свое обычное мѣсто въ уборной Нантѣйлъ.

Фелиси, отдавъ себя въ распоряженіе госпожи Мишонъ, упрекала доктора въ томъ, что онъ ничего не говоритъ. На самомъ дѣлѣ она, озабоченная, занятая мысленно ролью, которую ей предстояло играть, не слушала его. Она запретила пускать кого-либо въ свою уборную. И однако съ удовольствіемъ приняла Константина Марка, чувствуя къ нему взаимную симпатію.

Онъ былъ взволнованъ. И, чтобы скрыть смущеніе, преувеличенно болталъ о лѣсахъ Виварэ, начиналъ и не кончалъ анекдота изъ крестьянской или охотничьей жизни.

— Я здорово трушу, — сказала Нантѣйлъ. — А вы, господинъ Маркъ, вѣроятно тоже чувствуете внутреннюю дрожь?

Но онъ увѣрялъ, что не испытываетъ ни малѣйшаго волненія. Она стояла на своемъ:

— Признайтесь всетаки, что вы желали бы, чтобы все было уже кончено.

— Ну да, разъ что вы настаиваете на этомъ, пожалуй, я предпочелъ бы, чтобы все было кончено.

На это докторъ Сократъ своимъ простымъ и спокойнымъ голосомъ предложилъ ему слѣдующій вопросъ:

— Не думаете ли вы, что тѣ, что для насъ имѣютъ совершиться, на самомъ дѣлѣ уже совершались въ недавнемъ или очень отдаленномъ прошломъ?

И, не выжидая отвѣта, онъ прибавилъ:

— Если событія этого міра достигаютъ нашего сознанія послѣдовательно, то изъ этого не слѣдуетъ заключать, что они въ дѣйствительности имѣютъ эту послѣдовательность; еще менѣе основаній предполагать, что они совершаются въ тотъ моментъ, когда мы ихъ воспринимаемъ.

— Это понятно, — сказалъ Константинъ Маркъ, не слушавшій того, что говорилось.

— Вселенная, — продолжалъ докторъ, — представляется намъ какъ рядъ незавершенныхъ явленій, и намъ кажется, что заканчиваніе ихъ происходитъ непрерывно на нашихъ глазахъ. Такъ какъ явленія воспринимаются нами послѣдовательно, то мы думаемъ, что они и въ дѣйствительности слѣдуютъ другъ за другомъ. Мы воображаемъ, что тѣ изъ нихъ, которыхъ мы больше не видимъ, находятся

въ прошедшемъ, а тѣ, которыхъ мы еще не видимъ, — въ будущемъ. Но можно представить себѣ существа, одаренныя способностью воспринимать одновременно то, что для насъ является настоящимъ и прошедшимъ. Можно задумать и такія, которыя будутъ воспринимать явленія въ обратномъ порядкѣ, т. е. развертывающимися отъ нашего будущаго къ нашему прошедшему. Животныя, пользующіяся пространствомъ совсѣмъ иначе, нежели мы, и способныя, на примѣръ, передвигаться скорѣе, нежели распространяется свѣтъ, получили бы совсѣмъ другое понятіе о послѣдовательности явленій, чѣмъ мы.

— Только бы сегодня Дюрвиль не надѣлалъ глупостей на сценѣ, — воскликнула Фелиси, пока госпожа Мишонъ натягивала ей чулки.

Константинъ Маркъ увѣрялъ, что Дюрвиль не думаетъ ни о чемъ подобномъ, и просилъ ее не беспокоиться.

Докторъ Сократъ опять вернулся къ своему повѣствованію.

— Когда мы свѣтлою ночью смотримъ на звѣзду, мерцающую на вершинѣ тополя, то видимъ сразу, что было и что есть. И въ то же время, можно сказать, что видимъ и то, что есть, и то, что будетъ. Звѣзда въ томъ видѣ, какъ мы ее видимъ, является прошедшимъ по отношенію къ дереву, а дерево по отношенію къ звѣздѣ является будущимъ. А между тѣмъ звѣзда, которая изъ безконечной дали являетъ намъ свой маленькій огненный ликъ, и не настоящій, а тотъ, который она имѣла еще во времена нашей юности и, можетъ быть, до нашего рожденія, и тополь, молодые листочки котораго дрожать въ свѣжемъ вечернемъ воздухѣ, соединяются для насъ въ одинъ моментъ времени и кажутся намъ оба явленіями одинаково настоящими. Мы относимъ данное явленіе къ настоящему только потому, что воспринимаемъ его ярко и точно. Мы относимъ его къ прошедшему, когда сохраняемъ о немъ смутное представленіе. Если же явленіе имѣло мѣсто милліоны лѣтъ тому назадъ, то мы сохраняемъ о немъ самое сильное впечатлѣніе, оно не будетъ для насъ прошедшимъ, а явится въ настоящемъ. Мы не знаемъ того порядка, въ силу котораго явленія проходятъ и исчезаютъ въ пропастяхъ вселенной. Мы знакомы только съ порядкомъ нашихъ воспріятій. Воображать, что будущаго не существуетъ, только потому, что мы его не знаемъ, — все равно, о предполагать неоконченной книгу, конца которой мы не дочитали.

Здѣсь докторъ на минуту остановился. Нантѣйль, услыхавъ въ шинѣ біеніе своего сердца, воскликнула:

— Продолжайте, мой добрый Сократъ, продолжайте, прошу васъ. либъ вы знали, какъ хорошо на меня дѣйствуетъ ваша бесѣда!...

Я не могу вникать въ каждое слово. Но меня такъ развлекаетъ, когда я слышу, какъ вы говорите о вещахъ совсѣмъ постороннихъ, далекихъ; тогда я чувствую, что, кромѣ моего сегодняшняго дебюта, въ жизни есть еще что-то; иначе у меня бываетъ ощущеніе, словно я проваливаюсь въ черную пропасть... Говорите что-нибудь, только не останавливайтесь...

Мудрый Сократъ, предвидѣвшій конечно благотворное дѣйствіе своихъ рѣчей на артистку, продолжалъ свои разсужденія:

— Весь міръ вѣдь строится такимъ же непреложнымъ, роковымъ способомъ, какъ треугольникъ по двумъ даннымъ угламъ и одной сторонѣ. Всѣ будущія событія уже предопредѣлены. Они какъ бы уже существуютъ. Они настолько даже уже и существуютъ, что отчасти мы ихъ уже знаемъ. И если эта извѣстная намъ часть очень ничтожна по отношенію къ ихъ громадному количеству, то все же она имѣетъ нѣкоторое значеніе наряду съ частью тѣхъ прошлыхъ явленій, которыя намъ извѣстны. Мы можемъ сказать, что для насъ будущее не менѣе темно, чѣмъ прошедшее. Мы знаемъ, что поколѣнія смѣняютъ поколѣнія, въ трудѣ, въ радостяхъ и въ страданіяхъ. Я простираю мое провидѣніе дажѣ періода длительности человѣческой расы. Я вижу, что созвѣздія на небѣ медленно мѣняютъ свои очертанія, которыя казались неподвижными; колесница покидаетъ свою античную упряжь, щитъ Оріона ломается, Сиріусъ гаснетъ. Но мы знаемъ, что солнце взойдетъ завтра и что оно еще долго будетъ вставать по утрамъ среди густыхъ облаковъ или легкихъ испареній.

Адольфъ Менше вошелъ осторожно, на цыпочкахъ.

Докторъ пожалъ ему руку:

— Здравствуйте, господинъ Менше... Мы видимъ также новолуніе будущаго мѣсяца. Оно для насъ не такъ ясно, какъ новолуніе этой ночи, потому что мы не знаемъ, на сѣромъ или на красномъ небѣ появится худое дно старой кастрюли надъ моей крышей, среди лѣса трубъ въ островоконечныхъ шапкахъ и романтическихъ чепцахъ, среди влюбленныхъ котовъ. Но если бы мы были столь знающими, что могли предвидѣть всѣ малѣйшія обстоятельства будущаго новолунія, мы такъ же точно знали бы эту будущую ночь, о которой я говорю, какъ и нынѣшнюю: и та и другая были бы для насъ въ настоящемъ.

Наше знакомство съ фактами является единственнымъ основаніемъ нашей увѣренности въ ихъ реальности. Мы увѣрены въ неизбежности наступленія нѣкоторыхъ фактовъ. Слѣдовательно, мы должны ихъ считать реальными. А въ такомъ случаѣ они уже осуществились. Итакъ, милѣйшій Константинъ Маркъ, вы можете считать

что ваша пьеса уже сыграна, — тысячу лѣтъ или всего полчаса тому назадъ, это уже неважно. Можно считать всѣхъ насъ уже давно умершими. Подумайте-ка объ этомъ, и вы перестанете волноваться.

Константинъ Маркъ, плохо слѣдившій за этими доводами, считая ихъ неумѣстными и безтактными, отвѣтилъ съ легкимъ раздраженіемъ, что все это можно прочесть у Боссюэта.

— У Боссюэта! — сдержанно воскликнулъ докторъ, — бьюсь объ закладъ, что тамъ нѣтъ ничего подобнаго. У Боссюэта совсѣмъ нѣтъ философіи!

Напѣйль обернулась къ доктору. На ней былъ большой батистовый чепецъ, высоко закругленный наверху и стянутый широкимъ голубымъ бантомъ, концы котораго, спускаясь ярусами, осѣняли ея лобъ и щеки. Сама она превратилась въ огненную блондинку. Рыжіе волосы рассыпались локонами по плечамъ. На груди косынка изъ легкой кисеи переkreщивалась подъ широкимъ лиловымъ поясомъ.

Ея бѣлая съ розовыми полосками и нѣсколько высокой таліей юбка, плотно облегающая станъ, придавала ей высокой ростъ. Она казалась какой-то сказочной фигурой.

— Делая также позволяеть себѣ глупыя выходки, — сказала она. — Знаете, что онъ сдѣлалъ съ Мари-Клэръ? Они играли въ «Ученыхъ женщинахъ». На сценѣ онъ положилъ ей въ руку яйцо. Она весь актъ не могла отъ него никакъ отдѣлаться.

На призывъ режиссера Фелиси вышла въ сопровожденіи Константина Марка. Они слышали гулъ залы, ревъ чудовища, и имъ казалось, что они вступаютъ въ горящую пасть апокалиптического звѣря.

«Рѣшетка» имѣла успѣхъ. Поставленная въ концѣ сезона, когда не рассчитывали, что она долго продержится на сценѣ, пьеса всѣмъ понравилась. Въ срединѣ перваго акта въ ней уже нашли стиль, поэзію, тамъ и сямъ неясности. Съ этой минуты къ ней стали относиться съ уваженіемъ, дѣлали видъ, что ею наслаждаются, что ее поняли. Ей простили недостатокъ драматическаго дѣйствія. Она была литературна, и на этотъ разъ этотъ родъ былъ допущенъ.

Константинъ Маркъ никого не зналъ еще въ Парижѣ. Онъ вызвалъ въ театрѣ трехъ-четырехъ землевладѣльцевъ изъ Виварэ, которые выдѣлялись въ оркестрѣ своими красными лицами, бѣлыми мстугами, таращили глаза и не осмѣливались аплодировать. У Марка не было друзей, и поѣтому никто не думалъ вредить его успѣху. Даже въ коридорахъ его провозгласили талантливымъ писателемъ въ пику остальнымъ. Возволнованный, несмотря на все это, онъ переходилъ изъ одной ложи въ другую или садился утомленный въ глубинѣ директорской ложи на авансценѣ. Его беспокоила критика.

— Будьте покойны, — сказалъ Ромильи. — О вашей пьесѣ критики скажутъ то хорошее или то дурное, что они думаютъ о Праделѣ. А въ эту минуту они думаютъ о немъ болѣе худа, чѣмъ добра.

Адольфъ Менье сообщилъ, что зрительный залъ относится къ нему благосклонно, и что критики находятъ пьесу тщательно отдѣланной. Взамѣнъ этого онъ ждалъ нѣсколько любезныхъ словъ о «Пандольфѣ и Кларимондѣ». Но Константинъ Маркъ и не подумалъ сказать ему что-либо подобное.

Ромильи покачалъ головой.

— Надо быть готовымъ къ нападкамъ. Господинъ Менье хорошо это знаетъ. Печать по отношенію къ нему вела себя съ дикою несправедливостью.

— Увы! — вздохнулъ Менье, — о насъ никогда не будутъ говорить столько худа, сколько говорили о Шекспирѣ и о Мольерѣ.

Нантѣйлъ имѣла большой успѣхъ, который былъ отмѣченъ не столько шумными вызовами, сколько скромнымъ, но глубокимъ одобреніемъ тонкихъ знатоковъ. Она выказала качества, которыхъ за нею не знали: чистоту дикціи, благородство позъ, гордую и дѣвственную красоту.

Въ послѣднемъ антрактѣ на сценѣ она получила поздравленіе министра. Это былъ признакъ, что зала была расположена къ ней: ибо министры никогда не выражаютъ особаго мнѣнія. За ректоромъ университета толпились чиновники, свѣтскіе люди и драматическіе писатели. Съ протянутыми къ ней руками, они всѣ наперерывъ старались выразить ей свое восхищеніе. А госпожа Дульсъ, подавленная ихъ количествомъ, оставляла на пуговицахъ мужскихъ сюртуковъ обрывки своихъ безконечныхъ бумажныхъ кружевъ.

Послѣдній актъ былъ истиннымъ торжествомъ Нантѣйлъ. Публика наградила ее не криками и слезами. На нее были устремлены влажные взоры, къ ней неслись глубокіе и нѣмые вздохи изо всѣхъ грудей, которые способна вырвать изъ нихъ одна лишь красота.

Фелиси почувствовала, что она непомѣрно выросла въ одну минуту и, когда спустился занавѣсъ, прошептала:

— На этотъ разъ, наконецъ, это дѣйствительно успѣхъ!

Она раздѣвалась въ своей уборной, полной корзины съ орхидеями, букетами розъ и сноповъ сирени, когда ей подали телеграмму. Делеша изъ Гаги заключала слѣдующія слова:

«Всею душой присоединяюсь къ несомнѣнному успѣху.

Робертъ».

Въ ту минуту, когда она дочитывала телеграмму, въ уборную вошелъ докторъ Трюблэ.

Фелиси охватила его шею горячими отъ утомленія и радости руками, привлекла его къ себѣ на грудь и напечатлѣла на лицѣ мечтательнаго силена своими опьяненными устами крѣпкой поцѣлуй.

Сократъ, въ качествѣ мудреца, принялъ его какъ даръ судьбы, отлично понимая, что онъ предназначался не ему, но былъ посвященъ славѣ и любви.

Нантѣйлъ сама замѣтила, что въ своемъ опьянѣніи она вложила, быть можетъ, черезчуръ много жара въ свои уста, такъ какъ, раскинувъ руки, сказала:

— Тѣмъ хуже! я такъ счастлива!

XX.

Къ Пасхѣ ея радость еще возросла, благодаря важному событію. Она получила приглашеніе въ «Comédie Française». Въ теченіе нѣкотораго времени она уже втихомолку хлопотала объ этомъ. Мать помогла ей въ этихъ хлопотахъ. Госпожа Нантѣйлъ, съ тѣхъ поръ какъ ее любили, была очень пріятна и любезна. Она носила теперь прямые корсеты и у нея были такія юбки, которыя она могла показать повсюду. Она навѣдывалась въ канцелярію министерства, и, по слухамъ, получивъ предложеніе одного изъ помощниковъ столоначальника въ министерствѣ изящныхъ искусствъ, съ простою и легкою граціей уступила ему. По крайней мѣрѣ, такъ утверждалъ Прадель.

Онъ восклицалъ радостно:

— Ее теперь совсѣмъ не узнаешь, мамашу Нантѣйлъ! Она стала соблазнительна, и мнѣ она лучше нравится, чѣмъ ея сухая дочка. У нея нравъ добръе...

Какъ всѣ, Фелиси Нантѣйлъ презирала, бранила и порицала «Французскую Комедию». Подобно другимъ, она говорила: «У меня нѣтъ никакой охоты поступать въ этотъ домъ». А когда она стала принадлежать къ этому дому, то сіяла радостью и гордостью. Особенно радовалась она тому, что должна была дебютировать въ «Шко-женщинъ». Она разучивала уже роль Агнесы подъ руководствомъ драго малоизвѣстнаго профессора, котораго уважала за то, что строго придерживался традицій. По вечерамъ она играла Цеци въ «Рѣшеткѣ» и жила въ лихорадочной работѣ, какъ вдругъ получила письмо, въ которомъ Робертъ де-Линьи извѣщалъ ее, что возвращается въ Парижъ.

Во время своего пребывания въ Гагѣ онъ имѣлъ нѣсколько опытовъ, доказавшихъ ему всю силу его любви къ Фелиси. Онъ обладалъ женщинами, считавшимися и красивыми и милыми. Но ни высокая и свѣжая Бумдернотъ изъ Брюсселя, ни сестры Ванъ-Крюйзенъ, модистки съ Вейвера, ни Сюжетта Берже изъ театра Фоли-Мариньи, совершавшая въ то время путешествіе по сѣверной Европѣ, не дали ему чувства полноты и счастья. На ряду съ ними онъ все время вспоминалъ Фелиси и открылъ, что изъ всѣхъ женщинъ любилъ и жаждалъ только ее. Безъ госпожи Бумдернотъ, сестеръ Ванъ-Крюйзенъ и Сюжетты Берже онъ никогда не узналъ бы всей силы чувства, которое внушала ему Фелиси Нантѣйлъ. Если вѣрить словамъ, то могутъ сказать, что онъ ее обманывалъ. Это точное выраженіе. Есть и другія, которыя сводятся къ тому же. Но если вникнуть, то онъ ее не обманывалъ. Онъ искалъ ее, искалъ за предѣлами ея самой, и узналъ, что найдетъ ее только въ ней. Въ своей ненужной мудрости онъ испытывалъ почти гнѣвъ и ужасъ при мысли вложить въ будущее всѣ свои многочисленныя желанія въ такое исключительное и хрупкое существо. И онъ тѣмъ болѣе любилъ Фелиси, что любилъ ее съ нѣкоторымъ безуміемъ и нѣкоторою ненавистью.

Въ самый день своего приѣзда онъ назначилъ ей свиданіе въ холстой квартирѣ, которую одолжилъ ему богатый товарищъ по министерству иностранныхъ дѣлъ. Квартира помѣщалась въ улицѣ Альма, въ нижнемъ этажѣ высокаго дома, и состояла изъ двухъ комнатъ, расписанныхъ подсолнечниками, у которыхъ середина была коричневая, а лепестки золотые, и которые поднимались по стѣнамъ ровные, спокойные, безъ тѣни. Блѣдно-зеленая мебель въ новомъ стилѣ, украшенная вѣточками цвѣтовъ, напоминала контурами мягкіе изгибы лилейныхъ растений и нѣжностью своею приближалась къ влажнымъ водорослямъ. Зеркало наклонялось въ рамѣ изъ луковичныхъ растений, съ мягкими формами, оканчивавшимися закрытыми чашечками; въ этой рамѣ отъ зеркала вѣяло свѣжестью воды. Шкура бѣлаго медвѣдя была брошена на полъ у подножія кровати.

— Ты! ты!... Это ты!...

Больше она не могла ничего сказать.

Она видѣла его глаза, отуманенные страстью, и по мѣрѣ того какъ она глядѣла въ нихъ, ея взглядъ также окутывало облако. Огонь ея крови, горячее дыханіе груди, пьянящій пылъ лба, — вслилось къ ея устамъ, и на губахъ своего возлюбленнаго она напечатлѣла поцѣлуй, полный огня и свѣжій какъ цвѣтокъ, покрыты росой.

Они спрашивали о двадцати вещах сразу, перебивая друг друга.

— Ты скучалъ вдали отъ меня, Робертъ?

— Итакъ, ты дебютируешь въ Комедіи?

— Красивый ли городъ Гага?

— Да, маленькій мирный городокъ. Красные, сѣрые и желтые домики, съ высокими крыльцами, съ зелеными ставнями и геранью на окнахъ.

— Что ты тамъ дѣлалъ?

— Не многое... Гулялъ по Вейверу.

— Ты не ходилъ по крайней мѣрѣ съ женщинами?

— Разумѣется, нѣтъ... Какъ ты хороша, дорогая моя! Ты теперь выздоровѣла?

— Да, да, я выздоровѣла.

И вдругъ молящимъ голосомъ она сказала:

— Робертъ, я люблю тебя. Не покидай меня. Если ты меня бросишь, то я не смогу уже полюбить другого. И тогда что со мною будетъ? Ты знаешь, что я не могу жить безъ любви.

Онъ грубо, жестко сказалъ ей, что любить ее черезчуръ сильно, что только о ней и думаетъ.

— Я глупѣю отъ этого.

Эта грубость привела ее въ восторгъ и успокоила ее скорѣе, чѣмъ успокоила бы мягкая нѣжность вѣтвѣ и обѣщаній. Она улыбнулась и великодушно начала раздѣваться.

— Когда твой дебютъ въ «Comédie Française»?

— Въ текущемъ мѣсяцѣ.

Она раскрыла сумочку и достала оттуда вмѣстѣ съ рисовою пудрой повѣстку, которую протянула Роберту. Она не могла достаточно налюбоваться названіемъ Французской Комедіи съ далекимъ, величественнымъ готомъ ея основанія, напечатаннымъ на листкѣ.

— Видишь, я дебютирую въ роли Агнесы въ «Школѣ женщинъ».

— Красивая роль.

— Еще бы!

И пока она снимала одежду, на память ей приходили стихи, и она бормотала:

— «Я ранила? кого?

— «Да, въ сердце, — говорить, — ты ранила плутовка Того, кому ты кланялась вчера».

— «Ахъ Боже мой! да какъ же это было?

Съ балкона что-нибудь я развѣ уронила?»

— Ты видишь, я не похудѣла...

— «Глазами ранила! Отъ нихъ не жди добра!»

— Я скорѣе пополнѣла, но не очень.

— «Глазами? Что же въ нихъ опаснаго такого?»

Онъ слушалъ стихи съ удовольствіемъ. Если онъ не былъ глубокимъ знатокомъ древней словесности и французской традиціи, то у него было зато болѣе вкуса и любознательности, чѣмъ у его молодыхъ сверстниковъ. И, какъ всѣ французы, онъ любилъ Мольера, почиталъ его и глубоко чувствовалъ.

— Чудесно, — сказалъ онъ. — Теперь приди ко мнѣ.

Но изъ желанія заставить себя ждать и изъ любви къ театру она стала декламировать весь рассказъ Агнесы...

«Сижу я какъ-то на балконѣ,

Работаю. Какъ разъ передо мной

Проходитъ господинъ — красивый, молодой...

Онъ подозвалъ и привлекъ ее къ себѣ. Она выскользнула у него изъ рукъ и, подойдя къ трюмо, продолжала читать стихи и играть передъ зеркаломъ:

«И кланяется... Что-жъ! дурного нѣтъ въ поклонѣ...

Она согнула одно колѣно, сначала слегка, потомъ больше, затѣмъ, выставивъ лѣвую ногу впередъ и откинувъ назадъ правую, сдѣлала глубокой реверансъ...

«Я кланяюсь въ отвѣтъ: не отвѣчать

Ужъ было-бъ вовсе неучтиво.

Онъ позвалъ ее снова, болѣе настойчиво. Но она сдѣлала второй реверансъ, всѣ движенія котораго подчеркнула съ особою точностью. Не переставая читала стихи и дѣлала поклоны въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ этого требовали текстъ или традиція.

«Онъ мнѣ вторично — я опять;

Онъ въ третій разъ — и я: все это быстро, живо...

Исполняла всѣ позы тщательно, серьезно, стараясь сдѣлать какъ можно лучше. Ея движенія были красивы и интересны, поскольку они обнаруживали въ молодомъ тѣлѣ подъ нѣжной тканью упругіе мускулы, и открывали такія сочетанія и гармоніи, которыя не наблюдаются обычно.

Прикрывая свою наготу приличіемъ позъ и наивною выраженіемъ, она, благодаря своему капризу, осуществляла перлъ искусства, аллегорію Невинности во вкусѣ Аллегрена или Блюдіона. И изъ устъ этой оживленной фигурки звучно и красиво раздавался классическій стихъ. Робертъ, очарованный невольно, далъ дочитать ей сцену до

конца. Всего болѣе занимало его то, что сцена изъ театральной пьесы, вещь, всего болѣе созданная для публики, разыгрывалась такъ, частнымъ образомъ, для него одного, тайно. И, наблюдая церемонные поклоны обнаженной дѣвушки, онъ испытывалъ наслажденіе философа, открывающаго, какими средствами разыгрываются благородныя комедіи въ лучшемъ обществѣ...

Ушелъ. Вернулся. Взадъ, впередъ...

И каждый разъ какъ подойдетъ,—

Поклонъ. Я глазъ съ него, понятно, не спускаю.

И въ свой чередъ

На всѣ его поклоны отвѣчаю.

Тѣмъ временемъ она любовалась въ зеркалѣ своею молодою грудью, тонкимъ станомъ, своими нѣсколько худощавыми руками, слегка округлыми и словно выточенными, своими тонкими ногами, съ прекрасными, блестящими колѣнами, и при мысли, что все это служило искусству, она оживлялась, возбуждалась; легкая краска, словно румяна, залила ей щеки...

Робертъ крикнулъ ей, любуясь ею, облокотившись на подушки:

— Теперь приди ко мнѣ!

Возбужденная и разгорѣвшаяся, она сказала:

— А, ты, значить, думаешь, что я тебя не люблю!...

И упала рядомъ со своимъ другомъ. Гибкая, словно въ забытьи, она откинула назадъ голову, подставляя подъ поцѣлуи свои глаза, освѣненные густыми рѣсницами, и свой полураскрытый ротъ съ блестящими въ немъ искрами влаги.

Вдругъ она вскочила. Остановившійся взглядъ ея былъ полонъ несказаннаго ужаса. Изъ горла вырвался хриплый крикъ, за которымъ послѣдовала нѣжная и протяжная, какъ звукъ органа, жалоба. Отвернувъ голову, она указала пальцемъ на бѣлую шкуру, растянутую на полу у постели.

— Здѣсь! здѣсь!... Онъ лежитъ здѣсь, съ прострѣленной головой... Онъ смотритъ на меня и смѣется... у него кровь въ углу рта...

Ея широко раскрытые глаза закатились. Тѣло напряглось дугою и, ставъ снова гибкимъ, упало какъ мертвое.

Онъ смочилъ ей виски холодною водою и вернулъ ее къ сознанию. Бѣскимъ голосомъ она жаловалась на боль во всѣхъ суставахъ. Она глянула на свои ладони и увидѣла, что кожа на нихъ была разорвана, и сочилась кровь.

Она сказала:

— Ногти мои впились въ ладони. Ногти мои полны крови, почотри!

Нѣжно поблагодарила его за уходъ и мягко извинилась въ томъ, что причинила ему непріятность.

— Не для этого вѣдь ты сюда пріѣхалъ, а?

Она попробовала улыбнуться и посмотрѣла вокругъ.

— Брасиво здѣсь!

Ея взглядъ упалъ на повѣстку, лежавшую на ночномъ столикѣ, и она вздохнула:

— На что мнѣ быть знаменитой артисткой, если я не буду счастлива?

Сама того не зная, она повторила слово въ слово то, что говорилъ Шевалье, когда она его оттолкнула.

Затѣмъ, приподнявъ тяжелую голову съ подушки, глубоко вдавленной ею, Фелиси устремила на друга печальный взглядъ и сказала съ покорностью:

— Мы очень любили другъ друга оба. Теперь кончено. Никогда болѣе не будемъ принадлежать другъ другу, никогда... Онъ этого не хочетъ!

Перевела Ал. Чеботаревская.

Учительница.

Вешнія сумерки тихи и кротки —
Капли звенящія падаютъ съ крышъ.
Грустно головку склонивъ, ты молчишь,
Перебирая бывшее, какъ четки.
Нѣтъ въ немъ проступка, что краской стыда
Броситься могъ бы въ отцвѣтшія щеки.
Совѣсти грозной нѣмые упреки
Сердце твое не смутятъ никогда.
Дѣтямъ чужимъ ты, любя, отдала
Всю свою кроткую жизнь беззавѣтно.
Молодость мимо прошла незамѣтно
И безъ весеннихъ цвѣтовъ отцвѣла.
Дѣти тебя полюбили, какъ мать —
Горе чужое тебя волновало.
Что же сейчасъ ты поникла устало?
Хочется долго рыдать.
Вешнія сумерки тихи и кротки —
Капли звенящія падаютъ съ крышъ.
Грустно головку склонивъ, ты молчишь,
Перебирая бывшее, какъ четки.

А. Федоровъ.

НЕВЪСТА И ЖЕНА.

Тихо въ киргизскомъ аулѣ.

Истомленные жарю, спать киргизы въ своихъ кибиткахъ, похожихъ издали на огромныя копны сѣраго прошлагодняго сѣна. Надъ степью шумить только вѣтеръ, да сухіе стебли пожелтѣвшей травы съ звенящимъ стономъ наклоняются другъ къ другу.

Прислушиваясь къ хриплому дыханію спящаго въ кибиткѣ мужа, Зинаида Петровна молча сидѣла у дверей своей кибитки и, машинально всматриваясь въ сѣроватую даль, въ сотый разъ спрашивала себя, зачѣмъ пріѣхали они въ эту скучную безнадежную глушь.

То, что ея мужу, Николаю Ивановичу Миронову, нѣтъ спасенія, она знала давно: объ этомъ слишкомъ ясно говорила его высокая сгорбившаяся фигура, осунувшееся лицо съ яркими пятнами на щекахъ и, главное, глаза безнадежные, глаза умирающаго человѣка.

Совѣтъ поѣхать на кумысь подалъ имъ докторъ.

— Поѣзжайте, поѣзжайте, — говорилъ онъ, — увѣрю васъ, что очень многимъ кумысь приносятъ значительное облегченіе. На курортъ вамъ ѣхать, конечно, незачѣмъ, поѣзжайте просто къ киргизамъ въ степь; тамъ лучше кумысь и дешевле.

И они поѣхали.

Сутолока желѣзнодорожной жизни, возня съ вещами, давка въ вагонахъ III класса и запахъ махорки, все казалось имъ интереснымъ, скрашеннымъ миражемъ будущаго исцѣленія. Первымъ разочарованіемъ была эта степь, выжженная степь, гдѣ-то на границѣ между Самарской и Астраханской губерніями.

Безплодная, сама умирающая отъ недостатка влаги, она не могла родить въ душѣ надежды на исцѣленіе. Вѣтеръ, шумѣвшій надъ нею, пѣлъ только похоронныя пѣсни и, казалось, съ торопливой сознательностью спѣшилъ убѣжать отъ этихъ скучныхъ безмолвныхъ ауловъ туда, гдѣ блестятъ серебристая рѣчка, гдѣ шепчетъ о чемъ-то таинственный лѣсъ.

Цѣлый день пекло степь немилосердное солнце, и только къ вечеру степь оживала и на нѣсколько мгновений вдругъ становилась красивой.

Золотые лучи заходящаго солнца обливали ее розовымъ свѣтомъ, и напоминала она въ это время умирающую женщину съ лихорадочнымъ румянцемъ на щекахъ, улыбающуюся послѣдней, робкой и трогательной улыбкой.

Но золотые лучи быстро потухали, и степь принимала холодный угрюмый видъ.

Съ сосѣдняго болота, или лимана по-киргизски, бѣлымъ саваномъ тянулся туманъ. Въ небѣ, почти такомъ же темномъ, какъ и степь, загорались крупныя звѣзды и смотрѣли свѣтлымъ, ничего не выражающимъ взглядомъ.

Быстро холодѣло.

Въ такія минуты, обыкновенно, Николай Ивановичъ молча дрожалъ въ своей постели, напрасно стараясь согрѣться подъ толстымъ ватнымъ одѣяломъ.

Съ каждымъ днемъ ему становилось хуже и хуже. Ужасная бользнь упорно и быстро подходила къ неизбѣжному концу.

Тихо въ киргизскомъ аулѣ, даже собаки не лаютъ.

Необъятная степь разстилается передъ глазами Зинаиды Петровны.

Огромный коршунъ-степнякъ распластался на блѣдномъ небѣ и упорно всматривается, не покажется ли гдѣ изъ норы сѣренькій сусликъ.

Солнце клонится къ вечеру, пора кипятить воду для чая. Коршунъ вдругъ камнемъ упалъ внизъ, пролетѣлъ низко надъ землею и скрылся безслѣдно.

Теперь гдѣ-нибудь, тамъ далеко, онъ рветъ и когтитъ пойманную добычу.

Холодная ночь беззвучно плыветъ надъ заснувшею степью. Далеко въ вышинѣ дрожать и искрятся звѣзды. Изъ-за горизонта медленно выплываетъ мѣсяцъ, красный, будто вымытый кровью.

Съ наступленіемъ вечера въ аулѣ закопошилась вялая, сонная знь:

Киргизы выползли изъ своихъ норъ, развели костеръ изъ сухого ягу и кипятятъ въ чугунѣ воду для чая. Вода выйдетъ мутной и ючей, но на киргизскій вкусъ ничего. Кумысъ, чай и какое-то ти не съѣдобное вещество, которое они готовятъ изъ кобыяго молока, составляетъ ихъ пищу.

Скоть убиваютъ рѣдко, только въ исключительныхъ случаяхъ.

Зинаида Петровна уложила мужа и, укрывъ его чѣмъ возможно, вышла подышать холоднымъ свѣжимъ воздухомъ.

Киргизскій костеръ отчаянно трещить и разбрасываетъ вокругъ себя золотыя искры, огромный столбъ черного дыма поднимается вверхъ и тамъ постепенно теряется, сливаясь съ чернымъ бархатомъ ночи. Освѣщенные багровымъ пламенемъ черты киргизскихъ лицъ теряютъ свою каменную неподвижность и кажутся полными какой-то незнакомой, таинственной жизни.

— Аманъ-ба, — говоритъ Зинаида Петровна, подходя къ костру.

Киргизскія головы повертываются къ ней, сверкаютъ на мгновеніе черные глаза и бѣлые, какъ перламутръ, зубы.

— Аманъ-ба, — говорятъ мужчины; женщины молча киваютъ головой и всё снова повертываются къ огню. Они привыкли къ ея частымъ посѣщеніямъ и не обращаютъ на нихъ никакого вниманія.

Ближе всѣхъ къ огню, въ качествѣ пріѣзжаго и почетнаго гостя, поджавъ подъ себя ноги и небрежно раскинувъ по землѣ полы лилового халата, сидитъ киргизскій мулла. Онъ — татаринъ; мастеръ на всѣ руки. Исполняетъ религіозные обряды, лѣчитъ лошадей и больныхъ киргизъ, продаетъ по очень высокой цѣнѣ привезенные съ собою линючіе ситцы, скупаютъ верблюжью и овечью шерсть, служатъ переводчикомъ между русскимъ и киргизскимъ населеніемъ.

Въ каждомъ аулѣ (онъ пріѣзжаетъ въ степь только на лѣто и ведетъ кочевой образъ жизни, переходя изъ одного аула въ другой), его встрѣчаютъ съ распростертыми объятіями, и всѣ его приказанія исполняются такъ же безпрекословно, какъ повелѣнія самого Аллаха.

Впрочемъ, въ маленькомъ аулѣ Эссембая въ этомъ году была особенная причина, заставляющая ухаживать за муллою.

Дѣло въ томъ, что молоденькая дочь старшаго представителя Эссембаевъ — Магомета была просватана въ сосѣдній аулъ за богатаго и вліятельнаго киргиза.

Свадьба должна была состояться еще весною, но за нѣсколько дней до этого торжественнаго событія красавица Мануваръ неожиданно заболѣла, къ великому неудовольствію своего жениха, который, страшно ругаясь, грозилъ отыскать себѣ другую невѣсту. Но такъ какъ блѣдное личико красавицы Мануваръ нравилось ему, вѣроятно, больше расплоснутыхъ носовъ и широкихъ скулъ другихъ невѣстъ, то онъ и склонился на ласковые уговоры кстати пріѣхавшаго муллы, общавшаго въ самомъ непродолжительномъ времени вылѣчить злополучную невѣсту.

Согласившись ждать выздоровленія дѣвушки, даже калыма не уменьшилъ великодушный женихъ.

Но несмотря на то, что каждую ночь въ обширной кибиткѣ Магомета раздавалось благочестивое бормотанье и отчаянные плевки свѣдущаго въ заклинаніяхъ муллы, шайтанъ, по мнѣнію киргизовъ, засѣвшій въ Мануваръ, плохо поддавался. Лицо ея блѣднѣло все болѣе и болѣе, и припадки удушья, случавшіеся съ ней при малѣйшемъ волненіи, продолжались попрежнему.

Зинаида Петровна часто съ состраданіемъ смотрѣла на ея изящную и хрупкую, какъ японскія бездѣлушки, фигурку, вглядывалась въ темные бархатные глаза, и ей становилось грустно и немного жутко.

Представлялась почему-то лѣсная чаща, а тамъ раненое на смерть животное. Безучастно слушаетъ оно говоръ родимаго лѣса, съ тоскливымъ равнодушіемъ слѣдитъ за плывущими по небу облаками и ждетъ смерти, которая должна придти скоро-скоро.

На ряду съ талантомъ набивать свой карманъ на счетъ простодушныхъ киргизъ, и умѣніемъ изгонять шайтана, у стараго муллы былъ еще талантъ, мало гармонировавшій съ его хитрымъ, прозительнымъ взглядомъ. Онъ былъ отличный сказочникъ. Рассказывая свои сказки, старый мулла какъ-то весь измѣнялся. Черты его лица становились мягче, благороднѣй, маленькіе блестящіе, какъ бусины, глаза переставали бѣгать. Казалось, это былъ не хитрый торговецъ, не льстивый переводчикъ и укротитель бѣсовъ, а просто изжившій свой вѣкъ старикъ, у котораго ничего не осталось, кромѣ этихъ длинныхъ таинственныхъ рассказовъ.

Зинаида Петровна часто пробовала догадаться, о чемъ рассказываетъ старый мулла довѣрчивымъ дѣтямъ пустыни: о тѣхъ ли блаженныхъ временахъ, когда дальніе предки ихъ, свободные и хищные, какъ степные орлы, рыскали по степи на своихъ горячихъ скакунахъ, въ погонѣ за добычей, о могучихъ ли султанахъ, свлонявшихъ предъ собою все, что могло клониться, или, быть можетъ, о темной жизни полусвѣдлыхъ киргизъ, дѣлающихъ для себя иллюзіи свободы тѣмъ, что отъѣзжаютъ на нѣсколько верстъ отъ своего настоящаго жилья.

Кто знаетъ? Мудрено понять незнакомую рѣчь: шумнымъ словеснымъ потокомъ проходитъ она мимо слуха, не задѣвая въ сердцѣ ни одного образа...

Киргизскій костеръ трещитъ и вспыхиваетъ по временамъ бѣлымъ пламенемъ.

Льется ровная рѣчь рассказчика. Лица киргизъ-мужчинъ задум-

чиво сосредоточенны, женскія разсмотрѣть труднѣе: изъ уваженія къ слабостямъ почтеннаго муллы онѣ нагнули на голову легкое, какъ сквозное облачко, покрывало, сквозь которое всетаки темнѣютъ огромные глаза Мануваръ и лукаво поблескиваютъ веселые глазенки ея двоюродной сестры, хорошенькаго подростка Фатимы.

Розовый кругъ дрожить на черномъ бархатѣ степи. Киргизскія кибитки потеряли свой обычный прозаическій видъ и кажутся полными какой-то неуловимо-таинственной прелести.

Зинаида Петровна оглядывается на свою кибитку; она стоитъ въ сторонѣ, и послѣдній отблескъ костра дрожить какъ разъ у ея подножья.

Выдѣляясь на фонѣ темнаго неба пятномъ еще болѣе темнымъ, чуждая общему построению, она будто шепчетъ сурово и внятно: «здѣсь мѣсто смерти».

Было часовъ около десяти, когда Зинаида Петровна вернулась въ кибитку и, осторожно раздѣвшись, легла въ постель.

Въ кибиткѣ было очень душно, а подъ бѣлымъ пологомъ, гдѣ Николай Ивановичъ спасался отъ комаровъ, было, вѣроятно, еще душнѣе. Закинувъ руки за голову и широко открывъ глаза, Зинаида Петровна упрямо смотрѣла въ непроглядную темноту кибитки, и воспоминанія прожитыхъ дней то неумолимо ясныя, то расплывшіяся, въ какомъ-то неопредѣленномъ туманѣ, медленно проходили предъ нею.

Сначала вспомнилось дѣтство, скучное и однообразное, такое, какимъ бываетъ оно у милліона дѣвочекъ мѣщанской среды, гдѣ ребенка лишаютъ свѣжаго воздуха на томъ основаніи, что она не уличный мальчишка, и чуть не съ четырехъ лѣтъ сажаютъ за безконечное, никому и ни къ чему ненужное вязанье и плетенье кружевъ. Затѣмъ мелькнули болѣе разнообразныя и осмысленныя годы ученья, затѣмъ — замужество и первая любовь, не ослабленная годами нужды и страданій, и, наконецъ, ужасная болѣзнь мужа, наложившая на всѣ надежды свое неумолимое veto. Потому всѣ эти воспоминанія начали тускнѣть въ усталомъ мозгу, неуклюже громоздясь одно на другое. Вставали какія-то фигуры, то близко знакомыя, то полустертыя временемъ, сливаясь въ нѣчто цѣлое; мелькали обрывки когда-то слышанныхъ разговоровъ, тѣло охватывала истома и, засыпая, Зинаида Петровна слышала, что въ сосѣдней кибиткѣ Магомета мулла началъ обычное свое плеваніе...

Зинаида Петровна не могла бы опредѣлить, сколько времени продолжалось это забытье, когда звукъ глухого подавленнаго рыданія заставилъ ее проснуться.

«Это «онъ» плачетъ», подумала она, и почувствовала, что отъ этой мысли у ней сразу похолодѣли ноги и сердце упало куда-то внизъ, оставивъ въ груди неприятное, томительное ощущеніе.

Въ головѣ, какъ стая вспугнутыхъ птицъ, мелькали различныя мысли, и съ поразительной быстротой она стала подыскивать слова, которыя могла бы сказать въ утѣшеніе умирающему человѣку, несомнѣнно сознающему свое положеніе.

Но такихъ словъ не находилось въ ея головѣ, да врядъ ли и существовали они на человѣческомъ языкѣ...

«Богъ, религія, райское блаженство»—вспомнились ей громкія безсодержательныя слова и, не принося облегченія, уходили въ ту звенящую пустоту, изъ которой они и пришли...

Наскоро надѣвъ юбку и накинувъ на плечи платокъ, Зинаида Петровна неслышно подошла къ пологу, мерцавшему въ темнотѣ, какъ саванъ мертвеца и, затаивъ дыханіе, стала прислушиваться...

Николай Ивановичъ спалъ. Дышалъ онъ медленно, съ трудомъ, и кусочекъ мокроты, застрявшій у него въ горлѣ, мѣшалъ правильному доступу воздуха. Между тѣмъ глухіе звуки, похожіе на рыданье, звучали гдѣ-то наружѣ.

«Не онъ!»,—облегченно вздохнувъ, рѣшила Зинаида Петровна и, осторожно приподнявъ край кошмы, выскользнула изъ кибитки.

Полная, огромная луна заливала всю степь зеленоватымъ мертвеннымъ свѣтомъ.

Ровная, какъ столъ, и безнадежная, какъ смерть, степь казалась въ эту минуту заросшимъ водорослями дномъ какого-то огромнаго океана, а киргизскія кибитки напоминали обточенные водой голыши.

Осторожно ступая босыми ногами по сухой и выжженной травѣ, Зинаида Петровна шла прямо туда, гдѣ невнятно раздавались потревожившіе ее звуки.

Въ тѣни, отбрасываемой кибиткой, мелькнуло что-то бѣлое и маленькое.

— Это ты, Мануваръ? — спросила Зинаида Петровна, сразу узнавъ ея хрупкую фигурку и длинныя черныя косы.

— Ну, о чемъ ты бѣдная, о чемъ,—садясь на землю рядомъ съ вѣтушкой, спрашивала Зинаида Петровна, хотя и знала, что та ея пойметъ.

Мануваръ сидѣла съезжившись и, раскачиваясь взадъ и впередъ тѣмъ корпусомъ, глухо стонала, какъ стонетъ отъ нестерпимой ли раненое животное. Что выгнало изъ кибитки и заставило эту вѣтушку такъ горько рыдать? Затаенное ли дѣвичье горе, сознание

ли того, что она тоже не жалеет на бѣломъ свѣтѣ или, быть можетъ, нестерпимая физическая боль,—кто знаетъ? Мудрено разгадать чужую душу и проникнуться чужимъ горемъ...

Зинаида Петровна тихо гладила темную головку Мануварь, а на глаза ей просились слезы о своей бѣдѣ, о своихъ страданіяхъ.

Свѣтлыя капли росы дрожали на высокихъ высохшихъ стебляхъ травы, и казалось, эти слабые стебельки тоже плачутъ о томъ, что у нихъ нѣтъ больше силы для жизни.

Далеко, въ тростникѣ лимана, жалобно, какъ покинутый ребенокъ, кричала какая-то хищная птица, и ея крикъ злобѣщій и звонкій одинъ дрожалъ надъ блѣдной, совсѣмъ помертвѣвшей степью...

— Ну что, мулла, — вылѣчилъ Мануварь? — какъ-то при встрѣчѣ спросила муллу Зинаида Петровна, намекая на отчаянное бормотанье прошедшихъ ночей.

Муллу посмотрѣлъ сначала на нее, потомъ на землю, потомъ опять на нее.

— Мануварь теперь мужъ вылѣчить, барыня, возьметъ внуть въ руки, всю болѣзнь какъ рукой сниметъ, — наконецъ отвѣтилъ онъ и засмѣялся своимъ неприятнымъ смѣхомъ, похожимъ на торжествующій влеть степного коршуна, пойманнаго добычу.

— Развѣ Мануварь всетаки выходитъ замужь? — спросила недоумѣвая Зинаида Петровна.

— Черезъ недѣлю свадьба, приходи пожалуйста, кумысь будетъ, баранъ будетъ, — торжественно перечислялъ мулла. И вдругъ, прервавъ это перечисленіе и засмѣявшись своимъ неприятнымъ смѣхомъ, неожиданно спросилъ:

— А знаешь, барыня, какой шайтанъ на свѣтѣ самый сильный?

— Не знаю, мулла, — расскажи.

— Коль не скучно, то пожалуй, а ты слушай, да мотай на уши, — онъ засмѣялся еще разъ и началъ:

«Когда на землѣ зло совсѣмъ одержало побѣду надъ добромъ и стоны людей дошли до самаго неба, Аллахъ сказалъ своему любимому ангелу:

«Я далъ тебѣ силы столько же, сколько имѣю самъ, иди теперь на землю и научи людей любить другъ друга, отдѣляй каждому по маленькой частичкѣ нашего дара, и пусть для тебя будутъ всѣ равны.

«И ангелъ пошелъ на землю, ходилъ по ней и раздавалъ частички божественнаго дара всѣмъ людямъ, и тамъ, гдѣ онъ проходилъ, ставало свѣтлое царство, вражда и ненависть гасли, какъ ночь предъ

разсвѣтомъ, люди каялись въ грѣхахъ и цѣловали края одежды анге-ла, и чѣмъ дальше онъ шелъ, тѣмъ ярче свѣтило солнце, краше цвѣла земля.

«Когда ангелъ обошелъ половину земли и въ сердца половины лю-дей вложилъ зернышко божественной любви, ему случилось прохо-дить мимо рѣчки. Тамъ на мосткахъ, безъ покрывала на лицѣ, бѣд-ная дѣвушка-поденщица полоскала бѣлье.

«Она была стройна, какъ пальма, и красива, какъ майскій ве-черъ; ея глаза блистали ярче, чѣмъ звѣзды.

«Ангелъ остановился въ изумленіи, а потомъ, упавъ къ ея но-гамъ, отдалъ ей всю ту любовь, которая осталась у него для другой половины человѣческаго рода.

«Пришедшіе на рѣчку люди застали ихъ въ объятіяхъ другъ друга, связали ихъ веревками и повели къ хану той страны, чтобы онъ на-казалъ ихъ за ихъ открытую любовь.

«Ханъ велѣлъ побить ихъ камнями.

«Когда изуродованныя тѣла любовниковъ бросили со стѣнъ го-рода, освобожденные души ихъ полетѣли къ престолу Аллаха и тамъ рассказали все, что съ ними случилось.

«Аллахъ разсердился. Отъ его гнѣва по небу прокатился громъ, земля задрожала, какъ степная травка, колеблемая вѣтромъ, и отъ этого злые и добрые люди смѣшались.

«Смотри, что ты сдѣлалъ, — сказалъ Аллахъ павшему ангелу. — Теперь до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать земля, зло и добро будутъ бороться на ней безъ конца, много погибнетъ людей и много прольется невинной крови. Уходи же опять на землю и будь шайта-номъ, нашептывай людямъ свою грѣшную любовь, которой нѣтъ конца и нѣтъ мѣры.

«И сталося по волѣ Аллаха.

«И въ чью душу зайдетъ этотъ шайтанъ, того ужъ нельзя вылѣ-чить, потому что у Аллаха нѣтъ власти отнять у него ту силу, ко-торую онъ далъ ему, когда тотъ былъ еще ангеломъ».

Мулла кончилъ и ждалъ отвѣта.

Зинаида Петровна взглянула на него и удивилась выраженію его лица. Оно было насмѣшливо и зло; казалось, каждая черта его без-вольно спрашивала: поняла ли она намекъ на невыгнаннаго шайтана.

Подъ его взглядомъ она опустила голову и покраснѣла, какъ ойманная на мѣстѣ преступленія.

«Такъ вотъ какой шайтанъ сидитъ въ тебѣ, бѣдная, бѣдная Ма-варъ», — съ глубокой жалостью подумала она въ то мгновеніе, когда старый мулла спрашивалъ ее, какъ ни въ чемъ не бывало:

— Такъ придешь на свадьбу Мануваръ?

— Нѣтъ, мулла,—мужу очень плохо.

— Умреть,—безповоротно рѣшилъ мулла и сталъ прощаться.

Въ самомъ дѣлѣ, здоровье Николая Ивановича ухудшалось съ каждымъ днемъ. Онъ ничѣмъ не интересовался, мало ѣлъ, почти не вставалъ съ постели. Зинаида Петровна ломала голову надъ тѣмъ, что ей дѣлать. Писать роднымъ не было смысла, посылать киргизъ за сто верстъ за докторомъ тоже бесполезно. И она махнула рукой: будь, что будетъ.

Наконецъ, наступила развязка.

Проснувшись утромъ и взглянувъ на мужа, Зинаида Петровна сразу рѣшила, что сегодняшній день «такъ не пройдетъ»; лицо Николая Ивановича приняло землистый оттѣнокъ, ногти на рукахъ были совершенно синіе, и когда она помогала ему сѣсть на постели, то почувствовала на своей щекѣ острый холодокъ его дыханія.

Этотъ несчастный день былъ какъ разъ и днемъ свадьбы Мануваръ со старымъ и важнымъ киргизомъ.

Несмотря на то, что Зинаида Петровна отказалась идти на свадьбу, киргизки всетаки затащили ее къ себѣ въ кибитку и заставили осмотрѣть приданое невѣсты.

Предъ нею выложили зеленую шубку на подкрашенномъ зайцѣ, мѣхъ котораго старый мулла выдалъ, вѣроятно, за лисій, шелковые и шерстяныя платья, полотенца, наволочки, силосъ расшитыя зелеными птицами, и многое другое.

Прижавшись за грудой самодѣльныхъ ковровъ, блѣдная, какъ смерть, сидѣла Мануваръ, на которую никто не обращалъ никакого вниманія.

Зинаида Петровна пошупала заячью шубку, погладила рукой зеленыхъ птицъ и, къ удовольствію киргизокъ, сказавъ нѣсколько разъ «чѣгъ якши» (очень хорошо), послѣшила уйти.

Николай Ивановичъ чувствовалъ себя немного бодрѣе обыкновеннаго, онъ сѣлъ кусочекъ жареной баранины, выпилъ кумыса и настолько оживился, что даже спросилъ жену, что она видѣла у киргизъ. И нѣчто вродѣ робкой надежды на выздоровленіе начало закрадываться ей въ душу.

Вечеромъ съ Николаемъ Ивановичемъ сдѣлался припадокъ удушья. Онъ сбрасывалъ одѣяло и рвалъ на себѣ рубашку худыми бессильными руками.

Послѣ нѣсколькихъ секундъ колебанья Зинаида Петровна вышла наружу и съ силой откинула тяжелую кошму на самый верхъ кибитки. Темная, холодная ночь сразу вошла въ ихъ печальное жи

лице, и слабый огонекъ керосиновой лампочки замигалъ, будто испугавшись борьбы съ надвигавшейся тьмою.

Когда она вернулась къ больному, онъ дышалъ нѣсколько ровнѣе, крупный потъ блисталъ у него на лбу, и руки, протянутыя вдоль тѣла, конвульсивно царапали простыню.

По закрытымъ вѣкамъ его пробѣгалъ нервный трепеть, и густыя рѣсницы, отгнѣявшія его черные, когда-то красивые глаза, слабо трепетали.

Зинаида Петровна сѣла у его ногъ и стала пристально всматриваться въ его лицо, стараясь уловить въ немъ послѣдній проблескъ сознанія, послѣдній лучъ улетающей жизни.

Въ эти минуты она не могла даже плакать; въ душѣ ея было какое-то мучительное чувство пустоты и безсилія.

Сколько прошло времени? можетъ быть — цѣлая вѣчность. Она начинала думать, что онъ такъ и умретъ, не сказавъ ни одного слова.

Но вдругъ онъ открылъ глаза, и то, что прочла она въ этихъ глазахъ, было ужаснѣй всего. Въ нихъ застыла и предсмертная тоска, и холодный ужасъ смерти, и какая-то робкая безнадежная мольба. Сдѣлавъ послѣднее усиліе, онъ сразу сѣлъ на постели и, схвативъ ея голову худыми длинными руками, съ силой притнулъ къ своимъ колѣнямъ.

— Зина, Зина, Зина! — услышала она надъ собою страшный, нечеловѣческій крикъ.

Ночь подхватила этотъ крикъ и отозвалась гдѣ-то также пронзительно громко: «Зина, Зина, Зина...»

А изъ киргизскихъ кибитокъ несло веселое пѣніе и громкіе возгласы подгулявшихъ киргизъ.

В. Андріевскій.

Изъ книги „Голубыя чары“.

Я вышелъ въ поле... Я вышелъ въ поле...
Въ травѣ пестрѣли цвѣтовъ головки...
Въ вѣнецъ одѣлась земля-невѣста,
Дышала нѣгой въ объятяхъ солнца...

Смѣялись дали, за грань манили...
Дышалъ упруго лѣнивый вѣтеръ...
Одинъ я въ полѣ... Одинъ я въ полѣ...
Подъ небомъ синимъ, подъ лаской солнца...

Я вышелъ въ поле... Я вышелъ въ поле...
Съ печалью въ сердцѣ и одинокій.
Бъ землѣ припалъ я; какъ грудь любимой,
Ее ласкалъ я и жегъ слезами...

Я ей повѣдалъ тоску и горе...
Такъ тихо было и затаенно...
Внимая чутко, цвѣты смотрѣли,
Какъ дѣти смотреть, узнавши тайну...

.

... Биваютъ тихо цвѣтовъ головки.
Лицо ласкаетъ лѣнивый вѣтеръ.
Звенять чуть слышно въ тиши аккорды
И тають, тають, какъ скорбь на сердцѣ...

Земля и небо... Цвѣты и поле..
Теперь я больше не одинокій...
Мои печали порвали дали...
Бъ землѣ поникли земныя боли...

Левъ Круповецкій.

ШУТКИ ЖИЗНИ.

Разсказъ.

Граціи Деледа.

Съ итальянскаго.

Гульо и его жена шли по Via Nazionale. Было начало ноября, но воздухъ былъ сырой и холодный, и небо покрыто свинцовыми тучами. Въ этотъ часъ—между 8 и 9 вечера—Via Nazionale почти всегда пуста, освѣщенная лиловымъ свѣтомъ электрическихъ фонарей; многіе магазины уже закрыты, и отъ темноты двери и окна ихъ кажутся еще шире и больше; трамваи при фантастическомъ мельваніи искръ исчезали точно въ какой-то пропасти. Вдали, у площади Terminus, посреди тумана, блестялъ фонтанъ и казался большой лиловой звѣздой.

Гульо шли скоро, чтобъ согрѣться; жена взяла подъ руку мужа, и онъ тихонько дотрогивался до ея нѣжной ручки. Они были хорошо одѣты, но еще въ лѣтнихъ костюмахъ. Онъ имѣлъ видъ артиста, съ длинными волосами и въ легкой шапочкѣ; у молодой женщины, которая была немного выше его ростомъ, тоже соломенная шляпа съ ястребинымъ перомъ, изъ-подъ которой выглядывало смуглое личико, окаймленное черными густыми кудрями. Молодой человекъ разсказывалъ спутницѣ свой сонъ:

— Я видѣлъ во снѣ, что издатель отвѣтилъ: принимаю «Весну» и даю тысячу лиръ, но онъ хочетъ приобрести ее въ полную собственность и выпустить книгу подъ твоимъ дѣвичьимъ именемъ, потому что иначе, говорилъ онъ, романъ будетъ принятъ за переводъ.

— Дѣйствительно ли то былъ сонъ, или ты его вообразилъ себѣ?—спросила Карина разсѣяннымъ тономъ.

— Если-бъ я и вообразилъ себѣ! Ты все равно не вѣришь въ сны!

— У тебя всегда такіе странные сны! Да и у меня тоже! У меня ихъ было такъ много, что я перестаю имъ вѣрить! Но все равно, се-

годня я не въ духѣ, и ты ко мнѣ не приставай съ глупостями! Отъ голоду все равно не умремъ.

Они помолчали немного, потомъ она сказала:

— Что меня раздражаетъ, такъ это холодъ! Когда у меня холодныя ноги, мозгъ мой отказывается мыслить. Меня бѣситъ также, когда я подумаю о томъ, кто ты.

— Кто же я?—спросилъ смѣясь молодой человѣкъ.

— Ты несчастный, жалкій «помощникъ помощника».

Онъ былъ маленькимъ чиновникомъ ломбарда, а для Барины, врага всякихъ учреждений, ломбардъ въ особенности казался чѣмъ-то унизительнымъ и позорнымъ.

— Хорошо. Покорно васъ благодарю. А кто же ты такая, разъ ты вышла за меня замужъ?

— И я такая же, какъ ты...—пошутила она.

— Но ты вовсе не должна была выходить за меня замужъ. Ты не нуждалась. Твой отецъ...

— Довольно!—прервала она его мрачно.

Они опять замолчали. У одного магазина остановились двѣ дамы, довольно элегантно одѣтыя; у одной изъ нихъ былъ большой шлейфъ, которымъ она, казалось, очень гордилась.

— Чтобы успокоить мои нервы,—сказала тихо Барина,— я должна наступить на этотъ шлейфъ.

И она, дѣйствительно, наступила на него и очень гордо прошла мимо къ великому ужасу мужа.

«Элегантная» дама произнесла нѣсколько далеко не элегантныхъ фразъ по адресу Гульо, но они быстро затерялись въ толпѣ, и Барина хохотала, какъ дѣвчонка.

— Зачѣмъ она распускаетъ свой хвостъ? Сама виновата.

— Ты злая. А если бы *тебѣ* наступили на платье?

— Я не идиотка, и потому у меня никогда не бываетъ такого хвоста. Я зла, потому что холодно. Почему холодно? Почему мы бѣдны? Почему я не могу найти издателя, тогда какъ другія писательницы, тупыя, глупыя, кретинки, могли найти ихъ?

— Твоя вина въ томъ, что ты считаешь себя выше всѣхъ,—отвѣтилъ Гульо отеческимъ тономъ.—Есть очень много женщинъ, которыя достигли кое-чего или потому, что были терпѣливѣе тебя, или потому, что не воображали себя Богъ знаетъ какими талантами, пока публика сама не признала ихъ таковыми. А ты думаешь, что ты гений, феноменъ какой-то, и считаешь себя жертвой потому только, что пять или шесть издателей отказались напечатать твое произ-

ведение. Видишь ли, мнѣ кажется, если бы ты была скромнѣе, ты была бы счастливѣе.

Вмѣсто отвѣта Карина засмѣялась, но мужъ не обидѣлся на это: онъ и самъ сознавалъ, что всѣ доводы его не имѣли основанія и что онъ говоритъ все это, чтобы утѣшить ее.

— А другая твоя вина въ томъ, — продолжалъ онъ, — что ты непремѣнно хочешь отдать твою рукопись извѣстному издателю, тогда какъ другой, болѣе скромный, можетъ быть...

Карина фыркнула.

— Я не могу больше, сдѣлай милость замолчи или я тебѣ выцарапаю глаза...

— Спасибо. Ты очень мила.

Они молча шли дальше и остановились только недалеко отъ театра, у книжнаго магазина, чтобы взглянуть на новыя книги.

Теперь улица уже не была такъ пуста, всѣ спѣшили въ театръ, и экипажи то и дѣло подкатывали къ подъѣзду театра, гдѣ огненными буквами красовалось названіе той комедіи, которая давалась въ тотъ вечеръ. Небольшая каретка остановилась у подъѣзда, когда Гульо поровнялись со зданіемъ, и изъ экипажа вышли двѣ дамы, — одна толстая, намалеванная, въ большой шляпѣ съ перьями, другая маленькая блондинка съ непокрытой головой, одѣтая гораздо проще. Старшая имѣла веселый видъ, а молодая грустными глазами взглянула на книги въ витринѣ магазина и машинально послѣдовала за своей спутницей. Въ ея большихъ зеленоватыхъ глазахъ, на мертвенно-блѣдномъ лицѣ, было столько печали, что Карина невольно подумала:

«Она несчастнѣе насъ!»

Но это ее не утѣшило.

Они прошли дальше. Телѣжка, нагруженная желѣзомъ, которую везъ осель со страшнымъ грохотомъ, потому что желѣзо волочилось по землѣ, чуть было не наѣхала на нихъ, когда они проходили площадь.

— Недоставало того, чтобы быть раздавленнымъ осломъ! Ну, пусть бы еще автомобиль наѣхалъ, а то осель!

— Не все ли равно? Не такъ опасно зато, да кромѣ того это могло бы послужить намъ рекламой!

— Никогда! Никогда! — вскричала Карина. — Помнишь, тѣ двое, какъ ихъ тамъ зовутъ? Хотѣли лишить себя жизни, но страдали оба... красивою болѣзнью, и потому только не исполнили своего намѣренія, что боялись, что газеты напечатаютъ о томъ, какая у нихъ болѣзнь?

— Что же изъ этого слѣдуетъ?

— Изъ этого слѣдуетъ, что я не желаю, чтобы мое имя фигурировало рядомъ съ осломъ. Однако скажи же мнѣ, наконецъ, куда мы идемъ?

— Куда хочешь. Зайдемъ въ кафе? Я тебя угощу чѣмъ-нибудь, хочешь?—спросилъ онъ любезнымъ тономъ.

— Благодарю. Мнѣ ничего не хочется,—отвѣтила она тѣмъ же тономъ.

Каждый вечеръ повторялась эта комедія: онъ предлагалъ Каринѣ зайти въ кафе, она отказывалась. Оба они знали, что позволить себѣ подобную роскошь они не могутъ, и тѣмъ не менѣе повторяли эту шутку. Проходя по площади Венеціи, они увидали коллегу Гульо, стоявшаго въ восхищеніи передъ окномъ колбасной.

— Кальци!—позвалъ его Гульо.

Тотъ обернулся. Это былъ человѣкъ неопредѣленныхъ лѣтъ, закутанный въ голубой плащъ, который носили лѣтъ 15 тому назадъ. На рыжеватыхъ вьющихся волосахъ его была надѣта набекрень какая-то сѣренькая шапченка.

— Какъ поживаешь?—спросилъ онъ Гульо.

Онъ никогда не смотрѣлъ въ глаза Каринѣ и никогда не заговаривалъ съ нею первый.

— А ты что подѣлываешь? Что новенькаго открылъ?

— Я открылъ очень вкусную колбасу,—серьезнымъ тономъ отвѣтилъ Кальци.

— Неужели?—спросилъ Гульо, притворяясь удивленнымъ и заинтересованнымъ, и началъ тоже смотрѣть въ окно магазина. Но Карина дернула его за платье.

— Пойдемъ,—сказала она,—что тутъ смотрѣть? Пойдите съ нами, синьоръ Кальци.

Кальци пошелъ было рядомъ съ Гульо, но тотъ ему сказалъ:

— Иди же съ другой стороны! Ты не знаешь приличій и никогда не сдѣлаешь карьеры.

Кальци перешелъ на сторону Карины. Теперь на Корсо опять было пусто, туманъ все увеличивался, небо было черно, и фонари мигали своими желтыми огнями.

— Какъ идутъ ваши дѣла со сватовствомъ?—спросила Карина Кальци.

Кальци, со своимъ моноклемъ въ глазу, любуясь каждой витриной, весело расхохотался, очень довольный этимъ вопросомъ.

— Превосходно!—отвѣтилъ онъ,—такой большой выборъ, что

затрудняешься... А отчего вы не надѣли того пальто, которое у васъ было въ тотъ вечеръ? Развѣ вамъ не холодно?

— А я думала, что вы и не замѣчаете, что на мнѣ надѣто. Отчего вы спрашиваете?

— Да такъ. Надобно терпѣніе и хладнокровіе. Я тоже надѣюсь, наконецъ, вытянуть хорошую карту.

— А та вдова?

— Да она оказалась вовсе не вдовой...

— Какого же чорта, — проговорилъ Гульо.

— Не все ли равно, синьоръ Кальци, — сказала Карина, — если у нея есть деньги, то терпѣніе и хладнокровіе...

— Дѣло не только въ деньгахъ, дорогая синьора. Я чувствую, что вы понимаете меня. Послушайте только. — Онъ началъ протирать свой монокль и рассказывать. — Вчера я получилъ письмо, и замѣтите, двадцатое письмо, — я тебѣ покажу его потомъ, Гульо. «Дорогой синьоръ, я прочла ваше объявленіе въ «Трибуна» и думаю, что мои условія подойдутъ: 40 лѣтъ, пріятнаго характера, 30 тысячъ и т. д. Для болѣе подробныхъ переговоровъ приходите завтра въ 10 часовъ въ садикъ Карла Альберта; буду одѣта такъ-то и такъ-то, а вы воткните себѣ маргаритку въ петлицу». Довольно дороги теперь маргаритки.

— Могъ бы воткнуть искусственную.

— Ну, хорошо. Пошелъ. Встрѣтились. Оказалось нѣчто вродѣ носорога, но довольно пріятная въ общемъ; положимъ, не сорогъ лѣтъ, а цѣлыхъ 50. Показала свои бумаги. Все въ порядкѣ. Упомянулъ о долгахъ, обѣщала все уплатить. Такимъ образомъ разговаривая, мы дошли до Витон'а. Я останавливаюсь по привычкѣ и приглашаю ее выпить стаканчикъ кюрасао. Знаешь, кстати, что я открылъ? Настоящій ликеръ св. братьевъ Чертаза.

— Неужели? Неужели? Гдѣ же? — воскликнулъ Гульо.

— Рассказывайте дальше, синьоръ Кальци, — просила Карина.

Но его больше интересовалъ ликеръ, и онъ предложилъ повернуть назадъ, чтобы показать Гульо, гдѣ онъ нашелъ этотъ ликеръ.

— Идемъ! Идемъ! — нараспѣвъ протянулъ Гульо.

— А я не пойду, — сказала Карина.

— Но, синьора Катерина, я тогда больше не стану рассказывать.

Всѣ повернули назадъ, тѣмъ болѣе, что туманъ увеличился и стало сыро и холодно. Зашли въ погребокъ, и Кальци продолжалъ свой рассказъ.

— Итакъ, носорогъ былъ согласенъ. Выпили одинъ стаканчикъ, другой, третій, причемъ она непременно хотѣла платить тоже. По-

томъ она сказала: «Пойдемъ куда-нибудь ужинать и заплатимъ пополамъ». Хорошо. Пошли.

— А потомъ она заставила тебя заплатить за все?

— Нѣтъ, заплатили пополамъ. Но она такъ наѣлась и напилась, что заболѣла, и я былъ вынужденъ уложить ее въ постель и уйти. «Да благословить тебя Богъ и Его святая Матерь, — сказала она. — Дайте-ка намъ три стаканчика ликера, — прибавилъ онъ вдругъ.

Человѣкъ стоялъ за прилавкомъ, и около него прыгали двѣ маленькія собаченки. Барина нагнулась, чтобъ приласкать ихъ, и спросила.

— Чѣмъ вы ихъ кормите?

— Онѣ съѣдаютъ бисквитовъ на 30 центезимовъ и немного молока.

Барина отошла отъ собачекъ съ недовольнымъ видомъ.

— Тебѣ нравятся собачки? На будущей годъ, когда мы будемъ богаты, я куплю тебѣ такую, — сказалъ Гульо.

— Хорошо, хорошо, — перебилъ нетерпѣливо Бальци, — пейте же ликеръ! Какой ароматъ, какой дивный тонкій вкусъ! Синьора Катерина, не правда ли, можно смаковать этотъ напитокъ?

— Похоже на водку, — сказала Барина.

— На водку! — обиженно воскликнулъ Бальци.

Они вышли изъ ресторана вмѣстѣ, но Бальци повернулъ куда-то и лишь черезъ нѣсколько времени догналъ ихъ и проводилъ до дома. Гульо жилъ на улицѣ «20-го сентября» въ 5-мъ этажѣ высокаго красиваго дома около палаццо Барберини. Маленькая горбатая дѣвочка, сидя у подъѣзда дома, продавала газеты и, окутанная туманомъ въ эту сѣрую холодную ночь, казалась сказочнымъ гномомъ. Лицо ея съ большими выразительными глазами имѣло очень печальный видъ. Барина замѣтила это, и сердце ея сильно сжалось; болтовня Бальци раздражала ее, и ей захотѣлось сказать ему какую-нибудь дерзость.

— Синьоръ Теодоръ, — сказала она, — отчего вы не лишите себя жизни? Кому нужна ваша жизнь?

Онъ посмотрѣлъ на нее оторопѣлый, затѣмъ перевелъ свой взглядъ на Гульо и улыбаясь, показывая на свой лобъ пальцемъ, покачалъ головою. Войдя во дворъ, гдѣ билъ фонтанъ и въ нишѣ красовалась мраморная статуя, Бальци почувствовалъ какъ всегда какую-то робость и священный трепетъ. Онъ остановился, Гульо тоже, а Барина пошла спросить у консьержа, нѣтъ ли у него писемъ для нея.

— Какая роскошь! Говорять, и на лѣстницѣ есть статуи, — сказалъ Бальци.

— Если бы ты видѣлъ лѣстницу—мраморная, покрыта коврами и уставлена живыми растеніями! Я какъ-то заглянулъ туда, когда дверь была открыта.

— Кто же живетъ здѣсь?

— Одна богатая нѣмка съ компаньонкой. Вотъ встаетъ тебѣ бы подходящая невѣста.

— Скажите!—проговорилъ Кальци, внутренно польщенный и невольно подымая голову.

Гульо хотѣлъ было продолжать шутку, но слова замерли на его губахъ—возвращалась Карина со сверткомъ въ рукахъ.

— Вотъ твой сонъ!—сказала она съ горечью, точно мужъ былъ виноватъ въ томъ, что ей опять вернули рукопись.

Они пошли по другой лѣстницѣ, непокрытой коврами, Карина впереди, потомъ Гульо и сзади всѣхъ Кальци; хотя его никто не приглашалъ, но ему хотѣлось знать, въ чемъ дѣло.

— Даже не читали! Даже не читали!—воскликнула Карина, быстро поднимаясь по лѣстницѣ, и голосъ ея звучалъ какъ-то глухо.

— Что не прочли?—спросилъ Кальци, но, не получая отвѣта, обратился къ Гульо:—Неужели ты заставишь меня взобраться на верхушку, для того только, чтобы пожелать вамъ покойной ночи?

— А ты развѣ не войдешь посидѣть?

— Зачѣмъ?

— Я дамъ тебѣ стаканчикъ вина.

— Какого?

— Тосканскаго.

— А оно хорошее? Навѣрно, дрянъ.

Гульо хотѣлъ было обидѣться, но, въ противоположность Каринѣ, онъ умѣлъ сдерживаться и повторилъ свое приглашеніе еще разъ. Карина была уже наверху, а Гульо шелъ медленно, усталою походкою.

— Сколько ступеней? Три тысячи?—спросилъ Кальци.

Гульо не отвѣчалъ.

Тогда Кальци взялъ его подъ руку:

— Терпѣніе и хладнокровіе!—сказалъ онъ и, понижая голосъ, просилъ:

— Какія дѣла у твоей жены?

— Эта рукопись—чудный романъ, который она написала. Она непремѣнно хочетъ имѣть дѣло съ извѣстными издателями, и они ей постоянно отказываютъ.

— Скажи, пожалуйста! Твоя жена—писательница! Это новость!

— Но она еще ничего никогда не печатала и хочет сразу завоевать себѣ имя.

— Скажи, пожалуйста!—повторялъ Кальци.—Длинный онъ?

— Нѣтъ, скорѣе короткій, это болѣе новелла, чѣмъ романъ, но очень оригинально написанная. Я рѣдко читалъ что-нибудь болѣе интересное.

— Я бы продалъ его. Помѣсти объявленіе въ *Tribuna*. Всегда найдутся люди, имѣющіе деньги, а издателя найти труднѣе.

— Кальци!—въ ужасѣ воскликнулъ Гульо,—еслибъ она тебя услышала!

— Да, она изъ другого тѣста сдѣлана. Женщины никогда не рассуждаютъ.

Они вошли въ темную переднюю.

— Боже! что за воздухъ! Отчего вы не отворяете оконъ!—воскликнулъ Кальци.

— Что ты говоришь,—разсердился, наконецъ, Гульо,—это пахнутъ цвѣты, которыя Барина принесла сегодня утромъ.

— Цвѣты или не цвѣты, но вонь ужасная, и если ты не отворишь оконъ, я не войду.

Гульо долженъ былъ открыть окно въ столовой (она же и гостиная), а Барина, снимая шляпу въ своей комнатѣ, въ ярости хотѣла запустить своимъ сверткомъ въ Кальци: такъ онъ ей надоѣлъ.

— Ты уже въ постели, спишь?—спросилъ Гульо полчаса спустя, входя въ спальню.

Барина, закутанная по горло въ красное одѣяло, высунула изъ-подъ него свой пальчикъ въ знакъ того, что не спитъ.

— А ноги твои?

— Горятъ.

— Какой типъ этотъ Кальци!—проговорилъ Гульо, раздвѣаясь,—не хотѣлъ уходить, пока я ему не сказалъ, что за свертокъ у тебя въ рукѣ!

— Могъ бы и не говорить!—краснѣя отъ негодованія, сказала Барина.

— Успокойся, успокойся, онъ знаетъ такъ много людей и можетъ поговорить кое съ кѣмъ, онъ знакомъ съ журналистами, депутатами, знаетъ разныя типографіи; ты знаешь, вѣдь онъ что-то вродѣ комиссіонера.

— Мнѣ не нужны такіе люди.

— Тебѣ никто не нуженъ, а сама ты ничего сдѣлать не можешь!

Она не отвѣчала, потому что это была горькая истина. Гульо взялъ въ руки одинъ изъ своихъ сапогъ и началъ его машинально

разсматривать; сапоги—болѣе лѣтніе, чѣмъ зимніе—совсѣмъ разваливались. Онъ вдругъ разсердился на жену.

— Знаешь, иногда я не могу понять тебя. Что ты будешь дѣлать теперь? Пойми, что никто изъ извѣстныхъ издателей не напечатаетъ твоего романа. Если бы произведеніе твое было даже гениальнымъ, все равно не напечатаетъ. Отчего ты упрямисься? Отнеси его въ журналъ, пусть публика познакомится съ нимъ, напечатай объявленіе. На что ты надѣешься? Ты похожа на человѣка, у котораго большой капиталъ и онъ, желая его удвоить, не отдаетъ его за обыкновенные %. Посмотри на другихъ писательницъ, онѣ начали въ провинціальныхъ изданіяхъ, а потомъ дошли до толстыхъ журналовъ.

Карина смѣялась, и Гульо, ободренный этимъ смѣхомъ, продолжалъ, надѣвая ночную рубашку.

— Есть журналы, которые отлично платятъ за листъ, а потомъ выпускаютъ книгу отдѣльнымъ изданіемъ. Отчего ты...

— Это, вѣрно, твой достойный коллега тебѣ посовѣтовалъ?—опять вспыхивая, проговорила Карина.—Платятъ, платятъ! Вы только и можете думать о несчастныхъ деньгахъ! Да,—продолжала она съ горечью,—у меня ничего нѣтъ! Отецъ не даетъ мнѣ того, что общаю, потому что ему надо прокормить какаю-то ужасную женщину, а я ничего производительнаго дѣлать не могу. И потому вы хотите, чтобъ я свое искусство обратила въ ремесло! Вы хотите, чтобъ я помѣстила въ какой-нибудь журнальчикъ всю свою душу, чтобъ получить за нее деньги на хлѣбъ,—деньги, которыя мнѣ дадутъ разные гучера и приказчики, читатели журнальчика! Ты хочешь...

— Карина, не волнуйся! Я ничего не хочу! Карина моя!

Онъ хотѣлъ поцѣловать ее, но она оттолкнула его.

— Скорѣе продамъ я мой романъ какому-нибудь кретину, который его выпуститъ подъ своимъ именемъ. Я себя унижу, но не унижу своего произведенія.

Гульо вспомнилъ, что и Кальци говорилъ такъ же, но промолчалъ, не желая раздражать жены.

— Но тотъ, кто купить твой романъ, тоже можетъ напечатать его въ маленькомъ журнальчикѣ или приложеніи,—замѣтилъ онъ только, не желая упоминать имени Кальци: онъ чувствовалъ, что между воззрѣніями Карины и Кальци—цѣлая пропасть.

— Какой ты глупый! Кто покупаетъ книгу, тотъ ее самъ напечатаетъ, а не будетъ перепродавать ее.

— Ну, хорошо, не сердись! О, какія у тебя холодныя ножки, а ты сказала, что онѣ горятъ!

— Онъ горять, потому что имъ надо горѣть. Я въ правѣ вообразить себѣ это. Видишь, пока ты говорилъ со своимъ коллегой, я вообразила себѣ, что я... Но зачѣмъ я говорю тебѣ это? Нѣтъ, не скажу, ты не заслужилъ этого.

— Карина, — произнесъ молодой человѣкъ серьезнымъ тономъ, — и я былъ полонъ иллюзіи, думая, что я счастливъ, потому что работаю и иду рука объ руку съ моею женою; мы бѣдны деньгами, но богаты мечтами, любовью, силою воли, умомъ, у насъ есть все то, чего деньги дать не могутъ. А теперь мнѣ кажется, что эта иллюзія исчезаетъ, потому что я знаю одну особу, которая, когда чувствуетъ себя хорошо и не преслѣдуема мелкими непріятностями жизни, говоритъ разныя высокопарныя слова, считаетъ себя сильной, гордится тѣмъ, что она бѣдна и въ то же время гений, что она добра и великодушна, и вдругъ, при первомъ столкновеніи съ шероховатостью жизни, теряетъ терпѣніе, дѣлается зла какъ діаволъ, и...

— Я сплю, — сказала Карина, закрывая глаза, — преподобный отецъ можетъ повернуться къ стѣнкѣ и продолжать тамъ свою проповѣдь.

Гульо почувствовалъ, что голосъ ея сталъ мягче, и повернулся не для того, чтобы говорить со стѣною, а потушить огонь. И вскорѣ въ комнатѣ, слабо освѣщенной свѣтомъ, такъ какъ на окнахъ не было шторъ, раздался звукъ поцѣлуя.

Карина проснулась первая и, поднявъ голову, съ радостью увидела, что день былъ чудный и ясный. Небо было чисто, цѣлыя мѣриды птицъ щебетали въ вѣтвяхъ и деревьяхъ виллы Барберини, и Каринѣ казалось, что это тихо падаютъ на мраморъ капли воды въ фонтанѣ, а отдаленный стукъ экипажей казался льющимся потокомъ. Къ этимъ звукамъ еще присоединилась скрипка: это игралъ молодой иностранецъ, живущій рядомъ. Карина начала прислушиваться къ пѣнію птицъ: особенно звонко и весело пѣли жаворонки, имъ было холодно, и въ крикѣ ихъ слышался призывъ.

Карина вспомнила о вчерашнемъ сверткѣ, который она бросила на столъ, и сравнила свое произведеніе съ пѣніемъ птицъ: это былъ такой же веселый, свѣжій, полный счастья и сочности рассказъ, вполне соответствующій заглавію книги. Тотъ, кто прочтетъ его, долженъ ощутить то же чувство, какое испытываетъ человѣкъ, слушая пѣніе птицъ; такъ же, какъ птицы при наступленіи зимы страдаютъ отъ холода и голода, такъ же страдаетъ и тотъ, кто написалъ романъ. Карина вовсе не предавалась иллюзіямъ, хотя и говорила другое. Жалованья Гульо не хватало даже на самое необхо-

димое—въ Римѣ съ каждыиъ годомъ все становилось дороже. Для того, чтобъ не мѣнять квартиры и не покидать этихъ веселыхъ комнатъ, которыя она такъ любила и гдѣ было такъ много солнца, она сдала другія двѣ комнаты жильцамъ, но всего этого было мало, мало! Карина отпустила служанку и довольствовалась поденщицей, приходившей на нѣсколько часовъ,—и этого было мало. Со всеиъ этимъ она мирилась, но когда ей было холодно, она не могла преодолѣть своего нервнаго разстройства, и ее охватывала грусть при мысли о томъ, что будетъ съ существомъ, которое должно было появиться на свѣтъ, если она не достигнетъ того, къ чему стремится. И мечты ея, которыя прежде казались ей осуществимыми, какъ бы все больше и больше заволакивались туманомъ; ея нервы, какъ струны инструмента, натягивались все больше и больше, и на душѣ ея было такъ же туманно и мрачно, какъ на осеннемъ небосклонѣ, но вдругъ блеснувшій лучъ солнца, крикъ жаворонка, вибрація яснаго утра вновь настраивали инструментъ, и облака разсѣивались.

Когда проснулся ея мужъ, она произнесла слѣдующую философскую тираду:

— Я слушала пѣніе птицъ и подумала: у нихъ нѣтъ ни хлѣба, ни одежды, и всетаки онѣ веселы, и не для себя только, а добросовѣстно желаютъ развеселить тѣхъ, кто ихъ слушаетъ. Почему мы не можемъ походить на птицъ и быть такими же?

— Почему?—отвѣтилъ молодой человѣкъ,—потому что мы не *можемъ* просто взять то, что находимъ, какъ это дѣлаютъ птицы.

— Потому что мы не *умѣемъ* взять,—сказала Карина.

— Я же тебѣ говорилъ это самое вчера вечеромъ.

— Не помню, чтобъ ты это мнѣ говорилъ вчера вечеромъ. Говорю тебѣ теперь, что сумѣю или нѣтъ, но я возьму то, что найду.

— Что же ты сдѣлаешь?

— Пойду къ редактору журнала и предложу ему «Весну». Если же онъ ея не возьметъ, продамъ первому, кто ее купитъ.

Увидавъ, что она говоритъ серьезно, Гульо вскричалъ:

— А я не допущу этого, не позволю! Понимаешь? Никогда не позволю!

— Увидимъ!—пропѣла она.

Потомъ встала, умылась, одѣлась и пошла отворять дверь поденщицѣ.

— Здравствуйте, синьора, какой теплый день сегодня!—воскликнула входя маленькая старушка, на которой была надѣта мѣховая пелеринка, придававшая ей видъ дамы.

— Вы пришли поздно, — сказала Карина — затопите плитку.

— Это вы встали рано, синьора, — сказала женщина, сбрасывая пелеринку, — и даже уже причесали свои чудные волосы! Если бы жена домовладѣльца видѣла, какъ вы всегда хорошо причесаны!

Карина пошла въ спальню расшевелить мужа, который еще валялся въ постели.

— Вставай, вставай, я хочу отворить окно!

— Что съ тобою сегодня, птичка? — спросилъ онъ ее, — что ты видѣла сегодня во снѣ?

— Оставь меня, я и такъ разстроена. Дай мнѣ отворить окно, а потомъ я уйду. Оставь меня, — повторяла она, стараясь высвободиться изъ его объятій.

— Въ тебя опять сегодня вселился бѣсъ, — сказалъ онъ, — куда ты хочешь идти такую рань?

Пока онъ одѣвался, Карина отворила окно, высунулась и, не смотря на то, что привыкла къ обычной панорамѣ, разостлавшейся передъ нею, не могла удержаться отъ восклицанія восторга. Ночью шелъ дождь, и, весь освѣженный, Римъ, слегка окрашенный розоватымъ свѣтомъ зари, казалось, постепенно выступалъ на фонѣ этого чуднаго осенняго утра, какъ заколдованный городъ, съ котораго, волшебникъ сорвалъ пелены. Въ воздухѣ пахло левкоями; вдали на горизонтѣ — полоса зелени изумруднаго цвѣта, облака розовыя, прои-занные желтыми полосами, — все это имѣло какой-то особенный волшебный видъ. Подъ окномъ Карины въ садахъ виллы Барберини осень сияла во всемъ своемъ осеннемъ блесгѣ. Деревья, покрытыя желтоватою, красною и коричневою листвою, еще съ блестящими на нихъ каплями только что прошедшаго дождя, кусты съ шапками огромныхъ цвѣтовъ, птицы, вьющіяся вокругъ бѣлыхъ мраморныхъ статуй, и ни малѣйшаго дуновения вѣтерка. Никакое присутствіе живого лица, ничто не нарушало тишины, — только изрѣдка шелестилъ, падая на мраморныя скамейки, желтый листъ, да тихо падали капли воды въ бассейнъ фонтана. Весь садъ казался какимъ-то таинственнымъ, заколдованнымъ мѣстомъ, перенесеннымъ случайно въ центръ города. Этотъ садъ былъ единственною радостью Карины, онъ ей казался ея собственностью, потому что никто такъ не сжился съ нимъ, никто не ощущалъ такъ бользненно-остро его красоты. Она никогда не видала въ этомъ саду никого, кромѣ садовниковъ, ни днемъ, ни ночью при свѣтѣ луны; только пѣніе птицъ придавало ему жизнь, точно какой-нибудь злой духъ охранялъ его отъ взоровъ другихъ людей, да и самъ имъ не наслаждался.

О, какъ бы она хотѣла спуститься туда въ это осеннее утро, ды-

пать этимъ чуднымъ воздухомъ, любоваться падающими желтыми листьями, различными тѣнями деревьевъ и воображать себѣ разные фантастическіе образы, мелькающіе между зеленью, обнимать эти старинныя статуи, точно забытыя вѣками, пѣть вмѣстѣ съ жаворонками, собрать въ кучи эти бѣдные листья, погибшіе отъ скуки, придать жизнь этому мертвому уголку и себя тѣмъ оживить! Кто ей мѣшаетъ сдѣлать это? Какой глупый драконъ сторожитъ у калитки и запрещаетъ входить? Она вспомнила о маленькихъ городскихъ садахъ, открытыхъ для публики, куда она иногда ходила посидѣть, и о садикѣ Карла Альберта, черезъ который она должна была проходить, если поидеть въ редакцію журнала, куда хотѣла отнести свою рукопись. И вдругъ она почувствовала, что сердце ея наполняется горечью при мысли о томъ, что она вынуждена промѣнять свое горячо любимое дѣтище на насущный хлѣбъ. Она отошла отъ окна и съ шумомъ его захлопнула.

Гульо былъ одѣтъ и, меланхолически поглаживая свою далеко не новую шляпу рукою, глубоко вздыхалъ.

— Теперь надо идти на каторгу! — проговорилъ онъ.

Карина посмотрѣла на эту шляпу, свидѣтельница цѣлаго ряда неудачъ въ ихъ жизни, и сразу забыла все: и птичекъ, и чудный день, и очаровательную картину Рима, все это красивое и ненужное, что только что такъ радовало ее.

Когда ушелъ мужъ, Карина написала отцу въ довольно дерзкомъ тонѣ, потомъ взяла свою рукопись, вышла изъ дому и направилась сначала на почту. Улицы уже были людны, небо голубое и ясное съ небольшими бѣлыми облачками на горизонтѣ. На площади, гдѣ помѣщалась почта, стояла толпа, пропускающая религіозную процессію; трамваи быстро мелькали, вспугивая публику, которая сторонилась отъ нихъ, какъ отъ чудовищъ. Карина любила толпу, у нея было какое-то врожденное чутье, умѣніе быстро схватывать отличительныя черты людей, къ которымъ она вообще относилась довольно скептически. Священники шли впереди процессіи, цѣлая толпа женщинъ съ фанатическими лицами, масса больныхъ, хромыхъ и увѣчныхъ тащились сзади, продавцы выгибали свои товары, приставая и къ паломникамъ и къ паломницамъ: «Два сольди! два сольди! — выкрикивалъ молодой бѣлокурый малый, — два сольди эти четки!» и совалъ ихъ чуть не въ носъ напуганной женщинѣ. Мальчишки приставали къ паломникамъ, желая почистить ихъ запыленные сапоги; какая-то карлица въ мѣховомъ воротникѣ продавала билетки «счастья». Одинъ изъ паломниковъ остановился было изъ любопытства передъ нею.

— Впередь! — раздавался довольно суровый окрикъ одного изъ аббатовъ, и шествіе тронулось дальше. Сквозь толпу протискивался какой-то патерьъ, толстый, красный, весь въ поту; увидавъ его, одинъ уличный зъвава отпустилъ плоскую шутку; Барина улыбнулась сначала, а потомъ ей стало стыдно за эту улыбку, и она быстро смѣшалась съ толпою. Когда она проходила черезъ улицу, человѣкъ, мчавшійся на велосипедѣ, перерѣзалъ ей путь: она узнала въ немъ хроникера того журнала, въ редакцію котораго она несла свою рукопись, и почувствовала, что краснѣетъ.

— А я вѣдь не застѣнчива! Я покраснѣла, точно онъ могъ догадаться, что я иду просить милостыню!

Она пошла дальше.

— Я не боюсь! — повторяла она себѣ, входя въ редакцію журнала.

На лѣстницѣ она встрѣтила даму, одѣтую въ черное, и эта встрѣча ее еще больше подбодрила. Она поднялась довольно высоко по грязной, холодной лѣстницѣ; у дверей редакціи она остановилась, такъ какъ сердце ея билось довольно сильно.

Блѣдный малый съ равнодушнымъ лицомъ спросилъ ее, что ей угодно.

— Редактора.

— Онъ еще не пришелъ.

Она, вспомнивъ, что рѣшила не стѣсняться, сказала рѣзко:

— Но онъ мнѣ назначилъ въ 11 часовъ. Снесите мою карточку.

Мальчикъ взявъ ее карточку, куда-то исчезъ и опять вернулся.

— Подождите.

Барина осмотрѣлась. Она находилась въ большой темноватой комнатѣ, по стѣнамъ которой стояли старыя, обитыя желтою матеріей диваны, а посрединѣ — столъ, покрытый зеленымъ сукномъ. Какой-то господинъ, повидимому, авторъ изъ начинающихъ, скромно сидѣлъ въ углу и терпѣливо ждалъ. Барина тоже должна была вооружиться терпѣніемъ и ждать; никто не обращалъ на нее вниманія.

Разные люди входили и уходили, изъ другой комнаты слышны были мужскіе голоса, кто-то говорилъ по телефону. Прошелъ мальчикъ съ чашкой кофе въ рукахъ. Барина его остановила и спросила, гдѣ редакторъ.

Мальчикъ, проговоривъ «сейчасъ», прошелъ въ другую комнату и сказалъ, что редактора желаетъ видѣть какая-то дама, а чей-то насмѣшливый голосъ проговорилъ: «бѣдный редакторъ!»

У Барины потемнѣло въ глазахъ. За кого ее принимаютъ? Или

просто жалѣють редактора, котораго одолѣвають просительницы? Она было рѣшилась встать и уйти, но мальчикъ просунулъ свою голову въ дверь и сказалъ:

— Пожалуйте, барышня.

Она улыбнулась, что ее такъ назвали, и пошла за нимъ въ кабинетъ редактора.

Толстый и блѣдный господинъ съ черными бакенбардами сидѣлъ за полированнымъ какъ стекло столомъ и писалъ что-то.

Барина посмотрѣла на него и замѣтила, что бакенбарды его неровны—съ одной стороны длиннѣе, чѣмъ съ другой.

— Хорошо,—сказалъ редакторъ, когда она предложила ему свою рукопись.—Приходите въ началѣ декабря за отвѣтомъ.

Барина сама не помнила, какъ она очутилась на Via Nazionale. Ей было страшно грустно и въ то же время отрадно, что она принесла «жертву». Дома ее ждалъ сюрпризъ, который ее сначала очень обрадовалъ: маленькая собачка, которая ей вчера такъ понравилась въ ресторанѣ.

Собачка уже чувствовала себя какъ дома и трепала бахрому на креслѣ. Увидавъ Барину, она посмотрѣла на нее чуть не человѣческими глазами. Барина взяла на руки граціозное животное, подняла его кверху, положила себѣ на плечо и, наконецъ, бросила его себѣ на кровать. Снимая шляпу и накидку, она болтала съ собачкой, какъ съ ребенкомъ:

— Какъ ты самъ попалъ сюда, Чипъ? Тебѣ холодно? Я надѣну на тебя мѣховую пелеринку Лючіи, мой милый! Подожди, успокойся! Вотъ такъ! Какъ ты красивъ теперь въ этой пелеринкѣ! Воображаю, какъ будетъ смѣяться этотъ типъ Гульо! Подожди, подожди!

Она услышала шаги Гульо по лѣстницѣ и побѣжала ему навстрѣчу.

— Смотри!—воскликнула она со смѣхомъ,—у меня уже есть ребенокъ.

Онъ подошелъ къ кровати и тоже засмѣялся, увидавъ собачку въ мѣховой пелеринкѣ.

— Какой сумасшедшій этотъ Кальци! Это онъ, вѣрно, тебѣ прислалъ?

— Да, это онъ!—смѣялась Барина, но когда щенокъ отказался отъ говядины, которую она ему предложила, она огорчилась.

— Человѣкъ, который ее принесъ,—сказала Лючія—говорилъ, что она ѣстъ только бисквиты.

— А!—проговорила Барина враждебнымъ тономъ,—значить мѣсто не для тебя, мой красавецъ!

Барина велѣла всетаки купить бисквитовъ, но была не въ духѣ, и, конечно, все обрушилось на Кальци. Собачка была такъ мила и забавна, что Барина часами возилась съ нею, мяла ее, причесывала, водила гулять. Однажды вечеромъ она замѣтила, что содержаніе собачки увеличило ихъ бюджетъ, и сказала:

— Моя жизнь такая скучная и мѣщанская, что я не могу даже себѣ позволить никакого удовольствія!

Въ этотъ вечеръ пришелъ Кальци и съ мѣста въ карьеръ спросилъ у Гульо, чтѣ они собираются дѣлать на Рождество.

— Да ничего. И рано объ этомъ думать.

— А я уже подумалъ, — продолжалъ онъ, снимая свой плащъ и тщательно складывая его. — Замѣтили ли вы на улицѣ Туринъ, въ одномъ магазинѣ...

— Синьоръ Теодоръ, — перебила его Барина, — мы рѣшили на Рождество зажарить ту собачку, которую вы мнѣ подарили, хотя я васъ объ этомъ не просила.

— Скажите, пожалуйста! — проговорилъ Теодоръ, нисколько не обижаясь на ея слова, — а гдѣ же мой пріятель?

Онъ посмотрѣлъ на щенка, объявилъ, что онъ очень худъ и что, вѣрно, синьора Катерина его не кормитъ.

— Онъ ѣстъ восемь бисквитовъ въ день.

— Восемь бисквитовъ! да, можетъ быть, они невкусны? Знаете ли вы, гдѣ ихъ надо покупать? Хотите, я вамъ принесу ихъ самъ?

— Мы бѣдны и не можемъ кормить собаку лучше. Намъ самимъ ѣсть нечего.

Гульо замѣтилъ, что сегодня у Барины особенно убитый видъ. Она начала плохо переносить свою беременность, была блѣдна и худа, подъ глазами черные круги, и все лицо ея выражало одно страданіе.

И Кальци замѣтилъ это и, чтобы перемѣнить разговоръ, сталъ рассказывать Гульо о какомъ-то коньякѣ, который онъ только что открылъ, и о томъ, какъ отличить настоящее шампанское отъ поддѣльнаго.

— Когда ты наливаешь шампанское въ стаканъ, — говорилъ онъ таинственнымъ голосомъ, дѣлая видъ, что наливаетъ что-то въ стаканъ, — смотри на жидкость: если струйка блеститъ какъ золото, вино настоящее.

Барина, у которой на колѣняхъ сидѣла собачка, подняла голову, и Гульо, боясь, чтобъ она не сказала какой-нибудь дерзости, спросилъ:

— Ну, а какъ твои брачныя дѣла?

— Такъ себѣ! Что ты пристаешь!—ероша свои волосы, но само-довольно улыбаясь, проговорилъ Кальци.—Трудно выбрать изъ 60-ти женщинъ, всѣмъ около 40 лѣтъ, и у всѣхъ хорошее приданое.

— Мнѣ кажется, что вы хвастаетесь,—проговорила Барина.

Тогда Кальци вытащилъ изъ кармана цѣлую пачку скомканныхъ писемъ, разложилъ ихъ на столѣ и сказалъ:

— Вотъ и доказательства! Читайте!

Барина читать не хотѣла, но Гульо взялъ нѣкоторыя изъ нихъ и началъ ихъ просматривать и смѣяться.

— Вы хотите жениться!—произнесла съ негодованіемъ Барина,—а знаете ли вы, что такое бракъ?

— Отлично знаю; это такое учрежденіе, при помощи котораго уплачиваются долги.

— У васъ есть долги, и вы хотите...

Теодоръ перебилъ ее:

— У всѣхъ долги; у кого ихъ нѣтъ?

— У насъ нѣтъ...

— У васъ! Оттого вы и находитесь въ такомъ положеніи, что не можете прокормить собаки.

— Можетъ быть, но мы не продаемъ себя, ни своей свободы, какъ вы хотите это сдѣлать.

— Барина, прочти это, пожалуйста,—произнесъ Гульо, едва выговаривая слова отъ смѣха и подавая женѣ письмо.

— Оставь меня! Я не хочу пачкать своихъ рукъ!

— А вы,—сбрасывая монокль и высоко поднимая брови, замѣтилъ Кальци,—вы продадите гораздо болѣе цѣнное, чѣмъ свобода, вы продадите свой геній, если захотите жить. А если вы предпочтете нищету, которая хуже смерти, и не продадите своего генія, вы—безумная женщина.

— А вы безнравственны, вы животное, и я васъ выгоняю изъ своего дома!

Гульо всталъ, подошелъ къ женѣ и погладилъ ее по головѣ, уговаривая ее пойти и лечь.

— Сдѣлай мнѣ удовольствіе, поди.

Но она не двигалась съ мѣста, а Кальци, дѣлая видъ, что ужасно биженъ, собиралъ свои письма.

— Я уйду,—сказалъ онъ, надѣвая плащъ,—но повѣрьте, синьора Катерина, вы не правы. Что такое нравственность? Надо дѣлать обою самому себѣ. Еслибъ всѣ придерживались этого правила, всѣмъ и жилось легче. Еслибъ всѣ поступали, какъ я...

— Жизнь была бы грязная и глупая шутка.

— А развѣ жизнь не шутка въ самомъ дѣлѣ?

— Но не грязная. А впрочемъ, — прибавила Карина, — какой толкъ говорить съ вами? Мое положеніе дѣйствительно ужасно, если я принуждена говорить съ вами.

Это послѣднее замѣчаніе разсердило Кальци.

— Ваше «интересное» положеніе не позволяетъ мнѣ отвѣтить вамъ, какъ вы того заслуживаете. Идите спать и — покойной ночи... Идешь ты, Гульо? Покойной ночи, синьора Катерина.

— Я пойду на минутку и сейчасъ же вернусь, — сказалъ Гульо Катеринѣ.

Онъ вышелъ и сейчасъ же вернулся.

— Знаешь, у Кальци дикая мысль взять собаку, позвонить у дверей перваго этажа и отдать твоего Чипа горничной.

— Не дамъ! — вскричала Карина, — ты дуракъ, что повторяешь глупости.

— Извини, пожалуйста, — иронически проговорилъ Гульо, — я думалъ, ты согласишься принести эту жертву! — и онъ ушелъ.

Карину эти слова мужа обидѣли еще больше, чѣмъ философствованія Кальци. По лицу ея побѣжала тѣнь, и въ головѣ помутилось. Она растворила настежь окно въ спальнѣ. Ночь была темная и холодная; только четыре фонаря у фонтана да окна палатцо Барберини давали свѣтъ; листья, точно маленькія волны, кружились и падали съ легкимъ шелестомъ.

Освѣщенный Римъ весь разстился подъ темнымъ сводомъ неба. Карина высунулась въ окно и, убѣдившись, что въ саду никого нѣтъ, бросила въ окно свою собачку, нервнымъ движеніемъ захлопнула окно и залилась слезами.

Да, иногда она боялась сдѣлаться неврастеникомъ — такъ много приходилось работать ея вѣчно возбужденному уму. Развѣ ея поступокъ съ бѣдной невинной собачкой не есть проявленіе нервной болѣзни? А бѣдный Чипъ такъ развлекалъ ее эти три недѣли. И почему она плакала? Прежде съ нею этого не было. Значить, она ненормальная, какъ вообще двѣ трети женщинъ на свѣтѣ? Но нѣтъ, нѣтъ, она не хочетъ быть ненормальной, она будетъ брать жизнь такъ, какъ она есть, она будетъ крѣпка и побѣдитъ эту жестокую шутку — жизнь. Я должна чувствовать то, что утопающій, ухватившійся за доску, недалеко отъ берега, думала она. Сегодня буря, волны ревуть, а завтра будетъ ясно, и утопающій достигнетъ цвѣтущаго берега.

Между тѣмъ зима, особенно холодная для Рима, подвигалась, и Карина страдала отъ холода. Въ хорошіе дни она садилась на ска-

мѣйку садика Барла Альберта и смотрѣла на игры дѣтей, но въ холодные дни сидѣла дома и мерзла. Отецъ ея написалъ Гульо письмо о плачевномъ состояніи финансовъ: я женился на бѣдной дѣвушкѣ, которая дала мнѣ только свое расположеніе. Женись на Баринѣ, Гульо и не претендовалъ на приданое, но теперь поневолѣ иногда думалъ, что оно могло бы быть. Что могъ онъ предпринять? Ему обѣщали повышение, но когда? А бѣдная Барина особенно нуждалась теперь въ лучшей пищѣ, спокойствіи, теплѣ... и вмѣсто этого голодала, страдала отъ холода и мучилась.

Конечно, ребенокъ будетъ рахитикъ, и что его ожидаетъ въ будущемъ? О, эти мелкія заботы дня! несправедливость судьбы! необходимость отказываться отъ того, что казалось вовсе не роскошью! Такая бѣдность унижительнѣе и тяжеле открытаго нищенства!—думалъ Гульо и старался уже вовсе не заходить въ кофейни, дѣлалъ громадныя пространства пѣшкомъ, чтобъ не заплатить двухъ сольди на трамваѣ. Напрасно Барина отказалась отъ служанки, стала мыться простымъ мыломъ, не носить лайковыхъ перчатокъ, напрасно выбросила она въ окно невинную собачку, какъ излишнюю роскошь. Это все были небольшія жертвы, причиняющія острую боль, но не помогающія ничему.

Гульо тоже отъ многого отказывался и страдалъ еще больше Барины, потому что мучился за нее и ребенка.

Когда онъ видѣлъ, какъ другія женщины идутъ и идутъ въ театръ, а его бѣдная Барина, которая такъ любитъ музыку, должна сидѣть дома, сердце его обливалось кровью. Онъ со злобою смотрѣлъ на вывѣшенныя афиши: 80 лиръ за ложу! то, что онъ зарабатывалъ въ полмѣсяца. Ему становилось жутко, и всѣ люди дѣлались противны и хотѣлось бѣжать куда-то, бѣжать! Въ серединѣ декабря Барина опять отправилась въ редакцію журнала, но ей сказали, что редакторъ уѣхалъ изъ Рима; заходила еще раза три,—сказали, что онъ очень занятъ; писала и не получала отвѣтовъ. Каждый разъ, поднимаясь по холодной и грязной лѣстницѣ, она испытывала униженіе, точно идетъ за милостынею, но подбодряла себя, чувствуя въ себѣ жизнь другого существа:

«Для тебя, для тебя!»

Теперь уже дѣло шло не объ искусствѣ, а просто о жизни, и Барина мечтала о томъ, что приготовить къ родамъ, что сдѣлать речку. Въ послѣдній день года Гульо встрѣтили Бальци на мосту лнчіо. День былъ чудный, и громадная толпа едва двигалась по ицѣ, а экипажи ѣхали шагомъ одинъ за другимъ. Было много элечыхъ, казавшихся красивыми, молодыхъ дѣвушекъ; на ихъ ли-

цахъ было какое-то мечтательное выраженіе, глаза вопрошающе смотрѣли куда-то вдаль. Гульо и Бальци отошли къ сторонѣ и начали философствовать, дѣлая свои замѣчанія о толпѣ.

— Сколько ненависти и сколько любви, сколько новыхъ костюмовъ и шляпъ, жертвъ и подлости, мужчинъ и женщинъ, зависти, злобы, лжи и... сколько каналій вообще!—проговорилъ Бальци.

— И мы въ томъ числѣ!—сказалъ Гульо.

— Вѣрно. Знаешь, что я сегодня сдѣлалъ? Я отказался отъ выгоднаго брака!

— Отъ брака?

— Да, чему же ты удивляешься? Ей 30 лѣтъ, красавица, готова заплатить немедленно всѣ мои долги, и 30 тыс. еще остается! Кроме того, кузина одного миллионера-колбасника и его прямая наследница!

— И ты упустилъ такой случай?

— Она мнѣ не нравится именно потому, что она—кузина колбасника. Вѣдь это недостатокъ съ ея стороны, не правда ли?

— А ваше понятіе о нравственности, синьоръ Теодоръ?—спросила Барина.

Тогда только Бальци обернулся къ ней.

— Въ какомъ вы настроеніи сегодня, синьора Катерина? Почему вы смотрите на эту парочку такъ меланхолично? Вы воображаете, что они, сидя на бархатныхъ подушкахъ коляски, очень счастливы? Повѣрьте, они гораздо несчастнѣ насъ, пѣшеходовъ.

— Старая исторія, синьоръ Теодоръ. Мы стараемся вообразить себѣ, что богатые люди несчастны, чтобы намъ не такъ трудно было переносить свою нищету. Во всякомъ случаѣ они не знаютъ, какой это ужасъ терпѣть отъ холода.

— Бстати, что вы дѣлаете завтра?

— Да ничего особеннаго по обыкновенію.

— Скажите, пожалуйста! А по-моему, такъ какъ сегодня не очень холодно, то и завтра будетъ хорошая погода; поѣдемте завтракать куда-нибудь?

— Нѣтъ,—быстро отвѣтила Барина, испугавшись мысли, что придется истратить денегъ болѣе обыкновеннаго.

— Почему нѣтъ?

— Потому, что я чувствую себя не совсѣмъ хорошо,—сказала Барина краснѣя, и сейчасъ же поняла, что Бальци знаетъ настоящую причину ея отказа.

Онъ молча вытащилъ изъ кармана номеръ вечерняго «Курьера»

и показалъ пальцемъ на одно объявленіе. Гульо нагнулся къ Каринѣ, чтобъ вмѣстѣ прочесть его. Объявленіе гласило:

«Романистъ, подъ давленіемъ острой нужды, готовъ продать свои интересныя произведенія или одолжить ихъ для корректуры другихъ произведеній такого же рода. Писать туда-то». Слѣдовалъ адресъ.

— Вотъ это человѣкъ!—воскликнулъ Кальци, приподнимая шляпу.—Кланяюсь ему и восхищаюсь имъ.

Одна старуха, одѣтая довольно пестро, думая, что онъ кланяется ей, отвѣтила на его поклонъ, и это разсмѣшило Карину.

— Если романъ написанъ такъ же мило-безтолково, какъ это объявленіе, онъ долженъ быть очень хорошъ,—сказала Карина съ проніей.

— Я готовъ скорѣе продать весь свой скарбъ, все, что имѣю, только не могъ бы поступить такъ!—воскликнулъ Гульо.

— Позволь тебѣ замѣтить,—сказалъ Кальци, складывая газету,—что у этого писателя нѣтъ, вѣроятно, никакихъ вещей. Онъ продастъ свое произведеніе, чтобы купить себѣ хлѣба. И отлично дѣлается.

— А ты, почему же ты не женишься на *той*?

— Это другое дѣло: я не хочу продавать *себя*.

— А это какъ называется?—спросилъ Гульо, показывая на газету.

Кальци покачалъ головой.

— Вы ничего не понимаете, дѣти мои. Вы готовы продать вашу одежду, ваши вещи, ваши тряпки теперь, а въ концѣ-концовъ все-таки будете вынуждены сдѣлать *это*.

— Можно умереть съ голоду. Не все ли равно, какъ умирать?

— Это все слова только, синьора Катерина, одни слова.

— Но допустимъ, что какой-нибудь дуракъ вродѣ этого писателя и рѣшился бы продать свое произведеніе, какой же безумецъ его купить?—спросилъ Гульо.

— Да, дѣйствительно,—подхватила Карина,—вѣдь это бываетъ только въ романахъ, а въ жизни...

Кальци сбросилъ моногль и посмотрѣлъ на Карину своими узкими глазками.

Въ первый разъ въ жизни смотрѣлъ онъ такъ на нее, и его лицо, освѣщенное заходящимъ солнцемъ, показалось ей особенно противнымъ.

— Хотите, чтобъ я взялъ это на себя? Скажите только слово.

Гульо знали, что Кальци занимается разными дѣлами: наприм., достаетъ у ростовщиковъ деньги, занимается продажей и покупкою

мебели, ищетъ квартиры и прислугу, отыскиваетъ мѣста молодымъ людямъ и т. д.; поэтому они поняли, что онъ показалъ имъ объявленіе не спроста.

— Сдѣлай мнѣ удовольствіе, говори о чемъ-нибудь другомъ, — сказалъ раздраженно Гульо.

Тогда Кальци поднялъ голову, вставилъ монокль и, напѣвая что-то, пожалъ имъ руки и ушелъ. Карина смотрѣла на толпу, на костюмы дамъ, на гуляющихъ дѣтей, на мужчинъ и женщинъ, ѣдущихъ въ коляскахъ, и ей сдѣлалось грустно.

Гульо замѣтилъ, что лицо ея омрачилось и тихонько пожалъ ей руку. Она удержала въ своей эту честную руку, и такъ шли они дальше, какъ двое дѣтей. На розоватомъ небосклонѣ золотыя облака, точно освѣщенные барки, плыли и медленно исчезали въ морѣ печали.

Редакція журнала вернула рукопись. «Весна» не годилась для приложений, особенно для читателей-итальянцевъ. Итальянская публика, читая романъ или пьесу, любитъ смѣяться или плакать, а «Весна» — исторія счастья, этюдъ о спокойной душѣ; она заставляетъ думать, а не плакать. Нѣтъ, авторъ заблуждается, когда думаетъ, что публика, уставъ отъ страданій въ жизни, почувствуетъ облегченіе или ощутитъ покой, читая эту исторію.

Нѣтъ, читатель — большой эгоистъ, которому легче, когда онъ узнаетъ о страданіяхъ другихъ людей, и потому онъ требуетъ отъ книги или сцены разсказа о страданіяхъ или... фарса. Счастіе другихъ ему надобно, оно раздражаетъ его. Въ общемъ читатель жестокъ и требуетъ жертвъ, будучи самъ жертвою рока.

Вотъ что прочла Карина между строкъ въ письмѣ редактора. Можетъ быть, тотъ, кто писалъ, и не хотѣлъ этого сказать, но Карина была чутка; она вѣдь тоже часть публики, которая страдаетъ, и поняла по-своему отказъ редакціи. Во всякомъ случаѣ она съ грустью увидѣла, что не займетъ въ жизни того мѣста, о которомъ мечтала.

Въ концѣ января у Гульо оказались долги и, главное, они задолжали прислугѣ! Карина совсѣмъ перестала спать, такъ ее это мучило, такъ казалось ей нечестнымъ, унижительнымъ, и однажды, когда Лючія потребовала жалованье довольно категорически, Карина отдала ей одно изъ своихъ колецъ.

«Отдамъ свои платья, вещи, тряпки... вспоминала она слова, сказанныя мужемъ Кальци, все, все скорѣе, чѣмъ...» И вотъ началось. Она готова отдать все, что имѣетъ, а потомъ, потомъ что? По-

томъ кредиторъ будетъ стучаться въ дверь, войдетъ въ пустую квартиру, будетъ браниться, оскорблять, произносить жестокия слова.

— И я имѣю право жить, — скажетъ хозяинъ, — платите мнѣ за квартиру или убирайтесь прочь! Я тоже работаю, работайте и вы!

Но она работаетъ... Никто не хочетъ только признать ея работы. Никто? Нѣтъ, есть «нѣкто», кто готовъ заплатить ей за ея работу, — почему же она не отдаетъ ему эту работу? Честно ли это? Вѣдь она обманываетъ другихъ людей! Такъ думала Карина въ одно февральское утро, сидя на скамейкѣ въ садикѣ Карла Альберта. Она вдругъ поднялась и одну минуту стояла въ нерѣшительности, что ей дѣлать: идти ли навстрѣчу мужу, какъ она это всегда дѣлала, или нѣтъ? Она сдѣлала нѣсколько шаговъ и почувствовала, что ребенокъ ея пошевелился — она знала, что это должно быть, но ощущение было страшное, — точно живое существо это было голодно! Она поблѣднѣла, и ей чуть не сдѣлалось дурно; тогда она вспомнила, что почти ничего не ѣла сегодня. Имѣла ли она право морить другое существо голодомъ? Теперь рѣшеніе ея принято, она пойдетъ и отыщетъ Кальци на службѣ. У подъѣзда того дома, гдѣ помѣщалось правленіе, она случайно замѣтила Лючію и подозвала ее къ себѣ.

— Подите сейчасъ же въ этотъ домъ и скажите сторожу, чтобы онъ вызвалъ мнѣ синьора Кальци; я подожду въ передней; пусть скажетъ, что его ждетъ дама. Но только смотрите, чтобы баринъ васъ не увидалъ.

Лючія знала, что Кальци умѣетъ доставать деньги, и была увѣрена, что Карина за этимъ и пришла сюда.

— Идетъ! — сказала она таинственнымъ тономъ, вернувшись черезъ нѣсколько минутъ.

— Можете идти теперь, — сказала Карина, и старуха удалилась.

Карина сѣла и стала ждать. Увидѣвъ Кальци, она засмѣялась, — такое у него было торжественно-важное лицо.

— Вы, вѣрно, думали, что васъ спрашиваетъ претендентка? — спросила она смѣясь, но, не дожидаясь отвѣта, вдругъ сдѣлалась серьезна и сказала: — видѣли вы Гульо?

— Нѣтъ, синьора.

— Который часъ?

— Безъ 5 мин. уже пять.

— Синьоръ Теодоръ, вы мнѣ нужны.

— Что вы говорите! Неужели?

— Сдѣлайте мнѣ удовольствіе и оставьте вашъ шутливый тонъ.

Помните, что вы мнѣ говорили на мосту Пинчіо?

Онъ сдѣлалъ видъ, что не помнить.

Она сѣла и пристально посмотрѣла ему въ лицо.

— Пожалуйста, безъ шутокъ,—повторила она,—вы отлично помните. Слушайте, вы должны устроить одно дѣло и скорѣе. Сейчасъ же.

— Сейчасъ же!—воскликнулъ онъ, всплескивая руками.—Развѣ это такъ легко? Это не дважды два четыре. Терпѣніе и хладнокровіе!

— Сколько же надо на это времени?

— Кто знаетъ!—произнесъ онъ глубокомысленно,—надо напечатать объявленіе, ждать, выбирать.

— Напечатать объявленіе! Да это я могу сдѣлать сейчасъ!—Только надо, чтобъ мой мужъ ничего не зналъ объ этомъ пока; потомъ если и разсердится, пускай себѣ кричитъ!

— Какая храбрая жена!—воскликнулъ Бальци, хлопая въ ладоши.

Послышались чьи-то шаги.

— Тише!—проговорила Карина, думая, что это Гульо.

Показался чиновникъ и, поклонившись, прошелъ мимо.

— Составимъ объявленіе. Я его снесу сейчасъ же въ *Tribuna*, и не думайте больше объ этомъ,—сказалъ Бальци.

Онъ вырвалъ изъ записной книжки листокъ и карандашъ и началъ писать:

— Женщина-авторъ...—диктовала Карина.

— Подождите, совсѣмъ не такъ; я самъ напишу и потомъ вамъ прочту.

Онъ началъ писать что-то, зачеркивая слова и потомъ прочелъ слѣдующее:

«Извѣстный писатель, вслѣдствіе крайней нужды, продаетъ лицу, которое пожелало бы печататься подъ своимъ именемъ, оригинальный, интересный романъ, успѣхъ котораго обезпеченъ. Писать: «Карандашъ» до востребованія. Глав. почт. Римъ. Совершенно конфиденціально».

Разъ, два, три... 30 словъ! Надо сократить... можно вычеркнуть слово «совершенно».

— Оставьте,—сказала Карина,—такъ хорошо. И она было открыла свой кошелекъ. Но Теодоръ остановилъ ее.

— Не ищите... послѣ... а кстати, сколько бы вы взяли?

— Не меньше трехъ тысячъ лиръ.

— Однако! жалованье секретаря у насъ въ правленіи. Сколько времени вы употребили, чтобъ написать романъ?

— Теперь особенно прошу васъ бросить этотъ шутливый тонъ! Не раздражайте меня. Мнѣ и такъ тяжело. Ступайте наверхъ, позовите Гульо. Пора идти домой.

Кальци появился вскорѣ вмѣстѣ съ Гульо. Тотъ, увидѣвъ, что у Барины блѣдное, почти безжизненное лицо, инстинктивно понялъ, что здѣсь произошло, но не рѣшился спросить, вѣрно ли его предчувствіе.

— Что съ тобою?—спросилъ онъ, только беря ее за руку.— Тебѣ холодно?

— Здѣсь очень дуеть,—отвѣтила она почти шопотомъ.

Перевела М. Ратнская.

Промчались пьяныя весны
И рокоть радостныхъ струй.
Рыдають черныя сосны.
Беззвученъ мой поцѣлуй.
Онъ блѣденъ, холоденъ, мелокъ,
Багъ дождикъ осенній.
Смотрю на часы, на движеніе стрѣлокъ,
Ползають нудно онѣ,
Хоронятъ угаръ пѣснопѣній,
Отпѣвають весенніе дни

Р. Забѣжинскій.

LA MOUCHE *).

Романъ на смертномъ одрѣ. Акселя Лундегорда.

III.

Ты сидишь подъ бѣлой вѣткой...
Слышишь,—вѣтеръ гдѣ-то злится...
Облака плывутъ безмолвно,
И туманъ густой клубится...

А кругомъ, въ поляхъ и рощахъ,
Все мертво теперь, уныло,
И въ душѣ—лишь зимній холодъ,
Сердце грустное застыло...

Вдругъ... съ вѣтвей, что надъ тобою,
Хлопья бѣлые слетѣли,—
И ты ждешь уже съ досадой
Снѣжной бури иль метели!

Но не снѣгъ тебя осыпалъ,—
Убѣдиться сладко въ этомъ,—
Тебя дерево покрыло
Ароматнымъ, нѣжнымъ цвѣтомъ!...

Что за сладостныя чары!
Свѣтлый май сіяетъ снова,
Все цвѣтеть... зимы не стало...
Сердце вновь любить готово **)!...

Марго еще разъ прочла эти строфы, которыя она перевела на французскій языкъ и переписала на листъ лучшей веленовой бумаги.

*) *Русская Мысль*, кн. V, 1908 г.

**) Перевелъ Юрій Веселовскій.

Солнечные лучи врываются въ окна ея будуара, гдѣ она сидѣла за маленькимъ письменнымъ столомъ, одѣтая въ широкій пеньюаръ, который свободными складками ниспадалъ съ ея стройнаго стана. Свѣтлорусые волосы падали богатыми локонами на ея плечи и мягко выдѣлялись на матовомъ фонѣ ея голубого шерстяного пеньюара. Ея щеки покрылись легкимъ румянцемъ отъ напряженной умственной работы и отъ наклоннаго положенія ея головы. Глаза ея сверкали, какъ вода на солнцѣ.

Еще разъ прочла она эту пѣснь о веснѣ, которая снова пробуждается, о первыхъ признакахъ возрожденія сердца, которое застыло отъ стужи жизни. Ей показалось, что она читаетъ исторію своей собственной жизни въ этихъ безыскусственныхъ строфахъ. Базалось, словно это стихотвореніе было написано именно для нея—въ ея настоящемъ положеніи. Въ немъ не было ни одной мысли, ни одного отбѣнка, ни единого слова, которые не пробуждали бы отзвука въ ея душѣ.

Она встала и начала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Ритмическія строфы превратились понемногу въ аккомпанементъ къ ея собственнымъ мыслямъ, которыя появлялись и исчезали.

То радостныя, то печальныя мысли проносились у нея въ головѣ, и всѣ онѣ касались его и тѣхъ дней, которые только что прошли.

Изо дня въ день сидѣла она у постели умирающаго поэта; изо дня въ день она становилась къ нему все ближе и ближе. Эта гордая душа поэта, которая по отношенію къ другимъ была насмѣшлива и недовѣрчива, раскрылась передъ ней съ первой минуты, потому что онъ съ первой минуты почувствовалъ къ ней инстинктивную симпатію.

— Ты будешь моей правой рукой, ты будешь для меня всѣмъ, — сказалъ онъ ей какъ-то. — Хочешь?

Хочетъ ли она!

— Мнѣ нечего скрывать отъ тебя. Ты мой душевный другъ, возлюбленная моей души!

Его сердечный, глубокій голосъ еще звучалъ въ ея ушахъ; она слышала также переходъ его тона въ насмѣшливый и рѣзкій и видѣла наполовину игривую, наполовину грустную улыбку, которая смѣлилась вокругъ его рта, когда онъ продолжалъ:

— Съ любовью дѣло обстоитъ очень плохо на этой глупой землѣ. Любишь или только тѣломъ, или только душой. Идеально было бы любить и тѣломъ и душой, но вѣдь идеалы бываютъ обыкновенно недостижимы, по крайней мѣрѣ, для меня.

Однажды, когда она склонилась надъ его изголовьемъ, онъ, какъ дитя, протянулъ руку и взялъ маленькое кольцо съ печатью, которое висѣло на ея цѣпочкѣ отъ часовъ. Это было сердоликовое кольцо, въ камнѣ была выгравирована муха. Онъ держалъ кольцо передъ глазами и пристально смотрѣлъ на него изъ-подъ своихъ полузакрытыхъ вѣкъ. Потомъ онъ тихо сказалъ, противъ своего обыкновенія, по-французски:

— *La mouche*—муха, ты муха! Я пожизненно заключенный, а ты муха въ моей камерѣ.

Съ этого времени онъ всегда называлъ ее «*La Mouche*».

Онъ требовалъ, чтобы она приходила къ нему каждый день хоть на нѣсколько мгновений. Когда страданія его становились невыносимыми, онъ писалъ ей собственноручную записку, въ которой просилъ окончить посѣщеніе.

«Было бы непросителнымъ эгоизмомъ съ моей стороны заставлять тебя приходить сюда, моя милая *Mouche*».

La Mouche приняла на себя ту роль, которую онъ далъ ей; и она исполняла ее самымъ добросовѣстнымъ и серьезнымъ образомъ, стараясь поступать такъ, какъ она думала, что онъ этого желаетъ. Нѣсколько преувеличенной холодности госпожи Гейне она какъ будто не замѣчала. Она чувствовала, что ея посѣщенія доставляютъ ему радость, и она сознавала, что полезна ему. Секретарь Гейне былъ все еще боленъ, и *La Mouche* приняла его обязанности на себя. Большой привыкъ къ ея любвеобильному женскому вниманію и уже не могъ больше обходиться безъ нея. Она писала письма подъ его диктовку, читала ему вслухъ, когда онъ нуждался въ покоѣ, и держала корректуру его стихотвореній, которые тогда издавалъ одинъ французскій издатель.

Когда у него наступали припадки судорогъ, то она должна была сидѣть рядомъ съ нимъ молча и не двигаясь, и держать его руку въ своей,—это успокаивало его. Когда страданія покидали его, онъ любилъ прислушиваться къ ея легкимъ шагамъ по ковру. Обыкновенно такой чувствительный къ малѣйшему шуму, онъ наслаждался тихимъ жужжаніемъ маленькой мухи, которая летала вокругъ его постели.

Отношенія между ними были самага задушевнаго свойства съ первой же минуты. И эта задушевность носила на себѣ какъ съ той, такъ и съ другой стороны отъѣнокъ нѣкотораго превосходства и стремленія покровительствовать. Однако это чувство превосходства не могло вызвать недоразумѣніе или внести дисгармонію въ ихъ отношенія, ибо оно было естественнымъ результатомъ ихъ отношенія

другъ къ другу. Она была, сравнительно, наиболѣе здоровая изъ нихъ двоихъ; и онъ, какъ беспомощное дитя, принималъ ея заботы, которыми она окружала его и которыя носили на себѣ отгѣнокъ материнскаго покровительства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ духовно она была наиболѣе слабая изъ нихъ двухъ. Этотъ человѣкъ съ тѣломъ беспомощнаго ребенка былъ величайшимъ писателемъ своего времени; и онъ это сознавалъ. Въ его манерѣ говорить съ ней просвѣчивало превосходство генія, но всегда съ примѣсью духовной галантности, что исключало возможность обиды. Ей никогда и въ голову не приходило, что *могло* быть иначе. Онъ былъ такъ великъ въ ея глазахъ, что ихъ интеллектуальныя отношенія другъ къ другу не могли не носить характера субординаціи, и она настолько же наслаждалась этимъ духовнымъ подчиненіемъ, насколько онъ наслаждался ея материнскими заботами.

Онъ училъ ее и называлъ себя ея «учителемъ»; и то время, которое она провела у его постели, было временемъ ея ученія. «Сегодня школа закрыта», писалъ онъ ей иногда, когда страданія не позволяли ему принимать ее. Однако подъ тономъ насмѣшливаго превосходства скрывалось нетерпѣніе влюбленнаго.

Это проглядывало также и во всей его манерѣ обращенія съ ней; казалось, словно подъ тономъ насмѣшливаго превосходства онъ хотѣлъ скрыть свое серьезное чувство глубокой привязанности. Онъ критиковалъ въ ней все: ея манеру ходить, стоять, говорить, писать. Но когда онъ поднималъ свое вѣко, чтобы посмотрѣть на нее строгимъ взглядомъ и какъ бы еще яснѣе выразить порицаніе всѣмъ ея недостаткамъ и недочетамъ, то въ его взорѣ подъ дѣланымъ упрекомъ всегда таилось другое выраженіе, въ значеніи котораго никогда не ошибется ни одна женщина. И она улыбалась ему, обѣщая покаяться и исправиться; тогда строгій учитель протягивалъ къ ней свою прекрасную бѣлую руку, привлекалъ ее къ себѣ и цѣловалъ.

Въ ихъ отношеніяхъ была какая-то болѣзненная и неуловимая прелесть. Оба они хорошо знали, что ихъ отношенія навсегда останутся цѣломудренными, какъ любовь между двумя дѣтьми, которыя вмѣстѣ играютъ, вмѣстѣ купаются, ласкаютъ другъ друга и засыпаютъ въ одной постели. Это сознаніе дѣлало ихъ отношенія совершенно свободными. Казалось, словно они перешли въ состояніе духовной невинности, когда нѣтъ необходимости ни въ какихъ фигурныхъ листьяхъ. Для умирающаго поэта не могли больше существовать тѣ законы, которыми руководствовались живые люди. Нечего было скрывать, нечего таить, нечѣмъ стѣсняться, — вообще эти любовныя отношенія выходили изъ рамокъ всего обыденнаго.

Это было первое время ихъ знакомства, — медовый мѣсяць ихъ духовнаго брака.

Но по мѣрѣ того, какъ они становились другъ другу ближе, она замѣчала все яснѣе и яснѣе, что онъ страдаетъ отъ половинчатости въ ихъ отношеніяхъ. Его грустныя, полныя горечи слова о немощи своего тѣла производили на нее тяжелое впечатлѣніе, и она догадывалась, что онъ терпитъ муки Тантаала отъ ея близости, отъ постоянного соприкосновенія съ молодостью и красотой. Его фантазія должна была постоянно развѣртывать передъ нимъ картины того, что было въ дѣйствительности, и того, что могло бы быть. Во всѣ эти годы, въ продолженіе которыхъ онъ былъ прикованъ къ одру болѣзни, его тоска по невозвратному ничуть не притупилась отъ подтачивающей его организмъ болѣзни. Потому-то его творенія за послѣдніе годы были до такой степени проникнуты чувствомъ, какъ если бы это было чарующее пѣніе соловья въ сумеркахъ лѣтней ночи. Пока поэтъ можетъ любить, до тѣхъ поръ онъ творить, — а его творенія доказывали, что сердце въ этомъ разрушенномъ тѣлѣ можетъ любить и страдать.

Вначалѣ ей это не приходило въ голову, но потомъ, когда ея глаза раскрылись, она испугалась. Тайственное сродство ихъ душъ было до такой степени велико, что она чувствовала малѣйшіе оттѣнки его настроенія, и ея сердце то радостно билось отъ счастья, то сжималось отъ боли. Когда она сидѣла у его постели, а онъ лежалъ передъ ней блѣдный и тихій, какъ всегда, и его раздирали физическія страданія во время какого-нибудь припадка, то ей казалось, что и ея нервы раздираютъ тѣ же невыносимыя страданія. А когда боли утихали и онъ успокаивался, въ то время, какъ духъ его возмущался или приходилъ въ отчаяніе отъ того, что не могъ передать хоть искру своего пламени умирающему тѣлу — она видѣла отблески досады и гнѣва въ его взглядѣ, обращенномъ на нее, — то ее охватывалъ смутный, безотчетный страхъ, который ей иногда бывало трудно побороть, и она должна была отворачиваться, чтобы выраженіе ея лица не выдало ея.

Такимъ образомъ сидѣніе у постели больного, заботы о немъ, чтеніе его мыслей — все это мало-по-малу превратилось для нея и въ наслажденіе, и въ страданіе. И то, и другое возрастало въ одинаковой пропорціи; и страданіе пугало ее столько же, сколько наслажденіе манило.

Съ возрастающимъ страхомъ чувствовала она, какъ тысячи невидимыхъ нитей привязывали ее все крѣпче и крѣпче къ этому умирающему человѣку. И она уже предчувствовала, что будетъ, когда всѣ эти нити вдругъ разомъ оборвутся.

Тогда инстинктъ самосохраненія громко взывалъ къ ея благоразумію и требовалъ, чтобы она не такъ беззавѣтно отдавалась этимъ отношеніямъ, которыя должны были скоро порваться и вызвать страданіе, уже предвкупаемое ею.

Но она *не могла* больше рѣшиться на разрывъ, потому что и въ этомъ случаѣ ее ждали душевныя муки. И эти муки были бы для нея еще невыносимѣе, такъ какъ она сознавала бы тогда себя виновной въ томъ, что безсердечно и эгоистично покинула того, послѣдніе часы котораго она скрасила своимъ присутствіемъ, котораго она озарила блѣднымъ отблескомъ вечерней зари, для котораго она была послѣднимъ привѣтомъ молодости и жизни, и благоуханіемъ фіалокъ, и цвѣтомъ липы.

Состояніе ея здоровья ухудшалось. Эти ежедневно возобновляющіяся душевныя терзанія окончательно разстроили ея нервы, которые никогда не были крѣпкими. Когда она вечеромъ возвращалась домой послѣ того, какъ провела все послѣобѣда у постели больного, то она чувствовала себя совершенно разбитой отъ усталости. Но спать она не могла. Невыносимая боль, какъ отъ прикосновенія раскаленнаго желѣза, сосредоточивалась въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ мозга, и она ворочалась въ своей постели, приходя въ отчаяніе отъ того, что не было никакихъ средствъ прекратить эту боль между глазами.

А мысли проносились въ ея наболѣвшемъ мозгу, какъ забывающіе дerviши: злыя мысли, безобразныя, эгоистичныя, безсердечныя, какія порождаетъ страданіе и которыхъ стыдится душа.

У нея не было въ достаточной степени ни мужества, ни силы, ни выдержки, чтобы нести хоть малѣйшую долю страданій другого. Она должна была освободиться отъ этого! Жизнь была слишкомъ жестока по отношенію къ ней! Она взвалила на ея плечи слишкомъ много страданія и дала ей слишкомъ мало радости въ обмѣнъ. Ея душа жаждала хоть сколько-нибудь радости, а между тѣмъ, если на ея долю и выпадала хоть капля счастья, то ей приходилось расплачиваться за это въ сто кратъ большими страданіями! Она стремилась къ свѣтлому, спокойному счастью, которое даетъ отдыхъ отъ всѣхъ тревогъ и ласкаетъ въ то же время. Какъ часто приходилось ей видѣть людей, которые валяются и нѣжатся въ тепломъ пескѣ, довольные и счастливые, и не знаютъ ни страданій, ни тоски. Почему же жизнь такъ жестока къ ней, какъ если бы она была ея падчерицей, почему ее не падить ни холодъ, ни осенній дождь?

Но вдругъ въ ея воображеніи вставалъ образъ больного поэта, который уже семь лѣтъ велъ безнадежную борьбу со смертію. На его

блѣдномъ лицѣ лежалъ страдальческій отпечатокъ покорности. И ей стало стыдно за себя, за свой эгоизмъ, за свою безсердечность и за то, что у нея нехватаетъ силы противостоятъ физическимъ страданіямъ.

Но нехорошія мысли снова брали верхъ. Вѣдь онъ всетаки успѣлъ пожить! И его жизнь вставала передъ ней въ освѣщеніи тѣхъ его произведеній, которыя она больше всего любила. Въ нихъ были и печаль, и тоска, и погибшія иллюзіи, но также и счастье взаимной любви и поцѣлуи подъ благоухающими лианами въ тихія лѣтнія ночи, полныя грезъ. Въ нихъ были слезы и вздохи, но также шутка и смѣхъ. Это былъ цѣлый міръ, въ которомъ веселый задоръ разгуливалъ съ высоко поднятой головой и беззаботно насвистывалъ, и гдѣ чувство покоилось среди благоухающихъ розъ подъ голубымъ весеннимъ небомъ.

Вотъ по этому-то міру она и тосковала, къ нему-то она и рвалась подобно птицѣ, привязанной желѣзной цѣпью къ землѣ.

Жизнь, которая могла бы быть такъ богата, протекала въ вѣчномъ однообразіи. Она не хотѣла принимать тѣхъ крохъ, которыя перепадали ей отъ этой жизни! Она стремилась жить полной, богатой жизнью, пока кровь ея еще горячо переливалась въ жилахъ, пока въ ухахъ ея раздавались обворожительные, таинственные напѣвы, пока весь ея капиталъ молодости, силы и красоты — несмотря ни на что — былъ еще богатъ и неисчерпанъ.

Эти постоянныя душевныя терзанія, постоянные переходы отъ скорби къ радости измучили ее, и она не въ силахъ была больше переносить ихъ!

Докторъ посовѣтовалъ ей хоть на часть лѣта покинуть Парижъ и поѣхать въ какой-нибудь курортъ, чтобы вылѣчить свои больные нервы. Ея мать осаждала ее просьбами послѣдовать совѣту доктора. Но она долго не могла принять никакого рѣшенія. Однако за послѣднее время нервныя страданія въ долгія безсонныя ночи стали невыносимы, и она должна была рѣшиться на что-нибудь, — она рѣшила уѣхать.

Гейне она ничего не говорила объ этомъ. Она дѣлала свои приготовленія тайкомъ, какъ если бы готовилась къ побѣгу; и она трепетала при мысли о той минутѣ, когда она будетъ принуждена заговорить съ нимъ объ этомъ. Она знала, что своимъ отъѣздомъ причинитъ ему страданіе, а она была проникнута такимъ глубокимъ чувствомъ благоговѣнія передъ нимъ, что одно только это чувство связывало ее по рукамъ и по ногамъ. Напрасно разумъ ея возмущался и требовалъ, чтобы она порвала эти узы; они вросли въ

ея сердце, и она не могла порвать ихъ, не нанеся сердцу кровавой раны.

Но теперь она приняла твердое рѣшеніе. Сегодня она пойдетъ къ нему въ послѣдній разъ.

Она остановилась передъ сундукомъ съ упакованными вещами, который стоялъ въ углу комнаты, — да, все приготовлено къ отъѣзду, но предстояло пройти еще черезъ самое тяжелое.

Она старалась представить себѣ выраженіе его лица, когда она скажетъ ему о своемъ рѣшеніи, и при одной только этой мысли ее пронизывала дрожь съ головы до ногъ.

Она еще разъ сѣла за свой письменный столъ и, чтобы хоть немного успокоить нервы, еще разъ пробѣжала глазами стихотвореніе, которое лежало передъ ней. И вдругъ въ связи съ этимъ стихотвореніемъ въ ней зародилась одна надежда. Ей пришло въ голову, что она могла бы продолжать переводить стихотворенія Гейне и перевести весь циклъ подъ заглавіемъ «Новая весна» на французскій языкъ. Она знала, что за переводъ всѣхъ этихъ стихотвореній уже взялся кто-то другой, и что они должны были быть напечатаны въ *Revue des deux Mondes*. Но тѣмъ не менѣе она всетаки исполнить эту работу! Тогда связь между поэтомъ не будетъ порвана съ ея отъѣздомъ. Тогда она будетъ имѣть право писать ему и, можетъ быть, будетъ получать отъ него отъ времени до времени нѣсколько строкъ въ отвѣтъ.

Но приметъ ли онъ ея работу?

Какое-то внутреннее чувство подсказывало ей, что онъ приметъ. Онъ пойметъ, что она будетъ работать для него, а не изъ-за личныхъ интересовъ.

А хватитъ ли у нея силъ для этого?

Она надѣялась, что хватитъ. Она была убѣждена въ томъ, что понимаетъ его лучше, чѣмъ кто-либо другой, такъ какъ любитъ его больше, чѣмъ кто-либо другой.

Все послѣобѣда Марго провела у больного. Она написала подъ его диктовку письмо къ его матери-старушкѣ, жившей въ Дамтхорст-штрассе въ Гамбургѣ. Письмо это было веселое и забавное и полно самой нѣжной лжи о здоровьѣ сына и прочихъ обстоятельствъ его жизни; а потому-то оно и произвело такое глубокое и непреодолимое впечатлѣніе на ту, которая писала его. Она сидѣла за его письменнымъ столомъ спиной къ его кровати; изрѣдка она оборачивалась и смотрѣла на это мертвенно-блѣдное, страдальческое лицо, изъ устъ котораго изливались живыя, любвеобильныя слова. Онъ сочинялъ.

— Никогда мнѣ не нужна была моя фантазія такъ, какъ теперь,—сказалъ онъ съ отѣнкомъ горькой ироніи.— Бѣдная старушка! Если бы она знала, въ какомъ ужасномъ положеніи я нахожусь, то она умерла бы отъ горя.

— Но какъ это возможно, что она ничего не знаетъ?

— Ты забываешь, что у насъ въ Германіи есть такое благотѣльное учрежденіе, которое называется цензурой,—отвѣтилъ онъ съ улыбкой.— Вотъ эту-то систему мы примѣняемъ и въ частной жизни. Старушкѣ за 80 лѣтъ и она нигуда не выходитъ изъ дому. Моя сестра Шарлотта живетъ неподалеку отъ матери,—вотъ она и конфискуетъ всѣ газеты, въ которыхъ есть хоть что-нибудь о состояніи моего здоровья. И никому не разрѣшается посѣщать старушку безъ предварительныхъ инструкцій со стороны моей сестры.

— А твои книги?

— Для моей матери выпускается отдѣльное изданіе—маленькое изданіе, состоящее изъ одной книги, изъ которой тщательнымъ образомъ изъяты всѣ произведенія, содержащія въ себѣ какіе-нибудь намеки на тяжелое состояніе моего здоровья.

И онъ продолжалъ диктовать свое веселое письмо. Но въ то время, какъ рука ея механически писала слова на бумагѣ, мысли ея были неотступно заняты этими странными отношеніями между матерью и сыномъ. Въ продолженіе семи лѣтъ онъ каждый мѣсяць сочинялъ подобное письмо. Сколько трогательной сыновней нѣжности скрывалось въ этихъ живыхъ словахъ! Сколько вниманія, какого изощренія ума понадобилось, чтобы такъ ловко, до мелочей ввести въ заблужденіе материнскую чуткость! И сколько силы воли у этого больного, который никогда не проронилъ ни единой жалобы, не испустилъ ни одного вздоха подъ гнетомъ своихъ страданій!

Письмо было окончено.

— Теперь прочти мнѣ его вслухъ,—сказалъ онъ.

Она прочла письмо. Когда она окончила, то на губахъ больного появилась довольная улыбка.

— Дай перо, я подпишусь.

Онъ съ трудомъ сѣлъ въ постели, а она поддерживала его за плечи въ то время, какъ онъ медленно выводилъ свое имя большими, естественно вычурными буквами. Это былъ послѣдній актъ этого вятого обмана.

— Я писалъ ей, что мое зрѣніе ослабѣло, и что поэтому я прибѣгаю къ помощи секретаря.

Онъ снова опустился на подушки и долго лежалъ такъ, молча и неподвижно.

Сердце Марго забилося сильно и беспокойно. Минута наступила, неизбежное должно было случиться. Все время, пока она сидѣла у больного, признаніе жгло ея языкъ, но у нея нехватало мужества выговорить необходимыя слова. Но теперь они вырвались изъ ея устъ внезапно, бессознательно, какъ бы подъ напоромъ судорожнаго проявленія воли:

— Я собираюсь уѣхать!

По его тѣлу прошла дрожь, какъ если бы его ударили по самому чувствительному мѣсту. Она уже испугалась, что вотъ-вотъ начнется одинъ изъ судорожныхъ припадковъ, но этого не случилось.

— Уѣхать? — повторилъ онъ, словно не отдавая себѣ отчета въ значеніи этого слова.

— Да, — проговорила она тихо, какъ бы стыдясь своего признанія.

— И ты ничего не говорила? — Этотъ упрекъ поразилъ ее въ самое сердце.

— Я не могла, — сказала она дрожащимъ голосомъ, и ея голубые глаза наполнились слезами, грозя вылиться изъ нихъ и потечь по щекамъ. — Мнѣ казалось, что я не имѣю права на это — на то, чтобы думать о своемъ здоровьѣ, когда... когда ты...

Казалось, словно онъ не слыхалъ ея послѣднихъ словъ.

— Ты завтра придешь?

Онъ говорилъ отрывисто, напряженно, и его вопросъ производилъ впечатлѣніе приказанія. Если бы отъ этого зависѣла ея жизнь, то и тогда у нея нехватило бы духу отвѣтить ему, что она собиралась уѣхать въ этотъ же день.

— Да, — отвѣтила она, — я приду завтра. И если хочешь, то я останусь...

Ея сердце больно сжалось и на мгновеніе перестало биться. Она увидала, какъ двѣ крупныя прозрачныя слезы вытекли изъ-подъ парализованныхъ вѣкъ и покатались по мраморному неподвижному лицу съ застывшимъ выраженіемъ, какъ если бы въ немъ не было и искры жизни. Это производило такое же впечатлѣніе, какъ если бы плакалъ мертвецъ.

Она бросилась на колѣни передъ кроватью, склонилась надъ нимъ и стала ласкать его голову своими руками.

— Прости! — рыдала она. — Я такая эгоистка и такая нехорошая. Но я останусь, если только ты этого хочешь!

Онъ приподнялъ вѣко своимъ указательнымъ пальцемъ и взоръ его яснаго, голубого глаза проникъ прямо въ ея глазъ съ выраженіемъ глубокой любви и доброты.

— Дитя! — сказалъ онъ только.

На слѣдующій день она снова пришла къ нему, чтобы попрощаться съ нимъ.

Было удушливо жарко. Дверь на балконъ стояла раскрытой, но воздухъ, который проникалъ въ комнату, не приносилъ съ собой ни прохлады, ни свѣжести.

Онъ лежалъ на своей кровати въ томъ же положеніи, въ какомъ она такъ часто раньше видѣла его, — но теперь ее вдругъ поразила мысль объ ужасномъ однообразіи его жизни. Никогда не сознавала она такъ ясно, какъ теперь, что она была единственной радостью въ этой бѣдной жизни.

Его обращеніе съ ней было сдержанно. Прежней экспансивной сердечности не было больше. И она вдругъ съ болью почувствовала, что они отдалились другъ отъ друга, что разстояніе между ними будетъ все расти и расти, и она станетъ для него тѣмъ же, чѣмъ были всѣ другія женщины, которыя приходили къ нему, останавливались на одно мгновеніе у его постели и исчезали.

— Я прочелъ твой переводъ, — сказалъ онъ дѣловымъ тономъ. — Если хочешь, то попробуй перевести также и другія стихотворенія изъ «Новой весны» и пришли ихъ мнѣ; я сравню твой переводъ съ другими переводами и затѣмъ приму рѣшеніе. — Во всякомъ случаѣ прими мою благодарность за всѣ тѣ доказательства твоей преданности, которыя ты уже дала мнѣ.

Онъ говорилъ такъ холодно, чтобы сдѣлать прощаніе менѣе тягостнымъ. Онъ боялся, что иначе его сердце разорвется отъ горя.

Въ его тонѣ было нѣчто такое, что до боли заставило сжаться ея сердце. Она подумала, что онъ хочетъ наказать ее этимъ.

— Я знаю, что моя работа не многого стоитъ. Но это во всякомъ случаѣ займетъ меня, пока меня не будетъ здѣсь, и...

Она боялась продолжать. Она боялась, что въ ея словахъ и въ интонаціи ея голоса будетъ слишкомъ много чувства. А она уже больше не имѣла права на проявленіе своихъ чувствъ.

На мгновеніе наступило молчаніе. Она отвернула свои глаза. — Неужели это такъ кончится!

Итакъ, все то, что выросло за эти послѣднія недѣли на почвѣ дружескаго общенія, должно отнынѣ исчезнуть, должно быть выжато съ корнемъ. Когда она снова возвратится къ нему, то она уже не будетъ для него не болѣе, какъ одна изъ другихъ — одна изъ многихъ. И сердце разрывалось на части отъ нестерпимой боли. Ей казалось, о только въ это мгновеніе она поняла, что она теряетъ.

Она сидѣла и пристально смотрѣла на тонкій лучъ солнца, который проникалъ въ комнату сквозь щель маркизы за окномъ. Пылин-

ки плясали, какъ живые міазмы въ этомъ тонкомъ солнечномъ лучѣ. Въ ея глазахъ замелькали всѣ цвѣта радуги.

— Какъ я буду одинокъ, когда ты уйдешь,—сказалъ онъ тихо. Но когда онъ услышалъ, что она борется съ рыданіемъ, онъ сейчасъ же снова перешелъ на холодный, почти рѣзкій тонъ:

— Ты доставляла мнѣ много радости. Если намъ не придется больше встрѣтиться, то прими теперь мою благодарность за все. Эта благодарность горячая, хотя и немногословная.

Она закусилла губы, чтобы подавить рыданія, которыя готовы были вырваться изъ ея горла.

— Теперь уходи,—сказалъ онъ, протягивая ей свою руку.— Прощай!

Но когда онъ почувствовалъ ея руку въ своей, то онъ не могъ больше владѣть собой. Онъ привлекъ ее къ себѣ и поцѣловалъ. А когда онъ увидалъ ея лицо, искаженное страданіемъ, онъ нѣжно провелъ по нему своей рукой.

— Ну, полно, полно.—Его принужденный, холодный тонъ уступилъ мѣсто ласковой ироніи, чѣмъ онъ обыкновенно старался успокоить свое и чужое душевное волненіе.

— Моя маленькая *Mouche*,—сказалъ онъ.—Мы, конечно, еще увидимся. Но спасибо тебѣ за все! Ты была послѣднимъ крылатымъ насѣкомымъ въ моемъ лѣтѣ. Мнѣ будетъ недоставать твоего жужжанія, которое раздавалось вокругъ меня. И я буду тосковать по тебѣ.

Она ничего не могла отвѣтить. Но въ первый разъ ея трепещущія губы искали его губъ.

Наконецъ она употребила надъ собой всю силу воли и поднялась. Подойдя къ двери, она еще разъ обернулась и въ послѣдній разъ обвела взоромъ комнату.

— *Au revoir*,—прошептала она.

IV.

За окномъ лилъ дождь и раздавались непрерывные и однообразные звуки отъ миллионовъ падающихъ капель воды.

Лихорадочная жизнь громаднаго города какъ будто замерла, залитая новымъ всемірнымъ потокомъ. Въ комнату больного въ пятомъ этажѣ въ *Avenue Matignon* доносился съ улицъ лишь заглушенный шумъ, похожій на морской прибой, когда море тихо; это походило также на таинственный шопоть лѣса, когда вѣтеръ не играетъ въ верхушкахъ деревьевъ... или на мольную симфонію безъ рѣзкихъ звуковъ, на звуковую картину въ сѣрыхъ, неопредѣленныхъ тонахъ...

Въ большомъ креслѣ у одного изъ оконъ сидѣлъ Генрихъ Гейне въ толстомъ, мягкомъ халатѣ, въ которомъ почти совершенно скрывалось его маленькое съжившееся тѣло.

Барандашъ бездѣйствовалъ въ его рукѣ, а голова его опустилась на столъ какъ разъ въ томъ мѣстѣ, куда горящая лампа бросала кругъ свѣта.

Больной писалъ въ продолженіе двухъ часовъ, и теперь силы его истощились. Въ головѣ было пусто, въ ней не было больше ни единой мысли, которую можно было бы превратить въ золото; мозги были такъ утомлены, что не могли больше удерживать тѣхъ отрывковъ мыслей, которые сила воли выдавливала изъ нихъ, какъ капли крови.

Казалось, словно всѣ способности воспринимать внѣшнія впечатлѣнія умерли; словно остался только одинъ проводникъ, слухъ между внѣшнимъ міромъ и этой головой Христа въ бѣломъ вѣнцѣ ламповаго свѣта, прислушивающейся къ однообразной беззвучной симфоніи падающихъ дождевыхъ капель.

Однако подъ блѣднымъ лбомъ работала фантазія и жила своей особой жизнью. Надъ пустыней, лишенной всякихъ мыслей, простиралось блѣдно-голубое небо безъ солнца, и на это небо взиралъ продолговатый и прозрачный, какъ человѣческій глазъ, кусочекъ зеркальной водяной поверхности.

Этотъ глазъ увидалъ странный зимній путь, который тянулся по тусклому небу отъ одного края горизонта до другого.

Онъ начинался на востокѣ блѣдной полосой и потомъ все расширялся, по мѣрѣ того какъ приближался къ цѣлому потоку изъ туманныхъ образовъ и переливающихся неясныхъ очертаній; и каждая волна, каждая струя въ этомъ потокѣ, каждое очертаніе подъ дымкой тумана было лицомъ, воспоминаніемъ, тоской желанія изъ его прошедшей жизни.

Безъ конца, безъ перерыва плылъ этотъ караванъ по безжизненному голубому небу. Вдали на западѣ туманъ становился гуще и собирался въ темную тучу, которая падала на землю въ видѣ дождя. И каждая капля этого дождя была погибшей иллюзіей, притупившейся ской, охладѣвшимъ воспоминаніемъ. А капли падали и падали безъ нца и во время паденія оставляли за собою сверкающій слѣдъ и развалили какъ бы струны на невидимой арфѣ. И на этой арфѣ нецимыя руки играли однообразную, беззвучную симфонію.

Безъ конца тянулась свѣтлая вереница по безжизненному голубу небу; туманные образы на мгновеніе отражались въ зеркальной поверхности воды и затѣмъ проносились мимо... И большое печаль-

ное око взирало на нихъ съ той же мертвой скорбью, какъ и на пустынное небо.

Но вотъ блѣдный потокъ съ туманными образами заструился какъ будто живѣе. Казалось, словно что-то старается пробиться сквозь волны потока; все быстрѣе и быстрѣе струился потокъ, и, наконецъ, изъ него поднялась женская фигура; она склонилась надъ зеркальной поверхностью и посмотрѣла въ самую глубину своими вдумчивыми голубыми глазами.

По всей нервной системѣ больного прошелъ трепетъ, какъ отъ прекраснаго, волшебнаго акорда. Симфонія дождевыхъ капель какъ будто замолкла; безжизненное, голубое небо какъ будто вдругъ освѣтилось золотистымъ отблескомъ солнечныхъ лучей. Пустыня превратилась въ цвѣтущую страну со множествомъ самыхъ разнообразныхъ пестрыхъ цвѣтовъ, покрытыхъ свергающей росой; въ воздухѣ раздавалось пѣніе птицъ, а по лугу проносился мягкій, ласкающій вѣтерокъ, наполненный благоуханіемъ фіалокъ и ландышей.

Казалось, что всѣ умершія мысли вдругъ на мгновеніе воскресли.

А она стояла передъ нимъ съ выраженіемъ мольбы на прекрасныхъ чертахъ. Бѣлая шелковая одежда мягкими складками спускалась съ ея волнующейся груди и обрисовывала ея стройную фигурку. Она протягивала ему свои руки, а изъ-подъ бѣлокурыхъ волосъ, которые свѣшивались на ея лобъ, подобно весеннему облачку, свергали глаза—двѣ голубыя звѣзды, которыя сіяли безграничной преданностью.

Но вотъ онъ услышалъ ея голосъ, мелодичный и прекрасный, напоминавшій изображеніе страсти въ исполненіи маэстро на альтовой скрипкѣ изъ Кремоны: «Я люблю тебя! Я твоя! Держи меня вѣрнѣе... не отпускай меня, какъ другихъ! Я люблю тебя!»

Онъ почувствовалъ, какъ сильно, до боли, въ его собственной груди прозвучало: «Я люблю тебя». Онъ хотѣлъ протянуть къ ней руки и привлечь ее къ себѣ, онъ хотѣлъ броситься къ ней... но сила его воли разсѣялась въ воздухѣ, какъ дымъ. Отъ всего его существа не осталось ничего, кромѣ большого печальнаго глаза, въ которомъ на одно мгновеніе отразилась ея красота.

И вотъ все вдругъ завяло вокругъ него; пѣніе птицъ замолкло; цвѣты перестали благоухать; на небѣ угасли золотые отблески. Образъ бѣлой женщины погрузился въ туманъ, формы и очертанія исчезли... наконецъ остались только большіе голубые глаза, которые съ выраженіемъ мольбы смотрѣли изъ-за завѣсы тумана, и потокъ понесся дальше.

Онъ поднялъ свою отяжелѣвшую голову со стола, и работа мышления, которая на мгновение замерла, началась снова въ его неутомимомъ мозгу.

Уже много лѣтъ прикованный къ кровати, лишенный ногъ и полуслѣпой, онъ такъ мало имѣлъ точекъ сопряженія съ внѣшнимъ міромъ, что вся жизнеспособность, которая еще оставалась въ его разрушенномъ тѣлѣ, сосредоточивалась на душевной работѣ и на фантазіи. Когда одна рука или нога отсыхаетъ или не можетъ больше работать, то другая нога или рука приобретаетъ двойную силу. Такъ и его тѣло увидало въ продолженіе семи лѣтъ, пока онъ лежалъ прикованный къ кровати, тогда какъ міръ фантазіи, въ которомъ онъ жилъ, принялъ гигантскіе размѣры. Эти размѣры пугали его. Онъ боялся, что наступитъ минута, когда разумъ его окажется недостаточно сильнымъ для того, чтобы укротить эту возрастающую фантазію, и тогда...

Уже и теперь случалось иногда, что граница между фантазіей и дѣйствительностью сглаживалась, и плодъ его воображенія выступалъ съ такою ясностью и такъ отчетливо, какъ это только бываетъ въ дѣйствительной жизни. Но плодъ его воображенія являлся ему всегда въ болѣе яркихъ краскахъ, нежели это бываетъ въ жизни; по этому-то признаку онъ и узнавалъ плодъ своего воображенія.

То же самое было и теперь.

Онъ сидѣлъ и прислушивался къ монотонному шуму дождя за окномъ и въ то же время онъ наслаждался тишиной и покоемъ, царившими вокругъ него. Матильда ушла къ своей подругѣ въ общество Полины, а Кокоть мирно спала на нашествѣ въ своей клѣткѣ. Во всей квартирѣ не слышно было ни единого звука, и эта необыкновенная тишина была такъ же цѣлительна для его больныхъ нервъ, какъ освѣжающая повязка для наболѣвшей раны.

Его охватило чувство уюта и тепла. Этотъ день былъ для него праздникомъ, давно желаннымъ отдыхомъ среди будней страданій. Онъ даже не думалъ о томъ, что завтра наступитъ конецъ отдыху, такъ онъ отдался наслаженію этими минутами полного освобожденія отъ страданій.

Онъ откинулся на спинку кресла и наклонилъ голову на край спинки. Онъ думалъ о той, которую только что видѣлъ въ туманѣ и которая старалась какъ бы воскреснуть къ дѣйствительной жизни и устремлялась къ нему, какъ живое существо съ горячей кровью реди всѣхъ другихъ безжизненныхъ образовъ въ хаосѣ его воспоминаній. Онъ улыбнулся.

Вѣдь она была не чѣмъ инымъ, какъ воскресшимъ идеаломъ, во-

плотившимся воспоминаніемъ о той женщинѣ, которой онъ отдалъ самое сильное и глубокое чувство первой молодости. Правда, ничего не было опредѣленнаго, бросающагося въ глаза въ сходствѣ между Марго и Амаліей Гейне; но если бы и было что-либо подобное, то онъ не могъ бы сказать, въ чемъ именно заключается это сходство, такъ какъ черты возлюбленной его юности съ теченіемъ времени стали очень туманными въ его памяти. Послѣ долгой разлуки онъ снова увидалъ идеалъ своей юности въ видѣ полнотѣлой матроны, и когда грубый образъ послѣдней заслонялъ собою тонкую фигуру дѣвушки, то онъ напрягалъ всю силу своей фантазіи, чтобы сохранить неприкосновенными первыя прекрасныя воспоминанія. А потому-то Амалія осталась для него тѣмъ, чѣмъ была: головкой ангела на золотистомъ фонѣ цвѣта рейнвейна, — блѣдной, тихой, печальной дѣвушкой у окна въ одномъ изъ безлюдныхъ домовъ затонувшаго на морской глубинѣ города.

Тѣмъ болѣе во всемъ существѣ Марго было нѣчто такое, что напоминало этотъ образъ изъ міра поэтическихъ грезъ въ соединеніи съ дѣйствительностью; и воображеніе его останавливалось на сходныхъ чертахъ и проходило мимо несходныхъ, не замѣчая ихъ.

Самое сильное впечатлѣніе производилъ на него ея голосъ. Онъ былъ всегда необыкновенно чувствителенъ къ людскому голосу, къ его оттѣнкамъ и выраженію; часто самыя глубокія его симпатіи и антипатіи, происхожденіе которыхъ онъ самъ не могъ себѣ объяснить, возникали вслѣдствіе его тонкаго слуха и нервовъ, а не вслѣдствіе зрѣнія и сердца. А за послѣдніе годы, когда онъ наполовину потерялъ зрѣніе, его слухъ достигъ невѣроятной степени чувствительности. Онъ наслаждался красивымъ человѣческимъ голосомъ, какъ самой прекрасной музыкой, — онъ находилъ, что никогда еще не слышалъ такого чарующаго голоса, какъ ея голосъ: въ немъ слышались и подавленная страсть и нѣжная ласка.

И ему вдругъ почудилось, что въ тиши раздался ея голосъ, подобно отдаленной мелодіи, и всѣмъ его существомъ овладѣло блаженное оцѣпенѣніе. Ему показалось, что онъ въ первый разъ въ жизни испытываетъ то великое счастье, о которомъ онъ мечталъ въ дни молодости, — любить и быть любимымъ.

Но едва это сознаніе вылилось въ форму мысли, какъ въ углублѣннѣ рта мечтательной головы Христа появилась насмѣшливая улыбка Мефистофеля.

Въ первый разъ! Да, такъ это кажется каждый разъ, когда ли бишь, или думаешь, что любишь. Всегда кажется, что это въ первый или въ послѣдній разъ. То, что остается позади, всегда получает

другую окраску и другое названіе. Любовью называютъ всегда только тотъ настоящій, непредѣльный хаосъ, надъ которымъ парить духъ Купидона.

Мысленно онъ окинулъ взоромъ длинный рядъ предметовъ своей любви, и всѣ они, какъ безжизненные тѣла, смотрѣли на него широко раскрытыми, безжизненными глазами. И при этомъ мысленномъ обзорѣ его сердце слегка сжалось, какъ отъ отзвука тѣхъ страданій и мукъ, которыхъ всѣ эти женщины ему стоили.

Въ этомъ отношеніи не могло служить исключеніемъ и самое продолжительное изъ его любовныхъ приключеній—его бракъ.

Онъ вспомнилъ всѣ тѣ вечера, которые онъ провелъ въ мучительной тревогѣ во власти безумныхъ пытокъ ревности. Матильда уходила въ какой-нибудь театръ или въ концертъ, а дома лежалъ онъ беспомощно на своей постели, лишенный ногъ, и воображеніе рисовало ему молодыхъ, красивыхъ мужчинъ, которые бросали жгучіе взоры, полные желанія, на молодую женщину, его жену. Могъ ли онъ, жалкій калѣка, ставить себя наравнѣ со всѣми этими здоровыми, сильными мужчинами? Эта мысль заставляла его такъ страдать, что холодный потъ выступалъ у него на лбу. И въ то же время ему было стыдно невыразимо своихъ подозрѣній, — ему было стыдно также и того, что скрывалось подъ этими подозрѣніями: что его жена была тѣломъ безъ души.

Но онъ ее выбралъ такую, какою она была, и думалъ, что онъ дѣлаетъ выборъ, вполне соотвѣтствовавшій его вкусу. Онъ всегда питалъ отвращеніе къ «ученымъ», образованнымъ женщинамъ, которыя, выставляя напоказъ ту малую долю души, какою обладаютъ, предлагаютъ такъ называемое духовное общеніе съ другой душой, величіе которой онъ неспособенъ даже измѣрить. Идеаль женщины, который онъ создалъ, благодаря своему житейскому опыту, былъ полной противоположностью тѣхъ одухотворенныхъ женскихъ идеаловъ его молодости; въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, его натура пошутила надъ нимъ, и онъ впалъ въ крайность. Онъ ненавидѣлъ синіе чулки и передовыхъ женщинъ, но онъ боготворилъ тѣхъ, которыя были прекрасны и тупы, — чѣмъ прекраснѣе и тупѣе, тѣмъ лучше. Онъ смотрѣлъ на женщину, какъ на низшее существо, рѣднзначенное природой дѣлать съ мужчиной радости любви, но не го духовную жизнь. Пожалуй, еще услаждать его въ часы досуга юей болтовней, которая должна уснокоительно дѣйствовать на его томленные нервы, какъ и ея звонкій, беззаботный смѣхъ и легкое рикосновеніе ея рукъ, ласкающихъ шею, волосы и бороду.

Матильда дала ему все это и даже гораздо больше. Она была его

куклой, которую ему доставляло удовольствіе наряжать въ красивыя платья; она была его маленькимъ домашнимъ животнымъ, которое ѣло изъ его рукъ и спало у него на груди; она была его обезьянкой, которая забавляла его своими выходками и освѣжала его душу своей очаровательной глупостью, — его звѣркомъ, на котораго онъ смотрѣлъ съ высоты своего человѣческаго достоинства, но котораго онъ тѣмъ не менѣ любилъ горячо и искренно, съ благороднымъ порывомъ, вызваннымъ нѣжной благодарностью. Онъ и теперь еще мысленно благодарилъ ее за все то счастье, которое она подарила ему, и онъ былъ радъ, что могъ обезпечить ея жизнь и послѣ того, какъ его не будетъ больше на свѣтѣ.

И всетаки... всетаки...

Онъ вспомнилъ ту ужасную ночь семь лѣтъ тому назадъ, ту ночь, которая навсегда осталась въ его памяти, какъ нѣчто самое ужасное изъ всего того, что ему когда-либо приходилось переживать, какъ высшая степень человѣческихъ страданій и униженія человѣческаго достоинства. Матильда ушла къ своей подругѣ, madame Arnault, и долго не возвращалась домой. Было уже поздно. Одинъ часъ проходилъ за другимъ. А онъ лежалъ на своей постели безъ сна, мучимый лихорадкой, обезумѣвшій отъ ревности. Постель жгла его, какъ если бы онъ лежалъ на раскаленной плитѣ, но онъ не могъ подняться. Каждый фибръ въ его наболѣвшей нервной системѣ былъ напряженъ до послѣдней крайности; малѣйшій звукъ заставлялъ его вздрагивать, какъ отъ укола иголки. Пробило двѣнадцать часовъ; пробило часъ; Матильда не возвращалась.

Онъ принялъ морфію, стараясь успокоить себя; но тщетно, это не принесло ему облегченія. Онъ принялъ вторую дозу, болѣе сильную, нежели обыкновенно; и тогда, наконецъ, натянутые нервы поддались, и онъ впалъ въ забытѣе, потерявъ сознаніе.

Онъ не зналъ, долго ли онъ находился въ этомъ состояніи; но тревога была только притуплена, а не уничтожена. Среди ночи онъ вдругъ весь вздрогнулъ, какъ отъ удара, и проснулся. Его лобъ, волосы, все тѣло было въ поту. Онъ притаилъ дыханіе, стиснулъ зубы, чтобы они не стучали другъ о друга, и сталъ прислушиваться: ему показалось, что изъ комнаты его жены доносится какой-то шорохъ, какіе-то странные звуки. Онъ не могъ встать, не могъ пойти туда; но онъ употребилъ надъ собою страшное усиліе, перевернулся въ постели и далъ своему тѣлу упасть съ постели на полъ. Со стиснутыми зубами, чтобы помѣшать стономъ выдать свое мучительное состояніе, онъ поползъ на рукахъ черезъ свою комнату, потомъ черезъ гостиную къ двери той комнаты, гдѣ спала Матильда. Тамъ онъ

остановился, прислушиваясь съ сильно бьющимся сердцемъ и шумомъ въ вискахъ. Онъ услышалъ только храпѣнье Матильды. Она спала.

Въ то же мгновеніе онъ почувствовалъ, какъ всѣ части его тѣла точно размягчались, руки согнулись, колѣни подогнулись, и онъ впалъ въ глубокой обморокъ, растянувшись на полу и положивъ голову на порогъ комнаты своей жены. Въ такомъ положеніи его нашла служанка на слѣдующее утро.

Еще и теперь, когда онъ вспоминалъ это, семь лѣтъ спустя, по его спинѣ проходила холодная струя и все его тѣло содрогалось. Но онъ не хотѣлъ думать объ этомъ теперь, не хотѣлъ терзать себя этими воспоминаніями въ этотъ день отдыха отъ страданій. Онъ хотѣлъ думать только свѣтлыя, пріятныя мысли—думать о La Mouche.

Онъ видѣлъ ея милое лицо передъ собою; ея жизнерадостный ротъ со скорбными чертами въ углахъ губъ, ея большіе голубые глаза и русые вьющіеся волосы, которые она отбрасывала назадъ задорнымъ движеніемъ своей маленькой птичьей головки. Она любила его. Быть можетъ, въ это мгновеніе она сидѣла въ своей комнатѣ въ Вильбадѣ и переводила одно изъ его стихотвореній на французскій языкъ.—На его лицѣ промелькнула улыбка, прекрасная, добрая улыбка, хотя и съ маленькимъ отгѣнкомъ ироніи и превосходства. Вѣдь она принадлежала къ презрѣнному классу образованныхъ женщинъ! Она была синимъ чулкомъ! Но она сдѣлалась имъ изъ любви къ нему и къ его поэзіи,—и... и... она была такъ обворожительна, какъ женщина.—Онъ самъ, ненавистникъ синихъ чулковъ *rag excellence*, часто принужденъ былъ хвалить ея писательскій талантъ—подъ вліяніемъ ея чарующей прелести. Не далѣе, какъ въ послѣднемъ письмѣ онъ хвалилъ ее. Но развѣ это могло быть иначе? Она переводила его стихотворенія только изъ-за любви къ нему, неужели же у него могло бы хватить мужества порицать ее за недостатокъ гениальности въ ея переводахъ! Единный волосокъ изъ ея шелковистой шевелюры былъ для него дороже всѣхъ гениевъ на землѣ.

Она была такая добрая, такая нѣжная. И сердце у нея было гениальное,—оно было гениально по своей чуткости, вслѣдствіе которой она понимала сердцемъ, а не разумомъ. Чего же можно было желать еще больше? Развѣ гениальность горячаго сердца не стодитъ гораздо больше, нежели холодный разумъ головы? Эта гениальность сердца привлекала такъ же, какъ мягкія, любящія объятія, въ которыхъ ищеть отдыха усталая голова поэта. Какой блаженный отдыхъ можно было бы найти въ такихъ объятіяхъ! Какое наслажденіе было бы сознать себя понятымъ!

Понятным? Это слово поразило его. Это и было то смутное желание его юныхъ лѣтъ, страстное стремленіе слиться съ женщиной душой и тѣломъ въ объятіи горячаго, беззавѣтнаго порыва, и въ этомъ же объятіи найти успокоеніе. Понятным? не головою, а нервами и сердцемъ. Имѣть возможность дѣлиться всѣмъ, радостью и горемъ, мыслями и чувствами! Находить всегда дружескій отзывъ на свои слова; сойти съ олимпійской высоты своего генія, не быть остроумнымъ, гениальнымъ, великимъ, но простымъ, естественнымъ, правдивымъ, мягкимъ и сердечнымъ. Такая любовь была бы райскимъ отдыхомъ безъ терзаній и безъ борьбы. Покой, покой, безграничное довѣріе, постоянный источникъ тепла и ласки вмѣсто измѣнчивой температуры страсти въ зависимости отъ внѣшнихъ вліяній.

Онъ подумалъ о томъ, какъ невысказана была бы та сцена, которую онъ только что воскресилъ въ своей памяти, въ любовныхъ отношеніяхъ съ женщиной, которая представляла собою не одно только тѣло. У него было бы всегда чувство безграничнаго права собственности, если бы онъ зналъ, что привязалъ ее къ своей душѣ каждой ея мыслью.

Какъ могло случиться, что онъ никогда раньше не подумалъ объ этомъ во время своей погони за женщинами? Ему никогда не приходилось встрѣчаться съ такой женщиной, какъ она. Но развѣ онъ искалъ такую женщину? Нѣтъ, онъ всегда проходилъ мимо того, чего теперь такъ страстно желалъ, онъ, какъ дитя, протягивалъ свои руки за пустой и прекрасной оболочкой.

И вотъ теперь, на краю могилы, когда онъ уже не былъ больше живымъ человѣкомъ, теперь его охватила жгучая, мучительная жажда того, чего ему никогда раньше не приходилось переживать. Его страданія были такъ глубоки и велики, что ему казалось, что вся его жизнь пропала даромъ, потому что онъ долженъ былъ уйти отъ стола жизни, не отвѣдавъ самаго роскошнаго и изысканнаго блюда.

Онъ любилъ ее. И въ своемъ воображеніи онъ видѣлъ новую жизнь и новое счастье, о которомъ онъ раньше не мечталъ; но едва онъ протягивалъ руки къ дѣйствительности, какъ приходилъ въ себя и видѣлъ себя прикованнымъ болѣзнию къ кровати въ темной комнатѣ, въ борьбѣ со смертью.

Напрасно приходили въ смятеніе его мысли, напрасно онъ возстаивалъ въ безсильномъ изступленіи передъ неумолимой дѣйствительностью. Напрасно онъ проклиналъ мысленно ту жизнь, которой жилъ, обстоятельства, свою натуру — и прежде всего женщинъ, женщинъ.

Его жизнь была—женщины, женщины и снова женщины. Она представлялась ему теперь въ видѣ длиннаго ряда цифръ между двумя чертами, которыя обозначали собою начало и конецъ. Въ его жизни было два эпизода, которые носили на себѣ печать судьбы и служили какъ бы предзнаменованіемъ той великой, непреодолимой силы, во власти которой онъ находился съ самой ранней молодости и до послѣднихъ часовъ своей жизни возмужалаго человѣка съ ненадломленными душевными силами.

Первый изъ этихъ эпизодовъ произошелъ, когда онъ былъ еще ребенкомъ въ школѣ Шалльмейера въ Дюссельдорфѣ. Онъ увидалъ себя мальчикомъ въ своемъ самомъ нарядномъ платьѣ на торжественномъ годичномъ актѣ по окончаніи весенняго термина въ лицѣ. Какъ свѣтилу класса, ему поручили продекламировать «Кубокъ» Шиллера передъ собравшейся публикой, для повышенія праздничнаго настроенія и для укрѣпленія славы лица. Онъ зналъ поэму наизусть, слово въ слово, и не чувствовалъ ни малѣйшаго смущенія. Въ то время, какъ стихи легко изливались изъ его устъ, онъ скользилъ взоромъ по собравшимся слушателямъ и съ чувствомъ удовольствія и торжества увидалъ, что его слушаютъ съ благоговѣніемъ. Но вдругъ его взоръ остановился, и онъ встрѣтился глазами съ другой парой глазъ, которые принадлежали бѣлокурой дѣвушкѣ, и ему показалось, что онъ никогда раньше не встрѣчалъ существа болѣе прелестнаго. А между тѣмъ онъ часто встрѣчался съ этой же дѣвушкой и хорошо зналъ ее; это была шестнадцатилѣтняя дочь военнаго совѣтника фонъ-А. Съ самаго начала акта она сидѣла на томъ же самомъ мѣстѣ, прямо передъ нимъ. Но такого выраженія въ ея глазахъ онъ никогда еще не замѣчалъ; это выраженіе притягивало, очаровывало, привязывало къ себѣ всѣ его мысли. Онъ вдругъ остановился и замолкъ, какъ если бы его нервы были парализованы. Три раза начиналъ онъ бессознательно ту же строфу, но останавливался, заикаясь, и смотрѣлъ, не отрываясь, широко раскрытыми глазами на молодую дѣвушку. Напрасно учитель старался придти ему на помощь,—онъ не слышалъ его. Вся эта сцена начала возбуждать неприятное удивленіе среди публики, когда наконецъ его спасло забытѣе. Въ глазахъ у него потемнѣло, и онъ безъ сознанія свалился на скамью.

Это было первое проявленіе той могучей силы, которой подчиняла его себѣ жестокая богиня любви въ его послѣдующей жизни.

Второй эпизодъ произошелъ семь лѣтъ тому назадъ во время го послѣдней прогулки по бульвару въ Парижѣ въ годъ революціи 848 г. Стоялъ солнечный майскій день и весь городъ былъ какъ

бы охваченъ лихорадкой. Съ лихорадочной поспѣшностью двигались толпы народа по главнымъ улицамъ, въ воздухѣ стояли шумъ, крикъ и грохотъ экипажей. А онъ, уже во власти жестокой болѣзни, съ трудомъ тащился среди водоворота этой бьющей ключомъ жизни. Но шумъ раздражалъ его, терзалъ его больные нервы, какъ ударами хлыста по открытой рацѣ; и чтобы хоть ненадолго отдохнуть, онъ пошелъ искать себѣ убѣжища въ Луврѣ.

Тамъ было спокойно; не видно было ни одного посѣтителя въ нижнемъ этажѣ музея, по которому онъ медленно шелъ, наслаждаясь тишиной и не обращая ни малѣйшаго вниманія на античныхъ боговъ и богинь, мимо которыхъ проходилъ.

Но вдругъ въ концѣ длинной галлерей онъ очутился лицомъ къ лицу съ богиней любви, изваянной изъ мрамора, передъ красавицей безъ рукъ, обворожительной Венерой Милосской. Казалось, она смотрѣла на него взоромъ, полнымъ грусти и ласки въ одно и то же время. Каждая черта ея лица носила отпечатокъ божественнаго величія и божественной серьезности; и всетаки губы ея выражали тающую живую ласку, что если и не улыбались, то почти переходили въ улыбку.

Онъ отступилъ назадъ при видѣ этого лица и опустился на скамью, охваченный тѣмъ же параличомъ нервъ, какъ и тогда, когда онъ увидалъ выраженіе глазъ молодой дѣвушки на актѣ въ Дюссельдорфскомъ лицѣ.

Долго-долго сидѣлъ онъ одинъ въ безлюдной галлерей, вперивъ глаза, наполненные слезами, въ это изображеніе божественной красоты, высѣченное изъ мрамора рукою неизвѣстнаго человѣка. Наконецъ ему показалось, что ея грудь поднимается, а губы раздвигаются въ улыбку, полную состраданія и доброты къ тому, кто посвятилъ на поклоненіе ей всю свою жизнь и кто теперь въ послѣдній разъ притащился сюда, чтобы съ обожаніемъ посмотрѣть на нее глазами, на которые ея рука уже наложила печать паралича...

Между этими двумя эпизодами его жизнь рисовалась его воображенію въ видѣ безконечнаго ряда цифръ, изображавшихъ собою женщинъ, которыхъ онъ любилъ. Въ рамокъ этихъ двухъ эпизодовъ стоялъ образъ только одной женщины—*La Mouche*.

Онъ выпрямился въ своемъ креслѣ, взялъ письмо, которое лежало передъ нимъ, и началъ перечитывать его въ двадцатый разъ. Онъ читалъ его и улыбался надъ самимъ собой. Вѣдь онъ былъ дуракъ, старый, выжившій изъ ума дуракъ. Развѣ его глупое сердце не билось такъ же сильно, какъ въ былые дни, когда онъ былъ молодъ и глупъ. А теперь онъ былъ старъ и глупъ, и долженъ былъ

бы пережить возраст иллюзий, кроме того, онъ былъ парализованъ и умиралъ... и все-таки даже на краю могилы онъ чувствовалъ, какъ сильно бьется его глупое сердце только при чтеніи нѣсколькихъ безсодержательныхъ строчекъ, написанныхъ маленькой ручкой, которую онъ обожалъ.

И теперь еще желаніе, написанное этой маленькой ручкой, могло заставить его взяться за работу, которая, быть можетъ, превосходила его силы.

Она пожелала узнать что-нибудь изъ его жизни, что-нибудь болѣе подробное, нежели то, что давали его біографіи, которыя зналъ весь свѣтъ. Потому-то онъ и вынулъ желтѣющіе листы своего большого произведенія, свои «мемуары», и выбралъ изъ нихъ нѣсколько отдѣльныхъ отрывковъ: нѣсколько набросковъ изъ его дѣтства, нѣсколько анекдотовъ объ отцѣ и матери и о дядѣ, и, наконецъ, нѣсколько чертъ изъ его первой любовной исторіи—его любви къ рыжей Іозефѣ, блѣдной, застѣнчивой дочери палача.

Онъ работалъ часа два, приводя въ порядокъ эти отдѣльные листы; теперь ему оставалось только написать маленькое вступленіе и посвященіе.

Карандашъ медленно двигался въ его безсильной прозрачной рукѣ больного. Онъ съ трудомъ выводилъ на бумагѣ одну букву за другой; онъ не могъ поспѣть за полетомъ мысли.

Но вотъ больной кончилъ. Онъ положилъ карандашъ и откинулся на спинку кресла. Отъ напряженія кровь бросилась ему въ голову; его щеки и глаза горѣли; въ вискахъ лихорадочно стучала кровь.

Онъ сидѣлъ и пристально смотрѣлъ въ темный уголъ комнаты. Его мысли перегоняли другъ друга, кружились въ какомъ-то водоворотѣ, какъ рой комаровъ, вокругъ единой мысли, которая теперь всегда была центромъ всѣхъ его фантазій: что онъ умирающій человекъ и что онъ любитъ и любимъ молодой женщиной, самой прекрасной изъ всѣхъ, которыхъ ему приходилось встрѣчать въ жизни.

И снова душа его возмутилась противъ злой судьбы; его руки судорожно сжались, и въ узкой щели парализованнаго вѣка лихорадочно сверкнулъ глазъ.

И вотъ имъ овладѣла галлюцинація. Изъ темнаго угла комнаты здругъ выступили контуры лица и фигуры человека. Онъ не былъ старъ; онъ былъ въ расцвѣтѣ своихъ силъ; лицо его казалось закаленнымъ; черты были опредѣленныя, рѣзкія, будто вылитыя изъ бронзы. Лобъ его былъ широкій, но не высокій, носъ крупный, глаза глубокіе; узкія сжатые губы выражали твердую, непоколебимую силу

воли; а передъ собой онъ держалъ желѣзную палку въ мускулистыхъ, стальныхъ рукахъ.

Все это видѣніе—неподвижное, спокойное и тяжелое—производило впечатлѣніе непреодолимой силы въ спокойствіи. Но спокойствіе это было не мертвое; все это существо жило, оно дышало; каждую минуту оно могло двинуться и раздавить высокоумнаго чело-вѣка, положивъ ему на плечо свою стальную руку.

Передъ этимъ Голиафомъ, надъ головой котораго пылало слово „Αντήρα“, судьба, написанное греческими огненными буквами, стоялъ духъ умирающаго поэта, который, подобно новому Давиду, готовъ былъ вступить въ борьбу, смѣлый и дерзновенный, въ сознаніи своей ловкости и силы.

Онъ былъ силенъ, силенъ. Въ это мгновеніе онъ чувствовалъ себя самодержцемъ всѣхъ фибръ своего существа. Невозможное казалось возможнымъ, недостижимое достижимымъ. Давидъ стоялъ передъ Голиафомъ со сверкающими глазами и дерзко поднятой головой. Иди, вступи со мной въ борьбу или дай мнѣ то, что я прошу. Возврати мнѣ власть надъ моимъ тѣломъ. Влей свѣжей крови въ мои высохшія жилы. Дай мнѣ встать съ одра болѣзни, дай мнѣ прожить еще годъ, или хоть полгода, или даже одинъ мѣсяць—но прожить полной, богатой жизнью! а потомъ пусть я умру. Я не буду жаловаться. Но подари мнѣ нѣсколько часовъ счастья, прежде чѣмъ я уйду изъ жизни. Вѣдь до сихъ поръ я еще не зналъ, что значитъ настоящая любовь. Я не хочу умирать, пока не испытаю этого. Все то, другое, было ничто, ничто. Возьми мое прошлое и мое будущее! Возьми мою славу, мое имя. Возьми все, все... но за эти послѣднія минуты счастья я вступаю съ тобой въ борьбу!

Человѣкъ въ темномъ углу не двигался; ни одна черта не измѣнилась, не дрогнула на его лицѣ; глаза смотрѣли все такъ же немумолимо и строго изъ-подъ нависшаго лба, а губы были судорожно сжаты.

Но въ слѣдующее мгновеніе съ него какъ будто спалъ покровъ, и онъ появился во всемъ своемъ нечеловѣческомъ, сверхъестественномъ величій... у его ногъ лежалъ комочекъ, представлявшій собою безжизненное тѣло чело-вѣка.

Перевела М. Благовѣщенская.

(Продолженіе слѣдуетъ).

В Е Р Б А *).

Ужъ заря, золотась, осыпается розами въ рѣку—
Отошли дни-потѣмы ¹⁾, потушли всполохи ²⁾.

Ужъ по зарѣ златорукое солнце возносить руки надъ міромъ,
зарное ³⁾—нѣтъ ему бѣлаго облака, чтобы закрыться,—захватить
все небо.

Небо обняло землю, горячо обнимаетъ

И земля принялась за свой родъ.

Первая—Верба. Верба, еще изъ-подъ снѣга распушивъ свои
алыя лозы, вотъ подняла теперь вѣки, и сѣдыя пушистыя віи ⁴⁾
озолотились слезами.

И куда ни пойдешь, и куда-бъ ни взглянулъ, встрѣтишь вѣст-
ницу мая—печальную вербу.

Я, послѣдній и самый любимый, рожденный въ бупальскую ночь,
разкажу тебѣ повѣсть о моей матери Вербѣ.

Моя рѣчь невнятна, потому что я молчалъ, мои слова странны,
потому что я старъ.

Я не помню, какъ это было—мои руки сухи, пальцы вялы, а у
моей матери руки влажны, пальцы крѣпки, я не помню, какъ это
было—она рожала изо всѣхъ частей тѣла легко и нѣжно, какъ пер-
воцвѣтъ свой плодъ.

У меня было много братьевъ, сестеръ, сестеръ-братьевъ, всѣ
они были старше, разбрелись по землѣ, кочуя до края. Но ихъ

*) Сказаніе о вербѣ основано на литовскомъ преданіи о женщинѣ по имени
Элида. Въ древней Литвѣ верба считалась богиней чадородія, ей приносили мо-
литвы и жертвы.

1) Дни-потѣмы—скрытые мракомъ зимніе дни.

2) Всполохи—сѣверное сѣяніе; положъ—полюмя.

3) Зарное—страстное, горячее.

4) Віи—рѣсницы.

было такъ много, и тогда говорили, что ихъ больше, чѣмъ звѣздъ на небѣ.

А это я помню—мои ноги быстры и легки, какъ крылья, а во лбу свѣти-цвѣтъ ⁵⁾ купалы. «Ты засвѣти свой цвѣтъ, Купало!»—сказала мать, я помню—мы шли искать новую землю: на старой намъ стало тѣсно; мы шли долго въ ночи, раскапывали пальцами землю—гадали о дняхъ, которые будутъ, и черная, сбросивъ бѣлые свѣги, земля лежала подъ нами и тая, дымилась, а въ черномъ ея сердцѣ, тая месть, свивала гнѣздо зависть.

Моя мать сильна и всѣхъ прекраснѣй. И пускай послѣ мая—песнь дни ⁶⁾, зной и знойные вихри, и пускай по болотамъ въ полночь, заманивая путниковъ въ гибель, сверкаютъ огни-одноглазы, и Полудницы полднемъ, щекоча до смерти, летятъ въ пыли вихрей, пускай, чуя мертвыхъ, воя, вопить Карина и пускай Желя ужъ несетъ темная погребальный пепелъ въ пылающемъ рогѣ.

Она родитъ столько и еще столько.

И на землѣ цвѣтовъ будетъ меньше, чѣмъ сколько есть моихъ братьевъ, и на землѣ лѣсу встанетъ меньше, чѣмъ сколько есть моихъ сестеръ, и на землѣ протечетъ рѣкъ-озеръ меньше, чѣмъ сколько есть моихъ сестеръ-братьевъ.

Я не помню, какъ это было—а какъ всходить зарѣ на гору—передъ разсвѣтомъ мы вступили въ болото и вотъ чьи-то черныя самой земли руки вдругъ крѣпко охватили мать подъ грудь сзади и, обнявъ, повлекли ее въ топъ за собою...

Я не помню, какъ это было—я стою на краю трясины и кличу мать: гдѣ найти мнѣ новую землю!—и кличу братьевъ: гдѣ найду я мать! а подъ землей глубоко горятъ во мракѣ, какъ двѣ свѣчи, глаза, и она стоитъ, не умирая, превращенная землей въ печальную вербу.

Аленсѣи Ремизовъ.

⁵⁾ Свѣти-цвѣтъ—народное названіе чудеснаго купальскаго цвѣтка папоротника.

⁶⁾ Песнь дни—знойная пора.

⁷⁾ Полудницы—по вѣрованіямъ славянскихъ и германскихъ народовъ: вселокоченныя старухи въ лохмотьяхъ съ клюкой, которыя, достигая въ полдень, загадываютъ загадки и щекочутъ до смерти. Только что молитвой на „изгнаніе бѣсы полуденна“ возможно кое-какъ отъ нихъ отдѣлаться.

⁸⁾ Карина—плакальщица; карити—причитать.

⁹⁾ Желя—вѣстница мертвыхъ; жля—жалѣть. Карина и Желя упоминаются въ „Словѣ о полку Игоревѣ“.

Казнь Якова Стеблянскаго.

I.

Въ началѣ лѣта 1903 г. въ далекой Сибири газеты разнесли одно, уже забытое теперь, сообщеніе изъ глухого уѣзднаго городка на верхнемъ Енисей. Въ этомъ очень краткомъ сообщеніи такъ же безучастно, равно бы рѣчь шла о перемѣнѣ погоды или о пожарѣ прошлой ночью, говорилось, что 17 мая рано утромъ во дворѣ мѣстной тюрьмы былъ приведенъ въ исполненіе приговоръ военнаго суда надъ Яковомъ Стеблянскимъ: смертная казнь черезъ повѣшеніе, назначенная ему за убійство съ цѣлью ограбленія семьи священника.

Я присутствовалъ при совершеніи этой казни. Всѣ сцены ея, благодаря, быть можетъ, обостренной наблюдательности и напряженному вниманію, породили у меня много совершенно невѣдомыхъ мнѣ ранѣ чувствъ и мыслей. Я давно пережилъ и то и другое; жизненная свѣжесть и яркость ихъ утратились, но все видѣнное тогда и услышанное въ памяти моей залегло такъ же глубоко и прочно, какъ залегаютъ только впечатлѣнія дѣтства и ранней юности: все цѣликомъ со сценической картинностью обстановки и дѣйствія. Передать возможно точнѣе и полнѣе эти впечатлѣнія, а съ ними и тогдашнія мои мысли—это теперь если не единственная, то главнѣйшая моя задача.

II.

О томъ, что приговоръ военнаго суда утвержденъ и исполненіе его, т.-е. казнь назначена на 17 мая рано утромъ, меня извѣстили наканунѣ. Хотя раньше я и выражалъ желаніе посмотреть ее, но, долженъ сказать, далеко не безъ колебаній отправился за разрѣшеніемъ присутствовать при ней. Обращаться съ такою просьбой было, помню, неловко какъ-то, совѣстно. Не потому совѣстно, что могъ последовать отказъ,—я зналъ, что этого не будетъ,—а потому, что этой просьбой я какъ бы признавался передъ другими, мнѣ посторонними, въ чемъ-то очень нехорошемъ. Вышло, будто я, зная, что люди рѣшили и будутъ продѣлывать надъ та-

нимъ же, какъ всё мы, человѣкомъ нѣчто весьма злое, возмутительное даже по своему насилію, я, вмѣсто противодѣйствія всему этому, выскажу имъ,—сперва выраженіемъ своего желанія, а потомъ и самымъ своимъ присутствіемъ при казни,—на это согласіе, чѣмъ и могу выказать не одно только малодушіе, а даже и что-то похожее на измѣну своимъ убѣжденіямъ. Однако же, несмотря даже на возможность испытать пристыженность, я предвидѣлъ побѣду желанія,—такъ сильно въ людяхъ любопытство ко всему необычайному.

«Пожалуйста, пожалуйста,—любезно отвѣтили мнѣ:—но неужели вы пойдете?... и будете смотрѣть?» И въ этомъ удивленномъ вопросѣ я услышалъ, или нѣтъ, не услышалъ только, а и всѣмъ существомъ почувствовалъ упрекъ за обнаруженные мною нечувствительность къ чужимъ страданіямъ, неприличную безсердечность, отдалявшія меня отъ нихъ, моихъ знакомыхъ, несомнѣнно не грѣшныхъ этимъ грѣхомъ, и ставившія особнякомъ и достойнымъ порицанія. Сразу охватила меня неловкость, какая является обыкновенно отъ колющаго самолюбіе стыда. Но тотчасъ же я постарался овладѣть собою, скрыть ее и послѣшилъ какъ ни въ чемъ не бывало отвѣтить, что если и пойду, то, разумѣется, съ цѣлью, стоящей выше фланерскаго ротозѣйства, и что, впрочемъ, не рѣшилъ еще окончательно, пойду ли. Но,—прибавлю я здѣсь,—хотя говорилъ я и правду,—дѣйствительно, я не рѣшилъ еще,—однако же пойти мнѣ такъ хотѣлось, что если бы мнѣ отказали, то огорчили бы этимъ столь же сильно, какъ бывало въ дѣтствѣ, когда говорятъ тебѣ «сиди дома», а сами уходятъ пользоваться удовольствіями.

Тутъ же въ разговорѣ съ людьми, близко стоящими къ подготовкѣ предстоящей казни, я узналъ, между прочимъ, что во дворѣ тюрьмы идетъ спѣшная постройка висѣлицы, а палачъ найденъ былъ еще раньше и съ большимъ трудомъ—изъ отбывшихъ наказаніе уголовныхъ. Его наняли за 15 р., и послѣдніе дни онъ все пьянствовалъ—должно быть, на задатокъ, а теперь исчезъ съ глазъ наблюдавшей за нимъ полиціи. Эти новости, составляющія закулисныя подробности обстановки завтрашняго событія, характеризовали его. Они тяжестью легли на сердце и тотчасъ же разбудили въ немъ смутное чувство ревнивой ненависти и протеста. Оно стало опредѣленнѣе и перенеслось на лица, когда передо мною дѣловымъ тономъ стали выражать опасеніе, не улизнулъ ли уже палачъ, и какъ бы изъ-за трудности найти другого не произошла отсрочка казни, что повлекло бы за собою всякія служебныя непріятности для нихъ, ея исполнителей.

Стеблянскій, обратившійся въ моемъ представленіи въ какой-то неодушевленный предметъ съ тѣхъ поръ, какъ я узналъ объ ожидавшей его участи, и очень много благодаря ей выросшій, сдѣлался центромъ разговора. Куда бы послѣдній ни отклонялся, непременно возвращался къ Стеблянскому. Безпрестанно о немъ что-нибудь спрашивали, говорили многое, что припоминали, о его характерѣ, проявленныхъ имъ его взглядахъ на жизнь, людей и преступленія, о его поступкахъ въ тюрьмѣ; дѣ

зали догадки о томъ, какъ онъ отнесется къ извѣстію о казни, какъ будетъ завтра вести себя. Рѣшено было не говорить ему о казни до самаго часа ея, дабы ранняя вѣсть о ней не подѣйствовала на его духъ угнетающе, не мучила бы его излишне. Оказалось, что онъ недавно подалъ прошеніе о томъ, чтобы «отбили телеграмму» на Высочайшее имя съ просьбой о помилованіи по случаю празднованія царскаго тезоименитства или коронаціоннаго дня и былъ бодръ, питая твердую надежду. Впрочемъ, тутъ же кто-то добавилъ, будто онъ просилъ сидѣвшаго съ нимъ въ одной камерѣ Романа Шидловскаго, своего товарища по преступленію, тоже осужденнаго, но которому смертная казнь была по ходатайству суда замѣнена безсрочной каторгой,—просилъ написать ему, если его казнятъ, письмо домой къ матери, въ которомъ сказать, что онъ-де умеръ въ тюрьмѣ и передъ смертью наказалъ послать прощанье и поклоны роднымъ и знакомымъ, но не упоминать ей о казни.

Разговоры эти и новости, которыя я унесъ съ собою, долго стояли въ моихъ ушахъ и не выходили изъ памяти, не угадывались въ ней въ определенное мѣсто. Все это было такъ непохоже на обыденную дѣйствительность. Предстоящее завтра такъ выдавалось изъ нея, какъ какое-нибудь историческое событіе, и своею важностью касалось и меня, совершенно посторонняго къ нему лица. Эту близость его къ моей личности я отлично чувствовалъ и сознавалъ, хотя и не могъ найти связующей причины, не могъ назвать ее безошибочно, какъ ни старался.

III.

Завтра нужно было встать не позже половины пятого, чтобы прибыть къ началу. Я опасался проспать, а ждать, не ложась въ постель, не рѣшался, не надѣясь на свои нервы, которые несомнѣнно ослабнуть отъ утомленія послѣ бессонной и проведенной въ волненіи ночи. Поэтому я улегся въ постель раньше обыкновеннаго. Но мысли о предстоящемъ завтра не покидали меня и въ постѣли и гнали отъ меня сонъ. Интересъ къ окружающему, даже самому близкому, отодвинулся куда-то назадъ. Всѣ представленія, образы и мысли тѣснились и мелькали, какъ пчелы вокругъ улья, около одной главной: завтра повѣсятъ Стеблянскаго. Это означало, что, еще ночью сегодня живой и здоровый, онъ завтра въ определенный часъ будетъ мертвъ. Всѣ будутъ еще спать, не подозрѣвая даже о томъ, что его въ наказаніе насильно заставляютъ расстаться съ жизнью и обратиться въ трупъ. И это завтрашнее превращеніе его въ трупъ и въ цѣль всѣхъ приготовленій теперь, хлопотъ и безпокойства всѣхъ ихъ амъ. Возбуждаясь, воображеніе разыгрывалось противъ моей воли и, израчаясь, старалось представить картину этого превращенія. Какъ это удетъ? Вотъ надѣтая веревка или ремень грубо охватитъ вокругъ шею и затянется тяжестью тѣла. Какое будетъ онъ испытывать ощущеніе? помнилось, какъ въ дѣтствѣ возьмешь, ляжешь на диванъ или кушетку

навзничь, а голову опустишь внизъ къ полу, и держишь ее такъ, оглядывая странно извратившуюся обстановку опрокинутой комнаты. Вотъ такъ же, какъ у меня тогда, въ голову нальется кровь, будетъ стучать со звономъ въ ушахъ, давить спазмой горло, выпирать наружу глаза до боли, до красныхъ и зеленыхъ шариковъ и мелькающихъ искръ... Сегодня докторъ говорилъ, что повѣшеніе безболѣзненно, потому что мгновенно дѣлается вывихъ въ позвонкахъ, или что-то тамъ еще въ этомъ родѣ, и вслѣдъ за этимъ мгновенно же наступаетъ потеря сознанія. Но что значить это мгновенно? Ощущенія мысли быстрѣе и короче и во множествѣ умѣстятся въ этомъ мгновеніи. Еще до потери сознанія ему такъ страшно захочется вздохнуть и высвободиться... Тутъ въ памяти опять воскресъ отрывокъ изъ дѣтства. Бывало затѣнешь возню съ братомъ въ постели бросаться подушками и среди опьяняющаго хохота вдругъ почувствуешь, что лицо твое плотно накрыла подушка, и на нее сѣли и держатъ, не давая шевельнуть головой. И вотъ хочется вздохнуть, а воздуха нѣтъ, и начнешь биться, ненавидя насильниковъ. Такъ будетъ и съ нимъ. Какъ только повиснетъ, сейчасъ же ноги сами начнутъ искать опоры, чтобы поставить тѣло, а руки хвататься за воздухъ, отыскивая предательскую веревку, но все это напрасно... Потомъ еще это; сперва есть надежда освободиться, но съ каждымъ неудачнымъ движеніемъ она пропадаетъ, положеніе ухудшается. Каждое мгновеніе увеличиваетъ отчаяніе, приближая къ потерѣ жизни. О, какъ ужасно! какъ ужасно быть въ его положеніи!... Ну, а что же потомъ? Темнота, разумѣется, глухота, общее безчувствіе... смерть. Смерть—вотъ оно совершенно непонятное намъ состояніе, тайна для всего живущаго! Она всѣхъ пугаетъ, и меня всегда пугала эта тайна, эта смерть, превращающая все живущее въ ничто и человѣка, разнообразно и свободно движущагося, мыслящаго, говорящаго, смѣющагося, умѣющаго многое дѣлать, многое знающаго,—обращающая вдругъ въ какую-то странную, желтовато-блѣдную какъ воскъ, неподвижную вытянутую куклу, съ осунувшимся исхудавшимъ лицомъ, едва напоминающимъ черты живого, и крѣпко навѣки сомкнувшимися глазами, холодную и мягкую, которая только лежитъ нѣмая, храня отъ живущихъ постигнутую тайну, а ее со скорбью окружаютъ и таскаютъ: одни жалѣя разстаться, а другіе—въ ожиданіи скорѣе избавиться. Совѣмъ непонятно и страшно, тѣмъ особенно страшно, что вѣдь то же самое когда-нибудь непремѣнно произойдетъ и со мною. Внезапный леденящій ужасъ охватывалъ меня, лежащаго въ темнотѣ въ постели, и я вдругъ старался поскорѣе отъ чего-то высвободиться, спѣшилъ зашевелиться, чтобы отогнать приближающуюся ко мнѣ возможность смертнаго оцѣпенѣнія. Сердце начинало колотиться, но... нѣтъ, слава Богу! меня еще не утянуло туда, въ темную бездну, я... живой! Отъ этого открытія меня охватывала радость, и я поворачивался, оправляя одѣяло и подушки, и жадно забиралъ въ себя воздухъ. Слава Богу, я живу и еще буду жить!

Но потомъ, когда наступало успокоеніе, опять представлялся Стеблян-

свій и все въ разныхъ положеніяхъ: то онъ сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ съ тупымъ и внимательнымъ выраженіемъ на лицѣ человѣка, непонимающаго, что вокругъ него говорятъ и дѣлаютъ, и боящагося поэтому пропустить что-либо; то онъ, звякая цѣпями кандаловъ, идетъ подъ конвоемъ по коридору во время перерыва судебного засѣданія на глазахъ любопытной, пугающей его, публики съ нахально-гордымъ, заносчивымъ видомъ, пренеполненнымъ неустрашимой отваги и сознанія, что онъ герой; то онъ говоритъ суду своимъ хрипяще-сиплымъ голосомъ забубеннаго кутилы сбивчиво, неясно и все несоотвѣтствующее вовсе интересу минуты, но говорить неспѣша, не обнаруживая даже легкаго волненія, ровно. И тутъ бросалась въ глаза удивительная твердость самообладанія и сила воли въ натурѣ этого человѣка... Что съ нимъ теперь? Сознаетъ онъ, что его ожидаетъ или нѣтъ? Знаетъ ли о томъ, что уже съ каждой минутой онъ все ближе и ближе подходитъ къ краю той пропасти, въ которую его столкнуть завтра рано утромъ?

Отсюда воображеніе возвращалось опять къ будущей картинѣ казни: какъ приведутъ его, будутъ вѣшать, какъ онъ, наконецъ, будетъ висѣть. И такъ безконечно, все съ новыми и новыми подробностями. И не было воли унять его, успокоиться. Только что овладѣешь собой и рѣшишь спать, глядь—и увернулось и пошло и пошло... и поймаетъ себя съ раскрытыми глазами и шепчущими слова удивленія и ужаса.

Блѣдными отрывками припоминалось и самое преступленіе Стеблянскаго и его товарищей по описанію обвинительнаго акта и потомъ самый судебный процессъ.

IV.

Вся обстановка и картина убійства, а затѣмъ и ограбленія, какъ онѣ выяснились на судебномъ слѣдствіи, были настолько потрясающе-ужасны и возмутительны по своему презрѣнію къ человѣческой жизни, проявленному преступниками изъ жадности къ матеріальнымъ сокровищамъ, предпологавшимся у погибшихъ обладателей ими, что въ публикѣ, состоявшей изъ мѣстныхъ обывателей, старательно и терпѣливо внимавшей всему, что говорилось свидѣтелями и подсудимыми, всего менѣе можно было найти сожалѣнія къ предстоящей ихъ участи.

Вотъ что произошло вечеромъ около 5—6 часовъ на рождественскій сочельникъ 1902 г. въ отдаленномъ отъ города болѣе чѣмъ на сто верстъ селѣ. Съ наступленіемъ темноты улицы и дворы опустѣли, и жизнь спряталась въ домики и избы, въ которыхъ свѣтились огни. Въ домѣ старика священника было свѣтло; онъ съ дочерьми сидѣлъ въ столовой. Ему докладываютъ, что его какой-то мужикъ спрашиваетъ по дѣлу. Онъ выходитъ въ слѣдующую къ передней комнату и встрѣчается съ рослымъ навеселѣ мужчиной. «Батя, давай деньги», — грубо говоритъ онъ. Принявъ эти слова за шутку пьянаго человѣка, тотъ возразилъ: «что ты, что ты» и по своей привычкѣ

приподнял правую руку, какъ бы отстраняясь. Между тѣмъ огна на улицу затворились ставнями невидимой рукой, а изъ прихожей подошли къ священнику двое. У всѣхъ у нихъ лица были вымазаны чѣмъ-то сѣрымъ, какъ у клоуновъ въ циркѣ, что дѣлало ихъ похожими на маски и страшными. Одинъ изъ подступившихъ съ топоромъ въ рукѣ поддерживалъ требованіе высокаго и потомъ съ размаху нанесъ топоромъ ударъ священнику въ голову на глазахъ у дочерей. Когда этотъ упалъ, обливаясь потокомъ крови, разбойники принялись гоняться за женщинами, съ крикомъ ужаса и отчаянія носившимися по комнатамъ, и наносить удары подвернувшимся и пойманнымъ. Осмотръ труповъ обнаружилъ изуродованіе череповъ, раны, кровооттеки и ссадины на тѣлахъ, что ясно свидѣтельствовало о многократности ударовъ, борьбѣ жертвъ со своими мучителями изъ-за отнимаемой жизни, о звѣрствѣ разбойниковъ. Перебивъ семью, они принялись грабить. Обыскали всѣ комоды, сундуки, ящики столовъ, перерыли все, выбрасывая и вытрясая. Осиротѣвшая внучка священника, дѣвочка лѣтъ трехъ, охваченная страхомъ, кричала. Одинъ изъ разбойниковъ посоветовалъ другому «заткнуть скорѣе ей ротъ», и тотъ уже взялъ дѣвочку, но третій, не потерявшій, повидимому, разсудка, выхватилъ ребенка, закаталъ его въ одѣяло, чтобы не слышно было его крика, вынесъ на крыльцо и тамъ засунулъ куда-то. Это былъ Романъ Роховъ Шидловскій. Денегъ, которыхъ предполагался чуть ли не цѣлый мѣшокъ, не оказалось. Обманувшимся разбойникамъ пришлось ограничиться золотыми вещами, цѣннымъ платьемъ и проч., и такъ какъ долго оставаться все же было опасно, то они рѣшили уходить съ тѣмъ, что достали. Домъ, часъ тому назадъ полный семейнаго спокойствія, мира и родственной дружелюбной привязанности, представлялъ теперь боевое кладбище среди безпорядка, какъ послѣ пожара или погрома. Полную потрясающаго ужаса картину эту первая увидѣла, оставшаяся единственной живой, дочь священника, когда вытѣзла изъ-подъ дивана. Туда она пряталась, инстинктивно оберегая свою жизнь, видя, какъ отнимаютъ ее у ея отца и сестеръ, и пораженная возможностью потерять свою. Тамъ таилась все время расправы злодѣевъ со своими жертвами и... какъ то осталась незамѣченной ими, хотя и была всетаки на виду. Такова ли вообще психологія неразвитаго преступника, что во время совершенія преступленія онъ въ погонѣ за конечной цѣлью дѣянія забываетъ о частностяхъ и даже о необходимости быть строго предусмотрительнымъ, или это была просто случайность, трудно рѣшить, но только эта жизнь уцѣлѣла. Оставшаяся живой, какъ безумная выскочивъ на дворъ, она подняла вопль о помощи, и такимъ-то образомъ обнаружилось еще одно звѣрское злодѣяніе, которыхъ въ Сибири всегда было сколько угодно.

Объ уцѣлѣвшія, и дѣвочка и ея тетка, даже во времени суда, т.-е. черезъ три почти мѣсяца, болны были послѣдствіями пережитаго. Съ ними дѣлалась нервная дрожь, онѣ испуганно дичились, были блѣдны и слабы и вздрагивали даже отъ громкаго голоса. Дѣвочка не могла быть свидѣ-

тельницей по своему молодѣтству, а ея тетка дала обширное показаніе, и когда, по предложенію предсѣдателя, она вглядывалась въ подсудимыхъ, чтобы узнать, кто изъ нихъ нанесъ первый ударъ ея покойному отцу, съ нею сдѣлалось дурно и потомъ истерика, и былъ объявленъ перерывъ засѣданія.

Потомъ она прямо указала, всмотрѣвшись въ него, на Стеблянскаго и промолвила съ усиліемъ: «вотъ этотъ».

Какъ только стало извѣстно селу, что «батю убили», и домъ его ограбленъ, поднялась «тревога», и сельская полиція нарядила погоню въ розыски за разбойниками. Одного догнали недалеко за селомъ и въ перестрѣлкѣ убили, а двое другихъ случайно застигнуты были подъ утро гдѣ-то въ одной изъ сосѣднихъ деревень. Четвертый, мѣстный крестьянинъ, еще несовершеннолѣтній, Лука Куликъ, обнаруженъ былъ раньше всѣхъ, и чуть ли не онъ подъ наносимыми ему побоями проговорился объ остальныхъ. Суду, такимъ образомъ, преданы были трое: этотъ Куликъ и два ссыльно-поселенца Романъ Шидловскій и Яковъ Стеблянскій. Всѣ трое были молодые ребята: старшему изъ нихъ Шидловскому что-то около 28 лѣтъ. Ростъ, походка, тѣлодвиженія, взглядъ и рѣчь Шидловскаго и Стеблянскаго были сходны. Бросались въ глаза характерныя ихъ особенности: опредѣленность, увѣренность въ себѣ и своихъ силахъ, рѣшительность и твердость. У Кулика и голосъ былъ тише и подвижности много меньше, и не было никакой смѣлости взгляда. Наружность его была средняя, обыденная, легко поддающаяся страху, упадку духа и малодушію. Кромѣ того, онъ не могъ отрѣшиться отъ деревенской неуклюжести и застѣнчивости, отъ робости.

Послѣ прочтенія обвинительнаго акта предсѣдатель суда по обыкновенію спросилъ каждого подсудимаго о томъ, признаетъ онъ себя виновнымъ или нѣтъ въ преступленіи, которое формулировано было въ его вопросѣ далѣе. По обыкновенію всѣхъ, уже опытныхъ преступниковъ ихъ категорій, подсудимые отрицали свою виновность, но когда очевидица злодѣйской расправы съ семьей священника, его дочь, рассказала обо всемъ и особенно когда она указала на Стеблянскаго, какъ на нанесшаго первый ударъ ея отцу,—всѣмъ присутствующимъ стало жутко отъ ея словъ. Подсудимые, видимо, растерялись, хотя и старались не выдавать себя наружнымъ видомъ. По ихъ уже пугливымъ теперь взглядамъ замѣтно было пониманіе, что дѣло ихъ совсѣмъ плохо, и имъ не отсидѣться ни за что на свѣтѣ. Затѣмъ, послѣ второго перерыва засѣданія, когда всѣ ушли по мѣстамъ и притихли, и предсѣдатель суда началъ было говорить, Куликъ вдругъ всталъ и тихо, стараясь быть спокойнымъ, но упавшимъ видимо отъ робости голосомъ объявилъ суду, что онъ желаетъ сдѣлать заявленіе. Это заявленіе оказалось полнымъ признаніемъ и оговоромъ товарищей, вполне согласнымъ съ показаніями свидѣтелей,—а мѣстами и разъяснявшихъ ихъ противорѣчія и неясности,—и во многомъ съ содержаніемъ обвинительнаго акта.

Сознание произвело сильное впечатлѣніе. На нѣсколько мгновений, когда замолокъ Куликъ, въ залѣ засѣданія водворилась мертвая тишина пустой комнаты. Но въ то же время родилось и росло напряженное ожиданіе, «что-то теперь будетъ?» Шидловскій и Стеблянскій сидѣли, какъ пойманные звѣри. Первый очнулся Шидловскій. Онъ, видимо, что-то сообразилъ, попросилъ слова и, набравшись рѣшимости и силъ овладѣть собою, тоже сознался, но сознался тактично. Изъ его словъ выходило, что ему теперь нечего таиться: бесполезно и нехорошо, онъ это сознаетъ, а потому и рѣшилъ облегчить и свою совѣсть и задачу судей. Оказалось, что онъ необходимостью товарищеской солидарности вовлеченъ былъ «въ это дѣло». Заранѣе убійства вовсе не предполагалось, хотѣли только поугаать попа и его семью страхомъ близкой смерти и воспользоваться этимъ. Убійство явилось совсѣмъ неожиданно для всѣхъ. Если бы не тотъ товарищъ, что убить потомъ въ погонѣ, если бы не его буйный нравъ во хмелю,—а онъ былъ пьянъ,—никто не былъ бы убитъ, а самое большее—попъ былъ бы связанъ, если бы вздумалъ защищать свое имущество съ оружіемъ въ рукахъ. Въ немъ же, Шидловскомъ, несмотря на крайнее проявленіе звѣрства убитымъ товарищемъ,—Стеблянскаго онъ вовсе не видѣлъ бьющимъ кого-либо,—въ немъ до послѣдней минуты не умерло человѣческое отношеніе къ жертвамъ; вѣдь это онъ спасъ жизнь дѣвочки, которую несомнѣнно убили бы, если бы онъ «не спряталъ ея»... Онъ былъ рѣчистъ по-своему и говорилъ убѣдительно, подкупая кажущуюся искренностью голоса и манеръ. «Мнѣ все равно, господа правосудные судьи, пропадать», то и дѣло повторялъ онъ, но только что я долженъ сказать истину—правду, какъ было». Не выдавая прямо сидѣвшаго рядомъ Стеблянскаго, т.-е. обходя молчаніемъ его подвиги, и отзываясь незнаніемъ, забывчивостью, когда про его участіе «въ этомъ дѣлѣ» спрашивали, онъ всю вину сваливалъ на убитаго во время погони товарища и на этомъ строилъ свою защиту. Тотъ былъ, по словамъ Шидловскаго, не только головою, но и душою всего дѣла, и если бы не его авторитетъ, принудительный неизбежностью своего мщенія въ случаѣ отказа участвовать, такъ и не пошли бы на дѣло изъ избы Кулика, гдѣ передъ тѣмъ совѣщались, а пошьянствовали бы и разошлись. Про участіе же Кулика разсказалъ Шидловскій подробно и окунулъ его съ головою въ это дѣло, дѣлая видъ, что говоритъ про него только ради полноты и правдивости. Его рѣчь была свободна; въ ней не было неумѣстныхъ фразъ, противорѣчій, остановокъ, ученическихъ паузъ. Наоборотъ, былъ моментъ, когда онъ, казалось, овладѣлъ сердцами слушавшихъ его,—это были трогательныя слова о спасеніи жизни ребенка. Окончивъ, онъ опустился на скамью съ видомъ облегченія и равнодушія къ будущимъ послѣдствіямъ своего покаянія, и все также держась прямо и свободно, во всеоружіи своихъ силъ. Во время его рѣчи Стеблянскій сидѣлъ напряженно-внимательный. Было замѣтно по его растерянно-безпокойнымъ взглядамъ, что онъ не умѣетъ такъ говорить, и что Шидловскій, поднявшійся теперь наверхъ, оставилъ его внизу одинокаго

и безъ прикрытія. На вопросъ предсѣдателя суда, не желаетъ ли онъ сказать что-нибудь за себя, Стеблянскій всталъ, позвякивая цѣпами кандаловъ, переступивъ, уставился на ногахъ тверже, откашлялся и хрипяще-сильнымъ голосомъ забубеннаго кутилы или простуженнаго ямщика пробормоталъ, что ему нечего говорить, «потому что какъ я ни въ чемъ не виновенъ этому дѣлу». Тутъ образовалась во мнѣніи всѣхъ присутствующихъ въ залѣ судебного засѣданія канава между положеніями Шидловскаго и Кулика съ одной стороны и Стеблянскаго—съ другой, которая, чѣмъ дальше шло судебное засѣданіе, становилась все шире и шире и къ концу его превратилась въ большую, непроходимую пропасть. Висѣвшая надъ головами всѣхъ тронхъ подсудимыхъ грозная туча обвиненія всей своей тяжестью опустилась на голову Стеблянскаго, прихвативъ къ нему лишь крыльями Шидловскаго и Кулика. Богиня отомщенія за пролитую невинную кровь избрала искупительной жертвой его и обрекла.

Трудная задача наконецъ разрѣшилась, и по сердцамъ всѣхъ присутствующихъ пронеслось облегченіе.

Слѣдствіемъ выяснено было, что изъ подсудимыхъ Куликъ по предварительному уговору только привежъ убійць къ дому священника, указавъ самое удобное время и мѣсто, но чистосердечно сознался во всемъ этомъ и былъ еще несовершеннолѣтній; Шидловскій и Стеблянскій убивали и грабили, но исключительно благодаря Стеблянскому, рѣшительно нанесшему первый смертельный ударъ и увлекшему этимъ за собою и другихъ, т.-е. перешедшему Рубинонъ, совершилось злодѣяніе въ полномъ его объемѣ, и, наоборотъ, исключительно благодаря Шидловскому, дѣвочка осталась жива.

Все теперь стало ясно и, оказавъ, было такъ просто!

Въ то время, какъ за Кулика, сидѣвшаго съ унылымъ видомъ на пылающемъ отъ волженія лицѣ и во всей фигурѣ и позѣ, спрашивалъ, отвѣчалъ и говорилъ что-то, повидимому, все очень нужное для его пользы и спасенія, вертлявый и, точно начиненный порохомъ, вспыхивающій потоками словъ его защитникъ, до глянца на лицѣ выбритый и одѣтый щегольски, какъ женихъ, и въ то время какъ Шидловскій, употребивъ весь свой умъ, энергію, смѣтливость, знаніе людей и жизни, вмѣшивался въ допросы свидѣтелей, дополняя ихъ и объясняя судьямъ кажущееся непонятнымъ съ перваго взгляда,—Стеблянскій сидѣлъ за спиной своего защитника, назначеннаго ему судомъ, безукоризненной вѣншности и манеръ офицера, дорожащаго своей коммандотностью, свѣтской военной граціей, выхолощенными руками и прической, и боющагося обронить что-либо изъ этихъ своихъ достоинствъ, сидѣлъ все съ тѣмъ же выраженіемъ внимательнаго, но мало понимающаго наблюдателя всего окружающаго и происходящаго и положительнаго неумѣнья ввязаться въ этотъ лабиринтъ словъ, фразъ, мыслей и понятій. Выраженіе его четвероугольнаго, скуластаго, смугло-блѣднаго лица было обыденное, тупое, но напряженное. Онъ, казалось, боялся только не досмотрѣть и не дослушать чего-либо изъ

всего того весьма важнаго, что теперь развернулось и текло передъ нимъ, потому что, если онъ не досмотритъ и не дослушаетъ, то какъ бы отъ этого не было хуже. Но всетаки, повидимому, выходило такъ, что онъ и не досматривалъ и не дослушивалъ.

Рѣчь прокурора, самый, такъ сказать, центръ интереса всего процесса для публики, закончилась, какъ требованіе правосудія, обращеніемъ къ суду и названіемъ наказанія, ожидаемаго требованіями общественнаго возмездія и исполненія служебнаго долга, — словами «смертной казни», стукнувшими въ самое сердце, и надеждой на снисхожденіе и смягченіе наказанія Шидловскому и Булику. Шидловскій покраснѣлъ и шевельнулся на скамейкѣ, Стеблянскій поблѣднѣлъ и сдѣлался еще внимательнѣе, Буликъ потушился.

Но вотъ наступило время послѣдняго слова подсудимыхъ. Первымъ говорилъ Шидловскій. Голосъ его сначала робкій, растерянный, во рту сухость. Но скоро онъ оправился, голосъ окрѣпъ, фразы пошли свободнѣе и свободнѣе. Онъ говорилъ долго и, если въ его рѣчи были скачки и повторенія сказаннаго ранѣе объ убитомъ товарищѣ, о нежеланіи убивать священника, а только поугатъ, о спасеніи жизни дѣвочки и такъ далѣе, то это не мѣшало ей быть разумной и даже убѣдительною. Замѣтивъ, что онъ выговорилъ все, и что, несмотря на это, хочется говорить еще и еще и всего не перескажешь, да и нѣтъ времени, да и могутъ остановить, онъ закончилъ изъявленіемъ покорности передъ закономъ и просьбой къ суду смягчить его участь: «почему, потому, что какъ я спасъ жизнь малолѣтняго ребенка, дѣвочки» и предоставленіемъ себя «правосудию вашему, господа правосудьи». Онъ сълъ, и на глазахъ его блеснули слезы, при первомъ взглядѣ на нихъ пробуждавшія испуганное состраданіе.

Стеблянскій опять ничего не могъ сказать. Онъ просилъ судей опять все о томъ же, т.-е. «отбить телеграмму» къ нему на родину въ Донскую область и спросить тамъ какого-то свидѣтеля, который «пусть покажетъ, какого я былъ поведенія раньше», или что-то въ этомъ родѣ.

Судъ совѣщался около двухъ часовъ. Два часа напряженнаго ожиданія истомили даже публику. Раза два подсудимыхъ выводили и приводили снова. Два часа просидѣли они на скамьѣ, не говоря ни слова, блуждая глазами по знакомымъ до надоедливости предметамъ и людямъ, настороженные до того, что смутно слышавшіеся иногда голоса и движенія съ той стороны, гдѣ была совѣщательная комната, заставляли ихъ тревожно оглядываться.

Наконецъ вышелъ судъ. Въ комнатѣ, замершей въ нѣмомъ вниманіи, председатель громко, твердо и отчетливая каждое слово, читаетъ приговоръ. Послѣ перечисленія безконечнаго ряда статей военныхъ законовъ, утомившаго слухъ своей мертвенностью, говорилось, что всѣ трое подлежатъ лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни черезъ повѣшеніе. Шидловскій и Стеблянскій поблѣднѣли. Но председатель, не останавливаясь, читаетъ далѣе о томъ, что въ виду того, что Буликъ несовершен-

нолѣтній, а Шидловскій спасъ жизнь дѣвочкѣ и оба раскаялись, судъ постановилъ ходатайствовать передъ Государемъ Императоромъ о смягченіи участи ихъ замѣной смертной казни: первому безсрочными, а второму 20-лѣтними каторжными работами.

На лицѣ Шидловскаго появилась краска, и глаза оживились радостнымъ свѣтомъ. Онъ не могъ скрыть своей радости, и наружность его приняла видъ побѣдителя, выигравшаго ставку. Яковъ Стеблянскій, волей котораго управляетъ живущій въ немъ звѣрь, долженъ умереть. Онъ стоялъ все такъ же спокойно и съ такимъ же выраженіемъ вниманія къ окружающему, но съ совершенно блѣднымъ лицомъ, съ безучастно блуждающими глазами и, казалось, утерявшій свою волю.

V.

Я встряхнулся какъ бы отъ неожиданнаго толчка и открылъ глаза. Нѣсколько мгновений подъ вліяніемъ соннаго забвенія, только что отлетѣвшаго, я не могъ понять, гдѣ я, не узнавалъ своей комнаты, потерялъ изъ памяти привычное расположеніе стѣнъ, оконъ и вещей. Было очень свѣтло, и въ комнатѣ тихо, какъ и во всемъ домѣ, и пусто. Но тотчасъ же я догадался, что наступилъ другой день послѣ короткой ночи, и вспомнилъ, что именно я долженъ дѣлать сегодня: куда идти и что видѣть. Стрѣлки часовъ показывали 23 минуты пятого. Часъ непривычно ранній. Хотя и очень хотѣлось поваляться на подушку, манящую къ себѣ обѣщаніемъ сладкаго покоя и блаженнаго забвенія, но нельзя было. Боязнь опозданія сообщила мнѣ озабоченность и нервную поспѣшность движеній, какъ въ былыя времена ученія въ гимназіи. Вмѣстѣ съ этимъ въ воображеніи воскресла и личность Стеблянскаго, и вокругъ нея зародились всѣ вчерашнія мысли о немъ, о приготовленіяхъ, о казни, объ исполнителяхъ и т. д., и проснулось въ сердцѣ чувство пугающей неизвѣстности, а потомъ и состояніе нерѣшительности и двойственности овладѣло мною опять. Пойти хотѣлось, а внутренней голосъ,—голосъ совѣсти,—удерживая, говорилъ мнѣ противъ этого. Все слышалось мнѣ: «не ходи, поступишь дурно, если пойдешь. Или не понимаешь, что въ этомъ всетаки ничего нѣтъ, кромѣ любопытства, постыднаго въ данномъ случаѣ»... И тутъ же припоминалось отношеніе къ моему рѣшенію постороннихъ и господствующаго въ нашемъ кругу мнѣнія. Но мотивъ—самому провѣрить разнорѣчивое мнѣніе о смертной казни—былъ для меня твердой опорой, и какъ раньше, такъ и теперь, всѣ разсужденія приводили меня къ убѣдительнымъ доводамъ за то, чтобы идти, къ доводамъ, разумность которыхъ въ моихъ глазахъ стала неопровержимой. Въ самомъ дѣлѣ: вовсе не любопытство тянетъ меня, а любознательность. «Я иду не какъ равнодушный зритель, а съ несомнѣннымъ чувствомъ состраданія къ обреченному Стеблянскому. Мои наблюденія будутъ столь же чисты, какъ и научныя, и сравненно скромнѣе наблюденій при вивисекціи, напримѣръ. А Стеблян-

скому развѣ не все равно, буду я или нѣтъ? Онъ меня не знаетъ и даже не увидитъ. Предотвратить казни я не въ силахъ и участвовать въ ней я не буду, а между тѣмъ тѣ, которые отправятся по обязанностямъ службы, будутъ даже дѣйствующими лицами и не только противъ желанія, но и противъ доброй воли. Во сколько разъ ихъ поступокъ хуже моего?—однако же имъ нѣтъ не говорить: «неужели вы пойдете?»... Если я не пойду теперь, то только пропущу представившійся случай, навѣрно единственный въ моей жизни, и больше ничего».

Логичны эти доводы или нѣтъ, нравственны или безнравственны,—пусть каждый судитъ по-своему, но я и теперь доволенъ тѣмъ, что на нихъ остановился и пошелъ смотрѣть казнь. Да и не такъ же ли на моемъ мѣстѣ поступилъ бы всякій другой?

Я очень хорошо помню это утро. Яркій солнечный свѣтъ наполнял все кругомъ и вливалъ въ душу радость. Одѣвшись, я открылъ окно. Свѣжій, бодрящій утреннй воздухъ широкимъ клубомъ хлынулъ въ комнату, охватилъ меня и дохнулъ въ лицо силами молодой жизни. Надъ окномъ неумолчно ворковали равнодушные ко всему, кромѣ своего семейнаго счастья, голуби, жившіе за стѣнной оконнаго наличника. Стояли тѣ рѣдкіе въ Сибири весенніе дни (часто весна проходитъ совсѣмъ безъ нихъ), когда воздухъ не отравленъ сухимъ, ущемляющимъ обоняніе и сладковатымъ запахомъ лѣсной гари, и небо не загажено до потускнѣнія солища грязно-желтымъ туманнымъ покровомъ ея дыма. Нѣтъ, на фонѣ синяго, совершенно чистаго, безпредѣльно-глубокаго небснаго свода отчетливо рисовались, какъ прихотливо сплетенныя кружева, очертанія сѣтки изъ вѣтокъ и листьевъ уличныхъ деревьевъ, перепутанно и разнообразно ломаныя линіи заборовъ, крышъ и трубъ, искривленные контуры далекаго, на самомъ горизонтѣ, хребта, окутаннаго словно кисеей лилово-дымчатымъ туманомъ. Воздухъ уже наполнялся звуками проснувшейся жизни. На дворѣ истерически раскудаhtалась курица и гнѣвными вскрикиваніями отвѣчала ей пѣтухъ; въ безпредѣльной вышинѣ небснаой выси радостно заливались кувыркающіеся отъ восторга жаворонки, съ повсвистываніемъ носились другъ за другомъ, выписывая зигзаги, ласточки. Боже мой, какая мирная радость жизни и какъ свѣтло всюду: вверху въ пространствѣ и здѣсь, на землѣ! Поднявшееся солнце пѣлымъ моремъ грѣющаго свѣта обливало всѣхъ и все, давая имъ жизнь. Несмотря на такой ранній часъ, подъ окномъ истоиво стрекотали кузнечики гдѣ-то въ травѣ съ необсохшей и блестящей слезинками на солнцѣ росой. Такое утро обѣщало ясный и жаркій майскій день съ прохладой и пахнущимъ весенней свѣжестью вѣтеркомъ въ тѣни.

Я быстро шелъ по неровной, немощеной улицѣ возлѣ пыльной дороги, истоптанной и исполосованной вчерашней ѣздой. Населеніе городка начинало просыпаться и принималось за привычную ляжку, называемую жизнью. Совершенно не подозрѣвая о томъ для всѣхъ важномъ, что должно сегодня въ городѣ совершиться, съ тупымъ равнодушіемъ ко всему, кромѣ

себя, глухой и слѣпой до чужихъ заботъ, горя и радости, каждый встрѣчный видимо занятъ былъ своимъ личнымъ дѣломъ. Возбужденный прелестью утра и ежась отъ легкой дрожи, разбѣгавшейся отъ самаго сердца по груди, по всему тѣлу и къ ногамъ, я самъ для себя незамѣтно ускорялъ шагъ, какъ-то не имѣя даже власти сдерживать ноги. Была какая-то очень высокая, важная цѣль, къ которой я стремился. И весь отдавшійся этой цѣли, я, помню, впервые пораженъ былъ тѣмъ, насколько человѣческая жизнь кругомъ меня, утоная въ объятіяхъ эгоизма, была скучна своей обыденной пошлостью въ сравненіи съ тѣмъ торжествомъ и великолѣпіемъ, что наполняло природу, и насколько мизерна передъ тѣмъ огромнымъ, что предстояло. Просторъ и свобода охватывали душу и возвышали ее, говорили ей о равенствѣ всѣхъ передъ этимъ солнцемъ и небомъ, о разумности жить въ мирѣ и любви, обѣщали довольство, а погрязшіе въ мелочахъ обыденной жизни люди крѣпко спали въ этихъ домикахъ и домахъ съ бѣлыми ставнями, прятаясь въ темнотѣ съ сердцами, переполненными себялюбія и вражды.

Какъ только вышелъ я на площадь и увидѣлъ въ концѣ ея высокой, напоминающій часовой, тюремный заборъ изъ безобразныхъ по своей дикости остроугольных палей *)), вдоль которыхъ лѣниво прохаживались одинокіе часовые, моею душою овладѣла гнетущая тревога. За этими самыми пѣлями тамъ, во дворѣ, и будутъ его вѣшать. Въ замкнутости этого мѣста видѣлась прямолинейная неумолимая строгость, которая, казалось, говорила о безповоротности принятаго рѣшенія и о неизбѣжности его исполненія, а часовые съ ружьями своимъ медленнымъ лѣнивымъ прохаживаніемъ вдоль стѣнъ именно это и подтверждали.

На обычномъ мѣстѣ, на площадкѣ противъ тюремной стѣны у крыльца и у заваленки тюремной конторы, стояли и сидѣли мужчины и женщины съ мѣшками, узелками и дѣтьми. Они уже пришли на свиданіе къ роднымъ и знакомымъ и ожидали пропуска. Но совершенно особенно отъ нихъ мнѣ бросились въ глаза еще стоящіе въ одиночку люди. По ихъ позамъ, пустымъ рукамъ и по тому еще, какъ они старательно наблюдали за воротами тюрьмы, не упуская ихъ изъ виду, я догадался, что цѣль у нихъ та же, что и у меня: они пришли смотрѣть на казнь. И дѣйствительно, почти всѣ они встрѣтили и провожали меня внимательными взглядами и какъ только замѣтили, что я въ формѣ «съ ясными пуговицами» и рѣшительными шагами человѣка, имѣющаго въ этомъ учрежденіи нѣкоторое значеніе, направился къ будкѣ у калитки, ведущей во дворъ, гдѣ помещались контора и больница, они по одному направились за мною сперва нерѣшительно, но потомъ, по мѣрѣ моего приближенія, ускоряя шагъ, какъ бы боясь отстать, и, наконецъ, когда надзиратель у будки, наскоро отдавъ честь, загремѣлъ запоромъ и распахнулъ калитку, они, боясь меня

*) Пѣли это—высокія тонкія бревна, вставленные въ землю, какъ часовой, вокругъ тюрьмы и ея двора въ Сибири.

потерять, подбѣжали и сгрудились, окруживъ меня. Въ этой поспѣшности и во взглядахъ ихъ лицъ открыто выразалось стремленіе удовлетворить свое сильное желаніе, овладѣвшее ими: поглядѣть интересное и рѣдкое зрѣлище. Совершенно такъ же жмутся и толпятся у кассы театра, у входа въ церковь, гдѣ служить архіерей и откуда слышится уже мелодичное хоровое пѣніе великопраздничной службы, или у оконъ и дверей того дома, гдѣ свадьба. Жмутся, предостерегая другъ друга быть тише и осторожнѣе, упрекаютъ за невоспитанность, но каждый только и думаетъ о томъ, какъ бы не пропустить момента подвинуться на пядь впередъ, захватить переднее мѣсто раньше другихъ.

«Что, не опоздалъ я? Еще не началось?» поспѣшно проговорилъ я своимъ мысли привратнику, не удержавшись и не обдумавъ ихъ.

«Никакъ нѣтъ, такъ точно», еще поспѣшнѣе отвѣтилъ онъ мнѣ, отдѣляя меня отъ напиравшихъ сзади. «Товарища прокурора ожидаютъ, они еще не пришли-съ!»... «Куда?» закричалъ онъ вдругъ на того, который ни за что на свѣтѣ не хотѣлъ отстать отъ меня и уже занесъ ногу за порогъ калитки. «Нельзя!»... Мой взглядъ успѣлъ еще скользя по его растянutoй фигурѣ и обезображенному злобнымъ ужасомъ, красному отъ напряженія, лицу. «Не велѣно впускать. Рази не видите, начальникъ *) прошелъ? А вы кто такіе, что безъ спросу лѣзете?» И на лицѣ его, сбитаго толпою съ своего мѣста, изобразилась, вмѣстѣ съ страхомъ не удержатъ калитки подъ напоромъ превосходящей силы, рѣшимость скорѣе умереть, но не выпустить ее изъ рукъ. Но тутъ я прошелъ, а намѣревавшійся сдѣлать то же слѣдовавшій за мною вернуть свою ногу назадъ. «Сказано смотрителю не приказали никого пущать, тоже вашего брата»... Калитка захлопнулась и запоръ щелкнулъ.

VI.

На дворѣ, гдѣ я теперь находился, давно мнѣ знакомомъ по расположенію въ немъ строеній, сразу стало замѣтно, что предстоитъ что-то необычное, что-то вродѣ пріѣзда начальства или маленькаго смотра, парада. Прежде всего бросилось въ глаза то, что тутъ сошлись въ видимомъ ожиданіи кого-то или чего-то начальствующія лица въ блестящей новыи пуговицами и значками формѣ разныхъ вѣдомствъ. По свободному мѣсту двора на яркомъ солнцѣ прохаживались двое въ черныхъ форменныхъ пальто съ золочеными погонами. Я узналъ въ нихъ товарища прокурора и секретаря суда (въ тѣ дни въ городѣ находилась сессія окружнаго суда). Разговаривая, они шагали тою нервной поспѣшной походкой, которую всегда можно видѣть въ залѣ передъ экзаменомъ и на станціяхъ передъ приходомъ поѣзда, гдѣ онъ стоитъ мало времени. А направо въ тѣни, у крыльца

*) Начальниками въ провинціальной, крестьянской Сибири зовутъ чиновника, самостоятельно дѣйствующаго въ отведенномъ ему районѣ: акцизный начальникъ, становой начальникъ, мировой начальникъ и т. д.

конторы, сидѣли и стояли группой за разговоромъ смотритель тюрьмы и представитель отъ полиціи въ мундирахъ, городской врачъ въ темномъ короткомъ пальто и шляпѣ, въ распущенной позѣ штатскаго, и еще какіе-то съ шершавыми и косматыми бородами и нависшими усами и бритые въ разнообразныхъ одѣяніяхъ того безвкуснаго, мѣшковатаго и безформеннаго покроя, которымъ отличаются въ уѣздныхъ городахъ жители изъ мѣщанъ, ремесленниковъ, торгашей и т. п. Узнавъ среди нихъ кое-кого знакомыхъ, я нерѣшительной походкой направился къ нимъ. Ожидали, какъ оказалось, начальника горнизона, который все не ѣхалъ. Чувство тревоги, принесенное мною сюда, не только не исчезло, но, наоборотъ, окрѣпло, такъ какъ я замѣтилъ, что въ глазахъ всѣхъ, пришедшихъ сюда, оно имѣло ясное выраженіе. Еще была одна особенность въ отношеніяхъ всѣхъ насъ, не имѣвшихъ служебнаго къ дѣлу касательства: когда встрѣчались наши глаза, то отъ взглядовъ дѣлалось какъ-то неловко, пробѣгали въ глазахъ искорки, какъ это всегда бываетъ, когда другъ за другомъ подозрѣваешь что-нибудь особенное, скрытое и нехорошее. Каждому было чего-то совѣстно, и онъ зналъ, что и другому такъ же совѣстно, но онъ не находилъ въ себѣ силъ удалить причину такого состоянія и потому старался скрытничать. Тѣ пустые вопросы, замѣчанія и разговоры, которые мы между собою заводили, чтобы сгладить неловкость, не заглушали ее и сами собою обрывались. Поэтому всѣ старались больше слушать, притворяясь, что находятъ большой интересъ въ этомъ. На самомъ же дѣлѣ каждый только и думалъ: «ну, когда же начнется? Какъ надоѣдливо скучно ждать». Изрѣдка, впрочемъ, слушать было интересно. Это было всякій разъ, когда рѣчь заходила о самомъ главномъ для всѣхъ насъ: о героѣ дня, о Стеблянскомъ, все время не выходившемъ изъ памяти и сознанія. Въ немъ, какъ въ фокусъ лучи свѣта, сосредоточивалось все вниманіе. Онъ, какъ и раньше, сидѣлъ тамъ, за заборами и стѣнами, въ какой-то камерѣ, но такъ и хотѣлось узнать: что съ нимъ, каково-то ему теперь?

Передъ глазами на дворѣ все попрежнему было такъ же и одно и то же. По залитому яркимъ солнцемъ мѣсту, какъ на экзаменѣ въ залѣ, прохаживались товарищъ прокурора и секретарь, занятые дѣловымъ, казалось, разговоромъ. Изъ окна съ желѣзной рѣшеткой больницы неслись женскіе голоса, звонкіе и крикливые; все учащаясь, они становились громче, нетерпѣливѣе и слились, пересыпаясь какъ барабанная дробь, превратились въ громкую на весь дворъ перебранку сварливыхъ бабъ, судьбою посаженныхъ сосѣдками, изловчившихся въ этомъ искусствѣ частымъ упражненіемъ. За угломъ больницы у амбаровъ нѣсколько арестантовъ въ бѣлыхъ, широкихъ штанахъ и курткахъ съ желтовато-блѣдными отъ нездоровья лицами вѣшали мѣшки съ мукой, а бородатый надзиратель въ черной формѣ и бѣлой фуражкѣ суетился тутъ же, покрививая на нихъ и звякая связкой огромныхъ ключей. Около забора и высокой полѣнницы дровъ арестантка въ синеватой юбкѣ, похожей на тряпицу, и такой же кофтѣ и въ бѣломъ, низко надвинутомъ на глаза платкѣ, полоскала бѣлье въ ко-

рытъ, разбрасывая вокруг свергающіе самоцвѣтными камнями брызги, а другая такая же баба съ горой бѣлья на плечѣ развѣшивала его, ослапительно бѣлое на яркомъ солнцѣ, вдоль по веревкѣ черезъ весь дворъ. Голоса,—даже когда говорили негромко,—отчетливо, раздѣльно и звонко раздавались на чистомъ воздухѣ. Всѣ были заняты своимъ обычнымъ дѣломъ, и всѣ дѣлали его охотно, съ удовольствіемъ на этомъ воздухѣ и на этомъ солнцѣ, повидимому, не думая въ своемъ самодовольствѣ о томъ, что предстоитъ. И это еще болѣе усиливало чувство щемящей тревоги, разливавшейся по душѣ. «И никто-то изъ нихъ не думаетъ о немъ! Онъ одинъ отъ всѣхъ! А каково-то ему теперь?»...

Присѣвшій на крыльцѣ смотритель медленно свертывалъ папиросу умѣлыми движеніями пальцевъ и такъ же медленно, съ даканьями и таканьями въ паузахъ, подыскивая слова и выраженія, рассказывалъ окружающимъ его знакомымъ эпизодъ, подобный настоящему, изъ временъ его службы въ Иркутскѣ. Героемъ рассказа былъ какой-то замѣчательный, прославившійся на всю каторжную Сибирь и наводившій однимъ своимъ именемъ страхъ на всѣхъ жителей арестантъ-разбойникъ, нѣсколько разъ бѣгавшій чуть ли не изъ-подъ семи замковъ, снимавшій кандалы, какъ браслеты и т. п. и тоже, наконецъ, повѣшенный. Слушатели всѣ внимали, являя на лицахъ притворное выраженіе удовольствія, получаемого отъ интереснаго рассказа, одобрительно поддакивали и вставляли замѣчанія одобренія тому отрицательному отношенію къ преступникамъ, которое было подмладкой рассказа. Но все это нисколько не убавляло настроенія минуты. Все такъ же душой владѣла тревога, и все такъ же гдѣли вопросы: «что-то онъ теперь? Каково-то ему? Вѣдь скоро пойдетъ на смерть!» И на душѣ становилось жутко въ ожиданіи приближающагося чего-то необыкновеннаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ тамъ гдѣ-то, въ самой глубинѣ души, шевелилось подловатое радостное чувство отъ сознанія увѣренности въ неприкосновенной сохранности моего я и собственной моей жизни. «Случится это, но съ нимъ, а не со мной. Слава Богу, что не со мною!»

Уже шелъ шестой часъ, солнце замѣтно поднялось, и тѣни убавились, а еще неизвѣстно было, когда начнется. Все еще ждали гарнизоннаго капитана, за которымъ послали вторично, но лошадь давно что-то не возвращалась. Оживленіе, замѣтно окружавшее насъ сначала, изсякло. Его мѣсто теперь занимала скука, томительная, однообразная скука надобѣннаго ожиданія. Все кругомъ попрежнему обыкновенно, обыденно до пошлости и такъ несодержательно, что не на чемъ остановить взора; и такъ все разнится отъ того стихійно огромнаго и всегда неизмѣнно интереснаго, что предстоитъ! И главное въ этомъ предстоящемъ вся тяжесть—доставить интересъ намъ—лежитъ на немъ. «Что-то онъ теперь думаетъ, дѣлаетъ? Каково-то ему теперь? Какъ проводить послѣдніе часы, быть можетъ, даже минуты? Да. Послѣднія минуты своей жизни! Только вдуматься въ это!» Все-таки продолжали убивать время, по обыкновенію всѣхъ ожидающихъ, въ пустыхъ разговорахъ, отрывочныхъ замѣчаніяхъ, никому не интерес-

ныхъ шуткахъ. Разговоры не вязались, тянулись лѣнливо, безпрестанно обрывались. Истомленные скукой, всё мы отдавались одному настроенію: внутренней тревогѣ передъ грознымъ предстоящимъ фактомъ и внѣшнему вялому равнодушію ко всёму и всёмъ. Только смотритель былъ бодръ, спокоенъ и распорядителенъ, какъ домовитый хозяинъ, какимъ онъ былъ всегда, несмотря на свой возрастъ и долготѣнній гнетъ службы. Былъ онъ попрежнему разговорчивъ, и голосъ его, а также и все то, что онъ говорилъ, имѣло въ глазахъ всѣхъ вѣсъ и значеніе авторитета. Ему не возражали, не высказывали своихъ мнѣній, а только или слушали, или покорно молча отходили.

— А что онъ уже знаетъ, что пойдетъ на висѣлицу?—спросилъ кто-то изъ насъ.

Сразу очнувшись, мы переглянулись. Вопросъ этотъ слышали мы чуть ли не пятый разъ, но всегда встрѣчался онъ нами охотно, и потому получалъ отвѣтъ сразу и при томъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Какъ же, знаетъ, ему сказали давно!

— Ему сказано уже,—авторитетно и спокойно отвѣтилъ смотритель, выпуская двѣ густыя струи дыма изъ носу,—у него уже съ часъ времени сидитъ священникъ.

— Священникъ съ нимъ?

— Да, самъ потребовалъ.

— Ого!

Отъ этой новости стало какъ будто еще тревожнѣе, точно мы еще болѣе приблизились къ неизбежной дѣйствительности, а онъ принялъ еще болѣшую тяжесть безвыходности своего положенія.

— Каково это?

Бесѣдовать со священникомъ, который говорить о смерти и необходимости употребить послѣднія минуты жизни на покаяніе, когда самъ совершенно здоровъ и силенъ и можешь и хочешь жить, какъ и священникъ, и всѣ другіе!

— Тоже и положеніе священника-то не особенно хорошее,—замѣтилъ кто-то.—Вѣдь кто его знаетъ, что у него на умѣ-то? Все равно: семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ.

И сказавшій это усмѣхнулся, какъ бы давая понять кому-то: «нѣтъ, ужъ покорно благодарю; меня увольте, не согласенъ я».

— Такъ онъ вѣдь не одинъ съ нимъ,—погода проговорилъ вѣско смотритель,—тамъ конвой.

— Да, конвой!

— А то какъ же? Онъ изъ-подъ глазъ конвоя съ той поры, какъ объявлено ему, не выпускается.

И тутъ опять завязался разговоръ о Стеблянскомъ, о томъ, что такое онъ со времени окончанія суда надъ нимъ, т.-е. послѣдніе два мѣсяца, выдѣлывалъ, сидя въ ожиданіи рѣшенія своей участи. Его продѣлки свидѣтельствовали о принадлежности его къ той категоріи преступниковъ, ко-

торымъ, что называется, море по колено. Изъ мести и ненависти ему хотѣлось непременно убивать. Одинъ разъ въ тюремной церкви онъ кинулся на Луку Кулика. Онъ ждалъ удобнаго случая быть близъ него, но раньше сдѣлать этого не могъ, такъ какъ съ минуты своего сознанія Буликъ былъ отдѣленъ отъ него и Шидловскаго. Потомъ онъ выломанной изъ печи или у порога желѣзкой ударилъ возлѣ своей камеры конвойнаго солдата по головѣ, и того свезли въ больницу. Пустякъ однажды въ надзирателя табуретомъ, но тотъ увернулся. Со всѣми его окружавшими онъ разговаривалъ не иначе, какъ самыми отвратительными ругательствами. За два мѣсяца сидѣнія онъ извелъ все тюремное начальство, держа его въ страхѣ и тревогѣ. Онъ видѣлъ равнаго себѣ чуть ли не только въ Романѣ Шидловскомъ, но теперь Шидловскій, уже помилованный, былъ переведенъ въ другую камеру. Въ немъ бушевалъ дикій звѣрь, котораго онъ воспиталъ въ себѣ преступной жизнью и пьянствомъ и въ которомъ онъ находилъ, очевидно, свою силу для борьбы съ врагами, а ими былъ весь міръ, начиная съ тѣхъ, что его окружали и имѣли къ нему какія-нибудь отношенія. И этотъ звѣрь заслонялъ собою человѣка, котораго никто не видѣлъ и не могъ видѣть и потому не хотѣлъ видѣть. Преступленіе, за которое онъ былъ осужденъ и долженъ былъ теперь въ видѣ наказанія получить смерть, было наивысшимъ проявленіемъ звѣрства. Изъ жадности и себялюбія, чисто животнаго себялюбія, перебитая была цѣлая семья, а найдены пустыни, вмѣсто ожидаемаго. И что самое главное: никакого сознанія въ содѣянномъ злѣ, ни тѣни раскаянія, а лишь тупое, злобное упрямство: что, молъ, будетъ, то и будетъ—все равно!

VII.

Когда, наконецъ, пріѣхалъ капитанъ гарнизона и поздоровался со всѣми нами (въ маленькомъ городѣ всѣ другъ друга знаютъ и знакомы), смотритель обратился къ товарищу прокурора со словами: «ну, что же, можно, я думаю, отправиться начать?» и, получивъ утвердительный отвѣтъ, сказалъ всѣмъ намъ, двинувшись впередъ: «ну, такъ идемте, господа!»

Его слова оказали на насъ такое же дѣйствіе, какъ на дѣтей слова учителя. Всѣ мы сейчасъ же тронулись, почтительно уступивъ переднія мѣста начальствующимъ. Каждый изъ насъ, стараясь въ то же время не отстать и занять возлѣ нихъ мѣстечко поближе, для этого хотя и вѣжливо, но обходилъ и обгонялъ другихъ. Передъ этимъ шествіемъ начальства съ полнымъ, короткаго роста, но съ проворной походкой, тюремнымъ надзирателемъ впереди и въ сопровожденіи гостей-жителей, т.-е. насъ, всѣ съ видомъ торжественнаго почтенія сторонились, давая намъ какъ можно больше мѣста въ любую сторону, куда бы мы ни пожелали направиться. У выходныхъ изъ больничнаго двора воротъ все время въ глазокъ наблюдавшій за шествіемъ по двору привратникъ въ самое вѣдвремя зазвѣкалъ

громче и проворнѣе обыкновеннаго своими ключами и засовами, распахнулъ во всю ширь воротнще и сейчасъ же вытянулся въ неуклюжую палку, сдѣлавъ безсмысленное съ остановившимися глазами выраженіе на своемъ лицѣ, какъ у манекена за окномъ моднаго магазина или цирюльни, съ рукой наотлетъ и приложенной пальцами къ козырьку бѣлой фуражки.

Бачавшіе воду у колодца, съ колесомъ и подъ навѣсомъ, въ большую старую кадущку два арестанта въ широкихъ бѣлыхъ штанахъ и курткахъ—паутовато-проворный съ черными и быстрыми глазами цыганъ и неуклюжіи медленный татаринъ—оба остановились и стали глядѣть на насъ. Такъ же глядѣли и солдаты, обступившіе крыльцо караульной избы за колодцемъ, и тѣ же взоры, удивленно-пристальные и внимательные, были сзади и съ боковъ насъ со стороны пришедшихъ на свиданіе. Взоры эти—странное дѣло!—усиливая въ насъ сознание нашего превосходства, возбуждали чувство довольства, которое всегда испытываютъ избранные, но которое здѣсь было уже совершенно неумѣстнымъ, такъ возбуждали, что нужно было усиліе, чтобы загасить его въ себѣ.

Но перейдя дорогу, начальство передъ воротами тюрьмы остановилось. Оказалось, что нужно впередъ пропустить караулъ, который чего-то тамъ замѣшкался. Я взглянулъ въ сторону караульной избы. На площадкѣ, за колодцемъ, построились въ двѣ шеренги гарнизонные солдаты, человекъ 20—25, съ ружьями, съ барабанщикомъ на флангѣ. Видъ этого военного строя съ ружьями и злобѣще торчащими на нихъ, блестящими сталью, штыками, этого ровнаго строя, красиваго своей прямолинейностью и тождествомъ составляющихъ его человѣческихъ фигуръ, свою сплоченностью, говорилъ о той неумолимой, угрожающей и равнодушной, какъ стихія, силѣ истребленія, которая одна только надъ всѣмъ міромъ господствовала и господствуетъ. Стало ясно, до простоты ясно, что казнь Стеблянскаго непремѣнно состоится,—и противъ этой силы проснулось въ глубинѣ души какое-то злобно-враждебное чувство отвращенія.

Взводный унтеръ-офицеръ, молодой, съ закрученными кверху черными усиками и лихо набокъ съ заломленной фуражкой, вертявый и ловкій солдатъ, что-то выкрикнувъ коротко, такъ что можно было слышать только «а... онъ»,—и мгновенно блеснула сталь оружія, раздался особенный звукъ отхваченнаго ружейнаго приѣма, и строй, какъ игрушечные солдатики на деревянныхъ дощечкахъ, если ихъ раздернуть, вразъ повернулся направо, оттопнувъ десятками ногъ. Потомъ онъ еще что-то выкрикнувъ, и такъ же сразу строй зашевелился, переднія пары стали отдѣляться на равное разстояніе другъ отъ друга впередъ, за ними слѣдующія, и вотъ весь взводъ съ барабанщикомъ впереди, лѣвой рукой придерживающимъ барабанъ, а правой, съ барабанными палками, преувеличенно махающимъ, неся въ рукахъ ружья съ тонкими какъ иглы штыками, направился къ воротамъ тюрьмы, старательно и грузно отбивая тактъ шага ногами. Подобранные подъ ростъ мужиковатые, толстолицые, молодые ребята, въ неуклюжихъ, поношенныхъ, черныхъ курткахъ, штанахъ и сапогахъ парами

прошли мимо насъ. Выраженіе лицъ ихъ остриженныхъ головъ, накрытыхъ неуклюжими картузами, было у всѣхъ однообразно неподвижное и безучастное, но какъ бы испуганное. Они шли, точно держась другъ за друга, чтобы составлять одно цѣлое, и даже не шли, а ихъ несло, а они только двигали, притоптывая ногами, и преувеличенно махали въ тактъ отбиваемому шагу свободными руками. Ихъ ходъ напоминалъ собою движеніе впередъ машины со множествомъ правильно качающихся съ боковъ и переплетающихся сѣткой внизу рычаговъ, стержней и коромыселъ. И это сходство съ машиной всеяло еще болѣе тревоги въ душу, даже страхъ и возбуждало чувство враждебности къ этой оскорбляющей человѣческое достоинство силѣ, что владѣла ими и несла ихъ, отнявъ у нихъ волю и сдѣлавъ ихъ себѣ покорными. Пропустивъ солдатъ впередъ, начальство, а за нимъ и мы всѣ рѣшительно и быстро направились на тюремный дворъ черезъ отворенныя ворота въ деревянной изъ палей стѣнѣ.

Посреди двора, прямо противъ воротъ, тянулся глаголемъ нагѣво тюремный корпусъ, съ рядомъ большихъ казарменнаго типа съ восьмиугольнымъ переплетомъ оконъ, закованныхъ изнутри желѣзными рѣшетками, и съ двумя высокими крыльцами передъ запертыми дверями. На дворѣ было пусто. Кругомъ отъ строеній лежали большія черныя тѣни, правильно, точно по линейкѣ, обрѣзанныя. Но какъ только вошли мы сюда, почему-то рѣшительность покинула меня окончательно. Сердце, переполненное тоскливымъ безпокойствомъ, стало биться чаще, а глаза проворно искать того мѣста во дворѣ, гдѣ самое главное—висѣлица. Направо отъ корпуса, тамъ, куда шли солдаты, было ровное мѣсто возлѣ просторной площадки, и когда солдаты, измѣнивъ направленіе, отошли въ сторону, въ глубинѣ ея ясно вырисовалась въ пространствѣ, залитомъ яркимъ солнцемъ, два изъ нововыструганнаго дерева столба съ такою же соединявшей ихъ перекладиной. «А, вотъ она гдѣ».—И сердце вздрогнуло и томительно защемило въ ожиданіи чего-то страшнаго. Но такъ какъ начальство направилось туда въ сосредоточенномъ молчаніи, то и мы за нимъ, и старались не отстать. Но не успѣли мы сдѣлать и 10—15 шаговъ, какъ изъ корпуса, что противъ воротъ, неожиданно раздались какіе-то крики. Они, усиливаясь, превратились почти мгновенно въ сплошной стоголосный, ужасный ревъ и гамъ, сопровождаемый пронзительнымъ свистомъ, щелканьемъ и лаемъ. Онъ обрушился на насъ такъ неожиданно и былъ столь оглушительнъ, имѣлъ такой угрожающій характеръ, что внезапный паническій страхъ охватилъ меня,—да и не только меня, какъ я замѣтилъ, и первое побужденіе было—бѣжать отсюда на волю. Но впереди шли группой и по одиночкѣ, и мы шли за ними, полные этого неприятнаго страха, однако же молча, не выдавая себя.

Ревъ, усиливаясь, превратился въ неистовство; уже раздался звонъ разбиваемыхъ стеколъ, и, казалось, близокъ былъ моментъ, когда бушующая, злобая и негодующе-свирѣпая толпа выльзетъ и кинется на насъ съ расправой. Ясно слышались отдѣльные визгливые и крикливые голоса

отборныхъ площадныхъ ругательствъ и сквернословія... Ну да, несомнѣнно! это арестанты, выражаютъ протестъ противъ непримиримаго ихъ врага—начальства.

Когда подошли къ площадкѣ и остановились, и ревъ сталъ стихать и сразу умолкъ самъ собою. Все вниманіе притягивала къ себѣ висѣлица, которую хотѣлось разглядѣть. Ничего особеннаго. Можно было бы подумать, что это устроено для качелей, если бы не близость другъ къ другу этихъ новыхъ столбовъ и не стоящая между ними такая же новенькая, какъ они, лѣсенка со ступеньками, кажущаяся узкой для своей высоты, свидѣтельствующая о какомъ-то особенномъ назначеніи своемъ и столбовъ. И дѣйствительно: между столбами одиноко висѣла кажущаяся въ воздухѣ ниткой веревка. Я помню, что одновременно со мною на нее обратилъ вниманіе кто-то изъ моихъ сосѣдей вслухъ: «это, должно, самая удавка-то и есть—вѣситься». Но никто не отозвался, а всѣ глядѣли на нее молча и тихо. Случайно взглядъ мой упалъ на землю подъ висѣлицей, когда загораживающій кто-то отошелъ, и то, что я увидѣлъ, испугало меня внезапной безнадежностью въ судьбѣ Стеблянскаго, разъяснивъ ужасную дѣйствительность: я увидѣлъ такой же, какъ столбы и лѣсенка, новый закрытый, дощатый гробъ, широкій въ концѣ, обращенномъ къ намъ, и узкій въ противоположномъ. Онъ дополнялъ собою висѣлицу со столбами, веревкой и лѣсенкой. Они всѣ вмѣстѣ составляли какъ бы единое цѣльное что-то. Всѣ они: и столбы, и веревка, и лѣсенка, и закрытый гробъ были одиноки и нѣмы и полны тайны, которую они хранили въ себѣ и которой служили. Они притягивали къ себѣ вниманіе, такъ что голова сама безпрестанно поворачивалась къ нимъ, а глаза перебѣгали съ одного на другое, разглядывая, хотя нечего было разглядывать: все было несложно до простоты, а, главное, извѣстно было еще и раньше, до прихода сюда, а теперь только получило видимую предметность.

Взводъ солдатъ, обогнувъ висѣлицу и построившись, выравнялся фронтомъ къ ней на указанномъ командиромъ мѣстѣ. Между тѣмъ смотритель тюрьмы, согласившись съ товарищемъ прокурора и представителемъ отъ полиціи, далъ распоряженіе толстому тюремному надзирателю, и тотъ послѣшно бросился къ крыльцу тюремнаго корпуса исполнять приказаніе.

«За нимъ послали»... «Приказалъ привести»... пролетѣло среди насъ, зрителей, стоявшихъ группой въ сторонѣ отъ начальства.

Опять мы, стоя въ разныхъ положеніяхъ и позахъ, ждали, какъ и тамъ, на больничномъ дворѣ. Вскорѣ продолжительная напряженность вниманія утомила насъ, и теперь оно ослабло. Разбились на группы; нѣкоторые прохаживались тутъ же, закурили папирсы; другихъ соединилъ разговоръ дѣловаго характера, а прочіе просто болтали или лѣнливо обмѣнивались фразами, жмурясь отъ солнца и отыскивая мѣсто гдѣ бы присѣсть въ тѣни. Проворный взводный унтеръ-офицеръ съ разрѣшенія капитана командовалъ «вольно» «оправь», и строй тотчасъ же изломался, солдаты

зашевелились, поднялось покашливаніе, чиханье, сморканье, откуда-то вдруг кашель, и все это преувеличено, такъ что выходило цѣлымъ шумомъ и натянуто, такъ что было даже удивительно, откуда все это бралось. Но потомъ, позабывъ уже, очевидно, приказаніе оправиться, солдаты успокоились. Надъ головами поднялись дымки закуренныхъ папирозъ, и раздавался смѣхъ и громкій говоръ.

Глаза привыкли къ виду снаряженій для казни, но всетаки безпрестанно взоръ кидался къ нимъ. Оглядывая дворъ, я остановился на большихъ съ рѣшетками окнахъ корпуса. Она были усыяны стриженными головами съ желтовато-блѣдными нездоровыми лицами, обращенными въ нашу сторону, гдѣ они усиленно старались рассмотреть что-то, судя по любопытному выраженію ихъ глазъ. Черезъ разбитыя стекла хорошо слышны были голоса, изрѣдка выкрикиваемые ругательства, больше шутивья, иногда сердитыя. Черезъ пролетъ между двумя углами сходящихся строеній виднѣлись сѣрыя крыши дальнихъ домовъ съ бѣлыми трубами, уставленными съ боковъ мужчинами и женщинами. Лица ихъ обращены были къ намъ. Они стояли неподвижно и терпѣливо, наблюдая за тѣмъ, что дѣлается у насъ. Любопытство такое же, какъ и у насъ, заставляло ихъ примиряться съ неудобствомъ мѣста и возможностью насмѣшекъ надъ ними, выставляющими на видъ и себя, и свое любопытство. Яркое солнце освѣщало ихъ фигуры, рисовавшіяся на фонѣ небесной лазури, и придавало красоту ихъ непринужденной группировкѣ и пестротѣ красокъ ихъ одежды.

Когда все мы уже чувствовали утомленіе отъ этого безплоднаго ожиданія, конца которому казалось не предвидѣлось, на дальнемъ крыльцѣ тюремнаго корпуса вдругъ шумно отворились двери, и вышелъ нашъ толстый тюремный надзиратель. Въ дверяхъ виднѣлась шевелившаяся группа людей и солдатъ. Взоры всѣхъ насъ устремились туда, и все мы поспѣшили къ своимъ мѣстамъ. Группа людей, теперь хорошо уже различимыхъ, спускалась съ крыльца: солдаты съ ружьями, какой-то толстый офицеръ, священникъ въ траурной ризѣ и черной скуфѣ, и арестантъ во всемъ сѣромъ, суконномъ.

«Это онъ!»... «Вонъ онъ!»... «Его, должно, вывели отъ-то?»... забормотали между насъ, и еще внимательнѣе все уставились взорами туда. Слухъ уловилъ неясный разговоръ оттуда и прерывающееся звяканье желѣза о желѣзо. Этотъ звукъ, всегда, когда слышишь его, поднимающій въ душѣ возмущеніе и ненависть, такъ какъ это лягають цѣпи на человѣкѣ, заставилъ тотчасъ же встрепенуться и жалостливо насторожиться: вели колодника. Когда все сошли съ крыльца, офицеръ среди нихъ, оказавшійся полицейскимъ, низенькій и толстый, съ побѣдоноснымъ видомъ пѣтуха пошелъ впереди, а за нимъ на разстояніи и священникъ въ черной скуфѣ, черной ризѣ и епитрахили съ серебряными галунами, коймами и крестами. Онъ несъ передъ собою небольшое золотое распятіе въ сложенныхъ на груди рукахъ, а за нимъ слѣдомъ,

онъ, Стеблянскій, центръ всей процессіи и общаго вниманія, въ сѣрыхъ, прямыхъ грубаго сукна штанахъ и такой же сѣрой мѣшковой курткѣ. По бокамъ его, держа ружья наклоненными впередъ, съ торчащими на нихъ штыками и стараясь дѣлать такого же размѣра шаги, какъ и онъ, шли два гарнизонныхъ солдата, въ такихъ же, какъ и онъ, неуклюжихъ, но только черныхъ, курткахъ и большихъ картузахъ, такіе же, какъ онъ, молодые, съ такими же, какъ у него, вульгарными фигурами и лицами. Полицейскій шагаль впереди и скоро; священникъ, въ траурномъ облаченіи и съ распятіемъ Христа за нимъ, старался не отстать, но отставалъ, какъ бы стремясь увлечь за собою Стеблянскаго.

А онъ шельзъ самъ по себѣ твердымъ, ровнымъ, дѣловымъ шагомъ, не обращая вниманія ни на кого, даже на сподручныхъ солдатъ. Отъ его шаговъ раздавалось, раздражая слухъ, дробящееся позвякиванье размѣренно стряхиваемыхъ, какъ связка ключей, и путающихся на ходу кандалныхъ цѣпей, ударяя тревогой по сердцу, наполняя его сострадательной жалостью и поднимая негодованіе противъ кого-то: грубаго, безчеловѣчнаго мучителя. Не было разбойника Стеблянскаго, звѣрь-человѣка, надѣлавшаго такихъ ужасовъ, описанныхъ въ обвинительномъ актѣ, рассказанныхъ свидѣтелями и Лукой Куликомъ на судѣ, устрашавшаго своей готовностью еще убивать кого придется, и тюремную стражу, и караулъ, и начальство. Гдѣ онъ, этотъ звѣрь-человѣкъ? Былъ закованный плѣнникъ, котораго вели на приготовленное мѣсто, чтобы умертвить. И все было обставлено такъ, чтобы онъ не могъ спастись. Всѣ, кто его велъ, только и думали, казалось, о томъ, чтобы скорѣе довести его до этого мѣста, а то какъ бы онъ не успѣлъ спастись. И странно: это все были люди, которымъ онъ ровно ничего дурного не сдѣлалъ, а тѣхъ, которые потерпѣли отъ его злодѣяній или видѣли ихъ, тѣхъ не было. И не по этому ли невозможно было удержать себя отъ сочувствія къ нему?

— Смиррна!...—повелительно закричалъ проворный унтеръ-офицеръ.

Какъ только полицейскій поравнялся съ большими окнами корпуса, воздухъ внезапно огласился тѣмъ же, что и давеча: свистомъ, завывающимъ лаемъ, ревомъ, хаотическимъ, разноголосымъ, рѣжущимъ слухъ невообразимой какофоніей, въ которомъ различались отдѣльные крикливые голоса, спѣшившіе выбросить за окно какъ можно скорѣе и больше и сколь возможно отвратительнѣе площадныхъ ругательствъ. И это опять такъ неожиданно и такъ сильно, что сразу ногами овладѣлъ порывъ бѣжать безъ оглядки. Но процессія шла, а мы всѣ, впившіеся въ нее глазами, стояли на своихъ мѣстахъ и провожали ее взоромъ, наблюдая за нимъ. Подойдя къ какому-то обрубку дерева на площадкѣ противъ насъ, она остановилась. Солдаты однако же не спускали ружей къ ногъ, а все такъ же держали ихъ наклонно. Они, нѣмые, не знали, повидимому, что имъ теперь, когда подошли, дѣлать: уходить ли отсюда, или бросаться на кого и колоть, стрѣлять, или еще что. Они оглядывались, ожидая, видимо

чего-то откуда-то. Ревъ утихъ, и начальство, къ которому присоединился и полицейскій, о чемъ-то стало переговариваться.

Стеблянскій, овладѣвшій воображеніемъ и мыслями до его появленія и выросшій чуть ли не въ великана съ титанической силой и страстями, стоялъ теперь подъ открытымъ небомъ, на виду, передъ нашими глазами. Онъ былъ обыкновенный, средняго роста, приземистый и крѣпкаго сложения нездорово-блѣдный, но смуглый арестантъ изъ простолюдиновъ, въ обыкновенномъ сѣромъ неуклюжемъ арестантскомъ одѣяніи, похожемъ на мѣшки, и закованный по рукамъ и ногамъ въ кандалы съ цѣпями. Въ сравненіи съ пространствомъ, зданіями и толпой онъ былъ, какъ и всѣ, маленькимъ. Но, что страннѣе всего, онъ былъ даже ниже ростомъ и меньше объемомъ нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ его и уже совсѣмъ не походилъ на овладѣвшаго воображеніемъ героя-злодѣя. Вдругъ послышался знакомый характерный звукъ его силлага равнодушно, даже нахально насмѣшливаго голоса, какимъ обладаютъ прожигающіе жизнь кутилы.

— Что жь тутъ стоять будемъ, али пойдѣмъ еще куда?—грубо спросилъ онъ, ни къ кому не обращаясь. Фраза была совершенно неумѣстная и ничтожная по своему содержанію, и поэтому произошло, что отъ него окончательно отлетѣлъ ореолъ злодѣя-героя, принимающаго смерть какъ искупительное наказаніе. Стало ясно, что передъ глазами стоялъ тотъ самый Стеблянскій, который на судѣ только и умѣлъ говорить за себя, что онъ ни въ чемъ не виноватъ, да просить «отбить телеграмму» въ Донскую область, на родину. Да, это былъ тотъ самый крѣпкаго сложения и воли человекъ, огрубѣвшій, прямой и спокойный. Раскаяніе, доброта, вообще мягкосердіе какъ-то не шли даже къ нему, неумѣстны были рядомъ съ нимъ.

Еще не успѣло изгладиться впечатлѣніе, произведенное его словами, какъ секретарь суда, гдѣ-то сбоку, недалеко отъ насъ, откашлялся и одинокимъ, поглощаемымъ пространствомъ сейчасъ же, какъ онъ вылеталъ изъ устъ, голосомъ, обнаруживавшимъ своей неровностью недостатокъ твердости и силы избавиться отъ волненія, началъ чтеніе приговора со словъ:

«По указу Его Императорскаго Величества»... Вскорѣ, однако же, голосъ его сталъ громче, опредѣленнѣе и спокойнѣе. Чтеніе продолжалось недолго. Послѣ перечисленія цѣлой вереницы цифръ статей военнаго закона, утомительнаго перечисленія, обременявшаго вниманіе и вызывавшаго нетерпѣніе задержкой конца, послѣдовало самое главное, къ чему все и сводилось, для чего это чтеніе и продѣлывалось, какъ предисловіе: наименованіе наказанія. Окончивъ, секретарь смолкъ. Тотчасъ же стоявшій рядомъ съ нимъ товарищъ прокурора, волнуясь много больше, чѣмъ замѣтно было по его то едва слышному, то крикливому голосу, прочелъ приказъ объ исполненіи этого приговора и тоже замолкъ, быстро опустил, какъ бы уронивъ, руку съ бумагой и отвернулся. Водворилось молчаніе выжидательное, угнетенно-тяжелое. Казалось, всѣ были поражены тѣмъ, что

казнь будетъ на самомъ дѣлѣ, что всё эти приготовленія продѣлывались не для вида только. И въ то же время вниманіе всѣхъ достигло наивысшаго напряженія передъ предстоящимъ интереснѣйшимъ изъ явленій жизни. Противъ воли глаза все останавливались на Стеблянскомъ и наблюдали за нимъ, къ которому все это относилось. Но онъ былъ все также неизмѣнно спокоенъ, стоялъ, оставивъ лѣвую ногу и придерживая, насколько позволяли ручные оковы, ремень у пояса съ дѣлами ножныхъ кандаловъ. Вдругъ онъ заговорилъ, и всѣ замерли отъ вниманія.

— Ваше благородіе, это какъ же? всѣхъ приговорили на висѣльницу, меня удавятъ будутъ, а другихъ нѣтъ?!.. Всѣ были, всѣмъ и висѣть.— Но мертвое молчаніе и движеніе въ немъ струящагося весенняго, пахучаго воздуха было ему отвѣтомъ.— Это, что вы сейчасъ читали, что такое? Это все одно, что ажемякинъ судъ сказать, и болѣ ничего!... А мнѣ и такъ и этапъ пропадать—одинъ конецъ, готовъ я!

Всѣ эти слова неизвѣстно кому сказалъ онъ, но всѣ поняли, что они относились къ тому элементу изъ насъ, стоящихъ противъ него, который называется начальствомъ. Хотя мы и поняли его, и его слова запали намъ почему-то въ самую глубину сердца, но опять всѣ мы молчали, и онъ остался со своими словами, которыя поглотило безпредѣльное воздушное пространство, одинокимъ.

Въ это время я замѣтилъ,—стоявшій по нашу сторону какой-то долго-вязый мужикъ страннаго вида: въ высокихъ валенкахъ, несмотря на такую теплую погоду, и теплой шапкѣ, и одѣтый по праздничному во все новое, т.-е. въ ярко-красную рубаху и плисовые шаровары, толкавшійся до этого, какъ лишній, ни съ кѣмъ не разговаривая и ни чѣмъ не занятый, мужикъ этотъ, во время чтенія приговора стоявшій въ унылой позѣ безцѣльнаго существованія и бездѣля, точно вдругъ что-то понялъ, тронулся съ мѣста и, раскачивая на ходу,—это была особенность его походки,—на своихъ вогнутыхъ, какъ спереди у коровы, ногахъ, неуклюжее туловище съ поватыми плечами и горбоватой спиной, подошелъ къ гробу. Онъ неловко спихнулъ съ него крышку ногой, и открылась внутренность гроба, углубленіе изъ такихъ же, какъ и снаружи, голыхъ новыхъ досокъ. Тамъ лежало что-то бѣлое, сложенное вродѣ простыни. Онъ быстро взялъ это бѣлое правой рукой и, приподнявъ надъ головой, распустилъ, потомъ рѣшительнымъ движеніемъ руки слегка встряхнулъ. Шуршащій, бѣлый коленкоръ развернулся, оказавшись какою-то длинной юбкой или халатомъ. Тотчасъ же каждый изъ насъ догадался, что это былъ саванъ, а мужикъ—палачъ. Съ этой штукой онъ направился къ Стеблянскому, но не дойдя остановился, такъ какъ стоящій возлѣ Стеблянскаго священникъ, въ черной бархатной скуфѣ, изъ-подъ которой падали на плечи охвостья русыхъ, жидкихъ волосъ, и въ траурной ризѣ, говорилъ что-то тихимъ, нерѣшительнымъ, мягнувшимъ голосомъ, ни къ кому не обращаясь, а съ выраженіемъ на лицѣ плохо скрываемаго безучастія, такъ что замѣтно было, что онъ и самъ не вѣрилъ тому, что говорилъ, а только исполнялъ

требованіе необходимости и перебиралъ пальцами ручку креста. Стеблянскій, которому, видимо, не понравился этотъ публичный призывъ къ сентиментальности въ такую серьезную для него минуту, вдругъ перебилъ священника своимъ сильнымъ, но спокойнымъ и ровнымъ голосомъ:

— Ладно, батя! Не одинъ я грѣшенъ, а вотъ смерть должнъ примать одинъ,—ты про это скажи. Давай крестъ лучше.

И приложился къ протянутому охотно священникомъ кресту. Священникъ послѣ этого отошелъ, облегчившись, видимо, и довольный тѣмъ, что все обошлось благополучно, а палачъ вмѣсто него занялся со Стеблянскимъ. Расправивъ бѣлый, шуршащій саванъ и набравъ его отъ ворота къ подолю на лѣвую руку, палачъ подошелъ къ нему, желая что-то сдѣлать. Но кто-то возлѣ него подсказалъ, что нужно вѣдь прежде расковать кандалы.

— Расковать нужно,—повелительно громко сказалъ смотритель со своего мѣста,—гдѣ кузнецъ? Позови кузнеца, надзиратель!

— Расковать... Кузнеца пушно... Какъ же такъ можно... Гдѣ кузнецъ?...—ходило между оживившимися, какъ съ просонокъ, присутствующими, то вполголоса, то громко.

Всѣ вдругъ замѣтили эту оплошность и требовали исправленія. Стеблянскій стоялъ спокойно съ выпяченными впередъ скованными другъ около друга руками и молчалъ. Толстый, бородатый надзиратель засуетился, побѣжалъ къ воротамъ. Тамъ онъ передалъ приказаніе младшему тюремному надзирателю, такъ же бѣгло вернулся и доложилъ смотрителю, приложивъ руку къ козырьку фуражки:

— Сейчасъ придетъ кузнецъ, ваше высокоблагородіе.

Опять стали ждать. Но взоры всѣхъ, полные наблюдательности и негаснущаго любопытства, съ какимъ разсматриваютъ диковинку, наприм., великана или индѣйца, устремленные на Стеблянскаго, сводились съ него лишь отъ утомленія да и то на время.

Центръ всего происходящаго—Стеблянскій стоялъ скованный такъ же спокойно, какъ и раньше. На него, казалось, не производила никакого впечатлѣнія вся эта обстановка: ни два солдата съ ружьями по бокамъ его и близко, ни все это начальство: вблизи его, но все же на разстояніи, маленькое, а въ отдаленіи большое, въ мундирахъ, ни даже самое главное: палачъ съ саваномъ, висѣлица съ лѣсенкой и нѣмой гробъ, будущее его жилище. Онъ не обращалъ, повидимому, вниманія даже и на то, что онъ былъ одинъ, а всѣ противъ него, и всѣ его, конечно, боялись, такъ много было кругомъ мѣръ предосторожности, начиная съ того, что близко къ нему не подходили и съ нимъ не говорили. Онъ былъ одинъ, а всѣ были противъ него; онъ былъ одиночекъ, выдерживая пр этомъ натискъ молчанія и враждебности. Даже такое состояніе его не подавляло: онъ скованный былъ спокоенъ и простъ, держался прямо, смотрѣлъ открыто и смѣло.

Онъ что-то проговорилъ стоявшимъ рядомъ конвойнымъ, и тѣ, пове

дишому, не знали, что дѣлать съ его словами. Нѣмые, они переглядывались между собою и кого-то искали глазами, поворачивая головы, но толстый надзиратель все уже разслышалъ и, обратившись къ стоявшему въ средѣ начальства смотрителю съ приложеніемъ руки къ козырьку, доложилъ:

— Папирску у его высокоблагородія господина товарища прокурора просить, ваше высокоблагородіе. Покурить, говорить, на послѣдяхъ захотѣлось.

Эти слова родили подозрѣніе о замыслѣ Стеблянскаго, надѣявшагося, какъ мы всѣ подумали, что товарищъ прокурора къ нему подойдетъ. Но послѣдній оказался некурищимъ.

Мы же всѣ и даже начальство этому точно обрадовались. Намъ какъ будто бы давно уже очень хотѣлось чѣмъ-нибудь услужить Стеблянскому, и очень пріятно стало, что онъ теперь нуждался въ томъ, что мы имѣли въ избыткѣ. Сейчас же многіе вытаскали портсигары, у кого они были, и предложили подошедшему надзирателю брать больше. Тотъ осторожно взялъ одну папиросу у представителя полиціи изъ уваженія къ его сану и еще у тѣхъ изъ насъ, кто позначительнѣе по своему положенію, и поспѣшно вернулся къ Стеблянскому.

— Отдай конвойному!... Не подавай самъ, конвойному передай!—крикнулъ ему смотритель вдогонку, боясь не опоздать, послѣ того, какъ представитель полиціи, стоявшій около, что-то тихо сказалъ ему, а онъ отвѣтилъ:

— Да, да, непременно.

— Конвойный! возьми у надзирателя папирсы и передай.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, я и то конвойному, — отозвался надзиратель и подаль одну папиросу нѣмому солдату съ ружьемъ, конвойному, къ нему подошедшему.

Солдатъ передалъ ее Стеблянскому.

— А спички гдѣ?—вдругъ послышался хрипяще-сиплый, но ровный и спокойный, насмѣшливо-равнодушный его голосъ.

Нѣмой конвойный оглянулся, кого-то отыскивая. Надзиратель показалъ ему въ своей рукѣ коробочку со спичками. Другой конвойный, такой же молодой и нѣмой и съ такимъ же ружьемъ въ рукѣ, подошелъ и взялъ ее и зажегъ спичку. Стеблянскій не спѣша закурилъ, затягиваясь съ жадностью и много. Видимо ему неловко было отъ тяжелыхъ ручныхъ оковъ, связавшихъ руки, поднимавшіяся и опускавшіяся каждый разъ вмѣстѣ, и онъ нагибалъ голову къ папиросѣ. Бѣловатый дымокъ, легкими клубами вылетая изъ его рта, поднялся надъ головами, красиво вырисовываясь въ прозрачномъ воздухѣ и безслѣдно расплываясь въ пространствѣ.

— Вы откудава эту собаку достали, ваше благородіе?—опять такъ же ласкливо проговорилъ онъ, утоливши приступъ курительной жажды, что амѣтно было по тому жесту, съ которымъ онъ оставилъ ногу, и потившейся у него словоохотливости, и кивнулъ головой на стоявшаго отъ него съ пустыми руками, въ позѣ бездѣлья, и одѣтаго по праздничному лаца.

Неизвестно было, къ кому изъ начальства обращался Стеблянскій, и въ вопросѣ его не слышалось желанія отвѣта. Произошла пауза, во время которой Стеблянскій затягивался папиромъ, а мы всё внимательно ожидали продолженія.

— Онъ вѣдь тоже головорѣзъ (послѣдовало отвратительное ругательство на палача), ваше благородіе,—произнесъ Стеблянскій, но уже раздражаясь не то отъ отвѣтнаго молчанія, чѣмъ ясно выказывалось со стороны начальства и присутствующихъ несочувствіе ему, не то отъ вида палача, а можетъ быть отъ того и другого вмѣстѣ,—спросите его, сколько онъ душъ загубилъ,—девять я знаю.

И онъ черезъ зубы сплюнулъ далеко отъ себя и вызывающе посмотрѣлъ на начальство.

Но опять ему никто не отвѣтилъ. Но каждый изъ насъ подумалъ:

«Ну, начинается. Что-то будетъ? Что-нибудь произойдетъ ужъ непременно».

— Эй, ты... душегубъ! Ты вѣдь такая же сволочь, какъ и я, похуже еще. Я вотъ, по крайней мѣрѣ, Богу отвѣтъ дать иду, а ты, свиная харя, опять будешь убивать *).

Въ голосѣ его слышалось больше и больше подступавшаго спазмомъ къ горлу раздраженія, начинавшаго, вѣроятно, влѣкаться у него въ груди, и меньше сдержанности, такъ что явилась увѣренность въ скоромъ прорывѣ цѣлаго потока ругательствъ и сквернословія, а потомъ, понятно, возможенъ былъ и прыжокъ на палача. Но секунды шли, а ничего этого не было. Стеблянскій стоялъ все такъ же. Стояли и конвойные солдаты, выслушавъ все до послѣдняго слова и, казалось, недоумѣвали: колотъ, или еще нѣтъ, и кого колотъ?

Стеблянскій затянулся папиромъ и перенесъ взглядъ и вниманіе на насъ. Онъ смотрѣлъ прямо и смѣло, даже вызывающе, и хотя мы были отъ него всетаки далеко и совершенно въ его дѣлѣ посторонніе, но становилось неловко, точно онъ за нами замѣтилъ, что мы передъ нимъ лукавимъ и боимся его поэтому. На лицахъ нашихъ можно было видѣть общее всѣмъ застывшее выраженіе, похожее на слѣды пристыженной улыбки.

— Ишь, глядѣть пришли, какъ человѣка удавлять будутъ,—сказалъ онъ спокойно и тоже ни къ кому не обращаясь,—гляди, сколько собралось! Антиресно ли, господа?

Въ его вопросѣ звучала насмѣшка надъ нами, и всѣмъ стало еще болѣе неловко, даже стыдно, оттого, что онъ угадалъ и обнаружилъ то, что мы, не имѣя воли подавить въ себѣ, старались поглубже прятать отъ самихъ себя. Мы молча ловили взгляды другъ на другъ,—каждому, чтобы провѣрить свое чувство, хотѣлось взглянуть на другого и подсмотреть, что онъ испытываетъ,—но, замѣчая другъ на другъ одинаковое отъ словъ

*) Предсказаніе сбылось, и долго ждать не пришлось.

Стеблянскаго чувство пристыженнаго смущенія, дѣлали видъ невинности, стараясь не выдать себя, и переводили глаза дальше.

И опять глубокое сосредоточенное молчаніе было ему отвѣтомъ. Внимательное молчаніе и любопытные, выжидающіе взоры, обращенные на него. Нѣкоторые изъ начальства дѣлали видъ, что имъ просто невыносимы всѣ эти сцены приготовленій.

— Скоро ли, Богъ мой, всему этому конецъ,—тихо проговорилъ товарищъ прокурора какъ бы про себя, но такъ, что его слышали около, и въ его жестяхъ, походкѣ и даже молчаніи проглядывали ясные признаки нервнаго нетерпѣнія. А представитель полиціи отошелъ совсѣмъ въ сторону и тамъ одинъ прохаживался, показывая намъ этимъ, что онъ даже обязанности службы исполнить не можетъ: это сверхъ его силъ, хотя,—я зналъ его,—силъ у него было за-глаза достаточно.

— Это чего же кузнецъ-то вашъ долго не идетъ, ваше благородіе?—спросилъ Стеблянскій.

Онъ, видимо, обращаясь и къ смотрителю тюрьмы, и къ товарищу прокурора, смотря по тому, кто приметъ на себя его вопросъ. Но никто его не принималъ. Было лишь одно молчаніе отвѣтомъ. Потому ли было молчаніе, что всѣ эти обращенія къ начальству имѣли характеръ преднамѣреннаго вызова съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ проявленія начальствомъ своей надъ нимъ власти въ формѣ окрика или угрозы, публично его оскорбить, а такая преднамѣренность слышалась въ тонѣ ровнаго, спокойно-насмѣшливаго голоса, или потому, что въ самомъ дѣлѣ интересно было только слушать его и смотрѣть на него и на все, что дѣлается, а вовсе не отвѣчать, чѣмъ можно было бы обратить общее вниманіе на себя,—это осталось тайной, но только и Стеблянскій понялъ, что ему никто ничего никогда не отвѣтитъ, и потому онъ замолкъ и отвернулся въ сторону тюрьмы.

Солнце попрежнему обливало всѣхъ и все равнымъ, прогрѣвающимъ и настолько обильнымъ и яркимъ свѣтомъ, что все время приходилось отъ него жмуриться, даже когда глядишь на землю. Воздухъ мягкій и легкий, все такъ же самъ лился въ грудь, но томительная усталость тянула на отдыхъ, и глаза невольно посматривали на манящую къ себѣ черную, рѣзко очерченную тѣнь у забора, обѣщавшую прохладу и удобство.

— Теперь выпить славно бы,—проговорилъ опять Стеблянскій;—ваше благородіе, прикажите хоть полбутылки принести, шибко давно не пилъ, выпить хочу, а тамъ шабашъ,—хуть куда, все равно.

Онъ просилъ, но такимъ неувѣреннымъ тономъ, что, казалось, только пробовалъ удачу. Эта просьба среди начальства произвела замѣшательство и нерѣшительность и повлекла къ обмѣну мыслями. Видимо, всѣ желали исполнять его просьбы охотно, его, обреченнаго, но явилось сомнѣніе, нѣтъ ли тутъ чего недозволенаго. Одни находили, что можно дать выпить, другіе сомнѣвались, не знали, и потому воздерживались или отвергали.

Но въ это время отъ воротъ отдѣлились два человѣка и направились къ намъ. Одинъ изъ нихъ былъ тюремный надзиратель, другой имѣлъ видъ рабочаго по своему грязному фартуку и по рукавамъ рубахи, засученнымъ выше локтя. Лицо его и руки по локоть закоптѣли въ сажѣ. Онъ что-то несъ въ сжатыхъ рукахъ, слегка помахивая ими. Это шель кузнецъ. Видно было, что его взяли прямо отъ работы, отъ горна. Его появленіе дополнило картину представленія и увеличивало интересъ къ предстоящему. Поэтому взоры всѣхъ перенеслись на него, а онъ послѣшно шель, послушный, какъ ребенокъ, и несъ съ собой готовность употребить свое искусство, силу и знаніе на что угодно, на что прикажутъ.

— Кузнецъ идетъ. Вонъ ведутъ кузнеца-то...—слышалось среди насъ.

— Ну, наконецъ-то!—вполголоса облегченно промолвилъ товарищъ прокурора стоявшему рядомъ секретарю.—Столько времени мучить, Богъ мой!

Чѣмъ ближе подходилъ кузнецъ къ мѣсту, куда его вели, тѣмъ послѣшнѣе шель онъ и тѣмъ готовнѣе дѣлался онъ, вполнѣ сознавая только одно то, что ходъ всего дѣла останавливается за нимъ, и непремѣнно нужно, чтобы онъ далъ ему толчокъ впередъ. Поэтому, подойдя къ Стеблянскому, онъ сейчасъ же присѣлъ у его ногъ, что-то на нихъ осматривая и ощупывая, переговариваясь о чемъ-то со Стеблянскимъ, надзирателемъ и другими.

Теперь уже ясно были видны въ рукахъ у кузнеца молотокъ съ длинной прямой ручкой и какая-то желѣзина съ головкой. Онъ все приспособлялся возлѣ ноги, отставленной Стеблянскимъ впередъ, но какъ-то все ничего не выходило, было неловко. Стоявшіе около конвойные солдаты безпрестанно загромождали отъ насъ кузнеца.

— Зачѣмъ такъ!—громко сказалъ смотритель.—Вѣдь для этого приготовленъ же чурбакъ!

Ни кузнецъ, ни другой кто изъ ихъ группы, увлеченные послѣшностью и готовностью, не видѣли до этихъ словъ смотрителя недалеко лежавшаго чурбака, всего въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ, въ сторонѣ.

— Вотъ чурбакъ есть,—внушительно указалъ кузнецу надзиратель, поправляя этимъ свою оплошность.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, они на чурбакѣ и сдѣлаютъ,—чтобы успокоить смотрителя, доложилъ онъ ему, сдѣлавъ для формы движеніе рукой, чтобы приложить ее къ козырьку.

И группа со Стеблянскимъ и кузнецомъ подошла къ чурбаку, который уже торчалъ, поставленный только что кѣмъ-то на плоскость отруба.

Кузнецъ поднялъ одну ногу Стеблянского и, приладивъ ее на чурбакѣ, сталъ, присѣвъ тутъ же, что-то устраивать. Потомъ онъ неожиданно поднялъ, держа его за самый конецъ длинной ручки, молотокъ, блеснувшій на солнцѣ вычищеннымъ желѣзомъ. Описавъ дугу вверхъ, молотокъ съ быстротой молніи сдѣлалъ такую же дугу внизъ, толкнулся обо что-то и отскочилъ въ сторону. Отрывистый, отчетливо рѣзкій и звонкій въ чистомъ утреннемъ воздухѣ звукъ поразилъ слухъ, такъ странно и неумѣстно на-

рушившей тишину. За первым ударомъ послѣдовалъ еще ударъ и потомъ еще и еще и, учащаясь, они сыпались, звенящія и чистые, оглашая дворъ и заставляя болѣзненно вздрагивать сердце, отдаваясь сперва въ немъ, а потомъ за заборомъ и строеніями уже эхомъ, похожимъ на нихъ и такимъ же отрывистымъ. Молотокъ мелькалъ въ рукахъ кузнеца, присѣвшаго на корточкахъ у чурбана и углубившагося въ свое дѣло, а Стеблянскій молча и спокойно наблюдалъ за нимъ. Когда заклепки были выбиты изъ кандалныхъ браслетовъ на одной ногѣ, онъ принялъ ее и подалъ другую. Снова то же прилаживаніе кузнеца и потомъ тѣ же отрывистые звуки ударовъ желѣза о желѣзо рѣзали слухъ, забираясь въ сердце.

Между тѣмъ палачъ, казалось, отъ бездѣлья заснулъ, стоя со сложенными къ локтямъ руками на груди. Бѣлый саванъ, скомканный, лежалъ возлѣ него на землѣ, а онъ стоялъ, тупо уставившись взоромъ на кузнеца и его работу.

Когда ножные кандалы спали, освободили отъ нихъ и руки. Стеблянскій расправилъ ноги и вопросительно поглядѣлъ на начальство. Но потомъ онъ, рѣшивъ, видимо, что-то сдѣлать, самъ направился къ палачу, и конвойные послѣпили за нимъ, испугавшись такого своевольнаго движенія и того еще, какъ бы онъ не вдумалъ куда бѣжать, за что имъ, несомнѣнно, начальство ихъ задасть. Поднявъ саванъ, палачъ двинулся навстрѣчу Стеблянскому, и они сошлись на серединѣ. Солдаты тотчасъ же встали по бокамъ Стеблянскаго, какъ и раньше.

— Кузнецъ!—воскликнулъ смотритель,—больше тебя не нужно: свободенъ, можешь идти!

Кузнецъ послушался этого приказанія и пошелъ къ воротамъ, но не дойдя до нихъ остановился и наблюдалъ. Никому не хотѣлось уходить, кто пришелъ сюда,—это было замѣтно. Всѣ съ жадностью смотрѣли на происходящее, стараясь не пропустить даже мелкихъ подробностей.

Глядя на стоявшихъ другъ противъ друга палача и Стеблянскаго и чувствуя напряженность всеобщаго къ нимъ вниманія, каждый изъ насъ ничего другого не могъ подумать, кромѣ одного: «ну, теперь начинается, наконецъ!» Стало такъ тихо, несмотря на большое количество людей на маломъ пространствѣ, что слышно было дыханіе сосѣдей, а случайное отрывистое откашливанье кого-то нервнаго было уже громкимъ звукомъ. Глаза всѣхъ усталились на палача и Стеблянскаго, боясь пропустить хотя бы одно ихъ движеніе.

Твердо, повидимому, зная, что ему нужно дѣлать, и нисколько не смущаясь, точно онъ дѣлалъ самое обыкновенное дѣло, одѣтый по праздничному палачъ, въ теплой шапкѣ и валенкахъ, набралъ гремящій накрахмаленнымъ каленкоромъ бѣлый саванъ на правую руку и приготовился уже вскинуть его Стеблянскому на голову, но остановился, потому что кто-то подсказалъ:

— Перва руки надо завязать...

— Дѣйствительно руки-то лучше завязать, а то кто его знаетъ...

И подошли завязывать ему руки, которые онъ, сложивъ назадъ, отдалъ въ ихъ распоряженіе.

Онъ смотрѣлъ на палача, избѣгавшаго этого взгляда такъ ловко, какъ будто онъ вовсе не замѣчаетъ его, и вдругъ взоры ихъ встрѣтились. Стеблянскій своимъ хрипяще-сиплымъ голосомъ съ замѣтнымъ раздраженіемъ въ немъ проговорилъ:

— Такъ это ты-то хочешь меня удувить, свинья такая?

Но палачъ молчалъ, стоя все такъ же въ выжидательной позѣ съ саваномъ въ рукѣ.

— Что-жъ молчишь?— снова черезъ секунду спросилъ Стеблянскій, — за что меня хочешь удувить? ну, чего не сказываешь!.. а? Встрѣлся бы ты мнѣ... гдѣ-нибудь, а не издѣся, я бы тебѣ... показалъ! Вѣдь ты, свинья паршивая, больше моего, можешь, душу-то загубить... Чѣмъ же ты лучше меня, что я помереть долженъ, а ты жить будешь и еще людей душить?... Вѣдь ты душегубъ... вотъ ты кто!...

Все это, приправляя отборными ругательствами, онъ произнесъ ровнымъ голосомъ, не спѣша и ясно.

— Чего ты ругаешься!— обижено и съ властнымъ задоромъ произнесъ палачъ.—Рази я тебя трогаю? Приказано мнѣ, вотъ и весь сказъ!

— Приказано — насмѣшливо передразнилъ палача Стеблянскій, —вонъ какъ! Ты сколько за мою разбойничью душу взялъ, сказывай!...

— Перастанъ, — съ сердцемъ воскликнулъ палачъ, — а то я брошу! Ваше благородіе, —обратился онъ къ зрителю:—чего онъ ругатца—не буду я!

— Ну, надѣвай, стерва, — не будешь!—съ презрѣніемъ въ голосъ, подчиняясь необходимости сдерживать кипящую злобу, медленно просипѣлъ Стеблянскій и нагнулъ голову.

Палачъ, казалось, только этого и ожидалъ. Онъ неловко, но быстро нагнулъ на голову Стеблянскаго саванъ, а тотъ, накрытый, задвигалъ плечами, расправляя его. Шуршащій накрахмаленнымъ каленкоромъ и цѣпляющійся за сукно куртки его, онъ спадаль, опускаясь съ плечъ, къ ногамъ, закрывая фигуру человѣка, а палачъ его обдергивалъ неловко и отрывисто. Когда голова Стеблянскаго пролѣзла въ прорѣху, палачъ нашелъ тесемки у краевъ ея разрѣза и сталъ ихъ завязывать у горла.

— Туже завязывай, душегубъ, туже!... Ты почему не скажешь его благородію, что зарѣзалъ, —онъ назвалъ кого-то, — за что невинно-напрасно замѣсто тебя человѣкъ въ тюрьмѣ клоновъ кормить? Дьяволь! Чего шарми-то *) водишь?...

Но палачъ на это молчалъ. Онъ быстро своей противной раскачивающейся походкой направился къ зияющему углубленіемъ гробу, взялъ оттуда еще что-то бѣлое и, снова подойдя къ Стеблянскому, поднялъ это бѣлое обѣими руками надъ его головой, между тѣмъ какъ тотъ продолжалъ:

*) Шары—глаза на тюремномъ жаргонѣ.

— Подожди, душегубъ, дай проститься. Порядка не знаешь, за дѣло взялся! Человѣкъ помирать идетъ, понимаешь ли ты это, глупая свинья?... Въ послѣдній разъ людямъ хочеть слово сказать! Успѣешь удавить.

— Ну, говори, я тебѣ не мѣшаю, — грубо, но уступчиво отвѣтилъ тотъ.

Стеблянскій повернулся лицомъ къ солдатамъ и проговорилъ все тѣмъ же своимъ хрипяще-сильнымъ голосомъ просто, но искренно: «прощайте, братцы!»

Онъ стоялъ въ бѣломъ саванѣ какъ бы въ облаченіи, напоминая собою духа, что рисуютъ на картинкахъ, вызваннаго изъ невѣдомыхъ и таинственныхъ пространствъ, куда онъ опять скроется. Хотя это было сказано имъ все тѣмъ же его сильнымъ голосомъ, но неизмѣнной его интонаціи—насмѣшливаго спокойствія—уже не было. Въ немъ звучали искренность и примиреніе. И онъ затронулъ самыя чувствительныя струны нашихъ сердець, которыя переполнились умиленія и жалости отъ этихъ простыхъ, человѣческихъ словъ, и открылись къ просимому примиренію и прощенію.

— Богъ простить...—дружно, хоромъ отвѣтили солдаты, и въ голосахъ ихъ прозвучала отзывчивая мягкость дружелявобія, чего никогда не бываетъ, когда солдаты говорятъ хоромъ въ строю.

— Прощай, прощай!—захотѣлось крикнуть ему, отправляющемуся раньше насъ туда, куда мы всѣ каждый въ свое время отправимся. Многіе изъ насъ крикнули бы, если бы не смыкала нашъ языкъ боязнь остаться одному среди многихъ, со своимъ, всетаки неумѣстнымъ возгласомъ, и подавленность передъ этимъ грознымъ и ужаснымъ, что надвигалось каждую секунду къ своей жертвѣ.

Палачъ тотчасъ же неуклюже и грубо принялся нахлобучивать на голову Стеблянскому это что-то бѣлое, что онъ держалъ въ рукахъ. «Что это? Что такое онъ дѣлаетъ тамъ съ головой?» — подумалось при видѣ этихъ странныхъ пріемовъ палача: «неужели голову закрываетъ?» Но сейчасъ же стало ясно, что онъ надѣлъ ему на голову такой же бѣлый каленкоровый, какъ саванъ, небольшой мѣшокъ, колпагъ, который закрылъ ее отъ насъ навсегда, и завязывалъ у горла тесемки. «Это затѣмъ несомнѣнно, — блеснула у меня догадка, — чтобы не было видно обезображенія лица предсмертными мученіями: выгѣзшихъ изъ орбитъ глазъ, высунутаго языка... вообще всей изнанки представленія... и чтобы не родилось сочувствіе къ нему за его страданія... Должно быть, такъ». На мгновенье представшее въ воображеніи видѣнное мною однажды лицо удавленника обдало меня ужасомъ.

Превративъ Стеблянскаго въ какое-то бѣлое чучело, похожее на воронье пугало, палачъ подвелъ его, отдавашагося ему въ распоряженіе, къ дѣсенкѣ.

— Ну, пусти! — неожиданно сказала чучело, въ которомъ по голосу скрывался Стеблянскій: — самъ поднимаюсь.

Осторожно, одной ногой подтягивая другую, поднимался онъ по ступенкамъ легкой, неустойчивой дѣсенки, а палачъ—ниже ступенькой, рядомъ съ нимъ.

Какъ только онъ всталъ на верхнюю ступеньку, палачъ поймалъ веревку и что-то долго оправлялъ на ней петлю, прикидывая ее къ головѣ Стеблянскаго. Но сколько онъ ни старался, ничего не выходило. Всѣ напряженно слѣдили за нимъ зоркимъ взглядомъ. И вдругъ точно проснулись.

— Боротка удавка... Ишь, веревка не хватать... — сдержанно, вполголоса заговорили среди насъ, зрителей:—отпустить петлю-то надо...

— О, Боже мой, Боже мой! да что же это за истязаніе такое!...—съ молящимъ отчаяніемъ въ голосъ тихонько воскликнулъ товарищъ прокурора и отвернулся. На поверхности его неморгающихъ глазъ я украдкой замѣтилъ влажность, и мнѣ стало жаль этого страдающаго по необходимости, добраго молодого человѣка.

Но палачъ самъ зналъ, что ему дѣлать. Онъ уже сошелъ наземъ и потребовалъ лѣстницу. Бѣлое чучело, какъ изваяніе неподвижное и ослѣпительно бѣлое на солнечномъ яркомъ свѣтѣ, стояло въ ожиданіи. Но вдругъ оттуда мы услышали знакомый сильный голосъ его:

— Ну, ты, душегубъ, скорѣ!

У меня замерло сердце отъ этихъ его словъ. Теперь настолько захватило меня всего, что не могъ я, даже если бы и хотѣлъ, оторвать глазъ отъ него. Глаза утомились глядѣть на одно и то же, а встаети не спадали. И вдругъ на меня нашло и овладѣло мною странное состояніе. Все, что я видѣлъ раньше и что было теперь передъ глазами, сразу показалось до того невѣроятнымъ гнетуще-тягостнымъ, ужасно-безобразнымъ, что не походило какъ-то на обыкновенную спокойную и мирную дѣйствительность. Тотчасъ же мелькнула догадка «не дурной ли это сонъ приснился мнѣ? не кошмаръ ли ужъ это?» и захотѣлось, какъ всегда при немъ, освободиться отъ него. Взять отлетѣть отъ всѣхъ этихъ гадкихъ ужасовъ и... проснуться.

Но такое состояніе отуманенности продолжалось лишь нѣсколько секундъ и исчезло. Предстала опять ясная дѣйствительность: вонъ стоятъ всѣ тѣ же знакомые люди, движенія ихъ опредѣленны, рѣчь отчетлива и ясна. Вотъ притащили лѣстницу, устанавливаютъ ее у висѣльицы. И все дѣлается планомѣрно, послѣдовательно, такъ, какъ всегда наяву!... Увы! это все, что я видѣлъ и вижу теперь,—дѣйствительность, а не сонъ, хотя и гнететъ мою душу, какъ кошмаръ, своимъ чудовищнымъ безобразіемъ.

Поспѣшно притащивши лѣстницу, двое оставили ее ближе къ правому столбу.

Палачъ въ красной рубашкѣ проворно взобрался по ней, взялъ веревку и завозился съ нею, подергивая ее, вырывавшуюся изъ рукъ.

«Но Боже мой!—думалось мнѣ, — что же онъ теперь чувствуетъ, думаетъ, что испытываетъ! Какъ находить силы стоять лицомъ къ лицу со смертью!... Только подумать!»

Наконецъ, веревка опустилась, палачъ повозился еще что-то и такъ же поспѣшно слѣзъ. Лѣстницу убрали тотчасъ же проворно, какъ поставили. Теперь палачъ не поднимался болѣе по лѣсенкѣ къ Стеблянскому, а зачѣмъ-то неуклюже нагнулся къ его ногамъ и внезапно предательски опрокинулъ скамейку изъ-подъ его ногъ. Быстро отбросивъ ее однимъ пингомъ ноги, онъ обхватилъ обѣими руками торчавшія изъ-подъ савана ноги и съ ними, поджавъ свои, присѣлъ.

— Что ты дѣлаешь, негодяй! — захотѣлось мнѣ крикнуть и съ кулаками подбѣжать къ нему, — до того отвратителенъ и ужасенъ былъ его поступокъ, — а висѣвшаго скорѣе высвободить. Но сейчасъ же я вспомнилъ, что продѣлать это дѣйствіе, что продѣлалъ сейчасъ палачъ, и значить повѣсить, и мѣшать этому никакъ нельзя.

Поверхность савана съ боковъ и сзади начала какъ-то неровностями то выпячиваться, то опадать. И это продолжалось и тогда, когда палачъ выпустилъ ноги, поднялся и отошелъ. Торчавшія ноги очень недолго висѣли спокойно: какъ-то путаясь, онѣ то прятались подъ саванъ, то показывались наружу. Висѣвшее чучело слегка раскачивалось.

Видѣть все это было такъ невыразимо тяжело, отвратительно, и не столько страшно, сколько жалко, что я почувствовалъ расслабленіе и потомъ упадокъ силъ. Холодные волны заходили у меня внутри, докатываясь до горла, передъ глазами все поплыло куда-то въ пространство и стало темнѣть; я почувствовалъ къ тому, на что смотрѣлъ, къ людямъ и ко всему на свѣтѣ небывалое равнодушіе и апатію вообще къ жизни... Началъ холодѣть лобъ, а ноги подкашиваться. Инстинктивно я искалъ, куда бы присѣсть, потому что позывъ къ тошнотѣ и одуряющій голову туманъ уже поднимались изъ глубины...

Я закрылъ глаза, стараясь успокоиться, но подергиваніе ногъ и колебаніе савана ясно стояли передъ ними, не исчезая. Машинально я повернулся и, быстро двигая ногами, казавшимися мнѣ чужими, по памяти направился къ воротамъ. «О, Боже мой, какъ все дико, ужасно дико, и бессмысленно все, что творилось, и особенно конецъ», думалъ я. И дѣйствительно, мнѣ приходилось по роду моей службы видѣть ужасныя картины при вскрытіяхъ труповъ, иногда вырываемыхъ изъ могилъ, уже гниющихъ, при свидѣтельствovanіи тяжело раненыхъ, умирающихъ, и все это были разрывающія душу сцены, но ужаснѣе того, чему свидѣтелемъ я былъ теперь, мнѣ не приходилось видѣть въ жизни. Дѣйствительность превзошла воображеніе.

Но какъ только ходьба облегчила меня физически, меня снова потянуло поглядѣть, не будетъ ли еще чего, не будетъ ли продолженія, и заставило остановиться и обернуться. Картина, на которую упалъ мой взглядъ издали, опять поразила меня: въ ней было что-то новое сравнительно съ тѣмъ, когда я былъ участникомъ въ ней. Между двухъ новыхъ столбовъ висѣло на ниткѣ что-то бѣлое, вродѣ мѣшка, прямо и тяжело, ровно и спокойно.

Вокруг нѣсколько группъ людей стояли на тѣхъ же мѣстахъ, что и тогда, когда я былъ тамъ, и неподвижно смотрѣли на висѣлицу. За висѣлицей строй солдатъ вытянулся ровнымъ рядомъ молодыхъ, голыхъ лицъ съ ружьями и блестящими сталью штыками, и всѣ они тоже не сводили глазъ съ висѣвшаго. А онъ, въ бѣломъ саванѣ, повисъ, какъ виснетъ мѣшокъ съ творогомъ для отечки воды, на веревкѣ между двухъ новыхъ столбовъ, обливаемый яркимъ свѣтомъ солнца, на виду у всѣхъ. Брыши сосѣднихъ казармъ и дворовъ, видимыя со двора, усыяны людьми, кажушимися отсюда маленькими человѣчками, въ цвѣтныхъ одеждахъ, съ лицами, неподвижно обращенными къ зрѣлищу, ярко вырисовываясь на фонѣ синяго, чистаго неба, въ необъятной безднѣ котораго давно уже ширилось и усиливалось лигованіе жизни, манищее къ себѣ обѣщаніемъ вѣчнаго мирнаго блаженства, передъ которымъ всѣ людскія дѣла, заботы и тревоги казались жалкими выдумками и ничтожными пустяками. Насыщенный прохладой и ароматной влагой весны, воздухъ вливалъ въ грудь бодрость и веселье, а ослѣпительное солнце обливало ласкающимъ свѣтомъ лицо и руки и все кругомъ. При взглядѣ на небо становилось на мгновенье легко на душѣ, и казалось, счастье совсѣмъ недалеко. Но взоръ мой опустился на землю и вновь объялъ ту же картину казни. И до того стало тяжело на душѣ отъ дикости всего, что произошло, особенно тяжело тѣмъ, что уже не воротить сдѣланнаго, что захотѣлось отрѣшиться отъ земли и ея грѣховныхъ продѣлокъ, неразумія, жестокаго эгоизма и не быть человѣкомъ, если удѣлъ его—мириться со зломъ.

Быстрымъ шагомъ подошелъ я къ тюремнымъ воротамъ. Половина ихъ безшумно отворилась и, выпустивъ меня, захлопнулась. Теперь я былъ на волѣ и, освобожденный, жадно и глубоко вздохнулъ. Въ сердцѣ у меня было пусто и холодно, какъ въ минуты отчаянія.

VIII.

Вечеромъ я рассказывалъ моимъ знакомымъ о томъ, что видѣлъ, и опять бросилось мнѣ въ глаза то насторожившееся вниманіе, съ которымъ они всѣ стали слушать, возбужденные интересомъ къ диковинному событію, обнаруживая этой готовностью внимать разказу ту близость событія къ личности каждаго, которую я и прежде и теперь сознавалъ въ себѣ.

— А, такъ вотъ это какой гробъ-то провезли сегодня солдаты!—воскликнула одна слушательница:—я была утромъ на базарѣ и вижу вдругъ: на телегѣ черезъ площадь провезли солдаты—не солдаты или полицейскіе какіе-то гробъ. Всѣ обратили вниманіе на это и говорили еще, что это изъ тюрьмы: какой-то арестантъ удавился.

Нѣсколько времени спустя послѣ этого, на всю жизнь памятнаго мнѣ дня казни, я увидѣлся по служебнымъ обязанностямъ съ докторомъ, который состоялъ въ комиссіи по исполненію казни, и спросилъ его, долго ли висѣлъ Стеблянскій.

— Да не знаю хорошенько, сколько, но минутъ 15—20, должно быть, висѣлъ.

— Ну, и вы опредѣляли потомъ смерть? Видѣли вы его лицо?

— Нѣтъ. Когда его сняли и положили, не помню, кто-то разрѣзалъ сбоку эту, какъ ее? на немъ надѣта была...

— Саванъ,—подсказалъ я.

— Ну, да, саванъ. Я взялъ его руку и нащупалъ мѣсто пульса. Поискалъ,—его, конечно, не было.

— Ну, и что же?—съ невольной выражаемой жадностью узнать побольше, спросилъ я, желая, чтобы онъ рассказывалъ полнѣе.

— Ну, и ничего. Положили его въ гробъ. Я далъ заключеніе о смерти, его приказали уложить, а я ушелъ...

— Что же, онъ, скажите, долго лежалъ у висѣлицы? А куда его потомъ дѣвали? Гдѣ закопали? Священникъ-то былъ?

— А ужъ этого ничего не знаю, право...

IX.

Первое время послѣ этой казни я находился въ состояніи постояннаго душевнаго угнетенія, подавленности и безпокойства, точно послѣ только что пережитаго нравственнаго потрясенія. Было сильное желаніе высвободиться изъ этого тигостнаго состоянія, но я хорошо понималъ, что не высвобожусь до тѣхъ поръ, пока не уясню себѣ окончательно, что такое все то, что видѣлъ и слышалъ, что, другими словами, продѣлано съ *нимъ*, и отчего это я чувствовалъ до казни и продолжаю чувствовать теперь, что *его* трагическій конецъ близко касается меня и, повидимому, каждого, кто о немъ знаетъ или узнаетъ; почему это: *его* заставляютъ мучиться и умирать, а мнѣ больно? Эти два вопроса преслѣдовали меня и, когда я оставался самъ съ собою, были главною и почти единственною темой моихъ размышленій. Непремѣнно нужно было разрѣшить ихъ, дать себѣ на нихъ отвѣты. И отвѣты эти мнѣ удалось найти.

Что такое видѣнная мною казнь? Повидимому, она—наказаніе; такъ, по крайней мѣрѣ, принято считать ее, и такъ думали всѣ мы, пришедшіе смотрѣть ее, а нѣкоторые изъ видѣвшихъ ее продолжаютъ, вѣроятно, такъ думать и теперь. Но, несомнѣнно, такой взглядъ несвободенъ отъ господствующаго на казнь воззрѣнія и, какъ я уже убѣдился, неправиленъ. Для меня теперь уже ясно, что казнь—вовсе не наказаніе, и вотъ почему.

Если считать необходимымъ въ наказаніи элементъ карательный, то гдѣ же онъ тутъ? Вѣдь мертвый не можетъ чувствовать никакой кары, а цѣль всей этой процедуры—сдѣлать мертвымъ. Также нѣтъ кары и въ самомъ отнятій у осужденнаго на казнь преступника жизни, этого наивысшаго изъ благъ. Карой это отнятіе жизни будетъ тогда только, если она представляетъ цѣнность для караемаго, а онъ самъ же объявилъ: «мнѣ и такъ, и этакъ—одинъ конецъ, готовъ я!» Развѣ можно, дорожа

жизнью, разстаться съ нею такъ легко, какъ онъ съ нею разстался? Да и вообще-то: можно ли дорожить ею, избравъ такой родъ дѣятельности, какой онъ избралъ? Не вѣрнѣе ли будетъ думать, что отнятіе жизни для него скорѣе было освобожденіемъ отъ кары, такъ какъ, повидимому, жизнь въ его собственныхъ глазахъ потеряла цѣнность, а угрызения совѣсти онъ, безъ сомнѣнія, чувствовалъ, хотя бы и скрывалъ ихъ про себя: онъ сказалъ же вѣдь палачу: «...ты такая же сволочь, какъ и я»,—какое же другое значеніе можно вывести изъ этой самооцѣнки?

Итакъ, кары нѣтъ.

Нѣтъ ли другого элемента наказанія—устрашенія, какъ предупредительной мѣры? Но кого же устрасила эта казнь? Мы всѣ знали и знаемъ, что умремъ. Призракъ смерти страшенъ, правда, всѣмъ. Всѣхъ пугаетъ даже одна возможность появленія смерти въ семьѣ, въ кругу знакомыхъ, въ домѣ, гдѣ мы живемъ. Но теперь онъ далъ намъ очень хорошій примѣръ (о такихъ примѣрахъ приходилось только читать въ книжкахъ) того, что вовсе не нужно бояться умирать, а нужно смотреть смерти въ глаза прямо, смѣло и открыто, тогда и самому будетъ легче, не будетъ и страшно. Кромѣ того, статистика преступленій въ тѣхъ государствахъ, гдѣ существуетъ смертная казнь, убѣждаетъ насъ въ томъ, что она не имѣетъ устрашающаго значенія, не сдерживаетъ преступности.

Нѣтъ, значить, и устрашенія.

Но возьмемъ теперь другое: цѣль казни—простое удаленіе вреднаго для общества члена его, избавленіе отъ источника общественныхъ бѣдъ, преступника такого, какъ онъ. Не подходитъ ли это сюда? Вѣдь смерть навѣрно и безповоротно удаляетъ злую волю. Но тогда нужно было бы призвать смерть такъ, чтобы онъ и самъ не зналъ минуты ея, а умеръ бы внезапно и сразу. Къ чему эти предварительныя театральность и испытаніе?... И потомъ эта непослѣдовательность, говорящая вовсе не за цѣль удаленія: онъ удаленъ, положимъ,—да, но почему же не удалены также и его товарищи? Или тѣ многіе другіе, которые раньше его, я знаю, дѣлали то же, что и онъ? Они остались же живы, нѣкоторые, по обыкновенію, бѣжали съ каторги и пользовались, какъ пользуются и теперь другіе такіе же, полной свободой, проживая подъ вымышленными именами. Почему такая условность? И логика, и сила удаленія, какъ всякаго наказанія, въ его послѣдовательности и неизбѣжности для всѣхъ преступленій одного и того же вида.

Ясно, что цѣль казни совсѣмъ не та.

Быть можетъ, она въ томъ, чтобы черезъ такое непризнаваніе въ преступникѣ равнаго всѣмъ остальнымъ человѣка воспалить и поддерживать отвращеніе къ его преступной личности и этимъ косвенно оказывать моральное воздѣйствіе на народную массу? Можетъ быть—да. Но достигнуто какъ разъ обратное: вмѣсто отвращенія—сочувствіе. Всѣ прежде считали его или звѣремъ, или нравственнымъ уродомъ, а передъ его смертью убѣдились въ томъ, что это—одна только его внѣшность. Онъ, какъ умѣлъ

по своему умственному и нравственному уровню, доказалъ намъ, что имѣть и добрыя чувства, какъ у меня, у всѣхъ насъ: къ матери, родственникамъ, къ солдатамъ. И потомъ это самообладаніе! Только представить себѣ его положеніе передъ висѣлицей! Онъ—одинокій и обезсиленный; противъ него всѣ, рѣшительно всѣ и ихъ сила. И, несмотря на это, онъ не растерялся, рассуждалъ здраво, ясно и просто, имѣлъ даже мужество требовать по отношенію къ себѣ такой же справедливости, которую предполагаемъ въ отношеніи себя и всѣ мы, и выразить презрѣніе къ палачу и отвращеніе къ его ремеслу, проститься даже передъ смертью...

Но что же, наконецъ, все то, чему я былъ свидѣтелемъ? Если это не наказаніе, то что же это? Ужъ не просто ли это остатокъ отъ давно минувшей эпохи варварства, не старинный ли это обычай кровавой мести, искусственно перенесенный для оправданія его существованія на почву общественно-государственнаго начала?

Можетъ быть,—да.

И тутъ вдругъ мнѣ вспомнились слова его, казненнаго: «...ваше благородіе, какъ же это? Всѣхъ приговорили на висѣлицу, меня удавлять будутъ, а другихъ нѣтъ...»

«Меня удавлять будутъ», вотъ это что такое.

Послѣ разрѣшенія одного вопроса, другой уже не трудно было рѣшить, такъ какъ онъ вдругъ какъ бы озарился свѣтомъ, освѣтившимъ и его разгадку. Стала понятной мнѣ близость его трагическаго конца къ моей личности.

Прежде было непонятно, причемъ тутъ я, если повѣсятъ *его*. Что онъ мнѣ? Ни братъ, ни свать, ни даже знакомый, а совершенно чужой, котораго ранѣе я даже не зналъ, а узналъ лишь на судѣ да притомъ съ такой стороны, которая возбудила во мнѣ за его возмутительныя злодѣянія одно отвращеніе и страхъ. Станнымъ казалось, почему онъ со своимъ финаломъ былъ для меня какъ будто ближе многихъ другихъ, безупречныхъ, порядочныхъ людей. Къ этимъ я равнодушенъ, а къ нему питаю определенное чувство состраданія и, если можно такъ выразиться, но я не умѣю сказать по другому,—ему сочувствую. И точно такое же отношеніе его судьба, я замѣтила, вызывала и въ другихъ. Почему это? Теперь стало ясно—почему. Только потому, что надъ нимъ продѣлано необыкновенное насиліе: силой у него отнята жизнь, т.-е. его *я* и *бытіе* этого *я*. Самъ я привыкъ считать собственное мое *я*, *бытіе* этого моего *я* неприкосновеннымъ, принадлежащимъ только мнѣ одному, находящимся только въ моемъ полномъ распоряженіи. Настолько проникся я этимъ сознаніемъ, что уже одна мысль о томъ, что распорядиться ими могутъ противъ моего желанія и воли другіе, возмущаетъ меня. Совершенно та же, что у меня, идея неприкосновенности и у всѣхъ другихъ людей, хотя, быть можетъ, у нѣкоторыхъ и не совсѣмъ ясно сознаваемая. Убіенство, это наивысшее проявленіе насилія, всегда возмущаетъ живущихъ, несмотря на то, что случается нерѣдко и даже, какъ показываетъ статистика

насильственныхъ смертей, въ приблизительно опредѣленномъ процентномъ отношеніи къ общему числу естественныхъ смертей, если нѣтъ исключительныхъ жизненныхъ условій. Убійство поэтому вездѣ и во всѣ времена считалось и считается тяжчайшимъ грѣхомъ и преступленіемъ. Его можно понять и допустить только въ единственномъ случаѣ, когда оно совершается для самозащиты. Его можно только понять, но не допустить, когда оно совершится за убійство же близкаго человѣка и притомъ наносится въ пылу чувства мести. Въ этихъ случаяхъ оно теряетъ свое оправданіе, кѣмъ бы и при какихъ бы условіяхъ ни совершено.

Мнѣ стало понятнымъ также и то, почему неловко мнѣ было просить разрѣшенія присутствовать при казни, и почему намъ, присутствовавшимъ при ней, совѣстно было другъ друга, когда мы группой стояли и смотрѣли на нее, и почему насмѣхался надъ нами она.

Но одно осталось мнѣ непонятнымъ, это—поражавшее меня въ теченіе всей процедуры казни то обстоятельство, незамѣтное для многихъ, загнипнотизированныхъ идеей наказанія, но ясно видѣнное мною и засѣвшее въ моей памяти,—что ни среди исполнителей, ни среди зрителей вовсе не было ни потерпѣвшихъ отъ злодѣяній казнимаго, ни кого-либо изъ ихъ близкихъ; едва ли они скоро и узнали-то о ней. Исполняли же казнь люди, которымъ казнимый ничего худого не сдѣлалъ и нѣкоторыхъ изъ нихъ видѣлъ всего въ первый разъ въ жизни. Всѣмъ имъ было про себя жаль его, нѣкоторые были даже возмущены продѣлываніемъ всей этой процедуры по пунктамъ, но все-таки каждый исполнялъ все то, что ему назначено по распредѣленію ролей, и всѣ дѣйствовали согласно и аккуратно каждый въ своей сферѣ, слѣпо подчиняясь какой-то необходимости, какъ люди, потерявшіе свою волю. Выходило такъ, будто казнь—ниспосланная откуда-то свыше необходимость, обойти которую не было возможности; но откуда свыше и почему нельзя,—никто и не задавался этимъ вопросомъ.

Таковы выводы, къ которымъ пришелъ я, бывший свидѣтелемъ смертной казни уголовного преступника. Тѣ же самыя горькія мысли приходятъ цѣлою толпою мнѣ въ голову всякій разъ, когда я читаю въ газетахъ или слышу отъ кого-либо, что тамъ-то приговорены къ смертной казни такіе-то, а тамъ-то повѣшены или разстрѣлены такіе-то. Дѣлается особенно больно отъ сознанія того, что вчера еще обыкновенное преступленіе, сегодня почему-то признается исключительно тяжкимъ и влечетъ за собою смерть.

Развѣ такими условностями не стерть окончательно всякій смыслъ въ смертной казни, какъ наказаніи?

Владиміръ Анучинъ.

Кантъ и Гёте.

Георга Зиммеля *).

Эпохамъ зачатковъ культуры, а также эпохъ дохристіанской культуры мы приписываемъ единство жизненныхъ элементовъ, разрушенное и превращенное въ противорѣчія позднѣйшимъ развитіемъ. Какъ ни тяжела была борьба за физическія условія существованія, какъ бы жестоко условія общественной жизни ни насилывали личности,—чувство коренной раздвоенности человѣческой души и мірозданія, сознание пропасти между человѣкомъ и міромъ встрѣчалось до эпохи упадка античнаго міра лишь въ совершенно единичныхъ случаяхъ. Христіанство впервые ощутило до послѣднихъ глубинъ души противорѣчіе между духомъ и плотью, между природнымъ бытіемъ и цѣлостностью, между своевольнымъ я и Богомъ, для котораго своеволие есть грѣхъ. Но, будучи религіей, христіанство принесло и примиреніе той же рукой, которой оно посѣяло раздоръ. Лишь когда христіанство утратило свою безусловную власть надъ умами, когда, съ началомъ новаго времени, его рѣшеніе проблемы стало вызывать сомнѣнія, сама проблема выступила во всемъ своемъ значеніи. Что человѣкъ въ своей основѣ есть существо дуалистическое, что раздвоеніе и противорѣчіе образуетъ основную форму, въ которой онъ воспринимаетъ содержаніе своего міра и которая обуславливаетъ и весь трагизмъ, и всю жизненность этого міра—это убѣжденіе овладѣло сознаніемъ лишь послѣ эпохи возрожденія. Противорѣчіе проникло до самаго глубокаго и широкаго слоя нашего я и нашей картины міра, и потому потребность въ гармоніи стала болѣе настойчивой и универсальной; внутренняя и внѣшняя жизнь, дойдя въ своемъ напряженіи до надлома, ищетъ болѣе вѣркой и непрерывной связи, которая, несмотря на всю разрозненность началъ бытія, вновь утвердила бы ихъ все же чуждое единство.

Прежде всего новое время до крайнихъ предѣловъ заостряетъ противорѣчіе между субъектомъ и объектомъ. Мыслящее я чувствуетъ себя су-

*) *Kant und Goethe*, von Georg Simmel. „Die Kultur“, Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen, herausgegeben von Cornelius Gurlitt. Band 10.

вереннымъ въ отношеніи всего представляемаго имъ міра; «я мыслю, слѣдовательно я существую», становится со времени Декарта единственной несомнѣнностью бытія. Но, съ другой стороны, этотъ объективный міръ обладаетъ все же беспощадной реальностью, личность является его продуктомъ, результатомъ сплетенія его силъ, подобно растенію или облаку. И въ этомъ раздвоеніи живетъ не только міръ природы, но и міръ общественный. Въ немъ личность требуетъ для себя права свободы и самобытности, тогда какъ общество согласно признавать въ ней лишь элементъ, подчиненный его сверхличнымъ законамъ. Въ обоихъ случаяхъ самодержавію субъекта грозитъ опасность или потонуть въ чуждомъ ему объективизмѣ, или выродиться въ анархическій произволъ и отрѣшенность. На-ряду съ этимъ противорѣчіемъ или надъ нимъ современное развитіе ставитъ противорѣчіе между механизмомъ природы, съ одной стороны, и смысломъ и цѣнностью вещей—съ другой. Со времени Галилея и Коперника естествознаніе все болѣе послѣдовательно толкуетъ картину міра, какъ механизмъ строжайшей и математически выразимой причинности. Пусть это объясненіе проведено еще несовершенно, пусть давленіе и ударъ, къ которымъ казалось возможнымъ свести въ послѣднемъ счетѣ всѣ явленія міра, оставляютъ мѣсто и для иныхъ началъ,—принципіально всѣ явленія суть обусловленныя законами природы передвиженія матеріальныхъ частицъ и энергій, заведенный часовой механизмъ; и этотъ механизмъ, въ противоположность тому, что построено людьми, не обнаруживаетъ идеи и не служитъ никакимъ цѣлямъ. Механистически-естественнонаучный принципъ, повидимому, лишилъ дѣйствительность всего, что прежде отрывало ея смыслъ: въ ней нѣтъ болѣе мѣста для идей, цѣнностей и цѣлей, для религіознаго значенія и нравственной свободы. Но такъ какъ духъ, чувство, метафизическое влеченіе не отказываются отъ своихъ притязаній, то человѣческой мысли, по крайней мѣрѣ съ XVIII вѣка, задана великая культурная задача: обрѣсти вновь, на высшей основѣ, утраченное единство между природой и духомъ, между механизмомъ и внутреннимъ чувствомъ, между научной объективностью и ощущаемой цѣнностью жизни и вещей.

Ближайшіе пути къ объединенію картины міра примыкаютъ къ двумъ принципіальнымъ умонастроеніямъ, которыя въ многообразныхъ видоизмѣненіяхъ проходятъ черезъ исторію культуры: къ матеріализму и спиритуализму. Матеріализмъ отрицаетъ самостоятельное бытіе всего духовнаго и идеальнаго и признаетъ единственнымъ сущимъ и абсолютнымъ тѣлесный міръ съ его внѣшнимъ механизмомъ; спиритуализмъ, напротивъ, низводитъ на степень пустой видимости все внѣшне-наглядное и усматриваетъ субстанцію бытія исключительно въ явленіяхъ духа, въ ихъ цѣнности и внутреннемъ порядкѣ.

На-ряду съ этими двумя умонастроеніями были развиты два другихъ мировоззрѣнія, монистическая идея которыхъ болѣе безпристрастно счи-

тается съ указаннымъ дуализмомъ—именно мировоззрѣніе Канта и Гёте. Гигантское дѣяніе Канта состоитъ въ томъ, что онъ усилилъ до послѣднихъ предѣловъ субъективизмъ новаго времени, суверенность *я* и его несводимость къ матеріальному началу, не нанеся этимъ ни малѣйшаго ущерба прочности и значительности объективнаго міра. Онъ показалъ, что всѣ объекты познанія могутъ состоять для насъ только въ самихъ познаваемыхъ представленіяхъ и что всѣ вещи существуютъ для насъ лишь, какъ комплексы чувственныхъ впечатлѣній, т.-е. субъективныхъ процессовъ, обусловленныхъ нашими органами. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ показалъ, что вся достовѣрность и объективность бытія становится понятной именно въ силу этого условія. Ибо лишь въ томъ случаѣ, если вещи суть не что иное, какъ наши представленія, наше сознание—за предѣлы котораго мы никогда не можемъ выйти—можетъ насъ удостовѣрять въ нихъ; лишь благодаря этому мы можемъ высказывать о нихъ безусловно необходимыя сужденія, отражающія сами условія нашего сознанія. Эти условія обязательны для вещей именно потому, что вещи суть наши представленія. Если бы мы должны были ждать, чтобы сами вещи, эти чуждыя намъ реальности, вливались извнѣ въ нашъ духъ, какъ въ пассивно воспринимающій сосудъ, то наше познание не шло бы далѣе единичнаго факта. Но такъ какъ представляющая дѣятельность *я* создаетъ міръ, то законы нашего духовнаго дѣйствованія суть законы самихъ вещей. *Я*, это необъяснимое далѣе единство сознанія, связуетъ чувственныя впечатлѣнія и образуеетъ изъ нихъ предметы опыта, исчерпывающіе безъ остатка нашъ объективный міръ. Позади этого міра, по ту сторону всякой возможности познанія, мы въ правѣ мыслить вещи въ себѣ, т.-е. вещи, которыя уже не суть *для насъ*; и въ нихъ наша фантазія можетъ перенести и считать осуществленными всѣ мечты разума и души, все творчество идеаловъ, тогда какъ эти мечты не находятъ себѣ мѣста въ мірѣ нашего опыта, въ мірѣ, который только и можетъ быть объектомъ нашего знанія.

Точнѣ говоря, кантіанское рѣшеніе основной проблемы дуализма между субъектомъ и объектомъ, между духовностью и тѣлесностью сводится къ тому, что подъ эту противоположность подводится общій фундаментъ—именно фактъ нашего сознанія и познания вообще; міръ опредѣленъ тѣмъ обстоятельствомъ, что мы его *знаемъ*. Ибо образы, въ которыхъ мы познаемъ самихъ себя и существуемъ для себя самихъ, какъ и реальный міръ явленій, суть нѣчто, существо чего остается отъ насъ скрытымъ. Тѣло и духъ суть эмпирическіе феномены въ предѣлахъ общей системы сознанія, связанные между собой тѣмъ фактомъ, что оба они представляются и подчинены одинаковымъ условіямъ познания. Въ самомъ мірѣ явленій, въ предѣлахъ котораго они только и могутъ быть нашими объектами, они несводимы другъ на друга; ни матеріализмъ, стремящійся объяснить духъ тѣломъ, ни спиритуализмъ, стремящійся свести тѣло къ духу, недопустимы; напротивъ, каждая сторона должна быть объяснена изъ своихъ собственныхъ законовъ. Но все же тѣло и духъ не распа-

даются, а образуютъ *единый* міръ явленій, такъ какъ они сдерживаются познающимъ сознаниемъ вообще, которому они являються, и его единствомъ, и такъ какъ по ту сторону того и другого лежатъ хотя и непознаваемыя, но все же мыслимыя вещи въ себѣ; послѣднія, быть можетъ,—мы въ правѣ такъ вѣровать—содержать въ своемъ единствѣ основу этихъ явленій, которыя, будучи отражаемы и разлагаемы нашими познавательными силами, распадаются на духъ и тѣло, на эмпирической субъектъ и эмпирической объектъ. Итакъ, природа, какъ объектъ для насъ, не можетъ содержать ни крупницы духа и находить свое законченное научное выраженіе лишь въ механикѣ и математикѣ; духъ, съ своей стороны, подчиняется совершенно инымъ, присущимъ ему законамъ; тѣмъ не менѣе идея всеобъемлющаго познающаго сознанія и идея вещей въ себѣ, въ которыхъ наши идеальныя чаянія находятъ общую основу всѣхъ явленій, сливаютъ тѣло и духъ въ единую картину міра. Этимъ научно-интеллектуалистическое толкованіе мировой картины доведено до своей высшей точки: не вещи, а знаніе вещей становится для Канта основной проблемой. Объединеніе великихъ двойственностей—природы и духа, тѣла и души—удается ему цѣной ограниченія задачи: онъ стремится объединить лишь научно-познавательныя картины этихъ двойственностей. Научный опытъ съ всеобщностью его законовъ есть рама, объемлющая всѣ содержанія бытія въ *единой* формѣ—именно въ формѣ разсудочной постижимости.

Совершенно инымъ порядкомъ смѣшиваетъ Гёте элементы, чтобы получить изъ нихъ столь же успокоительное единство. О философіи Гёте нельзя разсуждать согласно тривиальной формулѣ, что, хотя онъ обладалъ совершенной философіей, но не изложилъ ея въ систематической и специально-научной формѣ. У него отсутствовала не только система и школьная техника, но и самая задача философіи, какъ науки: стремленіе перенести въ сферу отвлеченныхъ понятій наше чувство цѣнности и порядка въ мировомъ цѣломъ. Наше непосредственное отношеніе къ міру, созвучное и сочувственное переживаніе его силъ и смысла отражается при научномъ философствованіи въ мышленіи, какъ бы противостоящемъ этому непосредственному отношенію; мышленіе выражаетъ на своемъ собственномъ языкѣ фактическое состояніе, съ которымъ оно не имѣетъ никакой прямой связи. Но если я правильно понимаю Гёте, то у него дѣло идетъ всегда о *непосредственномъ* выраженіи его мирового чувства; ему не нужно ловить это чувство въ сферѣ отвлеченнаго мышленія, чтобы объективировать его тамъ и превращать въ совершенно новую форму бытія. Безпримѣрно сильное ощущеніе значенія бытія и его внутренней идейной связи рождаетъ «философскія» замѣчанія Гёте, подобно тому, какъ корень рождаетъ цвѣтъ. Позволю себѣ вольную аналогию: философія Гёте подобна звукамъ, которые въ насъ непосредственно вызываются чувствами удовольствія и страданія, тогда какъ научная философія подобна словамъ, которыми мы логически и лингвистически *обозначаемъ* эти чувства. Но такъ какъ Гёте отъ начала до конца *художникъ*, то это естественное

самопроявленіе становится само художественнымъ произведеніемъ. Онъ могъ «цѣть, какъ поетъ птица», не впадая въ безформенный и наволи- вый натурализмъ, такъ какъ художественная форма овладѣвала а priori его проявленіями у самого ихъ источника—совершенно такъ же, какъ научное познание въ своей исходной точкѣ формируется опредѣленными разсудочными категоріями, которыя обнаруживаются, какъ формальное начало, въ реальномъ содержаніи познанія. Поэтому въ отхошеніи его глубочайшаго и рѣшающаго настроенія безусловно справедливы его непо- стижимыя для внѣшняго пониманія слова: «Я всегда сохранялъ себя сво- боднымъ отъ философіи». Поэтому также изложеніе философіи Гёте со- вершено неизбѣжно должно до извѣстной степени быть философствованіемъ *о личности Гёте*. Дѣло идетъ не о систематизаціи мыслей Гёте— въ отношеніи Гёте это было бы весьма малоцѣннымъ предпріятіемъ,—а о томъ, чтобы перенести непосредственное проявленіе и обнаруженіе гётев- скаго чувства къ природѣ, міру и жизни, въ опосредственную, отражен- ную форму отвлеченнаго постиженія, принадлежащую къ совсѣмъ иной области и къ иному измѣренію.

Основная черта его мировоззрѣнія, рѣзко отдѣляющая его отъ Канта, состоитъ въ томъ, что единство субъективнаго и объективнаго принципа, природы и духа онъ ищетъ *въ предметахъ самихъ явленій*. Сама природа, какъ она наглядно предстаетъ нашему взору, есть для него продуктъ и созданіе духовныхъ силъ, формирующихъ идеи. Все его внутреннее отно- шеніе къ міру—если его выразить теоретически—опирается на духовность природы и природность духа. Художникъ живетъ въ явленіи вещей, какъ въ своей стихіи; чтобы вообще признавать элементъ духовности, чего-то большаго, чѣмъ матерія и механизмъ—элементъ, который только и можетъ осмысливать его отношеніе къ міру,—онъ долженъ искать его въ самой осязаемой дѣйствительности. Это опредѣляетъ особое значеніе Гёте для современнаго культурнаго состоянія. Реакціей на отвлеченно-идеалистиче- ское міросозерцаніе начала XIX вѣка явился материализмъ 50-хъ и 60-хъ годовъ. Потребность въ синтезѣ, который преодолѣлъ бы противорѣчіе между идеализмомъ и материализмомъ, вызвала въ 70-хъ годахъ кличъ: назадъ къ Канту! Но *научное* рѣшеніе, которое только и могло дать это направленіе, повидимому, требуетъ для уравниженія своей односторон- ности рѣшенія эстетическаго; вновь пробудившіеся эстетическіе интересы даютъ новую возможность сблизить духъ съ реальностью, и потому сли- ваются въ кличъ: назадъ къ Гёте! Для Гёте недоступны оба пути, на которыхъ Кантъ преодолѣваетъ указанный основной дуализмъ: онъ не оты- скиваетъ подъ землей корень явленій—гносеологическое я, которое объ- единяетъ ихъ въ качествѣ простыхъ представленій, и онъ не можетъ, игнорируя явленія, удовлетвориться идеей вещей въ себѣ и ихъ недо- ступнаго созерцанію абсолютнаго единства. Слѣдовать первому пути ему препятствуетъ непосредственность его духовнаго существа, которая вну- шаетъ ему отвращеніе ко всякому теоретическому размышленію о познаніи.

„Wie hast du's denn so weit gebracht?
 Sie sagen, du habest es gut vollbracht?“
 „Mein Kind, ich habe es klug gemacht:
 Ich habe nie über das Denken gedacht“ *).

И въ другомъ мѣстѣ:

„Ja, das ist das rechte Gleis,
 Dass man nicht weiss, was man denkt,
 Wenn man denkt:
 Alles kommt als wie geschenkt“ **).

Его въ высшемъ смыслѣ практической натурѣ претита всякая забота объ условіяхъ мышленія, такъ какъ эти условія не содѣйствуютъ самому мышленію, его содержанію и результату. «Худо то,—говоритъ онъ Эккерману—что никакое размышленіе не помогаетъ мысли; надо быть правильно устроеннымъ отъ природы, чтобы хорошія выдумки приходили къ намъ, какъ свободныя божьи дѣти, и говорили: вотъ мы!»

Отвращеніе къ теоріи познанія, возникшее изъ подобныхъ мотивовъ психологической практики, удаляло Гёте отъ пути Канта и не позволяло искать разрѣшенія противорѣчій эмпирическаго міра въ условіяхъ познанаія, въ анализѣ системы сознанія. Переносить же абсолютное, въ которомъ предполагается гармонія, изъ міра явленій въ область вещей въ себѣ значило для Гёте лишать міръ всякаго смысла. «Объ абсолютномъ въ теоретическомъ смыслѣ я не рѣшаюсь говорить; но я смѣю утверждать, что много пріобрѣтаетъ тотъ, кто признаетъ его *въ явленіи* и никогда не упускаетъ изъ виду». И въ другомъ мѣстѣ: «Хорошо и похвально говорить: я вѣрю въ Бога. Но усматривать Бога всюду, гдѣ Онъ тѣмъ или инымъ образомъ себя *открываетъ*—въ этомъ наше истинное блаженство на землѣ». Природа и духъ, жизненный принципъ субъекта и объекта совпадаютъ не внѣ явленій, а *въ нихъ самихъ*. Эта созерцающая вѣра, внѣ которой вообще нѣтъ художественности, достигла въ Гёте своего высшаго сознанія, проникающаго все мироощущеніе; ибо Гёте, будучи величайшей изъ извѣстныхъ намъ художественныхъ натуръ, жилъ въ эпоху, когда дуализмъ дошелъ до максимальнаго напряженія и тѣмъ породилъ максимальную потребность примиренія. Гёте, «der Augenmensch», былъ по своей природѣ реалистомъ и не могъ выносить, чтобы дѣйствительность не была во всѣхъ своихъ проявленіяхъ обнаруженіемъ идеи; Кантъ былъ идеалистомъ и не могъ выносить міра внѣ допущенія, что идея (въ широкомъ, а не специфическомъ смыслѣ философской терминологіи) образуетъ существо дѣйствительности.

Глубокое противорѣчіе этихъ двухъ міросозерцаній, противостоящихъ одной и той же проблемѣ, выступаетъ въ ихъ отношеніи къ знаменитому

*) „Какъ достигъ ты столь многого? Говорять, ты хорошо выполнилъ свое дѣло?“
 „Дитя мое, я поступилъ умно: я никогда не размышлялъ о мысли“.

**) „Когда мы не знаемъ, что думаемъ, въ то время, какъ мы думаемъ, тогда мы—на правильной колѣѣ: все приходитъ само собой“.

положенію Галлера, что «никакой сотворенный духъ не можетъ проникнуть въ нутро природы». Оба возстаютъ противъ этого положенія съ подлиннымъ негодованіемъ, потому что оно стремится увѣковѣчить ту пропасть между субъектомъ и объектомъ, которую именно и надлежитъ заполнить. Но какъ различны ихъ мотивы! Для Канта это изреченіе совершенно бессмысленно, ибо оно оплакиваетъ непознаваемость объекта, котораго вовсе не существуетъ. Вѣдь, такъ какъ природа есть лишь явленіе, т.-е. представленіе въ представляющемъ субъектѣ, то въ ней вообще нѣтъ никакого нутра. Если можно говорить о внутренней сторонѣ ея проявленія, то только той, въ которую дѣйствительно проникаетъ наблюденіе и анализъ явленій. Если же жалоба относится къ тому, что лежитъ по ту сторону всякой природы, т.-е. къ тому, что уже не есть природа—ни ея внѣшняя, ни ея внутренняя сторона—то она столь же бессмысленна, ибо она ищетъ познанія того, что логически несомвѣстимо съ условіями познания. Абсолютное, лежащее по ту сторону природы, есть только идея, которую никогда нельзя наглядно представить, а слѣдовательно, нельзя и познать. Напротивъ, Гёте, который былъ совершенно чуждъ подобнымъ гносеологическимъ соображеніямъ, отвергаетъ это изреченіе въ силу непосредственнаго соощущенія существа природы:

Natur hat weder Kern
Noch Schale,
Alles ist sie mit einem Male *).

И въ другомъ мѣстѣ:

Denn das ist der Natur Gestalt,
Dass innen gilt, was aussen galt **).

И наконецъ:

Müset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten,
Nichts ist drinnen, nichts ist draussen,
Denn was innen, das ist aussen ***).

Для Гёте совершенно невыносимо допущеніе, чтобы самое глубокое, интимное и значительное, въ чему можно стремиться, не находилось и въ осязаемой дѣйствительности. Этимъ былъ бы поколебленъ весь смыслъ его художественнаго бытія. Поэтому, когда онъ возражаетъ на изреченіе Галлера словами:

Ist nicht der Kern der Natur
Menschen im Herzen ****)?

то это лишь съ виду совпадаетъ съ кантовскимъ мнѣніемъ, которое признаетъ природу съ ея законами содержаніемъ и продуктомъ познавательной

*) „Въ природѣ нѣтъ ни ядра, ни шелухи, она есть сразу все“.

**) „Форма природы такова, что внутри ея дѣйствуетъ то же, что дѣйствовало во внѣ“.

***) „При наблюденіи природы нужно обращать вниманіе на все. Въ природѣ нѣтъ внутренняго и наружнаго, ибо внутри и внѣ—одно и то же“.

****) „Развѣ ядро природы не содержится въ человѣческомъ сердцѣ?“

способности человека. Гёте хочет сказать следующее: жизненный принцип природы есть вместе с тем жизненный принцип человеческой души, тот и другой суть равноправныя явления, исходящія изъ единства бытія; одинъ и тотъ же творческій принципъ развивается въ многообразныхъ формахъ, такъ что человекъ въ своемъ собственномъ сердцѣ можетъ найти всю тайну бытія, а можетъ быть и ея рѣшеніе. Въ этой мысли пробивается художническое упоеніе единствомъ внутренняго и внѣшняго, Бога и міра. Кантъ воздерживается отъ подобныхъ утвержденій о самихъ вещахъ. Онъ высказываетъ о нихъ лишь то, что вытекаетъ изъ условій ихъ представляемости. Природу можно узнать по человеческой душѣ не потому, что та и другая тождественны по своей сущности или субстанціи, а потому, что природа есть представленіе человеческой души, такъ что форма и движеніе послѣдней дѣйствительно проявляются въ наиболѣе общихъ законахъ первой. Противоположность между воззрѣніемъ Канта и Гёте, въ ихъ отношеніи къ изреченію Галлера, можно заострить въ краткую формулу. На вопросъ о подлинной сущности природы Кантъ отвѣчаетъ: она есть лишь внѣшнее, такъ какъ состоитъ исключительно въ пространственно-механическихъ отношеніяхъ; Гёте же говоритъ: она есть лишь внутреннее, такъ какъ идея, духовный творческій принципъ образуетъ всю ея жизнь. Напротивъ, на вопросъ о природѣ въ ея отношеніи къ человеческому духу Кантъ отвѣчаетъ: она есть лишь внутреннее, такъ какъ она есть лишь представленіе въ насъ; отвѣтъ же Гёте гласитъ: она есть лишь внѣшнее, такъ какъ наглядная картина вещей, на которой основано все искусство, должна обладать абсолютной реальностью. Гёте не думаетъ, подобно Канту, что внутренняя духовная жизнь есть центръ природы; онъ думаетъ, что этотъ центръ можно найти всюду, а слѣдовательно и въ человеческомъ духѣ. Природа и человеческій духъ суть какъ бы параллельныя изображенія божественнаго бытія, которое развивается въ природѣ, во внѣшнемъ элементѣ, съ такою же реальностью, какъ въ душѣ, въ элементѣ внутреннемъ; такимъ образомъ, природа сохраняетъ свою абсолютную внѣшность, наглядную реальность, не теряя при этомъ своего существеннаго единства съ человеческимъ сердцемъ, и для признанія этого единства ее совсѣмъ не нужно превращать въ простое представленіе души, какъ это дѣлаетъ Кантъ. И Кантъ, и Гёте стоятъ оба по ту сторону противоположности между матеріализмомъ и спиритуализмомъ, Кантъ—потому, что его принципъ равномерно и мирно объемлетъ собой и духъ, и матерію, которые суть простыя представленія, Гёте—потому, что духъ и матерія, которые онъ признаетъ абсолютными сущностями, все же образуютъ у него нѣчто непосредственно единое. Въ письмѣ къ Шиллеру онъ высказываетъ мнѣніе, что философы-матеріалисты не могутъ справиться съ духомъ, философы-идеалисты—съ тѣлами, «и что поэтому всегда полезно оставаться въ первобытномъ философскомъ состояніи и дѣлать наилучшее возможное употребленіе изъ своего нераздѣльнаго бытія».

Что касается *объективнаго*, т. е. лежащаго внѣ сознанія единства бытія,

то для Канта оно могло находиться лишь въ Богѣ, къ которому онъ и прибѣгаетъ открыто, когда дѣло идетъ о примиреніи наиболѣе разнородныхъ жизненныхъ элементовъ—нравственности и счастья; и этотъ Богъ есть Богъ трансцендентный, вещь въ себѣ, стоящая по ту сторону всей наглядной реальности. Для Гёте же самое существенное состоитъ въ томъ, что это единство вещей не лежитъ по ту сторону самихъ вещей. Онъ не только отвергаетъ Бога, «который извнѣ толкаетъ міръ»—это сдѣлалъ бы и Кантъ; но, хотя онъ признаетъ «стѣсненность» божественнаго начала въ явленіи, онъ все же подчеркиваетъ, какъ много ущерба мы наносимъ себѣ, когда мы «оттѣсняемъ это начало въ точку, исчезающую для нашего внѣшняго и внутренняго чувства». Существо, стоящее внѣ міра и своимъ единствомъ вносящее гармонію въ противостоящій ему міръ, въ дѣйствительности отнимало бы у міра всякое подлинное единство, и Гёте спасаетъ это единство, отвергая его проецированіе въ трансцендентную сферу.

При всемъ кажущемся сходствѣ между воззрѣніями Гёте и Канта нельзя упускать изъ виду то основное ихъ различіе, что Гёте рѣшаетъ уравненіе между субъектомъ и объектомъ путемъ сведенія всего на объектъ, Кантъ—путемъ сведенія на субъектъ, хотя этотъ субъектъ и понимается не какъ случайная и индивидуально-дифференцированная личность, а какъ сверхъиндивидуальный носитель объективнаго познанія.

Поэтому, когда Гёте говорить:

Wär' nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnt' die Sonne es erblicken?
Wär' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken? *)

то это кажется перифразой кантіанской идеи, что мы познаемъ вещи, лишь поскольку ихъ формы а priori заложены въ насъ. Въ дѣйствительности, однако, это означаетъ нѣчто совсѣмъ иное. Гёте объемлетъ изнутри противоположность между субъектомъ и объектомъ и основываетъ познавательную связь между ними на ихъ субстанціальномъ единствѣ. Такъ, въ примитивной формѣ, училъ уже Эмпедоклъ: мы познаемъ вещи потому, что элементы всѣхъ вещей содержатся въ насъ самихъ; воду мы познаемъ черезъ элементъ воды въ насъ, огонь—черезъ элементъ огня, борьбу въ природѣ мы постигаемъ черезъ борьбу въ насъ, и любовь—черезъ любовь. Не *мазъ* создаетъ солнце и потому можетъ его познавать (таково было бы кантіанское истолкованіе этихъ стиховъ); нѣтъ, глазъ и солнце имѣютъ одинаковую объективную сущность, суть равноправныя дѣти божественной природы и потому способны понимать и воспринимать другъ друга. Кантовское и Гётевское, гносеологическое и метафизическое рѣшеніе міровой проблемы—при чемъ Гёте, такъ сказать, не *имѣетъ* метафизики, а *есть* метафизика—подобны двумъ типамъ отноше-

*) „Если бы нашъ глазъ не имѣлъ природы солнца, какъ могли бы мы увидѣть солнце? Если бы въ насъ не таилась сила самого Бога, какъ могло бы божественное восхищать насъ?“

ній между людьми, съ вѣшной стороны тождественнымъ по содержанию и значенію, но совершенно различнымъ по внутреннему характеру. Въ первомъ случаѣ отношеніе поддерживается подавляющей активностью одной стороны, которая приспособляетъ къ своему образу и къ своему идеалу отношенія другую сторону; въ послѣднемъ случаѣ отношеніе покоится на коренномъ единствѣ и естественной гармоніи обѣихъ сторонъ.

Въ этомъ пунктѣ особенно отчетливо выступаетъ, какъ носитель гётевскаго міросозерцанія, личный складъ его натуры. Въ отношеніи чловѣка къ природѣ можно признать счастливѣйшимъ такой душевный строй, при которомъ самобытное развитіе личности, слѣдующее только потребностямъ и влеченіямъ своего я, ведетъ къ чистому восприниманію природы, какъ если бы силы души и природы проявляли предустановленную гармонію и первыя служили указателемъ послѣднихъ. Эта комбинація въ наиболѣе совершенной формѣ обнаруживалась въ Гёте. Во всемъ, что онъ говорилъ и дѣлалъ, онъ лишь развивалъ свою личность; все постиженіе и истолкованіе бытія было для него лишь переживаніемъ самого себя; мы чувствуемъ, что его картина природы, которая, несмотря на всѣ требующія ея объективныя поправки, все же обладаетъ несравненной законченностью, научной добросовѣстностью и возвышенностью, возникла какъ бы попутно, слѣдуя самобытному развитію его внутреннихъ интеллектуальныхъ и эмоциональныхъ силъ. *Поэтому* онъ можетъ требовать отъ художника—о чемъ намъ придется еще говорить позднѣе,—чтобы онъ велъ себя «въ высшей степени эгоистически». Онъ изображаетъ себя самого, когда однажды говоритъ о Винкельманнѣ: «Если у исключительно одаренныхъ людей возникаетъ общечеловѣческая потребность отыскивать во вѣшнемъ мірѣ образы, отвѣчающіе тому, что природа вложила въ душу этихъ людей, и тѣмъ (!) укрѣплять и пополнять свой внутренній міръ, то можно быть увѣреннымъ, что здѣсь разовьется жизнь, отрадная для міра и потомства». Это счастливое, гармонирующее съ объективной природой направленіе его субъективнаго существа даетъ Гёте право, развивая съ полной свободой свою личность, дѣлая всюду природу зеркаломъ своей собственной души, все же постоянно утверждать, что онъ отдается природѣ съ величайшимъ безкорыстіемъ и вѣрностью, что онъ повторяетъ лишь ея слова и избѣгаетъ всякаго субъективнаго придатка, искажающаго ея непосредственный образъ.

Какъ извѣстно, многие гении изобразительнаго искусства, и притомъ такіе, которые давали строжайшую стилизацію, въ высшей степени деспотичную переработку дѣйствительности, считали себя натуралистами и полагали, что они передаютъ только то, что видятъ. И дѣйствительно, они именно и *видѣли* сразу такъ, что совсѣмъ не знали присущаго нехудожнической жизни противорѣчія между внутреннимъ созерцаніемъ и вѣшнимъ объектомъ. Въ силу таинственной связи гения съ глубочайшей сущностью бытія, все его индивидуальное, самочинное созерцаніе есть вмѣстѣ съ тѣмъ для него—и, въ мѣру его гениальности, также и для другихъ—черпаніе

объективнаго содержанія вещей. Въ Гёте фантически было единымъ процессомъ то, что съ одной стороны представляло развитіе его собственнаго духовнаго направленія, а съ другой стороны являлось восприниманіемъ и усвоеніемъ природы. Поэтому кантовское представленіе, что нашъ разумъ предписываетъ природѣ ея общіе законы (такъ какъ природа возникаетъ для насъ лишь въ силу того, что разумъ вкладываетъ чувственныя впечатлѣнія въ присущія ему формы), должно было быть совершенно чуждымъ Гёте и даже отвратительнымъ. Оно должно было означать для него невѣроятное преувеличеніе антагонизма между субъектомъ и объектомъ: субъекту приписывается слишкомъ много самостоятельности, его заставляютъ насильственно вторгаться въ природу, вмѣсто того, чтобы смиренно и безкорыстно воспринимать ее; объектъ же оказывается слишкомъ непокорнымъ, не входя въ субъектъ своимъ абсолютнымъ существомъ и дѣлая тщетнымъ гигантское усиліе субъекта вовлечь его въ себя. Гёте, который непосредственно сознавалъ свое я какъ бы параллельнымъ природѣ, должно было казаться, что кантовское рѣшеніе даетъ субъекту и слишкомъ много, и слишкомъ мало, и что оно, съ одной стороны, насилуетъ объектъ, вмѣсто того, чтобы покорно отдаваться ему, а съ другой стороны не въ силахъ поймать объектъ, какъ что-то неуловимое, какъ «вещь въ себѣ».

Такой же антагонизмъ, при кажущейся близости, оба мировоззрѣнія обнаруживаютъ и въ вопросѣ о границахъ познанія. Если Бантъ постоянно подчеркиваетъ непознаваемость того, что образуетъ сущность міра, по ту сторону нашего опыта, то и Гёте повторяетъ, что позади всего постижимаго лежитъ еще непостижимое, которое мы можемъ только «тихо почитать», послѣднее, неказанное, на чемъ кончается наша мудрость. Для Банта это означаетъ абсолютную границу нашего познанія, полагаемую самой природой послѣдняго. Для Гёте это означаетъ лишь предѣлъ, обусловленный глубиной и таинственной темнотой послѣдней основы міра; такъ вѣрующій смиряется предъ невозможностью созерцать Бога не потому, что Богъ вообще недоступенъ созерцанію, а потому, что наше созерцаніе должно для этого расширяться, очиститься и углубиться въ иномъ мірѣ. Поэтому Гёте говоритъ:

„Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig,
Unverstanden, doch nicht unverständlich“*).

Правда, отъ послѣднихъ таинствъ природы насъ отдѣляетъ безконечное разстояніе, но они все же лежатъ какъ бы въ одной плоскости съ познаваемой природой, такъ какъ внѣ природы нѣтъ ничего, и сама природа есть духъ, идея, божественное начало. Для Банта же вещь въ себѣ находится въ совсѣмъ иномъ измѣреніи, чѣмъ природа, чѣмъ все познаваемое, и если бы мы даже дошли до конца области природы, мы никогда не встрѣтились бы съ вещью въ себѣ. Гёте писалъ однажды Шиллеру:

*) „Природа есть живая книга, непонятая, но не непостижимая“.

«Природа непостижима потому, что ея не может постигнуть *одинъ* человекъ, хотя все человечество, конечно, могло бы понять ее. Но такъ какъ милое человечество никогда не бываетъ собрано вмѣстѣ, то природѣ легко прятаться отъ нашихъ взоровъ». Но согласно предпосылкамъ теоріи познанія Канта, та совмѣстность человечества, отсутствіе которой ощущаетъ Гёте, въ дѣйствительности безспорно существуетъ. Тѣ формы и нормы, примѣненіе которыхъ означаетъ познание, ибо создаетъ для насъ объектъ представленія, не суть что-либо индивидуальное, а суть общечеловѣческое начало въ каждой личности; въ нихъ безъ остатка содержится все то отношеніе, которое вообще возможно между человечествомъ и объектами его познанія. Слѣдовательно, въ общемъ отношеніи человека къ природѣ не имѣютъ значенія тѣ индивидуальныя несовершенства, которыя Гёте хотѣлъ бы устранить совмѣстнымъ творчествомъ человечества. Поэтому для Канта природа въ принципѣ совершенно прозрачна, и лишь наше эмпирическое знаніе ея несовершенно. Такъ какъ для Гёте сама природа исполнена идеи и есть абсолютъ, то въ ней встрѣчается пунктъ, въ которомъ интенсивность и глубина процессовъ препятствуютъ нашему проникновенію въ природу; для Канта, который переноситъ сверхчувственное всецѣло по ту сторону природы, граница познанія лежитъ уже не въ предѣлахъ природы, а лишь тамъ, гдѣ кончается природа. Поэтому мы видимъ не принципиальную, а лишь, такъ сказать, количественную непослѣдовательность, когда Гёте въ письмѣ къ Шиллеру мимоходомъ высказываетъ мнѣніе, что у природы нѣтъ такой тайны, которой она не облажала бы когда-либо передъ внимательнымъ наблюдателемъ, или когда онъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ: «У Изиды нѣтъ покрова, лишь у человека есть бѣльмо на глазу»; напротивъ, Кантъ абсолютно непослѣдователенъ, когда онъ все же позволяетъ намъ заглянуть въ интеллигибельный міръ (оставляя, впрочемъ, въ сторонѣ вопросъ, справедливо ли или нѣтъ ему приписывается этотъ приемъ).

Если позволительно намѣтить ритмъ внутренняго движенія этихъ двухъ умовъ къ ихъ конечной цѣли, причемъ такія послѣднія цѣли суть лишь проявленіе природенныхъ силъ и ихъ внутреннихъ законовъ, а не самостоятельно поставленная задача, извнѣ направляющая эти силы, то формулой кантовскаго существа является *разграниченіе*, формулой гётескаго существа—*единство*. Задача Канта—и къ ней можно свести все его дѣло—состояла въ томъ, чтобы разграничить между собой компетенціи внутреннихъ силъ, опредѣляющихъ познание и дѣйствованіе: установить границу между чувственностью и разсудкомъ, между разсудкомъ и разумомъ, между разумомъ и стремленіемъ къ счастью, между правами личности и тѣмъ, что обязательно для всѣхъ. И тѣмъ самымъ проводятся пограничныя черты въ объективномъ мірѣ между силами, притязаніями, цѣнностями самихъ вещей. Кантъ ставитъ своей цѣлью охранить теоретическую и прагматическую жизнь отъ излишествъ, несправедливостей и смѣшеній, проистекающихъ изъ отсутствія точныхъ границъ какъ между субъектив-

ными, такъ и между объективными факторами. Сколь бы фундаментальное значеніе онъ ни признавалъ за синтезомъ, послѣдній есть все же для него, такъ сказать, лишь естественный, преднаходимый фактъ, къ которому онъ и приступаетъ съ своей работой анализа и разграниченія элементовъ бытія. Для его великой задачи установленія гармоническаго отношенія между субъектомъ и объектомъ природа дала ему, въ качествѣ орудій детальной работы, лишь инструменты маршайдера. Ясно, что отношеніе художника къ явленіямъ противоположно. Скольке бы ни приходилось ему предварительно расчленять хаотическое смѣшеніе качествъ, дѣятельностей и цѣнностей вещей, внутреннее движеніе его души останавливается лишь на новомъ обрѣтеніи единства, по сравненію съ которымъ всякое разграниченіе имѣетъ лишь второстепенный интересъ. Конечно, и для Канта послѣдней цѣлью является заключительное единство элементовъ, безъ котораго нѣтъ и единства міросозерцанія. Но личная нота, которую онъ вноситъ въ стремленіе къ этой цѣли, есть все же интересъ къ разграниченію; это есть великій жестъ, характеризующій его работу, тогда какъ внутренніе запросы Гёте находятъ свое послѣднее выраженіе въ объединеніи элементовъ. «Дѣлать и считать—признается Гёте—несвойственно моему натурѣ»; и въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ рѣшительно: «Чтобы жить въ безконечномъ, нужно раздѣлять и потомъ снова соединять». Кантъ же находитъ соединеніе, какъ фактъ, и считаетъ самой насущной своей задачей разъединеніе.

Какъ у Канта принципъ разграниченія, такъ у Гёте принципъ единства переносится отъ общей картины природы на единичныя явленія. Такъ какъ въ послѣднихъ проявляется единство природы, то между ними должно обнаруживаться непрерывное родство, которое даетъ мѣсто развѣ только различію въ степени развитія, но отнюдь не принципиальнымъ различіямъ. Я приведу лишь нѣсколько замѣчаній Гёте, которыя выѣстъ съ тѣмъ опровергаютъ грубое недоразумѣніе, приписывающее Гёте высокоумно-аристократическое міросозерцаніе. Онъ подчеркиваетъ однажды, что различіе между среднимъ человекомъ и гениемъ въ сущности весьма невелико по сравненію съ тѣмъ, что обще имъ обимъ. «Поэтическій талантъ,—говоритъ онъ въ другомъ случаѣ,—данъ крестьянину не менѣе, чѣмъ дворянину, и вся суть въ томъ, чтобы каждый по достоинству использовалъ свое состояніе».

„Wollen die Menschen Bestien sein,
So bringt nur Tiere zur Stube herein,
Das Widerwärtige wird sich mindern,
Wir sind eben alle von Adams Kindern**).“

И наконецъ, въ общей формѣ: «Даже самое неестественное тоже естественно. Даже самое плоское филистерство носить въ себѣ частицу генія природы. Кто не видитъ природы всюду, тотъ нигдѣ не видитъ ея какъ

*) „Если люди хотятъ быть звѣрями, пусть приведутъ къ нимъ подлинныхъ звѣрей, тогда будетъ меньше отвратительнаго; ибо естъ мы происходимъ отъ дѣтей Адама“.

слѣдуетъ». Итакъ, единство природы объемлетъ для Гёте даже то, что находится на самыхъ крайнихъ ступеняхъ скалы цѣнностей. Такъ какъ виѣшнее и внутреннее по существу однородны и въ своихъ послѣднихъ основахъ не могутъ быть раздѣляемы, то мѣра присутствія того и другого въ отдѣльныхъ явленіяхъ не обосновываетъ никакого существеннаго различія между послѣдними. И это примѣнимо не только къ различнымъ людямъ, но и къ внутреннимъ элементамъ каждаго человѣка въ отдѣльности. Гёте говоритъ о «недовольствѣ», которое возбудило въ немъ ученіе о высшихъ и низшихъ силахъ души. Въ человѣческомъ духѣ, какъ и во вселенной, нѣтъ ни верха, ни низа; все стоитъ въ равноправномъ отношеніи къ общему центру, который въ этомъ отношеніи всѣхъ частей къ нему и обнаруживаетъ свое тайное бытіе. «Всѣ споры древняго, новаго и новѣйшаго времени возникаютъ изъ разъединенія того, что Богъ создалъ соединеннымъ въ природѣ. Кто не убѣжденъ, что онъ долженъ гармонично развивать всѣ проявленія человѣческой природы, чувственность и разумъ, воображеніе и разсудокъ, тотъ будетъ вѣчно терзаться въ безотрадной ограниченности». Все это принципиально призналъ бы и Кантъ; но именно здѣсь отчетливѣе всего обнаруживается расхожденіе ихъ духовныхъ направленій. Для Гёте существенно единство, сохраняющееся несмотря на границы душевныхъ способностей; для Канта существенны границы душевныхъ силъ, сохраняющіяся несмотря на ихъ единство. Разграниченіе есть для Канта непосредственный коррелятъ единства; онъ говоритъ однажды, послѣ того какъ онъ провелъ рѣзкую границу между двумя соприкасающимися областями знанія: «Это *раздѣленіе* имѣетъ особую привлекательность, которая свойственна *единству* познанія, когда предупредительно смѣшеніе границъ науки и каждая ея часть занимаетъ точно отведенное ей мѣсто». Если цѣль всякаго міросозерцанія состоитъ въ томъ, чтобы внести гармонию и разумный смыслъ въ первичную беспорядочную смѣшанность и раздробленность мировыхъ элементовъ, то Кантъ и Гёте достигли этой общей цѣли,—первый черезъ справедливое разграниченіе этихъ элементовъ, послѣдній—черезъ ихъ объединеніе; и оба могли удовлетворительно выполнить задачу именно потому, что каждый изъ нихъ признаетъ наличность противоположнаго принципа.

У обоихъ, впрочемъ, это признаніе ограничивается послѣднимъ мотивомъ, изъ котораго истекаетъ ихъ міровоззрѣніе и который у одного есть мотивъ научный, у другого—художественный. Наука всегда находится на пути къ абсолютному единству понятія міра, но никогда не можетъ его достигнуть; на какой бы точкѣ она ни стояла, необходимъ скачокъ изъ научнаго мышленія въ иную форму сознанія—религіозную, метафизическую, моральную, эстетическую,—чтобы дополнить неизбѣжную отрывочность результатовъ науки и замѣнить ее полнымъ единствомъ. Это хорошо зналъ Кантъ, и потому онъ съ большой рѣшительностью устанавливаетъ границы не только *въ предметахъ* своей картины міра, но и границы самой картины міра, поскольку онъ признаетъ ее научной, въ противоположность

идеалу абсолютнаго единства вещей. Съ другой стороны, для Гёте граница, до которой можетъ идти анализъ, намѣчена не менѣе опредѣленнымъ критеріемъ; анализъ становится недопустимымъ тамъ, гдѣ онъ разрушаетъ *красоту* вещей. Красота, такъ можно было бы сказать въ духѣ Гёте, есть форма, въ которой осуществляется связь матеріи и идеи, или матеріи и духа. Что красота существуетъ, что мы ощущаемъ ее и сами можемъ ее творить, это есть гарантія того, что существуетъ единство міровыхъ элементовъ, котораго искало идейное движеніе того времени,— гарантія того, что духовный субъектъ и объективная природа встрѣтились; и они могутъ встрѣчаться,—такъ можно далѣе толковать гётевское чувство,—только потому, что они изначально тождественны. Мы должны, можетъ быть, вернуться къ таинственной личности Леонардо да Винчи, чтобы найти втораго человѣка, который былъ бы способенъ къ такому безграничному эстетическому наслажденію всѣмъ міромъ, который ощущалъ бы всякую дѣйствительность, какъ красоту. Такъ какъ красота есть воплощеніе идеальнаго содержанія въ реальномъ бытіи, то универсальность ея господства означаетъ устраненіе основного антагонизма между духовнымъ и естественнымъ, между субъективнымъ и объективнымъ началомъ бытія, означаетъ постиженіе его ничтожества. Поэтому въ красотѣ Гёте находятъ абсолютно достовѣрное мѣрило истинности познанія: гдѣ виѣшнее или интеллектуальное расчлененіе объекта уничтожаетъ красоту его явленія, тамъ засвидѣтельствована невѣрность выводовъ. Разрываніе природы на части «рычагами и винтами» для Гёте, такъ сказать, теоретически ложно потому, что оно ложно эстетически. Онъ лишь съ трудомъ можетъ допустить геогнозію, потому что она «раздробляетъ передъ духовнымъ взоромъ воспріятіе прекрасной земной поверхности». Отсюда и его ненависть къ раздробленію Гомера; онъ хочетъ «мыслить его, какъ цѣлое», ибо лишь такъ сохраняется его красота. Объ аналитическихъ умахъ, которые разрушаютъ художественно-синтетическое пониманіе вещей, онъ говоритъ:

„Was wir Dichter ins Enge bringen,
Wird von ihnen ins Weite geklaubt.
Das Wahre klären sie an den Dingen,
Bis niemand mehr dran glaubt“ *).

Весьма глубоко это настроеніе обрисовано въ маленькомъ стихотвореніи «Радость». Поэтъ восторгается красками стрекозы, хочетъ разсмотрѣть ее вблизи, преслѣдуетъ, ловить ее и видитъ—хмурую темную синеву. «Такъ случается съ тѣмъ, кто расчленяетъ свою радость!» Такимъ образомъ, благодаря излишнему анализу, разрушающему эстетическое наслажденіе, исчезаетъ не то, что иллюзія, а весь реальный образъ предмета. Даже неодобрительное отношеніе Гёте къ очкамъ есть въ конечномъ счетѣ лишь отвращеніе къ слишкомъ острому расчлененію явленій, къ наруше-

*) „Что мы, поэты, вмѣщаемъ въ тѣсные размѣры, то они раздираютъ во всѣ стороны; они уясняютъ истину въ вещахъ такъ долго, что перестаешь вѣрить въ нее“.

нiю естественнаго и прекраснаго отношенiя между объектами и воспринимающимъ органомъ. Гельмгольцъ безспорно правъ, замѣчая, что тайный мотивъ злосчастной полемики Гёте противъ Ньютонова ученiя о цвѣтахъ выдаютъ тѣ мѣста, гдѣ онъ смѣется надъ спектрами, вымученными черезъ множество узкихъ щелей и стеколъ, и одобряетъ опыты при солнечномъ свѣтѣ подъ открытымъ небомъ не только какъ особенно прiятные, но и какъ особенно доказательные. Разрушенiе эстетическаго образа есть для него тѣмъ самымъ разрушенiе истины. Представленiе о вещахъ, какъ о нѣкоторомъ числовомъ итогѣ—представленiе, устанавливаемое математическимъ естествознанiемъ посредствомъ разложенiя вещей на ихъ, по возможности безкачественные, элементы—должно было, въ силу его эстетическихъ изысканiй, казаться Гёте такимъ же конюнствомъ и заблужденiемъ, какимъ, напротивъ, для Канта былъ бы подобный эстетическiй критерiй въ примѣненiи къ объектамъ естествознанiя.

Великой двойственности мировыхъ элементовъ, черезъ многообразныя примиренiя которой развивается мирозерцанiе новаго времени, противостоитъ иная двойственность, возникшая гораздо ранѣе первой, но испытывавшая сходную съ ней судьбу. Это—практическiй дуализмъ между личностью и общественной группой, изъ котораго принято выводить проблемы нравственности. И здѣсь развитiе начинается съ состоянiя безразличiя: интересы личности и группы въ примитивныхъ культурахъ не обнаруживаютъ еще сколько-нибудь замѣтнаго или сознательнаго антагонизма; наивный эгоизмъ лишь случайно, но не принципиально отличается по своему содержанiю отъ групповаго эгоизма. Но, съ растущей индивидуализацiей личностей, скоро развивается противорѣчiе между тѣмъ и другимъ, и въ силу этого возникаетъ требованiе, чтобы отдѣльные индивиды подчинили свои личные интересы интересамъ общества: желанiю противопоставляется долгъ, естественной субъективности—объективное нравственное велѣнiе. И снова возрастаетъ потребность въ единствѣ: нужно преодолѣть этотъ дуализмъ подавленiемъ одной стороны или равномѣрнымъ удовлетворенiемъ обѣихъ; причемъ, очевидно, дѣло идетъ о такомъ рѣшенiи, которое повысило бы до максимума общую цѣнность жизни.

Отвѣтъ на эту проблему у Канта и Гёте стоитъ въ весьма точномъ соответствiи съ отношенiемъ ихъ теоретическихъ мировоззрѣнiй. У Канта исходомъ является объективное нравственное велѣнiе, которое находится внѣ всякихъ частныхъ интересовъ, но коренится въ разумѣ субъекта; у Гёте—непосредственное внутреннее единство практически-нравственныхъ элементовъ жизни, гармоническая природа человѣка и вещей, примиряющая всѣ противорѣчiя. Центральная мысль Канта основана здѣсь на безусловномъ отдѣленiи чувственности отъ разума; человѣческое поведенiе приобрѣтаетъ нравственную цѣнность лишь въ силу абсолютнаго устраненiя чувственности и исключительнаго подчиненiя разуму. Послѣднiй же содержитъ два момента: во-первыхъ, самостоятельность человѣка, которая отри-

цается, когда насъ опредѣляютъ чувственные мотивы, возбужденіе и удовлетвореніе которыхъ зависятъ отъ внѣшнихъ условій, отъ наличности опредѣленныхъ объектовъ; во-вторыхъ, совершенную объективность нравственного закона, который безощадно отменяетъ всё индивидуальныя уклоненія, особенности и склонности и основываетъ всю цѣнность человѣка на выполненіи долга, и притомъ не на внѣшнемъ выполненіи, а на выполненіи долга ради него самого; какъ только въ дѣйствіи замѣшанъ какой-либо иной мотивъ, оно уже не имѣетъ никакой цѣнности. Но если это условіе исполнено, то человѣкъ вступаетъ въ высшій, сверхъэмпирический порядокъ и своимъ дѣйствіемъ приобретаетъ абсолютное значеніе, далеко превышающее все его мышленіе и познание, которое направлено лишь на эмпирическое и относительное.

Относительно этого послѣдняго, весьма характернаго пункта Кантова ученія, именно «примата практическаго разума надъ теоретическимъ», Гёте совершенно согласенъ съ Кантомъ. Онъ безпрестанно повторяетъ, что дѣйствованіе въ нравственномъ отношеніи должно стоять на первомъ планѣ. Онъ объявляетъ «послѣднимъ словомъ мудрости», что человѣкъ долженъ изо дня въ день практически отвоевывать себѣ жизнь, онъ отождествляетъ понятіе человѣка съ понятіемъ борца, наконецъ, онъ прямо признаетъ, что способенъ мыслить только въ связи съ *дѣйствованіемъ* и что всякое поученіе, не возбуждающее вмѣстѣ съ тѣмъ его дѣятельности, ему прямо ненавистно. Примать нравственно-практическаго совершенства надъ простой интеллектуальностью и теоріей стоитъ для него такъ же твердо, какъ и для Канта.

Въ этомъ пунктѣ ихъ этическія воззрѣнія совпадаютъ, подобно тому, какъ ихъ общее міровоззрѣніе совпадаетъ въ преодолѣніи поверхностнаго дуализма между внутренней и внѣшней природой. Но здѣсь, какъ и тамъ, ихъ пути тотчасъ же расходятся, соприкоснувшись какъ бы только въ одной этой точкѣ. Если для Канта непознаваемое начало бытія есть абсолютная потусторонность, отдѣленная непроходимой пропастью отъ всего даннаго, для Гёте же—лишь исчезающая въ мистической дали глубина реальнаго міра, въ которой ведетъ хотя и безконечный, но все же непрерывный путь,—то и нравственная цѣнность лежитъ для Канта въ совершенно иномъ мірѣ, чѣмъ остальное бытіе со всеми его цѣнностями, и этотъ міръ достижимъ лишь посредствомъ радикальнаго поворота въ сторону отъ всего эмпирическаго, посредствомъ «революціи». Для Гёте же нравственная цѣнность стоитъ въ одномъ, непрерывно возрастающемъ ряду съ остальными содержаніями жизни, и ея—безспорный для Гёте—приматъ даетъ ей среди другихъ цѣнностей значеніе *primus inter pares*. Основное и непримиримое различіе въ цѣнностяхъ между чувственной и разумной стороной нашего существа,—различіе, на которомъ держится вся этика Канта,—должно внушать ужасъ Гёте, какъ вообще его исконнымъ смертнымъ врагомъ былъ христіанскій дуализмъ, отрывающій цѣнность міра отъ его видимаго образа. Метафизическое единство жизненныхъ эле-

ментовъ должно для него непосредственно означать единство ихъ цѣнности. Если Гёте, какъ мы видѣли, не можетъ отдѣлять внутреннее отъ внѣшняго, если онъ, взаимнѣ «высшихъ и низшихъ силъ души» требуетъ общаго центра психическаго бытія, то это вытекаетъ, конечно, изъ первичнаго чувства, коренящагося въ послѣднихъ глубинахъ его личности и недопускающаго ни доказательства, ни опроверженія—изъ чувства равенства и гармоніи всѣхъ сторонъ нашего существа въ отношеніи ихъ цѣнности. Какъ для него во внѣшнемъ мірѣ нѣтъ ничего ничтожнаго, мимолетнаго и побочнаго, на чемъ нельзя было бы сосредоточить всего своего вниманія, что не могло бы стать зеркаломъ вѣчныхъ законовъ, представителемъ всего космоса,—такъ и въ субъективномъ мірѣ могучее единство жизненнаго чувства Гёте не допускаетъ никакого принципиальнаго различія въ цѣнности отдѣльныхъ силъ. Для природы Гёте характерно счастливейшее равновѣсіе между тремя направленіями духовныхъ силъ, многообразныя комбинаціи которыхъ образуютъ основную форму всякой жизни: между способностью восприниманія, переработки и обнаруженія. Человѣкъ стоитъ въ этомъ тройномъ отношеніи къ міру: центростремительныя теченія, связывающія внѣшнее съ внутреннимъ, вводятъ въ нашу душу міръ, какъ матеріалъ и возбудитель нашей дѣятельности; центральныя движенія обрабатываютъ то, что пріобрѣтено такимъ путемъ, дѣлаютъ его содержаніемъ духовной жизни, составной частью и достояніемъ нашего я; наконецъ, центробѣжныя процессы разряжаютъ силы и содержанія я и выбрасываютъ ихъ назадъ въ міръ. Вѣроятно, эта тройственная схема жизни имѣетъ непосредственную физиологическую основу, и психическая возможность ея гармоничнаго осуществленія соответствуетъ известное распределеніе нервной силы по этимъ путямъ. Если принять во вниманіе, какъ сильно перевѣсъ одной изъ этихъ способностей долженъ раздражать другія, а слѣдовательно и жизнь въ ея цѣломъ, то въ изумительной уравновѣженности гётевской природы можно было бы усмотрѣть физико-психическое отраженіе ея красоты и силы. Гёте никогда не жилъ внутренне, такъ сказать, за счетъ своего капитала, а постоянно питалъ свою духовную дѣятельность обращеніемъ къ дѣйствительности, восприниманіемъ всего, что она даетъ; движенія его души никогда не уничтожались въ взаимномъ треніи; напротивъ, его невѣроятная способность обнаруживать себя въ дѣйствиіи и рѣчи давала каждому душевному движенію возможность разрядиться, т.-е. полностью изжить себя. Въ этомъ смыслѣ онъ съ благодарностью отмѣтилъ, что Богъ далъ ему способность высказывать свои страданія. Поэтому въ духѣ его мировоззрѣнія можно было бы сказать, что если одна жизненная энергія стоитъ принципиально ниже другой, то, стоя на своемъ надлежащемъ мѣстѣ, она тѣмъ самымъ столь же цѣнна, какъ и высшая энергія, которая тоже можетъ только выполнять свою функцію и притомъ въ сотрудничествѣ съ первой. Такимъ образомъ, указанное выше анти-аристократическое сужденіе о приблизительной равноцѣнности людей—которое, разумѣется, не мѣшаетъ ему эмпирически и въ

силу разъ принятаго критерія дѣлать различіе между тупой массой и великими людьми—находить себѣ аналогію въ отношеніи между душевными элементами внутри каждаго человѣка. Если выше я отмѣтилъ единство внѣшняго и внутренняго, субъективнаго и объективнаго, идеальнаго и реального, какъ предпосылку художественнаго міросозерцанія, то здѣсь мы, быть можетъ, приходимъ къ еще болѣе глубокому обоснованію этого фундамента; это сплетеніе и взаимопроникновеніе міровыхъ элементовъ есть, быть можетъ, лишь выраженіе—можно сказать, метафизическое оправданіе—для ощущаемаго художниковъ равенства ихъ *цѣнности*. Этимъ, вѣроятно, объясняется также, почему античная откровенность чувственныхъ грубостей у Гёте производитъ всегда художественное впечатлѣніе: она рѣзко подчеркиваетъ то равноправіе всѣхъ сторонъ бытія, которое, будучи развито въ общее міровоззрѣніе, образуетъ метафизику всякаго искусства.

Такъ какъ для Гёте идеальное собственнаго и чувственнаго счастья находится въ гармоніи съ идеаломъ разума, то Гёте возвышается надъ антагонизмомъ между эвдемонистической и рационалистической моралью, на которомъ покоится этика Канта. Въ виду распространенныхъ недоразумѣній необходимо рѣшительно подчеркнуть, что враждебное отношеніе Гёте къ логической строгости идеала разума отнюдь не означаетъ, что онъ хотѣлъ подчинить жизнь идеалу чувственнаго наслажденія. Какъ далеко былъ отъ этого Гёте, видно изъ того, что онъ прямо призналъ (въ 1818 г.) безсмертной заслугой Канта противопоставленіе морали «шаткому расчету теоріи счастья», постиженіе всего ея сверхчувственнаго значенія. Этому нисколько не противорѣчитъ восклицаніе въ «Годахъ ученія Вильгельма Мейстера»: «О эта ненужная строгость морали! Вѣдь природа съ свойственной ей любовностью подготовила насъ ко всему, чѣмъ мы должны быть!» Дѣло въ томъ, что въ первомъ сужденіи онъ имѣетъ въ виду совсѣмъ не кантовскую сверхчувственность, которая означаетъ съ одной стороны исключительное господство разума, съ другой—наше вхожденіе въ трансцендентный порядокъ вещей. Сверхчувственное въ Гётевскомъ смыслѣ сводится здѣсь къ самой всеобъемлющей природѣ, которая, конечно, не есть ни односторонняя чувственность, ни односторонняя разумность. Это онъ совершенно недвусмысленно высказываетъ нѣсколько лѣтъ спустя въ письмѣ къ Карлейлю: «Одни признали эгоизмъ движущимъ мотивомъ всѣхъ нравственныхъ дѣйствій; другіе усматривали единственную силу въ влеченіи къ благополучію и къ счастью; *третьи, наконецъ, поставили превыше всего аподиктическое велѣніе дома*; и ни одна изъ этихъ гипотезъ не могла получить всеобщаго признанія. Въ концѣ-концовъ пришлось признать наиболѣе плодотворнымъ приемомъ выведеніе нравственнаго, какъ и прекраснаго, изъ всего комплекса явленій здоровой человѣческой природы». Подлиннаго величія кантовскаго морализма, который сохраняетъ свое значеніе, несмотря на все суженіе и ограниченіе сферъ дѣяности у Канта, Гёте, впрочемъ, никогда не постигъ. Для Канта нравственный долгъ есть

карта, на которую поставлена вся цѣнность жизни; въ этомъ Гёте долженъ былъ ощущать прежде всего чудовищное насиліе надъ всѣми остальными областями жизни. «Всякое долженствованіе деспотично»,—говоритъ онъ; это казалось ему невыносимымъ, такъ какъ для него изъ глубокаго единства бытія вытекала равноправная свобода всѣхъ элементовъ. Но онъ не проникъ въ глубину кантовскаго ученія, въ которомъ это долженствованіе означало величайшую и безусловную свободу личности. Ибо «деспотизмъ» долга, согласно пониманію Канта, не можетъ наложить на насъ ни Богъ, ни государство, ни человекъ, ни обычай: лишь мы сами возлагаемъ его на себя. Вся периферія жизни, по мысли Канта, опредѣляется, по крайней мѣрѣ до извѣстной степени, силами, лежащими внѣ нашего глубочайшаго я, и послѣднее пробивается наружу только въ одной точкѣ—въ нашей нравственной свободѣ, т.-е. въ законѣ, который мы сами предписываемъ себѣ. Эта мысль, правда, стоитъ въ непримиримомъ противорѣчій съ сознаніемъ художника, для котораго все внѣшнее есть мѣсто обнаруженія глубочайшихъ силъ его личности.

Если наша природа едина—потому что такова вообще природа,—то этимъ устраняется практически-этический конфликтъ не только въ насъ, но и внѣ насъ. Природа должна примирять интересы личности съ интересами социальной группы, какъ она примиряетъ чувственность съ разумомъ. Отсюда объясняется, почему Гёте оставался чуждымъ социальнымъ проблемамъ въ собственномъ смыслѣ, даже въ самой общей ихъ постановкѣ. Въдъ сущность этихъ проблемъ состоитъ въ установленіи нарушеннаго равновѣсія между личностью и ея социальной средой. Гёте здѣсь всецѣло стоитъ на почвѣ своего времени, которое отъ индивида, какъ социального существа, требовало лишь проявленія его собственныхъ силъ и преслѣдованія его личныхъ интересовъ. Вполнѣ въ тонѣ ходячаго либерализма онъ возражаетъ сенъ-симонистамъ, что каждый долженъ начинать съ себя и созидать свое личное счастье, изъ чего неминуемо вырастетъ въ концѣ-концовъ и общее счастье. Эта мысль, быть можетъ, имѣла у него эстетическое обоснованіе. Онъ высказываетъ однажды требованіе, чтобы художникъ поступалъ «въ высшей степени эгоистически» и дѣлалъ лишь то, что даетъ ему радость и имѣетъ для него цѣнность. Въ искусствѣ подобный либерализмъ вполнѣ уместенъ; здѣсь дѣйствительно создается максимумъ цѣнности, когда каждый художникъ преслѣдуетъ *свой* индивидуальный идеалъ; объективное цѣнное въ искусствѣ, стоящее по ту сторону противоположности между я и ты, предстаетъ каждому отдѣльному художнику въ формѣ личнаго страстнаго влеченія. Для натуръ, менѣе развитыхъ въ эстетическомъ отношеніи, здѣсь, правда, таится опасность распущенности, культивированія эстетическихъ цѣнностей только ради субъективнаго наслажденія, подъ тѣмъ предлогомъ, что эти цѣнности, въ качествѣ эстетическихъ, сами по себѣ суть нѣчто сверхъиндивидуальное и объективное. Такая тенденція признавать наслажденіе послѣдней рѣшающей инстанціей была совершенно чужда Гёте, когда онъ подчеркивалъ эгоистическій прин-

ципъ. Онъ думалъ лишь о развитіи своей собственной личности—и того же требовалъ отъ другихъ. Конечно, личность имѣетъ свою объективную и свою субъективную сторону; но, съ точки зрѣнія Гёте, временное преобладаніе той или другой есть, такъ сказать, чисто техническій вопросъ. Поэтому художнической эгоизмъ, сознающій себя творцомъ объективных цѣнностей, относится весьма холодно къ задачамъ, которыя вырастаютъ изъ антагонизма между людьми и рѣшеніе которыхъ усматривается въ отказѣ отъ всякаго эгоизма. Гёте интересуютъ не попытки дать определенную форму этому социальному антагонизму или преодолѣть его, а, напротивъ, начало «общечеловѣческаго» въ жизни, какъ непосредственное выраженіе и, такъ сказать, человѣческая форма метафизическаго единства природы; человѣческая природа нуждается собственно не въ исправленіи, а только въ развитіи—подобно тому, какъ теоретическое изученіе должно подходить къ природѣ не съ искусственными экспериментами, искажающими ея образъ, а лишь съ спокойнымъ наблюденіемъ ея свободнаго обнаруженія. «Въ каждой личности,—надѣется Гёте,—сквозь національный и индивидуальный элементъ будетъ все болѣе просвѣчивать общечеловѣческое». Исходя изъ сходнаго настроенія, въ наши дни Ницше, несмотря на свой страстный интересъ къ человѣку и общему развитію человѣчества—или именно въ силу этого интереса—засвидѣтельствовалъ свое абсолютное равнодушіе ко всякимъ социальнымъ вопросамъ. Напротивъ, для социолога или политика *человѣкъ* вообще не есть проблема, а только *люди*. Моральный законъ Канта есть, какъ выразился Шлейермахеръ, «лишь политическій законъ»: онъ даетъ точную и исчерпывающую формулу для человѣка, который какъ бы отъ природы враждебенъ своимъ социальнымъ обязанностямъ и ищетъ поведенія, при которомъ, несмотря на то, возможна совмѣстная жизнь. Вѣдшій и внутренний дуализмъ человѣка остается для Канта, въ практической, какъ и въ теоретической области, на переднемъ планѣ сознанія, и его рѣшеніе отличается своего рода неустойчивостью и считается съ дальнѣйшимъ существованіемъ конфликта. Напротивъ, если Гёте признаетъ своимъ идеаломъ «распространеніе въ мірѣ извѣстнаго нравственнаго *сomasia*, основаннаго на духовной свободѣ», то условіемъ этого является отрицаніе именно того разединенія и разлада между индивидуомъ и группой и между группами, изъ котораго возникаютъ социальныя проблемы. Космополитическій идеалъ Гёте есть проявленіе и отраженіе единства человѣческой природы, существенныя стороны которой гармонично связаны между собой и выражаютъ *единое* метафизическое бытіе, какъ и элементы человѣческаго общества и міра вообще.

Но такъ какъ мораль въ ходячемъ смыслѣ слова опирается на этотъ, принимаемый Кантомъ, разладъ *внутри* человѣка и въ отношеніяхъ *между* людьми, то міросозерцаніе Гёте въ этомъ смыслѣ нельзя назвать моральнымъ; это не значитъ, конечно, что оно антиморально, а значитъ только, что оно стоитъ внѣ этой противоположности. Такъ какъ природа сама по себѣ есть уже мѣстонахожденіе и обнаруженіе идеи, то высшее, что до-

ступно людямъ и что нужно отъ нихъ требовать, сводится къ совершенному и чистому развитію задатковъ, вложенныхъ въ нихъ природою. Конечно, моральный элементъ въ тѣсномъ смыслѣ тоже принадлежитъ къ числу этихъ задатковъ, но именно потому, что онъ есть только *одинъ* изъ задатковъ, ему иногда приходится отступить передъ другимъ, если этимъ достигается болѣе совершенное развитіе природы или идеи личности. Гёте говорить однажды о Блопштогѣ, что онъ былъ, «какъ въ области чувственной, такъ и въ области нравственной, чистымъ юношей». Отличая, такимъ образомъ, чувственную чистоту отъ нравственной, Гёте намѣчаетъ понятіе нравственности, далеко выходящее за предѣлы морали въ узкомъ смыслѣ; онъ намекаетъ здѣсь, что чувственная чистота отнюдь не есть еще чистота нравственная, и можетъ быть даже, что нравственная чистота вовсе не должна быть чувственной. Точно такъ же его представленія объ отношеніяхъ между полами, о дѣяніяхъ Наполеона, объ отношеніи чедовѣка къ своему народу, конечно, далеко не адекватны господствующимъ этическимъ идеаламъ; они всецѣло подчинены болѣе высокому идеалу природы: идеалъ этотъ—такъ можно было бы сказать въ духѣ Гёте—состоитъ въ томъ, что чедовѣкъ долженъ такъ выбирать и развивать свои влеченія и задатки, чтобы получился максимумъ общаго развитія. Такъ какъ бытіе и цѣнность не суть что-либо раздѣльное—«съ блаженствомъ оставайся въ бытіи!»—говоритъ Гёте,—то максимальное повышеніе бытія есть такое же повышеніе цѣнности. Эта сверхморальная мораль получаетъ, какъ мнѣ кажется, свое глубочайшее выраженіе въ слѣдующемъ замѣчательномъ сужденіи: «Что люди установили (именно законы), то рѣдко годится, будь то право или неправо; но что устанавливають боги—будь то право или неправо—то всегда приходится къ мѣсту». Надъ противоположностью права и неправы, возникшей изъ моральнаго критерія, Гёте ставитъ здѣсь болѣе высокое понятіе: понятіе «пригодности», т.-е. способности единичнаго явленія уложиться въ послѣднюю, высшую связь и гармонию бытія. Здѣсь яснѣе всего видно, какъ далеко ушелъ Гёте отъ кантовскаго морализма. Кантъ видитъ въ нравственномъ чедовѣкѣ конечную цѣль міра, единственную, абсолютную цѣнность. Съ его точки зрѣнія, нравственный чедовѣкъ содержитъ въ себѣ какую-то безконечность, такъ какъ онъ есть рѣшеніе въ сущности неразрѣшимаго конфликта. Этого кореннаго раздвоенія не существуетъ для Гёте. Поэтому и мораль не есть у него что-то послѣднее и абсолютное, а лишь одна изъ жизненныхъ проблемъ, соподчиненная другимъ, тогда какъ у Канта она занимаетъ совершенно исключительное мѣсто, ибо одна только способна возносить насъ изъ міра реальной жизни въ міръ трансцендентный. Кантъ и Гёте сходятся въ отрицательной сторонѣ проблемы цѣнности, въ непризнаніи абсолютнаго значенія за ощущеніемъ счастья; но въ то время, какъ Кантъ ухватывается за прямо противоположный критерій, Гёте возвышается надъ всей этой дилеммой и признаетъ глубочайшимъ смысломъ и абсолютнымъ мѣриломъ жизни гармоническое единство бытія, въ которомъ счастье и несчастье, нравствен-

ность и безнравственность суть лишь отдѣльные моменты. Я не колеблюсь признать приведенное сужденіе Гёте однимъ изъ глубочайшихъ и грандіознѣйшихъ истолкованій смысла жизни. Оно даетъ намъ почувать коренную связь, взаимную согласованность всѣхъ вещей, въ которой состоятъ или обнаруживается единство природы, и передъ лицомъ этого единства представляется мелочнымъ антропоморфизмомъ усматривать послѣднюю вершину бытія въ томъ случайномъ его отрѣзкѣ, который мы зовемъ моралью. И здѣсь уместно отмѣтить, что міросозерцаніе Гёте въ конечномъ счетѣ стоитъ не только выше морализма, но и выше эстетизма. Конечно, эстетическій мотивъ по своей силѣ превосходить у него другіе мотивы, стоящіе на томъ же уровнѣ, и имъ можно всюду пользоваться для истолкованія точки зрѣнія Гёте, какъ мы это и дѣлали; всѣ детали указываютъ на этотъ мотивъ, какъ на точку, въ которой онѣ перекрещиваются. Тѣмъ не менѣе подъ нимъ лежитъ еще болѣе глубокое, такъ сказать, болѣе стихійное начало, подлинное существо Гёте, въ отношеніи къ которому эстетическій мотивъ тоже есть лишь эмпирическое проявленіе и обнаруженіе. Если натура Гёте рисуется намъ такъ, что тождество природы и духа, пантеистическое всеединство есть выводъ изъ ея основной эстетической тенденціи, то въ ея послѣдней основѣ эта зависимость могла быть противоположной: глубочайшимъ слоемъ его натуры, тѣмъ первичнымъ и абсолютнымъ началомъ, въ которомъ коренятся всѣ остальные, доступныя обозначенію свойства его существа, могло быть именно чувство стихійной, объемлющей и его собственную личность связи всего бытія. Болѣе, чѣмъ кто-либо другой—не исключая и Спинозы—Гёте ощущалъ всѣмъ своимъ внутреннимъ существомъ то таинственное единство всего сущаго, которое издавна нашупывала философія. Какъ о людяхъ, исполненныхъ религіознаго одушевленія, говорятъ, что въ нихъ живетъ Богъ, такъ, очевидно, въ субъективномъ жизнеощущеніи Гёте жило то, что мы можемъ лишь обозначить—для того, чтобы вообще имѣть какое-нибудь названіе,—какъ метафизическое единство вещей; болѣе того: оно не только жило въ немъ, оно и составляло его существо, онъ самъ былъ этимъ единствомъ. Передъ лицомъ этой его сущности, которая лишь *отражается* въ его самосознаніи, все его художественное созерцаніе и творчество представляется лишь отношеніемъ, въ которое такая натура вступаетъ къ особому направленію своихъ дарованій, къ своей культурно и исторически обусловленной средѣ, къ внѣшнимъ условіямъ своей дѣятельности. Эстетизмъ есть *выраженіе* подлиннаго существа Гёте, но не *само* его существо. Въ качествѣ существа вообще, такъ сказать, въ качествѣ *субстанции*, вступающей въ міръ съ его формами и процессами, Гёте стоитъ по ту сторону эстетическаго начала, которое возникло лишь изъ отношенія этой субстанции къ внѣшней средѣ и опредѣлило ея эмпирическій образъ. Эта послѣдняя основа жизни, на которую въ концѣ-концовъ можно только указать изъ непреодолимой дали, но которой никогда нельзя овладѣть съ логической ясностью, проскальзываетъ въ замѣчательныхъ словахъ, высказанныхъ Гёте въ бесѣдѣ

съ Эккерманомъ. Рѣчь зашла о дѣятельности Гёте, какъ директора театра, и объ ущербѣ, который эта дѣятельность въ теченіе многихъ лѣтъ наносила художественному творчеству Гёте; Гёте замѣтилъ, что въ сущности не жалѣеть объ этой потерѣ. «Все, что я творилъ и дѣлалъ, всегда казалось мнѣ лишь символомъ, и въ сущности мнѣ было безразлично, дѣлалъ ли я горшки или миски». Итакъ, ему самому кажется, что вся его художественная дѣятельность есть лишь выраженіе или отпечатокъ болѣе глубокой реальности, а не сама эта реальность, которая одна только подлинно живетъ и дѣйствуетъ въ немъ. Отсюда мы еще глубже понимаемъ его постоянное стремленіе къ практическому дѣлу, его ощущеніе и отбѣнка себя самого, какъ дѣятельнаго существа. Ибо дѣятельность есть форма, въ которой проникаетъ въ видимый міръ эта абсолютная первооснова личнаго бытія, поэтому въ ней содержится въ наиболѣе универсальномъ смыслѣ единство субъективнаго и объективнаго, которые въ теоріи выступаютъ раздѣльно и во взаимномъ антагонизмѣ.

Итакъ, согласно всему сказанному, задача человѣка сводится для Гёте къ развитію его силъ, къ использованію безъ остатка всѣхъ способностей, для того, чтобъ природа какъ бы проявила сполна свой смыслъ въ каждомъ человѣкѣ. Но достаточно бросить взоръ на эмпирическую жизнь, чтобы убѣдиться, что почти ни у кого нѣтъ надлежащихъ условій для такого совершеннаго развитія. И дѣйствительно, одна изъ самыхъ ужасныхъ человѣческихъ трагедій состоитъ въ томъ, что человѣческія силы не могутъ проявить себя и развернуться въ человѣческихъ условіяхъ. То, что живетъ въ насъ, какъ дарованіе, какъ потенциальная сила,—не говоря уже о склонностяхъ,—можетъ выразиться сполна лишь при самомъ необыкновенномъ стеченіи благоприятныхъ возможностей; здѣсь очевидно, чѣмъ гдѣ-либо, отсутствуетъ предустановленная гармонія или исправляющее дисгармонію приспособленіе. И здѣсь дѣло идетъ не только о той радости, которую доставляетъ намъ завершенный трудъ, но и о томъ безусловно необходимомъ удовлетвореніи, которое содержится въ разряженіи напряженныхъ силъ, въ функціи, дающей сполна проявиться нашимъ способностямъ. Гдѣ это несоотвѣтствіе доходитъ ясно до сознанія, тамъ человѣкъ долженъ погибнуть. Это выражено въ Фаустѣ; если бы онъ остался въ своихъ прежнихъ эмпирическихъ условіяхъ, то онъ сгорѣлъ бы отъ внутренняго огня, непроявленные силы убили бы его. Союзъ съ Мефистофелемъ, осуществленіе жизненнаго дѣла Фауста съ помощью демонической силы есть лишь образная сторона той же мысли: нужно призвать на помощь сверхъэмпирическія условія, чтобы стало возможнымъ развитіе личныхъ силъ. Изъ требованія, чтобы это противорѣчіе не осталось непоправимымъ, вытекло извѣстное замѣчаніе Гёте о безсмертіи, высказанное Эккерману: «Если я до конца жизни неустанно дѣйствую, то природа обязана предоставить мнѣ новую форму бытія, когда нынѣшняя форма уже не въ силахъ выдержать моего духа». И позднѣйшее замѣчаніе подчеркиваетъ еще разъ особый смыслъ и основаніе этого безсмертія:

хотя мы всё бессмертны, но не всё «на одинъ ладъ»; напротивъ, каждый изъ насъ бессмертенъ въ мѣру той силы, которая образуетъ нашу жизненную ставку и которую мы должны изжить.

Весьма замѣчательно, что и въ этомъ пунктѣ аргументы Канта обнаруживаютъ внѣшнее сходство съ соображеніями Гёте, при полномъ расхожденіи ихъ основныхъ настроеній. Кантъ установилъ, что мы, въ качествѣ конечныхъ и естественныхъ существъ, находимъ въ себѣ стремленіе къ счастью, какъ неустранимый и неизбѣжный фактъ, и точно также, будучи существами моральными, находимъ въ себѣ требованіе нравственнаго закона. Надъ этими двумя фактами возвышается потребность въ гармоніи между ними; мировой порядокъ былъ бы однимъ великимъ диссонансомъ, если бы мѣра пережитаго счастья не соответствовала мѣрѣ нравственнаго совершенства. Но фактически эта пропорциональность въ земной жизни не дана; опытъ не обнаруживаетъ никакого справедливаго и гармоничнаго отношенія между нравственностью и счастьемъ. Но такъ какъ на этомъ невыносимомъ состояніи нельзя остановиться и его нельзя приписать, какъ послѣдній итогъ, мировому порядку, то Кантъ постулируетъ безсмертіе души: лишь въ иномъ мірѣ и черезъ всемогущество Бога душа можетъ найти свое завершеніе въ гармоніи между своимъ нравственнымъ и своимъ эвдемонистическимъ бытіемъ. Такимъ образомъ, въ основѣ ученій Канта и Гёте о безсмертіи лежитъ, такъ сказать, одна и та же схема. Оба находятъ въ реальномъ содержаніи человѣческой души извѣстныя требованія, осуществленіе которыхъ невозможно въ эмпирическихъ условіяхъ; и такъ какъ они не могутъ остаться при этомъ противорѣчии, то они требуютъ, чтобы порядокъ вещей исполнилъ, по крайней мѣрѣ въ иномъ мірѣ, то обязательство, которое лежитъ на немъ въ силу созданной имъ организаціи нашего существа. Но тотчасъ же обнаруживается глубокое различіе ихъ мировоззрѣній: Гёте считаетъ величайшей бессмыслицей, чтобы природа даровала намъ силы, развитіе которыхъ невозможно (для него дѣйствительность въ такой мѣрѣ объективно совпадаетъ съ духомъ, что, по его мнѣнію, все ложное всегда бываетъ бездушно); Кантъ считаетъ величайшей безнравственностью, чтобы природа не воздавала нравственности ея эквивалента. Кантъ требуетъ безсмертія потому, что эмпирическое развитіе человѣка не отвѣчаетъ идеѣ, Гёте—потому, что оно не отвѣчаетъ дѣйствительно наличнымъ силамъ. Кантъ хочетъ, чтобы нравственность и счастье, эти раздѣльные, сами по себѣ, элементы, все же слились въ единствѣ, Гёте хочетъ, чтобы весь цѣлостный человѣкъ сталъ реально тѣмъ, что онъ уже есть въ возможности. Мы видимъ и здѣсь, что Кантъ чрезвычайно раздвигаетъ элементы человѣческой природы, такъ что они могутъ вновь встрѣтиться лишь въ далекихъ и совсѣмъ иныхъ измѣреніяхъ и сферахъ; напротивъ, для Гёте это единство присутствуетъ въ непосредственно данной намъ реальности, такъ что даже въ вопросѣ о безсмертіи рѣчь идетъ только о послѣдовательномъ развитіи уже наличнаго направленія. Переходъ души изъ земнаго состоянія въ

трансцендентное есть для Канта самое радикальное изменение, какое только онъ можетъ себѣ представить; для Гёте оно есть слѣдованіе по прежнему пути, простое высвобожденіе наличной энергіи. Этотъ аванпостъ обоихъ міросозерцаній также отражаетъ и ритмъ кантовской природы, которая раздѣляетъ всё начала и цѣнности бытія, чтобы примирить ихъ по ту сторону дѣйствительности, и ритмъ гётевской природы, для которой бытіе и его цѣнность есть нѣчно исконно-единое. Здѣсь, какъ и всюду, схема ихъ разногласія состоитъ въ томъ, что Кантъ прослѣживаетъ развитіе аналитическаго состоянія, Гёте—развитіе синтетическаго состоянія. Гёте стоитъ, со всей интенсивностью и глубиной своего сознанія, на почвѣ недифференцированной цѣлостности, которая была исходной точкой всѣхъ духовныхъ движеній. Кантъ подчеркиваетъ двойственность, на которую разложилось это единство. Въ противоположность, такъ сказать, райскому состоянію гётевскаго духа—хотя это есть лишь «возвращенный рай»,—у Канта состояніе «*scientes bonum et malum*» достигло крайней остроты; единство, которое онъ находитъ, носить слѣды раздвоенія, швы еще не совсѣмъ срастлись.

Но именно это овладѣніе на лету послѣдней цѣлью міросозерцанія и міроощущенія перенесло Гёте черезъ многіе этапы, которыхъ не можетъ миновать медленный историческій прогрессъ; и на зигзагообразномъ пути духовнаго развитія могутъ встрѣчаться переходы, которые прямо противоположны направленію гётевскаго пути, даже если признать, что послѣдняя объективная правда—на его сторонѣ. Такъ именно обстоитъ дѣло въ наукѣ нашего вѣка. Ибо эта наука дѣйствительно хочетъ—или, по крайней мѣрѣ, хотѣла—выпытать тайны природы рычагами и винтами; она дѣйствительно хочетъ сдѣлать теоретическую истину совершенно независимой отъ того, разрушаетъ ли она красоту явленія, или нѣтъ; она дѣйствительно хочетъ исходить не изъ идеи цѣлаго, а изъ атомизированныхъ элементовъ; она дѣйствительно признаетъ бездушный механизмъ слѣпыхъ силъ и матеріальныхъ частицъ единственнымъ принципомъ при построеніи картины природы; для нея весь смыслъ, все сверхмеханическое значеніе природы лежитъ *позади* явленія, въ интеллигибельномъ мірѣ, и никогда не проникаетъ изъ него въ видимый, данный въ опытѣ мірѣ; ни въ теоретической, ни въ этической области она не чувствуетъ вѣры въ непосредственную гармонію между природой и нашими идеалами. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ Кантъ есть одинъ изъ основателей и сотрудниковъ современнаго научнаго духа. Кантъ, съ одной стороны, во всякомъ знаніи видѣлъ лишь столько истинной науки, сколько въ немъ есть математики, а съ другой стороны, ограничилъ значеніе математики лишь областью формы человѣческаго созерцанія и отрицалъ ея значеніе въ примѣненіи къ тому, что не дано намъ непосредственно, какъ явленіе. Онъ призналъ цѣль и духъ въ природѣ простымъ «субъективнымъ правиломъ» ея оцѣнки, не затрагивающимъ ея подлиннаго существа. Онъ съ безпощадной остротой вскрылъ разладъ между глубочайшими потребностями нашего суще-

ства, и на жажду ихъ гармоніи отвѣтила милостыней *тыры* въ трансцендентное. Мы не можемъ скрывать отъ себя, что объективная расцѣпка этихъ двухъ міросозерцаній еще не найдена, хотя она одна могла бы дать намъ все, что намъ нужно отъ нашего духовнаго отношенія къ міру. Ибо эти міросозерцанія стоятъ другъ къ другу не въ такомъ отношеніи, что одно изъ нихъ подводитъ насъ къ истинѣ, другое же показываетъ цѣнность міровой картины; напротивъ, какъ могла бы истина вступать, въ качествѣ стороны, въ эту тяжбу и привлекать къ себѣ нашъ интересъ, если бы она сама не была *цѣнностью*? Въ конечномъ счетѣ, слѣдовательно, споръ идетъ между двумя родами оцѣнки. Но, быть можетъ, вопросъ вообще ложно поставленъ, если онъ ищетъ устойчиваго равновѣсія между обоими міроощущеніями; быть можетъ, истинный ритмъ и формула современной жизни сводится къ тому, чтобы пограничная черта между механистическимъ и идеалистическимъ пониманіемъ міра оставалась въ подвижномъ состояніи; быть можетъ, постоянное перемѣшеніе этихъ міросозерцаній, измѣненіе ихъ притязаній по отношенію къ отдѣльнымъ явленіямъ, развитіе въ безконечность взаимодѣйствія между ними даруетъ жизни тотъ смыслъ, котораго мы ждали отъ невозможнаго окончательнаго разрѣшенія ихъ спора. Правда, остановиться на этомъ значитъ признать себя эпигономъ. Но это значитъ также использовать до конца то преимущество, которое природа вещей предоставляетъ эпигонамъ: ибо если имъ недоступно величіе односторонности, то они могутъ за то избѣгнуть *односторонности* всего великаго.

Перев. съ нѣм. С. Франкъ.

Вопросы переселенія.

I. Переселеніе и колонизація.

(Рѣчь на диспутѣ.)

Мм. гг. Работа, которую я имѣю честь защищать въ этомъ собраніи, была задумана не какъ ученый трудъ, и авторъ ея былъ безконечно далеко отъ мысли видѣть въ ней академическую диссертацию. Я писалъ не для ученаго ареонага, а для широкой публики; писалъ не какъ историкъ, а «какъ свидѣтель, показаніями котораго воспользуется будущій историкъ»^{*)}). Подготовительная, черная работа, изъ которой, въ концѣ-концовъ, выросла моя книга, дѣлалась не въ тиши кабинета и не въ лабораторіи; она дѣлалась въ сибирской тайгѣ и въ туркестанской пустынѣ, въ киргизской юртѣ и въ землянкѣ переселенца.

Отсюда, прежде всего—по крайней мѣрѣ до извѣстной степени—тѣ превосходно сознаваемые мною недостатки моей книги, съ точки зрѣнія того, что можно назвать ученою техникой, которые, вѣроятно, будутъ отмѣчены моими уважаемыми оппонентами и которые я отмѣтилъ бы самъ, если бы былъ своимъ собственнымъ официальнымъ оппонентомъ. Литература у меня использована не съ совершенною полнотою; далеко не полностью использованъ и имѣющійся статистическій матеріалъ. Нѣкоторыя изъ моихъ положеній и выводовъ, можетъ быть, недостаточно подкрѣплены ссылками на объективные факты,—они основываются, въ значительной мѣрѣ, на накопившихся впечатлѣніяхъ, на внутреннемъ опытѣ, вынесенномъ изъ почти двадцатилѣтнихъ наблюденій и десятилѣтней практической дѣятельности.

Отсюда, дажѣ, тотъ общій тусклый тонъ, который окрашиваетъ мою книгу—та печать скептицизма и разочарованія, которая на ней лежитъ: жизнь разсѣяла слишкомъ много изъ тѣхъ иллюзій, съ которыми я приступалъ, двадцать лѣтъ тому назадъ, къ своей работѣ.

Я вступалъ въ жизнь и входилъ въ свою работу съ глубокою и прямолинейною вѣрой въ спасающую силу *земли*: дайте крестьянину земли—ду-

^{*)} Всѣ двоговоренныя цитаты—изъ моей книги „Переселеніе и колонизація“.

малъ я—какъ можно больше земли, и все прочее приложится само собой. Но я увидѣлъ, что необъятный сибирскій просторъ не мѣшаетъ развитію многочисленнаго сельскаго пролетаріата, развитію массовыхъ отхожихъ заработковъ и массоваго нищенства; что голодовки въ просторныхъ степяхъ западной Сибири и киргизскаго края столь же часты, какъ въ любой изъ мѣстностей нашего малоземельнаго центра. На огромномъ просторѣ мнѣ пришлось констатировать всѣ признаки земельной тѣсноты.

Входя въ свою работу, я глубоко вѣрилъ въ колонизаціонные таланты русскаго мужика: дайте только мужику земли—и онъ сумѣетъ побѣдить негостепримную пустыню и дикую тайгу; онъ лучше всякаго агронома разберется въ томъ, что ему годно и что—нѣтъ. Увы—все то, что я теперь знаю и что я отчасти выразилъ въ своей книгѣ, говорить скорѣе о колонизаціонномъ безсиліи, нежели о колонизаціонныхъ талантахъ: «малодѣятельный и трудно-доступный для новизны, переселенецъ и въ Сибири ищетъ тѣхъ условій, къ которымъ онъ привыкъ на родинѣ; если онъ ихъ не находитъ, у него нехватаетъ знанія, рѣшимости, выдержки, наконецъ и матеріальныхъ средствъ, чтобы преодолѣть встрѣченныя затрудненія; онъ очень скоро теряетъ терпѣніе и покидаетъ только что полученную землю, къ которой его ничто не привязываетъ, на которой ему нечего терять». Это—слова наблюдательнаго иностранца (Виденфельда), подъ которыми я—увы!—долженъ всецѣло подписаться.

Входя въ свою работу, я вѣрилъ, что переселеніе—продуктъ малоземелья: сжатый въ тиски условіями своего землеустройства, крестьянинъ жадно стремится на просторъ; дайте ему только этотъ просторъ,—и переселеніе станетъ однимъ изъ важнѣйшихъ и благотѣльнѣйшихъ элементовъ аграрной политики, сообразованной съ интересами народа.

Но дѣйствительность не дала себя втиснуть въ рамки простого построенія. Переселяются отнюдь не одни только тѣ, кого можно, въ самомъ дѣлѣ, назвать малоземельными: не одни дарственники, не одни, вообще, обдѣленные землею бывшіе господскіе крестьяне; массами переселяются и хорошо надѣленные бывшіе государственные крестьяне: ихъ больше среди переселенцевъ, чѣмъ помѣщичьихъ крестьянъ. Тысячами и десятками тысячъ переселяются и изъ сибирскихъ губерній, гдѣ, казалось бы, о «малоземельѣ» не можетъ быть и рѣчи. Въ рядѣ мѣстностей, откуда прежде шло очень сильное переселеніе, оно прекратилось или сократилось до послѣдней степени: тѣснота стала больше, благодаря приросту населенія, а переселеніе стало меньше. И вотъ, я не нашелъ иного способа объяснить всѣ эти кажущіяся несообразности, какъ развить мелькавшую у нѣкоторыхъ болѣе раннихъ изслѣдователей (В. Н. Григорьева, Н. Н. Романова, И. А. Гурвича) идею *относительнаго малоземелья*, какъ основной причины переселенія; *относительнаго малоземелья*, т. е. внѣшняго, субъективно-ощущаемаго *проявленія кризиса существующей системы крестьянскаго земледѣлія*: «переселеніе растетъ именно тамъ, гдѣ крестьянство переживаетъ критическій моментъ замѣны залежнаго и безнавознаго

парового хозяйства навознымъ трехпольемъ,—и оно останавливается по минованіи этого кризиса». Конечно, самый кризисъ «есть результатъ перенаселенія и недостатка въ землѣ,—но перенаселенія *не абсолютнаго, а относительнаго*, и *относительнаго* же, а *не абсолютнаго* малоземелья; и дальнѣйшее сокращеніе земельного пространства, заставляя населеніе найти выходъ изъ кризиса, тѣмъ самымъ способствуетъ прекращенію переселенія». Вотъ почему переселяются государственные и не переселяются господскіе крестьяне; вотъ почему ушли тысячи и десятки тысячъ изъ многоземельной южной части Тобольской губерніи, и нѣтъ переселенія съ малоземельнаго ея сѣвера: при старомъ, изжившемъ себя типѣ хозяйства не хватаетъ и большого количества земли; отсюда—«утѣсненіе», отсюда переселеніе.

Но это, въ свою очередь, бросаетъ совершенно новый свѣтъ на вопросъ о *возможныхъ послѣдствіяхъ* переселенія. Очень опредѣленные намеки на ту точку зрѣнія, которую я высказываю и мотивирую въ своей книгѣ, можно найти у одного изъ старѣйшихъ земскихъ статистиковъ—Н. Н. Романова, въ его работѣ о переселеніяхъ крестьянъ Вятской губерніи: «такъ какъ не въ малоземельѣ заключаются основныя причины переселенія крестьянъ, то не въ увеличеніи землевладѣнія нужно видѣть дѣйствительное улучшеніе ихъ быта,—выселенія только увеличиваютъ крестьянскіе надѣлы, но не измѣняютъ ихъ состава, и *потому отъ нихъ нѣтъ никакихъ выгодныхъ послѣдствій*». Я иду еще нѣсколько дальше: я думаю, что въ типичномъ случаѣ *относительнаго* малоземелья переселеніе скорѣе вредно, чѣмъ полезно. Вѣдь радикальное средство противъ относительнаго малоземелья—*только* въ улучшеніи крестьянскаго хозяйства, въ переходѣ отъ изжившихъ себя старыхъ хозяйственныхъ порядковъ къ новымъ, болѣе соответствующимъ современнымъ условіямъ населенности и рынка; но «для улучшенія хозяйства недостаточно знаній и матеріальныхъ средствъ,—необходимо еще и давленіе *фактора нужды*, малоземелья, безъ котораго ни знанія, ни матеріальныя средства не будутъ направлены въ сторону качественного улучшенія крестьянскаго хозяйства». Переселеніе, разрѣжая населеніе, затягиваетъ возможность вести хозяйство издавна принятыми, теперь устарѣвшими способами; отсрочиваетъ наступленіе неизбежной необходимости преодолѣть вѣками выработанный хозяйственный консерватизмъ и направить всю свою энергію не на исканіе новыхъ мѣстъ и вольныхъ земель, а на коренное улучшеніе крестьянскаго хозяйства.

Такая точка зрѣнія—я не могу этого отъ себя скрывать—не можетъ рассчитывать на всеобщее признаніе: она слишкомъ рѣзко расходится съ общепринятыми представленіями о благотѣльномъ вліяніи многоземелья въ то же время—это какъ разъ тотъ пунктъ въ моемъ построеніи, гдѣ особенно сильную роль играетъ внутреннее убѣжденіе, котораго я не имѣю достаточной возможности обосновать на цитатахъ и цифрахъ.

Но оставимъ ее въ сторонѣ и спросимъ себя: *при какихъ условіяхъ* переселеніе могло бы оказать *существенное* воздѣйствіе на условія кре-

стьянского хозяйства?... Очевидно, здѣсь все зависитъ отъ *размѣровъ* переселенія. До самаго послѣдняго времени переселеніе въ Сибирь никогда не достигало двухсотъ тысячъ въ годъ. Въ 1907 году оно впервые достигло четырехсотъ съ лишнимъ тысячъ душъ. Даже 400 тысячъ—это менѣе четверти годичнаго прироста населенія. Но что можетъ дать удаленіе четверти, трети, даже половины годичнаго прироста? Ничего. Я, конечно, не говорю объ *отдѣльных мѣстностяхъ*—селеніяхъ, волостяхъ, даже уѣздахъ—въ *отдѣльных мѣстностяхъ* вызванное переселеніемъ разрѣженіе населенія можетъ оказать замѣтное вліяніе на условія арандованія, на заработную плату, можетъ возстановить исчезнувшій было просторъ, на примѣръ, для залежнаго хозяйства. Но *въ общей массѣ* такое выселеніе не можетъ имѣть существеннаго значенія. Вѣдь въ чемъ суть нашего аграрнаго кризиса, поскольку онъ разыгрывается «на землѣ»? Въ томъ, что трехполье въ однѣхъ мѣстностяхъ, залежное хозяйство въ другихъ не можетъ уже болѣе прокормить переросшаго емкость территоріи населенія: залежное хозяйство не можетъ прокормить, потому что земля не получаетъ отдыха; трехполье—потому что земля не удобряется или удобряется слишкомъ слабо; а не отдыхаетъ земля и не удобряется, потому что сгущеніе населенія заставило распахать все, что только возможно было распахать. Можетъ ли выселеніе трети или половины годичнаго прироста возратить нужный отдыхъ выпаханной землѣ? Можетъ ли оно возратить трехпольному хозяйству необходимые ему покосы? Конечно, нѣтъ. Возстановленіе правильнаго отношенія посѣва къ залежи, пашни къ сѣнокосу, было бы возможно лишь при настоящемъ «великомъ переселеніи народовъ»—при такомъ огромномъ выселеніи, которое сразу разрѣдило бы населеніе вдвое или втрое; «благосостояніе, которое принято считать спутникомъ многоземелья и экстенсивнаго хозяйства, въ дѣйствительности наблюдается лишь при томъ безграничномъ просторѣ, который, въ настоящее время, даже въ Сибири отошелъ въ область преданій». Для этого должны были бы выселиться даже не милліоны, а десятки милліоновъ. Пока этого нѣтъ, переселеніе—только жалкій палліативъ, способный развѣ лишь на нѣкоторое время поддержать крестьянское благосостояніе на томъ уровнѣ, котораго симптомы: поразительно низкая урожайность, сокращеніе скотоводства, хроническое недоѣданіе и періодическія—теперь, увы, уже тоже почти хроническія!—голодовки.

Вопросъ о практическомъ значеніи переселенія сводится, такимъ образомъ, къ вопросу о его возможныхъ размѣрахъ. Когда я писалъ мою книгу, максимумъ переселенія въ Сибирь не достигалъ 200 тысячъ; переселеніе шло на убыль, и я высказывалъ увѣренность, что 200 тысячъ былъ кульминаціонный пунктъ. Въ 1907 году переселилось, включая ходоковъ, свыше полумилліона. Всѣ основанія думать, что это—результатъ новѣйшей, ошибочной политики пропаганды переселенія; что за внезапнымъ, рѣзкимъ приливомъ послѣдуетъ не менѣе рѣзкій отливъ; что за усиленнымъ переселеніемъ послѣдуютъ неисчислимыя бѣды и затрудненія. Но

пусть я въ данномъ случаѣ ошибаюсь, я былъ бы счастливъ, если бы меня опровергла жизнь. Важно то, что полмилліона—это непреодолимый максимумъ, даже въ глазахъ нынѣшнихъ руководителей переселенческой политики. А разъ это такъ, переселеніе никогда не перестанетъ быть тѣмъ жалкимъ палліативомъ, какимъ оно было до настоящаго времени.

Поэтому, на тему о пресловутой «емкости» Сибири только нѣсколько словъ. Я не берусь *вычислить* эту емкость; я настаиваю на томъ, что этого *и нельзя* сдѣлать: колонизаціонная емкость страны—это производная не только отъ площади земель, но и отъ ихъ качества, отъ ихъ соответствія хозяйственнымъ привычкамъ и хозяйственнымъ способностямъ переселенцевъ; производная какъ отъ всей совокупности культурныхъ и экономическихъ условій районовъ водворенія, такъ и отъ всей совокупности свойствъ тѣхъ элементовъ, которые питаютъ переселенческое движеніе; колонизаціонная емкость будетъ одна для американскихъ пионеровъ, другая для насъ; одна для вятичей или раскольниковъ—«*семейскихъ*», другая для *современнаго, массоваго, черноземнаго* переселенца. *Вычислить* емкость нельзя, и вычисленія этого рода—лишенное смысла арифметическое упражненіе. Можно только намѣтить тѣ основныя условія, которыя ставятъ извѣстные предѣлы колонизаціонной емкости нашего Зауралья. И вотъ, трагизмъ нашего переселенческаго вопроса въ томъ, что современный, массовый, черноземный переселенецъ требуетъ *черноземныхъ, степныхъ* земель, а между тѣмъ запасы *такихъ* земель на исходѣ: въ Сибири—неширокая, сплошь заселенная полоса, упирающаяся въ необъятную тайгу; въ киргизскомъ краѣ—небольшіе оазисы, теряющіеся на фонѣ миллионныхъ квадратныхъ верстъ и сотенъ миллионныхъ десятинъ безводныхъ, а потому и бесплодныхъ пустынь. По части степныхъ земель наша колонизація добываетъ послѣднія крохи. Необъятная сибирская тайга, гостепріимная—я *всегда* подчеркивалъ и теперь подчеркиваю это—для сибирскаго старожила или для переселенца-пионера, не годится для современного, массоваго, черноземнаго переселенца. *Такой* переселенецъ не идетъ въ тайгу, и если случайно заберется въ таежныя дебри, бѣжить. И не напрасно избѣгаетъ тайги подавляющая масса переселенцевъ: по новѣйшимъ даннымъ, дворы безъ запашки составляютъ въ степныхъ районахъ 2,7%, въ лѣсныхъ 10,6%; средній размѣръ запашки въ степяхъ 7, въ тайгѣ 2,6 дес.; «ищущихъ новыхъ мѣстъ» зарегистрировано въ степныхъ мѣстностяхъ 7,7% въ подтаежныхъ 17,7%, въ тайгѣ 30,4%: «уйти изъ тайги—говоритъ официальный источникъ—стремятся переселенцы изъ южныхъ губерній, попавшіе на мѣста только по недостатку участковъ на югѣ и въ степи». Но *переселенцы изъ южныхъ губерній*—это и есть современный, типичный, массовый переселенецъ; а недостатокъ участковъ на югѣ и въ степи—это фактъ, отъ котораго нельзя отговориться и отдѣлаться никакими изворотами.

И еще трагизмъ нашего переселенческаго вопроса. Если бы свободныхъ земель наилучшаго качества было сколько угодно, всетаки переселеніе не

можетъ расти дальше извѣстныхъ, очень узкихъ предѣловъ. Важна не только земли—важны экономическія условія устройства переселенцевъ на новыхъ мѣстахъ. «Цѣны разныхъ предметовъ обихода, а съ другой стороны—цѣны на работу у старожиловъ, которыя при наплывѣ переселенцевъ, конечно, падаютъ, входятъ въ составъ понятія о колонизаціонной ёмкости страны» (Беркенгеймъ). Или говоря общѣе: переселеніе въ каждый данный колонизаціонный районъ—будетъ ли это уѣздъ, губернія или вся Сибирь—должно быть сообразовано съ широтой того колонизаціоннаго базиса, на который должна опираться дальнѣйшая колонизація. Одно дѣло—иммиграція въ Соединенные Штаты, опирающаяся на цвѣтущее сельское хозяйство и быстро растущую обрабатывающую промышленность; одно дѣло—сибирское переселеніе до начала 90-хъ годовъ, когда немногочисленные переселенцы вкрапливались среди зажиточнаго старожиловскаго населенія. И другое дѣло—теперешнее, массовое, сибирское переселеніе, направляющееся въ совершенно пустынные или, во всякомъ случаѣ, лишенные достаточно крѣпкаго колонизаціоннаго ядра районы. Уже въ срединѣ 90-хъ годовъ приходилось констатировать исчезновеніе заработковъ, страшное вздорожаніе предметовъ обихода, и чѣмъ далѣе, тѣмъ больше всѣ условія измѣняются и будутъ измѣняться въ неблагопріятную для колонизаціи сторону.

Но сказанное только что приводитъ насъ къ вопросу о *материальныхъ средствахъ*, въ связи съ этимъ—о подборѣ переселенцевъ и о государственной ихъ поддержкѣ. Если все становится дороже, если заработковъ меньше, значитъ надо, чтобы шли болѣе состоятельные, болѣе сильные элементы; а если идутъ несостоятельные, надо, чтобы имъ помогало государство изъ народныхъ средствъ. Государственная помощь—она, конечно, неизбѣжна, разъ фактически переселяется, по преимуществу, бѣдность; но надо при этомъ твердо помнить, что государственная помощь, въ нашихъ условіяхъ, неизбѣжно превращается въ «способіе»; а расчеты на «способіе» до послѣдней степени ослабляютъ ту самостоятельность и ту энергію переселенцевъ, которыя являются однимъ изъ необходимѣйшихъ условій успѣха всякой колонизаціи. Надо, значитъ, чтобы переселялись болѣе состоятельные и сильные элементы. Но болѣе состоятельные и сильные элементы *не идутъ* на новыя мѣста; и они правы, что не идутъ, ибо идти имъ нѣтъ расчета. Это хорошо извѣстно самимъ крестьянамъ; это неопровержимо доказывается и статистическими данными—сопоставленіемъ цифръ, характеризующихъ благосостояніе разныхъ группъ переселенцевъ на родинѣ и благосостояніе, достигнутое ими на новыхъ мѣстахъ. Приведу здѣсь только нѣсколько цифръ, которыхъ я, по случайнымъ обстоятельствамъ, не могъ использовать въ своей книгѣ, именно, цифры, извлеченныя изъ таблицъ произведеннаго экспедиціею Ф. А. Шербины подворнаго обследованія переселенческихъ поселковъ степного края. Если сначала взять дворы, бывшіе на родинѣ безземельными или имѣвшіе земли не свыше 5 десятинъ, то оказывается, что на родинѣ переселенцы каждой

изъ этихъ двухъ группъ имѣли, въ среднемъ, по 4,5 и по 4,8 дес. пашни (включая парь),—на новыхъ мѣстахъ они показали посѣвной площади 8,8 8,4 десятины; безлошадные и однолошадные въ этихъ группахъ составляли на родинѣ 41 и 49%, на новыхъ мѣстахъ всего 21 и 30%. Естественный выводъ, что переселенцы этихъ двухъ группъ, въ общемъ, выиграли отъ переселенія, хотя этотъ выводъ въ виду различій въ «вѣсѣ» цифръ тоже долженъ быть принимаемъ съ извѣстною осторожностью. Совсѣмъ другое двѣ высшія группы: имѣвшіе 11—15 и свыше 15 дес. земли: первая изъ этихъ высшихъ группъ на родинѣ имѣла въ среднемъ по 20 дес. пашни, на новомъ мѣстѣ имѣеть всего 15 дес. посѣва; вторая вмѣсто 30 дес. пашни имѣеть уже всего только 18 дес. посѣва; безлошадные и однолошадные въ первой группѣ составляютъ вмѣсто 9—21%, во второй вмѣсто 4,6—цѣлыхъ 16%. Въ среднемъ, значить, болѣе состоятельные переселенцы теряютъ очень много и подвергаются притомъ громадному риску попасть въ положеніе болѣе или менѣе полныхъ пролетаріевъ. Естественно при такихъ условіяхъ, что болѣе состоятельные неохотно идутъ на переселеніе: оно слишкомъ рискованно для нихъ и въ среднемъ даетъ имъ не выигрышъ, а чистый убытокъ.

Но еще важнѣе для насъ другая сторона дѣла: вѣдь рѣшающее значеніе имѣеть, значить, не состоятельность переселенцевъ: если они имѣютъ средства; если, тѣмъ болѣе, эти средства имъ откуда-нибудь даны,—этимъ далеко еще не разрѣшается вопросъ о результатахъ переселенія. Успѣхъ или неуспѣхъ послѣдняго зависитъ отъ неуловимой, не поддающейся учету совокупности условій, среди которыхъ особенно видную роль играютъ личные качества, индивидуальный характеръ переселенца. И, къ сожалѣнію, здѣсь опять приходится констатировать несомнѣнное ухудшеніе: рѣзкое пониженіе средняго типа переселенца. Еще недавно правительство не помогало переселенію, а всячески его задерживало; передвиженіе въ Сибирь требовало долгихъ недѣль и мѣсяцевъ, было связано съ громадными опасностями для здоровья и самой жизни; отпугивала самая репутація Сибири, этой страны каторги и ссылки. Естественно, что на переселеніе рѣшались только наиболѣе сильные, предприимчивые элементы. Типъ тогдашняго переселенца—это переселенецъ-піонеръ, надѣявшійся только на Бога и на самого себя. Теперь совсѣмъ другое: трудности переселенія во много разъ меньше; Сибирь изъ страны ссылки стала въ представленіи народныхъ массъ обѣтованною землею; правительство не задерживаетъ переселенія, а помогаетъ переселенцамъ, въ послѣднее время пропагандируетъ переселеніе. Въ результатъ «пришли въ движеніе даже наименѣе состоятельные и наименѣе рѣшительные, раньше никогда не помышлявшіе о переселеніи» (Новомбергскій). Вмѣсто переселенца-піонера двинулась сѣрая переселенческая масса; вмѣсто переселенца, полагавашаго всѣ свои расчеты на Бога и на самого себя, пошелъ переселенецъ, который всего ждетъ отъ милости начальства.

Это—что касается фактора *воли*, энергіи. Нечего уже говорить о не

менѣе важномъ факторѣ *знанія* и *умнiя*. Вѣдь крестьянинъ, въ типичномъ случаѣ относительнаго малоземелья, переселится *именно потому*, что онъ не можетъ и не умѣетъ подвергнуть своего традиціоннаго хозяйства той радикальной ломкѣ, какой требуютъ современныя условія населенности и рынка. Но тѣмъ труднѣе ему приспособиться къ совершенно чуждымъ ему условіямъ сибирской тайги или киргизскихъ степей, гдѣ онъ не можетъ опираться и на тотъ вѣковой опытъ, который на родинѣ былъ его единственнымъ союзникомъ. И еще во много разъ труднѣе приспособиться къ условіямъ такихъ окраинъ, какъ Туркестанъ, Закавказье, къ условіямъ, требующимъ въ корнѣ иного хозяйства. И въ концѣ-концовъ: вѣдь если ужъ крестьянину ломать привычное хозяйство, то *зачѣмъ переселяться* тому, наиболѣе типичному, переселенцу, который уходитъ *именно затѣмъ, чтобы избѣжать ломки* привычныхъ и кажущихся ему единственно возможными способовъ хозяйства?... Ужъ если крестьянинъ преодолѣетъ вѣковую инерцію и рѣшится на такую ломку, ему легче и проще сдѣлать это на родинѣ, не подвергаясь колоссальному риску переселенія: на родинѣ у него есть хоть эмпирическое знакомство съ условіями хозяйства; ему не надо разорять своего обзаведенія, да и самое приспособленіе здѣсь будетъ эволюціею, а не ломкою хозяйства.

И мой конечный выводъ—тотъ самый, которымъ я закончилъ свою книгу; я не имѣю ничего ни прибавить существеннаго къ этому выводу, ни взять изъ него назадъ.

Переселеніе, вполне рациональное для тѣхъ абсолютно-малоземельныхъ элементовъ, которые еще не порвали своей связи съ земледѣліемъ, не можетъ быть признано для относительно-малоземельныхъ не только радикальнымъ рѣшеніемъ вопроса, но и сколько-нибудь рациональнымъ палліативомъ. Разоряя сложившееся хозяйство переселенца, ставя его лицомъ къ лицу съ неизбежнымъ рискомъ и случайностью, оно предъявляетъ, при данныхъ конкретныхъ условіяхъ, не меньшія, а скорѣе большія требованія и къ специально-сельскохозяйственной, и къ общей культурности крестьянина, и къ его матеріальнымъ средствамъ. Переселеніе поэтому должно быть вычеркнуто изъ числа средствъ разумнаго воздѣйствія на крестьянское землепользованіе и хозяйство. Переселеніе слѣдуетъ рассматривать исключительно *какъ фактъ*, и вся переселенческая политика должна быть направлена, съ одной стороны, къ тому, чтобы облегчить переселеніе тѣмъ, кто еще не желаетъ отказаться отъ мысли выселенія; а съ другой—чтобы по возможности уменьшить число такихъ желающихъ выселяться. Для этой цѣли хороши *все* способы, кромѣ запрещеній и принужденій: ходачество, распространеніе среди народа правильныхъ свѣдѣній объ условіяхъ устройства и обзаведенія на новыхъ мѣстахъ, но главное—положительныя мѣры къ улучшенію условій крестьянскаго землепользованія и хозяйства на мѣстахъ. И во всякомъ случаѣ слѣдуетъ твердо помнить, что переселеніе не можетъ ни на одну іоту ослабить переживаемый нашимъ крестьянствомъ кризисъ; что поэтому заботы о переселеніи

не могут ни на одну минуту отвлечь отъ болѣе коренныхъ, но, конечно, болѣе трудныхъ заботъ о повышеніи крестьянскаго благосостоянія и крестьянской культуры.

А. Кауфманъ.

II. Замѣтки по переселенческому вопросу.

Съ изданіемъ закона 6 іюня 1904 г. наше законодательство по переселенческому дѣлу стало совершенно на новый путь. Гонимое и едва терпимое прежде, разрѣшавшееся послѣ цѣлаго ряда мытарствъ, переселеніе объявляется свободнымъ и въ значительной степени даже поощряемымъ. Новымъ законодательствомъ переселенцамъ обѣщается содѣйствіе правительства и различнаго рода льготы въ случаѣ переселенія въ мѣстности, заселеніе коихъ вызывается видами правительства, поощряется и выходитъ изъ обществъ, поставленныхъ въ особо неблагоприятныя хозяйственныя условія. Такимъ образомъ, переселенію ставятся двѣ задачи: колонизація окраинъ и борьба съ малоземельемъ. Законъ стремится примирить два трудно примиримыхъ начала, ибо, какъ совершенно справедливо указалъ еще г. Тернеръ, «въ интересахъ мѣстностей, откуда отправляется переселеніе, желательно, чтобы изъ нихъ выходили люди, немогущіе прокормить себя при существующихъ условіяхъ; съ другой стороны, мѣстности, куда идетъ переселеніе, желали бы получить людей, возможно болѣе способныхъ выполнить задачу быстрой и правильной колонизаціи края, т.-е. хорошихъ, старательныхъ хозяевъ». Самыя средства для достиженія этихъ цѣлей должны быть различны. Въ интересахъ борьбы съ малоземельемъ, особенно при обострившейся у насъ постановкѣ аграрнаго вопроса, важно переселить какъ можно скорѣе возможно больше народа, оставивъ заботы о прочномъ его устройствѣ на новыхъ мѣстахъ на будущее, отодвинувъ ихъ на второй планъ. Въ цѣляхъ же правильной колонизаціи дѣло должно вестись какъ разъ наоборотъ, здѣсь все вниманіе должно быть сосредоточено на лучшемъ устройствѣ переселенцевъ на новыхъ мѣстахъ, заботы же о количествѣ переселившихся будутъ на второмъ мѣстѣ. Я не думаю, чтобы вообще эти цѣли были несовмѣстимы по существу; совмѣстить ихъ возможно, но для этого нужно располагать средствами, въ нѣсколько разъ превышающими бюджетъ нашего переселенческаго управленія. При тѣхъ же, сравнительно ничтожныхъ, средствахъ, какими располагаетъ переселенческое управленіе, оно неизбежно должно и можетъ преслѣдовать только одну изъ двухъ поставленныхъ закономъ 6 іюня 1904 г. цѣлей и, само собою разумѣется, ту, которую руководители нашей политики считаютъ наиболѣе важной въ интересахъ момента. Выяснить, какова эта цѣль, какъ она осуществляется и каковы достигнутые результаты, будетъ задачей настоящей статьи. Прежде всего я позволю себѣ остановить вниманіе читателя на томъ, чего хотѣли бы добиваться непосредственные работники въ этомъ дѣлѣ—чины переселенческаго управленія. Въ январѣ и февралѣ 1906 г. происходило со-

вѣщаніе мѣстныхъ и центральныхъ чиновъ переселенческой организаціи. Совѣщаніе это было образовано начальникомъ переселенческаго управленія для выясненія мѣръ законодательнаго характера, долженствующихъ повести къ расширенію переселеній и улучшенію переселенческаго дѣла, а также и для разрѣшенія вопросовъ, связанныхъ съ новой организаціей веденія переселенческаго дѣла. Отчетъ объ этомъ совѣщаніи напечатанъ въ № 1 сборника «Вопросы колонизаціи». Какъ видно изъ этого отчета, по интересующему насъ вопросу о задачахъ переселенческой политики совѣщаніе высказалось такъ: «осложненіе аграрнаго вопроса въ Россіи и необходимость удовлетворенія насущной нужды крестьянъ въ землѣ послужили основаніемъ для разсмотрѣнія въ совѣщаніи вопроса о принципиальномъ отношеніи государства къ переселенію крестьянъ въ Сибирь и киргизскія степи въ цѣляхъ разрѣшенія главнымъ образомъ аграрнаго вопроса въ Европейской Россіи. Законъ 6 іюня 1906 г. поставилъ переселеніе въ тѣсную связь съ дѣломъ улучшенія условій землепользованія и хозяйства крестьянскаго населенія внутреннихъ губерній и въ силу этого оставилъ ранѣе проводившуюся мысль о переселеніяхъ съ разрѣшенія, замѣнивъ ее идеей о предоставленіи переселенцамъ права ходатайствовать о содѣйствіи и льготахъ, облегчающихъ имъ переселеніе на новыя земли, нисколько не препятствуя переселеніямъ, разъ крестьяне не обращаются съ ходатайствомъ объ оказаніи имъ содѣйствія. Современные условія выдвинули вопросъ о проведеніи такихъ мѣропріятій, которыя могли бы значительно усилить приливъ переселенцевъ преимущественно изъ мѣстностей, гдѣ малоземелье обостряетъ общій для Европейской Россіи аграрный вопросъ». Обсудивъ настоящій вопросъ, совѣщаніе пришло къ такимъ выводамъ: «государство не можетъ смотрѣть на переселеніе какъ на средство для разрѣшенія аграрнаго вопроса. Оставляя свободнымъ выселеніе, безъ искусственнаго воздѣйствія на него или подбора переселенцевъ, правительство должно создать лишь благопріятныя для переселенія условія, заключающіяся въ содѣйствіи при ликвидаціи имущества и удешевленіи, а также въ облегченіи условій переѣзда, такъ какъ передвиженіе переселенцевъ въ цѣляхъ колонизаціи окраинъ, конечно, должно быть предметомъ особенныхъ заботъ правительства. При наличности такихъ мѣропріятій переселеніе крестьянъ, служа главнымъ образомъ цѣлямъ колонизаціи окраинъ, въ то же время въ ряду другихъ мѣръ сыграетъ посильную роль и при разрѣшеніи аграрнаго вопроса въ Европейской Россіи». Совѣщаніе высказалось далѣе, «что правительствомъ въ содѣйствіи переселенцамъ должно руководить стремленіе колонизировать окраины, развивая въ нихъ сельскохозяйственную промышленность, какъ основу развитія дальнѣйшей экономической жизни окраинъ. Переселеніе въ цѣляхъ колонизаціи—вотъ руководящій принципъ, которымъ должна быть проникнута дѣятельность переселенческой организаціи на мѣстахъ». Итакъ, мнѣніе непосредственныхъ работниковъ дѣла высказано съ полною опредѣленностью и мнѣніе это кратко формулируется такъ: переселеніе не должно быть средствомъ для

разрѣшенія аграрнаго вопроса, оно должно вестись въ цѣляхъ колонизаціи. Не такъ смотрятъ на задачи переселенческой политики руководители правительственной политики. Вскорѣ же послѣ этого совѣщанія въ своей деклараціи передъ первой Государственной Думой Горемыкинъ указалъ на переселеніе какъ на одно изъ средствъ борьбы съ обостреніемъ аграрнаго вопроса; то же говорилъ въ засѣданіи 19 мая главноуправляющій землеустройствомъ и земледѣліемъ Стишинскій. Передъ третьей Государственной Думой съ обширной деклараціей по переселенческому вопросу выступилъ главноуправляющій землеустройствомъ и земледѣліемъ кн. Васильчиковъ въ засѣданіи переселенческой комиссіи 5 декабря 1907 г. Къ сожалѣнію, вѣроятно, потому, что эта декларація преслѣдовала совершенно опредѣленную цѣль—доказать членамъ комиссіи необходимость широкой постановки переселенческаго дѣла, кн. Васильчиковъ не формулировалъ точно, какой изъ двухъ намѣченныхъ закономъ цѣлей въ настоящую минуту правительствомъ придается наибольшее значеніе. А такъ какъ изъ общаго содержанія его рѣчи нѣкоторые члены комиссіи сдѣлали выводъ, что первенствующее значеніе для кн. Васильчикова всетаки имѣютъ цѣли колонизаціонныя, такъ какъ кн. Васильчиковъ категорически заявилъ, что никакихъ мѣръ съ цѣлью усиленія переселенческаго движенія центральнымъ правительствомъ принято не было, я позволю себѣ для разясненія истинныхъ цѣлей переселенческой политики настоящаго времени сослаться на одинъ весьма цѣнный и рѣдкій документъ—«проектъ сѣтывъ расходовъ переселенческаго управленія по веденію переселенческаго дѣла въ 1907 г.». На стр. 6—7 объяснительной записки къ этому проекту имѣется слѣдующее весьма цѣнное признаніе: «увеличеніе на будущій годъ переселенческаго движенія явится, помимо экономическихъ причинъ, его вызывающихъ, естественнымъ послѣдствіемъ тѣхъ землеустроительныхъ задачъ, которыя поставлены закономъ 6 іюня 1904 г. и Высочайшими указами 30 марта и 6 мая минувшаго (1906) года о мѣрахъ къ укрѣпленію крестьянскаго землевладѣнія; такъ какъ только достаточно широкая постановка переселенческаго дѣла можетъ сколько-нибудь замѣтно вліять на аграрныя отношенія во внутреннихъ губерніяхъ. Поэтому едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, что какъ общіе виды государственной аграрной политики, такъ и непосредственныя потребности предусматриваемаго, въ ближайшемъ будущемъ, переселенческаго движенія настоятельно требуютъ немедленнаго заготовленія значительнаго запаса переселенческихъ участковъ». Далѣе на стр. 38, говоря о ссудномъ кредитѣ, авторъ объяснительной записки пишетъ: «выдача пособій упомянутымъ переселенцамъ, соблазненнымъ обѣщаніями дѣйствующаго закона и особой пропагандой переселенческаго движенія, необходима». Въ объяснительной запискѣ къ законопроекту о новыхъ правилахъ для выдачи ссудъ на домообзаводство, внесенному во 2-ую Думу, значится, что «правительственная помощь переселенцамъ оправдывается нынѣ отнюдь не одною уже ихъ несостоятельностью, но и необходимостью особаго поощренія переселеній

въ видахъ содѣйствія землеустройству крестьянъ въ районахъ выселенія» Итаетъ, изъ сферъ безусловно компетентныхъ, изъ самого переселенческаго управленія исходитъ подтвержденіе того, что особая пропаганда переселенческаго движенія дѣйствительно велась, что увеличеніе этого движенія является естественнымъ послѣдствіемъ общаго направленія государственной аграрной политики, поставившей переселенію землеустроительныя задачи. Чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, я сошлюсь еще только на циркулярное письмо кн. Васильчикова сибирскимъ губернаторамъ отъ 25—28 декабря 1906 г. Въ этомъ письмѣ кн. Васильчиковъ просилъ гг. губернаторовъ «оказать возможно широкое содѣйствіе къ успѣшному ходу переселенческаго дѣла, на которое обращено особое вниманіе правительства въ виду исключительной его важности въ настоящее время, когда аграрное движеніе среди сельскаго населенія въ Европейской Россіи можно въ значительной степени ослабить отъ выселенія излишковъ населенія въ азіатскія окраины имперіи». Только что приведенныхъ ссылокъ, мнѣ кажется, совершенно достаточно, чтобы убѣдиться, какія задачи поставлены переселенческому дѣлу.

Эта тенденція правительственной политики—путемъ переселеній бороться съ аграрнымъ движеніемъ—весьма вредно отражается на всемъ ходѣ переселенческаго дѣла. Нѣкоторыя вредныя стороны этого вліянія я попробую иллюстрировать при помощи данныхъ переселенческихъ смѣтъ 1907 и 1908 г. Смѣты переселенческаго управленія состояются такъ: первоначально мѣстныя переселенческія организаціи вырабатываютъ смѣту расходовъ для каждаго даннаго района, исходя изъ предположенія о заготовкѣ того количества душевыхъ долей, которое намѣчено для района центральнымъ управленіемъ. Эти смѣты разсматриваются на мѣстахъ въ совѣщаніи изъ представителей разныхъ вѣдомствъ, затѣмъ идутъ въ Петербургъ; здѣсь переселенческое управленіе сводитъ мѣстныя смѣты въ единое цѣлое, беспощадно урѣзываетъ ихъ по бюджетнымъ соображеніямъ. Составленный переселенческимъ управленіемъ проектъ смѣты идетъ на разсмотрѣніе междувѣдомственнаго совѣщанія, которое снова по бюджетнымъ соображеніямъ сокращаетъ смѣту. Журналы междувѣдомственнаго совѣщанія могли бы послужить отличнымъ и весьма характернымъ матеріаломъ для выясненія того, что изъ намѣченнаго плана дѣятельности и въ какой мѣрѣ переселенческое управленіе считаетъ наиболѣе важнымъ и отъ чего оно легко отступаетъ по бюджетнымъ соображеніямъ. Къ сожалѣнію, журналы эти считаются почти секретными документами, и достать ихъ очень трудно. Поэтому я принужденъ воспользоваться для сравненія и выводовъ другими матеріалами. Для 1907 г. этотъ матеріалъ у меня достаточно богатъ: я имѣю проектъ смѣты, доставленный для междувѣдомственной комиссіи, и окончательный проектъ ея, представленный въ Государственную Думу. Первоначальный проектъ смѣты былъ составленъ на сумму въ 19 милл. руб., окончательный—11 милл. Изъ сдѣланныхъ сокращеній наиболѣе характерными являются слѣдующія: смѣта на врачебно-

продовольственную часть против первоначальных предположений (около 2,400 тыс.) понижена на сумму около миллиона руб. Кредитъ по § 4 сѣты—расходы по выдачѣ разнаго рода ссудъ—подвергся такого рода сокращеніямъ: при первоначальномъ исчисленіи кредита переселенческое управленіе испрашивало его изъ расчета по 100 руб. на семью, имѣющую прибыль въ 1907 г., по 75 руб. дополнительной ссуды переселенцамъ 1906 г. и по 50 руб. на семью—ссуда нуждающимся переселенцамъ прежнихъ лѣтъ. Послѣ торга въ междуведомственной комиссіи у законодательныхъ учрежденій испрашивалось ассигнованіе изъ расчета—40 руб. на семью переселенцевъ прежнихъ лѣтъ, 50 руб. для выдачи ссудъ переселенцамъ 1906 г.; размѣръ же кредита на выдачу ссудъ переселенцамъ, ожидаемымъ въ 1907 г., остался неизмѣннымъ, да иначе и быть не могло, такъ какъ обѣщаніе ссудной помощи является одной изъ главѣйшихъ приманокъ для переселенцевъ. Но наиболѣе существенныя и характерныя измѣненія произведены по § 3 сѣты. По этому § отпускаются наиболѣе существенныя кредиты—кредиты на операционные расходы по образованію переселенческихъ участковъ. Здѣсь ассигнуются средства на производство работъ по обмежеванію участковъ, по снабженію ихъ дорогами, водою (гидротехническія работы), по изслѣдованію колонизаціонныхъ районовъ въ агрономическомъ отношеніи и на организацію агрономической помощи переселенцамъ. Первоначально переселенческое управленіе предполагало испросить по этому § 5.818,260 руб., въ окончательномъ же итогѣ испрашивалось 3.222,860 р. Если сравнить предположенія обоихъ сѣтныхъ проектовъ, то будетъ очевидно, что первоначальный объемъ чисто межевыхъ работъ, работъ по отводу участковъ въ техническомъ смыслѣ этого слова, остался почти безъ всякихъ измѣненій и сокращеній,—настолько сравнительно мало измѣненъ кредитъ на это дѣло; зато расходы на лучшую подготовку участковъ для принятія переселенцевъ претерпѣли громадное измѣненіе. Кредитъ на дорожные расходы сокращенъ съ 2.379,077 р. на сумму около 1 милл.; вмѣсто 2,600 верстъ новыхъ дорогъ предполагается строить только около 1,500 верстъ при соотвѣтствующемъ уменьшеніи предположеній и по ремонту старыхъ дорогъ, при пониженіи стоимости постройки. Наибольшему же сокращенію подверглись расходы на агрономическія мѣропріятія: вмѣсто 594,821 р. у Государственной Думы испрашивалось всего 183,500 р. Конечно, соотвѣтственно съ уменьшеніемъ операционныхъ расходовъ произведено сокращеніе расходовъ и на содержаніе личнаго состава по § 2 сѣты. Къ сожалѣнію, такихъ подробныхъ данныхъ по отношенію къ сѣтѣ 1908 г. у меня не имѣется, но общая тенденція сокращеній, произведенныхъ по бюджетнымъ соображеніямъ, остается прежней. Въ этомъ убѣждаетъ и заявленіе начальника переселенческаго управленія г. Глинки, что сѣта на врачебно-продовольственную помощь обрѣзана до послѣдней возможности, и указаніе объяснительной записки, что вмѣсто 4,200 верстъ новыхъ дорогъ, на постройкѣ которыхъ настаивали завѣдующіе районами, въ сѣту вносится ассигнованіе на постройку только 2,400 верстъ. При-

веденныя данныя даютъ, мнѣ кажется, полное основаніе утверждать, что сообразно съ общимъ направленіемъ политики по бюджетнымъ соображеніямъ сокращаются въ сѣтѣ переселенческаго управленія прежде всего тѣ расходы, которые необходимы именно въ цѣляхъ правильной колонизаціи, и всѣми мѣрами оберегаются расходы, направленные на количественное расширеніе переселенческаго движенія,—расходы по заготовкѣ возможно большаго количества душевыхъ долей. Здѣсь, въ дѣлѣ заготовки фонда, правительство принимаетъ другія мѣры экономіи, вслѣдствіе эксплуатаціи трудъ межевыхъ чиновъ. Въ цѣляхъ заготовки въ теченіе 1908 г. 350 тыс. душевыхъ долей для надѣленія переселенцевъ силами сравнительно немногочисленныхъ межевыхъ чиновъ, переселенческое управленіе даетъ имъ совершенно опредѣленно заданіе: заготовить въ среднемъ не менѣе 535 душевыхъ долей на одного межевого техника, каковое заданіе превышаетъ болѣе чѣмъ въ два раза среднюю производительность межевыхъ чиновъ по даннымъ за 10 лѣтъ. По утвержденію самого переселенческаго управленія, «чтобы выполнить это заданіе, межевые чины должны проявить столь напряженную дѣятельность, которую нельзя отъ нихъ требовать на почвѣ простого исполненія возложенныхъ на нихъ служебныхъ обязанностей». И вотъ, чтобы добиться необходимыхъ результатовъ, переселенческое управленіе испрашиваетъ особый кредитъ для выдачи этимъ чинамъ наградъ и пособій. По откровенному объясненію управленія, «производимые изъ указаннаго источника расходы носятъ въ дѣйствительности характеръ премій за успѣшный отводъ участковъ». При ограниченности окладовъ чиновъ межевыхъ партій соблазнъ этихъ премій заставляетъ межевщиковъ надрывать свои силы, чтобы добиться полученія хотя бы и небольшого дополнительнаго вознагражденія, а при признаваемой самимъ переселенческимъ управленіемъ «крайней трудности присканія и подготовкѣ земель, пригодныхъ для цѣлей колонизаціи», это неизбежно должно вести да и ведетъ къ тому, что всѣ силы землемѣровъ идутъ на отмежеваніе возможно большаго количества душевыхъ долей въ ущербъ ихъ качеству. И опять-таки этимъ нарушаются интересы правильной колонизаціи для вѣщаго торжества принципа: переселеніе—могучее средство въ борьбѣ съ малоземельемъ.

Переселенческое управленіе отлично знаетъ, къ какимъ результатамъ ведетъ такая постановка дѣла. Объяснительная записка къ проекту сѣтѣ расходовъ 1907 г. и отчасти записка при сѣтѣ 1908 г. даютъ полное право утверждать это. Въ этихъ запискахъ совершенно опредѣленно указывается, что «безъ постройки дорогъ веденіе переселенческаго дѣла невозможно», что «заселять необъятныя лѣсныя таежныя пространства Сибири можно лишь при условіи предварительнаго обезпеченія этой мѣстности путями сообщенія, связывающими вновь возникающіе поселки съ важнѣйшими населенными пунктами, приблизивъ къ болѣе отдаленнымъ группамъ переселенческихъ поселковъ запасы продовольствія и сѣмянъ, чтобы обезпечить сносное существованіе новоселовъ, пока не будетъ расчищено такое

количество мягких земель, которое даст населению годовой запас продовольствія»; переселенческое управленіе знаетъ, что «менѣе осторожные переселенцы, водворившіеся на участкахъ съ плохими путями сообщенія, часто оказываются вынужденными, послѣ многихъ напрасныхъ усилій, ходатайствовать о переводвореніи или возвращеніи ихъ на родину». Переселенческое управленіе знаетъ, что въ первое время по водвореніи въ край переселенцу некогда заниматься дорогой; ему прежде всего нужно поставить хату, сарай для скота, заготовить сѣна и распахать хоть немного земли. Знаетъ все это, и всетаки, когда выступаютъ на сцену бюджетныя соображенія, прежде всего и больше всего урѣзывается кредитъ на дорожныя сооруженія, и дорогъ строится относительно все меньше и меньше: въ 1907 г. противъ первоначальнаго предположенія строить 2,600 верстъ междувѣдомственное совѣщаніе помирилось на суммѣ около 1,500 верстъ, въ 1908 г. вмѣсто 4,200 верстъ, на постройкѣ которыхъ настаиваютъ завѣдующіе районами, по бюджетнымъ соображеніямъ будетъ строиться 2,400 верстъ. Главное управленіе землеустройства и земледѣнія утѣшаетъ себя тѣмъ, что «въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ топографическія условія мѣстности не представляютъ особыхъ трудностей, ходоки и переселенцы кое-какъ проберутся на участки и перебудутся на нихъ въ теченіе одного года». Но вѣдь этотъ годъ наиболѣе тяжелый въ ихъ жизни,—прибавлю я отъ себя и спрошу: а дальше, по истеченіи года, развѣ не будутъ по-прежнему на смѣту вліять бюджетныя соображенія? Съ постройкой дорогъ дѣло обстоитъ северно не только потому, что ихъ строить мало; главная, пожалуй, бѣда въ томъ, что то, что строить, строить очень северно. По тѣмъ же бюджетнымъ соображеніямъ строительныя кредиты урѣзываются до послѣдней крайности, и въ результатѣ приходится ежегодно ремонтировать, а, правильнѣе говоря, достраивать, большую часть существующей дорожной сѣти. Объяснительная записка къ проекту смѣты 1907 г. совершенно правильно характеризуетъ такой способъ дорожнаго строительства, какъ «явно безплодное расходованіе десятковъ или сотенъ тысячъ рублей тамъ, гдѣ было бы полезно затратить только тысячи». Я очень опасаясь, что и въ 1908 г. смѣта на дорожныя сооруженія составлена переселенческимъ управленіемъ все съ тою же вредной экономіей. Средняя стоимость версты опредѣляется смѣтою въ 683 р., тогда какъ объяснительная записка къ проекту смѣты 1907 г. утверждаетъ, что «дѣйствительная цѣна версты настоящей колесной дороги колеблется отъ 600 до 1,500 руб. въ сибирскихъ губ. и отъ 1,500 до 3,000 р. въ дальневосточныхъ областяхъ». Если принять при этомъ во вниманіе поясненіе объяснительной записки, что въ этомъ году дороги предполагается строить главнымъ образомъ тамъ «гдѣ нужны сложныя, дорого стоящія искусственныя сооруженія», это opinion сненіе неизбѣжно придется считать вполне основательнымъ.

Исторія гидротехническихъ работъ по официальнымъ даннымъ такое гидротехническія работы въ колонизируемыхъ мѣстностяхъ начались съ 1891 года. Работы эти были вызваны тяжелыми условіями, въ которыя бы

поставлены переселенцы, занявшие участки в Ишимской и Барабинской степях вдоль линии сибирской жел. дороги. Съ одной стороны—недостаток или отсутствие прѣсной воды, съ другой стороны—заболоченность пространств обусловили необходимость озаботиться водоснабженіемъ Ишимской степи и осушеніемъ Барабинской. Въ послѣдующіе годы, съ развитіемъ переселенія, постепенно развивались и гидротехническія работы, расширяясь территоріально и въ то же время усиливаясь по своей интенсивности. Постепенный ходъ гидротехническихъ работъ по водоснабженію можетъ быть очерченъ слѣдующимъ образомъ. Первоначально цѣлью указанныхъ работъ было поставлено выясненіе общихъ условій водоносности колонизируемой мѣстности и вмѣстѣ съ тѣмъ практическое водоснабженіе нуждающихся въ этомъ переселенческихъ участковъ. Для удовлетворенія потребностей въ питьевой водѣ заселенныхъ участковъ необходимо было изыскать способъ, который достигалъ бы цѣли въ возможно кратчайшій срокъ съ наименьшимъ расходомъ. Въ этомъ отношеніи остановились на устройствѣ простыхъ неглубокихъ колодцевъ. Позднѣе по необходимости пришлось обратиться и къ другимъ, болѣе сложнымъ способамъ обводненія—устройству плотинъ, водоемовъ, водосборныхъ канавъ и проч. Увеличеніе переселенческаго движенія расширило и площадь гидротехническихъ работъ. Однако съ расширеніемъ территоріи работъ измѣнился и характеръ ихъ. Съ 1900 года онѣ дѣлаются болѣе учебно-показательными, чѣмъ практически полезными, предоставляя самимъ крестьянамъ обводнять занимаемые ими участки. Количество поставленныхъ колодцевъ по отношенію къ числу переселенческихъ дворовъ уменьшается въ сравненіи съ нормой, принятой въ предыдущіе годы. Въ 1895—96 г. считалось нужнымъ устраивать одинъ колодецъ на 30 дворовъ, въ 1897 г.—одинъ колодецъ на 16 дворовъ, между тѣмъ въ 1900 г. одинъ колодецъ устраивался уже на 45 и болѣе дворовъ, и остальное количество необходимыхъ колодцевъ должны были сооружать крестьяне. Съ 1901 г. по 1905 г. колодцы строились уже въ исключительныхъ случаяхъ, когда необходимо было наглядно убѣдиться въ результатахъ изысканій, а именно, главнымъ образомъ, въ отношеніи силы притока воды. Смѣта 1908 г. исходитъ изъ предположенія о необходимости снабдить колодцами 512 участковъ съ устройствомъ на нихъ въ среднемъ по два колодца на участокъ. Къ чему приводитъ такая постановка гидротехническихъ работъ? «По рѣзкому выраженію завѣдующаго однимъ изъ самыхъ сложныхъ по развитію переселенческаго дѣла степныхъ районовъ (Акмолинскаго), изъ трехъ основныхъ требованій переселенца: «здороваго воздуха, плодородной почвы и хорошей воды» правительство въ лицѣ своихъ мѣстныхъ переселенческихъ агентовъ въ должной мѣрѣ удовлетворяетъ только первое. Земли оно не успѣваетъ давать—не хватаетъ наличныхъ силъ для приготовленія переселенческихъ участковъ; что же касается воды, то, за рѣдкими исключеніями, у правительственныхъ агентовъ нѣтъ ни силъ, ни средствъ для удовлетворенія этой насущной потребности колонизаторовъ края. Сами же переселенцы также не имѣютъ

для этого ни силъ, ни средствъ, ни знаній. Въ степныхъ районахъ въ дѣлѣ отвода переселенческихъ участковъ особенно рѣзко сказывается отсутствіе сколько-нибудь удовлетворительной организаціи гидротехническаго обследованія и помощи населенію въ этомъ отношеніи. Поэтому въ значительной части случаевъ невозможно использовать подъ заселеніе изыятія съ такимъ трудомъ изъ пользованія киргизовъ и весьма цѣнные земельныя площади, а подчасъ создается печальная необходимость переводворенія съ занятыхъ уже участковъ цѣлыхъ поселковъ по недостатку воды. Когда я пишу эти строки, передо мною лежитъ изданный переселенческимъ управленіемъ «Годовой отчетъ завѣдующаго 1-мъ переселенческимъ подрайономъ въ Акмолинской области В. А. Гончаревскаго» за 1906 г. Приведи цѣлый рядъ случаевъ бѣдствій переселенческихъ поселковъ изъ-за отсутствія воды, авторъ отчета такъ резюмируетъ свое заключеніе по этому вопросу: «дѣло гидротехнической помощи составляетъ задачу первой необходимости для населенія и особенно въ моменты первичнаго возникновенія ихъ новой жизни въ совершенно незнакомыхъ мѣстахъ, гдѣ со стороны переселенцевъ требуется чрезвычайная энергія и сила для удовлетворенія различныхъ другихъ сторонъ ихъ устройства хозяйственнаго характера, не оставляя времени для исполненія ихъ собственными силами необходимыхъ имъ гидротехническихъ сооружений. Во всякомъ случаѣ, если это мнѣніе не специалиста, то, по крайней мѣрѣ, человѣка, передъ глазами котораго прошли настолько выразительныя картины переселенческихъ бѣдствій на этой почвѣ, что, не рискуя, можно сказать, о колонизаціи Омскаго уѣзда какъ о временномъ разрѣшеніи аграрнаго вопроса, едва ли окупающемъ, съ точки зрѣнія государственной, тѣ затраты и ущербъ, которые неразрывно связаны съ дѣломъ насажденія новой жизни. Фундаментъ ея долженъ быть настолько прочнымъ, чтобы дѣло строительства отвѣчало истиннымъ народнымъ нуждамъ, не концентрируясь въ своей программѣ лишь на временныхъ заторахъ экономической жизни страны» (стр. 18). Сознвая прекрасно недостатокъ кредитовъ на дорожное и гидротехническое дѣло, переселенческое управленіе стремится хоть отчасти восполнить этотъ недостатокъ и испрашиваетъ по 4 § смѣты 480 тыс. руб. на выдачу переселенцамъ ссудъ на меліорачію (дороги и колдцы). Я говорю «стремится восполнить» потому, что есть полное основаніе опасаться, что большая часть этого кредита будетъ обращена на другого рода ссуды—ссуды на домообзаводство. Такъ бывало прежде, возможность этого призналъ въ засѣданіи думской комиссіи и начальникъ переселенческаго управленія.

Агрономическія мѣропріятія въ дѣятельности переселенческаго управленія должны преслѣдовать двоякаго рода задачи—изученіе предназначенныхъ для колонизаціи мѣстностей въ смыслѣ пригодности ихъ для веденія хозяйства и оказаніе агрономической помощи уже осѣвшему населенію. «Цѣной большихъ жертвъ какъ со стороны государства, такъ и со стороны переселенцевъ сознаана необходимость предпосылать, если не на-

рѣзкѣ участковъ, то водворенію на нихъ переселенцевъ, хотя бы примитивное агрономическое изслѣдованіе земель. Стоитъ вспомнить районъ р. Селеты въ Акмолинской области, р. Чара въ Семипалатинской, цѣлый рядъ поселковъ Тарскаго уѣзда, нѣкогда заселенныхъ и нынѣ покинутыхъ населеніемъ. Во избѣжаніе подобныхъ ошибокъ въ составъ партій по образованію переселенческихъ участковъ стали привлекаться лица съ специальнымъ агрономическимъ образованіемъ на роли производителей работъ и даже при партіяхъ позднѣйшаго сформированія учреждены должности агрономовъ. Такимъ образомъ, хотя сама жизнь выдвинула вопросъ объ участіи въ дѣлѣ отвода земель агрономическаго начала, но, какъ это часто бываетъ, дѣло ограничилось признаніемъ факта и созданіемъ нѣсколькихъ новыхъ должностей. Кредиты отпускались въ такихъ незначительныхъ размѣрахъ, что организовать на нихъ серьезное агрокультурное изслѣдованіе было невозможно».

«Для подтвержденія на примѣрѣ необходимости сельско-хозяйственныхъ испытаній,—продолжаетъ объяснительная записка,—достаточно сослаться на отводъ переселенческихъ участковъ на рр. Селетѣ и Чару, о которыхъ упоминалось выше. Рѣка Селета расположена въ сѣверо-восточной части Акмолинскаго уѣзда и течетъ въ довольно высокихъ берегахъ. Правый берегъ ея наиболѣе возвышенный, покрытый сравнительно густой степной растительностью, и темный цвѣтъ почвы, повидимому, привлекли вниманіе одного изъ производителей работъ, нарѣзывавшаго въ той мѣстности цѣлый рядъ участковъ: Маринскій, Гоголевскій, Троицкій и друг. Были водворены на нихъ переселенцы, которые прожили нѣсколько лѣтъ, проѣли все свое добро и полученные ссуды, а затѣмъ были устроены на другихъ участкахъ. Рѣка Чаръ расположена на лѣвобережной части Семипалатинскаго уѣзда. Тѣ же чисто-вишнія условія были причиной образованія на ней поселковъ—Карповскаго, Таубинскаго, Георгіевскаго, Николаевскаго и друг. Изъ нихъ лишь одинъ Георгіевскій болѣе или менѣе держится и то лишь благодаря на рѣдкость подобраннымъ составу переселенцевъ—богатыхъ выходцевъ изъ Таврической губ., съ первыхъ же дней водворенія возобновившихъ остатки древней оросительной системы калмыковъ, тогда какъ остальные, несмотря на специально сооруженные оросительные камалы (Карповскій), владели жалкое существованіе на почти непрерывно выдаваемыя имъ продовольственные ссуды, при чемъ за 10—13 лѣтъ своего существованія мѣняли три раза составъ своего населенія. Въ послѣднее время участились также массовыя ходатайства переселенцевъ Тарскаго уѣзда о переводвореніи. При обслѣдованіи ихъ положенія оказалось, что со времени водворенія ихъ въ Тарскомъ уѣздѣ въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ главнѣйшій посѣвной хлѣбъ—озимая рожь—у нихъ не вызрѣвалъ. Измученные въ борьбѣ съ природой, они стали хлопотать о переводвореніи. Подобныхъ случаевъ, выдвинутыхъ самой жизнью, можно было бы привести еще множество».

Только что приведенная мотивировка расходовъ на агрономію (въ объ-

яснительной запискѣ къ проекту смѣты 1907 г.), казалось бы, достаточно убѣдительно, а между тѣмъ именно по этимъ расходамъ больше всего уступило переселенческое управление междувѣдомственному совѣщанію и вмѣсто предполагавшихся 594 тыс. испрашивало у законодательныхъ учреждений только 183 тыс. руб. Ничего утѣшительнаго въ этомъ отношеніи не даетъ и смѣта на 1908 г.,—до того ничтожно увеличеніе кредита на эту важнѣйшую отрасль переселенческаго дѣла.

Резюмируя вышесказанное, я прихожу къ такого рода выводамъ: вопреки мнѣнію непосредственныхъ работниковъ переселенческой организациі правительство поставило переселенческому движенію совершенно определенную задачу—содѣйствовать разрѣшенію аграрнаго вопроса путемъ выселенія излишковъ населенія. Для достиженія поставленной цѣли главное вниманіе въ дѣятельности переселенческаго управленія сосредоточивается на той сторонѣ ея, которая ведетъ къ количественному расширенію дѣла; все же, что ведетъ къ качественному улучшенію его, отодвигается на второй планъ. Переселенческое управление сознаетъ необходимость, въ интересахъ правильной колонизациі, широкой постановки работъ по гидротехникѣ, дорожнымъ сооруженіямъ, правильной постановки агрономической помощи населенію, но недостатокъ средствъ заставляетъ его выбирать между интересами колонизациі и интересами выселенія, и... согласно со всѣмъ направленіемъ аграрной политики министерства побѣждаютъ интересы выселенія.

Насколько прочно устраиваются переселенцы при такой неправильной постановкѣ дѣла? Я не располагаю достаточнымъ матеріаломъ, чтобы дать вполне определенный и точный отвѣтъ на этотъ вопросъ по отношенію ко всѣмъ колонизируемымъ районамъ. Но тѣ данныя, которыми я располагаю, заставляютъ меня съ большимъ сомнѣніемъ относиться къ ходячимъ утвержденіямъ о блестящихъ результатахъ переселенія.

Чтобы избѣжать упрека въ пристрастіи, я и тутъ воспользуюсь только матеріалами самого переселенческаго управленія. Прежде всего, это—изданная переселенческимъ управленіемъ работа Юферова по изслѣдованію бюджета переселенцевъ. Матеріалъ, которымъ располагалъ Юферевъ, относится къ 1903—1904 гг. и касается Акмолинской обл., Тобольской, Томской и Енисейской губ. Окончательный выводъ свой Юферевъ формулируетъ такъ: «переселенческая семья, подвергаясь различнаго рода лишениямъ въ пути слѣдованія на мѣста водворенія и сокращая до минимума свои личныя потребности въ первые годы устройства Сибири, только по прошествіи 8—10 лѣтъ достигаетъ уровня средняго крестьянскаго двора Европейской Россіи, и ей далеко до благосостоянія коренного сибиряка-крестьянина». Констатируя нѣкоторый ростъ переселенческаго хозяйства, Юферевъ обходитъ молчаніемъ и отрицательныхъ сторонъ, замѣчаемыхъ въ нем. Онъ пишетъ: «вмѣстѣ съ усиленіемъ и укрѣпленіемъ хозяйства замѣчаетъ и ростъ нѣкоторыхъ явленій, которыя не могутъ считаться благопріятными и въ случаѣ дальнѣйшаго ихъ развитія едва ли не должны будутъ вре-

отозваться на хозяйственной жизни переселенческаго двора. Къ этимъ явленіямъ нужно отнести уменьшеніе кормовой площади, вызываемое расширеніемъ запашки, а въ связи съ этимъ сокращеніе количества скота въ отношеніи площади запашки съ ухудшеніемъ самаго питанія скота». Грозные признаки распада переселенческаго хозяйства констатируетъ въ своемъ отчетѣ Гончаревскій. Онъ пишетъ, что въ 1906 г. къ нему «съ просьбами о зачисленіи въ теченіе цѣлаго года обращалась также масса крестьянъ, уже водворенныхъ въ Тобольской, Томской и Енисейской губ. и желавшихъ покинуть свои мѣсты въ старыхъ мѣстахъ водворенія подъ предлогомъ ихъ негодности въ земледѣльческомъ отношеніи». По отношенію къ этимъ губерніямъ мнѣніе Гончаревскаго не высказывается ярко и опредѣленно, такъ какъ самъ онъ наблюдаетъ переселеніе только въ Акмолинской обл.; но здѣсь, въ районѣ его непосредственнаго наблюденія, результаты водворенія переселенцевъ приводятъ его къ слѣдующимъ пессимистическимъ выводамъ: «пріемы хищнической системы хозяйства, какіе примѣняются переселенцами, да еще съ усовершенствованными сельско-хозяйственными орудіями... эти пріемы усовершенствованнаго хищничества отнимаютъ у степной Сибири великую будущность ея, какъ земледѣльской страны, давая выходцамъ изъ Россіи лишь краткій отдыхъ отъ долготѣней тяготы крестьянской жизни на родинѣ, и этимъ самымъ отодвигая лишь немного грозный кризисъ крестьянскаго хозяйства... Не прибѣгая къ специальнымъ агрономостатистическимъ обследованіямъ, одного внимательнаго взгляда достаточно на существующую эксплуатацію почвы, чтобы убѣдиться въ надвигающейся опасности. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ водворенія земли настолько уже выпаханы, что многие изъ крестьянъ, желая заполнить пробѣлъ въ своемъ хозяйствѣ, заарендовываютъ у киргизъ и казны новыя цѣлинныя земли, другіе поселки подумываютъ о переводвореніи, часто выставляя фиктивные причины» (стр. 26—7). Степныя области Азіатской Россіи въ настоящее время привлекаютъ наибольшія массы переселенцевъ, и потому указаніе Гончаревскаго на выпаживаніе земель въ нихъ заслуживало бы самаго внимательнаго отношенія даже въ томъ случаѣ, если бы указаніе это было единичнымъ. Къ сожалѣнію, это не такъ. Я только что получилъ номеръ 3—4 «Врачебно-санитарной хроники», издававшейся въ 1907 году врачебно-санитарнымъ отдѣломъ переселенческаго управленія въ Акмолинскомъ районѣ. Помѣщенная въ этомъ № статья Н. Лебедева «Къ вопросу о почвенно-сельско-хозяйственныхъ условіяхъ Акмолинской обл.» даетъ полное основаніе утверждать, что хищническое хозяйничество переселенцевъ и, какъ результатъ его, выпаживаніе, истощеніе земель—общее правило. По словамъ автора, большинство старыхъ поселковъ, просуществовавшихъ въ среднемъ всего только 10—12 лѣтъ, дошли до того, что не могутъ существовать безъ прирѣзки имъ новыхъ земель. Если принять въ расчетъ эти указанія, если считаться съ официальнымъ утвержденіемъ о «значительномъ пониженіи уровня имущественнаго обезпеченія переселенческой массы» среди переселенцевъ послѣднихъ годовъ, невольно придется

задуматься о возможности перенесенія аграрнаго вопроса въ наши Азіатскія владѣнія.

«Только солидно поставленныя агрикультурныя мѣропріятія могутъ предупредить грядущее», пишетъ Гончаревскій. «Вся переселенческая организація,—утверждаетъ Лебедевъ,—должна совершенно преобразиться: изъ аппарата для изытаній и наръзаній она должна превратиться въ стройную и мощную машину, дѣятельность которой направлена къ рациональной и возможно полной эксплуатаціи народныхъ богатствъ. Необходимо, чтобы наиболѣе нужнымъ для переселенца лицомъ былъ не производитель работъ и чиновникъ по водворенію, какъ вѣдующіе всякаго рода прирѣзки и пособія, а агрономъ со своими совѣтами, указаніями. Только при такомъ положеніи, при которомъ будетъ преслѣдоваться дѣйствительная колонизація и использование втунѣ лежащихъ богатствъ, описываемый районъ можетъ разсматриваться какъ большой колонизаціонный фондъ. При практикующемся же въ настоящее время наръзаніи участковъ можно ожидать въ самомъ непродолжительномъ времени разоренія и расхищенія этого богатаго края»—утверждаетъ Лебедевъ. Нельзя не раздѣлять этихъ пожеланій на измѣненіе коренныхъ основъ переселенческой политики; къ сожалѣнію, приходится признать только, что измѣненіе это возможно лишь при измѣненіи курса всей аграрной политики.

Вл. Виноградовъ,
членъ Государственной Думы.

Письмо изъ Польши *).

Прогрессивныя стремленія.

Неопредѣленность прогрессивныхъ стремленій въ Польшѣ.—Ал. Свентоховскій и его „Правда“.—Первыя попытки организовать на почвѣ общихъ прогрессивныхъ стремленій.—Журналъ *Kuźnica*.—Дозвугъ автономіи Польши.—„Прогрессивно-демократическій союзъ“.—Выдѣленіе изъ него „Польской прогрессивной партіи“.—Созданіе новой прогрессивной партіи.—Ея программа и литературная дѣятельность.—Прогрессивныя стремленія въ народѣ.—Журналъ *Siewba*.—Попытки прогрессивнаго движенія въ области религиозныхъ представленій.—Маріавитское движеніе.—Журналъ *Małyawita*.—Заключеніе.

Атмосфера національнаго гнета—плохой проводникъ прогрессивныхъ идей. Если человѣку на каждомъ шагѣ дадутъ понять, что самое его національное существованіе разсматривается властями подлежащими какъ своего рода противодѣйствіе видамъ начальства, а въ его народѣ готовы видѣть незаконное скопище,—тогда, разумѣется, страстная привязанность къ гонимымъ началамъ народности вытѣснить изъ души человѣка стремленіе къ общимъ гуманнымъ лозунгамъ. Человѣкомъ вообще можно сдѣлаться лишь тогда, когда человѣкъ въ частности, т. е. человѣкъ русскій, полякъ, нѣмецъ и т. п., удовлетворенъ; путь къ космополитизму лежитъ черезъ удовлетворенныя національныя инстинкты, инстинкты здоровыя, когда ихъ дѣятельность направлена не на борьбу съ чужездными элементами, а на спокойное обладаніе неоспоримыми владѣніями народности, языкомъ, религіей, правомъ устроить свою жизнь сообразно съ мѣстными нуждами. Всѣ эти неоспоримыя права оказывались весьма спорными въ жизни русскихъ «окраинъ»: литовцевъ немилосердно преслѣдовали въ теченіе сорока лѣтъ за то, что они не хотѣли принять азбуку, навязанную имъ официальными «первоучителями»; малороссы были лишены Евангелія на родномъ языкѣ и за обладаніе этой «нецезурной» книгой подвергались карамъ и т. п. Тагъ было вездѣ. То же происходило въ Польшѣ.

*) Мы оставляемъ на отвѣтственности автора сужденія объ отдѣльныхъ политическихъ партіяхъ и общественныхъ направленіяхъ, дѣйствующихъ въ Царствѣ Польскомъ. Разъ навсегда дѣлаемъ эту редакціонную оговорку къ письмамъ А. Л. Погодина.
Ред. Русской Мысли.

шѣ, и какъ тамъ гнетъ вызвалъ развитіе необузданнаго націонализма, такъ и здѣсь національный радикализмъ сдѣлался господствующимъ настроеніемъ въ массахъ, при чемъ даже социализмъ, быстро распространявшійся въ рабочемъ классѣ, призналъ своей предпосылкой удовлетвореніе національныхъ требованій, вплоть до созданія независимой Польской республики. Поэтому, удивительно не то, что прогрессивныя движенія въ Польшѣ играли за послѣдніе годы сравнительно незначительную роль, а то, что они вообще существовали. Съ нѣкоторымъ облегченіемъ національнаго гнета и они стали быстро расти, все глубже проникать въ массы и создавать любопытныя явленія. Однако облегченіе гнета всетаки было не Богъ вѣсть какъ велико, а вскорѣ начались самыя очевидныя попытки вернуться къ милому прошлому. Естественно поэтому, что прогрессивныя идеи все еще идутъ въ хвостѣ за національными.

Исторія прогрессивнаго движенія въ Польшѣ тѣсно связана съ именемъ Ал. Свентоховскаго, который выступилъ съ первыми своими статьями въ концѣ шестидесятыхъ годовъ и, въ сущности, такъ и остался типичнымъ шестидесятникомъ, матеріалистомъ въ духѣ «Kraft und Stoff». Но, очень сильный полемическій талантъ, Свентоховскій обличалъ со всеокрушающей мощью шляхетскія и клерикальныя тенденціи своего общества, воспитывалъ массы своихъ поклонниковъ въ духѣ демократизма, самъ былъ libre penseur'омъ и такъ же воздѣйствовалъ своими статьями на массы. Философія Свентоховскаго неглубока и неоригинальна, но значеніе этого человѣка въ исторіи послѣднихъ сорока лѣтъ въ Польшѣ громадно: почти одинъ онъ вынесъ на своихъ плечахъ идею свободнаго развитія личности, одинаково грозно возставая и противъ крайняго націонализма, и противъ социализма. «Узко-партийнымъ дѣятелемъ онъ не былъ никогда, нападалъ на все, отмѣченное буржуазнымъ духомъ даже въ прогрессивномъ лагерѣ, и, наоборотъ, по нѣкоторымъ пунктамъ сходилъ съ неоконсерваторами», говоритъ о немъ русскій историкъ новѣйшей польской литературы, А. И. Яцимирскій («Новѣйшая польская литература. Отъ возстанія 1863 года до нашихъ дней». 2 тома. 1908). Съ 1881 года Свентоховскій былъ редакторомъ еженедѣльнаго журнала *Правда*, въ которомъ онъ писалъ свои блестящіе фельетоны подъ общимъ заглавіемъ «Liberum Veto». Однако почти вся публицистическая дѣятельность этого замѣчательнаго человѣка и писателя относится къ тому періоду, который не входитъ въ рамки настоящей статьи. Достаточно сказать, что имя Свентоховскаго—до сихъ поръ блестящее знамя, подъ которымъ собираются его единомышленники и продолжатели; въ развитіи новѣйшаго прогрессивнаго движенія въ Польшѣ это знамя сыграло, какъ мы увидимъ дальше, весьма видную роль. Но прежде чѣмъ оно развернулось, въ бой за прогрессивныя начала вступили элементы болѣе горячіе, пылкіе и рѣшительные. Одно изъ первыхъ мѣстъ среди нихъ занялъ извѣстный и у насъ писатель, Андрей Нѣмоевскій, оригинальный толкователь восточныхъ легендъ, человѣкъ съ темпераментомъ демагога, какъ бы созданный для того, чтобы каскадами пламенныхъ фразъ

увлекать молодежь и увлекаться самому. И именно въ развитіи школьной забастовки 1905 года Нѣмовскому принадлежитъ выдающаяся роль. И не только въ этомъ. Самый лозунгъ новѣйшаго польскаго политическаго движенія, автономія Польши, былъ сформулированъ именно этимъ писателемъ и его ближайшимъ кружкомъ. Врядъ ли это можно отрицать, хотя, съ другой стороны, конечно, нельзя утверждать, что до 1904 г. это никому не приходило въ голову.

Здѣсь надо остановиться, чтобы еще разъ подчеркнуть удивительное наше взаимное незнакомство. Требованіе автономіи, внесенное во 2-ую Государственную Думу, какъ извѣстно, изумило многихъ русскихъ людей, — и не только очень правыхъ, — своимъ радикализмомъ. Между тѣмъ, сами-то польскіе политики, несомнѣнно, считали первоначально большой уступкой со своей стороны, что они домогаются *только* автономіи. Припомнимъ, что еще въ 1903 году (а отчасти и позже) двѣ политическія партіи, единственно вліятельныя въ Царствѣ Польскомъ въ ту пору, т.-е. народная демократія и польская социалистическая партія, ставили цѣлью переворота, который онѣ надѣялись произвести, независимость Польши въ той или иной государственной формѣ. Конечно, въ кружкахъ много говорилось и объ автономіи, тѣмъ боже, что автономія Галиціи была для всѣхъ ярымъ предметомъ того, какъ можетъ устроиться національная политическая жизнь въ предѣлахъ чужого государства, но объ этомъ именно *говорилось*. Необходимо было эти разрозненные разговоры отлить въ форму какой-нибудь системы политическаго мировоззрѣнія. Для этого же приходилось хоть временно ликвидировать излюбленные, привычные лозунги независимости. Кто могъ рѣшиться на этотъ шагъ? Кто могъ надѣяться, что его не назовутъ измѣнникомъ народнаго дѣла, а станутъ слушать? Конечно, не такъ называемые «уголовцы», совсѣмъ непопулярные въ широкихъ массахъ. Наоборотъ, если бы они выставили эту идею, они дискредитировали бы ее въ сознаніи массъ. Теперь, когда дѣло уже сдѣлано, и идея завоевала себѣ толпу, ея инициаторы склонны рисовать сами себѣ дѣло такъ, что они совершенно сознательно приступили къ ликвидаціи лозунга независимости и созданія новаго лозунга, автономіи. Но едва ли это не самообманъ? По крайней мѣрѣ, тотъ матеріалъ, на который они ссылаются, именно журналъ *Кузница* (о немъ у насъ еще будетъ рѣчь), даетъ совсѣмъ иную картину: чувствуется, что чуткіе публицисты, руководившіе этимъ органомъ, сами переживали тѣ настроенія, которыя назрѣвали въ обществѣ, схватывали ихъ и инстинктивно приспособлялись къ новымъ вѣяніямъ. Начавъ съ очень крайней программы и съ большой нетерпимости по отношенію ко всему русскому, *Кузница* сдѣлалась затѣмъ ареной, на которой ломались копья за *автономію* и за политическое сближеніе съ русскимъ освободительнымъ движеніемъ.

Многіе изъ людей, примыкающихъ къ прогрессивному движенію въ польскомъ обществѣ, отрицаютъ значеніе *Кузницы*. По ихъ словамъ, этотъ журналъ просто служилъ своего рода развлеченіемъ для дачниковъ,

собранныхъ въ Закопанахъ (въ Галиціи), и не оказывалъ никакого вліянія на массы. Это послѣднее возможно. Но, кажется, не подлежитъ сомнѣнію, что та политическая мысль, которая потомъ выразилась въ формѣ всеобщаго требованія автономіи, была сформулирована впервые именно кружкомъ, сгруппировавшимся около *Кузницы*. И сама народная демократія признавала, что названная идея идетъ отъ прогрессистовъ; среди же нихъ кружокъ А. Нѣмовскаго едва ли не первый выставилъ новый лозунгъ польскаго политическаго движенія. Вотъ какъ это произошло, по словамъ одного изъ руководителей *Кузницы*.

Уже въ концѣ 1903 года кружокъ прогрессивно настроенныхъ людей сталъ приходить къ убѣжденію, что въ обществѣ начали терять свою притягательную силу старые лозунги независимости, и что охватившее всю имперію стремленіе къ конституціи раздѣляется и огромнымъ большинствомъ поляковъ, изъ тѣхъ, кто смотрѣлъ реально на вещи. И вотъ рѣшено было сдѣлать попытку раскрыть обществу глаза на совершившуюся въ его мировоззрѣніи перемѣну. Рѣшено было выпустить первый номеръ журнала *Кузница*, который однако въ своихъ странствованіяхъ изъ Варшавы въ Львовъ сильно задержался выходомъ и появился лишь въ мартѣ 1904 г., когда война уже свирѣпствовала. Однако здѣсь еще ни слова ни объ автономіи, ни о конституціи: напротивъ, демократическая и независимая Польская республика, какъ идеалъ будущаго, взята прямо изъ программы польской соціалистической партіи. Но не это было выдвинуто на первый планъ: требованія широкаго общечеловѣческаго прогресса были развиты въ разныхъ статьяхъ перваго номера *Кузница* съ гораздо большимъ вниманіемъ, чѣмъ конечная цѣль политическаго развитія Польши. Ранней весной 1904 г. кружокъ, группировавшійся около журнала, рѣшилъ напечатать въ немъ статью «Конституція въ Россіи и поляки», которая и появилась въ апрѣльской книжкѣ *Кузницы*. Здѣсь высказывалось убѣжденіе, что неудачная война создастъ въ Россіи необходимость перехода къ конституціи. Что же дѣлать при этомъ полякамъ? «Поступимъ такъ, какъ поступаютъ русскіе соціалисты. Не отрекаясь ни отъ своихъ правъ, ни отъ идеаловъ, будемъ участвовать въ борьбѣ ради ниспроверженія самодержавнаго строя и будемъ стремиться къ конституціи въ русскомъ государствѣ. Мы должны позаботиться о томъ, чтобы при распредѣленіи правъ при будущемъ созданіи конституціи получить какъ можно больше, потому что безъ насъ никто не позаботится о насъ». Идея автономіи поставлена здѣсь еще очень широко. «Если Россія хочетъ разрѣшить національный вопросъ съ пользою для себя, своихъ государственныхъ интересовъ, своего внутренняго мира и возможности культурной работы, то она должна превратиться въ федеративное государство и дать покореннымъ народамъ положеніе Венгріи въ Австріи или Баваріи въ Германской имперіи съ подобными отдѣльными конституціями». Послѣ этого авторъ статьи имѣлъ право спросить своихъ читателей, которые по привычкѣ не хотѣли еще слышать ни о чемъ иномъ, кромѣ независимости: какая же

разница между такимъ положеніемъ Польши, какое онъ нарисовалъ, и независимостью?

Почти одновременно съ этимъ въ такихъ же смутныхъ и неопредѣленныхъ выраженіяхъ говорилъ объ автономіи и Кульчицкій въ своемъ *Пролетаріатъ*. Но все это еще далеко не было программой. Это были лишь признаки народненія новаго политическаго мировоззрѣнія, знаменовавшаго весьма важный фактъ, именно: желаніе польскаго народа идти впервые совмѣстно съ русскимъ къ одной *государственной* цѣли—конституціи. Сношенія декабристовъ съ Лукасинскимъ не идутъ въ счетъ уже потому, что все это были замыслы отдѣльныхъ лицъ. Здѣсь же впервые обнаруживалась перемѣна въ политическихъ стремленіяхъ, сначала робко и смутно отмѣченная кружкомъ А. Нѣмовскаго въ его *Кузнитцъ*, потомъ вполне отчетливо вошедшая въ программы и прежнихъ партій, борющихся за «независимость Польши», т. е. народной демократіи и польской социалистической партіи. Группа *Кузнитцы*, въ которой лозунгъ автономіи тоже не замедлилъ вызвать расколъ, выступала все болѣе прямо; наконецъ, было сказано и слово *автономія*.

Это было сказано въ статьѣ «Чего хотятъ массы?» («Czego chce ogół?»), которая появилась въ іюнѣ 1904 г. Здѣсь было смѣло и прямо заявлено въ лицо обществу, что оно не должно само себя обманывать, будто еще вѣрить въ возможность возстанія и пріобрѣтеніе этимъ путемъ независимости. «Масса имѣетъ полное право сказать: я не вѣрю въ *tabula rasa*, не вѣрю въ политическое чудо. Масса имѣетъ полное право сказать: пусть конецъ этой дороги лежитъ гдѣ-нибудь за границей теперешней дѣйствительности, но начало ея должно непременно и обязательно находиться *только* въ предѣлахъ современной дѣйствительности. Скажите мнѣ, что я должна дѣлать *сегодня*, чтобы осуществилось то, что когда-нибудь должно быть. Ждать? Нѣтъ, это утопія. Ни одинъ живой народъ не можетъ ждать. Ожиданіе равно смерти. Скажите мнѣ, что я должна дѣлать, какъ масса, не толпа героевъ, но обычная человѣческая толпа?» На этотъ вопросъ мы находимъ слѣдующій знаменательный отвѣтъ: «Толпа хочетъ польскихъ школъ, польскихъ университетовъ, польскихъ учреждений, толпа хочетъ, если она обязана пока жить въ принужденномъ бракѣ съ русской государственностью, завоевать себѣ хоть какое-нибудь самоуправленіе. А если конституціонныя стремленія, дѣйствительно, охватятъ всю Россію и всѣ народы, съ нею соединенные, то массы польскаго народа не захотятъ и не смогутъ отойти въ сторону, чтобы кто-нибудь рѣшалъ ихъ участь за нихъ, но должны будутъ напомнить о своемъ существованіи, должны будутъ выступить возможно сильно, чтобы съ ними считались». Прежде всего нужна, говоритъ авторъ той же статьи, «какая-нибудь конституція, какая-нибудь *автономія*» и т. д. Итакъ, слово *автономія* было сказано. Но раньше, чѣмъ оно было произнесено въ печати, оно уже прозвучало въ рѣчахъ политическихъ ораторовъ. Вотъ какъ это случилось. Въ апрѣлѣ 1904 года изъ Петербурга пришло предложеніе вступить въ сношенія съ людьми широкаго политическаго мировоззрѣнія.

Это приглашеніе, переданное однимъ русскимъ дѣятелемъ, пріѣхавшимъ изъ Петербурга, сначала какъ-то ошеломило кружокъ прогрессистовъ, собравшихся около *Кузницы*: такъ были непривычны подобныя переговоры. Раздавались голоса, что просто невозможное дѣло, просто грѣхъ вступать въ политическія сношенія съ русскими. Дѣйствительно, первые номера *Кузницы* дышали такой политической нетерпимостью, какой смѣло могли позавидовать тогдашніе органы народной демократіи, и изъ всѣхъ политическихъ организацій, существовавшихъ въ ту пору въ Польшѣ, лишь социалистическія привыкли къ взаимодѣйствию съ русскими. Тѣмъ не менѣе была устроена попытка переговоровъ: 21 апрѣля сошлось до 20 человекъ, примыкавшихъ къ различнымъ партіямъ (и нар.-демократовъ, и социалистовъ, и угодцевъ, и прогрессистовъ, примыкавшихъ къ органу Свентоховскаго *Правдѣ*). Русскій делегатъ развивалъ программу предполагаемой русской конституціи, и впечатлѣніе, вынесенное членами конференціи, какъ мнѣ говорилъ одинъ изъ нихъ, было радостное и свѣтлое. Но за ночь впечатлѣніе остыло; начался анализъ, и въ результатъ на слѣдующемъ собраніи (9—22 апрѣля) оказалась сильная оппозиція: она твердила, что отъ лозунга независимости отказаться нельзя, и что нечего и думать о такомъ отреченіи отъ стараго знамени, какъ признаніе *автономіи*. Однако отъ этого засѣданія, какъ оно ни представлялось сразу бесплоднымъ, началось новое движеніе въ польской социалистической партіи, приведшее къ расколу ея на почвѣ вопроса объ автономіи (см. первое письмо *Русская Мысль*, мартъ). На третій день, 23 апрѣля, на собесѣдованіе съ русскимъ делегатомъ рѣшились придти лишь двое. Однако, видимый неуспѣхъ переговоровъ не отпугнулъ редакцію *Кузницы* отъ ея идеи: напротивъ, она рѣшила далѣе отстаивать мысли о конституціи въ Россіи и автономіи въ Польшѣ. Надо было, прежде всего, вступить въ сношенія съ наиболее близкой по настроенію партіей, т.-е. съ социалистами. Для этой цѣли въ Кіевъ съѣхались делегаты отъ обѣихъ организацій, которые однако опять-таки не пришли къ соглашенію по вопросу объ автономіи. Но, во всякомъ случаѣ, расколъ въ польской социалистической партіи сталъ намѣчатся все болѣе явственно. Въ сентябрѣ, какъ сообщаетъ *Кузница* (№ 7), комитетъ партіи въ Парижѣ принялъ въ свою программу автономію; нѣсколько позже представительница народно-демократической партіи, такъ называемой *Liga Narodowa*, выпустила прокламацію, въ которой уже прямо подготавливала массы къ идеѣ автономіи (см. «Главные теченія польской политической мысли», стр. 463—464). Въ декабрѣ того же года выступилъ на сцену державшійся пока въ сторонѣ старый апостолъ прогрессивныхъ стремленій въ Польшѣ, все еще окруженный среди молодежи обаяніемъ, А. Свентоховскій. Въ программѣ прогрессивно-демократическаго кружка, организованнаго имъ, была выставлена на первое мѣсто автономія Польши. Такъ, съ разныхъ сторонъ сходились къ новому знамени. Русское освободительное движеніе, вступивъ въ общеніе съ польскими политическими требованіями, сдѣлало бы большую логическую и тактическую ошибку, если бы на эти

единодушныя требованія автономіи, которая казалась польскимъ политическимъ партіямъ громадной *уступкой* послѣ ихъ прежнихъ стремленій къ полной независимости, — если бы оно отвѣтило на это: *non possumus*. Не въ силу какого-нибудь оппортунизма, а лишь считаясь съ требованіями реальныхъ политическихъ соотношеній, съѣздъ представителей земскаго и городского самоуправленій въ апрѣлѣ 1905 года «призналъ необходимость автономнаго устройства Царства Польскаго» (см. «Главныя теч.», стр. 545). Такимъ образомъ, *Кузница* сдѣлала свое дѣло. Къ тому же послѣ февральскаго митинга по школьному вопросу (см. тамъ же, стр. 525 и дал.) часть редакціи была выслана за границу. Рѣшено было прекратить изданіе этого журнала. Теперь пришелъ чередъ движенію явному и легальному, которое могло бы опереться на общепризнанный авторитетъ. Этимъ авторитетомъ явился А. Свентоховскій, съ именемъ котораго связано такъ много въ исторіи польской политической мысли. Самъ Свентоховскій опредѣляетъ генезисъ своей партіи въ слѣдующихъ словахъ: «Угодовцы, парализованные упрямой и несправимой вѣрой во всемогущество правительства и въ его склонность къ уступкамъ, проявили полное политическое безсиліе и бесплодность. Народные демократы представляли изъ себя толпу вертящихся на одномъ мѣстѣ и издающихъ одни и тѣ же шовинистическія восклицанія политическихъ дервишей, которые продолжали издавна оплевывать даже борцовъ за свободу въ Россіи. Этимъ путемъ обнаружилась необходимость и потребность образованія новой политической организаціи, которая бы 1) заняла во всякомъ социальномъ вопросѣ наиболѣе радикальное и прогрессивное положеніе, такое положеніе, которое было бы возможно при современныхъ общихъ и мѣстныхъ условіяхъ и давало бы себя отстоять; 2) въ политическомъ же отношеніи стремилась къ возможному выдѣленію и обособленію польскаго народа. Эта группа, подъ именемъ «прогрессивно-демократическаго союза», соединила настоящій общественный радикализмъ съ горячимъ политическимъ патріотизмомъ» (*Prawda*, № 18 за 1906 г.). Такая общая программа, первоначально намѣченная кружкомъ, — кружкомъ, я сказалъ бы, личныхъ почитателей Свентоховскаго, — объединила самые различныя по своему политическому настроенію элементы: здѣсь были и вполне опредѣленные социалисты, и прогрессисты, которые потомъ вошли въ блокъ съ народно-демократической партіей. 1 января 1905 года новая партія заявила о своемъ существованіи программой, которая, по собственному заявленію составителей, была лишь эскизомъ, заключающимъ указанія только на то, чего слѣдуетъ желать, а не на то, что нужно дѣлать. На первый планъ здѣсь была выставлена автономія Польши и возвращеніе правъ національному языку. По этому вопросу программа давала слѣдующее толкованіе: «Своимъ значеніемъ польскій языкъ (т.-е. право пользоваться польскимъ языкомъ) стоитъ выше всѣхъ другихъ общественныхъ благъ, и даже отчасти самъ даетъ имъ цѣнность, не только потому, что онъ наилучшимъ образомъ удовлетворяетъ наши духовныя потребности и составляетъ главный продуктъ нашей культуры, но и потому, что онъ создаетъ

наибольше крѣпкую оборону нашей народности отъ враждебныхъ покушеній на нее. Требованіе языка должно быть безусловнымъ, безъ всякихъ ограниченій и исключеній».

Сама по себѣ программа только что возникшаго прогрессивно-демократическаго союза очень радикальна, но необходимо принять во вниманіе психологическій моментъ, когда она возникла: этотъ моментъ весьма мало благоприятствовалъ умѣренности политическихъ программъ, а если мы сравнимъ программы дѣйствительно радикальныхъ партій, народно-демократической и социалистической, то мы увидимъ, что пожеланія союза были гораздо ближе къ осуществленію, чѣмъ эти программы. Вотъ почему его основатели сочли нужнымъ прибавить, что выставленная ими программа не представляетъ собою политическаго идеала поляковъ, но «можетъ быть мѣрой ихъ политическаго удовлетворенія въ настоящихъ условіяхъ», — удовлетворенія, которое необходимо въ равной мѣрѣ и самой имперіи, какъ это обстоятельно доказывается въ концѣ январскаго манифеста партіи. Однако такія общія начала, какія были здѣсь указаны, не могли соответствовать политическому значенію партіи, которая хотѣла сыграть видную роль въ освободительномъ движеніи Польши. Поэтому ея дѣятельность должна была сосредоточиться прежде всего на выработкѣ подробнаго проекта автономіи, который и былъ готовъ въ началѣ мая 1905 года. Здѣсь были опредѣлены границы автономіи, ея гарантіи, роль намѣстника и составъ мѣстной администраціи. Не лишено интереса сравненіе этого проекта съ тѣмъ законопроектomъ, который былъ внесенъ представителями Царства Польскаго во вторую Государственную Думу (онъ перепечатанъ въ приложеніи къ «Главн. течен. польск. полит. мысли»). Общія основы политической программы прогрессивно-демократической партіи были напечатаны въ *Руси* (№ 158 за 1904 г.) и потомъ переизданы въ книгѣ «Польскій вопросъ въ газетѣ *Русь*» (т. I, 28 марта 1904 г.—18 февраля 1905 г.).

Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ можно замѣтить непосредственное вліяніе проекта автономіи, составленнаго прогрессивно-демократическимъ союзомъ въ маѣ 1905 г., на законопроектъ, внесенный польскимъ коломъ во вторую Государственную Думу 10 апрѣля 1907 г. Такъ, наприм., при перечисленіи доходовъ Царства Польскаго разсмотрѣна тутъ и тамъ такая мелочь, какъ распредѣленіе таможенныхъ пошлинъ; размѣръ упadaющей на казну Царства Польскаго доли по всѣмъ общегосударственнымъ расходамъ опредѣляется по обоимъ проектамъ согласно даннымъ переписи народонаселенія, производимой каждыя десять лѣтъ. Сеймъ по обоимъ законопроектамъ избирается на основаніи четырехчленной формулы; во главѣ мѣстнаго правительства оба они ставятъ намѣстника и т. д. Однако за два года много воды утекло, и разница въ политическомъ настроеніи страны между 1905 и 1907 гг. отразилась въ содержаніи проектовъ. По автономіи, которой добивалось польское коло, военное устройство страны обойдено полнымъ молчаніемъ, тогда какъ прогрессивно-демократическій союзъ требовалъ отбыванія воинской повинности на родинѣ. Или онъ допускалъ участіе въ Государствен-

ной Думѣ лишь для делегации сейма, тогда какъ законопроектъ польскаго коло признавалъ необходимымъ избраніе въ Государственную Думу представителей на общихъ съ населеніемъ имперіи основаніяхъ. Вообще, этотъ послѣдній проектъ представляетъ продуктъ гораздо болѣе зрѣлой политической мысли: здѣсь разработано совѣмъ пропущенное тамъ судебное устройство страны, обойдены многіе подводные камни, по которымъ смѣло пускалась ладья прогрессивно-демократическаго союза (наприм., административный совѣтъ при намѣстникѣ и т. д.), подчеркнуто стремленіе Царства Польскаго уважать національные права русскаго населенія Польши и т. п. Тѣмъ не менѣе, за разсмотрѣннымъ проектомъ прогрессивно-демократическаго союза остается та заслуга, что онъ былъ именно проводникомъ идеи автономнаго строя въ Царствѣ Польскомъ въ широкихъ массахъ интеллигенціи, какъ за *Кузницей* остается заслуга родоначальницы этой идеи. Слѣдующимъ актомъ дѣятельности союза было обращеніе къ избирателямъ, изданное черезъ нѣсколько дней послѣ манифеста 17 октября. Тонъ этого обращенія повышенный, а требованія категоричны. «Выбирайте въ Думу делегатовъ,— говорится здѣсь,—которые ясно и открыто обяжутся вамъ, что: 1) смѣло будутъ протестовать противъ собранія, созданнаго съ помощью ограниченнаго ценза; 2) примутъ участіе во всѣхъ реформаціонныхъ начинаніяхъ русскаго либерализма, стремящихся къ преобразованію государства въ конституціонномъ духѣ; 3) будутъ настаивать на обезпеченной и гарантированной автономіи Царства Польскаго съ законодательнымъ сеймомъ для мѣстныхъ дѣлъ; 4) не будутъ участвовать въ совѣщаніяхъ и голосованіяхъ не измѣненной Думы (*nie zmienionej*), пока эта автономія не будетъ ею принципиально признана. Итакъ, кончаетъ прокламація, войдемъ въ Думу лишь затѣмъ, чтобы принести изъ нея нашему народу автономію съ польскимъ законодательнымъ сеймомъ въ Варшавѣ. Таковъ нашъ общій для настоящаго времени лозунгъ».

Между тѣмъ событія быстро шли впередъ. Революція выдвинула на первый планъ социальныя требованія, а именно социальная программа прогрессивно-демократическаго союза была особенно слабо разработана. Въ виду этого было рѣшено выработать новую программу, которая и появилась уже весной 1906 г. На первый планъ здѣсь была выдвинута необходимость уничтоженія привилегій капитала и освобожденіе труда съ помощью демократическихъ реформъ, которыя должны постепенно измѣнить, преобразовать современную экономическую организацію. Такая организація должна опираться на принципахъ социализаціи труда, а въ ближайшемъ будущемъ законодательство должно гарантировать трудящимся классамъ дѣйствительную защиту ихъ интересовъ. Подробности программы я опускаю, такъ какъ онѣ развиваютъ лишь вышесказанныя начала. Прогрессивно-демократическій союзъ явно склонился къ компромиссу съ социалистами. Тѣмъ не менѣе, именно этихъ послѣднихъ ему не удалось удержать въ своихъ рядахъ: въ маѣ 1906 года они вышли изъ союза (*Сѣрошевскій, Херингъ и другіе*), такъ какъ польская социалистическая

партия запретила своимъ членамъ принадлежать къ какой-либо другой организаціи. Вообще, въ сношеніяхъ съ социализмомъ союзу какъ-то не повезло: вмѣстѣ съ социалистическими партіями въ Польшѣ онъ рѣшилъ бойкотировать выборы въ первую Государственную Думу. Когда же выборы въ Россіи достаточно обнаружили, каковъ будетъ составъ будущей Государственной Думы, бойкотъ былъ снятъ. Оба эти шага вызвали только насмѣшки со стороны социалистовъ. Чуткій къ требованіямъ жизни, прогрессивно-демократическій союзъ рѣшилъ выработать также собственную аграрную программу, которая и была составлена въ февралѣ же 1906 г., но очень слѣпшо, и многихъ не удовлетворила. Достаточно привести первый параграфъ этой программы, чтобы замѣтить ея неопредѣленность. Вотъ онъ: «Прогрессивно-демократическій союзъ исходитъ изъ убѣжденія, что идеаль экономическаго развитія въ области земледѣлія заключается въ томъ, чтобы земля сдѣлалась собственностью страны. Однако, достиженіе этого представляетъ еще очень отдаленную цѣль, которая не можетъ быть осуществлена при настоящихъ социальныхъ условіяхъ. Поэтому такое развитіе должно совершаться въ переходныхъ формахъ, смягчающихъ его рѣзкія измѣненія».

Такой переходной формой программа признаетъ раздѣлъ земли между наибольшимъ числомъ лицъ, трудящихся на ней.

Какъ мы отсюда видимъ, социальная и аграрная программы союза стремились приблизиться къ социализму. Но это, не сблизивъ союза съ социалистическими партіями, отпугнуло не мало буржуазныхъ элементовъ, входившихъ въ союзъ. Они вышли изъ партіи, въ которой осталась лишь радикальная интеллигенція, близкая по своему политическому міровоззрѣнію къ лѣвому крылу нашей конституціонно-демократической партіи. Къ тому же въ партіи произошелъ новый расколъ. Уже въ февралѣ 1906 г. вопросы тактики, а отчасти и программные привели къ ряду недоразумѣній между членами союза. Именно, существовавшій уже и ранѣе демократическій союзъ варшавской адвокатуры преобразовался въ общій демократическій союзъ, который настаивалъ на участіи прогрессивныхъ элементовъ въ выборахъ, а также выступилъ противъ четырехчленной избирательной формулы, выставленной въ программѣ партіи (рѣчь Г. Коница на митингѣ адвокатовъ въ концѣ 1905 г.). Такимъ образомъ, прогрессивно-демократическій союзъ распался, а нововозникшій просто Демократическій союзъ началъ дальнѣйшую эволюцію. Разумѣется, и онъ выработалъ свой проектъ автономіи Польши. Надо отмѣтить, что этотъ проектъ, въ значительной степени копируя проектъ прогрессивно-демократическаго союза, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ разработанъ гораздо детальнѣе и очень близокъ къ тому, который внесло во вторую Государственную Думу польское коло. Такъ, наприм., мы находимъ здѣсь требованіе назначенія министра и дѣламъ Царства Польскаго изъ гражданъ его, — требованіе, о которомъ нѣтъ еще ни слова въ первомъ законопроектѣ.

Такъ постепенно польская политическая мысль всѣхъ оттѣнковъ раз-

биралась въ самомъ существенномъ для нея вопросѣ—автономіи. Въ то же время проектъ автономіи выработала и народная демократія. Идя далѣе путемъ естественнаго развитія, демократическій союзъ превращался въ самостоятельную партію, состоявшую преимущественно изъ адвокатуры и незначительнаго кружка лицъ свободныхъ интеллигентныхъ профессій. Лѣтомъ 1906 г. онъ преобразовался въ польскую прогрессивную партію, программа которой близка къ прежней программѣ прогрессивно-демократическаго союза, но намѣчена лишь въ общихъ чертахъ и не представляетъ интереса въ смыслѣ какого-нибудь новаго шага въ развитіи польской политической мысли. Эта партія вступила передъ выборами во вторую Думу въ блокъ съ народной демократіей и партіей реальной политики, выставила изъ своихъ рядовъ Г. Коница, издавала въ продолженіе короткаго времени газету *Переломъ*, но не совершила ничего выдающагося. Тѣмъ не менѣе было бы несправедливо сказать, что прогрессивное движеніе ограничивалось указанными рамками, не вносило никакой свѣжей струи въ настроеніе интеллигенціи, не проникало въ народныя массы. Напротивъ, въ рамки той или другой прогрессивной организаціи уложилось очень немного изъ того, что назрѣвало въ обществѣ и народѣ. Важно было, что многіе изъ ненарушимыхъ недавно членовъ націоналистическаго символа вѣры были поколеблены, что общеніе съ прогрессивными теченіями всей Имперіи, нашедшими такое яркое выраженіе въ первой Государственной Думѣ, общеніе хотя бы путемъ печати, выражавшееся хотя бы въ тайномъ сочувствіи къ лозунгамъ широкой освободительной политики, давало новое направленіе политической мысли все болѣе широкихъ массъ. Смѣлыя и новыя рѣчи, раздававшіяся подъ ветхими сводами Таврическаго дворца, находили отзвукъ во всѣхъ частяхъ государства, а польскій народъ, отъ мала до велика, былъ настроенъ оппозиціонно, и уже потому въ массѣ общества было живое сочувствіе къ дѣятельности первой Думы. Передъ выборами во вторую Думу образовались два блока: въ одинъ вошли уже перечисленныя «народныя» партіи, въ другой—партіи социалистическая и прогрессивная демократія. Мнѣ привелось быть на нѣсколькихъ предвыборныхъ собраніяхъ обоихъ блоковъ: характерно, что представителямъ польскаго кола въ первой Государственной Думѣ, выставившимъ свою кандидатуру и во вторую Думу, приходилось оправдывать свой отказъ отъ участія въ выборскомъ воззваніи указаніемъ на то, что они всетаки держали высоко знамя оппозиціи. Блокъ «прогрессивныхъ» партій устроилъ тоже нѣсколько собраній: рѣчи, раздававшіяся на нихъ, звучали такой широкой терпимостью, такимъ искреннимъ стремленіемъ къ свободѣ для всѣхъ и равноправію всѣхъ, и, наконецъ, залы были такъ переполнены, а ораторы встрѣчали такое горячее сочувствіе, что, дѣйствительно, я почувствовалъ, какъ глубоко въ массахъ польскаго общества лежитъ уваженіе къ прогрессивнымъ гуманнымъ, шлюкимъ, общечеловѣческимъ началамъ, несмотря на то, что жизнь выставила прежде всего требованіе сохраненія своего національнаго я. Поэтому

всёцѣло оппозиціонная дѣятельность польскаго коло во второй Государственной Думѣ встрѣчала сочувствіе во всёхъ партіяхъ, кромѣ развѣ немногихъ крайнихъ «реалистовъ». Отвѣтомъ на эту дѣятельность было ограниченіе числа польскихъ депутатовъ, созданіе такого усовершенствованія выборныхъ законовъ, какъ депутатъ отъ русскаго населенія г. Варшавы и т. д.

Послѣ этого отступленія вернемся къ связанному разсказу о развитіи прогрессивнаго движенія въ Польшѣ, поскольку оно выразилось въ извѣстныхъ организаціяхъ. Въ 1906 г. возникло подъ главнымъ руководствомъ Свентоховскаго и Брживицкаго «Общество польской культуры», которое оказываетъ содѣйствіе культурнымъ начинаніямъ, устраиваетъ публичныя лекціи, экскурсіи, думало было организовать посредничество между трудомъ и капиталомъ и т. д.

Военное положеніе и реакція, разумѣется, не даютъ молодому обществу развитъ свои силы, и оно влечитъ пока довольно жалкое существованіе. Политическія партіи, легализованная «Польская прогрессивная партія» и нелегализованный прогрессивно-демократическій союзъ, существовали другъ около друга безъ всякой надобности, дробя свои силы и средства. Естественно возникла мысль соединить эти общества, дать имъ легальное существованіе въ одной политической организаціи. Такимъ явилось «Польское прогрессивное сообщество», легализованное 7 января 1908 г. Программа его опредѣляется въ слѣдующихъ словахъ: «Польское прогрессивное сообщество во имя «Родины и прогресса» стремится къ преобразованію общественныхъ отношеній въ Царствѣ Польскомъ въ духѣ демократизаціи края и къ объединенію подъ своимъ знаменемъ возможно широкіхъ слоевъ польскаго общества». Это и все. Объ автономіи здѣсь ни слуху, ни духу: понятное дѣло. Вѣдь то, что было возможно въ 1905 г., «крамольно» въ 1908 г., и нельзя сомнѣваться, что при требованіи автономіи не только общество не было бы легализовано, но и основатели его проѣхались бы не въ столь отдаленныя мѣста. Одна изъ цѣлей новой политической организаціи—вырвать народныя массы изъ рукъ народной демократіи, но надо признать, что до осуществленія цѣли этой еще очень далеко, потому что правительственный режимъ въ Польшѣ дѣлаетъ все, чтобы поддержать въ народѣ обостренное національное чувство. Во всякомъ случаѣ, черезъ 3—4 мѣсяца своего существованія новое общество насчитываетъ въ одной Варшавѣ до 1,000 членовъ, обладаетъ цѣлымъ рядомъ автономныхъ отдѣленій въ различныхъ городахъ Царства Польскаго (въ Радомѣ, Люблинѣ, Плоцѣ, Лодзи, Ченстоховѣ, Ломжѣ и Сосновицахъ); наконецъ, съ апрѣля 1908 г. издаетъ собственный органъ, старую *Правду* Свентоховскаго, въ которой пишетъ и этотъ родоначальникъ прогрессивныхъ стремленій въ Польшѣ 60-хъ годовъ.

Объ этомъ органѣ необходимо сказать нѣсколько словъ. Поскольку можно судить о направленіи его по тѣмъ восьми номерамъ, которые вышли въ свѣтъ, когда я пишу эту статью, журналъ отстаиваетъ общепрогрессив-

ные принципы въ націоналистической окраски ихъ, какъ это дѣлала, наприим., польская социалистическая партія. Такъ, наприим., *Правда* выступила съ рѣзкой критикой польскаго коло по поводу его отказа въ голосованіи средствъ на народное образованіе: по ея мнѣнію, «это характерное, почти неизбежное проявленіе націоналистическаго направленія». По поводу убійства намѣстника Галиціи, гр. Андрея Потоцкаго, тотъ же органъ выразился слѣдующимъ образомъ: «Только развитіе современной демократіи и культуры можетъ привести къ согласному сохраненію двухъ братскихъ народовъ. И убитый намѣстникъ Галиціи, и его убійца—оба жертвы варварскаго націонализма дикой и некультурной руссинской народной демократіи». Когда мариавиты (о нихъ еще будетъ рѣчь ниже) ввели польскій языкъ въ богослуженіе, *Правда* встрѣтила это начинаніе съ глубокимъ сочувствіемъ и указала на то, какое значеніе въ жизни польскаго крестьянина можетъ имѣть эта реформа. Въ отношеніи къ крестьянамъ органъ стоитъ на трезвой точкѣ зрѣнія равноправія и совершенно чуждъ той сентиментальной идеализации, которой когда-то (лѣтъ двадцать тому назадъ) страдала зарождающаяся народная демократія; *Правда* не идеализируетъ крестьянской «темноты», но настаиваетъ на необходимости разсѣивать ее грамотностью и привлеченіемъ массъ къ широкой самодѣятельности. Иначе не станетъ возможнымъ и самое существованіе прогрессивной польской интеллигенціи, какъ нѣтъ ея, наприим., въ Познани, гдѣ все ушло въ національную борьбу.

Уже изъ этихъ краткихъ выдержекъ можно видѣть, что органъ новой прогрессивной партіи не сходитъ съ почвы общихъ прогрессивныхъ стремленій. И въ этомъ отношеніи онъ не одинокъ: газеты *Утреннее Обозрѣніе* и *Новая Газета*, журналы *Свободное Слово*, *Независимая Мысль*, *Польское Дѣло* и др. отстаиваютъ тоже прогрессивные принципы, чуждые націонализма и клерикализма.

Правда, нѣкоторые изъ названныхъ журналовъ ведутъ весьма тяжелое существованіе и далеко не обеспечены подпиской, тѣмъ не менѣе они дѣлаютъ изо дня въ день свое дѣло, борясь съ нетерпимостью господствующей политической партіи, народной демократіи, раскрывая съ неумолимой послѣдовательностью промахи польскаго коло и т. д. Въ своихъ сужденіяхъ, мнѣ кажется, они иногда даже слишкомъ радикальны, не желая сойти съ партійной точки зрѣнія и рассмотреть объективно, возможно ли теперь, въ настоящихъ политическихъ условіяхъ, не быть узкимъ націоналистомъ для человѣка, который силою чрезвычайныхъ личныхъ усилій не сумѣетъ взглянуть на настоящее глазами историка. Какъ бы то ни было, струя прогрессивнаго теченія все расширяется и уже уходитъ въ почву, откуда поднимаются, орошенные ею, ростки новаго народнаго міровоззрѣнія.

Одно изъ характернѣйшихъ и любопытнѣйшихъ проявленій его представляютъ «кружки Сташица»*), на которые не замедлилъ поступить со сто-

*) Сташицъ—извѣстный либеральный дѣятель въ Польшѣ начала XIX вѣка.

роны клерикальных элементов доносъ. На самомъ же дѣлѣ, кружки Сташица вращаются вполнѣ въ области «легальныхъ» дѣяній, обеспечивая своимъ членамъ помощь экономическую и юридическую. Каждую волость представляеть автономный кружокъ, который подчиняется главному совѣту, какъ законодательной власти, и главному управленію, какъ исполнительному органу. Въ предѣлахъ же своей мѣстной дѣятельности каждый кружокъ представляеть единицу независимую и автономную, какъ только найдется 10 человекъ, желающихъ образоватъ «кружокъ». Путемъ поднятія просвѣщенія, благосостоянія, нравственности простого люда (*ludu*), путемъ привлеченія его къ пользованію всеми гражданскими правами общество земледѣльческихъ кружковъ имени Сташица стремится поставить польскій простой людъ на мѣсто, принадлежащее ему въ народѣ. Для достиженія этой великой цѣли общество намѣрено устраивать въ странѣ земледѣльческіе кружки, которые будутъ приучать польскій людъ къ самостоятельной общей работѣ для умноженія благосостоянія и матеріальныхъ и духовныхъ силъ единицы, громады, народа. Такъ гласятъ первые два параграфа правилъ разсматриваемаго общества.

Я не буду останавливаться на уставѣ этого общества, но считаю необходимымъ разсказать объ его происхожденіи и распространеніи: почти исключительно крестьянское, общество, разбившееся уже теперь на 73 мѣстныхъ кружка (это число мнѣ назвалъ человекъ, стоящій очень близко къ Сташицовесямъ кружкамъ, тогда какъ въ журналѣ *Правда* № 16 за 1908 г. ошибочно приведено меньшее число, всего 50), представляеть явленіе весьма любопытное. Это своего рода «крестьянскій союзъ», но съ цѣлями исключительно культурными, союзъ, уклоняющійся отъ всякой политической борьбы и желающій разбудить мысль крестьянина въ предѣлахъ общаго прогрессивнаго міровоззрѣнія. Мысль образоватъ этотъ своеобразный земледѣльческій союзъ возникла среди крестьянъ Радиминскаго уѣзда въ июлѣ 1906 года; за короткое время былъ выработанъ уставъ, который и былъ легализированъ въ октябрѣ того же года; уставъ составилъ «крестьянскій адвокатъ», прис. пов. Галецкій, которому принадлежить, вообще, весьма видная роль въ организациі новѣйшаго культурнаго крестьянскаго движенія, чуждающагося политики, но не избѣгающаго, тѣмъ не менѣе, преслѣдованій со стороны правительства. Въ началѣ декабря того же года произошло первое организаціонное собраніе въ Глуцѣ, не далеко отъ Варшавы, въ которомъ приняло участіе до 300 лицъ. Въ скоромъ времени образовался и первый кружокъ, за которымъ послѣдовали другіе. Въ настоящее время ихъ всего больше въ Петроковской губерніи, что объясняется, вѣроятно, близостью крупныхъ промышленныхъ центровъ и общимъ подъемомъ культуры вслѣдствіе общенія крестьянъ съ рабочимъ классомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что кружки Сташицы составили здѣсь сильную конкуренцію распространенію среди крестьянъ социализма, — распространенію, о которомъ я говорилъ и въ своей книгѣ «Главные теченія польской политической мысли». За Петроковской губер-

ней слѣдуетъ другая промышленная губернія, Варшавская; по мѣрѣ удаленія отъ центровъ фабричной промышленности падаетъ и число кружковъ имени Сташица: такъ, ихъ меньше всего въ Ломжинской, Радомской и Сѣдлецкой губерніяхъ. Въ декабрѣ 1907 года, черезъ годъ послѣ возникновенія перваго кружка, въ Варшавѣ происходилъ первый трехдневный съѣздъ представителей кружковъ, на который съѣхалось, по моимъ свѣдѣніямъ, до 170 человекъ (въ *Правдѣ* число меньше, лишь 85). Здѣсь былъ доложенъ отчетъ общества и произведены выборы правленія. Во главѣ его всталъ крестьянинъ Келякъ, редакторъ журнала *Siewba*, личность оригинальная и сильная; въ секретари были выбраны «крестьянскій адвокатъ» Галецкій и знатокъ народнаго быта Малиновскій. Какъ правильно отмѣчаетъ корреспондентъ *Правды*, общество имени Сташица представляетъ собой совершенно демократическую, насквозь крестьянскую организацію, руководимую крестьянами и нѣсколькими «народниками» новѣйшаго типа. Въ числѣ этихъ послѣднихъ мы находимъ и весьма своеобразнаго человека, ксендза Вислоуха, глубоко религіознаго человека, выступающаго съ обвиненіями противъ господствующей (католической) церкви во имя чистоты своей вѣры. Личность Вислоуха, какъ и возникновеніе секты мариавитовъ, обнаруживаетъ, что въ народномъ отношеніи къ католической церкви совершается какой-то переворотъ: деревенскіе ксендзы, не всегда лишеныя корыстолюбія, не всегда ведущіе примѣрный образъ жизни, вызываютъ въ народныхъ массахъ протестъ. Само собою разумѣется, что реакціонный клерикализмъ занялъ по отношенію къ кружкамъ имени Сташица, какъ и по отношенію къ крестьянскому журналу, позицію непримиримую; нападки *Католическаго Обозрѣнія* (нѣчто въ родѣ нашихъ епархіальныхъ вѣдомостей) достигли своей цѣли: 5 мая журналъ *Siewba* (*Стебъ*) закрытъ, по распоряженію генералъ-губернатора, на все время военнаго положенія. Этого-то и опасались руководители журнала, которые даже просили меня писать объ ихъ журналѣ возможно глухо и осторожно, такъ какъ привлечь на него вниманіе мѣстной администраціи далеко не безопасно, какъ бы ни былъ лояленъ журналъ. Къ нему мы и обратимся теперь. О *Стебѣ* я уже писалъ въ газетѣ *Речь* въ началѣ мая этого года, какъ только журналъ былъ закрытъ.

Попытки издавать журналъ для крестьянъ въ Польшѣ не новы. Уже въ 1883 году группа интеллигенціи (подъ руководствомъ г. Малиновскаго) основала журналъ *Зарю*, который просуществовалъ благополучно до 1902 года, а потомъ былъ прихлонутъ, но возродился подъ именемъ *Ранняя Утра* (*Zaranie*). Онъ имѣлъ въ лучшія времена до 11,000 подписчиковъ; теперь съ основаніемъ *Стеба* и по другимъ причинамъ это число сильно упало и не достигаетъ 2,000. Зато быстро развивалась *Siewba*, заведенная и редактируемая крестьянами. Первый номеръ ея вышелъ 3 ноября 1906 года, и за полтора года своего существованія она достигла почти 2,300 подписчиковъ; спросъ на эту крестьянскую газету все возрасталъ, и неожиданное закрытіе ея, которое входитъ въ систему «руссификаціи»,

слова распустившей свои черныя крылья, лишаетъ народъ удовлетворенія одной изъ его насущныхъ, такъ опредѣленно сознанныхъ потребностей. Потребность эта — имѣть *свой* органъ, гдѣ сами крестьяне могли бы выражать *свои* чувства и мысли. Крестьяне не разъ обнаруживаютъ здѣсь желаніе порвать съ традиціями шляхты, съ ея исторіей. «Дорога, которую мы прошли, — говоритъ одинъ изъ публицистовъ *Siewby* (№ 12, за 1906 годъ), — очень велика, что-то около 400 лѣтъ, и очень печальна эта дорога; идя по ней, идя вслѣдъ за своими предводителями, народъ пришелъ въ страну, которая называется *рабствомъ* и *униженіемъ*. Но онъ не самъ пришелъ сюда, его привели; руководимый недобросовѣстными проводниками, народъ попалъ въ болото, нужду, пьянство, мракъ и безпорядокъ. И не удивительно, что онъ проклялъ эту дорогу, что онъ не хочетъ идти по ней дальше. Народъ хочетъ идти своимъ путемъ, народъ уже пересталъ вѣрить тѣмъ, которые вели его до сихъ поръ, ибо онъ замѣтилъ, что вели его плохо. Такъ почему же вы, которые привели его на край пропасти, говорите, что вели его хорошо? Почему вы упорно хотите и впредь руководить этимъ народомъ, разъ вы знаете, что сами не можете найти дороги для того, чтобы быть полезными проводниками? Прошлое свидѣтельствуетъ, что вы недобросовѣстны, просто нечестны. Такъ почему же вы хотите быть руководителями народа? Почему вы не хотите понять духа времени, который теперь, во всякомъ случаѣ, иной, чѣмъ въ былые дни? Народъ уже не хочетъ идти за вами; чего же вы тянете его за собою насильно? Развѣ вы не хотите, развѣ вы не можете понять, что наступаютъ уже инныя времена? Помните, что, если вы не пойдете съ народомъ, вы останетесь одиноки, потому что съ вами никто не пойдетъ. Или вы хотите удержать на мѣстѣ могучую волну новыхъ идей и полагаете, что это удастся вамъ? Только слѣпые могутъ не видѣть, что все вокругъ измѣняется; только глупый не можетъ понять, что новыя идеи, идеи добра, побѣдятъ. Оставайтесь же со своими пороками, со своими слѣпыми глазами совъ, которыя боятся солнца, и со своими выходками, но не принуждайте же никого идти съ вами туда, куда вы плететесь. Потому что даромъ пропадутъ ваши злыя пожеланія, ваши проклятія, ваши угрозы, которыхъ вы не шадите намъ, если вы не пойдете вмѣстѣ съ народомъ по дорогѣ къ свѣту, къ которому онъ стремится, несмотря ни на что. Оставайтесь одни, потому что никто не захочетъ идти съ вами и не пойдетъ. А ты, польскій людъ, иди впередъ и стань добрымъ, и тогда будешь могучимъ и сильнымъ. Итакъ, вмѣстѣ и впередъ!»

Такимъ рѣзкимъ языкомъ крестьянскій журналъ говоритъ съ дворянской интеллигенціей, лелѣющей идеалы народной демократіи, и съ духовенствомъ. А вотъ обращеніе крестьянина «изъ-подъ Радимины» къ редакціи прогрессивной газеты *Народъ*: «Удивляетъ меня, что вы, господ изъ *Народа*, вмѣсто того, чтобы идти съ крестьяниномъ рука въ руку ровно, взаимно помогая другъ другу, непремѣнно хотите управлять крестьяниномъ, держать его крѣпко, за «морду»... Придетъ время: польскій

людь разберется въ васъ, вы сами поможете ему въ этомъ!» Противъ клерикализма, противъ вербовки ксендзами членовъ въ «Католическій союзъ» — свѣдѣнія объ этомъ союзѣ, исторія котораго завела бы насъ слишкомъ далеко, можно найти въ газетѣ *Правда* (отъ 6 іюня нов. ст. 1908 г.) и т. п. въ журналѣ встаютъ крестьяне и капуцинскій священникъ Вислоухъ.

Вчитываясь въ *Siewb'y*, приходишь къ глубокому убѣжденію, что въ мировоззрѣніи польскаго крестьянина происходитъ какая-то глубокая реформа, еще не вездѣ ясная, но неизбежная, и выражается этотъ переворотъ, прежде всего, въ перемѣнѣ отношенія народа къ церкви, въ потерѣ ксендзомъ того обаянія, которымъ онъ пользовался безраздѣльно въ теченіе долгихъ лѣтъ.

Ярко и бурно сказался этотъ переворотъ въ томъ развитіи, которое получила секта маріавитовъ, возникшая въ концѣ 1905 года и насчитывающая теперь до 180,000 послѣдователей, число которыхъ все растетъ. Возникновеніе секты было встрѣчено польской печатью насмѣшками и издѣвательствомъ; къ правдѣ прилеталось много глупыхъ сплетенъ; рассказывалось о поразительной дикости обрядовъ, о грубомъ суевѣріи расколоучителей; въ обществѣ господствовала увѣренность, что секта такъ же скоро и неожиданно пропадетъ, какъ возникла. Это ожиданіе, которое мнѣ и тогда казалось малоосновательнымъ (сошлюсь на свою замѣтку «Маріавиты и духоборы» въ газетѣ *Западный Голосъ* въ началѣ 1906 года), не сбылось: секта растетъ, основываетъ храмы, насчитываетъ довольно много собственныхъ священниковъ, и польское общество относится уже не съ насмѣшкой, а съ серьезнымъ вниманіемъ къ этой сектѣ. Лекція о ней наполнила залу внимательными и встревоженными слушателями (ср. газету *Przeгляд Poranny*, 13 апрѣля 1908 года). Маріавитизмъ—слишкомъ сложное явленіе, чтобы я могъ распространяться о немъ въ этой статьѣ и въ связи съ исторіей прогрессивнаго теченія въ современной Польшѣ. Прогрессивенъ въ немъ, въ сущности, лишь протестъ противъ застывшей обрядности католической церкви, противъ латинскаго языка богослуженія. Просматривая журналъ *Маріавитъ*, издающійся вождями секты, поражаешься его мистическимъ содержаніемъ. Беру наудачу одинъ изъ послѣднихъ номеровъ (№ 15, вышедшій 9 апрѣля 1908 года). Вотъ его содержаніе: 1. Богъ, единый въ Св. Троицѣ. Доказательства существованія Господа Бога. Природа человѣческой души свидѣтельствуетъ о существованіи Господа Бога. 2. Св. Писаніе. Новый Заветъ. Евангеліе отъ св. Маттея. Размышленія. 3. Святое причастіе. Причастіе, какъ источникъ христіанской жизни и средство единенія съ Богомъ. 4. Дѣла милосердія. Исторія маріавитовъ.—Въ томъ же родѣ и всѣ другіе номера журнала. Что же здѣсь прогрессивнаго? То, что народная мысль стала работать самостоятельно и въ религіозной области и рѣшила по-своему толковать о таинствахъ церкви, и по своему стремиться къ единенію съ Богомъ. Вышшимъ выраженіемъ этого стремленія было введеніе родного языка въ богослуженіе,—введеніе, встрѣченное съ великимъ сочувствіемъ дру-

гимь славянскимъ католическимъ народомъ, чехами (*Národní Listy*, 7 мая 1908 г.).

Медленно, иногда незамѣтно, таясь еще въ подпочвенныхъ слояхъ, но неуклонно и вѣрно преобразуется мировоззрѣніе польскаго народа, отъ высшихъ его слоевъ до низшихъ. Въ этомъ преобразованіи лучшій залогъ нашего національнаго примиренія, окончательнаго разрѣшенія вѣкового русско-польскаго спора. А прекрасныя слова Р. Дмовскаго на пріемъ славянскихъ гостей въ Петербургъ показываютъ, что къ той же цѣли быстро пошла и партія народной демократіи, когда ея вожди стали на почву дѣйствительно реальной политики и ближе познакомились съ Россіей.

А. Л. Погодинъ.

Поѣздка въ Египетъ.

I.

Со временъ классической древности, временъ Геродота и Платона, Египетъ считался и считается страной чудесъ и курьезовъ. Первое, что вспоминаютъ теперь ваши собесѣдники, когда рѣчь заходитъ объ Египтѣ, это крокодилы и гиппопотамы, затѣмъ пирамиды, и на этомъ дѣло обыкновенно останавливается, если случайно не вспомнить еще колоссовъ Мемнона.

Приблизительно такъ же думалъ рядовой гражданинъ греческихъ городовъ и римскаго мірового государства. Но не то интересовало въ Египтѣ уже древнѣйшихъ ученыхъ и даже болѣе вдумчивыхъ туристовъ. Передъ ними ставился вопросъ: какое вліяніе на міровую греко-римскую культуру, на основахъ которой выросли и мы, оказало многотысячелѣтнее культурное развитіе государства и общества, создававшего непрерывно, начиная съ 4-го тысячелѣтія, однѣ культурныя цѣнности за другими и въ области государственности, и въ области искусства, и въ области науки? Уже сравнительно молодая греческая культура, которой такъ импонировали тысячелѣтія Египта, ставила себѣ этотъ вопросъ, ставить его себѣ и понынѣ историческая наука, основываясь на вновь приобрѣтенномъ пониманіи все растущихъ въ числѣ египетскихъ текстовъ и на детальномъ изученіи сотенъ тысячъ памятниковъ, которые ежегодно все въ возрастающемъ количествѣ даетъ почва Египта, тысячелѣтнія египетскія кладбища, гдѣ похоронены миллионы, и руины городовъ и храмовъ, гдѣ тѣ же миллионы жили и молились.

Мы привыкли вѣрить въ идею непрерывной міровой эволюціи, и чуждая намъ, какъ бы застывшая въ своемъ оригинальномъ величіи, египетская культура мучитъ насъ своей оригинальностью и своимъ на первый взглядъ чуждымъ европейскому греко-римскому міру культурнымъ обликомъ. Намъ гораздо ближе ассиро-вавилонскій міръ, находки въ области котораго—и не только въ модной теперь области религіи—явно связаны тысячью нитей и съ миценскимъ прошлымъ Средиземноморья, и съ персидской міровой культурой, и съ греческой іонійской архаикой.

Неужели, спрашиваемъ мы себя, цѣльная и могучая культура Египта такъ-таки прошла мимо европейскаго развитія и была для него только загадкой и только курьезомъ?

Классическая древность, начиная съ Геродота, думала иначе, иначе— правда, въ результатѣ иныхъ приѣмовъ мышленія и изслѣдованія—будемъ, вѣроятно, думать и мы, когда проникнемъ глубже въ тайны египетской эволюціи и выдѣлимъ изъ нея тѣ элементы, которые вобрала въ себя и переработала европейская культура.

Для первыхъ моментовъ культурнаго вліянія Египта на семитическій и арійскій Востокъ вопросъ и въ области исторіи религіи, и въ области исторіи государственности и культуры едва только поставленъ. Слишкомъ мало знаемъ мы еще первые моменты культурной жизни какъ сирійскаго побережья, такъ и месопотамской области, чтобы имѣть возможность болѣе или менѣе точно отвѣтить на него.

А увлеченіе тѣмъ немногимъ, что мы находимъ, радость открытія новаго и невѣдомаго, сравнительная близость этого новаго нашему кругозору толкаетъ изслѣдователей скорѣе въ сторону установленія зависимости Египта отъ Востока, чѣмъ къ выясненію вліянія обратнаго.

Не буду говорить, однако, объ этомъ: для этого нехватаетъ у меня той спеціальной подготовки, которая одна можетъ дать болѣе или менѣе обоснованный отвѣтъ.

Мои спеціальныя штудіи влекутъ меня въ болѣе мѣрѣ къ другой эпохѣ приобщенія египетской культуры къ культурѣ средиземноморской. Это та эпоха, когда послѣ долгаго періода власти Египта надъ сосѣднимъ азіатскимъ міромъ настало время побѣдоноснаго проникновенія сначала Азіи, а затѣмъ и Европы въ священную долину Нила, а въ этомъ періодѣ то время, когда на почвѣ Египта состоялось сліяніе оригинальной культуры мѣстной, уже сильно одобренной азіатскими и европейскими элементами, съ европейской культурой въ ея греческомъ обликѣ.

Сліяніе это началось несомнѣнно значительно ранѣе побѣдоноснаго проникновенія въ Египетъ македонской арміи съ Александромъ во главѣ; уже въ эпоху такъ мало извѣстнаго намъ Саитскаго царства подъ вліяніемъ греческой иммиграціи и греческихъ солдатъ начало складываться то, что позднѣе вылилось въ такъ называемый египетскій эллинизмъ или александринизмъ, центромъ котораго былъ новый городъ новаго Египта средиземноморская Александрія, задачей которой было вынести новое образованіе на широкій рынокъ греко-италійской культуры.

Основаніе Александріи—результатъ или послѣднее слово уже давно начавшейся тенденціи замкнутаго на видѣ Египта приобщиться къ культурной жизни всего культурнаго человѣчества—быстро двинуло впередъ два коррелятивныхъ другъ другу процесса. Широко раскрылись, съ одной стороны, тѣ двери, которыя ввели въ главную артерію Египта—могучій Нилъ—флотилію греческихъ мореходовъ, разошедшихся затѣмъ по всѣмъ уголкамъ и нижняго, и средняго, и верхняго Египта, и, съ другой стороны, изъ

тѣхъ же дверей тѣ же греко-восточныя, а затѣмъ греко-италійскія флотиліи разнесли многое изъ того, что создало многовѣковое развитіе Египта, по всему греко-италійскому Средиземноморью. Разнесли онѣ однако не чистый, старый Египетъ, а то новое, одобренное Востокомъ и Греціей образованіе, которое подъ могучимъ вліяніемъ Александріи, греческаго населенія и македонской династіи быстро приняло иногда гибридную, всегда электическую форму, сдѣлавшую доступными и милыми пріобрѣтенія Египта для новой зарождавшейся обще-европейской культуры.

Мировое значеніе Египта въ этотъ моментъ его развитія выяснено немногими болѣе, чѣмъ та же роль его въ предшествующія долгія эпохи. Мы еще въ періодѣ накопленія матеріала, рѣшающихъ открытій и открытій, въ которыхъ мы далеко еще не успѣли разобраться.

Каждый день приноситъ намъ новое, и это новое чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе позволяетъ намъ проникнуть путемъ детальнаго изученія въ то, чѣмъ была греко-египетская культура той эпохи. Но это проникновеніе требуетъ долгой и детальной работы, работы не только по книгамъ и изданіямъ, а въ еще бѣльшей мѣрѣ работы на мѣстѣ.

Почти невозможно знать Египетъ, не побывавъ тамъ, и притомъ повторно. Болѣе, можетъ быть, чѣмъ какая-либо другая страна Египетъ и его культура выросли изъ условій мѣста, наложившаго опредѣленную печать и на жителей, и на созданную ими культуру. Египетъ современный ближе къ Египту фараоновъ или Птолемеевъ, чѣмъ современные Аѳины къ городу Перикла, современная Малая Азія къ царству Креза или греческимъ колоніямъ, современная Сирія и Палестина къ городамъ Финикіи или царству Давида, и даже чѣмъ современная Персія и Месопотамія къ царству Кира, Дарія, Ассурназирпала, Саргона и македонскихъ Селевкидовъ. Живя въ Египтѣ, вы не чувствуете, что окружающее васъ давно уже пережило и забыло свое прошлое, вамъ кажется подчасъ наоборотъ, что, воскресни Тутмосисъ, Аменофисъ или Птолемей Филадельфъ, и они не почувствуютъ себя чужими въ одноцвѣтной толпѣ феллаховъ и феллашекъ верхняго Египта и даже въ пестрой сутолокѣ Каира или Луксора, не говоря уже о Калабше или Короско.

Знакомство съ Египтомъ—это однако только одинъ изъ шаговъ и притомъ шаговъ наименѣе трудныхъ и наиболѣе пріятныхъ. Оно болѣе ставить, чѣмъ разрѣшаетъ вопросы. Разрѣшеніе требуетъ и другого болѣе труднаго и менѣе привлекательнаго.

Для пониманія мировой роли Египта въ эпоху эллинизма нужно прежде всего возсоздать картину этого эллинистическаго Египта, построить изъ богатаго, но всетаки обрывочнаго матеріала его политическую, государственную, экономическую, религіозную и культурную фізіономію.

Эта работа далеко еще не сдѣлана, а между тѣмъ за нею или рядомъ съ ней идетъ другая: въ этой фізіономіи необходимо выдѣлить старое египетское, выдѣливъ въ немъ самое азіатское, и оцѣнить то новое, греческое, что съ нимъ слилось и смѣшалось. И только тогда мы въ правѣ

прослѣдить за вліяніемъ этого образованія на мировую культуру въ ея поразительномъ разнообразіи, зависимомъ отъ мѣста и времени.

Надо помнить при этомъ, что процессъ всей этой работы въ головѣ изслѣдователя совершается далеко не такъ стройно и систематически, какъ это кажется, далеко не по тѣмъ рубрикамъ, на которыя онъ распадается на бумагѣ; надо помнить, что одинъ выводъ тѣснить и гонить другой и что часто, если не всегда, приходится начинать не съ начала, а съ середины или конца, въ зависимости отъ поставленнаго вопроса и отъ хода работы каждаго изслѣдователя.

Изъ этого хаоса, изъ этой бурной работы кой что однако уже выдѣлилось, кой что осѣло и вылилось въ опредѣленные, хотя и далеко не окончательные, выводы. Въ исторіи государственности и государственнаго устройства міроваго Рима все ярче и ярче выдѣляются элементы, данные Египтомъ, ярко проходятъ передъ нами въ мировомъ религіозномъ синкретизмѣ египетскіе боги въ ихъ эллинистическомъ преломленіи, выясняются и египетскіе элементы въ христіанствѣ, улавливаются египетскіе черты въ большомъ и прикладномъ искусствѣ греческаго и римскаго эллинизма вплоть до христіанства...

Наше знаніе растетъ и ширится и изъ тумана откровенія постепенно переходитъ въ реальныя формы знанія.

Меня лично повлекла въ Египетъ специальная работа въ области исторіи искусства или, вѣрнѣе, культуры. Меня давно уже занимаетъ вопросъ объ эволюціи наименѣе индивидуальнаго въ искусствѣ, вопросъ о развитіи такъ называемой декоративной живописи. Рядъ предварительныхъ работъ властно звалъ меня въ Египетъ, и Египетъ далъ мнѣ въ этомъ отношеніи не мало. Но говорить я собираюсь не объ этомъ: то, что приобрѣтено, далеко еще не вылилось въ такія опредѣленные формы, которыя позволили бы изложить результаты въ окончательномъ видѣ. Говорю же я объ этомъ потому, что въ тѣхъ *впечатлѣніяхъ о поездкѣ*, которыя я собираюсь здѣсь изложить, многое будетъ результатомъ повышеннаго моего интереса ко всему египетско-эллинистическому и специально къ декоративному искусству Египта.

II.

Большинство путешественниковъ, ѣдущихъ въ Египетъ, вступаетъ на египетскую почву въ *Александріи*. Этотъ большой торговый городъ, городъ левантинскихъ спекуляторовъ, гдѣ все такъ ново и такъ мало эстетично, обыкновенно не останавливаетъ на себѣ вниманія туристовъ. Отъ парохода до поѣзда—вотъ время, которое проводитъ въ Александріи туристъ рѣдкій изъ нихъ пропустить первый, идущій въ Каиръ поѣздъ, и останется на нѣсколько часовъ въ Александріи, чтобы пройти по улицамъ и заглянуть въ музей. Всѣ спѣшатъ, впереди ждетъ Каиръ и пирамиды, а тамъ на югѣ—Оивы и таинственный Кушъ.

Мои научные интересы заставили меня пробывать въ Александріи не нѣсколько часовъ, а съ десятокъ дней, и я жалѣю только о томъ, что время не позволило мнѣ остаться подольше. Александрія, правда, не богата выдающимися памятниками египетской, эллинистической, коптской или арабской старины. Многое, что можно было бы сохранить и охранить—напримѣръ рядъ эллинистическихъ и римскихъ гробницъ, высоко интересныхъ и въ декоративномъ и въ архитектурномъ отношеніяхъ—безжадно разрушается частью стихіями, частью лихорадочной строительной дѣятельностью быстро растущаго города. Несмотря на это, а отчасти именно поэтому, Александрія всетаки представляетъ большой интересъ для всякаго, кто интересуется древнимъ Египтомъ, а кто изъ ѣдущихъ въ Египетъ имъ не интересуется? Быстрыйъ ростъ города съ одной стороны, повышенный научный интересъ къ Александріи, царящій главнымъ образомъ въ Германіи и заражающій поэтому попутно и другихъ—съ другой, привели къ тому, что послѣднія десятилѣтія не только дали рядъ интереснѣйшихъ памятниковъ, но и къ тому, что открытіе этихъ памятниковъ повело и къ созданію уже теперь богатѣйшаго музея, и къ попыткамъ, не всегда неудачнымъ, сохранить нѣкоторые выдающіеся по своему интересу остатки зданій и гробницъ.

Среди *сохранившихся остатковъ зданій* на первомъ планѣ стоятъ, конечно, тотъ комплексъ, который группируется около такъ называемой колонны Помпея, одного изъ немногихъ памятниковъ, простоявшихъ въ Александріи на своемъ мѣстѣ отъ IV в. по Р. Хр. до нашихъ дней. Комплексъ этотъ есть остатокъ древняго знаменитаго храма Сераписа—этого греко-египетскаго бога, символа новой греко-египетской культуры и государственности. Рядомъ съ этимъ зданіемъ и сосѣднимъ ему стадіемъ начинается уже одна часть александрійскаго владычища, охватывающаго широкимъ кольцомъ всю Александрію и хранящаго въ себѣ и до сихъ поръ, несмотря на многолѣтній, начавшійся въ древности, систематическій грабежъ, часть бранныхъ останковъ пестраго александрійскаго населенія.

Такъ какъ выросшій новый городъ покрывъ собою—за исключеніемъ названнаго комплекса—остатки огромнаго большинства александрійскихъ древнихъ построекъ—и фундаменты птоломеевскихъ дворцовъ, и знаменитый музей съ библиотекой, и не менѣе знаменитый Пантеонъ эллинизма—гробницу божественнаго Александра, и нѣтъ такимъ образомъ надежды познать когда-нибудь городъ живыхъ, то интересъ изслѣдователя и историка сосредоточивается преимущественно на городѣ мертвыхъ,—городѣ, который наполнилъ и продолжаетъ наполнять александрійскій музей большинствомъ хранящихся тамъ вещей.

Некрополь Александріи, несмотря на то жалкое состояніе, въ которомъ онъ находится, поразительно интересенъ. Не забудемъ, что въ немъ отложились всѣ слои населенія Александріи и слѣдовательно всѣ оттѣнки той греко-египетской культуры, которая насъ такъ живо интересуется. Покойники, лежащіе въ гробницахъ, или, лучше сказать, хоронившіе ихъ жи-

вые их сородичи не только наложили отпечаток своих вѣрованій и своего вкуса на самую архитектуру и декорровку своего вѣчнаго жилища, они унесли съ собой въ могилу и цѣлый рядъ вещей, которыя создавали матеріальную обстановку ихъ обыденной жизни. Къ сожалѣнію, лихорадочность, съ которой открываются и немедленно разрушаются десятки находимыхъ при городскихъ постройкахъ гробницъ, варварство, съ которыми ихъ вмѣстѣ съ ихъ содержимымъ подчасъ взрываютъ на воздухъ динамитомъ, не даютъ тѣмъ, кто къ этому призванъ, во всѣхъ необходимыхъ случаяхъ изслѣдовать, зарисовать и сфотографировать все находимое, и передъ изслѣдователемъ поэтому фигурируютъ не серіи разнообразныхъ оттѣнковъ, а только отдѣльные случайные примѣры часто внѣ времени и болѣе чѣмъ часто внѣ обстановки, которыя однѣ могли бы дать полную ихъ характеристику.

Какъ оазисы выдѣляются среди случайныхъ памятниковъ два болѣе или менѣе систематически изслѣдованныхъ комплекса: римско-христіанскій Бомъ-всъ-Шугафа и птолемеевскій Шатби. Послѣдній въ связи съ случайными находками, сдѣланными въ другихъ некрополяхъ: и въ Анфуши (около древняго знаменитаго маяка Фароса), и въ Сукъ-эль-Вардіанъ, и въ Сиди-Габеръ—на берегу моря за нѣсколько километровъ отъ Александріи, даетъ намъ почти полную картину постепенной эволюціи, какъ одного изъ типовъ греко-египетскаго богатаго погребенія въ архитектурномъ и декоративномъ отношеніи, такъ и гробничной обстановки птолемеевскаго времени. Мы ясно видимъ не только то, какъ сливается съ египтизирующей религіей александрійца взглядъ на загробную жизнь грека и модифицируется соответственно этому самый планъ гробницы, но видимъ также, какъ модифицируются въ новой обстановкѣ греческіе вкусы, какъ греческія готовые формы подъ вліяніемъ египетскаго вкуса и техники пріобрѣтаютъ новую окраску, измѣняются и приспособляются къ новой почвѣ, вырабатывая и въ формахъ архитектуры, и въ орнаментѣ, и въ вещахъ новые типы, гдѣ египетское съ греческимъ иногда механически соединяется, иногда органически сливается. Въ первые моменты александрійства египетское сказывается только слабо и соединеніе оказывается почти только механическимъ, но уже въ первыя десятилѣтія создается свой оригинальный стиль и въ декоровкѣ стѣнъ, и въ керамикѣ, и подѣлкахъ изъ области утвари—подѣлкахъ изъ специально египетскихъ матеріаловъ: стекла, кости, алебаstra, драгоценныхъ сортовъ дерева, фаянса и т. д. Рѣзко бросаются въ глаза египетскіе сюжеты и фигуры, выработанные тысячелѣтіями египетскаго искусства, всѣ эти сфинксы, уреи, Горы, сцены послѣдняго суда и т. п., но еще характернѣе проникновеніе специфически египетскаго цвѣточнаго стиля, специфически египетскихъ растительныхъ архитектурныхъ формъ, египетской morbidezza и египтизирующей архаизаціи въ иногда конгеніальныхъ образованіяхъ греческаго искусства четвертаго вѣка. Страсть Египта къ колоссальному и поражающему размѣрами сказывается и въ Александріи, если не въ постройкахъ города живыхъ, которыхъ мы не знаемъ, то въ

такихъ грандіозныхъ гробничныхъ постройкахъ, какъ безконечная въ размѣрахъ и всетаки стройная въ концепціи гробница въ Комъ-эсъ-Шунафа или такъ называемыя бани Клеопатры, теперь почти уже разрушенныя, или въ области скульптуры въ колоссальныхъ портретахъ нѣкоторыхъ Птоломеевъ, гдѣ колоссальность размѣровъ не мѣшаетъ проявиться той стилизованной извѣженности, которая сказывается столько же въ характерѣ какаго-нибудь Птолемея Авлета или Клеопатры, сколько въ техникѣ скульптуры портрета одного изъ первыхъ греческихъ царей Египта.

Если въ птоломеевскихъ памятникахъ александрійскій стиль живетъ и развивается, постоянно создаетъ новое и оригинальное, то въ римское время онъ замираетъ и деревенѣетъ, пуская новыя оригинальныя побѣги только въ области христіанскаго искусства, гдѣ новыя идеи на время оживляютъ старыя формы, чтобы самими затѣмъ мумифицироваться въ такъ называемомъ коптско-христіанскомъ стилѣ, вновь расцвѣтающемъ на время въ раннихъ арабскихъ памятникахъ.

Для повздыга Египта эти повторные ренессансы, одинъ изъ которыхъ я попытался охарактеризовать, — ренессансъ саитскій, александрійскій, раннехристіанскій и арабскій — такъ же характерны и показательны, какъ и *расцвѣтъ Египта* въ эпохи 4-й, 12-й и 18-й династій. Египетъ въ двѣ почти тысячи лѣтъ, протекшихъ отъ эпохи первыхъ династій до эпохи расцвѣта 18-й дин., хотя и медленно, но вѣрными шагами идетъ къ тому классическому моменту, когда въ эпоху 18-й и 19-й династій національно-египетское достигаетъ высшаго блеска, останавливается на кульминаціонномъ пунктѣ, чтобы свое, теперь уже готовое и вылившееся въ болѣе или менѣе опредѣленныя формы, ввести затѣмъ путемъ ряда возрожденій въ обиходъ азіатскаго и европейскаго человѣчества.

Изъ этихъ ренессансовъ, кромѣ александрійскаго, хорошо извѣстенъ намъ только арабскій въ той блестящей плеядѣ каирскихъ мечетей, которая ждетъ еще своего изслѣдователя; коптско-христіанскій въ Египтѣ почти заброшенъ, и только поздніе памятники, иногда грубо-ремесленные, даютъ намъ очертанія того остова, который когда-то былъ живымъ и прекраснымъ тѣломъ. То немногое, что у насъ есть, изъ эпохи ранняго христіанства, напр., Киевская Богоматерь или гбнущіе фрески христіанской церкви, угнѣздившейся въ Луксорскомъ храмѣ, заставляютъ насъ не считать вполне увлеченіемъ теорію колоссальнаго вліянія египетскаго христіанскаго искусства на развитіе этого искусства внѣ Египта и специально въ Италіи.

III.

Но я уклонился въ сторону. Ни расцвѣта Египта, ни его ренессансовъ, за исключеніемъ эллинистическаго, Александрія не даетъ.

Постепенный ходъ эволюціи египетской культуры отъ доисторической колыбели ея черезъ первыя династіи вплоть до 4-й, затѣмъ до 12-й и наконецъ до 18-й, затѣмъ отдѣльныя ренессансы ея въ рѣдкой полнотѣ пред-

ставлены въ Каиръ, въ его египтологическомъ музее, одномъ изъ наибольше поучительныхъ музеевъ міра, такъ какъ въ немъ рядомъ первостепенныхъ памятниковъ и массой рядовыхъ представлена эволюція цѣлаго народа за многотысячелѣтнее его существованіе, представлена не только рядомъ памятниковъ искусства и художественной промышленности, но и массой историческихъ документовъ и литературныхъ произведеній. Большинство нашихъ европейскихъ музеевъ, соединяя въ себѣ массу эпохъ и чуть ли не всѣ народы, не въ состояніи, конечно, дать такой цѣльной картины, хотя бы одного изъ нихъ, не говоря уже объ Египтѣ; даже богатѣйшая коллекція Британскаго музея не содержитъ хотя бы части того, что даетъ Каирскій музей, нашъ же Эрмитажъ въ этомъ отношеніи прямо нищій.

Послѣ долгихъ странствованій и кочеваній, послѣ пребыванія на окраинахъ города въ Булакъ и Гизе египтологическій музей Каира нашелъ себѣ наконецъ постоянное помѣщеніе въ роскошномъ, специально для него построенномъ, зданіи на чудномъ мѣстѣ у самаго берега Нила. Это богатое и обширное зданіе, выстроенное, къ сожалѣнію, далеко не такъ, какъ бы слѣдовало, уже не въ состояніи вмѣстить всего того, что должно найти себѣ въ немъ помѣщеніе: такъ богата почва Египта, и такъ систематически разрабатывается она не только самимъ Египтомъ и его интернациональнымъ *Service des antiquités*, но и всѣми цивилизованными націями, представленными и ихъ правительствами и отдѣльными людьми, копающими частью на свои, частью на собранныя ими среди своихъ соотечественниковъ деньги. Англійскій *Exploration Found*, германская *Orient-Gesellschaft* и другія организаціи, французскій *Institut égyptien* и академія, итальянцы, американцы—всѣ наперерывъ изслѣдуютъ то тотъ, то другой уголокъ Египта, всегда дающаго богатую жатву, гдѣ бы за него ни взялся. Въ Каирскомъ музее есть цѣлая зала, наполненная предметами, найденными богатымъ американцемъ *Davis'омъ*, изъ году въ годъ съ блестящими результатами изслѣдующимъ долину царей въ Фивахъ на свои личные средства и не берущимъ для себя лично ни одной изъ найденныхъ вещей. Такіе же безкорыстные работники, среди которыхъ можно назвать рядъ именъ выдающихся ученыхъ, какъ *Petrie*, *Grenfell*, *Hunt* и др., наполнили рядомъ съ *Service des antiquités* и другія залы музея. Всю эту работу объединяетъ *Service des antiquités* и администрація музея съ маститымъ *Maspero* во главѣ. Здѣсь каждый найдетъ и совѣтъ, и помощь, получить и указаніе на очередныя задачи и на способъ ихъ выполненія. Не малой заслугой интернациональнаго *Service* является и то, что масса памятниковъ первостепенной важности спасена имъ отъ гибели то при посредствѣ перевезенія ихъ въ музей, то при посредствѣ почти всегда разумной и умѣренной реставраціи и постоянной охраны на мѣстахъ.

Возрожденный Египетъ этимъ искупаетъ то *lèse antiquité*, которое онъ позволилъ себѣ, затопивъ постройкой своего *baggage*—нильской запруды-жемчужину Египетскаго юга, чудныя *Philae*, и собираясь затопить рядъ первостепенныхъ памятниковъ нижней Нубіи.

Въ Каирскомъ музеѣ передъ глазами посѣтителя раскрывается, какъ я уже сказалъ, весь Египетъ; старанія завѣдующихъ музеемъ направлены теперь на то, чтобы онъ раскрывался въ систематическомъ и хронологическомъ порядкѣ. Многое въ этомъ отношеніи уже сдѣлано, но предстоитъ еще большая и трудная работа.

Нижній этажъ музея занятъ крупными тяжелыми памятниками: здѣсь въ центральномъ дворѣ наиболѣе крупные памятники скульптуры и цѣлыя надгробные памятники, рядъ величественныхъ колоссовъ, которымъ тѣсно и въ этомъ огромномъ помѣщеніи; въ коридорахъ и комнатахъ, окружающихъ этотъ дворъ, размѣстились: превосходная, единственная въ мірѣ серія саркофаговъ, колоссальная серія стелъ, расположенныхъ въ хронологическомъ порядкѣ въ связи съ скульптурами, и наконецъ, что особенно важно и особенно блестяще, серія скульптуръ крупныхъ и мелкихъ въ хронологическомъ порядкѣ. Если саркофаги и стелы даютъ намъ своими изображеніями и надписями полную эволюцію загробныхъ вѣрованій и представленийъ древняго Египта, то серія скульптуръ—полныхъ скульптуръ и рельефовъ—позволяетъ прослѣдить важнѣйшую сторону египетскаго искусства и притомъ такъ, что уже теперь является возможность не только говорить о скульптурѣ 4-ой, 12-ой и 18—19-ой династій, но можно установить и переходныя ступени, можно прослѣдить и эволюцію внутри одного періода, можно говорить о различіяхъ по мѣстамъ и школамъ, уловить внѣшнія вліянія и чуть ли не руки отдѣльныхъ мастеровъ или мастерскихъ. Такимъ глубокимъ проникновеніемъ обязаны мы въ значительной степени блестящей находкѣ, сдѣланной въ Фивахъ,—находкѣ тайника, куда за ненадобностью при перестройкѣ храма свалены были сотни статуй и статуетокъ, загромождавшихъ храмъ; технику производства иллюстрируетъ намъ богатѣйшая серія моделей и незаконченныхъ статуй.

Архитектура и декоративная живопись представлены, конечно, бѣднѣе; изучать ихъ надо, конечно, не въ музеѣ, а на мѣстахъ—въ десяткахъ храмовъ верхняго Египта и Нубіи и въ сотняхъ и тысячахъ гробницъ, начиная отъ гробницъ первыхъ династій въ окрестностяхъ Абидоса, переходя отъ нихъ къ пирамидамъ и мастаба окрестностей Мемфиса эпохи расцвѣта древняго царства, углубляясь въ гробницы Бени-Гассана и Элефантины 12 династіи, штудирюя богатѣйшій городъ мертвыхъ Фивскихъ Мемноніа эпохи новаго царства и собирая по всему верхнему и нижнему Египту разбросанныя данныя для изученія гробничной архитектуры и декоративной послѣдующихъ эпохъ вплоть до гробницъ поздне-римскаго времени окрестностей Ахмима и надгробныхъ капеллъ Bahwi'a и Bahawata (послѣднія изучены были русскими учеными въ лицѣ покойнаго Бока и Голенищева) эпохи поздняго христіанства, не говоря уже о серіи гробницъ александрійскихъ, начинающихся съ эпохи Птолемеевъ и кончающихся знаменитой Вешеровской христіанской катакомбой, которую намъ, русскимъ, слѣдовало бы назвать катакомбой Порфиріевской, по имени перваго зарисовавшаго ее Порфирія Успенскаго.

Бой-что въ этомъ отношеніи даетъ однако и музей: уже упомянутый рядъ саркофаговъ и стель, нѣсколько цѣликомъ перенесенныхъ въ музей гробницъ разныхъ эпохъ, цѣлая капелла—знаменитая капелла съ удивительной статуей коровы Гаторъ изъ Деиръ эль Бахари даютъ эволюцію схемы декоративной стѣны, а рядъ колоннъ и капителей—основы эволюціи одной изъ наиболѣе характерныхъ сторонъ египетской архитектуры.

Еще больше даютъ верхнія залы музея. Серия саркофаговъ продолжается и здѣсь, саркофаговъ по большей части изъ болѣе легкихъ матеріаловъ, серия, пополненная богатѣйшимъ подборомъ столь важныхъ въ декоративномъ отношеніи картонажей мумій, серия, идущая отъ древнихъ временъ вплоть до поздне-римскаго времени. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ картонажей и саркофаговъ и до сихъ поръ еще покоятся останки наиболѣе крупныхъ изъ египетскихъ фараоновъ, которыхъ не спасли всѣ ихъ старанія спрятаться подалеже отъ людей отъ профанаціи ихъ взглядами нестройной толпы любопытныхъ и равнодушныхъ туристовъ, поучаемой менѣе любопытной, но не менѣе равнодушной и невѣжественной толпой гидовъ. Лежать эти муміи великихъ царей среди всего того, чѣмъ окружали ихъ близкіе и наслѣдники, въ ворохѣ мумифицированныхъ, какъ они, цвѣтотъ лотоса, обвитые гирляндами. А кругомъ въ сосѣднихъ залахъ покоится все то, что составляло ихъ загробную обстановку: тутъ и десятки разновидностей амулетовъ и скарабеевъ, и репродукціи всей обстановки ихъ жизни въ дѣйствительномъ мірѣ—ихъ мебель, ихъ корабли, ихъ дома, ихъ слуги, ихъ солдаты, ихъ колесницы, ихъ посуда и ихъ удивительныя по тонкости, мастерству, скажу болѣе, гениальности исполненія драгоценности и украшенія. Тутъ же и статуетки нестраго міра странныхъ боговъ—небесныхъ коллегъ и родственниковъ фараоновъ, и серия богато и удивительно иллюстрированныхъ книгъ, описывающихъ ихъ странствованія въ нѣдрахъ загробнаго міра.

Для полноты картины всего прошлаго Египта нехватаетъ только Египта арабскаго, но этотъ Египетъ окружаетъ живущаго въ Каирѣ туриста во всѣ тѣ часы, которые онъ проводитъ внѣ музея. Быть внѣ музея въ Каирѣ это значитъ странствовать по мечетямъ среди причудливыхъ дворовъ, среди т. наз. гробницъ халифовъ и мамелюковъ, среди учащейся интернаціональной арабской, персидской, турецкой, сирійской, африганской, нубійской и т. д. молодежи.

Чудеса арабской архитектуры, которыя даютъ мечети, дополняетъ прекрасный арабскій музей, гдѣ собраны чудеса арабской художественной промышленности. Въ Египтѣ—странѣ прошлаго—ни одна изъ эпохъ этого прошлаго не стоитъ внѣ вниманія народа и правительства: во всѣхъ четахъ идетъ такая же дѣятельная работа поддержанія и реставраціи какъ и въ храмахъ верхняго Египта, и только коптское христіанство самаго послѣдняго времени было въ загонѣ, только этимъ церквямъ и монастырямъ предоставляютъ гибнуть и разрушаться: за ними не стои-

сплоченной націи, а ихъ научный интересъ затемняется блескомъ стараго Египта и причудливостью Египта арабскаго.

IV.

Египтологическій музей вмѣстѣ съ арабскимъ музеемъ и городомъ Каиромъ представляютъ такимъ образомъ Египетъ въ миниатюрѣ, возбуждая въ каждомъ посѣтителѣ повышенный интересъ къ тѣмъ памятникамъ, которые дали всѣ эти вещи и которые понынѣ еще стоятъ на берегахъ Нила почти въ томъ видѣ иногда, въ которомъ создали ихъ ихъ строители-фараоны и знать четырехъ блестящихъ династій Египта. Экскурсіи изъ Каира къ пирамидамъ Гизе, къ пирамидамъ и некрополю Саккара съ его знаменитымъ Лабиринтомъ погребенныхъ Аписовъ и удивительными по тонкости рельефной декоровки гробницами V и VI династій, наконецъ къ пирамидамъ Абу-Сирскимъ съ ихъ сосѣдомъ—могучимъ въ своей простой концепціи храмомъ Солнца, центромъ котораго былъ знаменитый обелискъ, въ еще большей мѣрѣ тянуть къ блестящимъ Оивамъ—древнѣйшему центру Египетской культуры и мѣсту кульминаціоннаго пункта ея развитія.

Въ упомянутыхъ ближайшихъ окрестностяхъ Каира работа изслѣдованія, давно уже начатая, ни на минуту не останавливается: на очереди теперь, послѣ того какъ Абидосъ далъ намъ типы и обстановку древнѣйшихъ гробницъ первой династіи, болѣе внимательное изученіе окружающихъ пирамиды мастаба и въ большей мѣрѣ еще изученіе и изслѣдованіе тѣхъ погребальныхъ храмовъ стараго царства, наиболѣе блестящимъ образчикомъ которыхъ является знаменитый простой, и вмѣстѣ съ тѣмъ поражающій красотой этой безколонной простоты, гранитный и алебастровый храмъ большого Гизехскаго сфинкса. Результаты этого изслѣдованія, давшіе уже рядъ чрезвычайно важныхъ историческихъ памятниковъ Берлину и Каиру, уже и теперь значительны, и ими ихъ руководителя Voghardt'a ручается за дальнѣйшіе блестящіе успѣхи.

На пути между Каиромъ и Луксоромъ, древними Оивами, расположенъ однако и кромѣ пояса пирамидъ рядъ памятниковъ высокаго интереса, которые съ полнымъ удобствомъ и комфортомъ посѣщаютъ пассажиры Куковскихъ пароходовъ подъ руководствомъ гидовъ—напоминающіе мнѣ, къ слову сказать, тѣ густыя, покорно идущія стада быковъ, коровъ, ословъ и козъ, которыя сосредоточенно дефилируютъ на рельефахъ и фрескахъ египетскихъ гробницъ передъ погребеннымъ хозяиномъ, гонимыя палкой низко кланяющагося пастуха—съ меньшими удобствами и не безъ лишеній тѣ, которые, какъ я, предпочитаютъ относительную свободу Куковскому рабству. Эти индивидуалисты, вольные и невольные, ѣдутъ по желѣзной дорогѣ, останавливаются въ сомнительныхъ отеляхъ, жемами торгуются съ погонщиками ословъ и постоянно прибѣгаютъ къ покровительству начальниковъ станцій и бравыхъ полицейскихъ арабовъ.

Наиболѣе интереснымъ пунктомъ въ этой полосѣ—въ ближайшихъ окрестностяхъ Оивъ—является несомнѣнно *Бени-Гассанъ* съ его рядами

высѣченныхъ въ скалѣ надъ долиной Нила погребальныхъ камеръ, мѣстахъ успокоенія знатныхъ чиновниковъ 12 династiи. Особенно интересна архитектура и декоративная отделка верхнихъ молитвенныхъ и причитальныхъ комнатъ или капеллъ съ такъ называемыми протодорическими фасадами, съ колоннами внутри и лентами разнообразныхъ изображенiй изъ обыденной жизни, покрывающими среднiя части стѣнъ надъ цоколемъ и подъ тѣмъ, что мы привыкли называть карнизами. Количество и детальность этихъ лентъ, дающихъ поразительныя по своей жизненности сцены, плохо гармонируютъ однако въ декоративномъ отношенiи съ простотою и величественностью архитектурной концепцiи колоннъ и плафоновъ. Тамъ, гдѣ, какъ въ аналогическихъ и одновременныхъ гробницахъ того же типа Элефантины, детальность и мелкота фигурныхъ поясовъ не такъ рѣзко бросается въ глаза, общiй декоративный эффектъ смѣнѣе и глубже.

На пути отъ Каира къ Луксору можно было бы, собственно говоря, останавливаться на каждой станцiи и вездѣ было бы что посмотреть и чему научиться, не говоря уже о томъ, что вездѣ можно было бы копать съ увѣренностью въ успѣхъ. Склоны и ливийской и арабской цѣпи, сжимающихъ Нильскую долину, куски пустыни между ними и наносной землей долины представляютъ почти сплошное кладбище, гдѣ города и деревни хоронили своихъ мертвыхъ, храмы и часовни своихъ боговъ—ибисовъ, крокодиловъ, барановъ, кочиковъ, рыбъ, быковъ и воловъ, иногда начиненныхъ испанской бумагой или завернутыхъ въ ленты литературныхъ папирусовъ. Руины отдѣльныхъ городовъ въ свою очередь общаются изслѣдователю—и не только въ Фаюмѣ—богатя находки предметовъ обихода, но главнымъ образомъ папирусовъ; масса находимыхъ тамъ обрывковъ дѣловыхъ бумагъ и книгъ, а часто и цѣлые свитки, успѣли уже раскрыть намъ не одну тайну фараоновскаго, птолемеевского и римскаго Египта и подарить намъ рядъ новыхъ цѣлыхъ и фрагментарныхъ литературныхъ произведенiй Египта и Греции. Однимъ изъ крупнѣйшихъ центровъ средняго Египта, знаменитыхъ этого рода находками, является перешейный *Ахмимъ*, древнiй Панополисъ. Туристы туда не заѣзжаютъ, но его хорошо знаютъ ученые, коллекционеры и скупщики древностей. Свернувъ съ большой дороги въ Ахмимъ и я, не съ цѣлью покупать вещи и папирусы, а изъ желанiя ознакомиться съ крупнымъ, частью разграбленнымъ, частью раскопаннымъ некрополемъ поздняго времени, гдѣ мнѣ уже было, между прочимъ, существованiе расписныхъ гробницъ. Подъ палящими лучами январскаго солнца излезилъ я склонъ горы у коптскаго деревушки *El-Salomon*. Одна за другой отрывались передо мною зияющiя пасти мелкихъ и крупныхъ гробницъ, заброшенныхъ и наполовину занятыхъ. Въ каждой валялись остатки костей, куски деревянныхъ саркофаговъ, изорванные льняные покровы мумiй, и почти въ каждой я находилъ поблѣднѣвшую роспись, позднiе отголоски того декоративнаго стиля, блестящiе образцы котораго я изучалъ въ Александрии и который возрѣдился затѣмъ въ христіанскихъ росписяхъ церквей и надгробiй.

Египтянинъ во всё времена своего существованія трогательно любилъ цвѣты своей небогатой, но роскошной флоры. При жизни всегда, когда онъ отдыхаетъ и веселится, онъ окруженъ цвѣтами, передъ нимъ и въ его рукахъ вы всегда найдете разные роды лотоса и другихъ нѣжныхъ и сочныхъ цвѣтовъ Египта.

Эту свою любовь онъ переноситъ и въ свою архитектуру, и въ украшеніе своихъ домовъ и жилищъ. Особенно расцвѣла эта любовь въ эпоху 18-й династіи и достигла своего апогея при царѣ-реформаторѣ, царѣ солнцѣ, еретикѣ, какъ его называли послѣ, Аменхотепѣ IV, извѣстномъ Хуниатону, при которомъ цвѣтами и гирляндами покрылись стѣны и помы его дворца, плафоны и стѣны домовъ и гробницъ его приближенныхъ. Его солнечная столица, судя по ея остаткамъ, разрушаемому и теперь еще съ легкой руки Petrie, была моремъ цвѣтовъ, оживленнымъ птицами и блестящими насѣкомыми. Многое, что онъ сдѣлалъ, съ нимъ и умерло, но любовь къ цвѣтамъ осталась. Эта любовь уже при немъ начала перерождать современный ему декоративный стиль. Мы еще встрѣтимъ этотъ цвѣточный стиль въ гробницахъ египетскихъ Мемнона, мы упоминали о немъ въ Александріи, мы видимъ его и въ нашихъ бѣдныхъ заброшенныхъ гробницахъ, и онъ расцвѣтаетъ вновь въ коптско-христіанскомъ искусствѣ въ сотняхъ розовыхъ тюльпановъ, покрывающихъ всё тѣ части стѣнъ, которыя не заполнены коврами или фигурами. Но въ это время онъ уже завоевалъ міръ, и если мы въ нашей жалкой обстановкѣ живемъ среди блѣдныхъ и подчасъ безобразныхъ и уродливыхъ цвѣтовъ нашихъ обоевъ, то этому мы обязаны Египту и его культу живыхъ и яркихъ водяныхъ и полевыхъ цвѣтовъ.

V:

Но вотъ и *Луксоръ*. Тысячи туристовъ напаваютъ ежегодно этотъ райскій уголокъ, раскинувшійся на берегу Нила, прѣчь напротивъ огромнаго египетскаго некрополя съ его живописными храмами, высиющимися и въ долину и по склону горной цѣпи, съ его скалами, изрѣсеченными, какъ гигантскіе пчелиные соты, густо насаженными другъ около друга отверстіями погребальныхъ камеръ тысячей фараоновскихъ чиновниковъ, главнымъ образомъ 18-й и 19-й династій. Городъ облѣпленъ почти со всѣхъ сторонъ стройный гигантскій храмъ Аменофиса III и Рамзеса II съ его могучими пилонами и величественными колоссами, такъ называется Луксорскій храмъ, казущійся однако мелкимъ сравнительно съ его братомъ—гигантомъ, храмомъ-городомъ—Карнакомъ. Новый городъ прервалъ сообщеніе между двумя братьями и стеръ почти совершенно съ лица земли многоверстная аллея барановъ, окаймлявшая въ своемъ мягкомъ спокойствіи живыя храмовыя террасы стараго города боговъ—фараоновъ и жрецовъ Амона.

Я не стану распространяться объ этихъ общеизвѣстныхъ храмахъ. Я упомяну только нѣсколько словъ о *шолесъ* Карнака, храмъ Амона, охватившемъ

въ своихъ могучихъ кирпичныхъ стѣнахъ, прорѣзанныхъ рядомъ воротъ, рядъ святилищъ, составляющихъ одно цѣлое съ главнымъ храмомъ, разраставшимся при каждомъ новомъ фараонѣ новыми дворами, залами и величественными пилонами и наполнявшемся новыми колоссальными, большими и малыми статуями. Этотъ храмъ-колосье и теперь еще такъ богатъ внутреннимъ содержаніемъ, такъ разнообразны его составныя части, что даже простой туристъ можетъ провести въ немъ рядъ дней и всетаки будетъ знать его только наполовину. Дать хотя бы бѣглую характеристику этого храма, наполненную хотя бы только перечисленіемъ частей его и краткимъ поясненіемъ, значило бы занять вниманіе читателя на нѣсколько часовъ. Не дадутъ понятія о немъ и серіи фотографій—фотографіи не способны передать того впечатлѣнія, которое вызываетъ колоссальность его размѣра, поэзія огромныхъ пространствъ вверхъ и вширь, охваченныхъ архитектурой его частей, ряды смѣняющихъ другъ друга дворовъ и пилоновъ, соединеніе воды священнаго озера съ могучими, покрытыми изображениями стѣнами, детальность декоровки каждой отдѣльной части, каждой колонны, гигантскія страницы развертывающихся передъ зрителемъ религіозныхъ и историческихъ текстовъ, смѣна стилей отдѣльныхъ фараоновъ, династій и царствъ, и десятки другихъ особенностей, перечисленіе которыхъ, никогда не полное, могло бы дать только утомленіе отъ нагроможденія, т.-е. создать именно такое впечатлѣніе, котораго самый храмъ отнюдь не вызываетъ.

Стоить переѣхать Нилъ и съ полчаса потрястись на ослахъ, переѣхать большой каналъ, проѣхать по цвѣтущимъ и зеленѣющимъ полямъ и черезъ двѣ-три жалкихъ деревушки, сложенные изъ черныхъ кирпичей, и вы у подножія горной цѣпи, въ области надгробныхъ храмовъ фараоновъ 18-й и 19-й династій, съ однимъ изъ которыхъ связаны были въ свое время знаменитые колоссы Мемнона.

Болѣе или менѣе подробный разборъ этихъ храмовъ завелъ бы меня опять-таки далеко. Болѣе всего поразило меня въ нихъ то, что того пресловутаго однообразія, которое яко бы характеризуетъ египетское искусство и архитектуру, нѣтъ и слѣда. Каждый храмъ Оивъ имѣетъ свою индивидуальность и архитектурную, и декоративную. Достаточно сопоставить планы Рамессеума, Деиръ-эль-Бахари, Мединетъ Абу и храма Сети, чтобы въ этомъ не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія. Каждый отражаетъ въ себѣ и своего строителя и свое назначеніе. Возьмемъ хотя бы Мединетъ-Абу, храмъ царя воителя—Рамсеса III, и Деиръ-эль-Бахари—храмъ царицы—женщины Хатшепсуетъ, организаторши одной отъ крупныхъ экспедицій въ страну чудесъ, старый Schlaraffenland Египта, полный золотодрагоценныхъ камней и деревьевъ, дававшихъ ароматы. Рамзесъ III выстраиваетъ свой храмъ рядомъ со старымъ храмомъ 18-й династіи по обычному плану, украшаетъ его обычными изображениями, говорящими о его воеводѣ и религіозномъ величій, но передъ нимъ создаетъ онъ свою нѣсколько барочную крѣпость, свой «навильонъ» и соединяетъ съ нимъ цѣлый де.

рець, выстроенный изъ кирпича. Передъ пилономъ храма, такимъ образомъ, какъ первыя ворота въ священную ограду и жилище бога и фараона, вырастаетъ архитектурное сооруженіе, будищее и въ самомъ фараонѣ и въ его подданныхъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ изображенія на стѣнахъ его храма, воспоминаніе о воинскомъ величїи царя-защитника, царя-завоевателя.

При самомъ входѣ въ храмъ вызывается впечатлѣніе военной крѣпости, молящагося и туриста встрѣчаютъ прежде всего изображенія Закари, Шардана, Шакалаша и другихъ народовъ—пришельцевъ, грозившихъ существованію Египта, и первый богъ, котораго онъ видитъ въ навильонѣ послѣ царя—это львиноголовая богиня Сехметъ, изваянная въ двухъ статуяхъ изъ чернаго базальта. Зритель охваченъ съ первыхъ шаговъ богомъ войны и величіемъ бога-фараона.

Совсѣмъ иное говоритъ ему храмъ царицы-богини Хатшепсуеть. Рядомъ террасъ подымается храмъ по селону горы къ отвѣсной стѣнѣ скалы изъ золотистаго известняка. Аллея сфинксовъ вела изъ долины къ несохранившемуся пилому, передъ которымъ стояли въ свое время двѣ персеи, мѣста которыхъ, ихъ вазоны видны и теперь. На первой террасѣ по бокамъ первой рампы, мягко ведущей наверхъ, росли пальмовыя деревья, а за ними возвышались передъ стѣнами второй террасы двойныя портики. Уже упомянутыя деревья говорили посѣтителю о великой царицѣ, наградившей Амона и себя благоухающими продуктами богатаго Пунта. Въ глубинѣ широкой центральной террасы по обѣ стороны второй широкой рампы, ведущей на третью главную террасу, новыя двойныя портики рассказываютъ о томъ, что составляло гордость царицы, что было легитимациею ея царствованія и власти. Направо рельефы рассказываютъ намъ о ея божественномъ рожденіи отъ Амона, о томъ, что она истинная царица-богиня, налѣво другіе рельефы наглядно и блестяще говорятъ о посланной ею экспедиціи и воочію показываютъ всѣ тѣ мѣшки добра, горшки съ ароматными деревьями и чудесныхъ животныхъ, которые привезли изъ далекихъ странъ ея корабли. На этой террасѣ уже начинаются святилища: направо капелла Анубиса, налѣво—богини Гаторъ, частью врѣзанная въ скалу.

Главные святилища однако сосредоточены были на верхней террасѣ, куда вела съ средней террасы уже упомянутая рампа, заканчивающаяся гранитными воротами. Середину террасы занимала обычная ипостильная зала, къ сожалѣнію не сохранившаяся, но въ данномъ храмѣ производившая соотвѣтственно своему положенію очевидно совершенно иное впечатлѣніе, чѣмъ въ храмахъ обычнаго типа. Направо отъ нея расположенъ былъ тонко скомпонованный алтарный дворъ, гдѣ стоитъ и посейчасъ величественный алтарь, посвященный богу Ре-Характе, и за этимъ дворомъ и алтаремъ изящная капелла, налѣво отъ ипостильной залы рядъ комнатъ и сводчатая зала приношеній. Въ центрѣ задней стѣны третьей террасы открывается наконецъ входъ въ тройное святое святыхъ.

Общее впечатлѣніе всей этой богатой архитектурной композиціи и теперь еще, несмотря на разрушеніе и очень неудачную реставрацію, пора-

зительно: такъ тонко прикомпановано все сооруженіе къ мѣстности, къ поднимающемуся склону горы и къ отвѣсной стѣнѣ горнаго хребта, за которыми—въ оси храма—въ долинѣ царей находилась гробница царицы.

Ясно, что, несмотря на повтореніе основныхъ частей, этотъ горный храмъ женщины производилъ совершенно новое впечатлѣніе, отличное и отъ воинственнаго храма Рамзеса, и отъ тяжелой *soles* Карнака, и отъ стройной колоссальности Луксорскаго храма.

Не менѣе глубокое впечатлѣніе, чѣмъ храмовая архитектура Фивъ, производитъ и архитектура гробницъ. И здѣсь нѣтъ и тѣни однообразія и шаблонности. Правда, и въ декоративномъ отношеніи, и въ архитектурной концепціи выдѣляется рядъ типовъ, но даже въ предѣлахъ одного типа нѣтъ однообразія и шаблона. Гробницы Мемнони, насколько мы ихъ знаемъ, распадаются на три категоріи. Первую составляютъ гробницы царей въ *Viban el Molouk*, дикой и меланхоличной горной долинѣ, охваченной со всѣхъ почти сторонъ отвѣсными скалами. Въ этихъ нависшихъ надъ долиной горныхъ стѣнахъ отъ времени до времени открываются входы тѣхъ сирингъ, которыя построили себѣ фараоны 18-й и 19-й династій. Всѣ эти сиринги—колоссальныя сооруженія: ряды коридоровъ, лѣстницъ, поддерживаемыхъ пилястрами комнатъ, ведутъ глубоко внутрь горы, и только послѣ долгихъ странствованій и ряда встрѣчающихся по пути архитектурныхъ неожиданностей приводятъ къ тому главному помѣщенію, гдѣ стоялъ, а иногда стоитъ и теперь еще, саркофагъ фараона. И все время вниманіе идущаго занято: его сопровождаютъ во всѣхъ этихъ коридорахъ, продолговатыхъ и эллиптическихъ залахъ, лѣстницахъ и переходахъ безконечные ряды картинъ, говорящихъ и изображеніями и письмомъ, словами и формами о томъ, что ожидаетъ покойника въ этомъ странномъ, причудливомъ, подчасъ страшномъ загробномъ царствѣ съ его демонами, богами-покровителями и духами враждебными. А на потолкахъ развертывается передъ вами, какъ и въ храмахъ, синее звѣздное небо, иногда замѣненное распластавшейся и охватившей потолокъ небесной богиней, въ объятіяхъ которой развертываются созвѣздія, солнечные корабли и другіе астрономическія аллегоріи.

То, что особенно поражаетъ въ этихъ безконечно разнообразныхъ гробницахъ, число которыхъ доходитъ уже теперь до 50, это индивидуальность декоративнаго впечатлѣнія каждой изъ нихъ, несмотря на сродство декоративной схемы. Вездѣ царитъ одинъ основной тонъ, одна красочная гамма, которой все подчинено. Виртуозность въ этой выдержанности тона достигаетъ своего апогея въ главной залѣ гробницы Аменофиса II, гдѣ зрителю кажется, будто онъ въ комнатѣ, стѣны которой покрыты настоящими исписанными и иллюстрированными папирусами. Ни одно изданіе и никакая фотографія не въ состояніи передать того впечатлѣнія, которое производитъ эта художественная выдержанность.

Слѣдующая за царемъ социальная ступень въ строго монархическомъ государствѣ фараоновъ 18-й, 19-й и 20-й династій—это близкіе фарао-

на, его жены и дѣти. Имъ не подобаеъ лежать въ такихъ же гробницахъ, въ какихъ лежатъ боги-фараоны, но они—и не обыкновенные смертные. Ихъ гробницы, разрытыя въ недавнее время Schiaparelli и превосходно сохраненныя и охраняемыя, уже не даютъ той богатой сложности плана, которую мы нашли въ долинахъ царей. Здѣсь правило—одинъ коридоръ и одна камера, изрѣдка два коридора и двѣ камеры съ побочными ихъ распространеніями. И декорровка уже не та: книги, говорящія о подземномъ царствѣ, исчезаютъ, вся средняя часть стѣны заполняется фигурами погребенныхъ и фараона, общающихся съ разными богами. Богини неба—Нутъ уже нѣтъ на плафонахъ, и остаются только синее небо и звѣзды. Но красочный принципъ остался тотъ же; въ каждой изъ видѣнныхъ мною гробницъ царить одинъ тонъ, вездѣ одно красочное впечатлѣніе.

Какъ бы въ другой міръ—міръ живой, разнообразный, пестрый и занимательный, переселяется обозрѣватель Мемнонія, перейдя изъ долинъ царей и царицъ съ ихъ строгимъ и мрачнымъ величіемъ къ сотнямъ погребальныхъ камеръ, изрѣзанныхъ склоны холма Шейхъ-абдъ-эль-Гурна. Здѣсь во всю ширь развернулась декоративная и орнаментальная техника новаго царства. Яркія фигуры на бѣломъ фонѣ заполняютъ стѣны. Эти фигуры живутъ: вся жизнь и обстановка чиновника новаго царства проходитъ передъ вами во всей ея многообразности: тутъ и знакомые уже сюжеты древняго и средняго царства, но рядомъ съ ними масса новаго. Награды и милости царя, горе и радость чиновника, его домашняя жизнь, его домъ и садъ, его вилла и забавы въ ней—все это вы найдете на стѣнахъ египетскихъ гробницъ. И если на стѣнахъ населяющія ихъ фигуры живутъ жизнью рисовавшихъ ихъ людей, то на плафонахъ развивается не менѣе богатая, но болѣе фантастическая и красочная жизнь геометрическаго, растительнаго и натуралистическаго орнамента: передъ вами пестрые квадраты и ромбы, причудливыя спирали, перемѣшанныя съ цвѣтами лотоса, виноградныя лозы, заполняющія своими причудливыми побѣгами весь потолокъ; иногда вдругъ вспорхнула передъ вами стая гусей и съ крикомъ летитъ надъ вашей головой, перемѣшавшись въ фантастическомъ сочетаніи съ вѣтками и цвѣтами, иногда вмѣсто гусей летитъ стая любимыхъ въ Египтѣ голубей, а то вдругъ въ цвѣтахъ стализованнаго лотоса глазъ открываетъ пріютившагося кузнечика, на котораго смотрять распластанныя бычьи головы. Настоящее наслажденіе бродитъ по этимъ гробницамъ и открывать одну за другой всѣ эти прелестныя детали: строгая богиня Нутъ и звездное небо не для людей, которыхъ ихъ происхожденіе не приобщило къ небу и богамъ.

VI.

Строительная дѣятельность въ Египтѣ съ ослабленіемъ новаго царства далеко не прекратилась; всѣ эти ливійцы—Шешонки, эеіоны—Шабако и Тагарка, не говоря уже о царяхъ египетскаго ренессанса Нехо, Амазисъ

и Псамметихахъ продолжаютъ строить, какъ только это имъ дозволяетъ время и финансы. Много строятъ даже послѣдній изъ независимыхъ египетскихъ фараоновъ—Нектамебъ, чудныя постройки котораго сосѣдять съ постройками 18 династiи (наприм., въ Мединетъ Абу), нисколько имъ не уступая въ нѣжности и изяществѣ формъ.

Но настоящее строительное возрожденiе—это эпоха Птолемеевъ, наслѣдiе которыхъ взяли затѣмъ на себя римскiе императоры вплоть до эпохи Антониновъ. Если ихъ строительная дѣятельность въ центрѣ ихъ власти—Александрию безслѣдно для насъ исчезла, то все же нѣкоторой замѣной этой утратѣ можетъ служить тотъ рядъ птолемеевскихъ и римскихъ храмовъ и святилищъ, которые разбросаны по всему верхнему Египту и нижней Нуби: Комъ-Омбо, Дендера, Эдфу, Эсне, Филы, Балабше и рядъ болѣе мелкихъ храмовъ Нубию—вотъ тѣ изъ этихъ храмовъ, которые сохранились и до нашего времени почти въ томъ же видѣ, въ какомъ они были выстроены въ послѣднихъ вѣкахъ до и первыхъ послѣ Р. Хр. Среди нихъ особой сохранностью и богатствомъ архитектурныхъ формъ отличаются храмы Дендеры, Эдфу и Балабше. Передъ нами, однако, въ этихъ храмахъ уже не старый Египетъ, а другой, пропитанный новыми греческими элементами. Сознательная архаизація, особенно сильная, конечно, въ области культа и культовыхъ построекъ, удержала и общiй типъ храма, и основные принципы простой и ясной египетской стройки, и основные идеи архитектурныхъ формъ, и основы декоровки стѣнъ вплоть до обычныхъ освященныхъ традиціей сюжетовъ храмовыхъ рельефовъ, но все это пропитано новымъ духомъ, отъ всего этого вѣетъ иными вкусами и иной религіозной и художественной концепціей.

Начать хотя бы съ плановъ. На мѣсто гениальнаго творчества стали строгіе, почти математическіе расчеты, расплывающіеся во всѣ стороны храмы фараоновъ замѣнились строго и сухо продуманными въ своихъ частяхъ постройками, повторяющимися повсюду во всѣхъ своихъ деталяхъ. Но и въ этой строгой систематичности и продуманности есть прелесть, прелесть претворенiя греческимъ научнымъ духомъ и философски-систематическимъ мышленіемъ нагроможденнаго и величественнаго египетскаго творчества. Въ птолемеевскихъ храмахъ вы и въ Египтѣ и внѣ его. То же и въ декоровкахъ: религіозная и политическая жизнь, включая бьющая, несмотря на ихъ гiератичность, изъ всѣхъ созданiй египетскихъ мастеровъ, украшающихъ стѣны и колонны храмовъ рельефами и надписями, превратилась въ холодное изящество сантиментально-оффиціальной схемы. Но въ этой схемѣ вы найдете и другое, вы чувствуете нѣжную прелесть, сотканную и изъ мягкаго изящества рельефовъ Сети I, и изъ ионизирующаго архаизма саятовъ и Александрию, и изъ чувственности эллинистическихъ скульпторовъ.

Особенно ярко, однако, сказалось творчество эллинистическаго ренессанса въ орнаментальной части, въ томъ, какъ онъ сумѣлъ воспользо-ваться цвѣточнымъ натурализмомъ Египта и претворить его въ чистый

орнаментъ, въ томъ, какъ ему удалось заставить цвѣсти схематическія лотосныя и папирусныя капители древняго Египта, заставить ихъ ожить и распуститься, и сдѣлать изъ портиковъ и гипостильныхъ залъ египетскаго храма настоящіе сады гигантскихъ распустившихся цвѣтовъ на высокихъ мясистыхъ стебляхъ. Всѣ элементы египетскаго цвѣточного стиля использованы: тутъ и лотосъ, и папирусъ, и пальма, и виноградная лоза, ничего или почти ничего не прибавлено, все это оживлено почти тою же гаммой красокъ, которой пользовался и старыи Египетъ, но впечатлѣніе, даваемое всѣмъ этимъ, иное, портикъ храма въ Эдфу, Комъ Омбо и Калаше такъ же далеко отъ іоническаго и коринтскаго портика греческаго храма, какъ и отъ портиковъ Луксора и Карнака. Художникъ ставитъ себѣ здѣсь такія орнаментальныя задачи, такъ бѣжитъ отъ однообразія и повторенія, такъ варьируетъ растительные старыя мотивы, сочетаетъ эти мотивы въ такія причудливыя и вмѣстѣ съ тѣмъ систематическія группы, что мы ясно усматриваемъ въ немъ творца электика, переобремененнаго знаніемъ, живущаго наполовину въ Египтѣ, наполовину въ Греціи.

Этого новаго стиля, однако, ни словами, ни фотографіями не передать, надо видѣть эти храмы-сады, эти цвѣты-колонны, эти ряды рельефовъ, этотъ яркій свѣтъ дворовъ, полумракъ ипостилей, мракъ святаго святыхъ и подземній, видѣть игру лучей, пробивающихся въ узкія окошки, чтобы понять этотъ стиль и почувствовать опьяняющій запахъ распустившагося въ послѣдній разъ увядающаго цвѣтка голубого лотоса.

Работы послѣдняго времени въ *Элефантинѣ*, ведущіяся тамъ нѣмцами и французами, послѣдними подъ руководствомъ извѣстнаго Clermont-Ganneau, собираются, какъ кажется, раскрыть намъ еще одну эпоху Египта, Египетъ персидско-арамейскій, Египетъ временъ Эздры и Нееміи. Рядъ найденныхъ въ Элефантинѣ арамейскихъ папирусовъ далъ намъ ясное свидѣтельство о пребываніи здѣсь подъ охраной персидскаго гарнизона іудейскихъ поселенцевъ. Здѣсь они, судя по даннымъ папирусовъ, пустили глубокіе корни, возбудивъ одновременно глубокую къ себѣ ненависть со стороны мѣстныхъ жрецовъ и почитателей мѣстнаго бога—барана Хнума, можетъ быть, какъ остроумно предполагаетъ Clermont-Ganneau, потому, что вѣрующіе египтяне не могли вынести пасхальнаго *амца* іудеевъ. Въ папирусахъ этихъ среди другихъ данныхъ подробно разсказывается о томъ, какъ египетскіе жрецы и египетское населеніе разрушили большой храмъ Іеговы, очевидно, сколовъ съ іерусалимскаго храма, и какъ затѣмъ іудеи путемъ просьбъ и подкупа получили позволеніе возстановить его.

Кто знаетъ, можетъ быть, ближайшее будущее возстановитъ передъ нами копію Соломонова храма, который такъ упорно и такъ безрезультатно старается возстановить современная наука. Пока же что Clermont-Ganneau разрываетъ только фундаменты домовъ арамейскаго квартала и кладбище золоченыхъ барановъ, погребенныхъ въ храмѣ соперника и гонителя іудейскаго бога и арамейскихъ колонистовъ Хнума.

VII.

Последнимъ этапомъ для значительной части путешествующихъ по Египту является поѣздка по Нилу отъ Асеуана до Вади-Гальфа, въ *нижней и средней Нубіи*. Поѣздка эта—сплошная сказка. Мимо затопленныхъ Филъ, торчащихъ изъ воды зонтиковъ пальмъ и верхушекъ цвѣточныхъ колоннъ вы въѣзжаете въ затопленную Нубію. По обѣ стороны широкую рѣку сжимаютъ золотистыя горы, въ водѣ отражаются верхушки пальмъ, на берегу проходятъ передъ вами коптскіе монастыри, съ ихъ купольными колокольнями, напоминающіе египетскія крѣпости, причудливыя нубійскія деревни съ ихъ ажурными фасадами, высоко сидящими окнами и широкими богато расписанными порталами, напоминающими частью двери египетскихъ стелъ, частью порталы коптскихъ церквей и надгробій. Вся деревня—черное пятно на черной землѣ и сѣрой скалѣ, рядъ покрытыхъ сводами коробокъ, напоминающихъ туалетные ящики и сундучки фараоновскаго Египта,—коробокъ, окруженныхъ кирпичными стѣнами съ кружевнымъ верхомъ, въ которыхъ широко открываются украшенныя бѣлыми блестящими тарелками двери—главная часть нубійскаго дома.

Вы ѣдете дальше. Вода сбываетъ, появляются зеленыя полосы обработанной земли, пустыня и горы подходят все ближе, иногда къ самой водѣ Нила. По берегамъ въ деревняхъ скрипятъ и режутъ сакіе и шадуфы, водяныя колеса и многостаяные колодцы, приводимыя въ движеніе горбатыми быками и лоснящимися неграми. И надо всѣмъ этимъ синее небо съ желтовато-розовыми облаками, въ которыхъ отражается золотисто-красная пустыня, и яркое горячее солнце. Отъ времени до времени въ пескѣ пустыни, по сосѣдству съ деревней или совершенно одиноко, среди полного безлюдья поднимаются желто-сѣрыя колонны храма или цвѣточныя колонны остатковъ храмовыхъ портиковъ, на скалахъ бѣлѣютъ гробницы шейховъ или мрачно высится черная громада римской крѣпости, византійскаго форта или коптскаго монастыря. Вы пристаєте къ берегу, идете къ храму, и откуда ни возьмись васъ облѣпляютъ черные и коричневые люди, предлагающіе вамъ скарабей, амулеты, зубы гиппопотамовъ, блестящія нубійскія бисерныя бездѣлушки и опахала, чучела ящерицъ, напоминающихъ маленькихъ крокодиловъ. Всѣ протягиваютъ руку, всѣ просятъ. Кой-гдѣ ловкій гидъ устраиваетъ нубійскую пляску, и безобразныя женщины со своими коричневыми кавалерами подъ звуки кострюлей и тамбуриновъ съ пѣсню, напоминающей крикъ, выгибаютъ передъ вами во всѣ стороны свое лоснящееся тѣло.

Наконецъ, вы пристаєте у цѣли всей поѣздки,—могучихъ пещерныхъ храмовъ Рамзеса II—храмовъ Абу Симбеля. Этотъ новый шедевръ архитектуры и скульптуры новаго царства поражаетъ васъ и послѣ Эльвъ, и послѣ Деиръ-эль-Бахари, Луксора и Карнава. Египетское искусство передъ вами въ новомъ аспектѣ. Въ отвѣсной скалѣ, спускающейся къ Нилу и окруженной золотой пустыней, высѣчены четыре сидящихъ фигуры фа

раона. Издали они сливаются со скалой, но чѣмъ ближе вы подходите, тѣмъ яснѣе становятся ихъ контуры, тѣмъ явственнѣе вырисовываются торжественно-спокойныя лица ихъ, ихъ могучіе торсы и та дверь—входъ въ храмъ, которую они какъ бы охраняютъ. А надъ ними—рядъ кинокефаловъ славить восходящее солнце.

Внутри встрѣчаютъ васъ тѣ же колоссы, въ томъ же строгомъ спокойствіи выстроившіеся по обѣ стороны главной залы въ полусвѣтѣ высѣченной въ скалѣ комнаты, а въ глубинѣ едва освѣщенные четыре фигуры боговъ—властителей этого храма.

Кто это видѣлъ, никогда этого не забудетъ.

Я рассказалъ, какъ умѣлъ, свои впечатлѣнія. Онѣ зовутъ къ изслѣдованію и углубленію, онѣ вновь ставятъ вопросъ о томъ, что же далъ этотъ міръ въ своей тысячелѣтней эволюціи намъ, нашему европейскому міру и культурѣ. Кой-что я намѣтилъ, но это кой-что—пригоршня песку изъ моря пустыни...

М. Ростовцевъ.

Изъ моихъ воспоминаній.

Очерки.

Предлежащіе очерки были начаты еще 19 февраля 1901 года, на Ривьерѣ, въ мѣстечкѣ Juan les Pins, Hôtel Terminus, теперь прекратившемъ свое существованіе,—такая отиѣтка стоитъ въ заголовкѣ перваго листа оригинала. Окончивъ эти первые очерки, я долго смущался мыслью о томъ—начать ли ихъ печатаніе самому, или оставить ихъ, какъ и все, что могло бы быть написано потомъ, въ своемъ портфель впродъ до того времени, когда наступитъ моя конечная расплата съ жизнью. Памятныя слова гоголевскаго почтмейстера — «распечатать», «нераспечатать» то и дѣло звенѣли въ ухахъ и долго не давали мнѣ покоя—многое говорило въ пользу печатанія, немало возникало возраженій и противъ такого рѣшенія. Семь лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ были начаты эти немудренныя записки, и вотъ только теперь я рѣшился всетаки предать ихъ тисненію потому, что, по внимательномъ пересмотрѣ и исправленіи ихъ ¹⁾, я не нашелъ въ написанномъ, въ изображеніяхъ давно прожитой и полузабытой порѣ жизни ничего такого, что могло бы показаться почему-либо «неудобнымъ» по отношенію къ людямъ близкимъ или родственникамъ поименованныхъ въ запискахъ лицъ. Что касается до живущихъ нынѣ свидѣтелей тогдашняго давно прошедшаго времени, то, къ прискорбію, осталось ихъ очень мало, и я могу только пожалѣть, что лишень возможности отдать написанное на ихъ предварительное рѣшеніе.

Нѣкоторымъ оправданіемъ для моего предпріятія да послужить то, что первые отрывки воспоминаній, касающіеся моего дѣтства и отрочества, обнимаютъ время, отдѣленное отъ насъ промежуткомъ болѣе чѣмъ въ 60 лѣтъ! За такой долгій срокъ сглаживаются всякія неудовольствія, недоразумѣнія и шероховатости, возникавшія при жизни между людьми, отошедшими въ міръ, гдѣ нѣтъ ни печалей, ни воздыханій...

Другое дѣло—время со второй половины 50-хъ годовъ, когда передъ едва выступившимъ въ жизнь молодымъ человѣкомъ стало постепенно рас-

¹⁾ При этомъ приходилось дѣлать и нѣкоторыя дополненія, о чемъ отмѣчено въ примѣчаніяхъ 1906—1907 гг.

крываться широкое поле общественной работы, и приходилось ему,новичку въ жизни, самостоятельно прѣкладывать себѣ жизненный путь. Да и въ какое еще время? Въ эпоху великихъ реформъ, открывшуюся великимъ актомъ освобожденія крестьянъ!

Тутъ при изображеніи этого высоко поучительнаго времени, преисполненнаго горячей дѣятельности всѣхъ и каждаго, кому приходилось принимать въ ней непосредственное участіе, — дѣятельности, не чуждой многочисленныхъ разногласій и даже неизбѣжныхъ личныхъ столкновеній, поневолѣ придется иной разъ воздержаться отъ выступленія въ публику съ своими признаніями впрѣдъ до...

Въ оставшейся послѣ отца моего записной книжкѣ отмѣчено: <1832 г. августа 22 числа, въ 3¼ часа утра родился сегодня сынъ Митрофанъ; такъ наименованъ въ память прославленія въ семь году Новаго Святителя Митрофана (епископа воронежскаго), въ казенномъ университетскомъ домѣ. Крестили августа 23 числа, въ полдень. Восприемниками (были): ген.-лейт. Николай Сильвер. Муромцевъ ¹⁾, ст. сов. Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ ²⁾, тит. сов. Петръ Степ. Щепкинъ ³⁾, штаб.-капит. Анна Петровна Бахметева ⁴⁾, капит. Елена Александр. Топильская ⁵⁾ и Анна Ивановна Хомякова ⁶⁾, священ. Петръ Матв. Терновскій ⁷⁾, діак. Василій Александр., повивала Надежда Алек. Армфельдъ ⁸⁾.

Какъ видите—все люди, извѣстные въ Москвѣ и даже выдающіеся по своему положенію, что даетъ право думать, что гароскопъ, не звѣздный, только что явившагося на свѣтъ новаго челоуѣка былъ для него очень благопріятенъ и обѣщалъ ему большіе успѣхи на жизненномъ пути. И въ самомъ дѣлѣ—родился онъ въ высокознаменательный день празднованія коронованія императора Николая Павловича, въ центрѣ всероссійскаго просвѣщенія, въ зданіи университета, чуть ли не въ томъ самомъ помѣщеніи, гдѣ собирались не такъ давно мужи науки для сужденія о дѣлахъ народнаго образованія и для разбора молодежи, не подчинявшейся требованіямъ своего начальства. Наконецъ, семь извѣстныхъ и даже знатныхъ въ Москвѣ лицъ протягивали, въ тотъ день, 14 рукъ своихъ, чтобы воспріять изъ купели счастливаго младенца. А что должно было выйти изъ него—кто зналъ? Скажу еще мимоходомъ, что открытіе въ годъ моего рожденія мощей св. Митрофана не дало мнѣ именоваться <Димитріемъ>, но

1) Родственникъ матушки.

2) Въ сороковыхъ годахъ попечитель москов. учебнаго округа.

3) Братъ отца моего.

4) Жена бывшаго попечителя моск. учебнаго округа.

5) Мать извѣстнаго М. И. Топильскаго, заскорузлага чиновника, преданнаго слуги министра юстиціи гр. В. Н. Панина и заклятаго крѣпостника.

6) Двоюродная сестра А. С. Хомякова, родная теткѣ братьевъ Хомяковыхъ, очень богатыхъ домовладѣльцевъ въ Москвѣ.

7) Профессоръ богословія въ моск. университетѣ.

8) Жена или мать (не помню хорошенько) проф. А. О. Армфельда.

не потому, чтобы имя это было хуже имени воронежскаго чудотворца, а потому, что мнѣ пришлось бы носить это имя въ честь Д. П. Голохвастова: почета для новорожденнаго отъ такого наименованія было бы много—вѣдь славу герценовскаго генерала составляли не личные его заслуги, а рѣдкія способности рысака, знаменитаго «Бычка», не знавшаго соперниковъ на конномъ ристалищѣ; недаромъ скелетъ его, въ уваженіе попечителя учебнаго округа, былъ принятъ на храненіе въ зоологическій музей университета. Тамъ ли онъ еще теперь? О личныхъ заслугахъ самаго попечителя ходили разные неодинаковые слухи ¹⁾. Съ другой стороны, не тяжела была для меня связь по имени съ знаменитымъ «Митрофанушкой» Фонвизина,—такъ, между прочимъ, звала меня почтенная Ольга Семеновна, жена Сергѣя Тимоеича Аксакова, хотя знакомые и говаривали потомъ смѣючись, что мнѣ не легко будетъ справиться въ жизни съ прозвищемъ прославленнаго недоросля. Ну, какъ-нибудь...

Какъ бы то ни было, а родился я 22 августа 1832 года; стало быть того же числа и мѣсяца нынѣшняго 1901 года минетъ мнѣ 69 лѣтъ. Это всетаки лучше, чѣмъ 70 лѣтъ. Быть моложе на цѣлый годъ—не худо, въ особенности, когда жить остается немного: вѣдь по статистикѣ изъ 1,000 родившихся въ одинъ и тотъ же годъ до моего преклоннаго возраста доживаютъ только 71, благодаря, конечно, усиленной смертности дѣтей. Значитъ, скоро, можетъ быть очень скоро и для меня настанетъ предѣлъ жизни. Но не буду распускаться—надо бодриться! Авось, этотъ какъ будто и лишній годъ сослужитъ мнѣ свою службу, и посчастливится мнѣ довести до конца свои воспоминанія, только что начатыя въ чудномъ уголкѣ европейскаго міра, на берегу ласкающаго моря, среди очаровательныхъ пальмъ (villa Moreska, Pas du diable и др.) и залитыхъ восхитительными розами и гвоздиками полей ²⁾. Если прежде не разъ принимался я за эту работу и бросалъ ее чуть не на первой страницѣ, то здѣсь, вдали отъ домашняго муравейника, не дающаго покоя своєю безконечною хлопотней и запросами бѣдной, повседневной жизни, часто не имѣющими ровно никакого значенія, гораздо сильнѣе, настоятельнѣе сказалась потребность разобраться въ прожитой жизни, въ самомъ себѣ. Отказаться отъ удовлетворенія этой потребности, заглушить ее среди житейскихъ дрязгъ я не могу—въ послѣдніе годы моей угасающей жизни она стала для меня такъ же настоятельна, какъ потребность ѣсть и пить; хоть понемногу, а вѣдь надо же и ѣсть и пить, т.-е. хоть на короткое время, да почаще уединяться, уходить въ самого себя, собирать разбросанныя по жизненному пути свои мысли и чувства и отдавать себѣ отчетъ въ нихъ. Вся трудность—въ томъ, чтобы передуманное и пережитое выкладывать на бумагу. Авось и у меня достанетъ на это силъ и умѣнья! С.

¹⁾ Доп. 1907 г.: о Голохвастовѣ и его „Бычкѣ“ см. въ запискахъ С. М. Соловьева, *Востн. Евр.*, 1907 г., апрѣль, стр. 438 и сл.

²⁾ Ожиданіе это не оправдалось: съ начала записокъ прошло уже 6 лѣтъ; я жи и здоровъ, и сегодня, 29 сентября 1907 г., я съѣлъ за просмотръ написаннаго.

годня началъ я это важнѣйшее теперь въ моей жизни дѣло: буду стараться почаще вести откровенную бесѣду съ самимъ собою, и тогда, можетъ быть, удастся мнѣ и добиться отъ себя чего-нибудь и исполнить свой долгъ передъ самимъ собою и людьми. Тогда, можетъ быть, и они простятъ мнѣ многое изъ того, что я исполнилъ не такъ, какъ бы слѣдовало, простятъ и за то, чего я вовсе не исполнилъ, но по положенію своему долженъ былъ исполнить.

«Жизнь прожить—не поле перейти!» Поле свое я перешелъ, дальше, впередъ идти мнѣ некуда, да и перешелъ, кажется, легко, хотя и потребовалось на это почти 69 лѣтъ. Но дѣло не въ этомъ только, а въ томъ, какъ перешелъ я свое поле, какъ прожилъ я свою не важную жизнь; что чувствовалъ и переживалъ; что и какъ дѣлалъ и переживалъ и не на свою только, но и на общую пользу. Вотъ въ чемъ задачи начатаго самоотчета.

Но спрашивается: какое имѣю я право рассчитывать на вниманіе общества къ моимъ воспоминаніямъ? Вопросъ очень важный для всякаго, начинающаго такую работу, требующую немалого напряженія умственныхъ и нравственныхъ силъ, а для меня важный въ особенности, потому что прожитая жизнь, кидавшая меня изъ стороны въ сторону, какъ ничтожную щепку, не была красна ни выдающимися событіями, ни личными заслугами, которыя стоили бы вниманія общественнаго. Отвѣчая на поставленный сейчасъ вопросъ, скажу такъ: право мое заключается въ томъ, что я въ своихъ запискахъ и не думаю занимать кого-либо рассказами только о самомъ себѣ, о своихъ личныхъ дѣлахъ, о прожитой личной жизни, или о ходѣ моей умственной дѣятельности, мало содержательной и мало для кого любопытной. Последовательный ходъ личной жизни да послужитъ мнѣ только путеводною нитью для соблюденія времени въ порядкѣ рассказа, а подробности лично пережитаго найдутъ въ немъ свое мѣсто лишь настолько, насколько онѣ понадобятся для болѣе точнаго изображенія времени, въ которое приходилось дѣйствовать, и совершившихся на моихъ глазахъ переиѣнъ общественныхъ и государственныхъ, а также для обрисовки выдающихся дѣятелей, съ которыми приходилось не только встрѣчаться, но иногда и вмѣстѣ работать надъ однимъ общимъ дѣломъ. Короче сказать—частное, личное пускай отоидетъ на задній планъ, а напередѣ пускай стануть общество и люди, двигавшіе его впередъ или оставившіе по себѣ слѣдъ въ его поступательномъ движеніи. Немало пройдетъ передъ умственнымъ взоромъ читателя и такихъ лицъ, которыя послужатъ только живыми чертами для изображенія общей картины времени. Матеріала для такого изображенія найдется много—лишь бы достало силъ и умѣнья справиться съ такимъ живописаніемъ. Попробую—начну, а если не совладаю съ дѣломъ такъ, какъ бы хотѣлось, то утѣшусь тѣмъ, что другіе воспользуются послѣ меня моимъ матеріаломъ. Буду заботиться прежде всего о правдѣ своихъ рассказовъ, а въ личныхъ увлеченіяхъ да простятъ меня снисходительные читатели. *Feci quod potui—faciant*

meliora potentes! Это мудрое изреченіе древнихъ мужей, красующееся на занавѣси Коршевскаго театра, какъ нельзя болѣе подходитъ для заглавной надписи и надъ моею личною траги-комедіей.

Мое дѣтство и отрочество дома и въ гимназій прошло въ самое темное время Николаевскаго крѣпостничества, оно рѣзко сказывалось во всѣхъ слояхъ тогдашняго общества, насквозь пронизывало его сверху донизу и клало рѣзкую печать даже на такихъ людей, которые стояли далеко отъ непосредственнаго участія въ рабской жизни. Вѣдь не надо было владѣть живыми душами, чтобы оказаться заскоружлымъ крѣпостникомъ въ собственной душѣ—на это нѣтъ времени, ибо крѣпостникомъ можно быть всегда; но можно было также владѣть живыми людьми, распорядиться ими, ихъ судьбою и сохранить стремленіе къ свободѣ и право на общее уваженіе. Но немного было тогда счастливецъ изъ круга людей образованныхъ, которые, посвятивъ себя наукѣ, были совсѣмъ чужды этой разъѣдающей заразы. И эти-то счастливыя, принявшіе по наслѣдству изъ рукъ нашихъ первыхъ мучениковъ 1826 г. дѣло народнаго освобожденія, самоотверженно выносили его на своихъ плечахъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ. Но послѣдовавшее за ними знаменательное, внутреннее движеніе почти не коснулось меня по моему малолѣтству, и только съ началомъ университетской жизни, т.-е. съ 1849 г., показался первый просвѣтъ въ моемъ личномъ сознаниі, въ уразумѣніи, хотя и слабомъ, общихъ условій жизни и окруженія, среди которыхъ приходилось тогда всякому молодому человѣку моего возраста начинать умственную дѣятельность, начинать жизнь, преисполненную въ началѣ неясныхъ влеченій куда-то въ неизвѣданную даль, туманныхъ идеаловъ, даже умственнаго шатавія, а въ общемъ всетаки благородныхъ стремленій.

Ближайшая, послѣ университета жизнь, болѣе сознательная, хотя и съ неопредѣлными задачами впереди и насущною нуждою въ настоящемъ, подъ благимъ вліяніемъ великой севастопольской кампаніи, такъ счастливо окончившейся для Россіи быстро наступившимъ подъемомъ народнаго духа, дала первое направленіе лучшимъ стремленіямъ молодости.

Яркій свѣтъ, радостно озарившій русскую жизнь быстро слѣдовавшими другъ за другомъ преобразованіями—освобожденіемъ крестьянъ, устройствомъ хотя и убогаго общественнаго самоуправленія, публичнаго суда и пр., открылъ для молодыхъ силъ заманчивое поле для самостоятельной и плодотворной работы. И вотъ тогдашняя молодежь разбрелась по этому широкому полю соотвѣтственно своимъ личнымъ вкусамъ и наклонностямъ, а то и по случайнымъ причинамъ, какъ это было со мною, чтобы приложить къ дѣлу свои силы, вскормленныя университетскою наукою и студенчествомъ. Какъ ни разнообразны были частныя вкусы и наклонности, а безавѣтная преданность, съ которою университетская молодежь рванулась тогда въ новое дѣло, мало руководствуясь денежными расчетами, составляла общее въ высокой степени отрадное явленіе.

Къ несчастью, новый разсвѣтъ русской жизни продолжался недолго—

уже въ 70-хъ годахъ стали наступать не обѣщавшія ничего хорошаго сумерки,—реформы были совершены, но не достало силъ и разумнїя поддержать и развить ихъ далѣе. А послѣ 1 марта 1881 г. настала жестокая реакція, потянувшая назадъ едва лишь начавшую слагаться общественную самодѣятельность, а вмѣстѣ съ нею и всю народную жизнь, отданную во власть полицейскаго начальства. Ярво вспыхнувшая въ 1860-хъ годахъ звѣзда права и правды стала быстро потухать и все свѣтлое, доброе, разумное стало отходить на задній планъ. Эта тяжелая реакція, все усиливавшаяся до начала новаго ХХ столѣтія ¹⁾, безжалостно разбила свѣтлыя надежды и лучшія упованія цѣлаго поколѣнія, выросшаго на разумныхъ началахъ недавняго прошлаго и окрѣпшаго въ совокупномъ трудѣ на общее благо. Много выдающихся дарованій и незаурядныхъ силъ погубило и гибнетъ до сихъ поръ въ водоворотѣ быстрого попятнаго движенія, созданномъ разнузданностью личнаго произвола. Но еще большее число благородныхъ участниковъ въ дѣлѣ обновленія родной земли отошли въ сторону, попрятались по своимъ угламъ, тая въ душѣ своей горькое разочарованіе и питая справедливое озлобленіе противъ водворившагося безначалія—чувство, безъ сомнѣнія, новое, недостойное и не ладившее съ недавнимъ свѣтлымъ настроеніемъ,—да, но что-жъ было дѣлать? На смѣну этихъ людей выступили тогда иные дѣятели, съ инымъ закаломъ и съ иными помыслами властности и личнаго произвола. Вся власть сверху до низу оказалась въ рукахъ этихъ привилегированныхъ дѣльцовъ, готовившихъ странѣ далеко не радостное утро. По естественному ходу событій, въ отпоръ водворившемуся самовластію и самоволію уже слагалась сперва немногочисленная дружина недовольныхъ и даже озлобленныхъ людей, считавшая, однако, своимъ гражданскимъ долгомъ противодѣйствовать самовольству, не сознававшему существа народныхъ потребностей. Эта дружина была прямо вызвана не понимавшею своего призванія властью и уже не въ подпольѣ только, а открыто растеть въ ширь и глубь, и врѣпнеть все сильнѣе и сильнѣе.

Эта дружина, благодаря безразсудству реакціи, постоянно влекла къ себѣ все большія молодыя силы, готовые на всякія крайности и ожидавшія перваго подходящаго случая—дѣйствовать самымъ рѣшительнымъ образомъ, жертвуя собственною жизнью и не помышляя о послѣдствіяхъ своихъ увлеченій. Громко негодуя, ворча и клопоча, это движеніе захватывало приниженный народъ, зачастую служившій ему сырымъ матеріаломъ для достиженія невѣдомыхъ ему самому цѣлей, и грозило и грозитъ странѣ неизвѣданными еще ею потрясеніями въ ближайшемъ будущемъ.

Вотъ тѣ общія вехи на широкомъ полѣ, которое суждено было пройти мнѣ. Около этихъ верстовыхъ столбовъ и будутъ вращаться мои воспоминанія. Исключительная важность пережитыхъ странною годовъ окрыляетъ меня и невольно вызвала смѣлость взяться, можетъ статься, и за непо-

¹⁾ И донинѣ продолжающаяся (1907).

сильную мнѣ работу. Тутъ, думается мнѣ, помимо крупныхъ, выдающихся и всѣмъ памятныхъ событій, найдется, конечно, немало частныхъ подробностей изъ запаса личной памяти, которая, можетъ быть, пригодятся потомъ и лично мнѣ, и другимъ для общаго изображенія прожитаго времени, для обрисовки его дѣятелей.

Въ Москвѣ я родился, въ Москвѣ учился, жилъ и работалъ, въ Москвѣ же доживаю послѣдніе годы жизни, надѣюсь и умереть въ Москвѣ. Слѣдовательно, Москва и московская жизнь—вотъ внѣшнія рамки моихъ воспоминаній.

I.

Семья и дѣтство.—Прародители.—Отецъ.—Мать.—Ближайшіе родные.

Фамилія Щепкиныхъ стала особенно извѣстна, и не въ одной только Москвѣ, съ 40-хъ гг. XIX в., когда актеръ московскаго театра Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ пользовался славой неподражаемаго истолкователя гениальныхъ произведеній и не однихъ только русскихъ драматурговъ: Грибоѣдова, Гоголя и др., но и иностранныхъ: Шекспира, Мольера и друг. Семейство наше и Михаила Семеновича были родственны—отецъ мой звалъ послѣдняго «братомъ», а мы, дѣти, величали его «дядей», хотя близкаго родства между нами не было. Оба семейства шли, правда, отъ одного корня, отъ одного родоначальника, священника. Любопытна слѣдующая историческая справка:

1. Еще въ началѣ XVIII вѣка проживалъ въ Калужской губ. и епархіи, Мосальской округи, въ селѣ Спасскомъ, чѣмъ на Черекшѣ, при церкви Преображенія, священникъ Ѳедоръ Прокофьевъ.

2. За нимъ, тамъ же, Григорій, также священникъ, на мѣстѣ отца.

3. Потомъ Алексѣй, также священникъ, на мѣстѣ отца.

Время жизни этихъ трехъ нашихъ прародителей неизвѣстно; но время четвертаго точно опредѣлено.

4. Это—Иванъ священникъ, также служившій на мѣстѣ отца своего; впоследствии—іеромонахъ Спасо-Андроніевскаго монастыря въ Москвѣ; умеръ 15 января 1795 г., въ глубокой старости.

Наконецъ, 5. Петръ священникъ, на мѣстѣ отца, умеръ 24 февраля 1805 г.

Такимъ образомъ, въ теченіе почти двухъ столѣтій священническое мѣсто въ одномъ и томъ же селѣ переходило преемственно отъ отца къ сыну—явленіе, впрочемъ, не особенно рѣдкое въ тогдашней Россіи, и надумать, что вообще эти пятеро пастырей доживали до глубокой старости. Говорили даже, что при той же церкви села Спасскаго не только священники, но и причетники были изъ того же рода Щепкиныхъ. Отдаленнымъ подтвержденіемъ этого семейнаго преданія можетъ служить то, что въ послѣдніе годы минувшаго столѣтія доживалъ тамъ свой вѣкъ бѣдный причетникъ Щепкинъ; покойный братъ мой Сергѣй Павлычъ († 1898 г.) и

рочно ѣздилъ на Перекшу, чтобы видѣть живые остатки достославнаго рода. Въ сожалѣнію, поѣздка брата, кромѣ личнаго знакомства, не дала ровно ничего, да и по характеру своему онъ не могъ ничего разузнать—сѣѣдилъ, увидѣлъ дряхлаго старика, и, конечно, по большой добротѣ своей помогъ бѣднягѣ, вотъ и все.

Съ четвертаго праотца, священника Ивана, родъ нашъ раскололся на-двое: одинъ изъ сыновей Петра—Степанъ (1760 г., † 1820 г.) въ царствованіе Екатерины II вышелъ изъ духовнаго званія и служилъ по гражданской части, нажилъ домъ въ Москвѣ и даже владѣлъ крѣпостными. Но это еще не доказываетъ, что онъ былъ дворяниномъ, хотя и имѣлъ почему-то медаль въ память 1812 г. на владимірской лентѣ. Вышее, чего онъ добился на службѣ, кромѣ благосостоянія, это—должности секретари конторы духовной типографіи въ Москвѣ, въ чинѣ коллежскаго секретаря. Зато онъ былъ тонкимъ приказнымъ-политикомъ, умѣвшимъ обдѣлывать всякія дѣла. Онъ же, говорятъ, былъ и главнымъ дѣйствующимъ лицомъ при освобожденіи семейства М. С—ча Щепкина изъ крѣпостной зависимости. Что же касается до потомственнаго дворянства, то надо думать, что оно было приобрѣтено сыномъ Степана Петровича, моимъ отцомъ Павломъ Степанычемъ, по службѣ его профессоромъ Московскаго университета.

Итакъ, это—одна линія, отколовшаяся отъ общаго духовнаго ствола. По другой линіи сынъ священника Ивана—Григорій, вступилъ въ услуженіе гр. фонъ-Волкенштейна, «имѣвшаго деревни въ Мосальскомъ же уѣздѣ, въ сосѣдствѣ села Спасскаго», а потомъ былъ переселенъ въ курское имѣніе графа. Какъ Петръ Ивановъ приходился дѣдомъ моему отцу по одной линіи, такъ Григорій Ивановъ приходился дѣдомъ Михаилу Семенычу по другой.

Во всему сказанному надо прибавить еще такую подробность. Дѣдомъ моимъ, Степаномъ Петровичемъ, какъ сказано, былъ прерванъ родъ духовныхъ лицъ въ нашемъ родѣ. По другому преданію, у священника Ивана Алексѣева было еще пятеро сыновей; изъ нихъ трое: Петръ, Максимъ и Гаврило, оставались священниками, Афанасій былъ дьячкомъ при той же Спасской церкви, и Трифонъ—въ военной службѣ, почему и величался «воинномъ». «Сихъ дѣтей его (Ивана Алексѣва) дѣти и внучата мужеска и женска пола,—сказано въ свидѣтельствѣ, выданномъ отцу Михаилу Семенычу, Семену Григорьичу въ 1806 г.,—будучи происхожденія по природѣ свободнаго, находятся въ разныхъ состояніяхъ; но нѣкто изъ нихъ (кромѣ Григорія съ семействомъ) у помѣщиковъ ни по какимъ укрѣпленіямъ не состоитъ»¹⁾. Когда, еще будучи студентомъ, если не ошибаюсь, въ 1850 году, я, вмѣстѣ съ двумя братьями, проводилъ лѣто въ деревнѣ у матушки, Лихвинскаго уѣзда, той же Калужской губ. (с. Жеремино), то къ намъ пріѣзжалъ изъ Мосальскаго уѣзда тамошній священ-

¹⁾ См. въ *Русскомъ Архивѣ*, 1900 г., № 11, замѣтку сына моего Дмитрія—«О духовномъ происхожденіи М. С. Щепкина».

никъ съ дочерью и назвался намъ дядею. Онъ самъ былъ, вѣроятно, внукомъ одного изъ трехъ старшихъ сыновей Ивана Алексѣева. Какъ теперь помню этого бѣднаго сельскаго подпика, очень приниженно относившагося къ матушкѣ, — всетаки баринѣ, — и къ намъ, сыновьямъ ея, «ученымъ людемъ»¹⁾.

Вотъ сколько составныхъ частей входило въ мою плоть и кровь съ отцовской стороны. Главное — начало духовно-церковное, потомъ приказное, неразрывно связанное съ первымъ, и даже воинское, а пожалуй, и частица того художественнаго дарованія въ комъ-либо изъ нашихъ праотцевъ, выдвинувшаго великаго артиста, «дядю» Михаила Семеныча. Съ женской стороны, какъ видно будетъ ниже, непосредственно вліяло чистокровное дворянское начало на почвѣ татарщины. Вотъ тутъ и разбирайся въ своемъ происхожденіи — всего понемногу. Чего хочешь — того просишь. Порадоваться могу лишь одному, что какъ въ моей личной жизни, такъ и въ жизни всего нашего семейства дворянскій духъ не имѣлъ преобладанія. Что же? Во всякомъ случаѣ лучше смѣсь всякой всячины, чѣмъ «благородная» чистокровность — что хорошо было когда-то въ давно прошедшее время, то оказалось непригоднымъ впоследствии и окончательно проваливается теперь.

Изъ нашего доморощенного родословнаго древа видно, что мой отецъ и Михаилъ Семенычъ были, какъ говорится, правнучными братьями, а по отношенію къ старѣйшему родоначальнику, Федору Прокопьеву — въ седьмой степени родства — то, что называется «седьмая вода на киселѣ». Но оба семейства были близки между собою не по родству, а по одинаковому образованію дѣтей, ибо всѣ мы, какъ сыновья Михаила Семеныча, такъ и я съ братьями, учились въ московскомъ университетѣ²⁾; вообще были близки по одинаковости жизни, а не по крови. Какъ и когда семья М. С — ча освободилась изъ крѣпостной зависимости, извѣстно изъ разныхъ журнальных статей и, пожалуй, отчасти изъ записокъ самого знаменитаго художника. Вѣрно то, что когда онъ переселился въ Москву, то сошелся съ отцомъ моимъ — дружеская связь ихъ не прерывалась до смерти послѣдняго.

IV.

Отецъ мой родился съ 4 на 5 ноября 1793 года, а скончался очень рано — въ 1836 г., на 43 году жизни. Юность свою отецъ провелъ при «родителѣ» своемъ Степанѣ Петровичѣ вмѣстѣ съ тремя старшими братья-

¹⁾ Этотъ священникъ былъ, можетъ быть, тѣмъ восьмымъ, въ порядкѣ наследованія, настоятелемъ Перекшинской церкви, о которомъ упоминается въ биографическомъ словарѣ московскаго университета 1855 г. (въ биографіи моего отца).

²⁾ Изъ семьи М. С — ча и нашей переучилось въ университетѣ 18 человекъ и почти всѣ на математическомъ факультетѣ. Къ великому удовольствію своему прибавлю, что лишь въ самое послѣднее время назначенъ э. о. профессоромъ въ университетѣ внукъ Мих. Сем. — Вячеславъ Николаичъ (1907 г.).

ми, которые уже были опредѣлены въ приказную службу. Въ нее же хотѣли зачислить и младшаго сына; но добрые люди, замѣтивъ въ мальчикѣ большія способности и охоту къ ученію, уговорили дѣда моего «пожертвовать меньшимъ сыномъ ученому званію», т.-е. попросту — отдать въ ученье; сами вызвались приготовить его въ какое-нибудь учебное заведеніе, что и исполнили, такъ какъ въ 1808 г., т.-е. на 15 году возраста, отецъ мой поступилъ сначала въ академическую гимназію ¹⁾, а потомъ и въ университетъ. Въ 1811 г. онъ окончилъ курсъ со степенью кандидата; въ 1815 г. получилъ степень магистра ²⁾ чистой математики, но диссертация написана по астрономіи, и въ томъ же году, 22 лѣтъ, занялъ кафедру чистой математики. Какая разница въ возрастѣ по сравненію съ нашимъ временемъ пресловутаго классическаго образованія, когда ранѣе 18 лѣтъ нельзя было окончить курса въ гимназіи. Профессорская дѣятельность отца проходила въ то время, когда съ конца 20-хъ и въ 30-хъ годахъ обнаружилось новое преобразовательное направленіе по народному образованію—онъ самъ принадлежалъ къ составу *новыхъ* профессоровъ университета.

Отца своего я не помню, и мое представленіе о немъ основывается только на отзывахъ достовѣрныхъ, уважаемыхъ людей. Тутъ я могу назвать прежде всего такихъ людей, какъ славный математикъ-астрономъ и академикъ Д. М. Перевощиковъ, въ которомъ покойный отецъ «имѣлъ истиннаго друга», какъ М. П. Погодинъ и другіе *немногіе* ³⁾ изъ его товарищей по университету; какъ М. С. Щепкинъ, С. Т. Аксаковъ, близкіе пріятели отца, какъ непосредственный ученикъ его Н. Е. Зерновъ, его преемникъ по кафедрѣ чистой математики и составитель его жизнеописанія въ «Биографическомъ словарѣ» университета 1855 года, наконецъ, какъ А. П. Заблоцкій-Десятовскій, пользовавшійся глубокимъ, заслуженнымъ общественнымъ уваженіемъ за благородную дѣятельность свою въ пользу освобожденія крестьянъ, вмѣстѣ съ гр. П. Д. Киселевымъ, еще задолго до 1861 г., когда оно дѣйствительно совершилось. Не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь нѣкоторые изъ отзывовъ о профессорской дѣятельности отца, нелишнихъ и для частичной обрисовки тогдашняго университета.

¹⁾ Но «академическая» гимназія существовала тогда только въ Петербургѣ, въ Москвѣ же была гимназія «университетская», а въ 1804 году была учреждена въ Москвѣ такъ называемая «Первая губернская гимназія»; имѣя просто безъ титула губернской.

²⁾ Крошечная, въ нѣсколько страницъ, брошюра—«Разсужденія объ открытіяхъ, сдѣланныхъ въ астрономіи со времени изобрѣтенія телескоповъ». До сихъ поръ сохранился у меня на большомъ пергаментномъ листѣ магистерскій дипломъ отца на вѣнцѣвѣ торжественномъ латинскомъ языкѣ.

³⁾ Въ средѣ своихъ товарищей отецъ имѣлъ немало враговъ; изъ нихъ первымъ и главнымъ былъ И. И. Давыдовъ, прославившійся своимъ интриганствомъ (см. «Записки» С. М. Соловьева). Слышно было въ то время, что изъ-за этихъ интригъ отецъ принужденъ былъ даже оставить кафедру.

Прежде всего, вскорѣ послѣ смерти отца, въ *Телескопъ*, 1836 года, № 11-мъ, издававшемся проф. Н. И. Надеждинымъ, былъ напечатанъ некрологъ, въ которомъ скончавшемуся профессору была воздана похвала за его выдающіяся заслуги, какъ преподавателя, сдѣлавшаго переворотъ въ преподаваніи математики, и за «рѣдкую прямоту и честность характера, которыя могли оцѣнить только коротко его знавшіе». «Да приметъ теперь покойный торжественное изъявленіе полного уваженія, заслуженнаго его безукоризненной жизнью. На гробъ долгъ совѣсти и чести требуетъ отдать должную справедливость памяти умершаго, произнестъ безпристрастный и рѣзкій приговоръ его». Замѣчу мимоходомъ, что авторъ некролога не былъ сторонникомъ отца моего при жизни и даже, какъ говорили тогда, дѣйствовалъ подчасъ заодно съ его врагами-товарищами, — тѣмъ сильнѣе подъ перомъ Надеждина выступаетъ хвала, возданная покойному за «рѣдкую прямоту и честность характера».

Когда черезъ 40 лѣтъ спустя послѣ смерти отца праздновался въ Петербургѣ, въ 1877 г., 50-лѣтній юбилей государственной службы А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго, то онъ, въ отвѣтъ на обращенное къ нему «сердечное поздравленіе» присутствовавшихъ на торжественномъ обѣдѣ 23 ноября (привѣтствіе юбиляру было составлено Б. Д. Кавелинымъ, а по болѣзни было прочтано Я. К. Гротомъ), произнесъ слѣдующія драгоцѣнныя для меня слова:

«Всякій разъ, когда я оглядываюсь на мое прошедшее, передо мною встаютъ свѣтлые образы тѣхъ, сближеніе съ которыми развивало во мнѣ и поддерживало нравственныя начала и благодарность къ которымъ я сохраняю до послѣдняго моего вздоха. Я не буду приводить имена еще живущихъ и скажу только объ умершихъ. Прежде всего, когда я былъ еще на студенческой скамьѣ, мое благодарное воспоминаніе останавливается на профессорѣ математики въ московскомъ университетѣ, П. С. Щепкинѣ, человѣкѣ, въ которомъ умъ и образованіе соединились съ прекрасными качествами сердца».

Въ воспоминаніяхъ о близкихъ людяхъ, имѣвшихъ благотворное вліяніе на нравственный складъ Заблоцкаго, имя отца моего было поставлено имъ рядомъ съ именами такихъ выдающихся служителей русскаго народа, какъ Н. А. Милютинъ, кн. В. Ф. Одоевскій (съ нимъ издавалъ Заблоцкій превосходный по тому времени народный журналъ *Сельское Чтеніе*), Б. В. Чевкинъ, гр. П. Д. Биселевъ и др. ¹⁾ Благоговѣнное чувство признательности всегда озаряетъ и согрѣваетъ душу. Съ такимъ чувствомъ и я произношу свѣтлое имя Андрея Пареевича, одного изъ лучшихъ друзей нашего семейства и лично моей покойной матери.

Приведу еще два отзыва объ отцѣ, какъ профессорѣ, обладавшемъ выдающимися преподавательскими способностями. Въ «Исторіи» московскаго

¹⁾ См. брошюру: „Привѣтствія А. П. Заблоцкому-Десятовскому по случаю 50-лѣтія его службы и отвѣтъ его“. Спб., 1879 г.

университета (юбилейное изданіе 1854 годъ, стр. 642) ученикомъ отца Н. Е. Зерновымъ сдѣланъ о немъ такой отзывъ: «ясность составляла главный характеръ преподаванія П. С—ча; онъ почти не прибѣгалъ, или очень рѣдко, къ способу гевристическому или вопросительному; но въ собственномъ изложеніи умѣлъ такъ выразить постепенность развитія всякой мысли, что это составляло особенную неподражаемую черту исключительно его личности». На другой стр. 751-й отмѣчено: «въ сферѣ чистой математики выступили два даровитыхъ профессора изъ молодого поколѣнія: Перевощиковъ преподавалъ математику (и астрономію) вдохновенно какъ поэтъ, какъ бы создавалъ ее во время изложенія съ страстною любовью къ ней, которую и сообщалъ своимъ слушателямъ; Щепкинъ проходилъ науку хладнокровно, любя ее внутреннею и сосредоточенною любовью, но не торопясь, къ ея свѣтлымъ и поразительнымъ результатамъ, и заслужилъ отъ своихъ современниковъ прозваніе Фабія Кунктатора».

Извѣстный историкъ русской литературы и педагогъ—А. Д. Галаховъ далъ въ своихъ запискахъ объ университетѣ такой отзывъ: Д. М. Перевощиковъ и П. С. Щепкинъ «поставили преподаваніе математики въ московскомъ университетѣ, а черезъ его посредство и въ гимназіяхъ учебного округа, на рациональный путь, по какому и обязана слѣдовать всякая наука»¹⁾.

При обрисовкѣ нравственно-общественнаго образа отца мнѣ представлялось страннымъ, что матушка, благоговѣйно относившаяся къ памяти отца, была всегда очень скупа на разказы, изъ которыхъ возможно было бы извлечь живыя черты для изображенія его личнаго характера и его общественныхъ отношеній. Отчего это происходило? Отъ того ли, что она, по природѣ своей, была слишкомъ сдержана на оцѣнку отдѣльныхъ лицъ вообще, а въ особенности такого близкаго ей сердцу человѣка, какъ отецъ? Оттого ли, что она, по своему ничтожному образованію, не считала себя стоящею въ уровень съ окружающимъ ее обществомъ университетскихъ профессоровъ? Оттого ли, наконецъ, что между матерью и отцомъ могли возникать временныя нелады по дѣламъ обыденной жизни, которые раскрывать матушкѣ, конечно, не хотѣлось. Отвѣтить на эти вопросы не могу. Но въ нѣкоторое разъясненіе моего недоумѣнія приведу одну подробность, правда ничтожную, но дополняющую новую чертою какъ личный образъ отца, такъ и бытъ людей университетскаго круга. Въ 60-хъ годахъ, когда я жилъ вдвоемъ съ матушкой, хаживалъ ко мнѣ молодой Ипполитъ Павловъ, сынъ извѣстнаго беллетриста, публициста и основателя *Русскихъ Вѣдомостей*, Н. Ф. Павлова. И что же? При встрѣчѣ съ этимъ милымъ и талантливымъ юношей, только что окончившимъ университетскій курсъ, матушка не всегда сдерживала свое негодованіе противъ старика Павлова: «не люблю я его, мой другъ,—однажды сказала она мнѣ,—за то, что онъ

¹⁾ См. *Русск. Вѣд.* 1876 г., ноябрь, ст. «Время высшаго образованія. Университетъ» (1822—1826 гг.). «Изъ записокъ человѣка», *Сто-Одному*.

отца твоего въ карты обыгрывалъ и втягивалъ въ это дурное дѣло». Карточная игра въ то время была въ большомъ ходу въ кругу университетскихъ людей: старикъ С. Т. Аксаковъ былъ большой любитель картъ, и собирались у него любители этой иногда и начетистой забавы. Довольно сказать, что Погодинъ, такой сдержанный и любившій рубль, хотя бы и за «лигъ цезаря», на немъ отчеканенный, проигрывалъ по сотнѣ рублей и спѣшилъ отыгрываться. Павловъ былъ записной картежникъ и впоследствии соратникъ на зеленомъ полѣ поэта Некрасова. Негодованіе матушки имѣло, значить, свое основаніе и налагало печать молчанія на уста и безъ того слишкомъ сдержанной женщины.

Что подобныя увлеченія отца, «свѣтскаго человѣка», «весельчака», «охотника поговорить» могли вліять и на матеріальную обстановку семьи, видно изъ слѣдующей, не лишеной и общаго значенія справки. Въ то время отецъ, кромѣ профессорскаго жалованья, пользовался, по должности инспектора студентовъ (по выборамъ), дополнительнымъ содержаніемъ и готовою квартирою въ зданіи университета. Сверхъ того, онъ зарабатывалъ хорошія деньги частными уроками въ богатыхъ барскихъ семействахъ, получая по 10 и по 15 р. за урокъ—какая высокая плата по тому времени! Въ «Біографическомъ Словарѣ» профессоровъ университета 1855 г. рассказывается, между прочимъ, что въ концѣ 1817 г., т.-е. по поступленіи отца на кафедру, онъ располагалъ 5,226 р. ас.: «сосчитавъ доходъ свой, онъ съ совершеннымъ простодушіемъ подписалъ—продолжи, Господи, мое благополучіе». Изъ нѣкоторыхъ отрывочныхъ отмѣтокъ въ записной книжкѣ отца видно, что во время профессорства заработокъ его былъ крупнѣе и что до женитьбы своей онъ имѣлъ капиталъ до 30,000 руб., а расходы семьи доходили потомъ до 10,000 р. въ годъ. Положеніе, во всякомъ случаѣ, болѣе чѣмъ обеспеченное. Немудрено, что отца считали богачомъ и нерѣдко обращались къ нему за деньгами не только его товарищи, но и люди сторонніе. Проф. И. М. Снегиревъ упоминаетъ объ этомъ вскользь въ своихъ запискахъ (въ *Русскомъ Архивѣ*) и съ презрительнымъ негодованіемъ отзывается о сдержанности непріятнаго ему «капиталиста».

Какъ бы то ни было, а собравъ во-едино отзывы, рассказы и отрывочныя воспоминанія объ отцѣ моемъ, и притомъ отъ людей, коротко знавшихъ его и пользовавшихся лично заслуженнымъ уваженіемъ, я составилъ себѣ о немъ представленіе какъ о человѣкѣ очень умномъ, образованномъ, ученомъ и одаренномъ выдающимися способностями профессора. А по направленію онъ былъ человѣкомъ строгихъ нравственныхъ правилъ и религіознымъ, въ политическомъ отношеніи—консерваторомъ. Въ «Библіографическомъ Словарѣ» университета 1855 г., стр. 647, рассказывается, между прочимъ, что отецъ любилъ составлять молитвы по разнымъ поводамъ жизни. Такъ, подъ 20 февраля 1813 года, въ Нижегородской губ., «скучая о разлукѣ съ родными въ такое грустное время для обитателей Москвы, разсѣянныхъ по лицу всей Руси, онъ ублажаетъ себя благочестивымъ моленіемъ»:

„Всемогущій Господи. Продли дни моихъ родныхъ и родителей, склоняющихся уже къ западу жизни своей. Не дай мнѣ, юной вѣтви ихъ (ему было въ то время только 20 лѣтъ), увянуть такъ, какъ иссыхаетъ дерево отъ ослабленія корня. Твердая моя вѣра и упованіе на благодѣтельную Твою да будутъ передъ Тобою заслугами моими испрашиваемого. Помози имъ, Господи, перенести всѣ несчастія, лишенія, коихъ жертвою содѣлался знаменитый градъ нашъ, наше обиталище. Да будутъ ложны слухи, поражающіе насъ о свирѣпствующихъ бѣдствіяхъ въ прежнемъ нашемъ обиталищѣ. Удержи гнѣвъ Твой, возбужденный нашимъ нечестіемъ, преврати его на милосердіе и пощади насъ, если не за дѣла наши, то хотя по множеству милости своей. Боже! Услыши молитву сына о помилованіи родителей его“!

Какъ видно, это было любимой формой обращенія отца въ минуты личнаго возбужденія, и онъ записывалъ такіа «моленія», назначая ихъ для чтенія развѣ послѣ смерти. Вотъ и другая подобная же молитва, записанная 12 марта 1814 г. и соединявшаяся съ именемъ императора Александра I, пребывавшаго съ войсками за границей:

„Господи Боже силъ и щедротъ! Благодаримъ Тебя за отеческія попеченія о насъ нашего государя; соблюди, сохрани и возврати его въ нѣдра своего отечества, да утѣшится въ царственномъ семействѣ своемъ, да, защитивъ насъ отъ внѣшнихъ враговъ, сокрушить силою, обоудно Тобою даруемою, и внутреннихъ, возмущающихъ спокойствіе житейскія. Обрати взоры его на вкореняющееся развращеніе нравовъ.“

Во всякомъ случаѣ—очень характерныя по тому времени записи.

Я берегу въ себѣ свое представленіе объ отцѣ, дорожу имъ какъ сынъ, какъ бывший студентъ нашего университета, въ которомъ отецъ снискалъ свою извѣстность и общественное уваженіе, дорожу и просто какъ человѣкъ, привыкшій въ теченіе своей долгой жизни цѣнить «заслуги, чьи бы онѣ ни были, передъ обществомъ, никогда ихъ не забывающимъ,—памятуя, что то было время, а теперь другое. Въ виду именно такого представленія я и не могу по долгу совѣсти умолчать объ одной прискорбной подробности, изъ-за которой на благородную память отца легло тяжелое пятно—оно до сихъ поръ, по прошествіи 70 лѣтъ послѣ его кончины, не смыто потому только, что было наложено могучею рукою такого колоссальнаго человѣка, какъ В. Г. Бѣлинскій. Дѣло было такъ.

Въ жизнеописаніи Бѣлинскаго, въ очерки и статьи, печатавшіеся по поводу 50-лѣтія со дня его кончины, вошло роковое въ данномъ случаѣ письмо его, отъ 17 февраля 1831 г. Изображая въ немъ, красками очень живыми и рѣзкими, свое тягостное положеніе, какъ студента университета, Бѣлинскій, съ свойственною ему силою и горячностью обрушился на моего отца и, какъ инспектора студентовъ, обвинилъ его въ томъ, что онъ стѣснилъ свободу послѣднихъ и ихъ помѣщенія («казенные номера», какъ называли ихъ еще въ мое время), въ которыхъ жилъ и Бѣлинскій; что обращались со студентами «какъ нельзя хуже»; что кормили ихъ «пакосною падалью и супомъ съ червями». «Передъ окончаніемъ холеры,—пишетъ онъ между прочимъ,—я не ночевалъ ночи 2 или 3 дома. Прихожу къ Щепкину за однимъ дѣломъ, а онъ начинаетъ ругать меня и говорить, что за это онъ (меня) отдастъ, какъ какого-нибудь каналью, въ солдаты, и, наконецъ, съ презрѣніемъ началъ выгонять изъ комнаты». Очень прискорбнымъ для меня

лично представляется здѣсь то, что слово осужденіе, сказанное великимъ писателемъ и эстетикомъ, отличавшимся необыкновенною чистотою нравственныхъ побужденій, до сихъ поръ оставалось непоколеблено и что въ теченіе столь долгаго времени не нашлось никого, кто бы взялъ на себя смѣлость сказать что-нибудь противъ опрометчивости, съ которою эти тяжкія обвиненія были брошены въ лицо человѣку, ихъ незаслуживавшему. Бѣлинскій сказалъ, Бѣлинскій написалъ и, значить, все сказанное, все написанное имъ вѣрно до послѣдней іоты и никакому исправленію или опроверженію подлежать не должно. Такое слѣпое поклоненіе кумиру повело къ тому, что цѣлое поколѣніе представителей русской печати не задумывалось возвѣщать, что Бѣлинскій не получилъ законченнаго университетскаго образованія, вслѣдствіе несправедливыхъ преслѣдованій его невѣжественными врагами, изъ коихъ однимъ изъ главныхъ именуется мой отецъ ¹⁾. Въ превосходномъ сочиненіи С. А. Венгерова 1907 года—«Очерки по исторіи русской литературы» высказано то же осужденіе противъ отца. Въ главѣ, посвященной высокоталантливой характеристикѣ Бѣлинскаго, Венгеровъ повторивъ тѣ же факты изъ письма послѣдняго, вывелъ заключеніе, что «классическая мотивировка» (объ ограниченности способностей Бѣлинскаго) навсегда *увѣковѣчиваетъ* «имя Шенгина».

Съ моей стороны было бы слишкомъ опрометчиво брать на себя защиту покойнаго отца: не сомнѣваюсь, что выступи я съ своею защитительною рѣчью гораздо ранѣе, я не оказался бы въ авантажѣ, а можетъ быть и самъ сдѣлался бы предметомъ горькихъ насмѣшекъ,—какъ-молъ рѣшился поднять руку на такого обвинителя? Но да позволено будетъ мнѣ теперь, въ моей послѣдней жизненной пѣснѣ, свести во-едино выяснившіяся, черезъ 50—60 лѣтъ послѣ кончины и обвинителя, и обвиняемаго, подробности, могущія пролить свѣтъ на это мрачное общественное дѣло, слишкомъ близко затрогивающее сыновнее чувство пишущаго эти строки.

Что отецъ не сумѣлъ оцѣнить великія достоинства Бѣлинскаго-юноши, видно изъ справки, напечатанной братомъ моимъ Степаномъ Павлычемъ въ *Русской Старинѣ* ²⁾. Изъ нея, какъ и собственноручной отмѣтки отца открывается, что «по окончаніи перваго учебнаго курса (1829 г.), онъ (Бѣлинскій) не оказалъ достаточныхъ успѣховъ для перевода на *ординарныя* лекціи отдѣленія. Въ теченіе же минувшаго учебнаго года (1831 г.) съ начала января мѣсяца до начала годовыхъ испытаній лѣчился въ больницѣ. Бѣлинскій самъ просилъ въ 1831 г. уволить его отъ университета и опредѣлить въ канцелярскіе служители». И дальше отмѣчено: «не имѣя

¹⁾ Въ краткой біографіи Бѣлинскаго въ „Энциклопедическомъ словарѣ“ Брокгауза и Эфрона отмѣчено, что „источникомъ дѣлага ряда неприятностей, которыя привели въ концѣ-концовъ къ исключенію его изъ университета *по неспособности*“, была представленная имъ въ цензуру трагедія, заключающая въ себѣ „сильныя тирады противъ крѣпостного права“, а цензура состояла въ то время изъ университетскихъ профессоровъ. Но отецъ мой въ то время въ составѣ цензоровъ не былъ.

²⁾ См. 1871 г., № 3, мартъ. Замѣтка: „Увольненіе Бѣлинскаго изъ московскаго университета въ 1831—1832 г.“.

надежды, чтобы Сомовъ (также студентъ) и Бѣлинскій: первый по совершенно разстроенному здоровью, а второй также по слабому здоровью и притомъ по ограниченности способностей, могли образоваться полезными чиновниками по учебной части, долгомъ почитаю, писать отецъ, представить о семъ во вниманіе вашего превосходительства (ректора) и просить объ увольненіи ихъ отъ университета».

Несомѣнно, что отецъ мой не предусмотрѣлъ великихъ дарованій Бѣлинскаго. Но ни изъ этой справки, ни изъ другихъ документовъ не видно также, чтобы тогдашній инспекторъ студентовъ былъ главнымъ виновникомъ исключенія Бѣлинскаго изъ университета, на то было высшее начальство университета, не исключая совѣта профессоровъ и попечителя. Изъ нѣкоторыхъ другихъ документовъ извѣстно также, что въ то время были подвергнуты *повсрочному* испытанію многіе студенты, въ томъ числѣ и Бѣлинскій. Очень статья можетъ, что послѣдній по своему горячему нраву и изъ чувства негодующаго противорѣчія, на зло, если позволительно такъ выразиться, не захотѣлъ дать должныхъ отвѣтовъ на заданные ему вопросы, и былъ награжденъ по всемъ предметамъ самыми негодными отмѣтками. Невѣроятно, чтобы, при обычныхъ условіяхъ испытанія, самый слабый студентъ не оказался въ силахъ дать подходящіе отвѣты хоть по какому-нибудь предмету преподаванія. Да при чемъ былъ тутъ инспекторъ студентовъ съ своими будто бы личными преслѣдованіями Бѣлинскаго? И развѣ есть какое-нибудь основаніе заподозрить Совѣтъ университета въ такомъ слѣпомъ подчиненіи мнѣнію инспектора, да еще читавшаго лекціи на другомъ факультетѣ? При чемъ же были тутъ другіе профессора, обязанные ближе знать своихъ слушателей?

Напомню, какъ въ 1840 г. Бѣлинскій отозвался о П. Н. Будрявцевѣ по поводу его писемъ изъ-за границы «О Луврѣ» въ *Отечественныхъ Запискахъ*: «все такъ вяло, педантично, что изъ рукъ вонъ»; «такой педантическій романтикъ, патриархальный, консервативный»; «кажется, таланту Будрявцева—*вѣчная память*». «Этотъ человекъ, видно, никогда не выйдетъ изъ своей коры; что за узкое созерцаніе, что за бѣдныя интересы, что за ребяческіе идеалы, что за исключительность типовъ и характеровъ»; «Будрявцевъ (въ своихъ повѣстяхъ) духовно малолѣтній, нравственный и умственный недоросль». Замѣтимъ, что тутъ рѣчь идетъ не о юношѣ-студентѣ, а о писателѣ-журналистѣ.

Другой примѣръ. Послѣ ссылки Шевченка Бѣлинскій писалъ Анненкову: «Вы помните, что вѣрующій другъ мой говорилъ мнѣ — Шевченко человекъ достойнѣйшій и прекрасный. Вѣра дѣлаетъ чудеса, творить людей изъ ословъ и дубинъ; стало быть, она можетъ изъ Шевченки сдѣлать, пожалуй, мученика свободы. Но здоровый смыслъ въ Шевченкѣ долженъ видѣть осла, дурака и пошлеца, а, сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому... Шевченку послали на Кавказъ солдатомъ. Мнѣ не жаль его, будь я его судьбою, я сдѣлалъ бы не меньше» (?) и т. д.

И что же? Бударяцевъ, въ противность скороспѣлой аттестаціи Бѣлинскаго, пропѣваемаго ему «вѣчную память», сдѣлался знаменитымъ профессоромъ, высокоталантливымъ истолкователемъ исторіи, воспитавшимъ нѣсколько попомѣнній университетской молодежи, вѣчно признательной своему учителю; профессоромъ, умѣвшимъ воскрешать передъ слушателями доисторическую жизнь азіатскихъ народовъ, знаменательныя судьбы средневѣковой Италіи и вѣками отдѣленное отъ насъ время великаго Тацита. Шевченко—осель, дуракъ, пошлецъ. Кто же за такія бранныя и за опрометчивыя о славныхъ потомъ представителей русской культуры, какъ Бударяцевъ, отзывы, позволилъ бы себѣ бросить грязью въ лицо не распознавшему дѣла великому критику, который, подъ внушеніемъ находившаго на него искренняго чувства правды и раскаянія, зачастую самъ съ негодованіемъ относился къ высказаннымъ имъ прежде сужденіямъ.

Обвиненіе отца моего въ томъ, что онъ, «вступивъ въ должность инспектора, сдѣлалъ невыносимымъ положеніе студентовъ, уничтоживъ всѣ выгоды прежняго прекраснаго порядка, который существовалъ при его предшественникѣ, проф. Д. М. Перовицкѣ»—вполнѣ опровергается выписками изъ имѣющихся налицо документовъ совѣта и отмѣченными въ запискахъ отца распоряженіями. Приводить ихъ здѣсь на справку было бы излишне. Но изъ нихъ видно, что обвиняемый инспекторъ горячо занимался устройствомъ быта казенныхъ студентовъ; что онъ обращался къ начальству съ цѣлымъ рядомъ ходатайствъ въ этомъ направленіи: образованіе отдѣльной студенческой библіотеки, расширеніе казенныхъ помѣщеній, увеличеніе учебныхъ пособій, устройство студенческаго хора, наконецъ, устройство при личномъ руководительствѣ М. С. Щепкина, студенческаго театра, въ которомъ онъ, Бѣлинскій, принималъ дѣятельное участіе и пр. Все это—слѣды особыхъ заботъ тогдашняго инспектора объ улучшеніи положенія студентовъ, а не данныя для его осужденія.

Очень противно, коли хотите оскорбительно, отстаивать правоту покойнаго отца противъ обвиненія его въ томъ, что послѣ поступленія его на должность инспектора студентовъ стали кормить «пагостною падалью и супомъ съ червями». Какъ ярко обрисовалась въ этомъ отзывѣ натура «неистоваго Виссаріона». Большею частью приходится любоваться этою неистовою пылкостью, а въ иныхъ случаяхъ, какъ и въ настоящемъ, можно только горько жалѣть, что она оказалась такъ неумѣстна. И, конечно, Бѣлинскій, всегда справедливый къ другимъ и строгій къ самому себѣ, первый же, по собственному побужденію и любви къ правдѣ, искренне раскаялся бы въ своемъ легкомысленномъ обвиненіи, если бы узналъ, какимъ темнымъ пятномъ оно легло на памяти несправедливо обвиненнаго. Логика тутъ была простая: инспекторъ обязанъ былъ наблюдать за содержаніемъ студентовъ, а между тѣмъ ихъ кормили изъ рукъ вонъ плохо; инспекторомъ былъ Щепкинъ, значитъ онъ и былъ во всемъ виноватъ. Что студентовъ кормили дурно—это было извѣстно и самому инспектору, отмѣтившему этотъ прискорбный фактъ въ своихъ запискахъ. Но въ нихъ

сказано также, что онъ, инспекторъ, входилъ объ этомъ съ представленіемъ въ правленіе университета (отмѣченъ даже № этого представленія) и просилъ улучшить и привести въ ясность стольное содержаніе студентовъ. Но это ходатайство виноватаго во всемъ инспектора было оставлено ректоромъ (Двигубскимъ) безъ разсмотрѣнія. Несмотря на это, настойчивость инспектора добилась того, что надзоръ за столомъ былъ порученъ самимъ студентамъ, изъ среды которыхъ стали выбираться двое для постоянного дежурства—одинъ по кухнѣ, другой по столовой.

Тяжко, очень тяжело и обвиненіе отца въ томъ, что онъ забылся будто бы до того, что выругалъ явившагося къ нему «по одному дѣлу» Бѣлинскаго и пригрозилъ ему даже солдатчиной. Для объясненія этого кажущагося мнѣ почти невѣроятнымъ случая надо принять въ соображеніе тѣ совершенно исключительной важности условія, при которыхъ приходилось тогда дѣйствовать инспектору студентовъ. Вспомнимъ, что дѣло происходило въ то злополучное время, когда Москву въ первый разъ поразила страшная холера. Весь городъ былъ объятъ ужасомъ, все затрепетало передъ лицомъ смерти; пораженные болѣзнью, противъ которой не было въ распоряженіи никакихъ средствъ, падали мертвыми на улицахъ и подбирались, изъ страха заразы, крѣчьми и складывались въ особыя раздѣлывшія по городу колымаги, а оторопѣвшій народъ смотрѣлъ на этотъ бичъ, какъ на посланное свыше за грѣхи наказаніе. Не забудемъ, что первыя жертвы страшной холеры обнаружались въ стѣнахъ университета. Городскія власти потеряли голову. Университетъ былъ оцѣпленъ, какъ главное мѣсто заразы, занятія въ немъ прекращены и предписаны были строжайшія мѣры предосторожности, при чемъ всѣмъ жившимъ въ университетѣ было воспрещено строго-на-строго выходить изъ него. Университетское начальство благоразумно отсутствовало, налицо же оставался одинъ инспекторъ студентовъ, который былъ временно возведенъ, распоряженіемъ попечителя округа (?) въ должность ректора—отвѣчай, молъ, лично за все и про все въ случаѣ распространенія губительной заразы! Положеніе инспектора было поистинѣ ужасающее! И вотъ въ это-то страшное время Бѣлинскій, не придававшій особеннаго значенія холерѣ, вернувшись изъ самовольной двух- или трехдневной отлучки, предсталъ предъ грознымъ и, можетъ статься, растерявшимся инспекторомъ. Въ обычное спокойное время такая самовольная отлучка студента была бы истолкована, можетъ быть, какъ простое нарушеніе установленныхъ правилъ, а въ то страшное напряженное народное бѣдствіе подобный проступокъ являлся чуть не преступленіемъ. И можно представить себѣ, до какого раздраженія и самовольства могъ бы дойти на мѣстѣ тогдашняго инспектора-ректора другой человекъ, обладающій необузданностью натуры Бѣлинскаго, который, мимоходомъ сказать, какъ бы въ свое оправданіе оговорился, что описанный имъ случай происходилъ «предъ окончаніемъ холеры», когда уже не стояло надобности въ соблюденіи строгости. Насколько это справедливо, судить не берусь.

Разсказанное здѣсь съ полною откровенностью печальное столкновеніе съ Бѣлинскимъ, обвинительное слово котораго до послѣдняго времени поддерживалось журналистами, по сопровождавшимъ его обстоятельствамъ, было не таково, чтобы я могъ почестъ справедливымъ измѣнить въ чемъ-либо свое представленіе о чистомъ, нравственномъ образѣ покойнаго отца.

Такое представленіе, несмотря на рѣзкія осужденія Бѣлинскаго, находятъ подрѣпленіе еще въ одномъ въ высшей степени важномъ свидѣтельствѣ самихъ студентовъ, слушателей отца. Съ чувствомъ высокаго удовлетворенія ссылаюсь здѣсь на это свидѣтельство: когда отецъ оставилъ кафедру, студенты математическаго факультета, прощаясь съ профессоромъ, подарили ему на память о его заслугахъ профессора и добрыхъ отношеніяхъ его къ аудиторіи большой серебряный вызолоченный кубокъ, украшенный изображеніями прекрасной чеканной работы (тогдашняго «серебряныхъ дѣлъ мастера Ивана Лаврова») глобуса, математическихъ и астрономическихъ инструментовъ. На крышкѣ кубка—бюстъ Лейбница, а внизу вокругъ донышка кубка такая надпись: «Благодарные студенты физико-математическаго отдѣленія профессору Павлу Степановичу Щепкину. Москва, 1834 г.». Этотъ подарокъ студенческой молодежи, какъ святыня, хранится въ нашемъ семействѣ. Происходило это болѣе 70 лѣтъ тому назадъ, когда не было въ обычаѣ никакихъ юбилеевъ, громкихъ адресовъ и подношеній, и полученная отцомъ награда отъ студентовъ была въ то время, можетъ быть, единственною въ исторіи университета. Предъ такимъ признаніемъ блѣднѣютъ всякія личныя обвиненія, отъ кого бы они ни исходили, хотя бы отъ такой высоко-нравственной силы, какъ Бѣлинскій, такъ быстро и легко поддававшійся первому порыву страсти.

Отецъ скончался, какъ было сказано, 15 іюля 1836 г. Съ погребеніемъ его въ Донскомъ монастырѣ связано преданіе о томъ, что въ его могилѣ, у бывшей задней ограды монастыря, какъ разъ противъ святыхъ воротъ, осенью 1777 г. былъ похороненъ знаменитый драматургъ А. П. Сумароковъ; по крайней мѣрѣ на нее указывалъ проф. П. И. Страховъ, почему-то названный въ «Библиографическомъ Словарѣ» «*публичнымъ* ординарнымъ профессоромъ»—за отличіе развѣ? Страховъ считалъ Сумарокова своимъ благодѣтелемъ и участвовалъ въ его погребеніи («Библиогр. Слов.», стр. 447).

Вотъ почему долго искали въ Донскомъ монастырѣ могилу Сумарокова и, конечно, найти не могли,—одинъ покойникъ хоронился надъ другимъ.

М. Щепкинъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Философія половъ Отто Вейнингера.

Въ первыхъ числахъ октября 1903 г. во многихъ нѣмецкихъ газетахъ можно было прочесть короткое сообщеніе о томъ, что 4 октября (н. ст.) въ домѣ, гдѣ умеръ Бетховень, покончилъ жизнь самоубійствомъ молодой, всего двадцатитрехлѣтній, философъ Отто Вейнингеръ. Не задолго до этой трагической кончины вышло въ свѣтъ его произведеніе «Geschlecht und Charakter» («Полъ и характеръ»), обратившее на себя всеобщее вниманіе постановкой проблемы *).

Связь автора съ великими нѣмецкими идеалистами была замѣчена, и могло казаться, что сочиненіе Вейнингера какъ бы возвѣщало возрожденіе идеализма. Но нашлись и такіе критики, у которыхъ книга вызвала отрицательное отношеніе, доходящее даже до глумленія надъ трагической личностью философа. Вейнингера признали психически больнымъ, а сочиненія его причислили «къ медицинской библіотекѣ дома умалишенныхъ».

I.

Въ своемъ духовномъ развитіи Отто Вейнингеръ прошелъ двѣ стадіи. Онъ былъ сначала приверженцемъ эмпириокритицизма Авенариуса и какъ крайній позитивистъ и релятивистъ онъ довольствовался только тѣмъ, что наблюдалъ и описывалъ; онъ не спрашивалъ, истинно ли что-нибудь, нравственно ли какое-нибудь душевное проявленіе, а только стремился отыскать и прослѣдить причины, установить генетическую связь явленій. Вполнѣ понятно, что съ точки зрѣнія крайняго релятивизма, міровая проблема казалась ему не чѣмъ инымъ, какъ проблемой индивидуальной психологіи того или другого человѣка. Вейнингеръ не могъ успокоиться на такомъ міровоззрѣніи, для котораго нѣтъ безусловныхъ цѣнностей, ничего объективнаго, ничего истиннаго. Неудовлетворенный Вейнингеръ обратился къ Канту и сдѣлался яркимъ приверженцемъ трансцендентальной философіи

*) Книга эта въ нѣмецкомъ оригиналѣ выдержала цѣлый рядъ изданій. Выходъ ея въ свѣтъ на русскомъ языкѣ ожидается въ ближайшемъ будущемъ.—Ред.

Трансцендентальная философія выставляет нормы, имѣющія всеобщее и обязательное значеніе. Такъ какъ предметъ, исключительно занимающій Вейнингера, есть человекъ, для него необходимо было установить такую норму, которая по своей всеобщности и наивысшей обязательности была бы послѣднимъ мѣриломъ въ примѣненіи ко всему человѣческому. Эта послѣдняя инстанція и высшая по своей обязательности норма заключается, по Вейнингеру, «въ волѣ къ цѣнности», которая, по его мнѣнію, не уступаетъ по своей глубинѣ «волѣ къ власти» Ницше. Я не могу подробно останавливаться на матеріальной сторонѣ того понятія, которое Вейнингеръ понимаетъ какъ абсолютную цѣнность; замѣчу только, что формально эта высшая цѣнность есть логическое внѣвременное бытіе: это то же, что въ религіяхъ называется «вѣчной жизнью», у Платона и Шопенгауэра—«идеями», у Ницше—«вѣчнымъ возвращеніемъ» («ewige Wiederkunft»).

По Вейнингеру, люди могутъ находиться въ положительномъ или отрицательномъ отношеніи къ высшей цѣнности (М—мужчина) или же стоять внѣ всякаго отношенія (Ж—женщина)*). Окончательно и вполне воля къ цѣнности воплощена въ гениі; поэтому феноменъ гениальности является для Вейнингера высшимъ благомъ. Такимъ образомъ, у Вейнингера мы снова встрѣчаемся съ культомъ гениа, провозглашеннымъ школой романтиковъ, затѣмъ выставленнымъ Шопенгауэромъ и въ послѣднее время выплывшимъ въ формѣ «сверхчеловѣка» у Ницше. По Вейнингеру, гениальность есть идея, внутренній императивъ, къ осуществленію котораго долженъ стремиться каждый человекъ. Гениальность для него есть идея въ платоновскомъ смыслѣ: въ дѣйствительности такъ же мало вполне гениальныхъ людей, какъ и такихъ, которые совершенно не были бы гениальны въ ту или иную минуту ихъ жизни. Различіе между гениальностью людей есть только количественное, а не качественное; въ то время какъ болѣе одаренные люди въ большей части своей жизни бываютъ гениальны, для обыкновенныхъ людей этотъ моментъ въ большинствѣ случаевъ совпадаетъ съ моментомъ ихъ естественной смерти, или для этого необходимы такіа условія, какъ, напр., обыкновенное страданіе, страстность, которыя смогли бы хоть на минуту освѣтить ихъ сознаніе гениальнымъ переживаніемъ. Гениальность есть не что иное, какъ полнѣйшее осуществленіе идеи человекъ, и поэтому каждый человекъ долженъ стремиться быть гениальнымъ; это значить, что человекъ долженъ быть въ связи со всѣмъ міромъ, онъ долженъ отражать въ своей душѣ весь міръ, быть микрокосмомъ. У Вейнингера феноменъ гениальности приобретаетъ нравственный характеръ, становится постулатомъ для всѣхъ людей. «Гениальность есть высшая нравственность и потому долгъ для каждого человекъ. Гениемъ становится человекъ при помощи высшаго акта воли, утверждая весь міръ въ себѣ. Гениальность есть нѣчто такое, что «гениальные люди» взяли на себя: это величайшая задача и величайшая гордость, величайшее несчастье и величайшее

* Мы сейчасъ увидимъ, что Вейнингеръ понимаетъ подъ М и Ж.

возвышенное чувство, которое суждено человѣку. Какъ ни парадоксально это звучитъ, но гениальнымъ становится человѣкъ, когда онъ того хочетъ». По мнѣнію Вейнингера, всякій человѣкъ потенциально гениаленъ, въ великомъ же художникѣ, философѣ и въ особенности въ основателѣ религіи гениальность если и не вполне воплощена, то близка къ воплощенію.

Чѣмъ сильнѣе въ человѣкѣ развита «воля къ цѣнности», тѣмъ болѣе онъ приближается къ идеѣ гениальности. Поэтому въ основателѣ религіи сильнѣе чѣмъ въ другихъ людяхъ воплощена эта идея: онъ человѣкъ съ наивысшей «волей къ цѣнности», ибо онъ тотъ, «кто жилъ совершенно безбожно и все же проникся высочайшей вѣрой». «Только основатель религіи вполне отягощенъ наслѣдственнымъ грѣхомъ и цѣлью его будетъ вполне искупить этотъ грѣхъ». «Христосъ—тотъ человѣкъ, который преодолеваетъ въ себѣ сильнѣйшее отрицаніе — еврейство и создаетъ самое положительное начало—христіанство, какъ полнѣйшую противоположность еврейству».

II.

Какъ было уже замѣчено, предметъ, исключительно занимающій психологическій и философскій взоръ О. Вейнингера, есть человѣкъ и въ человѣкѣ именно характеръ половъ. Читателя сочиненія Вейнингера какъ-то странно поражаетъ то, что различныя философскія проблемы, какъ-то проблемы логики, этики, различныя психологическія и культурныя проблемы (еврейство)—всѣ приводятся въ соприкосновеніе съ половыми противоположностями и обсуждаются въ связи съ ними. Это объясняется тѣмъ, что проблема половыхъ противоположностей является для Вейнингера одной изъ тѣхъ проблемъ, которая «находится въ связи со всѣми глубочайшими загадками бытія. Только подъ основательнымъ руководствомъ какого-нибудь мировоззрѣнія она можетъ практически или теоретически, морально или метафизически быть разрѣшена». Мировоззрѣніе Вейнингера, при помощи котораго онъ надѣется разрѣшить эту глубочайшую проблему, приближается, по его словамъ, къ воззрѣніямъ Платона, Канта и христіанства.

Я уже сказалъ, что Вейнингеръ не довольствуется только тѣмъ, что наблюдаетъ и описываетъ психологію половъ; онъ также и оцѣниваетъ, онъ старается постоянно имѣть въ виду ту норму, то мѣрило, которое онъ признаетъ какъ высшую цѣнность въ примѣненіи ко всѣмъ душевнымъ проявленіямъ половъ. Вейнингеръ замѣчательный психологъ, ни одна малѣйшая извилина человѣческой души не ускользаетъ отъ его взора, ни одинъ малѣйшій изгибъ не остается безъ тщательнаго анализа. Что Достоевскій или Шекспиръ создали въ образной формѣ, то Вейнингеръ, какъ философъ, сконцентрировалъ въ понятіяхъ. Новѣйшая психологія съ гордостью называетъ себя «психологіей безъ души». Вейнингеръ зло называетъ ее «клеистеромъ ощущеній» («Empfindungskleister») и подвергаетъ ее жестокой критикѣ.

Итакъ, мужчина и женщина, мужественность и женственность, — вотъ основная проблема ученія Вейнингера. Какъ послѣдователь ученія Платона объ идеяхъ, Вейнингеръ отрѣшается отъ обычнаго раздѣленія людей на мужчинъ и женщинъ, которое покоится на извѣстныхъ анатомическихъ признакахъ. По его мнѣнью, въ эмпирической, непосредственно переживаемой нами дѣйствительности нѣтъ такихъ людей, которые были бы совершенно мужчины или женщины, а на самомъ дѣлѣ каждый отдѣльный человекъ имѣетъ въ себѣ какъ мужественные, такъ и женственные элементы, распределенные въ различной степени, чѣмъ дѣйствительно объясняется то обстоятельство, что мы часто въ жизни говоримъ о женственныхъ мужчинахъ и мужественныхъ женщинахъ. Человекъ, который имѣлъ бы въ себѣ одни только мужественные элементы, былъ бы идеальнымъ (безъ всякаго отношенія къ цѣнности, а въ смыслѣ типичномъ) мужчиной—М, и наоборотъ, человекъ изъ однихъ женственныхъ элементовъ—идеальной женщиной—Ж. Но въ дѣйствительности этого, конечно, не бываетъ. Поэтому, чтобы понять все многообразіе половъ, Вейнингеръ предлагаетъ допустить, что М и Ж какъ бы двѣ субстанціи, въ различномъ количествѣ и въ различномъ отношеніи распределенныя во всѣхъ живыхъ существахъ. Мужскую субстанцію Вейнингеръ называетъ ареноплазмой (Arthroplasma), а женскую субстанцію—телиплазмой (Thelyplasma). М и Ж суть какъ бы два крайнихъ полюса, между которыми колеблется вся эмпирическая дѣйствительность людей; поэтому Вейнингеръ называетъ М и Ж «половыми типами», а дѣйствительныхъ людей «половымъ многообразіемъ».

По мнѣнью Вейнингера, «не только объектъ искусства, но и объектъ науки и есть типъ, платоновская идея *). Научная физика изслѣдуетъ состояніе совершенно неподвижнаго и эластичнаго тѣла, хорошо сознавая, что дѣйствительность никогда не даетъ ни того, ни другого; эмпирически данныя промежуточные формы между этими двумя видами тѣлъ служатъ только исходнымъ пунктомъ для отысканія типичныхъ состояній тѣлъ, и при примѣненіи теорій къ дѣйствительности они рассматриваются какъ смѣшанные случаи. И точно также существуютъ промежуточные ступени между идеальнымъ мужчиной и идеальной женщиной».

На основаніи своихъ формулъ: М и Ж Вейнингеръ полагаетъ найти законъ полового притяженія, которое, по его, какъ и всякое явленіе въ природѣ, должно протекать въ извѣстной законѣрной формѣ. Законъ, найденный имъ, гласитъ: «при половомъ влеченіи цѣлый мужчина (М) постоянно стремится соединиться съ цѣлой женщиной (Ж), хотя ихъ элементы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ въ двухъ отдѣльныхъ индивидуумахъ распределены различнымъ образомъ». Если, наприм., кто-нибудь содержитъ въ себѣ $\frac{3}{4}$ М и $\frac{1}{4}$ Ж, то это будетъ мужчина и самымъ подходящимъ для него половымъ «дополненіемъ» будетъ женщина съ $\frac{1}{4}$ М

*) Извѣстно, что Шопенгауэръ считалъ типъ, платоновскую идею объектомъ искусства.

и $\frac{3}{4}$ Ж. Идеальный (въ анатомически-физиологическомъ смыслѣ) мужчина, содержащій въ себѣ $M=1$, $J=0$, потребуеъ своимъ коррелятомъ идеальную женщину, содержащую въ себѣ $J=1$, $M=0$.

III.

Главной задачей въ характеристикѣ половъ является для Вейнингера не описаніе дѣйствительно существующихъ половыхъ промежуточныхъ формъ «полового многообразія», а конструированіе синтетическимъ путемъ «половыхъ типовъ», т.-е. идеальной психики мужчины (М) и идеальной женской психики (Ж). Задачей морфологів, по мнѣнію Вейнингера, является конструированіе анатомически-физиологическихъ типовъ, задачей характерологів—конструированіе психическихъ типовъ. Необходимо всегда помнить, что рѣчь идетъ не о дѣйствительныхъ индивидуумахъ, которыхъ мы привыкли въ повседневной жизни называть попросту мужчиной или женщиной, а только объ идеальныхъ типахъ—М и Ж. Поэтому, какъ говорить самъ Вейнингерь, будетъ жестоко и несправедливо примѣнить все то, что онъ говоритъ о Ж, ко всякой дѣйствительной женщинѣ; съ другой стороны, не всякій мужчина долженъ мнить о себѣ, что онъ своить выше женщины.

Приступая къ изображенію характера половыхъ типовъ, Вейнингерь отмѣчаетъ прежде всего то громадное различіе, которое существуетъ между сознаниемъ М и Ж. Въ то время какъ у М всѣ психическія проявленія имѣютъ ясный, рѣзко очерченный и дифференцированный характеръ, у Ж они неясны, запутаны и туманны. М отличается мышленіемъ отъ чувствованія, у Ж они сливаются вмѣстѣ и представляютъ единство. Актъ логическаго сужденія присущъ только М, Ж ждетъ отъ М уясненія своихъ туманныхъ представленій. Ясность и логичность мышленія, требуемыя женщиной отъ мужчины, дѣйствуютъ на нее какъ третичный мужской половой признакъ. Ж само по себѣ вполне сексуально, предано половой жизни, сферѣ оплодотворенія и размноженія, все существованіе Ж совершенно заполняется этими вещами, тогда какъ М не только сексуально. «Ж есть не что иное, какъ сексуальность (Sexualität); М тоже сексуально, но зато имѣетъ еще нѣчто другое въ себѣ». Все, что Ж дѣлаетъ, думаетъ, чувствуетъ, касается только половой жизни; начиная съ ранней юности, это составляетъ *ens entium* дѣвочекъ, въ то время какъ мальчикъ ощущаетъ это какъ нѣчто чуждое, которое доставляетъ ему страданія и только въ періодъ зрѣлости онъ начинаетъ серьезно обращать на это вниманіе. Ж постоянно сексуально, всѣ части тѣла у Ж способны испытывать половое раздраженіе; М бываетъ только въ опредѣленное время сексуально, половой его характеръ локализованъ въ тѣлѣ, онъ не заполняетъ окончательно его существованія и М можетъ насильно освободиться отъ него. Въ М есть сексуальные и асексуальные элементы, одно можетъ быть сознано другимъ, и потому мужчина способенъ дать себѣ отчетъ во всемъ этомъ.

Другой важный выводъ, къ которому приходитъ Вейнингъ, состоитъ въ томъ, что абсолютная женщина не имѣетъ «я», она безъ души. Такъ какъ для Вейнингера фактъ существованія логическихъ и этическихъ нормъ служить доказательствомъ существованія въ человѣкѣ, по крайней мѣрѣ въ идеальномъ мужчинѣ, интеллигибельнаго, умопостигаемаго «я» и такъ какъ, по его убѣжденію, абсолютная женщина не имѣетъ никакого отношенія къ логическимъ этическимъ феноменамъ, т.-е. въ ней отсутствуетъ функція постулата, императивнаго стремленія къ истинѣ (логическій постулатъ) и къ добру (этический постулатъ), то Вейнингъ послѣдовательно приходитъ къ необходимому выводу, что Ж «бездушно». Въ новѣйшей литературѣ идея бездушности женщины встрѣчается у Ибсена («Женщина съ моря»), у Стриндберга, въ особенности же Ундина въ чудной сказкѣ Фуке есть типичное воплощеніе бездушности Ж. «Ундина, бездушная Ундина, это—платоновская идея женщины».

Душа человѣка есть микрокосмъ, она отражаетъ въ себѣ весь міръ, поэтому идеальный мужчина можетъ стать чѣмъ угодно, онъ находится въ связи со всѣмъ міромъ, и «звѣздное небо» не чуждо ему; онъ можетъ даже стать женщиной, поэтому существуютъ женственные мужчины. Геніальный человѣкъ вмѣщаетъ въ себѣ все, а потому и женщину; но женщина есть только частица въ мірозданіи, а частица никогда не можетъ заключать въ себѣ цѣлаго. Мужчина, чувствующій себя какъ индивидуальность и сознающій свое «я», способенъ относиться съ благоговѣніемъ и къ чужой индивидуальности; одиночество и общественность всегда являются для него проблемой. Женщина же никогда не сознаетъ себя одинокой, даже въ томъ случаѣ, когда она бываетъ одна; она живетъ въ единеніи со всѣми людьми, которыхъ она знаетъ. Это единеніе вполне пропитано половымъ чувствомъ, и поэтому всякое состраданіе женщины выражается въ физической близости къ страдаемому существу, это чисто животная нѣжность, она должна ласкать и утѣшать. Здѣсь нѣтъ той рѣзкой черты, которая существуетъ между индивидуальностями; если кто-нибудь плачетъ, то и она плачетъ, если кто смѣется, то и она смѣется,—она какъ бы функціонально связана со всѣмъ. Это, однако, не значитъ, что Ж понимаетъ значеніе общественности—Вейнингъ отрицаетъ за женщиной социальный характеръ, такъ какъ только существа съ сознаннымъ индивидуальностью способны понимать значеніе государства и права.

Фактъ бездушности Ж имѣетъ, по мнѣнію Вейнингера, важное значеніе при методической обработкѣ психологій половъ: для Ж достаточно одно чисто эмпирическое изслѣдованіе психической жизни, для М психологія должна стремиться къ «я», какъ къ верховному фронту всего зданія, на необходимость чего указывалъ уже Кантъ. Поэтому Вейнингъ называетъ современную психологію, девизомъ которой служить «психологія безъ души», преимущественно женской психологіей.

IV.

Типъ абсолютной женщины Вейнингеръ въ свою очередь раздѣляетъ на два противоположныхъ другъ другу полюса—на женщину, какъ мать, и женщину, какъ проститутку. Вся эмпирическая дѣйствительность женщины вращается между этими крайними и диаметрально противоположными точками, между абсолютной матерью и абсолютной проституткой.

Всему плохому и отрицательному въ женщинѣ, какъ проституткѣ, Вейнингеръ противопоставляетъ женщину, какъ мать. Что материнство и проституція совершенно противоположны другъ другу, слѣдуетъ съ большой вѣроятностью изъ одного того факта, что у настоящей матери количество дѣтей гораздо больше, чѣмъ у кокетливой женщины, а уличныя проститутки въ большинствѣ случаевъ вообще бесплодны. Вейнингеръ категорически указываетъ, что къ типу проститутки принадлежитъ не только женщина, продающая свое тѣло, но также многія изъ такъ называемыхъ «благовоспитанныхъ» дѣвицъ и замужнихъ женщинъ и даже многія изъ такихъ, которыя никогда не расторгаютъ брака, не потому, что не было подходящаго случая, а потому, что онѣ сами не допускаютъ этого. Тотъ взглядъ, который объясняетъ явленіе проституціи чисто экономическимъ факторомъ, Вейнингеръ считаетъ поверхностнымъ и незаслуживающимъ критики: проституція существуетъ издавна, а не есть только результатъ капиталистическихъ условій современной жизни; у многихъ древнихъ народовъ она была даже предметомъ религіознаго культа. Мужчина, можетъ быть, дѣйствительно часто виноватъ въ нищетѣ женщины, но то обстоятельство, что въ данномъ случаѣ женщина обращается къ проституціи, показываетъ только, что она лежитъ въ натурѣ Ж. «Чего нѣтъ, то не можетъ стать».

Сущность материнства заключается въ томъ, что рожденіе ребенка есть главная цѣль въ жизни матери, въ то время какъ для проститутки этой цѣли не существуетъ. Для матери вся суть заключается въ ребенкѣ, для проститутки—въ мужчинѣ. Лучшимъ пробнымъ камнемъ является отношеніе къ дочери: только когда женщина не завидуетъ молодости и красотѣ дочери, когда она нисколько не ревнуетъ ея къ мужчинамъ, а вполне отождествляетъ себя съ ней и поклонника своей дочери чтить, какъ своего собственнаго поклонника, только тогда она заслуживаетъ названія матери. Абсолютная мать становится матерью отъ всякаго мужчины, она не ищетъ себѣ полового «дополненія», и если она мать, то не заботится больше ни о какомъ другомъ мужчинѣ. Тутъ замѣчается между двумя крайними типами, между абсолютной матерью и абсолютной проституткой, *формальное* сходство: мать хочетъ имѣть ребенка, безразлично отъ кого; проститутка стремится къ мужчинѣ, безразлично къ какому. Если женщина мать, то ея материнство выражается не только по отношенію къ ея кровному ребенку, но еще до родовъ, хотя, конечно, интересъ къ собственному ребенку впоследствии поглощаетъ все остальное, и мать въ случаѣ

конфликта становится черствой и несправедливой. Въ этой чертѣ, свойственной женщинѣ и любящей дѣвушкѣ, которая въ извѣстномъ смыслѣ является уже матерью любимаго ею человѣка, проявляется самая глубокая сущность этого типа женщины. Вотъ почему мужчина смотритъ на женщину, какъ на воплощеніе вѣчности, а въ беременной женщинѣ видитъ выраженіе великой идеи (Зола). «Необыкновенная заботливость о потомствѣ, а не что иное, воплощена въ молчаніи этихъ существъ, передъ которыми мужчина иногда даже чувствуетъ себя ничтожнымъ. Какой-то миръ и великое спокойствіе окрыляютъ въ эти минуты его душу, всѣ высшія и глубокія стремленія засыпаютъ, и онъ дѣйствительно способенъ по временамъ думать, что нашелъ при посредствѣ женщины глубочайшую связь со всѣмъ міромъ».

Забота о потомствѣ дѣлаетъ мать стойкой въ противоположность вѣчно трусливой и робкой проституткѣ. Но это не стойкость индивидуальности, не нравственная стойкость, вытекающая изъ стремленія владѣть цѣнностями истины и внутренней свободы, а жизненная воля (Lebenswille) къ продолженію рода. Для матери существуетъ только одна цѣль—потомство, для проститутки этой цѣли не существуетъ. Материнская любовь есть истиннѣе, и Вейнинггеръ, скрѣпя сердце, признается, какъ собственно безнравственна материнская любовь. При всякой другой любви дѣло касается существа, никоимъ образомъ незамѣнимаго другимъ существомъ; только материнская любовь простирается безъ исключенія на все, что только мать носила когда-либо въ своемъ чревѣ. Индивидуальность дѣтей для матери безразлична, для нея достаточенъ фактъ обладанія ими. «Это тяжкое признаніе, тяжкое по отношенію къ матери и ребенку, когда приходится допустить, какъ на самомъ дѣлѣ безнравственна материнская любовь, та любовь, которая одинакова по отношенію къ сыну—святому или преступнику, королю или нищему, ангелу или чудовищу». Такая любовь не есть отношеніе къ чужому «я», а является чисто физическимъ средствомъ. Какъ и всякая безнравственность, она есть нарушеніе границы непереходимаго. Этическое отношеніе возможно только между людьми, чувствующими себя индивидуальностями; сущность материнства—никогда не разрывающаяся связь между матерью и всѣмъ, что только было когда-либо связано съ ея пуповиной.

Въ отличіе отъ матери проститутка это—женщина, которая никогда не хотѣла признать все то, что мужчина считалъ цѣнностями, и которая всегда противилась его идеалу чистоты и цѣломудрія женщины. Этимъ объясняется то исключительное положеніе, которое выпадаетъ повсюду въ настоящее время на долю проститутки. Мать смогла подчиниться нравственно волѣ мужчины, ибо для нея все заключалось въ ребенкѣ, въ продолженіи потомства. Какъ хранительница очага, мать всегда пользуется извѣстнымъ почетомъ и уваженіемъ; проститутка отказалась отъ общественнаго мнѣнія, но она жадно стремится къ власти, мужчины должны лежать у ея ногъ, во прахѣ.

Я коснусь еще вкратцѣ той оригинальной аналогіи, которую проводит Вейнингеръ между проституткой и завоевателемъ въ области политики, такъ какъ, по его мнѣнію, эти два типа людей имѣютъ нѣкоторыя общія черты. «Наполеонъ, величайшее явленіе между всѣми, очень наглядно показываетъ, что «великіе люди воли» суть преступники, но ни въ коемъ случаѣ не геніи. О себѣ самомъ Наполеонъ никогда не размышлялъ, онъ ни часу не могъ оставаться безъ крупныхъ внѣшнихъ дѣлъ, которыя всецѣло заполняли его: поэтому ему необходимо было завоевывать міръ». Дѣйствительно великій человѣкъ, заслуживающій названія генія, признаетъ границу между своей индивидуальностью и чужой, ибо онъ—монада между другими монадами и одновременно сознательный микрокосмъ, онъ заключаетъ весь міръ въ себѣ. Великій завоеватель и великая гетера—люди, абсолютно не признающіе границъ, для нихъ весь міръ—только декорация и служить имъ для возвеличенія ихъ эмпирическаго «я». Поэтому обоемъ чужды и совершенно непонятны любовь, дружба, привязанность. Настоящему трибуну необходима улица такъ же, какъ проституткѣ. Оба, великій завоеватель и великая гетера, подобны зажженнымъ факеламъ, на далекое разстояніе освѣщающимъ все вокругъ себя, они оставляютъ на своемъ пути трупы на трупахъ и погибаютъ подобно метеорамъ безъ всякой пользы для человѣчества, безцѣльно, не оставляя за собой ничего, въ то время какъ геній и мать въ тиши творятъ будущее. Оба, проститутка и трибунъ, являются въ глазахъ народа «бичомъ, посланнымъ Богомъ», безнравственнымъ феноменомъ.

V.

Тотъ аргументъ, который всегда выставляется противъ хулителей женщинъ, заключается въ указаніи на фактъ чистой и идеальной любви между мужчиной и женщиной. Вейнингеръ настойчиво развиваетъ мысль о полнѣйшемъ различіи между любовью и половымъ влеченіемъ. Онъ доказываетъ, что духовная любовь есть чисто мужская особенность, что въ любви мужчина пребываетъ по отношенію къ женщинѣ въ заблужденіи, такъ какъ на мѣсто дѣйствительной женщины онъ создаетъ въ своей фантазіи образъ другой—идеальной и несуществующей—женщины; сама же женщина, по его мнѣнію, неспособна понимать такого рода любовь. «Любовь и половое влеченіе суть до такой степени два различныхъ, противоположныхъ и другъ друга исключаютъ, состоянія, что въ тотъ моментъ, когда человѣкъ дѣйствительно любитъ, идея физическаго соединенія съ любимымъ существомъ ему кажется совершенно невыносимой». «Итакъ, существуетъ платоническая любовь, хотя профессора психіатріи ничего не хотятъ знать объ этомъ. Я хотѣлъ бы даже сказать: существуетъ только платоническая любовь». Но кто же является предметомъ этой любви? Та ли самая женщина, за которой Вейнингеръ призналъ однѣ только отрицательныя особенности и ни одного изъ тѣхъ качествъ, которыя давали бы цѣн-

ность женскому существу? Вейнинггеръ категорически отвѣчаетъ, что предметомъ любви не можетъ быть женщина дѣйствительная; такимъ предметомъ можетъ быть только вполне совершенный образъ добра, красоты и чистоты и онъ есть не что иное, какъ созданіе мужской фантазіи, его страстной потребности въ любви. Все, что кажется мужчине совершеннымъ и достойнымъ поклоненія, чѣмъ онъ страстно стремится быть и не можетъ стать, словомъ—идеаль, «свое собственное глубочайшее (умопостигаемое) существо, свободное отъ всѣхъ путей необходимости и отъ всего земного»,—все это онъ концентрируетъ въ психикѣ женщины, эмпирическая сущность которой такъ же далека отъ этой идеальной, созданной фантазіей мужчины, какъ небо отъ земли. «Онъ проецируетъ свой идеаль абсолютно совершеннаго существа на другое человѣческое существо и только это, а не что иное означаетъ, что онъ любить это существо». Итакъ, мужчина создаетъ красоту женщины; эта красота существуетъ только для него, женщина же цѣнитъ свою красоту лишь постольку, поскольку она чтится мужчиной. Мужчина ищетъ искупленія у этого чистаго, непорочнаго существа, созданнаго его фантазіей; себя самого онъ находитъ всегда несовершеннымъ, порочнымъ, и это идеальное существо должно спасти его отъ грѣха. Вейнинггеръ указываетъ на ту глубокую связь, которая существуетъ между любовью и потребностью искупленія (Данте, Гёте, Вагнеръ, Ибсенъ).

Какъ моралистъ, Вейнинггеръ, однако, не закрываетъ глазъ на отрицательную сторону даже высшей эротики, ибо необходимымъ условіемъ нравственнаго отношенія между людьми является ихъ взаимное пониманіе, въ любви же реальная психологія женщины какъ бы уничтожается, психически умерщвляется и на ея мѣсто «интроецируется» другая—несуществующая—женщина. Мужчина хочетъ быть искупленъ другимъ существомъ, вмѣсто того, чтобы достигнуть искупленія собственной борьбой. Поэтому Вейнинггеръ считаетъ любовь «опаснѣйшимъ самообманомъ», только потому, что человѣкъ думаетъ, будто она дѣйствительно способствуетъ борьбѣ за добро. «Посредственныхъ людей она, можетъ быть, облагораживаетъ, люди съ болѣе глубокой совѣстью будутъ остерегаться подпасть ей обману».

VI.

Вейнинггеръ называетъ свою книгу «величайшей почестью, которая когда-либо была оказана женщинамъ»; его изслѣдованіе въ концѣ-концовъ обращается противъ мужчины и приписываетъ ему главнѣйшую вину, хотя, конечно, въ совершенно иномъ родѣ, чѣмъ это предполагала бы защитница женскихъ правъ. М и Ж, идеальные типы мужчины и женщины, вначалѣ служившіе ему какъ руководящіе принципы для объясненія полового многообразія, обратились въ концѣ-концовъ въ двѣ метафизическія сущности, въ два мировыхъ принципа, которые находятся между собой въ

постоянной борьбѣ. Присоединяясь къ ученію Платона о сущемъ и несущемъ, къ ученію Аристотеля о пассивной матеріи и активной формѣ, Вейнингеръ видитъ въ женщинѣ безформенную матерію. Онъ находитъ, что отношеніе между мужчиной и женщиной есть не что иное, какъ отношеніе между субъектомъ и объектомъ: женщина ищетъ своего завершенія, какъ объектъ, она есть вещь мужчины или ребенка и даже въ эротикѣ она является не чѣмъ инымъ, какъ пассивнымъ объектомъ. «Мужчина есть форма, женщина—матерія. Если это такъ, то это должно также выражаться во взаимномъ отношеніи ихъ психическихъ переживаній. Установленная раздѣльность содержанія душевной жизни мужчины въ противоположность нераздѣльному и хаотическому представленію женщины есть не что иное, какъ та же самая противоположность, которая существуетъ между формой и матеріей. Матерія должна быть оформлена, поэтому женщина требуетъ отъ мужчины уясненія своихъ туманныхъ представленій». «Чистый мужчина есть образъ и подобіе Божества, абсолютнаго «Что-то»; женщина, даже женщина въ мужчинѣ, есть символъ «Ничто». «Проклятіе, бременемъ лежащее на женщинѣ, есть злая воля мужчины». «Грѣхопаденіе формы есть именно то оскверненіе, которому она подвергается при стремленіи своемъ проявиться въ матеріи. Въ моментъ, когда мужчина сталъ сексуальнымъ, онъ создалъ женщину. Фактъ существованія женщины показываетъ не что иное, какъ то, что сексуальность была утверждаема мужчиной. Женщина есть только результатъ этого утвержденія». «Женщина есть вина мужчины. Для искупленія этой вины служить ему любовь». «Каждый мужчина создаетъ въ себѣ женщину, ибо каждый самъ сексуаленъ. Женщина же существуетъ не по своей собственной винѣ, а по винѣ другого; и все, въ чемъ можно упрекнуть женщину, есть вина мужчины. Любовь прикрываетъ вину вмѣсто того, чтобы устранить ее; она возвеличиваетъ женщину вмѣсто того, чтобы уничтожить ее».

Итакъ, мы видимъ теперь еще съ болѣею ясностью, что М и Ж для Вейнингера суть какъ бы два начала, два міровыхъ принципа, одинаково проявляющіеся въ реальныхъ человѣческихъ индивидуумахъ. Результатъ, къ которому приходитъ въ своемъ построеніи Отто Вейнингеръ, гласитъ, что реальный мужчина долженъ подчинить женщину нравственной идеѣ человечества, а реальная женщина должна эмансипироваться, она должна стремиться къ освобожденію не отъ мужчины, а отъ женщины. «Конечнымъ противникомъ женской эмансипаціи является женщина». «Если всякая женственность есть безнравственность, то женщина должна перестать быть женщиной и стать мужчиной. Мужчина долженъ преодолѣть въ себѣ отвращеніе къ мужеподобной женщинѣ». Существуетъ только одно право—и оно одинаково какъ для мужчины, такъ и для женщины. Никто не имѣетъ нравственнаго права упрекнуть женщину за ея «неженственность» или запретить ей что-нибудь; поэтому неизменно и безнравственно оправдывать того мужчину, который избиваетъ свою жену за то, что она не осталась ему вѣрна въ брачной жизни, какъ будто она является по

праву вещью мужчины, которою онъ свободенъ распоряжаться. Мужчина съ своей стороны долженъ смотрѣть на женщину, какъ на цѣль въ себѣ, а не какъ на средство для удовлетворенія похоти. Вейнингеръ убѣжденъ, что мужчина никогда не сможетъ разрѣшить для себя этической проблемы, если будетъ отрицать въ женщинѣ идею человѣчества, «и нѣтъ возможности пришествія царства Божія на землю до тѣхъ поръ, пока это не случится». Всѣ великіе люди: Пизагоръ, Платонъ, Тертуліанъ, Свифтъ, Вагнеръ, Ибсенъ, выступали за освобожденіе женщины, не за эмансипацію женщины отъ мужчины, а за эмансипацію женщины отъ женщины.

Считая женскій вопросъ вопросомъ человѣчества, Вейнингеръ требуетъ для обоихъ половъ воздержанія. Въ боязни, что въ такомъ случаѣ человѣчество вымретъ, «заключается не только крайнее невѣріе въ индивидуальное безсмертіе и въ вѣчную жизнь нравственной индивидуальности, она не только крайне иррелигіозна, но ею человѣкъ въ то же время показываетъ свое малодушіе, свою неспособность жить внѣ стада. Отрицаніе сексуальности умерщвляетъ только физическаго человѣка и только для того, чтобы дать полный просторъ для существованія духовному».

Таковы въ краткомъ очеркѣ идеи безвременно погибшаго молодого философа.

Г. Ш.

Свобода личности въ уголовномъ процессѣ.

(П. И. Люблинскій: „Свобода личности въ уголовномъ процессѣ.— Мѣры, обезпечивающія неуклоненіе обвиняемаго отъ правосудія“. Спб., стр. IV+701. Цѣна 3 р. 50 к.).

Авторъ книги, заглавіе которой приведено выше, является далеко не новичкомъ въ литературѣ уголовного права. За послѣдніе два-три года имъ выпущенъ въ свѣтъ рядъ статей и переводовъ и двѣ крупныхъ работы: «О преступленіяхъ противъ избирательнаго права» и «Право амнистіи». Свидѣтельствуя о незаурядной трудоспособности автора, эти работы, какъ видно уже изъ самыхъ темъ, которымъ онѣ посвящены, затрагиваютъ новые и жгучіе вопросы нашей уголовно-правовой современности и такимъ образомъ даютъ указанія на другое цѣнное качество автора, — его отзывчивость и притомъ отзывчивость не публицистическую, а научную, ибо упомянутые новые, выдвигаемые жизнью вопросы онъ рѣшаетъ съ помощью солиднаго научнаго аппарата, вдумчиво и обстоятельно пользуясь и данными теоретическими, и широкимъ примѣненіемъ данныхъ сравнительнаго законодательства.

Тѣ же качества проявляются и въ рецензируемомъ нами трудѣ. Онъ распадается на введеніе и двѣ основныхъ части. Въ введеніи формулируется принципиальная точка зрѣнія автора, причемъ авторъ касается какъ этиологіи вопроса («факторы, вліяющіе на характеръ мѣръ обезпеченія»), такъ и уголовно-политическихъ ученій, но лишь постольку, поскольку они трактуютъ о подслѣдственномъ заключеніи.

Часть первая говоритъ о постановкѣ мѣръ обезпеченія въ законодательствахъ Западной Европы и посвящена исторіи римскаго и русскаго процесса и обрисовкѣ какъ исторіи, такъ и современнаго положенія законодательства Англій, Франціи, Германіи и странъ, примыкающихъ къ постановкѣ вопроса той или другой изъ названныхъ державъ.

Часть вторая, которой отведено $\frac{2}{3}$ книги, посвящена уясненію и критикѣ русскаго законодательства; она трактуетъ о средствахъ представленія обвиняемаго въ судъ, причемъ обращается особое вниманіе на предварительный полицейскій арестъ, и отвѣтственность полиціи за неправильныя дѣйствія

при этомъ арестѣ, о видахъ мѣръ обезпеченія, общихъ и особыхъ, объ органахъ, вѣдающихъ назначеніе и измѣненіе мѣръ обезпеченія и о границахъ усмотрѣнія судьи при назначеніи этихъ мѣръ, о подслѣдственномъ заключеніи и въ частности о цѣляхъ и основаніяхъ его, о режимѣ и продолжительности, о формальныхъ гарантіяхъ личной свободы гражданъ и о процессуальныхъ правахъ заключеннаго и средствахъ осуществленія ихъ. Дополняется книга главою о коррективахъ подслѣдственнаго заключенія, т.-е. о зачетѣ его въ наказаніе и о вознагражденіи за безъ вины понесенное заключеніе. Въ концѣ книги авторъ суммируетъ тѣ выводы, къ которымъ онъ пришелъ въ своемъ изслѣдованіи.

Обращаясь къ характеристикѣ положительныхъ сторонъ этого изслѣдованія, мы должны отмѣтить обстоятельность разработки какъ самой темы, такъ и всѣхъ почти вопросовъ, съ ней соприкасающихся. Въ историческомъ отдѣлѣ дается прекрасная картина и характеристика смѣняющихся порядковъ и важнѣйшихъ линій, по которымъ шло развитіе мѣръ обезпеченія. Добросовѣстно и внимательно изучена авторомъ литература вопроса, особенно французская. Иногда приводятся эпизодическія, но весьма цѣнные историческія справки, напримѣръ, о совѣстномъ судѣ, его правахъ, имѣющихъ политическій характеръ и т. п.

Въ догматической части работы находимъ вдумчивый анализъ затронутого вопроса по иностраннымъ законодательствамъ. При разработкѣ русскаго права, кромѣ дѣйствующаго законодательства, авторъ привлекаетъ къ дѣлу ревизіонные судебные отчеты, умѣло группируемыя статистическія данныя, старыя и новыя проекты и объяснительныя къ нимъ записки.

Въ частности можно указать (стр. 18 и сл.) на интересно задуманную попытку разсмотрѣть систему мѣръ обезпеченія въ связи съ возможнымъ и вѣроятнымъ ея воздѣйствіемъ въ томъ или иномъ направленіи на мотивацию гражданъ, на прекрасную характеристику положенія исправляющаго должность судебного слѣдователя и его зависимости, на обстоятельный очеркъ режима подслѣдственнаго заключенія и на исчерпывающее изложеніе отдѣльныхъ мѣръ обезпеченія и компетенціи органовъ, принимающихъ эти мѣры. Особого вниманія заслуживаютъ тѣ мѣста книги, гдѣ авторъ выясняетъ, какъ мало у насъ гарантій соблюденія указаннаго въ законѣ 24-часового срока для допроса привлекаемаго, какъ ненормально широки фактически полномочія полиціи, какъ безостановочно просачивается въ жизнь административное отгѣсненіе закона и какой просторъ открывается для произвола. Здѣсь (стр. 276—330 и др.) приведено немало характерныхъ данныхъ и сдѣланъ тонкій анализъ (стр. 290—294) полного несоответствія предположеній и мотивовъ законодателя съ установившейся практикой и даже съ текстомъ закона, *de facto* создавшихъ полицейское самовластіе.

Съ уголовно-политической точки зрѣнія должно отмѣтить рядъ удачныхъ и цѣлесообразныхъ предложеній *de lege ferenda* какъ по сути темы, такъ и по вопросамъ, съ ней соприкасающимся; въ такихъ, напримѣръ, уже

имѣющихъ обширную литературу вопросахъ, какъ вопросъ о вознагражденіи невинно лишенныхъ свободы, авторъ, говоря о вознагражденіи понесшихъ безъ вины подсѣдственныхъ арестъ, умѣлъ найти новые аргументы. То же можно сказать и относительно обширнаго отдѣла, трактующаго зачетъ подсѣдственного ареста, гдѣ дана отчетливая и вѣрная критика теорій и законодательства, особенно же нашего новаго уголовного уложенія.

Вообще, поскольку дѣло идетъ о нормахъ, о юридической оболочкѣ вопроса, работа автора мало оставляетъ чего желать. Языкъ отчетливъ. Изложеніе, мѣстами растянутое, въ общемъ является живымъ и весьма литературнымъ.

Таковы серьезныя положительныя стороны работы г. Люблинскаго. Обращаясь теперь къ тому, что, на нашъ взглядъ, составляетъ недостатки этой работы, мы сдѣлаемъ рядъ замѣчаній какъ формальнаго характера, такъ и по существу.

Начнемъ съ заглавія. Хотя въ подзаголовкѣ авторъ ставитъ слова «мѣры обезпеченія» и этикъ вводитъ свою тему въ болѣе тѣсныя предѣлы, но первое заглавіе гласитъ: «Свобода личности въ уголовномъ процессѣ». Читатель, интересующійся послѣднимъ, болѣе широкимъ, вопросомъ, будетъ введенъ въ заблужденіе заглавіемъ и не найдетъ искомыхъ имъ отвѣтовъ, поскольку вопросъ о предѣлахъ свободы личности не совпадетъ съ вопросомъ о трактующихъ у автора мѣрахъ пресѣченія (по терминологіи автора, обезпеченія). Авторъ былъ бы правъ лишь въ томъ случаѣ, если бы онъ далъ во введеніи въ свою книгу хотя бы краткій очеркъ, посвященный уясненію общаго вопроса о свободѣ личности и о предѣлахъ этой свободы въ уголовномъ процессѣ; но такого очерка въ книгѣ мы не находимъ, ибо по затроутому общему вопросу имѣются лишь несуммированныя и разбросанныя въ равныхъ отдѣлахъ книги замѣчанія. Едва ли, далѣе, можно признать правильной принятую авторомъ систему распредѣленія матеріала. Сперва въ книгѣ дано трактованіе нѣкоторыхъ принципиальныхъ сторонъ вопроса, затѣмъ идетъ его исторія, затѣмъ обзоръ средствъ представленія обвиняемаго въ судъ и мѣръ обезпеченія, и лишь послѣ этого авторъ говоритъ о тѣхъ органахъ, которые вѣдаютъ назначеніе и измѣненіе мѣръ обезпеченія.

Благодаря такому порядку изложенія, автору приходится опять возвращаться къ мѣрамъ обезпеченія, чтобы установить основанія, цѣли ихъ и т. д. Получается нѣкоторая разбросанность матеріала, возникаютъ повторенія, и самъ авторъ иногда (стр. 385) чувствуетъ необходимость нарушить принятый имъ порядокъ изложенія.

Далѣе, авторъ даетъ вполне внимательный и добросовѣстный обзоръ литературы, но въ то же время онъ скупъ на цитаты даже тамъ, гдѣ отдѣльные вопросы уже обстоятельно разработаны его предшественниками и гдѣ поэтому слѣдовало бы опредѣленно отмѣтить, что именно сдѣлано этими предшественниками. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда авторъ шелъ по

этому правильному пути, а также въ случаяхъ полемики, онъ преимущественно считается съ предшественниками въ примѣчаніяхъ; между тѣмъ при разборѣ болѣе оригинальныхъ и обстоятельныхъ теорій (напримѣръ, Gagofalo) имъ слѣдовало бы оказать больше вниманія и поговорить о нихъ въ самомъ текстѣ. Отмѣтимъ также два пункта, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, авторъ просто оговорился. «Со смертью полицейскаго государства,—говоритъ онъ (стр. 49),—вымерли и мѣры полицейско-принудительнаго характера». Въ сожалѣнію, это не дѣйствительность, а только *rius desiderium*, ибо, какъ видно хотя бы изъ данныхъ, приведенныхъ самимъ авторомъ, пережитки вымершаго строя сохранились даже въ Германіи и Франціи, не говоря уже о Россіи, гдѣ они еще очень чувствительно даютъ себя знать.

«Чѣмъ тяжелѣе преступленіе, тѣмъ настоятельнѣе оно требуетъ *возмездія*»; говорить въ другомъ мѣстѣ авторъ (стр. 428), тогда какъ изъ всѣхъ трудовъ его съ очевидностью вытекаетъ отрицательное отношеніе къ теоріи возмездія.

Таковы формальные недочеты, въ общемъ не причиняющіе особаго вреда работѣ г. Люблинскаго. Обратимся теперь къ существу дѣла.

Господствующей по вопросу о мѣрахъ обезпеченія теоріи авторъ противопоставляетъ свою теорію. По его мнѣнію, господствующая теорія смотритъ на вопросъ слишкомъ формально и схематично, противопоставляя интересъ правосудія интересу индивидуальной свободы и рассматривая эти два интереса какъ двѣ чашки вѣсовъ, постоянно уравнивать которыя призванъ законодатель. Авторъ считаетъ необходимымъ углубленіе вопроса; по его мнѣнію, здѣсь «нужно примѣнить положительный принципъ оцѣнки цѣлей личности и государства» (стр. 3—4 и сл.). Пусть такъ; признаемъ вѣрной эту не вполне опредѣленную формулу; и въ этомъ случаѣ мы должны будемъ признать, что она вовсе не идетъ вразрѣзъ съ господствующей теоріей, ибо и у новыхъ и у старыхъ процессуалистовъ мы при рѣшеніи вопроса о мѣрахъ пресѣченія нерѣдко находимъ серьезное вниманіе къ цѣлямъ личности и государства; возьмемъ для примѣра работы по уголовному процессу криминалиста конца XIX в. Варга и криминалиста конца XVIII в. Люи Сегье,—у того и у другого мы находимъ болѣе широкій принципиальный взглядъ на интересующіе насъ вопросы, чѣмъ утверждаетъ авторъ въ своемъ обобщеніи относительно господствующей теоріи.

Почти тутъ же (стр. 6) авторъ опредѣляетъ все положеніе вопроса о мѣрахъ обезпеченія тѣмъ, высока или низка оцѣнка личности въ данное время въ данномъ государствѣ, т.-е. приходитъ по существу къ той же проблемѣ ограничиваемой государствомъ свободы, какую считаетъ характерной для господствующей теоріи. На почву ея же онъ нерѣдко становится и въ своемъ дальнѣйшемъ изложеніи (стр. 412, 425 и др.). Правильные выводы автора и удачная характеристика провизорной свободы (стр. 8) также не расходятся съ сущностью господствующей теоріи.

Даже мы должны отмѣтить, что, взявъ темой для своего изслѣдованія

частный вопросъ о мѣрахъ обезпеченія, авторъ мало озаботился и рѣшеніемъ тѣхъ общихъ вопросовъ, которое составляетъ необходимую предпосылку къ его частному вопросу. Онъ называетъ привлеченнаго къ слѣдствію то «пассивнымъ субъектомъ» (стр. 2—3), то «объектомъ изслѣдованія» (стр. 421), то «стороной въ процессѣ, значеніе которой въ качествѣ стороны усиливается послѣ преданія суду». А вѣдь рѣшеніе вопроса о томъ, какъ юридически конструируется положеніе обвиняемаго, налагаетъ отпечатокъ на весь строй мѣръ обезпеченія какъ въ историческомъ ихъ развитіи, такъ и въ современномъ положеніи. Въ зависимости отъ рѣшенія находятся и находились самый типъ процесса и его основы. Недаромъ же, какъ свидѣтельствуетъ самъ авторъ (стр. 513), «вопросъ объ объемѣ правъ обвиняемаго на предварительномъ слѣдствіи составляетъ въ настоящее время центръ вниманія процессуалистовъ».

Когда авторъ говоритъ (стр. 11): «Каждый почитается невиннымъ, пока не доказана его виновность,—таковъ принципъ уголовно-судебнаго законодательства, проводящаго строгое различіе между обвиняемымъ и виновнымъ», то это вполнѣ вѣрно, но самый принципъ есть не что иное, какъ результатъ долгой и громадной исторической эволюціи, связанной съ вышеуказаннымъ нами общимъ вопросомъ, а онъ-то и не нашелъ себѣ у автора подробнаго уясненія.

Равнымъ образомъ, когда авторъ какъ бы съ упрекомъ указываетъ на то (стр. 35 и сл.), что въ эпоху Возрожденія борьба противъ подслѣдственнаго ареста не была столь рѣзка и принципиальна, какъ борьба противъ пытки и злоупотребленій инквизиціонными средствами, то онъ упускаетъ изъ виду, что сперва нужно было сокрушить *основы* стараго процесса и добиться перемѣны основнаго взгляда на положеніе и права привлеченнаго въ процессѣ. Если бы авторъ взялъ нѣсколько глубже, то воплощеніе старыхъ взглядовъ на эти права онъ нашелъ бы въ видѣ квинтъ-эссенціи у криминалистовъ XVII в. и могъ бы въ своемъ историческомъ очеркѣ установить характерную эволюцію, послѣдовавшую въ дальнѣйшемъ по данному основному вопросу. Тогда въ частности и причины, вліяющія на представленіе о судѣ и на уклоненіе отъ суда, онъ опредѣлилъ бы шире, чѣмъ онъ сдѣлалъ теперь, указавъ только на «характеръ судебной власти» и «характеръ наказанія» (стр. 31).

Обратимся къ исторіи законодательства. Авторъ даетъ въ своемъ историческомъ очеркѣ прекрасную картину смѣны нормъ и удачно характеризуетъ мѣры обезпеченія на основаніи почерпнутыхъ изъ законодательства данныхъ. Но и здѣсь онъ часто не заботится объ уясненіи причинъ происходящей смѣны и, разрабатывая верхній пластъ, мало интересуется подпочвой (стр. 114, 104, ср. 11). Между тѣмъ самъ онъ справедливо говоритъ, что на примѣрѣ Франціи нужно изучать процессъ, построенный на инквизиціонномъ началѣ и здѣсь вылившійся въ самыя яркія формы. Если бы авторъ уяснилъ, почему именно во Франціи явились эти «яркія формы», если бы аналогичный вопросъ онъ поставилъ и относительно другихъ

странъ, онъ нашель и показаль бы намъ суть дѣла, т.-е. причины, предопредѣлившія въ извѣстной странѣ и въ извѣстную эпоху именно такую, а не иную систему мѣръ обезпеченія.

Въ частности отмѣтимъ слѣдующіе пробѣлы. Во-первыхъ, характеризуя римскій процессъ по раннимъ источникамъ, а затѣмъ по дигестамъ, авторъ не упоминаетъ вовсе объ эксцессахъ отъ настоящаго правосудія въ сторону правосудія расправы, а эти эксцессы были нерѣдки въ эпоху цезаризма и нанесли не одинъ ударъ тому зданію римской свободы, которое удачно описано авторомъ. Во-вторыхъ, въ исторіи русскаго процесса княжескаго періода авторъ высказываетъ мысль, что «власть была заинтересована въ судѣ лишь съ экономической точки зрѣнія», и это отразилось на мѣрахъ обезпеченія. Что экономическая точка зрѣнія преобладала,—это вѣрно, но съ заключеніемъ, что она была единственной—рѣшительно нельзя согласиться; этому прямо противорѣчить цѣлый рядъ историческихъ данныхъ (о дѣйствіяхъ кн. Владиміра подъ вліяніемъ совѣтовъ епископовъ, о взглядахъ Мономаха, высказанныхъ въ его поученіи, о княжихъ расправахъ и т. п.), освѣщенныхъ подробно нашими историками права. Въ-третьихъ, сдѣланное авторомъ освѣщеніе позднѣйшихъ эпохъ является недостаточнымъ. Авторъ почти исключительное вниманіе удѣляетъ смѣняющимся законамъ; но жизнь отступала отъ нихъ, искажала ихъ, а порою вкладывала въ нихъ свое совершенно неожиданное содержаніе; авторъ же или совсѣмъ не упоминаетъ объ этой работѣ жизни, или относится къ ней довольно поверхностно. Такъ, напримѣръ, страницы (244—246), посвященные авторомъ уясненію фактическаго состоянія мѣръ пресѣченія въ царствованіе императора Николая I, написаны почти исключительно на основаніи данныхъ, собранныхъ покойнымъ проф. Кляшторскимъ; между тѣмъ теперь въ русской литературѣ имѣется рядъ новыхъ весьма цѣнныхъ данныхъ (см. особенно труды Ровинскаго и статью Кони о Ровинскомъ). Выяснено, что подсѣдственныхъ арестантовъ чуть не до времени введенія судебныхъ уставовъ часто «не въ видѣ пытки» кормили сельдями и, помѣстивъ въ жаркомъ помѣщеніи, лишали воды, вымогая сознание столь мучительнымъ и «самобытнымъ» путемъ, отмѣченнымъ еще у Гоголя въ его «Ревизорѣ»; доказано, что подсѣдственныхъ звѣрски били, сажали въ клоповникъ, а иногда даже въ такіе въ буквальномъ смыслѣ слова «темницы» и подвалы, что заключенные выходили оттуда ослѣпшими. Авторъ не воспользовался этими весьма существенными данными, а потому и картина подсѣдственнаго ареста въ данную эпоху является у него неполной и лишенной яркаго колорита. Также и относительно современности имъ даны кое-какіе отдѣльные штрихи (стр. 456—466 и др.) но общей характеристики *фактическаго* состоянія мѣръ пресѣченія и въ частности *практики* подсѣдственнаго ареста мы не находимъ, хотя обильнѣйшія данныя авторъ могъ найти въ хроникѣ журнала *Право* з послѣдніе годы, не говоря уже объ общей періодической печати.

Въ догматической части мы отиѣтимъ сперва менѣе существенныя недочеты.

У автора слишкомъ мало сказано объ обвинительной камерѣ, какъ органѣ, контролирующемъ назначеніе мѣръ пресѣченія, а вѣдь ее въ жизни иногда называютъ «штемпельной камерой». Приведа статистическія данныя, изъ которыхъ видно, какъ рѣдко (отъ 1 до 3%) камеры измѣняютъ назначенную мѣру пресѣченія, авторъ изъ того факта, что громадное большинство измѣненій падаетъ на отиѣну ареста, дѣлаетъ выводъ о чрезмѣрной строгости назначаемихъ слѣдователями мѣръ пресѣченія. Последнее вѣрно, но доказывается другими данными, а не дѣятельностью камеръ, которыя въ среднемъ утверждаютъ 98% слѣдовательскихъ мѣръ (стр. 403); здѣсь самъ собою напрашивался выводъ о бездѣятельности камеръ, но авторъ его не сдѣлалъ.

Затѣмъ, авторъ констатируетъ (стр. 405) обязанность предсѣдателя немедленно освободить оправданнаго подсудимаго, находящагося подъ стражей, и ни слова не говоритъ о нашей практикѣ, идущей вразрѣзъ съ закономъ и выработавшей разнообразныя формы (напримѣръ, задержаніе оправданнаго для сдачи казенныхъ вещей), благодаря которымъ часто оправданный остается подъ стражей.

Французскую систему гарантій для подсудимаго авторъ признаетъ паліативомъ; совершенно вѣрно, что эта система громоздка и ведетъ къ затяжкамъ слѣдствія, но едва ли вѣрно, что она «безсильна въ борьбѣ съ общимъ строемъ, гдѣ нужна не гарантія, а реформа»; во-первыхъ, для странъ, гдѣ имѣется дѣйствительно обезпеченный и неизблемый правовой порядокъ, правильность тезиса, выставленнаго авторомъ, не доказана, и во-вторыхъ, самое установленіе гарантій всегда происходило именно путемъ реформы, и реформы, которую по ея благодѣтельнымъ для правъ личности послѣдствіямъ нельзя не признать весьма важной.

Авторъ даетъ нерѣшительную оцѣнку такой «полицейской цѣли ареста какъ предупрежденіе повторенія и довершенія преступленій» даннымъ лицомъ, если оно будетъ оставлено на свободѣ; онъ (стр. 482—484) болѣе склоняется къ отрицательному взгляду, забывая здѣсь о защитѣ интересовъ общества, которые требуютъ особаго огражденія отъ преступниковъ-профессіоналовъ. Въ этомъ пунктѣ мы подходимъ къ той общей конструкціи автора, въ которой мы усматриваемъ существенныя дефекты. Здѣсь передъ нами лишь частное приложеніе общаго принципа, къ которому мы и должны теперь обратиться.

Дѣло въ томъ, что авторъ (428, 449 и др. стр.), давъ прекрасный анализъ границъ усмотрѣнія слѣдователя, положилъ далѣе весь центръ тяжести на объективный критерій (тяжесть дѣянія, въ совершеніи котораго подозрѣвается привлеченный) и очень мало вниманія удѣлялъ критерію субъективному (данному, относящемуся къ личности привлеченнаго); первый, по автору, есть *основаніе* мѣры обезпеченія, а второй—лишь *условіе*. Авторъ выходитъ изъ того положенія, что законодатель долженъ

обезпечить интересы обвиняемого, а обезпечение интересов правосудія можетъ безбоязненно вѣрить судѣ; поэтому онъ высказывается противъ *обязательности* для слѣдователя назначать задержание въ какихъ бы то ни было случаяхъ, а слѣдовательно и при обилии самыхъ яркихъ данныхъ, характеризующихъ съ отрицательной стороны личность заподозреннаго.

Мы позволимъ себѣ привести слова самого же автора (стр. 4), но обратитъ ихъ противъ него. Мы находимъ, что предложенное имъ построение, «свойственное эпохѣ либерализма, было бы въ настоящее время слишкомъ легко и неправильно», и что «для рѣшенія этого вопроса правильнѣе примѣнить положительный принципъ оцѣнки цѣлей личности и государства, который не приведетъ насъ къ такому рѣзкому выводу».

Именно этотъ принципъ оцѣнки не только цѣлей личности, но и цѣлей государства нашелъ себѣ яркое воплощеніе въ такъ называемыхъ новыхъ теченіяхъ въ наукѣ уголовного права. Эти теченія обратили самое серьезное вниманіе на субъективный критерій и потребовали радикальных измѣненій какъ въ карахъ, такъ и въ порядкахъ правосудія по соображенію съ этимъ критеріемъ. Преступникъ случайный и преступникъ привычный, а тѣмъ болѣе профессиональный вырисованы какъ антиподы, равно какъ преступники, дѣйствующіе по социальнымъ мотивамъ, съ одной стороны, и по антисоциальнымъ—съ другой. Правосудіе, преслѣдующее идею цѣлесообразности въ борьбѣ съ преступностью, уже а priori въ проявленіяхъ своихъ должно проводить рѣзкія границы, считаясь съ указанными субъективными данными. И вдругъ у автора, разъ дѣло касается мѣръ обезпеченія, эти данные должны играть весьма второстепенную роль, должны быть отодвинуты на задній планъ.

Мы думаемъ, что частный вопросъ о мѣрахъ пресѣченія не можетъ рѣшаться внѣ всякой зависимости отъ общихъ соображеній о цѣляхъ правосудія; если субъективный критерій важенъ для послѣднихъ, то онъ долженъ быть признанъ важнымъ и для даннаго вопроса. Пусть при общей тенденціи слѣдователей къ строгости, будутъ рѣдки случаи вредныхъ послабленій; но и на эти рѣдкіе случаи нельзя закрывать глаза, ибо въ этихъ случаяхъ могутъ страдать отъ дѣятельности оставленнаго на свободѣ преступника люди совершенно невинные, и этого не должна допускать истинная гуманность, отнюдь не совпадающая съ сантиментальностью.

Поэтому мы находимъ, что въ частности, вѣско критикуя Garofalo, какъ защитника чрезмѣрнаго расширенія подслѣдственнаго ареста, авторъ увлекается въ своей критикѣ постольку, поскольку не выдѣляетъ изъ теорій Garofalo тѣхъ пунктовъ, гдѣ послѣдній выдвигаетъ важность субъективнаго критерія (т.-е. особаго вниманія при назначеніи подслѣдственнаго ареста къ такимъ даннымъ, какъ упорный рецидивъ или преступная привычка, отсутствіе опредѣленнаго мѣстожителства, бродяжество, отвращеніе къ честному труду и т. п.).

Авторъ, какъ видно не только изъ данной работы, но и изъ други

его работъ, въ общемъ близко стоитъ къ новаторамъ въ наукѣ уголовного права и со свойственной ему отзывчивостью относится къ ихъ сгедо; поэтому расхожденіе съ этимъ сгедо въ изслѣдуемомъ вопросѣ представляется намъ какимъ-то случайнымъ недоразумѣніемъ, тѣмъ болѣе, что въ одномъ мѣстѣ этой же книги (стр. 449—450), говоря объ Англии, онъ указываетъ, какъ сильно тамъ вліяютъ на выборъ мѣры обезпеченія личныя свойства обвиняемаго, и прямо утверждаетъ, что эти свойства «не слѣдуетъ игнорировать» даже при затруднительности точнаго ихъ опредѣленія...

Остановимся въ заключеніе на дополнительномъ очеркѣ въ книгѣ автора о вознагражденіи безъ вины понесшихъ предварительное задержаніе въ видѣ ареста. Этотъ обширный и въ общемъ превосходно разработанный очеркъ вызоветъ съ нашей стороны лишь одно замѣчаніе.

Авторъ предусматриваетъ (стр. 597, сл.) три комбинаціи: во-первыхъ, вредъ «функциональный», когда должностное лицо вполне добросовѣстно исполняло свои обязанности, а невинный (напримѣръ, въ силу особо сложившихся обстоятельствъ или впослѣдствіи опровергнутыхъ уликъ) все-таки понесъ предварительное заключеніе; во-вторыхъ, вредъ, который авторъ называетъ неосторожнымъ или «небрежнымъ», когда подслѣдственное заключеніе понесено безъ вины, вслѣдствіе невнимательнаго исполненія должностнымъ лицомъ своей обязанности, недостаточнаго «радѣнія» о ней. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ авторъ ярко и убѣдительно мотивируетъ не только необходимость признать за потерпѣвшимъ право на вознагражденіе, но и стремится обставить это право условіями, дающими сказанному праву легкую и вѣрную реализацію: должностное лицо не признается «годнымъ адресатомъ возмѣщенія убытковъ»; потерпѣвшему предоставляется требовать непосредственно съ государства вознагражденіе за понесенное безъ вины заключеніе; казна должна уплатить ему, а затѣмъ обратиться съ регрессомъ къ должностному лицу и даже съ дисциплинарнымъ взысканіемъ, если вредъ относится къ категоріи функциональнаго.

Но дальше мы читаемъ нѣчто совершенно неожиданное. Переходя къ третьей комбинаціи, когда вредъ причиненъ благодаря умышленной или грубо неосторожной винѣ должностнаго лица, отвѣтственность за этотъ вредъ авторъ возлагаетъ уже не на государство, а на виновнаго чиновника. Такимъ образомъ изъ всѣхъ невинно перенесшихъ подслѣдственный арестъ въ наихудшее, въ смыслѣ полученія вознагражденія, положеніе попадаютъ тѣ, которые пострадали наиболѣе неосновательно, напримѣръ, вслѣдствіе личной вражды, карьеризма или корысти должностныхъ лицъ, а между тѣмъ въ этихъ случаяхъ наиболѣе очевидна необходимость вознагражденія, здѣсь наиболѣе должна вліять общественная совѣсть, наиболѣе легко долженъ быть путь къ вознагражденію за поправныя права. Правда, авторъ допускаетъ «субсидіарную» экономическую поддержку потерпѣвшему со стороны государства (стр. 607), но, во-первыхъ, онъ допускаетъ ее «лишь въ особыхъ случаяхъ», а, во-вторыхъ, и въ этихъ

случаяхъ потерпѣвшій долженъ пройти цѣлый рядъ мытарствъ, отъ которыхъ авторъ избавляетъ потерпѣвшихъ первыхъ двухъ категорій, особенно же у насъ, гдѣ нельзя предать суду чиновника безъ согласія начальства и гдѣ поэтому такъ часто право на вознагражденіе являло бы собою лишь *padding jus*. Авторъ говоритъ, защищая свою точку зрѣнія, что «нельзя дѣлать положеніе потерпѣвшаго въ данномъ случаѣ лучше положенія всякаго другого потерпѣвшаго отъ преступленія», и забываетъ, что здѣсь потерпѣвшій находится въ исключительномъ положеніи, къ которому необходимо отнестись съ особымъ вниманіемъ.

Такимъ образомъ послѣдній тезисъ автора, являясь изъятіемъ изъ его обдуманно и детально и послѣдовательно разработанной теоріи, долженъ быть отвергнутъ съ принципиальной уголовно-политической точки зрѣнія: разъ мы не лишимъ ея этической окраски, она не можетъ допускать въ какомъ бы то ни было вопросѣ ухудшеніе положенія лучшихъ и пострадавшихъ наиболѣе несправедливо.

Таковы, на нашъ взглядъ, недостатки книги г. Люблинскаго. Изъ нихъ, какъ видно изъ написанныхъ уже строкъ, лишь часть мы признаемъ существенными. Остальное—результатъ недосмотра, детальности изложенія или понятнаго увлеченія идеей. Но даже и то, что мы признаемъ существеннымъ, не лишаетъ насъ возможности признать трудъ г. Люблинскаго цѣннымъ и талантливымъ вкладомъ въ процессуальную науку. Въ общемъ книга написана не только съ знаніемъ дѣла и съ большой эрудиціей, но и съ видимымъ увлеченіемъ темой. Она—что особенно важно—даетъ массу серьезнаго матеріала *de lege ferenda* и такимъ образомъ можетъ способствовать не только полному уясненію дѣйствующаго права по затронутому вопросу и его исторіи, но и дальнѣйшему его развитію. Мы увѣрены, что будущее обновленное процессуальное законодательство, если оно пойдетъ по правильному пути, многое почерпнетъ у автора, какъ по вопросу о надлежащей постановкѣ мѣръ обезпеченія, такъ и въ нѣкоторыхъ сторонахъ вопроса о правахъ личности вообще и о гарантіи этихъ правъ. Мы находимъ, что трудъ г. Люблинскаго заслуживаетъ полнаго вниманія и признанія.

М. П. Чубинскій.

Законодательство и жизнь.

Генераль Думбадзе как типическій представитель міровоззрѣнія, господствующаго при нынѣшнемъ нашемъ государственномъ строеѣ, и его объясненіе по поводу запроса въ Думѣ о его дѣйствіяхъ.—Союзъ русскаго народа и его общественное вліяніе.—Дѣло Хвостовыхъ и другія дѣла, по которымъ послѣдовали измѣненія судебныхъ приговоровъ.—Зависимость суда.—Полиція и ея злоупотребленія.—Примѣры административнаго произвола и частнаго самоуправства.—Административная и хозяйственная неурядица въ продовольственномъ дѣлѣ.

Интересною и характерною для нашего времени личностью является ялтинскій администраторъ генераль Думбадзе. Интересенъ онъ не потому, чтобы сфера его дѣятельности была очень обширна или его полномочія были особенно велики сравнительно съ другими подобными же администраторами, а также и не потому, чтобы его образъ дѣйствій былъ особенно оригиналенъ. Напротивъ, онъ интересенъ именно потому, что онъ представляетъ собою въ наиболѣе чистомъ видѣ распространенный у насъ въ настоящее время типъ администратора. Есть другіе представители этого типа, пользующіеся несравненно большею властью и вліяніемъ которыхъ распространяется на гораздо болѣе обширныя сферы. Но ихъ психическая и общественная фізіономія не выстунаетъ съ такою яркостью, такъ какъ она заслонена различными случайными, привходящими элементами. И если они высказываются, то большею частью въ такой формѣ, что трудно бываетъ различить, что именно данное лицо говоритъ по личному убѣжденію и что по обязанности или по своему положенію, какъ членъ известной іерархической организаціи. Напротивъ, генераль Думбадзе, вообще охотно высказывающійся, дѣлаетъ это въ такой непосредственной и безыскусственной формѣ, которая производитъ впечатлѣніе несомнѣнной искренности. Въ его рѣчахъ чувствуется не желаніе подладиться подъ чьи-нибудь требованія или угодить кому-нибудь, а прямое выраженіе нѣкотораго цѣльнаго міросозерцанія, въ основаніи котораго лежитъ требованіе абсолютнаго довѣрія къ личности представителя власти, къ его правдивости, безкорыстію и уму, а потому и полное отсутствіе всякихъ законныхъ гарантій въ его отношеніяхъ къ управляемымъ. И если принять въ соображеніе,

что люди съ такимъ міросозерцаціемъ играютъ въ настоящее время очень важную, можно сказать господствующую, роль въ нашей государственной и общественной жизни, то нельзя не признать, что оно заслуживаетъ серьезнаго вниманія и изученія. Передъ нами рисуется образъ не европейца двадцатаго вѣка и не политическаго дѣятеля конституціоннаго государства, а какого-то Буперовскаго героя, послѣдняго изъ могиканъ, или еще лучше, какого-нибудь восточнаго правителя: калифа или визиря, съ какими мы встрѣчаемся въ историческихъ преданіяхъ востока, или въ сказазахъ изъ тысячи одной ночи. Всѣ характерныя черты этого типа съ особой рельефностью проявились въ объясненіи генерала Думбадзе по поводу предположеннаго въ Государственной Думѣ запроса о его незаконныхъ дѣйствіяхъ. Изъ такихъ дѣйствій, перечисленныхъ въ запросѣ, наиболѣе замѣчательно сожженіе по личному распоряженію Думбадзе дома Новикова, изъ котораго былъ сдѣланъ въ него выстрѣлъ, и разгромъ сосѣдняго дома того же владѣльца. Убытки въ размѣрѣ 60,000 р., нанесенные Новикову, были удовлетворены правительствомъ. Послѣ этого въ Ялтѣ не было никакого важнаго политическаго или уголовнаго преступленія, и генералъ Думбадзе занялся разборомъ и рѣшеніемъ по своему усмотрѣнію, помимо или даже вопреки рѣшенію суда, гражданскихъ дѣлъ о разныхъ взысканіяхъ, о семейныхъ несогласіяхъ и т. д. Въ числѣ послѣднихъ обращаетъ на себя вниманіе дѣло по жалобѣ одного помѣщика на своего сына. Послѣ генеральскаго внушенія непокорный сынъ былъ заключенъ въ тюрьму, а затѣмъ подъ конвоемъ препровожденъ къ отцу, гдѣ и отравился. Рассмотрѣніе генераломъ разныхъ дѣлъ не имѣетъ случайнаго характера; оно возведено въ нѣкоторое постоянное учрежденіе. Ежедневно рассматривается до двадцати дѣлъ. Исковыя жалобы оплачиваются 75-копѣчными марками. Рѣшеніе приводится въ исполненіе немедленно. Отказъ отъ уплаты влечетъ угрозу о высылкѣ въ 24 часа. Объявленіе приговора начинается обыкновенно словами: «я тебя, мерзавецъ». Вообще генералъ не церемонится въ выраженіяхъ. А однажды онъ ударилъ арестованнаго, который потомъ облился керосиномъ и сжегъ себя. Ни возрастъ, ни общественное положеніе не гарантируютъ никого отъ произвольныхъ распоряженій ялтинскаго правителя. Такъ, имъ предъявлено было 72-лѣтнему тайному совѣтнику Пясецкому требованіе или записаться въ члены союза русскаго народа, или въ три дня покинуть Ялту. Въ своемъ объясненіи генералъ Думбадзе называетъ запросъ легкомысленнымъ по его необоснованности и преднамѣренно фальшивымъ. Затѣмъ, минуя нѣкоторыя изъ важнѣйшихъ обвиненій, относительно разбора гражданскихъ дѣлъ утверждаетъ, что онъ производился безъ всякаго съ его стороны давленія, признавая однако, что ему не разъ приходилось обращаться къ обывателямъ съ настоятельной просьбой пожалѣть жалобщика-бѣдняка, на могущаго юридически доказать свою правоту, и что такія его ходатайства всегда имѣли успѣхъ. «Относительно моего будто бы грубаго обращенія съ просителя-

ми, — говоритъ онъ далѣе, — скажу, что не стѣсняюсь называть вещи своимъ именемъ и съ мерзавцами никогда не миндальничая; такъ буду поступать и впредь». Объясненіе по поводу самоожженія политическаго арестанта Тимошкина генераль заканчиваетъ такой фразой: «я ничего не имѣю противъ, чтобы такіе люди-звѣри кончали съ собою такъ, какъ сдѣлалъ Тимошкинъ». Высылка Пясецкаго объясняется отказомъ его выписать въ завѣдуемую имъ библіотеку «правую русскую газету». «Это обстоятельство въ связи съ тѣмъ, что беспочвенная освободительная молодежь постоянно посѣщала Пясецкаго въ его собственномъ домѣ, а въ читальнѣ устраивали митинги въ присутствіи того же Пясецкаго, заставили меня по отношенію къ нему, какъ политически неблагонадежному, примѣнить соответствующія мѣры». Наконецъ, генераль считаетъ нужнымъ высказать такое profession de foi: «Пока буду состоять въ должности главнокомандующаго, поступать буду всегда и впредь, какъ поступаю теперь и поступалъ раньше по долгу совѣсти, службы, долгу присяги, отдавая всю свою энергію и даже жизнь въ защиту вѣрнопопданной и благонамѣренной части населенія и не давая пощадъ «освободителямъ» въ ихъ разрушительной работѣ». Возможно, что генераль Думбадзе еще долго будетъ оставаться ялтинскимъ главнокомандующимъ и столь же неуклонно и съ такой же энергіей продолжать свою дѣятельность въ томъ же родѣ. По крайней мѣрѣ свѣдущее въ этихъ дѣлахъ *Русское Знамя* «категорически» опровергло слухъ о его уходѣ изъ Ялты. «Положеніе чрезвычайной охраны, — говоритъ газета, — продлено еще на полгода и губернаторомъ вновь переданы его права по г. Ялтѣ генералу Думбадзе. Да къ тому же въ настоящее время пребываютъ въ Ялтѣ Высочайшія Особы, и отозваніе Думбадзе, какъ это ни грустно октябристамъ, является невозможнымъ. Этого не посмѣютъ сдѣлать». Что же касается до запроса, то та же газета утверждаетъ, что матеріалъ для него былъ данъ однимъ изъ судебныхъ чиновъ г. Ялты, вслѣдствіе чего «положеніе этого чина настолько этимъ скомпрометировано, что ему придется оставить Ялту на-дняхъ». Изъ этихъ откровенныхъ сообщеній ясно видно, что типъ мировоззрѣнія генерала Думбадзе въ условіяхъ русской жизни несомнѣнно представляетъ изъ себя внушительную силу, не потому, чтобы онъ заключалъ въ себѣ элементы дѣйствительной внутренней силы, но потому, что ходомъ исторіи носители его поставлены въ данное время на-верху соціальной лѣстницы. Генераль Думбадзе со своимъ объясненіемъ даетъ намъ только въ болѣе сконцентрированной формѣ главныя черты этого мировоззрѣнія, которое въ болѣе расчлененныхъ формахъ проникаетъ въ самыя разнообразныя сферы нашей общественной жизни. Всюду мы постоянно встрѣчаемъ то же отсутствіе самокритики, позволяющее людямъ такого типа, въ особенности же власть имущимъ, не останавливаться ни передъ какими послѣдствіями своихъ личныхъ порывовъ, ту же первобытную, проклезскую жестокость съ тѣми, кого они считаютъ своими врагами и противниками, пренебреженіе ко всякой законности, даже прямое отри-

паніе всякой объективной мѣрки, ограничивающей ихъ личное вдохновеніе и произвольное его осуществленіе. Эти характерныя черты мы встрѣчаемъ во множествѣ разнообразныхъ фактовъ изъ ежедневной жизни. И онѣ же высказываются въ союзѣ русскаго народа, пріобрѣтшаго за послѣднее время такое вліятельное положеніе, при которомъ его члены могутъ совершать свои самыя необузданныя дѣянія до прямыхъ преступленій вѣлчительно если не всегда вполнѣ безнаказанно, то во всякомъ случаѣ съ гораздо меньшимъ для себя рискомъ, чѣмъ обыкновенныя смертныя. Такое исключительное положеніе, конечно, пріобрѣтено союзомъ только потому, что онъ и его члены, отчасти искренно, отчасти надѣвая на себя соответствующую маску, исповѣдуютъ то же міросозерцаніе, наиболѣе типичнымъ представителемъ котораго является, между прочимъ, генералъ Думбадзе. Вотъ, напр., недавно въ Тверскомъ окружномъ судѣ разбиралось дѣло помѣщиковъ братьевъ Хвостовыхъ, которые обвинялись въ разгромѣ и поджогѣ дома сосѣдняго крестьянина. Обвиненіе было предъявлено по 269 (погромъ) и 1606 (поджогъ) статьямъ Улож., карающимъ каторжной работой отъ 8 до 10 лѣтъ. Судъ присудилъ Хвостовыхъ, признанныхъ виновными въ преступленіяхъ, въ которыхъ они обвинялись, къ арестантскимъ отдѣленіямъ на 1½ года. Но дворяне Хвостовы были членами союза русскаго народа, а одинъ изъ нихъ состоялъ председателемъ тверскаго его отдѣла. Поэтому въ этомъ дѣлѣ уже во время судоговоренія проявились нѣкоторыя своеобразныя особенности. Такъ, защитникъ Хвостовыхъ, Буацель на судѣ заявилъ: «г-нъ председатель! Я выступаю съ поднятымъ забраломъ. Если бы, паче чаянія, приговоръ оказался обвинительнымъ, то о дѣлѣ будетъ доложено высшему правительству». Случается, что судъ оправдываетъ обвиняемаго какъ невиновнаго, а администрація его наказываетъ. Такъ, въ Черниговской губерніи нѣкій Рубанъ, мѣстный торговецъ, оправданный судомъ, былъ освобожденъ изъ заключенія только по настоятельному требованію председателя окружного суда, а вслѣдъ затѣмъ снова посаженъ въ тюрьму и высланъ въ Вологодскую губернію. Бывали также и случаи удаленія со службы людей оправданныхъ судомъ, какъ, наприм., Кушнарѣва, обвинявшагося въ качествѣ члена избирательной комиссіи въ Симферополѣ въ неправильныхъ дѣйствіяхъ во время послѣднихъ выборовъ въ Думу. Судъ его оправдалъ, но противъ него агитировалъ союзъ русскаго народа, и онъ былъ уволенъ въ отставку. Наказанія, налагаемыя безъ суда, непосредственно администраціей, иногда съ указаніемъ за что именно, какъ въ случаяхъ штрафа или ареста за нарушеніе обязательныхъ постановленій, иногда даже безъ указаній определенной вины, какъ ссылки, высылки «за неблагонадежность» сдѣлались совершенно обыденнымъ явленіемъ, такъ что излишне приводить ихъ примѣры. Иногда только обращаетъ на себя вниманіе своеобразность обязательныхъ постановленій, нарушеніе которыхъ наказывается сравнительно довольно тяжело штрафомъ до трехъ тысячъ рублей или

арестомъ до трехъ мѣсяцевъ. Особенность этихъ постановленій та, что они крайне разнообразны въ мѣстностяхъ, подчиненныхъ различнымъ администраціямъ, вполнѣ завися отъ болѣе или менѣе живой и плодотворной фантазіи того или другого администратора. Такая плодотворность проявляется, наприм., въ Одессѣ, гдѣ вышеуказанные аресты и штрафы налагаются и за «ношеніе утвержденныхъ формъ учебныхъ заведеній лицами, не принадлежащими къ ихъ составу, и за дозволеніе родителями своимъ дѣтямъ изъ числа учащихся участвовать въ спектакляхъ, устраиваемыхъ въ общественныхъ залахъ, и за ношеніе преподавательскимъ персоналомъ неформенныхъ фуражекъ, и за исполненіе артистами въ концертахъ при биссированіи пьесъ, не указанныхъ заранее въ прошеніяхъ о разрѣшеніи, не говоря уже о литературныхъ прегрѣшеніяхъ, вродѣ продажи книгъ хотя и не запрещенныхъ формально, но признаваемыхъ вредными администраціей. Если не столь подробныя и разнообразныя, то въ общемъ такого же характера постановленія, сопровождаемыя штрафами и арестами, существуютъ почти во всей Россіи. При этомъ наказанія налагаются по полицейскимъ протоколамъ, никѣмъ не провѣреннымъ, вслѣдствіе чего даже вятскимъ губернаторомъ, конечно, вовсе не склоннымъ дискредитировать дѣятельность администраціи и полиціи, формально было признано, что «бываютъ случаи, что лица, совершенно невинныя въ нарушеніи того или иного постановленія и въ данный моментъ вовсе неприсутствовавшія на мѣстѣ преступленія, вносятся въ протоколъ въ числѣ виновныхъ... Само собой разумѣется» (?) говорится дальше въ томъ же губернаторскомъ циркулярѣ, что «такія лица, наравнѣ съ прочими виновными подвергаются мною административному взысканію, иногда очень строгому, совершенно незаслуженно». Такимъ образомъ высшая мѣстная власть признаетъ у насъ существованіе такого порядка, при которомъ наказаніе невинныхъ «само само разумѣется». Все это дѣлается помимо суда и иногда, какъ мы видѣли, даже вопреки суду. Но бываетъ и такъ, что самый судъ, независимость котораго въ настоящее время сдѣлалась почти совершенно призрачною, испытываетъ давленіе, направляющее его съ пути строгой законности на путь произвола или предвзятой тенденціи. На это не разъ указывалось и въ Государственной Думѣ и въ Государственномъ Совѣтѣ и не только со стороны ихъ лѣвыхъ членовъ, но даже и такихъ, какъ, наприм., гр. Олсуфьевъ, прямо сказавшій, что наши судьи менѣе независимы, чѣмъ земскіе начальники.

Извѣстенъ, наприм., инцидентъ съ г. Касперовичемъ, который нашелъ въ своемъ дѣлѣ письмо предсѣдателя витебскаго окружного суда Губерта, въ которомъ послѣдній пишетъ сенатору Варварину, что хотя поводовъ для протеста нѣтъ, но если онъ найдетъ малѣйшую зацѣпку, пусть возвратитъ дѣло въ витебскій окружный судъ, который при новомъ разбирательствѣ (съ присяжными) «навѣрное вынесетъ обвинительный приговоръ». Иногда тенденціозность, обусловленная различнымъ отношеніемъ суда къ лицамъ

того или иного положенія и направленія выступаетъ въ самыхъ мотивахъ приговора. Наприм., на желѣзно-дорожной станціи въ Аткарскѣ произошелъ такой случай. Мимо станціи проѣзжалъ епископъ Гермогенъ, котораго встрѣтили представители тамошняго отдѣла «союза русскаго народа». Пока онъ говорилъ имъ рѣчь, поѣздъ въ назначенное по расписанію время ушелъ. Тогда одинъ изъ присутствовавшихъ союзниковъ, чиновникъ Глѣбовъ, набросился на начальника станціи и обругалъ его. Составленъ былъ протоколъ и дѣло передано мѣстному судѣ, который, принимая во вниманіе, что начальникъ станціи «отнесся безъ должнаго уваженія къ высокопоставленному лицу» (т.-е. безъ всякаго законнаго основанія не задержалъ поѣздъ), призналъ Глѣбова заслуживающимъ снисхожденія и наложилъ на него штрафъ въ пять рублей. Мораль—служебныя обязанности слѣдуетъ исполнять не иначе, какъ принимая въ соображеніе «высокопоставленныхъ лицъ», — и такая мораль официально высказывается судьей. Гораздо печальнѣе однако фактъ, имѣвшій мѣсто въ Тамбовѣ, въ выѣздной сессіи саратовской судебной палаты. Судилась г-жа Маркина за то, что при обыскѣ у нея были найдены брошюры, признанныя обвинительнымъ актомъ «воспрещенными и изъятыми изъ обращенія». На судебномъ слѣдствіи защитой представлены были документальныя доказательства, что изъ брошюръ, бывшихъ у г-жи Маркиной въ нѣсколькихъ экземплярахъ, однѣ были послѣ ихъ заарестованія освобождены отъ ареста судебной палатой, одна даже разрѣшена была цензурой, а остальные были изъяты изъ продажи только черезъ годъ послѣ отобранія ихъ у г-жи Маркиной. При такихъ обстоятельствахъ прокурору, казалось бы, оставалось отказаться отъ обвиненія, но онъ взглянулъ на дѣло иначе. По его мнѣнію доказательства незапрещенности инкриминированныхъ брошюръ не могутъ имѣть значенія; судъ долженъ рассмотреть самыя брошюры. Но, впрочемъ, и безъ рассмотрѣнія ихъ онъ нашелъ возможнымъ всетаки настаивать на обвиненіи. «Достаточно,—сказалъ онъ,—посмотрѣть только на самыя книжки» (т.-е. очевидно на ихъ заголовки), чтобы «судить о томъ; съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло». И судебная палата согласилась съ такими мотивами и послѣ недолгаго совѣщанія присудила Маркину къ полуторагодному заключенію въ крѣпости, причемъ до представленія залога обвиняемая немедленно же была взята подъ стражу. Подобные факты дѣйствительно заставляютъ поставить вмѣстѣ съ авторомъ статьи въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*, подписанной «Москвичъ», въ самомъ дѣлѣ «страшный вопросъ» о независимости и безпристрастіи нашихъ судовъ, ибо, если такого безпристрастія нѣтъ, если суды дѣлаются у насъ исполнителями желанія правительственной власти, «то что же тогда остается у насъ въ области законности и права?» Къ счастью, такіе факты не представляютъ еще общаго явленія, хотя тенденціозность, проявляемая судами и въ особенностяхъ ихъ предсѣдателями при веденіи политическихъ и вообще сенсационныхъ процессовъ, выступаетъ иногда очень ярко. Все же администра

ція и въ особенности полиція не любятъ имѣть дѣло съ судами и по возможности обходится безъ нихъ, или исправляетъ ихъ приговоры собственными распоряженіями, остающимся внѣ вліянія судебной власти. Къ числу такихъ исправленій принадлежитъ, наприм., назначеніе околоточнымъ надзирателемъ въ Ялту извѣстнаго члена союза русскаго народа Мельникова, будто бы подвергшагося истязаніямъ со стороны революціонеровъ въ какой-то пещерѣ. Во время производства этого дѣла Мельниковъ даже не могъ указать мѣста, гдѣ происходили воображаемыя истязанія, и судъ оправдалъ обвиняемыхъ. Дѣло это имѣло, впрочемъ, и еще эпизодъ: уже послѣ суда на г-жу Ростовскую съ дѣтьми было совершено нападеніе, причѣмъ нападавшіе кричали: «вотъ жиды, мучители Мельникова!» Жалоба г-жи Ростовской вовсе не была передана въ судъ, потому что полиція нашла, что нападавшіе члены союза русскаго народа представляли собою «нарядъ для охраненія порядка». Здѣсь, повидимому, была какъ бы нѣкоторая политическая тенденція, полиція покровительствовала союзу русскаго народа. Но иногда такое покровительство обезпечиваетъ безнаказанность даже просто ворами, конечно, по всей вѣроятности такимъ, которые въ то же время занимаются сыскомъ. Такъ, напримѣръ, въ Кіевѣ въ театрѣ у германскаго подданнаго Крушевскаго былъ вытащенъ кошелекъ съ деньгами. Былъ составленъ протоколъ и по обвиненію въ кражѣ былъ задержанъ ибій Герштейнъ. Черезъ нѣсколько времени Крушевскій былъ вызванъ къ начальнику сыскной части, который (по разсказу *Кіевской Мысли*) предложилъ Крушевскому прекратить дѣло, угрожая въ противномъ случаѣ возбудить противъ него самого преслѣдованіе за клевету, и германскій подданный съелъ болѣе благоразумнымъ согласился. Послѣ этого лицо, «ужасно похожее на Герштейна», но съ подчищеннымъ паспортомъ на имя Попова, совершило еще новое покушеніе на кражу. Вообще дѣятельность кіевской сыскной полиціи получила за послѣднее время такой легендарный характеръ, что разсказы о ея подвигахъ казались бы совершенно невѣроятными, если бы не подтверждались точными и подробными сообщеніями мѣстныхъ газетъ. Кажется, шумъ, поднятый мѣстной печатью, и былъ причиною перемѣщенія начальника сыскаго отдѣленія Асланова на должность станового пристава. Именно по поводу этого Асланова и разсказывались самыя невѣроятныя анекдоты. Въ его управленіи профессиональные воры пользовались полной безопасностью и сыскная полиція старалась не передавать ихъ въ руки правосудія, а напротивъ «всѣ свои ухищренія направляла на то, чтобы освобождать ихъ». Напримѣръ, когда «король воровъ» Ликемайеръ, купившій себѣ, по увѣренію *Кіевлянина*, право безпрепятственно оперировать въ Кіевѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, былъ задержанъ агентами наружной полиціи, то онъ «прежде всего бросился къ телефону и переговорилъ съ Аслановымъ», послѣ чего былъ отправленъ въ сыскное отдѣленіе, а оттуда отпущенъ на свободу. Но кромѣ покровительства ворами были случаи и другого рода воздѣйствія

на обывателя посредством сыскной полиціи; напримѣръ, нѣкій чиновникъ Поповъ, личный другъ Асламова, взявши билетъ сыскаго агента, ворвался съ нимъ къ одной дамѣ, требуя ея любви, и дама лишь хитростью успѣла отъ него избавиться. Еще едва ли не хуже былъ случай преслѣдованія нѣкоего Шленскаго. Какія-то темныя личности потребовали отъ него денегъ и когда онъ отказался заплатить ихъ, то былъ арестованъ на улицѣ безъ всякихъ доказательствъ по высказанному тѣми же лицами обвиненію его будто бы въ убійствѣ. Его отправили въ тюрьму, гдѣ у него отобрали одежду, заковали въ кандалы, потомъ отправили по этапу въ Одессу «для удостовѣренія личности», потребовали обратно и, наконецъ, послѣ мѣсяца мытарствъ освободили. Конечно, никто изъ полицейскихъ властей не былъ привлеченъ къ отвѣтственности, и, разумѣется, всѣ такіе факты только и возможны въ атмосферѣ безотвѣтственного произвола, существующей у насъ повсюду и получившей въ Кіевѣ лишь нѣсколько болѣе яркую окраску и большую гласность. Обвиненія въ вопіющихъ злоупотребленіяхъ были высказаны даже противъ такого высокопоставленнаго представителя полиціи, какъ петербургскій градоначальникъ генералъ Драчевскій. Съ ними выступилъ уполномоченный градоначальникомъ бывший дѣлопроизводитель его г. Жеденева, подавшій въ сенатъ жалобу на генерала Драчевскаго. Исходя изъ такого источника, обвиненія, конечно, не могутъ внушать особеннаго довѣрія, но зато въ освѣдомленности г. Жеденева едва ли можно сомнѣваться; между тѣмъ въ жалобѣ приводятся нѣкоторые совершенно опредѣленные факты. Таковъ, напримѣръ, рассказъ о требованіи отъ старшинъ клубовъ подъ угрозой закрытія послѣднихъ введенія вмѣсто карточной игры, игры въ лото, съ тѣмъ, чтобы машинки для лото покупались непременно у одной фабрики въ Ростовѣ-на-Дону (мѣсто прежней службы генерала Драчевскаго), гдѣ онѣ продавались по 300 р., т.-е. въ четыре раза дороже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Въ жалобѣ утверждается, что всѣ полицейскіе чины петербургскаго градоначальства обложены въ пользу высшихъ чиновъ градоначальства сборами, общая сумма которыхъ доходитъ до 50 тысячъ рублей и которые, разумѣется, восполняются съ излишкомъ сборами съ обывателей. Указываются также и бывшіе будто бы случаи растраты, оставшіеся неразслѣдованными. Опубликованіе этой жалобы вызвало сообщеніе, напечатанное въ *Новомъ Времени*, о томъ, что жалоба представлена въ сенатъ съ указаніемъ законныхъ основаній, по которымъ приказъ градоначальника объ увольненіи Жеденева отнѣтъ не подлежитъ и что градоначальникомъ черезъ прокурора судебной палаты возбуждено противъ Жеденева уголовное преслѣдованіе за ложный доносъ. Сенатъ препроводилъ жалобу на заключеніе министра внутреннѣхъ дѣлъ. Такимъ образомъ, надо надѣяться, что дѣло это получитъ болѣе ясное освѣщеніе. Но любопытно, что ни кіевскія сообщенія, ни жалоба Жеденева не произвели ни въ публикѣ, ни въ газетной литературѣ впечатлѣнія чего-нибудь совершенно незаслуживающаго

довѣрія. Полицейская среда приобрѣла такую репутацію, что въ ней все считается возможнымъ. Между тѣмъ полиція есть, именно, та часть государственнаго механизма, которая всего чаще и всего ближе соприкасается съ повседневной жизнью обывателя, и если послѣдній привыкаетъ видѣть въ ней не постоянную защиту свою отъ всякаго правонарушенія, какой она должна быть по своей идеѣ, а, напротивъ, безответственную силу, вносящую въ ежедневную жизнь произволъ и беззаконіе, то изъ такого положенія вещей, конечно, не можетъ выйти ничего хорошаго. Въ теоріи это сознаетъ и администрація, доказательствомъ чего служить, напримеръ, приказъ нижегородскаго полицеймейстера, въ которомъ высказывается сожалѣніе, что «взаимныя отношенія чиновъ полиціи и обывателей, при замѣтномъ отсутствіи враждебности и недружелюбія, носятъ характеръ какаго-то отчужденія, равнодушія и обоюднаго невниманія другъ къ другу... Подобная разобщенность является крайне нежелательной какъ для той, такъ и для другой стороны и кромѣ вреда для самаго дѣла ничего принести не можетъ». Такимъ образомъ нижегородскій полицеймейстеръ не довольствуется отсутствіемъ враждебности между полиціей и обывателемъ, но желаетъ, такъ сказать, взаимной любви между ними, приобрести которую онъ рекомендуетъ полицейскимъ чинамъ, проявляя большее вниманіе и энергію. Въ сожалѣнію, когда дѣло доходитъ до реальныхъ способовъ осуществленія этого вниманія и энергіи, то г. полицеймейстеръ указываетъ лишь на далеко не новый способъ «физическаго воздѣйствія» на непослушнаго обывателя, способъ, практикуемый давно и постоянно, но во взаимной любви до сихъ поръ не приведшій. Бѣда въ томъ, что дѣйствительно новый способъ установленія хорошихъ отношеній между обывателемъ и полиціей и состоящей въ строгомъ исполненіи закона, одинаково какъ частными лицами, такъ и представителями власти, совершенно выходитъ изъ предѣловъ существующаго строя и совершенно не мирится съ Думбадзевскимъ міросозерцаніемъ. Между тѣмъ, именно, полиція носителями этого міросозерцанія, дающими теперь направленіе нашей государственной и общественной жизни, признается за главную опору существующаго государственнаго строя. Для этого она прежде всего должна быть сильна, а сила въ представленіи ихъ тѣмъ больше и дѣйствительнѣе, чѣмъ она свободнѣе отъ ограниченій закона. Поэтому принципъ самовластиа и распвѣжъ наиболѣе пышно именно въ сферѣ дѣятельности полиціи. Но обращая вниманіе лишь на одну сторону ея дѣятельности, на борьбу съ противоправительственными тенденціями и развязывая ей руки для этой борьбы, не сообразили, или не сочли важнымъ того, что освобожденіе отъ закона и вытекающая изъ него безнаказанность поведетъ къ тому, что полиція, какъ и всякое человеческое учрежденіе, находящееся въ подобныхъ условіяхъ, воспользуется ими не столько въ цѣляхъ правительства, сколько въ своихъ личныхъ выгодахъ. Понимая, что правительство нуждается въ ней и дорожить ею главнымъ образомъ въ цѣ-

ляхъ борьбы съ «красолой», полиція поставила своею главною задачею, именно, эту борьбу, не отказываясь даже отъ созданія путемъ провокаціи красолои и тамъ, гдѣ ея вовсе не было въ дѣйствительности. А подъ покровомъ этой борьбы преслѣдовались и личные цѣли и въ надеждѣ на безнаказанность выростали злоупотребленія и происходила деморализація, а слѣдовательно, и обезсиленіе того самаго учрежденія, въ которомъ правительство видѣло надежнѣйшую опору власти. Деморализація эта проявлялась не въ однихъ злоупотребленіяхъ корыстнаго характера, но и въ полной разнузданности, проявлявшейся въ отношеніяхъ нѣкоторыхъ чиновъ полиціи къ обывателю. На этой почвѣ разыгрывались легендарныя исторіи, напоминавшія о временахъ опричнины. Слободской (Вятской губерніи) исправникъ князь Вяземскій передалъ свои полицейскія полномочія своему сыну, молодому человѣку 18 лѣтъ, даже вовсе не состоявшему на службѣ; молодой князь скоро терроризовалъ все населеніе уѣзднаго города. Взявши съ собою обыкновенно нѣсколько человѣкъ конной и пѣшей стражи, онъ отправлялся ежедневно въ ночной обходъ по домамъ терпимости, гдѣ избивалъ нагайкой посѣтителей и производилъ разные дебоши. Днемъ же, развѣзжая со стражниками, врывается въ пивныя лавки, захватываетъ тамъ содержателей ихъ и ихъ родственниковъ и отправляетъ ихъ въ канцелярію надзирателя, гдѣ они подвергались избіенію. Подвиги его кончились обыскомъ въ квартирѣ одной изъ обывательницъ, которая была арестована, отправлена въ полицейскій участокъ и тамъ изнасилована, что и привело, наконецъ, молодого князя въ камеру судебного слѣдователя и, возможно, приведетъ его и на скамью подсудимыхъ. Относительно отца Вяземскаго, исправника, не слыхать, чтобы онъ подвергся какому-либо преслѣдованію. Не миновалъ суда и наказанія и становой приставъ Виленскаго уѣзда Сулеймановичъ, присужденный судебной палатой къ арестантскимъ ротамъ на три года, но раньше того въ теченіе двухъ лѣтъ производившій обыски, аресты и избіенія арестантовъ до полученія съ нихъ выкупа. Деморализація полиціи выражалась не только въ злоупотребленіяхъ, но и въ грубомъ неуваженіи не только къ правамъ и интересамъ, но и къ личности обывателя. Побой являются почти необходимымъ сопутствіемъ допроса и ареста, а грубое обращеніе и ругательства сопутствіемъ всякаго столкновенія полиціи съ частными лицами. И такое отношеніе проявляется иногда несмотря на обстоятельства, требовавшія, казалось бы, если не большей вѣжливости, то хоть большей осторожности. Извѣстенъ обратившій на себя вниманіе Думы случай съ депутатомъ Федоровымъ, который безъ всякаго повода былъ обруганъ, а потомъ чуть было не заарестованъ жандармомъ на желѣзно-дорожной станціи. Другой депутатъ Годневъ даже былъ арестованъ и отведенъ въ участокъ городовымъ, котораго онъ хотѣлъ удержатъ отъ избіенія прохожаго. Въ Севастополѣ въ засѣданіи окружнаго суда конвойный сталъ бить подсудимаго. Одинъ изъ присяжныхъ засѣдателей Гидалевичъ остановилъ его. Конвойный пожаловался воинскому на-

чалянику, по докладу котораго Гидалевичъ былъ оштрафованъ адмираломъ Виреномъ на 3,000 руб. съ замѣной штрафа трехмѣсячнымъ арестомъ. Такіе случаи, конечно, не могутъ не отражаться на образѣ дѣйствій полицейскихъ и военныхъ чиновъ, и грубость ихъ, несмотря на полицеймейстерскіе циркуляры, продолжаетъ расти. Конечно, безудержность произвола не ограничивается полиціей, но, являясь слѣдствіемъ общаго строя жизни, связаннаго съ извѣстнымъ мировоззрѣніемъ, распространяется и на другія сферы, какъ на власти, такъ даже и на частныхъ лицъ. Игнорированіе законности и склонность къ самоуправству входятъ въ привычку, обращаясь иногда даже противъ самой полиціи. Такіе нравы проникаютъ даже въ такую среду, гдѣ, казалось бы, имъ ужъ совсѣмъ не мѣсто, о чемъ свидѣтельствуется извѣстное происшествіе съ П. Н. Милуковымъ. Изъ разныхъ мѣстностей, изъ Нѣжина, изъ Тирасполя и др. идутъ извѣстія о многочисленныхъ случаяхъ самосуда, не говоря уже объ убійствахъ и покушеніяхъ на убійства, имѣющихъ болѣе или менѣе политическую или партійную окраску. Последнія не прекращаются: по официальнымъ даннымъ съ 1 по 18 апрѣля было убито 14 должностныхъ лицъ, ранено 22, частныхъ лицъ убито 28, ранено 11. Жизнь русскаго обывателя продолжаетъ быть неогражденной и отъ самосуда со стороны частныхъ лицъ и отъ произвола со стороны властей. Иногда, особенно въ условіяхъ деревенской жизни, тотъ и другой сливаются между собою, и личная месть или личная корысть тѣсно сплетаются съ административными распоряженіями и воздѣйствіями. Это беззаконіе на яко бы законномъ основаніи особенно часто проявляется при высылкѣ такъ называемыхъ «порочныхъ» членовъ сельскихъ обществъ, которое, какъ пишутъ преимущественно изъ юго-западнаго края, практикуется тамъ въ особенно широкихъ размѣрахъ. Помимо этого въ Подольской губерніи съ вѣдома начальства организованы особые совѣты, существующіе помимо какаго бы то ни было закона и состоящіе изъ вліятельныхъ и пользующихся покровительствомъ властей мѣстныхъ крестьянъ. Они наблюдаютъ за «благоповеденіемъ» крестьянъ и чинятъ по-своему расправу съ «неспокойными» и вообще незаслужившими ихъ одобренія. Расправа эта, по разсказу *Кіевскихъ Вѣстей*, въ которыхъ приводится и примѣръ изъ села Вербки, иногда состоитъ и въ публичномъ сѣченіи призванныхъ виновными. Объ отжигѣ тѣлеснаго наказанія, конечно, не только жители села Вербки, но, кажется, и всѣ мы давно уже забыли; настолько реальная практика жизни заслонила собою законъ. При такихъ обстоятельствахъ, когда личностью обывателя свободно распоряжаются совершенно внѣзаконныя учрежденія, неудивительно, что цензорами нравовъ дѣлаются такіе «начальники», какъ, наприм., урядникъ Дѣвѣвъ въ селѣ Вершиловѣ, Балахнинскаго уѣзда, издавшій передъ Пасхой циркуляръ такого содержанія: «Въ виду предстоящихъ праздниковъ объявляю жителямъ вершиловской волости, чтобы не было игры на гармоніяхъ и другихъ инструментахъ музыкальныхъ по улицамъ селеній въ особенности въ селахъ кругомъ церквей, а равно кате-

горически запрещаю пѣніе разныхъ нецензурныхъ пѣсень, которыя выдумали сами молодые люди. За неподчиненіе моему требованію, а равно и подлежащихъ сельскихъ властей виновные будутъ подлежать ответственности по суду и въ административномъ порядкѣ, согласно утвержденного Высочайшимъ повелѣніемъ положенія усиленной охраны въ Нижегородской губерніи». Мы нарочно привели in extenso этотъ любопытный документъ, такъ какъ на немъ можно видѣть, какъ одинъ и тотъ же абсолютный тонъ проникаетъ съ верхнихъ ступеней власти до нижнихъ. Прочитавъ его, перестаешь сознавать, гдѣ кончается урядникъ и гдѣ начинается генералъ-губернаторъ, но ясно чувствуешь проходящее отъ одного до другого одинаковое пониманіе значенія власти и ея отношеній къ подвластнымъ ей. Всякая власть, какая бы она ни была, большая или малая, и къ какому бы вѣдомству она ни принадлежала, прежде всего сознаетъ то, что она есть власть, начальство, сущность котораго состоитъ въ томъ, чтобы распоряжаться обывателями по своему усмотрѣнію, казнить его или миловать, и дѣлать надъ нимъ всякіе воспитательные эксперименты. Меньше всего ее интересуетъ установленная для нея закономъ компетенція. Поэтому совершенно возможны такія явленія, какъ сообщенное харьковской газетой *Утро* распоряженіе чиновника государственнаго контроля юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ о задержаніи на станціи Бирзула газетъ, перевозившихся въ багажномъ вагонѣ пассажирскаго поѣзда. Сводящаяся къ безграничности неопредѣленности полномочій власти приводитъ иногда, особенно въ области запрещеній, къ очень страннымъ распоряженіямъ, для которыхъ трудно пріискать какіе-нибудь мотивы, кромѣ широкой фантазіи запрещающихъ администраторовъ. Наприм., въ газетахъ было такого рода извѣстіе: въ области воздухоплаванія были въ послѣднее время сдѣланы серьезныя изобрѣтенія г. Татариновымъ. Казалось бы работы г. Татарина заслуживали только содѣйствія и поощренія и даже съ самой узко-правительственной точки зрѣнія должны бы возбудить вниманіе и сочувствіе, такъ какъ воздухоплаванію предстоитъ, вѣроятно, въ ближайшемъ будущемъ играть важную роль въ военномъ дѣлѣ. Оказывается однако, какъ передала *Речь*, что эти работы встрѣтили неожиданное препятствіе со стороны администраціи, и Татаринѣ было воспрещено производить опыты и постройку аэромобилия въ предѣлахъ петербургской губерніи. Начатыя работы пришлось пріостановить, тѣмъ болѣе, что по ходу ихъ требуется близость крупнаго центра. Обыкновенно предполагается, что вся безграничная масса всякаго рода запрещеній вызвана борьбой съ революціей и желаніемъ предупредить коварные замыслы революціонеровъ, но произволь, зародившійся и укрупнившійся въ одной области, естественно перешелъ изъ нея и въ другія, и запрещенію подвергаются нерѣдко вещи, не имѣющія никакого самаго отдаленнаго касательства къ революціи. Въ самое безобидное частное собраніе, какой-нибудь домашній спектакль и т. п., можетъ явиться полиція и разогнать мирныхъ обывателей. И это нивого не удивляетъ.

Недавно такой фактъ произошел въ Хабаровскѣ съ китайцами. Во время представленія въ китайскомъ театрѣ, разрѣшеннаго русскими властями, въ театрѣ явился околоточный надзиратель съ солдатами и арестовалъ всѣхъ зрителей, въ числѣ около 200 человекъ, между которыми было много именитыхъ китайскихъ купцовъ. Затѣмъ арестованныхъ отправили въ русскій арестный домъ и подъ предлогомъ ихъ безпаспортности держали тамъ въ тѣсномъ помѣщеніи, безъ пищи, несмотря на ходатайство представителей китайской колоніи передъ хабаровскимъ полицеймейстеромъ. Возмущенные китайцы прислали телеграмму китайскому послу въ Петербургъ съ просьбой принести жалобу на дѣйствія хабаровскихъ властей и ходатайствовать объ освобожденіи заключенныхъ. Какая была дальнѣйшая судьба этой жалобы, намъ неизвѣстно. Если бы рѣчь шла объ англичанахъ или американцахъ, то подобныя дѣйствія могли бы повести къ серьезнымъ дипломатическимъ осложненіямъ, во избѣжаніе которыхъ, вѣроятно, были бы немедленно приняты какія-нибудь мѣры, какъ это было, напр., по поводу потворства Одесской администраціи безчинствамъ дружинъ союза русскаго народа, вызвавшаго заявленіе англійскаго посланника. Но съ китайцами не принято церемониться, хотя казалось бы болѣе чѣмъ неблагоприятно было возстановлять противъ себя общественное мнѣніе народа, конечно, предназначеннаго, и можетъ быть въ недалекомъ будущемъ, играть очень важную роль въ вопросѣ о нашей дальне-восточной окраинѣ, изъ-за сохраненія которой мы, повидимому, готовы на всякія жертвы. Но всѣ эти соображенія не въ силахъ измѣнить того образа мыслей и дѣйствій, который вошелъ въ плоть и кровь нашихъ властей. Привычка всякаго представителя власти считать себя свободнымъ отъ закона естественно проявляется всего рельефнѣе въ тѣхъ случаяхъ, когда требованіе закона обращено къ нему самому и затрагиваетъ его личные интересы. Характернымъ примѣромъ такого отношенія къ требованіямъ закона и его исполнителей можетъ быть, кромѣ вышеприведеннаго случая съ генераломъ Гурко, инцидентъ съ бывшимъ вятскимъ вице-губернаторомъ графомъ Комаровскимъ. Когда къ нему явились для взысканія съ него по исполнительному листу присяжный повѣренный Н. и судебный приставъ, то онъ сталъ кричать на нихъ и угрожалъ выслать въ 24 часа присяжнаго повѣреннаго изъ города. «Если вы сейчасъ не уберетесь, я вызову полицію и будетъ худо». По требованію графа Комаровскаго Н. пошелъ за полученіемъ денегъ къ его повѣренному, но денегъ отъ него не получилъ, а по возвращеніи не былъ впущенъ въ домъ стоявшими у дверей вооруженными стражниками. Вице-губернаторъ ругалъ судебного пристава и закричалъ городовымъ, «взять ихъ», что не было исполнено лишь потому, что судебный приставъ, указавъ на свой знакъ и исполнительный листъ, заявилъ, что онъ находится здѣсь «по указу Его Императорскаго Величества». Дѣло это разбиралось впоследствии въ судѣ, который присудилъ графа Комаровскаго за оскорбленіе судебного пристава къ штрафу въ 75 рублей. Можно, по-

жалуй, сказать, что мы слишком долго останавливаемся на мелких и неважных случаях. Мы думаем однако, что во всех таких фактах ярко просвѣчивает тяжелый, скорбный процесс внутреннего разложенія, который происходит въ настоящее время въ русском обществѣ и который въ особенности характеризуется все большимъ установленіемъ и развитіемъ того взгляда на отношенія между управляющею властью и управляемыми, за типическаго представителя котораго мы взяли генерала Думбадзе. Не повторяя высказанныхъ уже нами по этому поводу обобщеній, мы укажемъ теперь еще на одну сторону созданнаго такимъ образомъ порядка—это его безсиліе въ дѣлѣ какого бы то ни было практическаго творчества. Нерѣдко указываютъ на то, что дурныя стороны самовластия будто бы компенсируются той энергіей, которая не связана никакими ограниченіями. Какъ наприм., указываютъ на Петра Великаго. Конечно, говорить, онъ былъ деспотъ и беспощадно ломалъ все встрѣчавшееся ему на его пути, не останавливаясь ни передъ какими соображеніями правового или моральнаго характера, ни даже передъ гибелью сотенъ тысячъ людей; но зато, именно дѣйствуя такимъ образомъ, онъ и создалъ ту могущественную Россію, которая съ его времени заняла почетное мѣсто въ сонмѣ европейскихъ государствъ. Но, не входя въ разборъ правильности такого сужденія о Петрѣ, нельзя не замѣтить, что его взглядъ на государственную дѣятельность и его образъ дѣйствій имѣлъ мало общаго съ тѣмъ образомъ мыслей и дѣйствій, о которомъ мы говорили выше. Разница эта выразилась и въ разницѣ результатовъ. Если Петръ, цѣною, можетъ быть, истощенія силъ народа, создалъ изъ ничего элементы внѣшняго государственнаго могущества, флотъ и регулярную армію, побѣдившую при Полтавѣ, то мы, доведя народъ тоже до истощенія, уничтожили свой флотъ и деморализовали армію. Припомнимъ также отношеніе Петра къ просвѣщенію народа и теперешнее отношеніе къ нему хотя бы нашего министерства народнаго просвѣщенія. Во всякомъ случаѣ замѣчательно то, что господство нынѣшняго направленія, отъ котораго ожидаютъ неудержимой энергіи, какъ разъ совпадаетъ съ отсутствіемъ какъ энергіи, такъ и пракческаго умѣнья при постановкѣ всякаго административнаго или хозяйственнаго дѣла, въ которомъ по преимуществу требуются эти качества. Таковы, напр., продовольственное и переселенческое дѣло. Ни въ томъ, ни въ другомъ нѣтъ ничего тенденціознаго, ничего такого партійнаго, что бы могло мѣшать простой практической постановкѣ ихъ и хозяйственному ихъ веденію, а между тѣмъ въ томъ и другомъ царствуетъ неурядица, несмотря на то, что въ цѣломъ рядѣ мѣстностей ожидается неурожай и можетъ очень скоро потребоваться продовольственная помощь. Тревожныя извѣстія объ урожаѣ озимыхъ хлѣбовъ получены изъ очень многихъ мѣстъ. Изъ сѣверныхъ уѣздовъ Воронежской губерніи сообщали гибели массы озимыхъ посѣвовъ вслѣдствіе неблагоприятной сухой осени. Тысячи десятинъ были перепажаны подъ яровое. О полной гибели озимыхъ посѣвовъ были также извѣстія изъ Лубенскаго уѣзда, Полтавской губерніи.

и Новомосковского Екатеринославской. Плохи озимыя и въ значительной части Киевской губерніи, а также въ Тираспольскомъ уѣздѣ, Херсонской. Такимъ образомъ неурожаю подверглась значительная часть Малороссіи. Но тревожные слухи идутъ изъ другихъ мѣстъ, напримѣръ, изъ Аткарска (Саратовской губерніи), гдѣ погибло озимыхъ до 7,000 десятинъ, изъ Вятской губерніи, въ которой погибшихъ и неудовлетворительныхъ озимейъ свыше 50%. Въ Ростовѣ-на-Дону появился жукъ-кузька, для борьбы съ которымъ созываются экстренныя совѣщанія. Но всѣ эти экстренныя совѣщанія обыкновенно не ведутъ ни къ чему, когда нѣтъ заранѣе подготовленной организаціи, а ея нѣтъ нигдѣ. Въ Мценскомъ уѣздѣ, Орловской губерніи, гдѣ состояніе озимейъ тоже очень плохо, крестьяне все ждали поправки ихъ и медлили съ перепашкой. Когда же выяснилось, что на поправку не остается надежды и всталъ вопросъ, чѣмъ пересѣвать, гдѣ взять сѣмена, то оказалась полная неорганизованность и безпомощность. Пока составлялись и повѣрялись приговоры, прошло время посѣва. Иногда мѣстные условія и порядки оказываются таковы, что никакая помощь дѣлается невозможной. Такъ съ легкимъ сердцемъ рѣшаютъ и мѣстныя власти; такъ въ Атбагарскомъ уѣздѣ, Акмолинской области сѣздъ крестьянскихъ начальниковъ, обсудивъ просьбу о продовольственной нуждѣ новоселовъ въ этомъ уѣздѣ, нашелъ, что «заболѣванійъ съ характерными признаками цыги въ уѣздѣ нигдѣ пока нѣтъ», а потому заключилъ, что и въ экстренныхъ продовольственныхъ мѣрахъ нѣтъ надобности. Да притомъ, расудилъ сѣздъ, получать хлѣбъ изъ акмолинскаго склада невозможно вслѣдствіе затруднительности его доставки. Въ Тирасполѣ закупленная кукуруза оказалась загнившей и негодной ни для пищи, ни для посѣва. Закупка тамъ велась мѣстной администраціей. Но не лучше велось дѣло во многихъ мѣстахъ и тамъ, гдѣ въ немъ принимало непосредственное участіе нынѣшнее земство. Какъ наиболее яркій примѣръ злоупотребленій въ продовольственномъ дѣлѣ при участіи въ немъ земства можно указать на извѣстную Казанскую исторію съ Казембекомъ, ликвидація которой произошла недавно. Какъ извѣстно, по этому дѣлу председатель земской управы и два ея члена были преданы суду; затѣмъ вновь избранная управа была не утверждена и устранена, а на новыхъ выборахъ председатель вовсе не былъ избранъ и управа оказалась въ составѣ только двухъ членовъ. Такимъ образомъ злоупотребленія и безпорядки въ продовольственномъ дѣлѣ повели къ нарушенію всего строя тамошнихъ земскихъ учреждений. Недавно произошла также и ликвидація самарскихъ продовольственныхъ растратъ. Одна изъ нихъ въ 20,000 р., совершенная податнымъ инспекторомъ Груббе, была покрыта его самоубійствомъ. Другая теперь только попадаетъ въ судъ: сущность послѣдняго дѣла состоитъ въ томъ, что прошлою осенью губернское собраніе ассигновало на продовольственныя нужды Николаевскаго уѣзда 35 тысячъ рублей. Деньги были получены председателемъ николаевской управы Акимовымъ, который вскорѣ

послѣ того неизвѣстно куда уѣхать, не сдавши денегъ, и только недавно могъ быть отысканъ, и дѣло перешло къ судебному слѣдователю. Таковы дѣла и таковы дѣятели по продовольствію. Большой безпорядокъ царить также и въ переселенческомъ дѣлѣ, получившемъ въ послѣднее время очень большое значеніе вслѣдствіе стихійно все болѣе развивающагося стремленія къ переселенію. И такъ во всѣхъ дѣлахъ: съ одной стороны произволъ, съ другой—неспособность. Ясно, къ чему это можетъ привести, если дѣла пойдутъ такъ же и дальше.

В. Линдъ.

Большевицкіе „дурачки“ и умники.

О вѣяніяхъ времени. Ю. А. Адамовичъ, Вл. Ильинъ, Ю. Каменевъ, М. Новоселовъ, П. Орловскій, М. Покровскій, В. Поповъ, С. Петровъ, Н. Рожковъ и Г. Цыперовичъ. Спб., 1908 г.

I.

Заглавіе моей статьи принадлежитъ не мнѣ. Оно—плагиатъ и заимствовано мною изъ того самаго большевицкаго сборника «О вѣяніяхъ времени», которому посвящена настоящая статья. На стр. 212—213 г. Каменевъ называетъ сотрудниковъ покойнаго *Товарища* «демократическими дурачками». Думаю, что если такихъ людей, какъ г. Пропоповичъ, г-жа Кускова, Рыгачевъ, Водозовъ и др., имѣющихъ несомнѣнныя заслуги передъ русскимъ обществомъ, дозволятельно называть «дурачками», то большевики не могутъ обижаться, если этотъ терминъ примѣняется къ нимъ самимъ. Тѣмъ болѣе, что я старался соблюсти справедливость и отъ «дурачковъ» отдѣлилъ «умниковъ», такихъ, какъ М. Покровскій, Вл. Ильинъ (Ленинъ), Рожковъ. Долженъ вообще оговориться разъ навсегда: если читатель встрѣтитъ въ моей статьѣ какое-либо рѣзкое слово, пусть онъ знаетъ, что оно только слабое отраженіе тѣхъ сильныхъ словъ, которыми переполненъ сборникъ. При всемъ желаніи, я не могъ подняться до полемической высоты большевицкаго жаргона. Что дѣлать! «Рожденный ползати, летати не можетъ!»

Я позволю себѣ обратить вниманіе читателей на этотъ большевицкій сборникъ. Его стоитъ прочесть. Правда, онъ изданъ очень неряшливо, а написанъ еще неряшливѣе. Наприм., въ одной изъ наиболѣе серьезныхъ статей вы можете наткнуться на такое мѣсто: «Одно изъ двухъ: либо объединеніе кооперативныхъ служащихъ и рабочихъ имѣетъ въ виду какія-либо другія цѣли, а не защиту интересовъ ихъ труда—тогда имъ не нужно никакого профессиональнаго объединенія» Гдѣ тутъ «одно» и гдѣ «два», изъ которыхъ оно выбрано, такъ и остается неизвѣстнымъ. Другой авторъ сборника Веніаминъ Поповъ, типичный представитель «дурачковъ», даритъ читателя еще болѣе яркими перлами. «Мы ищущіе и разбивающіеся въ поискахъ» (стр. 39)—характеризуетъ онъ себя. Этотъ

«разбивающийся въ поискахъ» писатель взялъ темой для своей статьи Арцыбашевского «Санина». Санинъ, по мнѣнію «разбивающагося въ поискахъ» большевика—«встрѣченъ большимъ шумомъ—доброжелательствомъ и похвалами однихъ, и ожесточенными нападками не менѣе (?) многихъ» (стр. 39). Въ санинской душѣ, по мнѣнію критика, «поско, весело и пустынно» (стр. 46), а самъ Арцыбашевъ «одинъ изъ застрѣльщиковъ, хотя и самый ловкій... мутной волны самоновѣйшей поэзіи и прозы съ боевымъ кличемъ: назадъ, къ звѣрю» (стр. 48). Въ романѣ вездѣ и «неизмѣнно видна рука автора, которая подталкиваетъ ихъ (персонажи) вкривъ и вкось» (стр. 40). И вотъ этотъ поразительно безграмотный Веніаминъ Поповъ, который пишетъ «не угрызайтесь!» (стр. 47, онъ хотѣлъ, очевидно, сказать: не мучьтесь угрызениями совѣсти), рѣшается судить о литературѣ, дѣйствительно «вкривъ и вкось», хвалить однихъ, порицать другихъ, упрекаетъ Арцыбашева за то, что его «романъ сляпанъ грубо и неряшливо» (стр. 49).

Сборникъ «О вѣяніяхъ времени» поражаетъ своей развязностью, доходящей до наглости, и лживостью, сознательной и явной, почти соперничающей съ нововременской. Характерно, что сборникъ направленъ почти исключительно противъ кадетовъ и вообще «буржуазныхъ либераловъ». Торжествующая реакція какъ бы совершенно исчезла изъ поля зрѣнія авторовъ сборника, и главными врагами «революціи», добывающейся народнаго освобожденія, въ глазахъ большевиковъ являются Милюковъ, Струве, Изгоевъ, Бердяевъ и сотрудники покойнаго *Товарища*. Феодално-дворянской реакціи посвящена всего только одна курьезная статья, о которой поговоримъ особо. На одну доску со «Струве, Изгоевымъ и Бердяевымъ» поставленъ и Леонидъ Андреевъ, занимающійся «мародерствомъ» на полѣ битвы: онъ обворовываетъ трупы революціонеровъ. И если, несмотря на всѣ эти художества авторовъ сборника, я рѣшаюсь усиленно рекомендовать его вниманію читателей, то объясняется это тѣмъ, что, какъ правильно замѣчаетъ одинъ изъ «умниковъ», талантливый памфлетистъ г. Покровскій, бываютъ «произведенія, которыя, будя мысль читателя, съ неотразимой силой влекутъ ее къ выводамъ, какъ разъ противоположнымъ тѣмъ, къ какимъ хотѣлъ ее привести авторъ». «Нельзя придумать лучшаго орудія для разрушенія предрасудковъ»—и съ этими словами г. Покровскаго мы вполне согласны, относя ихъ всецѣло къ сборнику, въ которомъ онъ принялъ видное участіе и который является черезчуръ даже яркой иллюстраціей вырожденія «большевицкой» мысли. А какъ мы увидимъ ниже, по мнѣнію авторовъ сборника большевицкая мысль въ данномъ случаѣ тождественна съ «революціонной», конечно, какъ они понимаютъ.

II.

Тотъ самый Веніаминъ Поповъ, выдержки изъ статьи котораго мы привели выше, высказываетъ, между прочимъ, и такую мысль: «Дивна

вещь эта—дѣльность человѣческой души; еще на зарѣ человечества отбѣнили ее люди и великая античная культура сформулировала ее устами Христа: будьте, какъ дѣти». Здѣсь, что ни слово, то перлъ невѣжества и развязной хлестаковщины и представленіе о Христѣ, формулирующемъ понятіа «великой античной культуры» должно было, вѣроятно, очень поправиться «историку» Покровскому.

Вотъ это-то сотрудничество людей простодушно-невѣжественныхъ, дѣтски-развязныхъ—«не угрызающихся», какъ говорить одинъ изъ нихъ,—съ людьми совсѣмъ иного типа, далеко не простодушными и не невѣжественными, какъ, наприм., Покровскій, Рожковъ, Ильинъ (Ленинъ)—и составляетъ первую характерную особенность большевистскаго сборника. Вѣдь этотъ сборникъ—вовсе не случайное собраніе случайныхъ статей. Онъ имѣлъ свою «редакцію» и слѣдъ ея остался въ томъ, что одна изъ немногихъ дѣльныхъ статей въ сборникѣ (пожалуй, единственная) напечатана съ примѣчаніемъ «отъ редакціи», послѣдившей заявить, что она не раздѣляетъ «всѣхъ соображеній» г. Георгія Ерма. Между «дурачками» и «умниками» нашлась, значить, какая-то связь, которая облегчила имъ совмѣстную работу.

Выходки «дурачковъ», сами по себѣ смѣшныя и безвредныя, отбѣняются выходками «умниковъ» и приобретаютъ значеніе характерное для извѣстнаго направленія нашей общественной мысли, и по сіе время довольно вліятельнаго среди нашей молодежи. На этихъ «выходахъ» стоитъ поэтому остановиться подольше.

III.

Сначала о «дурачкахъ».

Единственная статья, посвященная «феодалному дворянству» принадлежитъ перу г. Орловскаго, того самаго, который открылъ новый видъ «интеллигенціи беллетристической» (стр. 4), а въ Леонидѣ Андреевѣ усмотрѣлъ мародера, отравляющаго воздухъ міазмами тлѣнія (стр. 17). Эта характеристика взята, вѣроятно, на прокатъ изъ буренинскаго фельетона. Статья г. Орловскаго озаглавлена «Потомки Митрофана Простакова» и обосновываетъ мысль, которой нельзя отказать въ оригинальности. Г. Столыпинъ утверждаетъ, что «дворянство—исконный носитель культуры на Руси». «Такъ же говорить—по словамъ г. Орловскаго—и представитель народной свободы депутатъ 1-й Думы господинъ Бородинъ «Государственная Дума въ цифрахъ. Спб., 1906 г.» (Сборникъ, стр. 167). На какой страницѣ говорить это «господинъ Бородинъ»—товарищъ Орловскій не указываетъ—да и понятно, такъ какъ «товарищъ», грубо выражаясь, вретъ, а «господинъ Бородинъ» устанавливаетъ только безспорный фактъ, что въ первой Думѣ по образовательному цензу депутаты-дворяне стояли на первомъ мѣстѣ. Ничего удивительнаго въ этомъ, конечно, нѣтъ. Невинная ложь нужна г. Орловскому только для болѣе эффектнаго выраженія своей мысли, что россій-

свое дворянство—слабо не только насчетъ культуры, но даже насчетъ «грамотности, простой элементарной грамотности вплоть до умѣнья расписаться въ полученіи казенной субсидіи» (стр. 168). Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько страницъ, состоящихъ изъ цифровыхъ выкладокъ и необыкновенно радикальныхъ филиппикъ противъ «носителя культуры» и въ заключеніе выводъ: «благородное сословіе, оказывается, состоитъ на половину изъ недоучковъ, (?недоучекъ?) и на четверть изъ людей совершенно неграмотныхъ». Соотвѣтственно такому выводу авторъ раздражается и гражданскимъ негодованіемъ. «Неудивительно,—гремятъ г. Орловскій,—что это благородное сословіе такъ крѣпко держится за старый порядокъ, идейной основой котораго всегда являлось всеобщее, равное, но совершенно явное невѣжество. Неудивительно, что и правительственная власть, съ своей стороны, хохлитъ и лелѣетъ этихъ привилегированныхъ дикарей, ибо въ нихъ однихъ видятъ оно социальную силу, способную еще кое-какъ поддержать его шатающееся благополучіе... Можно ли послѣ этого удивляться,—иронизируетъ г. Орловскій,—что на всѣ запросы общественной жизни изъ рядовъ этого сословія раздается только нечленораздѣльное мычанье, напоминающее, правда, скотный дворъ, но мало говорящее о русской культурѣ».

Все это читатель найдетъ на стр. 173. Причины нашей реакціи найдены социаль-демократомъ-большевикомъ. Онѣ сводятся къ безграмотности дворянства, четвертая часть котораго не способна даже «расписаться въ полученіи казенной субсидіи». Правительственная власть въ этихъ именно безграмотныхъ дворянахъ «видитъ силу, способную и проч.», а сами эти «привилегированные дикари» на всѣ запросы общественной жизни отвѣчаютъ только «мычаніемъ»...

И вѣдь фактически г. Орловскій совершенно правъ: четвертая часть російскаго дворянства не умѣетъ читать и писать, только о распискахъ въ полученіи казенной субсидіи имъ заботиться не надо, такъ какъ субсидій имъ никто не даетъ. Г. Орловскій можетъ успокоиться: о неграмотныхъ дворянахъ наше правительство нисколько не заботится, и эти дворяне такъ же въ потѣ лица обрабатываютъ свои жалкіе земельные участки, какъ и рядовые крестьяне, отъ которыхъ они ничѣмъ не отличаются. А надъ безграмотностью крестьянъ, тоже нерѣдко не умѣющихъ расписаться въ полученіи казенной продовольственной ссуды, не станеть, надо думать, издѣваться и г. Орловскій, а впрочемъ, Богъ его знаетъ! Есть и еще одинъ источникъ, откуда берутся безграмотные дворяне: кавказскіе инородцы доставляютъ очень много нищихъ князьковъ и дворянъ, по своему достатку и образованію мало чѣмъ отличающихся отъ нашего темнаго и бѣднаго мѣщанства. Въ порывѣ гражданского негодованія на безграмотныхъ дворянъ г. Орловскій забылъ даже основное положеніе своей программы, справедливо полагающей, что въ современномъ обществѣ образованіе становится привилегіей состоятельныхъ классовъ. Г. Орловскій напрасно без-

покоится: правительство заботится только о грамотныхъ дворянахъ и только такимъ приходится давать расписки въ получении субсидій *)...

Вся эта «революціонная» выходка г. Орловскаго ничего, конечно, кромѣ веселаго смѣха, вызвать не можетъ. Этотъ же самый г. Орловскій въ своей третьей статьѣ (о «Коммунистическомъ манифестѣ»), желая дать понятіе о глубокомыслии Маркса и Энгельса, пишетъ:

«Съ рѣдкой ясностью и образностью удалось авторамъ нарисовать грандіозную картину единства историческаго процесса, въ которомъ все: и смѣлый порывъ философской мысли, и грубая повседневная борьба изъ-за куска хлѣба, и сухое творчество правовыхъ нормъ, и художественная фантазія—являются составными частями *какого-то величественнаго цѣлаго*, сложными производными одной какой-то величины. *Это цѣлое—сама жизнь общества въ ея безконечномъ разнообразіи*» (стр. 57). Отдѣльныя проявленія жизни (порывъ философской мысли, повседневная борьба и т. д.) являются составными частями самой жизни. Вотъ какую глубокую мысль усмотрѣлъ г. Орловскій у Маркса и Энгельса! Нечего сказать, похвалилъ!

Съ г. Орловскаго требовать, конечно, нечего. Онъ одинъ изъ «дурачковъ», и ему надо только, чтобы выходило здорово, хлестко, «р-р-революціонно», какъ писалъ Плехановъ, заимствуя этотъ полемическій оборотъ у французовъ. Г. Орловскій, вѣроятно, знаетъ своихъ читателей и вѣрить, что если имъ «поднести горячо», то они всякую глупость скушаютъ и еще попросятъ. И то, что гг. Покровскій и Рожковъ, вкусившіе плодовъ «буржуазной науки», и г. Ильинъ, числящійся во главѣ политической партіи, печатаютъ свои статьи рядомъ съ упражненіями Веніамина Попова, Орловскаго, Каменева и др., что «редакція» сборника печатаетъ статьи г. Орловскаго даже безъ оговорки, что она «не раздѣляетъ всѣхъ соображеній, въ ней развитыхъ»—все это лишь подтверждаетъ предположеніе о существованіи среди нашей молодежи и такихъ юношей, для которыхъ и статьи г. Орловскаго являются умственной пищей. Когда «умники» дадутъ «дурачкамъ» волю, они преслѣдуютъ, очевидно, опредѣленную цѣль.

IV.

Сергѣй Петровъ, которому выпало на долю писать о «максималистахъ»,—человѣкъ суровый, но не справедливый. Надо, правда, войти и въ его положеніе. Съ одной стороны, «максимализмъ въ короткое время приобрѣлъ прочныя симпатіи среди нѣкоторыхъ группъ *революціонной рабочей молодежи*» (стр. 139), съ другой стороны, «соціалъ-демократическое міровоззрѣніе» должно признать «вліяніе максималистскихъ идей не соответствующимъ интересамъ пролетариата» (стр. 140). Чтобы выйти изъ не-

*) Въ качествѣ образчика дворянской «безграмотности» г. Орловскій цитируетъ извѣстную обложку гр. В. А. Бобринскаго, сказавшаго во 2-й Думѣ вмѣсто «Санъ-Франциско»—«Франъ-Сосиско». По одному этому можно судить, на читателей какого возраста рассчитанъ сборникъ...

удобнаго положенія, не обидѣвши ни «революціонной рабочей молодежи», ни «соціалъ-демократическаго міровоззрѣнія», есть одинъ способъ: обрушиться на кадетовъ. Сергѣй Петровъ такъ и поступаетъ. «Мы не будемъ,— заявляетъ онъ не безъ гордости,—путемъ подбора агентскихъ телеграммъ и хроникерскихъ замѣтокъ доказывать, что максималисты являются простыми убійцами, грабителями, мародерами революціи—этими пусть занимаются гг. Струве, Меньшиковы, Изгоевы, Булацели, прокуроры судебныхъ палатъ» (стр. 139—140). Можете себѣ, конечно, представить, какъ кольнули меня прямо въ сердце язвительныя сопоставленія г. Сергѣя Петрова! Отчаянію моему не было бы предѣловъ, если бы, дочитавъ статью о максималистахъ до конца, я не убѣдился, что послѣ имени Булацеля, передъ прокурорами, слѣдуетъ поставить имя Сергѣя Петрова. А въ такой компаніи и мнѣ побывать местно. На стр. 165 г. Сергѣй Петровъ говоритъ: «Когда максималисты, подражая въ мелочахъ своимъ «героямъ», превращаютъ партизанскую войну въ *грабежи, мародерство по лавкамъ* и т. п., соціалъ-демократы должны *энергичнѣйшимъ образомъ* бороться противъ отождествленія подобнаго рода подвиговъ съ революціонной борьбой. Ибо подобныя дѣйствія *компрометируютъ революцію, деморализуютъ революціонную армію, укрепляютъ положеніе реакціи*». Вотъ тебѣ и на! А давно ли Сергѣй Петровъ меня за такія же слова лишилъ имени честна! Правда, заботясь о своей репутаціи, онъ спѣшитъ прибавить: «революціонная соціалъ-демократія сама не отказывается отъ методовъ партизанской борьбы»... Однако «кулакъ—вещь хорошая, но нужно, чтобы и въ головѣ было ясно». Эта любовь къ «кулаку» и ставитъ г. Сергѣя Петрова гораздо ближе къ г. Булацелю, чѣмъ къ «Струве и Изгоеву», на что послѣдніе, конечно, въ претензіи не будутъ...

Такъ полемизируетъ г. Сергѣй Петровъ, но и одинъ изъ видныхъ «умниковъ» г. Рожковъ не далеко ушелъ отъ него. Говоря о соціалъ-демократической фракціи въ 3-й Думѣ и желая ее одновременно и похвалить и пожурить за недостаточную «революціонность», г. Рожковъ не нашелъ другого пути, какъ наброситься на кадетовъ: и законопроекты ихъ «фигтивно-оппозиционны», и рѣчи кадетскихъ ораторовъ «блѣдное и жалкое бормотанье» (стр. 67). Гдѣ кадетамъ до принципиальныхъ, серьезно-обоснованныхъ, прекрасныхъ, сильныхъ, смѣлыхъ рѣчей соціалъ-демократовъ! «Г. Гучковъ,—пишетъ г. Рожковъ—былъ правъ, клеймя кадетовъ за то, что они помѣстились на запяткахъ революціонной колесницы, имѣя въ виду пробраться къ власти... Отсутствіе критики кадетской позиціи въ данномъ отношеніи и составляетъ ошибку с.-д. фракціи» (стр. 71). Мы не будемъ останавливаться на тактической близорукости г. Рожкова, совѣтующаго своей фракціи пойти на полемическую удочку, закинутую г. Гучковымъ. При теперешнемъ общемъ положеніи дѣлъ и довольно таки жалкомъ состояніи соціалъ-демократической фракціи, толкнуть ее на сраженіе съ кадетами, значить поистинѣ оказать ей медвѣжью услугу. Мы не говоримъ о Россіи, ибо это понятіе—виѣ поля зрѣнія г. Рожкова. Что же

касается «бормотанья», то г. Рожкову можно только напомнить, что въ отвѣтъ на такое же точно выраженіе Пуришкевича о Родичевѣ предсѣдательствовавшій въ Думѣ баронъ Мейендорфъ отвѣтилъ: «во всякомъ случаѣ онъ «бормоталъ» не хуже васъ». Во всякомъ случаѣ Родичевъ, Милуковъ, Маклаковъ, Шингаревъ и др. говорили не хуже Чхеидзе, Гегечкори и Покровскаго...

У.

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о Ю. Каменевѣ и затѣмъ мы перейдемъ къ «умникамъ».

Обязанность Каменева освѣщать современные событія съ точки зрѣнія «историческаго матеріализма» и бороться съ «кадетской идеалистической челядью» (стр. 199; кстати *Русское Знамя* послѣ рѣчи А. И. Гучкова о совѣтѣ государственной обороны объявило войну «октябристской челяди» — даже жаргонъ у нихъ общій!) «Въ статьѣ г. Струве російскій либерализмъ раскрылъ свою истинную подоплеку: изъ-подъ либеральныхъ политическихъ формулъ и схемъ выступили чисто-экономическіе интересы капитала» (стр. 206). Г. Струве — «идеологъ крупнаго капитала». Прекрасно. Подоплека русскаго либерализма найдена: это капиталъ. Но десятью строками ниже вся эта ясность исчезаетъ: оказывается есть «русскій капиталъ, какъ либеральный, такъ и консервативный». Согласитесь, это открытіе стоитъ «беллетристической интеллигенціи» Орловскаго. Но какъ же быть, г. Каменевъ, какой — либеральный или консервативный капиталъ является «подоплекой русскаго либерализма?» Не мѣшало бы тутъ же мимоходомъ разъяснить, какъ отличить капиталъ консервативный отъ либеральнаго. А то бросаютъ люди «новыя слова», а смыслъ ихъ темень. Можетъ быть, сказанное слово и гениально, а можетъ быть...

Противъ взглядовъ Струве на государство выступилъ Дм. С. Мережковский, воззрѣнія котораго П. Б. Струве мѣтко назвалъ «богоматериализмомъ». Мы позволяемъ себѣ поставить эпитетъ «мѣтко» потому, что такая характеристика раздѣляется, очевидно, и большевистскимъ «умникомъ» Покровскимъ, подмѣтившимъ у Мережковскаго «мистическій материализмъ» (стр. 22). Но г. Каменевъ смотритъ вглубь... и при томъ съ точки зрѣнія историческаго матеріализма. Полемика Струве и Мережковскаго не такая простая вещь, какъ вы думаете, господа. Это смертельная схватка «крупнаго капитала» съ приведенной «въ ужасъ» мелкой буржуазіей. «Для того, чтобы выразить этотъ ужасъ мелкой буржуазіи, потребовался публицистъ, путанность мысли котораго не уступала бы путанности идеологии даннаго слоя. Величайшему путанику изъ среды сотрудниковъ *Русской Мысли* Дм. Мережковскому и принадлежитъ честь перваго вопля противъ религіи государственной мощи (стр. 208)...

...«Смутныя чаянья сверхъ-естественнаго избавленія отъ государственной и хозяйственной мощи капитала (апокалипсисъ) противъ бисмарков-

свой идеи (исторія) русскаго либерализма, смутныя мечты мелкой буржуазіи о раѣ самостоятельныхъ мелкихъ производителей (богоматеріализмъ) противъ отрицанія всякой возможности реализаціи царства Божія (мистицизмъ)—вотъ дѣйствительная постановка вопроса» (стр. 210). Видите, какъ это тонко! Могли ли бы вы безъ содѣйствія г. Каменева разгадать когда-либо сокровенный смыслъ полемики Струве и Мережковскаго о государственности? Пришло ли бы вамъ въ голову, что «богоматеріализмъ» Мережковскаго есть не что иное, какъ «мечты мелкой буржуазіи о раѣ самостоятельныхъ мелкихъ производителей?»

Въ старину, въ средніе вѣка, такимъ именно образомъ богословы-схоластики толковали «Пѣснь пѣсней» Соломона. Груды, какъ два бѣлыхъ козленка, и прочія восточныя метафоры получали вполне точное объясненіе въ духѣ христіанской церкви. Теперь мѣсто средневѣковыхъ схоластиковъ не безъ успѣха занимаютъ большевистскіе «дурачки». Однако, мы имъ удѣлили такъ много вниманія, что, пожалуй, для «умниковъ» останется мало мѣста. Перейдемъ къ умникамъ.

VI.

Въ лицѣ Веніаміна Попова, Сергѣя Петрова, Орловскаго, Каменева и т. д. мы видѣли людей невѣжественныхъ, развязныхъ до наглости, но вмѣстѣ съ тѣмъ безхитростныхъ. Они искренно вѣрятъ, что Христосъ формулировалъ истину «великой античной культуры»: будьте, какъ дѣти, и ведутъ себя, дѣйствительно, какъ городскіе мальчишки, показывающіе прохожимъ языкъ, татарину—свиное ухо, а при особомъ приливѣ молодечества готовые запустить и камнемъ. Ихъ статьи—невѣжественное озорство, на которое серьезно сердиться трудно. Другое дѣло—«умники», гг. Покровскій, Рожковъ, Ильинъ (Ленинъ). Тутъ дѣло ведется съ расчетомъ, болѣе или менѣе тонко и средства пріиѣняются подходящія: явная неправда, передежки и завѣдомая фальсификація фактовъ...

Г. Покровскій—историкъ. Правда, какъ показалъ А. А. Бизеветтеръ въ майской книжкѣ *Русской Мысли*, «научные методы» г. Покровскаго сомнительны, а его забавная претензія представлять собой лакмусовую бумажку для опредѣленія «буржуазности» другихъ историковъ, мало чѣмъ отличается отъ озорства какого-нибудь Орловскаго. Но характерно, что этотъ самый «историкъ», чуть только онъ касается современныхъ темъ, дѣлается форменнымъ фальсификаторомъ.

Говоря, напр., о нашей недавней революціи, г. Покровскій отмѣчаетъ, какъ характерную и очень важную ея черту, «удивительную организованность борьбы какъ съ одной, такъ и съ другой стороны, почти полное отсутствіе стихійныхъ порывовъ»..., «непосредственный взрывъ народнаго чувства у насъ почти всегда уступалъ мѣсто директивамъ и резолюціямъ разныхъ комитетовъ и конференцій, съ одной стороны, и указаніямъ департамента полиціи на сторонѣ противоположной» (стр. 20). Все это вос-

хваленіе нашей «организованности»—явная неправда, завѣдомая фальсификація исторіи, предпринятая съ весьма опредѣленной партійной цѣлью. Общепризнанная истина, что наша революція, какъ и многія другія, носила стихійный характеръ. Сами партійные комитеты и партійные дѣятели, когда оправдывались въ провалѣ революціи, всегда указывали на ея стихійный характеръ, на то, что «массы» влекли ихъ за собой. «Директивы комитетовъ» играли роль крыловской мухи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда «директивы комитетовъ» шли впереди движенія массъ, получался только смѣшной пуфъ вродѣ конца совѣта рабочихъ депутатовъ съ его торжественными заявленіями о пролетаріатѣ, который дастъ бой и проч. и проч., вродѣ завѣдомо обреченныхъ на неудачу попытокъ вызвать всеобщія забастовки и т. д. Всѣ дѣйствительно серьезныя и трагическія событія нашей революціи шли стихійно, совершенно не считаясь съ партійными директивами, которыя въ лучшемъ случаѣ являлись только бродиломъ. Но какъ только бродило вызывало броженіе, дальнѣйшія событія шли своимъ особымъ ходомъ, котораго революціонеры не только не предвидѣли, но который ихъ самихъ приводилъ въ ужасъ. Это можно было наблюдать во всѣхъ военныхъ бунтахъ. Прочтите, напр., яркій и очень правдивый рассказъ М. Бурджинскаго о владивостокскихъ событіяхъ, напечатанный въ *Минувшихъ Годохъ*. Въ потемкинскіе дни въ Одессѣ я лично видѣлъ, какъ революціонеры и революционерки плакали, останавливая въ порту озвѣрѣлую, пьяную толпу, которая, выслушавъ святыя рѣчи о свободѣ и социализмѣ, стала разбивать боченки съ виномъ, грабить товары и поджигать пакгаузы. Крестьянскіе беспорядки, если и начинались при участіи революціонеровъ, то немедленно же превращались въ такія вандалскія оргіи, которыя, конечно, не были по душѣ и интеллигентнымъ руководителямъ. Съ другой стороны, и движеніе 9 января прошло безъ всякаго участія партійныхъ «директивъ», такъ какъ комитеты въ лучшемъ случаѣ хранили строгій нейтралитетъ. Великая октябрьская забастовка, самое сильное и національное движеніе русской революціи, разразилась стихійно, безъ участія «директивъ». Стихійная стройность этого движенія заставляла и наиболѣе скептически настроенныхъ людей вѣрить въ мощныя организационныя государственныя силы русскаго народа, стихійно, національно, массовой душой запротестовавшего противъ стараго режима, едва не погубившаго государство. Позднѣйшія забастовки, сочинявшіяся, дѣйствительно, по директивамъ комитетовъ, были жалкими подражаніями такому движенію, подражать которому было невозможно. Сравнительный анализъ октябрьской и иныхъ забастовокъ можетъ раскрыть глаза каждому на то, чѣмъ національное движеніе отличается отъ надуманнаго, интеллигентски-сочиненнаго.

Все это знаетъ, конечно, и г. Покровскій. Не можетъ же онъ, напр., не знать, что одинъ изъ видныхъ социаль-демократовъ, членъ совѣта рабочихъ депутатовъ, немало силъ потратившій на идеализированіе и совѣта, и сознательнаго пролетаріата, и социаль-демократіи, немало на-

гвавший во славу ея, г. Парвусъ долженъ былъ всетаки признать: «мы были только тѣ струны арфы, на которыхъ игралъ ураганъ революціи. Мы были застрѣльщиками революціи и шли впереди по тому пути, на который насъ толкали надвигающіяся сзади насъ тяжелыя массы...» («Настоящее политическое положеніе и виды будущаго», стр. 6—7).

Для меня несомнѣнно, что эта фальсификація учинена г. Покровскимъ завѣдомо. Она нужна ему для обоснованія другой мысли, что русская революція это—«первая борьба, гдѣ съ самаго начала пролетаріатъ не былъ орудіемъ чужихъ интересовъ, а съ открытыми глазами боролся за свои собственные» (стр. 19). Г. Покровскій—«умникъ», онъ выражается осторожно и говоритъ объ «интересахъ». «Дурачокъ» Каменевъ откровеннѣе и прямо восхваляетъ «способность пролетарской массы не забывать своихъ конечныхъ социалистическихъ цѣлей всечеловѣческаго освобожденія ради идеалистическаго служенія мирнообновленческимъ программамъ» (стр. 198). «Умникъ» Покровскій осторожно заявляетъ: «Россія не повторяетъ исторію Запада, а двигаетъ ее дальше» (стр. 21). А простодушный Семень Петровъ ставитъ всѣ точки надъ і и проповѣдуетъ, что русская революція, оставаясь буржуазной, осуществить тѣмъ не менѣе муниципализацію земли, «націонализацию цѣлаго ряда отраслей народнаго хозяйства, желѣзныхъ дорогъ, крупнѣйшихъ горныхъ и лѣсныхъ промысловъ, громаднхъ, металлургическихъ, механическихъ и другихъ заводовъ» (стр. 151). Словомъ, кромѣ мелочныхъ лавокъ буржуазіи ничего не останется... Конечно, г. Покровскій самъ весело хохоталъ, когда читалъ всѣ эти глупости своего собрата по перу и по партіи. Но тѣмъ не менѣе онъ ихъ напечаталъ. Онъ сдѣлалъ даже больше: онъ вдохновилъ ихъ.

«Носителемъ революціоннаго начала—пишетъ г. Покровскій,—у насъ былъ и остается—теперь это яснѣе, чѣмъ когда-либо—пролетаріатъ и только онъ одинъ». А вѣдь г. Покровскій навѣрно слышалъ о ревизионизмѣ, о тредъ-юнионизмѣ, о томъ, что на Западѣ уже во многихъ мѣстахъ традиціонная революціонность «организованнаго пролетаріата» подвергнута весьма основательному сомнѣнію и уступаетъ мѣсто «эволюціонности». Не могъ г. Покровскій не видѣть, что и свой сборникъ «О вѣяніяхъ времени» онъ и его товарищи, изъ «умниковъ» и «дурачковъ», выпустили не для «пролетаріата», а для «деклассированной интеллигенціи» и зеленой молодежи, въ рядахъ которыхъ большевистская наука и вербуетъ себѣ сторонниковъ.

VII.

Другой большевистскій «умникъ»—г. Ильинъ.

Онъ, кромѣ кадетофобіи, страдаетъ еще и плеханофобіей. Ильину-Ленину, первому, если не ошибаемся, принадлежитъ честь сочетанія Плеханова съ кадетами. Плехановъ высказался, между прочимъ, за «нейтральность» профессиональныхъ рабочихъ союзовъ, указавъ, что вредно вносит

въ союзы политическія разногласія. Конечно, г. Ильинъ собрался въ походъ: «Да, Плехановъ сказалъ эту глупость» (стр. 79). Обыкновенный смертный, желая доказать, что «Плехановъ сказалъ эту глупость», сталъ бы приводить факты въ доказательство того, что вносить въ профессиональные союзы политическія разногласія не только не вредно, но даже полезно, такъ какъ, вѣроятно, способствуетъ укрѣпленію союзовъ и проч. Но большевики доказывать не любятъ. Имъ надо не доказать что-либо читателю, а дискредитировать въ глазахъ читателя противника. Какъ дискредитировать? Да просто упрекнуть его въ недостаткѣ революціонности, въ буржуазности, реакціонности. Простачокъ Семень Петровъ прямо пишетъ «Струве, Меньшиковъ, Изгоевъ, Булацель, прокуроры судебныхъ палатъ» и думаетъ, что онъ свое дѣло сдѣлалъ и кого надо уничтожить. Г. Ильинъ работаетъ точно такъ же, но болѣе тонко. Вотъ, напр., какое обходное движеніе предпринялъ онъ для посраженія Плеханова.

«Въ той самой книжкѣ *Современнаго Мира* (1907 г., № 12), въ которой Плехановъ защищаетъ нейтральность, рядомъ съ Плехановымъ — пишетъ г. Ильинъ — видимъ здѣсь г. Э. П., восхваляющаго извѣстнаго вождя англійскихъ желѣзнодорожныхъ рабочихъ Ричарда Белла, который покончилъ компромиссомъ конфликтъ рабочихъ съ директорами компаніи. Беллъ объявляется душой всего желѣзнодорожнаго рабочаго движенія» (стр. 81). «Но эта точка зрѣнія, — ехидничаетъ г. Ильинъ — совсѣмъ не соотвѣтствуетъ взглядамъ англійскихъ *соціалистовъ* (замѣтите!), которые навѣрное очень удивились бы, узнавъ, что хвалители Белла пишутъ, не встрѣчая возраженій, въ одномъ журналѣ съ видными меньшевиками вроде Плеханова, Юрданскаго и Б°» (стр. 81—82). Слѣдуютъ цитаты изъ одной социаль-демократической газеты и изъ органа независимой рабочей партіи, ругающихъ Белла, и указаніе, что похвалила Белла только «капиталистическая пресса, начиная отъ радикальной *Reynolds Newspaper* и кончая консервативной *Times*». Въ заключеніе убійственный для Плеханова выводъ: «Вотъ вамъ образецъ примѣненія нейтральности плехановскимъ сотрудникомъ г. Э. П... За улучшеніе цѣной отказа отъ борьбы и сдачи на милость капиталу высказалась вся буржуазія Англій, фабіанцы и г. Э. П., за коллективную борьбу рабочихъ всѣ социалисты и тредъ-юніонисты — рабочіе. И Плехановъ будетъ продолжать...» и т. д. по трафарету.

Г. Ильинъ пишетъ очень смѣло. Онъ, очевидно, увѣренъ, что среди его читателей не найдется ни одного, который поставитъ ему вопросъ: какъ? вы утверждаете, что противъ Белла высказались всѣ тредъ-юніонисты рабочіе, а куда же вы дѣли сто тысячъ организованныхъ желѣзнодорожныхъ рабочихъ того союза, секретаремъ котораго былъ Беллъ, принявшихъ предложенный имъ компромиссъ? О вдвое большемъ числѣ неорганизованныхъ рабочихъ мы уже не говоримъ, но неужели эти сто тысячъ дѣйствовали, какъ бараны, неужели Беллъ торговалъ ими, какъ хотѣлъ, и помимо ихъ воли заключалъ для нихъ компромиссъ? Подобнаго рода обвиненія противъ «вожаковъ» мы нерѣдко читаемъ въ *Россіи* и

других реакціонныхъ изданіяхъ. Такого рода пріемами *Новое Время* отличаетъ «еврейскую» и «польскую интригу». На такой же точно путь нововременскихъ передержекъ (подставилъ слово «рабочій» вмѣсто «соціалистъ») вступилъ теперь и вождь большевиковъ, унизившійся до нововременскаго кричкотворства и сознательнаго передергиванія...

Мы понимаемъ, что ненависть къ Плеханову можетъ далеко завести г. Ильина, но надо сказать правду, что онъ прибѣгъ къ указанной «ловкости рукъ» отчасти и по другимъ мотивамъ. Очень ужъ ему хотѣлось внушить молодежи мысль, что объединеніе рабочихъ должно совершаться «не для улучшенія ихъ положенія на первомъ планѣ, а для борьбы, способной принести пользу дѣлу освобожденія пролетаріата» (стр. 81). На дорогѣ попался г. Плехановъ—ему и влетѣло...

Между тѣмъ въ той же книгѣ сборника «О вѣяніяхъ», въ единственной серьезной статьѣ г. Ерма, «всѣхъ соображеній» котораго «редакція не раздѣляетъ», мы можемъ прочесть: «На основаніи наблюденій и собственнаго опыта съ полною убѣжденностью мы скажемъ, что рабочая кооперация въ Россіи еще въ будущемъ. Только создаются необходимыя для нея силы, лишь постепенно накапливаются опытъ и знанія» (стр. 181). Другой наблюдатель, живущій на Уралѣ, въ томъ же сборникѣ пишетъ: «Какъ общее явленіе для Урала нужно отмѣтить отсутствіе работниковъ-профессіоналистовъ. Типъ этого работника только еще складывается и вообще въ Россіи, но низкій культурный уровень уральскаго рабочаго задерживаетъ, особенно у насъ, этотъ процессъ. Нѣтъ вождей професіональнаго движенія и должно быть долго не будетъ» (стр. 232).

Но что за дѣло г. Ильину и руководимымъ имъ «дурачкамъ» до опыта и знаній, до вождей, формирующихся въ процессѣ этого опыта, возможнаго при нашихъ условіяхъ лишь когда кооперации имѣютъ въ виду «улучшеніе положенія рабочаго?» Гораздо легче кричать о «борьбѣ», о революціи, пѣть гимны социалистическому сознанію пролетарской массы, пророчествовать о близкомъ наступленіи социалистической революціи, или такой буржуазной, которая будетъ совсѣмъ, какъ социалистическая! Для этого не надо ни опыта, ни знаній. И даже, чѣмъ меньше знаній, тѣмъ лучше. У людей, не обремененныхъ знаніями, на душѣ, выражаясь стилемъ Веніамина Попова, «плоско, весело и пустынно», тогда какъ Покровскому, Ильину, Рожкову приходится прибѣгать и къ завѣдомой фальсификаціи и къ нововременскимъ передержкамъ. Отъ этого на душѣ не станетъ «веселѣе»...

VIII.

Всѣ эти «жертвы» приносятся авторами на алтарь одному богу—«рволюціонности». Вотъ слово, которое заворожило ихъ умъ и совѣсть стало для нихъ всеобщимъ критеріемъ, «мѣрой всѣхъ вещей». «Революціонность» для «революціонности», какъ въ старину проповѣдовали «искусство для искусства». И если авторы сборника и говорятъ еще, по с

рой привычекъ, о пролетаріатѣ, то только потому, что пролетаріатъ въ ихъ представленіи является единственнымъ «носителемъ революціоннаго начала». Ревизионистскія, эволюціонныя стремленія пролетаріата или остаются ими пока безъ вниманія, или сознательно замалчиваются, или уже перетолковываются съ явными натяжками. Но на лицѣ болѣе искреннихъ все чаще и чаще появляется уже презрительная гримаса, и я не боюсь оказаться ложнымъ пророкомъ, предсказывая, что черезъ нѣсколько лѣтъ слова «организованный пролетаріатъ» будутъ ставиться большевиками въ такія же ироническія кавычки, какъ и «либеральная буржуазія». Недавнія событія въ Баку, связанныя съ переговорами выборныхъ уполномоченныхъ отъ рабочихъ съ нефтепромышленниками о коллективномъ договорѣ, доказали, что бойкотистская большевистская тактика встрѣчаетъ рѣзкій отпоръ именно со стороны организованныхъ рабочихъ. Сильнѣйшій бакинскій профессиональный союзъ изъ наиболѣе развитыхъ и сознательныхъ рабочихъ рѣзче всего запротестовалъ противъ бойкотистовъ...

Революція—это комплексъ разнообразнѣйшихъ явленій, то мирныхъ и безкровныхъ, то кровавыхъ и грязныхъ, то героическихъ, то звѣрскихъ и позорныхъ, сущность которыхъ состоитъ въ нарушеніи стараго отживающаго права и въ замѣнѣ его *начатками* (конечно, весьма несовершенными) новыхъ формъ соціальной жизни. Народъ прибѣгаетъ къ революціи, когда старыя силы упорно глушатъ всѣ новые ростки, не даютъ имъ никакого хода и своей разрушительной работой приводятъ къ гибели весь общественный организмъ. Единственнымъ оправданіемъ революціи и является только необходимость ея для спасенія государства. *Salus populi suprema lex esto*—вотъ классически сформулированное римлянами оправданіе революціи. Обычное опредѣленіе, что революція—это удавшійся бунтъ, а бунтъ—неудавшаяся революція, имѣетъ, несомнѣнно, тотъ смыслъ, что дѣйность и оправданіе революціи могутъ быть учтены и даны только по ея послѣдствіямъ. Если революція не удалась и если ея неудача не повлекла за собой крушенія всего государственнаго и общественнаго организма (какъ, наприм., въ Польшѣ въ концѣ XVIII в.), значитъ она была ненужной, была простымъ мятежомъ, «бунтомъ, бессмысленнымъ и безпощаднымъ». Одна изъ наиболѣе частыхъ и роковыхъ ошибокъ революціонеровъ сводится къ тому, что они думаютъ, будто во время революціи народъ одерживаетъ верхъ благодаря размѣрамъ своихъ «боевыхъ», наступательныхъ силъ, благодаря смѣлости бойцовъ и т. д. Исторія говоритъ не то. Она показываетъ, что побѣда революціи всегда обуславливалась слабостью защиты, а не силой нападенія. Старый порядокъ, чувствующій, какъ отъ него отворачиваются всѣ живыя силы страны, какъ негодованіе противъ него дѣлается всеобщимъ, *національнымъ*, погружается въ какой-то маразмъ, поражается параличомъ воли и сдается задолго до того, какъ истощитъ всѣ силы для своей защиты. Революціонеры же, опьяненные успѣхомъ, приписываютъ его всецѣло своей смѣлости, своимъ методамъ, дѣлаютъ изъ нихъ культъ, примѣняютъ ихъ при вся-

комъ случаѣ и очень скоро разбиваютъ себѣ голову при незначительномъ даже столкновении съ властью, оправившейся отъ маразма и сдѣлавшей тѣ минимальныя уступки, безъ которыхъ она не могла дышать. Такъ у насъ послѣ октябрьскихъ событій, приведшихъ къ манифесту 17 октября, последовалъ рядъ неизбежно неудачныхъ «забастовокъ», закончившихся мало импонировавшей странѣ ликвидаціей перваго «грознаго» совѣта рабочихъ депутатовъ.

Одинъ изъ простачковъ большевистскаго сборника г. Каменевъ, говоря о статьѣ П. Б. Струве, обмолвился характерной фразой. Называя, какъ ему и полагается, статью «Великая Россія» «голосомъ капиталистическаго дѣльца», г. Каменевъ замѣчаетъ: «рекомендовать ему выходъ черезъ революцію было бы смѣшно» (стр. 205)... Иг. Каменевъ такой выходъ «рекомендуетъ» только «пролетариату». «Рекомендовать революцію» — вотъ задача авторовъ сборника, единственная, которую они постигаютъ. Но такая постановка вопроса сразу же лишаетъ революцію, о которой они говорятъ, національнаго характера, и придаетъ ей видъ болѣе или менѣе широкаго, болѣе или менѣе серьезнаго заговора съ конспираціей, вспышко-пускательствомъ, искусственнымъ взвинчиваніемъ участниковъ, ложью, обманомъ и самообманомъ, исторической и политической фальсификаціей. Национальныя революціи не производятся по чьей бы то ни было *рекомендаци*. Онѣ происходятъ стихійно, какъ *постднее* средство спасенія общественнаго организма. Национальныя революціи — печальная необходимость. Жоресъ назвалъ ихъ варварскимъ методомъ общественнаго прогресса. Массы народныя никогда не могутъ желать революціи для революціи. Содержаніе жизни массъ — трудъ и удовлетвореніе своихъ потребностей. Для этого требуется опредѣленный строй, порядокъ, соотвѣтствующій состоянію производительныхъ силъ. Всякая революція дезорганизуеетъ общественный трудъ, препятствуетъ народу удовлетворять свои человѣческія потребности. Поэтому народныя массы, прежде чѣмъ вступить на путь революціи, пытаются использовать всѣ прямыя и косвенныя пути, чтобы въ старыхъ формахъ осуществить новыя потребности. И эти потребности, дѣйствительно, должны быть широко распространенными, національными потребностями, старыя формы должны быть, дѣйствительно, совершенно закоченѣвшими, непроницаемыми для новыхъ потребностей, чтобы борьба съ этими формами вылилась не въ бунтъ экзальтированныхъ единицъ и группъ, а въ широкое, мощное, національное движеніе.

Конечно, въ каждомъ живомъ обществѣ неизбежно существуютъ, и должны существовать, извѣстные, такъ сказать, бродильные элементы, не входящіе въ нормы правильно организованнаго народнаго труда, а всемятущіеся, всѣмъ недовольные. Очень часто въ минуты кризисовъ срѣ этого бродильнаго элемента народъ и находитъ свой рупоръ, своихъ вождь. Тогда, выражая національную волю, голосъ этого элемента пріобрѣтаетъ необыкновенную силу и искренность. Ему нѣтъ нужды прибѣгать ко лжи къ фальсификаціи. Иное дѣло, когда страна видимо не нуждается болѣ

въ услугахъ этого бродильнаго элемента, когда она предвидитъ возможность другихъ мирныхъ, хотя и болѣе сложныхъ, требующихъ серьезныхъ усилій и дѣловой работы, путей общественнаго развитія, а бродильный элементъ не хочетъ отказываться отъ первой роли, дѣлаетъ отчаянныя попытки удержаться на постахъ руководителей. Тогда онъ неизбежно долженъ обратиться къ двумъ послѣднимъ, имѣющимся въ его распоряженіи средствамъ: ко лжи и фальсификаціи, съ одной стороны, къ использованию человеческой глупости и невѣжества, болѣею частью среди зеленой молодежи—съ другой. Тогда наступаетъ разложеніе. Однимъ изъ признаковъ такого разложенія мы и считаемъ сборникъ «О вѣяніяхъ времени».

IX.

Остановить этотъ процессъ разложенія можетъ только реакціонная государственная политика.

Мы видѣли, наприм., что одинъ изъ крупныхъ авторитетовъ сборника г. Ильинъ (Ленинъ) протестуетъ противъ профессиональных союзовъ, ставящихъ на первый планъ «объединеніе рабочихъ для улучшенія ихъ положенія», а настаиваетъ на созданіи такихъ союзовъ, которые бы ставили на первый планъ «объединеніе рабочихъ для борьбы, способной принести пользу дѣлу освобожденія пролетаріата».

Нужды русской жизни и въ данномъ случаѣ, какъ во множествѣ другихъ, кореннымъ образомъ расходятся со стремленіями большевиковъ. Раньше, чѣмъ говорить объ «освобожденіи пролетаріата», о завоеваніи имъ политической власти и т. д., надо, чтобы развитіе этого пролетаріата сдѣлало крупный шагъ впередъ, чтобы рабочій классъ выдвигалъ своихъ вождей, способныхъ и организовывать производство, и руководить массами, и разбираться въ сложнѣйшихъ мировыхъ вопросахъ. Русская демократія немыслима безъ участія въ ней пролетаріата, но участіе пролетаріата въ демократическомъ управленіи немыслимо безъ значительнаго повышенія уровня его умственнаго и социальнаго развитія. Всѣ честные наблюдатели (мы видѣли, что голоса ихъ случайно раздалися даже со страницъ большевистскаго сборника) согласны, что въ настоящемъ своемъ положеніи русскій рабочій классъ еще не можетъ выдвинуть людей, способныхъ хорошо поставить даже профессиональное и кооперативное дѣло. Нужна практическая школа. Такой школой и является «объединеніе рабочихъ для улучшенія ихъ положенія». Между тѣмъ большевики, толкуя о своей «борьбѣ», явно толкаютъ рабочихъ на путь созданія мелкихъ, слабосильныхъ организацій, не могущихъ по условіямъ момента предохранить себя ни отъ провокаторовъ, ни отъ полицейскаго разгрома. Рекомендуемая ими тактика ни къ чему, кромѣ бесполезной траты силъ, привести не можетъ. Но представьте теперь, что административная практика сдѣлаетъ совершенно невозможнымъ «объединеніе рабочихъ для улучшенія ихъ положенія», даже когда профессиональные союзы будутъ стоять на строго законной почвѣ. Внесенный въ

Государственную Думу запросъ о незаконномърныхъ дѣйствіяхъ администраціи по отношенію къ профессиональнымъ союзамъ доказываетъ, что такое предположеніе недалеко отъ истины. Само собою разумѣется, что такія дѣйствія администраціи только льютъ воду на колеса большевистской мельницы.

То же самое и въ другихъ областяхъ. Приведемъ еще одинъ яркій примѣръ большевистской фальсификаціи. Воюя со своимъ смертельнымъ врагомъ Плехановымъ, г. Ленинъ писалъ въ № 2 польскаго *Przeglad Soc.*:

«Декабрьская борьба 1905 года доказала, что вооруженное возстаніе можетъ побѣдить при современныхъ условіяхъ военной техники и военной организаціи. Декабрьская борьба дала то, что все международное рабочее движеніе должно отнынѣ считаться съ вѣроятностью подобныхъ же формъ сраженія въ ближайшихъ пролетарскихъ революціяхъ. Вотъ какіе выводы дѣйствительно вытекаютъ изъ опыта нашей революціи, вотъ какіе уроки должны быть усвоены самыми широкими массами. Какъ далеки эти выводы и эти уроки отъ той *линии* разсужденій, которую далъ Плехановъ своимъ геростратовски знаменитымъ отзывомъ о декабрьскомъ возстаніи: «не надо было браться за оружіе». Какое море ренегатскихъ комментаріевъ вызвано было подобной оцѣнкой! Какое безконечное количество грязныхъ либеральныхъ рукъ хваталось за него, чтобы нести развратъ и духъ мѣщанскаго компромисса въ рабочія массы!

«Въ оцѣнкѣ Плеханова нѣтъ ни грана исторической правды. Если Марксъ, за полгода до коммуны сказавшій, что возстаніе будетъ безуіемъ, сумѣлъ дать тѣмъ не менѣе оцѣнку этого «безуіи» какъ величайшаго массоваго движенія пролетаріата XIX вѣка, то въ тысячу разъ съ большимъ правомъ русскіе социаль-демократы должны нести теперь въ массы убѣжденіе въ томъ, что декабрьская борьба была самымъ необходимымъ, самымъ законнымъ, самымъ великимъ пролетарскимъ движеніемъ послѣ коммуны. Рабочій классъ Россіи будетъ воспитываться именно въ такихъ взглядахъ— что бы ни говорили, какъ бы ни плакались тѣ или иные интеллигенты въ социаль-демократіи.

«Вопросъ объ оцѣнкѣ нашей революціи имѣетъ отнюдь не теоретическое только, а и самое непосредственное, практически-злободневное значеніе».

Вся эта тирада г. Ленина, конечно, сплошная—и что еще хуже—завѣдомая неправда. Онъ-то во всякомъ случаѣ помнить Дубасовское «*on a laissé faire*» и отлично понимаетъ, что если бы не это, какими-то особыми соображеніями продиктованное отношеніе администраціи, то никакого «московскаго возстанія» бы и не было, а начинавшійся беспорядокъ былъ бы прекращенъ въ одинъ-два дня. Сравнивать «московское возстаніе» съ кровавыми днями коммуны или июльской бойней нелѣпо, потому что въ Москвѣ, собственно говоря, никакихъ сраженій, никакихъ тысячныхъ массъ вооруженнаго народа не было. Былъ административный экспериментъ съ цѣлью нагнать страху на обывателя и образумить его и были выступленія

небольшихъ группъ рабочей и интеллигентской молодежи, очевидно, непонимавшихъ, что они выполняютъ только ту роль, которая отведена была имъ администраціей: on a laissé faire. Когда рѣшено было со всѣмъ этимъ покончить, семеновцы очень быстро навели достожджный порядокъ почти безъ всякихъ потерь со своей стороны. Никакого «возстанія» въ Москвѣ не было. Эту истину знаетъ, конечно, и г. Ленинъ, но онъ и не скрываетъ, что ему нужна въ сущности только легенда для надлежашаго воспитанія рабочихъ. При нормальномъ порядкѣ, при законной свободѣ печати такая легенда не уцѣлѣетъ—честные, правдивые изслѣдователи ее скоро разобьютъ.

Но представьте себѣ (а мы не далеки и отъ этого), что печать возвращена въ то состояніе, въ которомъ она находилась до японо-русской войны. Рядомъ съ задушенной, и опять подпавшей подъ двѣ цензуры, легальной печатью возникнетъ яркая, живая, неуловимая, неопровержимая печать подпольная. И тогда ленинская легенда получитъ полную возможность широко разлиться въ рабочихъ массахъ и стать однимъ изъ элементовъ формирующей психики русскаго пролетаріата.

Намъ понятно, почему большевики борются не столько съ бюрократически-дворянской реакціей, сколько съ кадетами и «либеральной буржуазіей». Реакція они не боятся, а въ «конституціи» видятъ для себя очень серьезную угрозу.

А. С. Изгоевъ.

Памяти А. А. Бакунина и П. А. Корсакова.

Въ лицѣ скончавшагося 10 мая на 87 году жизни Александра Александровича Бакунина сошелъ въ могилу послѣдній изъ братьевъ Бакуниныхъ.

Это былъ человекъ, вступившій въ сознательную жизнь еще въ 40-хъ гг. и на всемъ своемъ обликѣ носившій печать той эпохи.

Онъ былъ выдающимся общественнымъ дѣятелемъ, и слѣды дѣятельности его и его братьевъ неизгладимы въ исторіи тверского земства, а, стало быть, и русскаго земства вообще. Но мнѣ хотѣлось бы помянуть здѣсь А. А. Бакунина не какъ дѣятеля въ узкомъ смыслѣ слова, а отмѣтить эту своеобразную личность, какъ духовный типъ, какъ выразителя извѣстнаго культурнаго слоя и течения въ русской умственной исторіи.

Лично Александръ Александровичъ былъ человекомъ съ сильнымъ, быть можетъ, даже страстнымъ темпераментомъ: имъ владѣли чувства, почти неугрозимыя. Но этотъ человекъ чувства отчасти получилъ отъ окружающей среды, отчасти самъ себя выработалъ философію, въ которой религиозное начало было освобождено отъ всякой чрезмѣрности и даже отъ всякаго субъективизма, было до конца рационализировано. Внѣ всякаго сомнѣнія, онъ былъ гегельянцемъ. Отъ Канта и его ученія, которое онъ понималъ въ субъективномъ смыслѣ, у него было сильнѣйшее отталкиваніе.

Но будучи гегельянцемъ, А. А. былъ имъ на свой ладъ. Ему чуждо и даже антипатично было преклоненіе передъ государственностью. Это не значить, чтобы онъ былъ противникомъ и ненавистникомъ государственности.

Но надъ нею, превыше ея для него стояло свободное начало общест-венности, которое для него сливалось съ религіей, ее выражало и освящалось.

Въ рядѣ писемъ, обращенныхъ къ его постоянной корреспонденткѣ А. С. Петруневичъ и отчасти вызванныхъ появленіемъ *Полярной Звѣзды* и посвященныхъ обсужденію ея содержанія *), покойный постоянно в

*) Принимаю искреннѣйшую благодарность А. С. за сообщеніе этихъ писемъ

вращался къ понятію религіи, какъ основы общественности. «Какъ постановленія «Союза освобожденія» и имъ же вдохновляемыхъ собраній, такъ и *Полярная Звезда* имѣютъ для меня значеніе не программы обособленной партіи, а программы перехода какъ отъ интеллигентной, такъ и всякой другой обособленности къ дѣйствительно общественному объединенію и къ созданію могущественнаго общественнаго союза, на основаніи истинно общественнаго убѣжденія, не какъ теоріи только, а какъ религіи, союза, обнимающаго поэтому не поверхностно интеллигентное и достаточное общество, или публику, а весь народъ. Требованіе осуществленія такого союза, какъ осуществленія религіи, присуще какъ народу, такъ и каждому отдѣльному человѣку во всѣ времена. При современныхъ же какъ частныхъ, такъ и общественныхъ обстоятельствахъ осуществленіе этого требованія стало уже неотложно и настоятельно необходимо. По крестьянской поговоркѣ: громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится. Для насъ же, но и не для насъ однихъ, а для всего народа, громъ уже грянулъ, и пора вспомнить о Богѣ и перекреститься. Но не для бездѣйствія, а чтобы взяться за дѣло, т.-е. за созданіе упомянутаго общественнаго союза, о которомъ говоритъ и П. Б. Струве, только подъ названіемъ не союза, а общественной власти».

Непосредственно за этимъ А. А. переходитъ къ «союзамъ и партіямъ, основаніемъ для которыхъ служить ихъ профессиональная или классовая обособленность; а потому и ихъ же программа, опредѣляемая не убѣжденіемъ, а тактическими условіями борьбы». Объ этихъ политическихъ группахъ идеалистъ Бакунинъ высказываетъ такое сужденіе: «можно съ полной увѣренностью предвидѣть, что самую силою вещей они будутъ обращены или въ орудіе или въ жертвы стихійно совершающихся переворотовъ въ народномъ существованіи». И онъ продолжаетъ въ духѣ своей излюбленной идеи: «Стать въ уровень съ стихійными силами естественныхъ переворотовъ или же съ роковыми историческими событіями можетъ только человѣкъ, мыслящій и дѣйствующій на основаніи своего разума и своего же истиннаго общественнаго убѣжденія въ смыслѣ религіи». Выражая свое идейное сочувствіе изданію *Полярной Звезды*, А. А. мотивировалъ это сочувственное отношеніе именно своимъ предположеніемъ, что въ основу изданія положена «не теоретическая только программа, а истинно общественная программа въ смыслѣ религіи» *).

Убѣжденный, горячій сторонникъ идеи общественности, А. А. Бакунинъ, будучи практически земскимъ либераломъ, не только не отрицалъ начисто идеи социализма, но, наоборотъ, видѣлъ и въ ней выраженіе все той же своей излюбленной идеи. Обсуждая статью Э. Д. Гримма въ № 9 *Полярной Звезды*, онъ признаетъ невозможнымъ «отдѣлить въ революціи ея политическое значеніе отъ социальнаго». «На дѣлѣ... оказывается, какъ о томъ свидѣтельствуетъ какъ европейская, такъ и наша исторія, что

*) Письмо къ А. С. Петрункевичъ изъ с. Прямухина отъ 4 января 1906 г.

такое отдѣленіе невозможно. Какъ въ Европѣ, такъ и у насъ социализмъ, не въ смыслѣ классово́й розни и борьбы, а въ смыслѣ осуществленія общества, въ его идеальномъ значеніи, въ самомъ существованіи всегда былъ и всегда будетъ истиннымъ основаніемъ всякаго общественнаго совершенствованія или прогресса, а потому и всякой революціи, въ случаѣ встрѣчи этимъ прогрессомъ классовыхъ, сословныхъ или государственныхъ препятствій, основанныхъ на общественной розни и противорѣчіяхъ *)).

Привлекательный для Бакунина социализмъ былъ, конечно, не классовый социализмъ, а именно социализмъ въ его противоположеніи классово́й борьбѣ, социализмъ, основанный на идеѣ общественной солидарности.

Таковы были общественно-философскія убѣжденія стараго тверского земца, одного изъ ветерановъ русскаго либерализма. Пусть иногда покойный доходилъ въ выведеніи своихъ практическихъ взглядовъ изъ основныхъ философскихъ посылокъ до доктринерства, не обращавшаго вниманія на реальныя отношенія и силы.—Такъ, было время, когда А. А.—во имя религіи—отставивалъ церковно-приходскія школы (я слышалъ объ этомъ отъ И. И. Петрункевича). Такъ, мнѣ самому пришлось слышать рѣчь покойнаго въ тверскомъ губернскомъ земскомъ собраніи, въ которой онъ—во имя общественности и личной свободы—возражалъ противъ мелкой земской единицы. Но при всѣхъ увлеченіяхъ покойнаго, въ философской цѣльности его идей и въ той глубокой страстности, которую онъ вкладывалъ въ защиту этихъ идей, было нѣчто прямо обаятельное.

Этотъ высокій и красивый старецъ, который на восьмомъ и девятомъ десяткѣ лѣтъ оставался физически крѣпкимъ и духовно бодрымъ, былъ оригинальной личностью, духовные корни которой уходили въ самую блестящую эпоху нашей дворянской культуры, но которая не потеряла въ то же время самой живой и сознательной связи съ современностью.

Не могу не сказать, что встрѣчи и бесѣды съ А. А. произвели на меня, человѣка отдѣленнаго отъ покойнаго не однимъ поколѣніемъ, совершенно особое, чарующее и несравненное впечатлѣніе. Базалось, что возстаетъ въ поразительно живомъ и достойномъ образѣ эпоха Станкевича, Бѣлинскаго, та эпоха, философскія увлеченія которой были такъ плодотворны для русской культуры и въ духовномъ творествѣ которой знаменитый братъ А. А. Михаилъ Александровичъ Бакунинъ сыгралъ такую крупную роль **). Думается мнѣ, что традиціи и идеи этой эпохи, живыми и бодрими носителями которыхъ былъ отошедшій отъ насъ А. А., имѣютъ не только культурно-историческій интересъ. Имъ присуща вѣчная цѣнность, и она-то яркими лучами сіяла въ красивой личности прямухинскаго старца-мыслителя.

*) Письмо къ А. С. Петрункевичъ изъ с. Прямухина отъ 17 февраля 1906 г.

***) Ср. чрезвычайно содержательную и цѣнную статью С. А. Венгерова „Бакунинско-гегельевскій періодъ жизни Бѣлинскаго“ въ т. IV его „Полнаго собранія сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“.

Скончавшийся 8 мая Павелъ Асигритовичъ Корсаковъ такъ же, какъ А. А. Бакунинъ, былъ виднымъ дѣятелемъ тверскаго земства. Но его сила лежала въ совершенно другой области. А. А. Бакунинъ былъ человѣкъ отвлеченныхъ идей; П. А. Корсаковъ былъ человѣкъ практическаго дѣланія. Это не абсолютныя различія, но это различныя душевныя типы, различныя лики и облики людей.

Сперва судебный дѣятель, затѣмъ видный чисто дѣловой земецъ, далѣе образцовый администраторъ финансоваго вѣдомства и, наконецъ, руководитель крупнаго банковаго учрежденія, П. А. Корсаковъ всегда былъ равенъ и вѣренъ себѣ въ своемъ дѣловомъ существѣ. Я рѣдко сталкивался съ покойнымъ, но мнѣ всегда импонировала и всегда казалась особенно цѣнной для русской жизни та дѣловая и дѣловитая сила, которая чувствовалась въ этомъ человѣкѣ. Его суровый реализмъ не былъ вовсе безыдейностью. Наоборотъ, въ немъ, въ этомъ реализмѣ, думается мнѣ, была скрыта серьезная и плодотворная идея. Онъ ее не излагалъ и не проповѣдывалъ, онъ ею дышалъ и жилъ. Это—идея трудовой дисциплины и личной отвѣтственности въ ея значеніи для общественной жизни. У насъ принято трактовать эту идею, какъ «буржуазную» ветошь, съ которой долженъ распротистись «передовой» миръ. Такіе люди, какъ Корсаковъ, были живымъ протестомъ противъ этого дешеваго радикализма, одного изъ симптомовъ нашей духовной и культурной незрѣлости...

Въ качествѣ дѣятеля финансоваго вѣдомства—Корсаковъ передъ своей отставкой былъ управляющимъ петербургской казенной палатой—покойный былъ образцовымъ чиновникомъ въ лучшемъ, «прусскомъ» смыслѣ этого слова. Когда тверское губернское земское собраніе приняло въ декабрѣ 1894 г. знаменитый, предложенный Ѳ. И. Родичевымъ, всеподданнѣйшій адресъ, въ числѣ земскихъ гласныхъ, участвовавшихъ въ этомъ достопамятномъ актѣ, былъ и П. А. Корсаковъ.

Тонъ и стиль тверскаго адреса—съ современной точки зрѣнія—таковы, что *теперь* подъ нимъ могли бы подписаться не только умѣренные правые, но даже и т. н. крайніе правые. Но въ 1894—1895 гг. этотъ адресъ былъ актомъ гражданскаго мужества и былъ оцѣненъ, какъ «крамода». С. Ю. Витте, въ качествѣ высшаго начальства покойнаго, по собственной ли инициативѣ, или уступая давленію министерства внутреннихъ дѣлъ, предложилъ П. А. Корсакову подать въ отставку. Финансовое вѣдомство лишилось такимъ образомъ крупной рабочей силы по милости реакціоннаго ослѣпленія.

Извѣстная иронія и, если угодно, Немезида исторіи заключалась въ томъ, что министръ, уволившій одного изъ способнѣйшихъ своихъ подчиненныхъ за адресъ, въ которомъ содержался лишь робкій намекъ на конституцію, самъ черезъ 10 лѣтъ явился инициаторомъ гораздо болѣе радикальнаго, несомнѣнно конституціоннаго манифеста 17 октября.

Въ широкимъ чаяніямъ и увлеченіямъ эпохи, центральной датой которой является именно день 17 октября, суровый реалистъ Корсаковъ

относился скептически. Его смущала стремительность и неподготовленность тѣхъ перемѣнъ, которыхъ такъ бурно требовало руководящее общественное мнѣніе того времени. Покойный П. А. не вѣрилъ въ быстро-стремительные перевороты; ему не imponировали «буря и натискъ». Въ его сужденіяхъ всегда чувствовалась та нота, которую съ блестящимъ юморомъ выразилъ еще Герценъ въ своихъ афоризмахъ: «сырывать, русскій фибринъ-церебринъ» и «много дренажу требуютъ русскіе черноземы».

Часто мнѣ приходилось слышать отзывы о П. А. Корсаковѣ, въ особенности послѣ того, какъ онъ сталъ банковскимъ дѣятелемъ, какъ о типичномъ «буржуа». Я думаю, что покойный не отрекся бы отъ этого прозвища; скорѣе онъ подхватилъ бы его и присвоилъ бы себѣ. И, я думаю, онъ былъ бы правъ. Онъ былъ «буржуа» въ томъ смыслѣ, въ которомъ извѣстныя «буржуазныя» черты неотъемлемы отъ всякой культуры, основанной, съ одной стороны, на дисциплинѣ и личной отвѣтственности, съ другой стороны—на стремленіи къ наивысшей производительности труда. А можетъ ли быть какая-нибудь культура внѣ этихъ началъ?

Какъ на мало походили другъ на друга идеалистъ Бакуницъ и реалистъ Борсаковъ, развѣ случайно то обстоятельство, что эти разнородныя натуры сходились на одной и той же культурной работѣ, на той земской работѣ, которая и идейно, и практически подготовила государственное обновленіе Россіи?

Въ свѣломъ полетѣ Бакунина и въ трезвомъ дѣланіи Борсакова было нѣчто объединяющее. Я позволю себѣ назвать это объединяющее истиннымъ либерализмомъ. Это—тотъ либерализмъ, который, опираясь на идеи дисциплины, долга и отвѣтственности, видитъ вѣнецъ общественности въ свободномъ осуществленіи человѣческой солидарности.

Петръ Струве.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ

ЖУРНАЛА

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.

І ю н ь

1908 года.

Содержаніе. I. Книги: Беллетристика.—Исторія.—Соціологія, правовѣдніе.—Политическая экономія.—Философія.—Публицистика. II. Списокъ книгъ, поступившихъ въ редакцію журнала «Русская Мысль» съ 1-го мая до 1-е іюня 1908 г.

БЕЛЛЕТРИСТИКА.

Сборникъ товарищества „Знаніе“ за 1908 г. Книга XXII.—Литературно-художественные альманахи изд. „Шиповника“. Книга пятая.

Сборникъ товарищества „Знаніе“ за 1908 годъ. Книга XXII. Спб., 1908 г. Стр. 338. Ц. 1 р. Къ глубокому сожалѣнію, напечатанная въ этомъ сборникѣ пьеса М. Горькаго „Послѣдніе“ не можетъ опровергнуть извѣстной статьи Д. В. Филоσοфова „Конечъ Горькаго“. Въ изображеніи разлагающагося семейства допущены авторомъ такія грубыя и утрированныя черты и такъ осязательно проступаетъ всяческое „нарочно“, нитка, за которую онъ дергаетъ своихъ деревянныхъ героевъ, что драма оказывается лишенной сколько-нибудь серьезнаго художественнаго достоинства. Ея не спасаютъ искусственные чеховскіе тона—колоритъ меланхоли и томности, всякіе безплодно притязающіе афоризмы и эта старая няня, подъ пару Фирсу изъ „Вишневаго сада“, которая у Горькаго вышла ненужной, докучной, своими репликами досадно мѣшающей діалогу. Въ пьесѣ вообще чеховское, т. е. психологическое, тихія переживанія сердца, нестройно сплетается съ моментами иного порядка—съ политикой, съ отзвукомъ русской революціи—бомбами, покушеніями, убійствами; главный персонажъ—полицеймейстеръ, но фантазія читателя предоставляется возвести его и въ высшій рангъ, хоть въ андреевскаго „губернатора“, что ли, только съ тою разницей, что Андреевъ далъ своему герою серьезныя и трагическія очертанія, а Горькій задумалъ нѣчто пошлое, жалкое и бессмысленно-жестокое. Сочетаніе психологіи и публицистики, какъ и вообще сочетаніе Чехова и Горькаго, у послѣдняго сдѣлано чисто-механически, а такъ какъ люди не механизмы, то живыхъ людей въ своей пьесѣ онъ и не показалъ.

Другое произведеніе сборника—романъ Кнута Гамсуна „Бенони“, въ переводѣ гг. Ганзенъ. Послѣ узости и связанности Горькаго отдыхаешь на этой шире. Такъ много воздуха, свободы, простора. Гамсунъ легко входитъ въ простыя, несложныя души людей и любовно изображаетъ ихъ—особенно этого Бенони, почтаря, который неожиданно разбогатѣлъ, о, и бѣдный, и богатый, одинаково и смиренно любилъ одну дѣвушку, озу,—не ему, ни бѣдному, ни богатому, досталась эта Роза, а тому, кто ея не любилъ, кто ее покинулъ. Въ трогательномъ и ласковомъ эсказѣ о Бенони есть медлительность, длинноты, повторяются однѣ и

тѣ же или очень сходныя ситуаціи, но этотъ задержанный темпъ легко прощаешь, оттого что онъ даетъ возможность подольше оставаться въ прекрасномъ мірѣ Гамсуна. Норвежскій писатель рисуетъ свѣтлую картину простодушія, и замѣчательная особенность его въ томъ, что и самъ онъ, не только его герои, простодушенъ, хотя онъ и старается скрыть это подъ слоemъ тонкаго юмора и лукавства. Онъ подѣтски внимателенъ ко всему и все съ удовольствіемъ замѣчаетъ, раздѣляетъ невинное тщеславіе невинныхъ людей; онъ—всегда свѣтлый и свѣжій, и эта великая наивность, эта живая непосредственность внутренне соединена у него съ утонченностью: именно въ этомъ—плѣнительное своеобразие Гамсуна. Такъ далеко, на высоты духа, подъ сѣнь ироніи, уйти со своей грубой родины, отъ всѣхъ этихъ лопарей, и въ то же время родинѣ не измѣнить, сохранить съ ней живую и радостную связь, не заглушить въ себѣ лопаря—это въ высокой степени дано нашему автору. Ушелъ простымъ, вернулся талантливымъ,—и не зазнался...

Ю. Айхенвальдъ.

Литературно-художественные альманахи изд. „Шиповникъ“. Книга пятая. Стр. 240. Ц. 1 р. Напечатанная здѣсь трагедія Шаломъ Аша „Саббатай Цеви“ представляетъ собою скучную риторику,—наборъ приподнятыхъ словъ, нисколько не проникающихъ въ психологию знаменитаго Лже-Мессіи XVII в. Кромѣ развѣ діалога между Леей и Рахилью, отвергнутыми женами Цеви, все остальное приходится не столько читать, сколько преодолевать.

Почти то же надо замѣтить о „драматическомъ пейзажѣ“ С. Сергѣева-Ценскаго „Береговое“. Онъ написанъ такъ вычурно, сближенія далекихъ моментовъ сдѣланы такъ искусственно (море по утру лежатъ въ „просторномъ, мягкомъ, голубомъ съ лентами и кружевами“; „у него было лицо какъ широкая захолустная улица днемъ, лѣтомъ“; „у нея лицо было, какъ сѣтъ узкихъ тупиковъ и переулковъ“; „горы стояли горячія, какъ выдержанные въ конюшняхъ жеребцы“), одно присоединено къ другому такъ насильственно и напряженно, что въ результатѣ возникаетъ нѣчто совсѣмъ непонятное,—по крайней мѣрѣ, такое недоумѣвающее впечатлѣніе вынесъ пишушій эти строки. Правда, и въ хитросплетеніи вычуръ вплелись отдѣльныя нити яркаго таланта, и мы не откажемъ себѣ въ удовольствіи выписать у г. Ценскаго одинъ отрывокъ, напоминающій знаменитыя гоголевскія сравненія:

„Утро протиснулось въ ночь тихо и неловко, чуть краснѣя, какъ сквозь густую толпу черныхъ мужиковъ въ сельской церкви протискиваются ближе къ алтарю одѣтыя въ бѣлое барышни, дочери помѣщика. Отъ мужиковъ рабій запахъ овчинъ, хлѣбовъ, земли и несмытаго пота, плотно стоятъ они плечомъ къ плечу, и плечи все широкія, спины крутыя, сутулыя, лубкомъ. Много глазъ въ темныхъ впадинахъ, и барышни знаютъ, что косятся они на нихъ, бѣдыхъ, за то, что пришли онѣ среди службы, и вотъ мѣшаютъ, толкаютъ, идутъ впередъ—къ алтарю на свое мѣсто... „И у Бога-то мѣсто купили!“ Знаютъ барышни, что именно такъ думаютъ о нихъ эти черные, и оттого имъ неловко, и оттого онѣ краснѣютъ, спѣшать, глядятъ только внизъ, въ ноги, обѣими руками подбирая платье. Но отъ нихъ сразу становится свѣтлѣе въ церкви, отъ нихъ у діакона, нетрезваго и стараго, мягче и точнѣе звучитъ холеный когда-то басы, отъ нихъ веселѣе служба, и подъ куполомъ церкви, тамъ, гдѣ золотыя, старенькія звѣзды на синемъ полѣ какъ-то просторнѣе и выше, и теплѣе кажется кругомъ оттого, что пришли и стали у алтаря онѣ, молодыя, бѣлыя, хрупкія“.

Но талантъ обязываетъ, „прекрасное должно быть величаво“, и потому хорошо было бы, если бы г. Ценскій занялся чѣмъ-нибудь болѣе достойнымъ себя, чѣмъ это „Береговое“, которое въ большей своей части представляетъ собою только литературное жонглерство—можетъ быть, и очень ловкое, но чуждое истинной красоты.

Плодовитый Леонидъ Андреевъ помѣстилъ въ данномъ выпускѣ альманаха „Разсказъ о семи повѣщенныхъ“. Заглавный листъ этого произведенія снабженъ орнаментомъ изъ висѣлицъ и висѣльниковъ. Такимъ образомъ, и художникъ, и писатель дѣлаютъ изъ современнаго русскаго кошмара сюжетъ, изъ смертной казни—виньетку. Въ этомъ одномъ уже есть нѣчто кощунственное. И читателю трудно идти по стопамъ автора, трудно разбирать его повѣствованіе съ эстетической точки зрѣнія. Но если ужъ это дѣлать, если забыть жизнь и помнить беллетристику, то надо сказать, что факты, описанные г. Андреевымъ, производятъ впечатлѣніе жуткое и страшное, но психологія его, за исключеніемъ отдѣльныхъ штриховъ, какъ всегда у нашего писателя, неубѣдительна и необязательна. Есть много придуманнаго, сочиненнаго и, совѣстно признаться, скучнаго. Ничего не прибавлено къ тому, что сдѣлали въ этой ужасной области Достоевскій и Толстой. Когда читаешь у послѣдняго въ „Божескомъ и человѣческомъ“ описаніе предсмертныхъ настроеній Свѣтлогуба и его послѣднихъ минутъ на эшафотѣ, то мучительно чувствуешь все правдоподобіе этого описанія и не сопротивляешься великому автору. Не то съ Андреевымъ. Онъ чертитъ свои узоры; между ними есть искусные, напримѣръ, фигура Цыганка, или эта чернѣющая въ снѣгу стоптанная калоша Сергѣя; однако есть и ненужные; множество деталей, отсутствіе сосредоточенности такъ характерны для него. Впрочемъ, опять скажемъ—грѣшно прилагать къ этому разсказу эстетическое мѣрило. Производитъ онъ сильное впечатлѣніе, но трудно рѣшить, почему: благодаря ли искусству автора, или потому, что автора заслоняетъ здѣсь сама жизнь,—такая страшная, такая дикая, такая обильная смертью и, что неизмѣримо больше смерти, смертной казнью...

Ю. А.

ИСТОРИЯ.

Баронъ С. А. Корфъ. Исторія русской государственности.—М. Гершензонъ. Исторія молодой Россіи.—А. Сорель. Европа и французская революція.—Д. Ф. Пантелеевъ. Изъ воспоминаній прошлаго. Кн. II.

Баронъ С. А. Корфъ. Исторія русской государственности. Спб., 1908 г. Стр. 273. Ц. 2 р. 50 к. Насколько можно судить по первому выпуску новаго труда бар. С. А. Корфа, авторъ поставилъ себѣ интересную задачу—разсмотрѣть основныя общіе принципы русской государственности въ ихъ историческомъ развитіи. Первый выпускъ охватилъ древнѣйшій періодъ русской исторіи до возникновенія московскаго государства; до какого хронологическаго предѣла авторъ намѣренъ продолжить свою работу, пока остается неизвѣстнымъ. Книга бар. Корфа явилась бы крупнымъ приобрѣтеніемъ нашей исторической литературы, если бы авторъ сумѣлъ поставить свое изложеніе въ уровень съ важностью и интересомъ избранной имъ темы. Къ сожалѣнію, приходится признать, что авторъ совсѣмъ не стоитъ на высотѣ своей задачи: въ книгѣ гораздо больше претензіи, нежели настоящаго научнаго содержанія. Характерна одна особенность: въ книгѣ удѣляется немало мѣста

подробнымъ разсужденіямъ о гипотетическихъ процессахъ начальной эпохи русской исторіи, о которыхъ у насъ не имѣется почти никакихъ документальныхъ данныхъ, и, наоборотъ, — касаясь процессовъ, протекавшихъ при полномъ свѣтѣ исторіи, авторъ нерѣдко добровольно обходитъ фактическія указанія источниковъ, довольствуясь общими логическими соображеніями. Тамъ, гдѣ источники даютъ намъ одни отрывочные, неясные и слишкомъ скудные намеки, авторъ хочетъ быть точнымъ и обстоятельнымъ и охотно устанавливаетъ въ своемъ изложеніи различныя фактическія детали; а подходя къ позднѣйшей эпохѣ, обильно иллюминированной разнообразными документальными указаніями, онъ вдругъ отвергивается отъ фактическихъ данныхъ, начинаетъ быстро скользить по своимъ матеріаламъ и спѣшно набрасываетъ схемы слишкомъ общаго и отвлеченнаго характера. Легко понять, что подобныя приемы работы не могли дать плодотворныхъ результатовъ. При чтеніи книги бар. Корфа не разъ приходится отмѣчать необоснованные выводы и противорѣчивую аргументацію. Древнѣйшій періодъ русской государственности авторъ характеризуетъ какъ господство волостныхъ организацій. Древняя волость еще до появленія варяжскихъ князей была уже „вполнѣ оформившимся общественнымъ организмомъ“, обладая—по выраженію автора— „всеми реквизитами государственности“. Пришлые варяжскіе князья на первыхъ порахъ явились лишь стороннимъ придаткомъ къ этому законченному организму, князьями-наемниками, опредѣлявшими свои отношенія къ волостямъ на началѣ договора. Верховнымъ органомъ волости было вѣче, а князь являлся лишь наемнымъ военнымъ защитникомъ волости. Только путемъ медленнаго, вѣковаго процесса князь „осѣлъ“ въ волости, вдвинувшись органическимъ звеномъ въ составъ волостнаго государственнаго устройства. За исключеніемъ кое-какихъ второстепенныхъ подробностей, эта схема не отличается, конечно, новизною и своеобразиемъ. Но, развивая эту схему, авторъ вноситъ немало туманной путаницы въ картину древнихъ государственныхъ отношеній; онъ не любитъ держаться осязательной почвы фактовъ и предпочитаетъ парить надъ фактами въ безбрежномъ просторѣ общихъ разсужденій; на повѣрку оказывается, что въ этомъ просторѣ нетрудно столкнуться съ самимъ собой. Вотъ примѣры. Авторъ много разсуждаетъ о „градскихъ старцахъ“ древнѣйшей Руси и ихъ политической роли. Признавъ въ градскихъ старцахъ торговую аристократію, онъ на стр. 33 говоритъ, что „это не былъ правительствующій классъ, а правящіе индивидуумы“, такъ какъ „въ ихъ среду могъ проникнуть всякій, кому улыбнется счастье“. Опредѣленіе какъ будто странное: вѣдь классъ—не каста, отличительной чертой которой является полная замкнутость личнаго состава; на слѣдующей страницѣ однако говорится о руководящей роли на вѣчѣ градскихъ старцевъ, какъ класса торговой аристократіи. Что же такое „старцы“—классъ или индивидуумы (терминологія автора)—такъ и остается неизвѣстнымъ. Столь же сбивчиво характеризуется древняя дружина. На стр. 121 дружинникъ—свободный *слуга* князя, *воинъ-наемникъ*, подряжающійся къ князю за возможно большее вознагражденіе; на стр. 122 оказывается, что къ княжеско-дружиннымъ отношеніямъ „непримѣнимо слово служба“, такъ какъ дружинники служили только себѣ самимъ, князья же признавали лишь атаманомъ, *primus in paces*. И мы опять въ недоумѣніи, что же такое „дружина“ по мнѣнію бар. Корфа—собраніе вольнонаемныхъ слугъ или военное товарищество? Или, быть можетъ, нашъ авторъ склоненъ отождествлять столь разнородныя понятія? Такихъ противорѣчій въ разбираемой книгѣ немало.

Любопытно отмѣтить также, съ какой свободой авторъ „конструируетъ“ процессы, совершенно неизвѣстные намъ изъ источниковъ. На стр. 117 оказывается, что подъ старшими дружинниками, „мужами и боярами“ разумѣлись дружинники-варяги, а подъ младшею дружиной—„дѣтскими“ и „отроками“ разумѣлись позднѣе примкнувшіе къ дружинамъ славяне. Столь же неожиданно утвержденіе (стр. 135) о томъ, что боярская земельная собственность появилась гораздо раньше княжеской, а княжескія имѣнія стали появляться только къ концу XII вѣка! Бар. Корфъ забылъ и о „селахъ“ кн. Ольги (село Ольжичи) и о селѣ Будятинѣ, принадлежавшемъ матери Владиміра св., и о „селахъ“ Владиміра Мономаха, и о многочисленныхъ лѣтописныхъ извѣстіяхъ о княжескихъ селахъ за все время XII столѣтія задолго до конца этого вѣка. Какъ согласить такую забывчивость съ указаніемъ автора въ предисловіи на то, что онъ обратилъ „особое вниманіе на тѣ результаты, которые достигнуты современной наукой въ области изученія древнихъ лѣтописей“?

Большой запутанностью отличаются разсужденія автора о вліяніи монгольскаго ига на развитіе русской государственности. Бар. Корфъ придаетъ этому вліянію большое значеніе и полагаетъ, что установленіе ига открыло совершенно новый періодъ въ исторіи русскаго государственнаго порядка. Читатель въ правѣ былъ бы ожидать, что авторъ подкрѣпитъ свой взглядъ изслѣдованіемъ основныхъ государственныхъ институтовъ въ Россіи того времени съ принятой имъ точки зрѣнія, но вмѣсто такого изслѣдованія мы встрѣчаемъ широковѣщательныя общія фразы вродѣ слѣдующей: „монгольское нашествіе, вызвавъ укрѣпленіе государственной власти славянской волости (?), тѣмъ самымъ способствовало развитію процесса (отчего не просто „развитію“ или просто „процессу“?) дифференціаціи волостного населенія“ (стр. 189—190). Что кроется за этими пышными обобщеніями? Нѣчто чрезвычайно сбивчивое и неопредѣленное. Сбивчивость доходитъ до того, что на стр. 192 авторъ открываетъ „пожалованные договоры“! „Начиная съ XIV столѣтія,—пишетъ бар. Корфъ,—отношенія боярина къ князю выливались въ форму письменныхъ *договоровъ*, извѣстныхъ подъ именемъ *жалованныхъ грамотъ*“ и далѣе, на стр. 193: „*договорныя грамоты жаловались*“ боярямъ. Бар. Корфъ, какъ видно, ревностный ученикъ проф. Сергѣевича: въ предисловіи къ своей книгѣ онъ, не обинуясь, сравниваетъ положеніе проф. Сергѣевича въ наукѣ исторіи русскаго права съ положеніемъ Канта въ философіи. Одобрить ли русскій Кантъ своего поклонника, смѣшивающаго „договоръ“ съ „пожалованіемъ“, дружинное товарищество съ наемной службой и т. п.? Мы остановились на разбираемой книгѣ только потому, что она принадлежитъ автору основательнаго изслѣдованія по исторіи дворянства, писателю, уже имѣющему нѣкоторую извѣстность въ специальной литературѣ. Мы были удивлены, открывъ въ новой книгѣ этого автора столь дилетантское отношеніе къ затронутымъ имъ важнымъ научнымъ вопросамъ и не считали себя въ правѣ скрыть этого удивленія отъ читающей публики, для которой авторъ предназначилъ свою книгу.

А. Кизеветтеръ.

М. Гершензонъ. Исторія молодой Россіи. М., 1908 г. Стр. 315. Ц. 1 р. 50 к. М. О. Гершензонъ—писатель интересный, содержательный и изящный. Избравъ предметомъ своихъ специальныхъ изслѣдованій исторію русской общественной мысли и, главнымъ образомъ, первой половины XIX столѣтія, онъ не довольствуется установившимися шабло-

нами и не хочет идти давно проторенными путями. Его работы проникнуты ищущей энергией мысли и потому-то онъ не могутъ пройти незамѣченными. Въ *Русской Мысли* была своевременно отмѣчена не такъ давно вышедшая книга этого автора о Чаадаевѣ, по справедливости возбудившая общее вниманіе. Вскорѣ за ней послѣдовала другая книга, заглавіе которой выписано выше. „Исторія молодой Россіи“ представляетъ собою сборникъ психологическихъ портретовъ крупныхъ и характерныхъ представителей русскаго общества 20—40 годовъ. М. О. Орловъ и семейство Раевскихъ, Печеринъ, Станкевичъ, Грановскій, Галаховъ, Огаревъ проходятъ передъ нами, вдумчиво, тонко и артистично очерченные изящнымъ перомъ нашего автора. Это—не вѣшняя живопись. У каждаго изъ своихъ героев авторъ подслушалъ интимную душевную повесть и умѣлой рукой приподнялъ надъ нею завѣсу передъ взорами читателя. Большую услугу оказало при этомъ М. О. Гершензону обширное знакомство съ подлинными письмами людей изучаемой имъ эпохи. Въ каждомъ очеркѣ авторъ приводитъ изъ этого матеріала интересныя неизданныя ранѣе данныя, а одинъ изъ очерковъ, посвященный Печерину, почти сплошь представляетъ собою совершенно свѣжий матеріалъ, воспроизводящій передъ нами отчетливо и ярко незаурядную личность этого своеобразнаго человѣка. Съ наслажденіемъ и не отрываясь прочтеть всякій эти талантливыя очерки. Самъ авторъ смотритъ однако на свою книгу не какъ на простой сборникъ психологическихъ портретовъ. Его задача—написать „Исторію молодой Россіи“, а въ послѣдовательномъ соединеніи индивидуальныхъ характеристикъ онъ усматриваетъ особый методъ изученія исторіи общественной мысли. Въ защиту этого метода онъ ссылается на то соображеніе, что общество, какъ цѣлое, есть абстракція, а не реальность, и, лишь имѣя дѣло съ составляющими общество индивидуальными личностями, мы поставимъ изученіе и самаго общества на реальную основу. Недостаточность такой аргументаціи очевидна. Въдъ въ своихъ индивидуальныхъ личностяхъ авторъ самъ стремится олицетворить цѣлыя моменты общественнаго развитія, а при выборѣ для своихъ очерковъ тѣхъ, а не иныхъ героев, онъ уже руководствуется нѣкоторой общей схемой этого развитія, выведенной независимо отъ біографическаго изученія этихъ именно лицъ. Психологическія біографіи оказываются наповѣтрку лишь иллюстраціей предварительно сдѣланныхъ авторомъ общихъ выводовъ. И когда мы начинаемъ смотрѣть на книгу М. О. Гершензона съ этой точки зрѣнія, навязываемой намъ самимъ авторомъ, мы чувствуемъ, что порождено сознаніемъ явной несостоятельности того употребленія, какое хотѣлъ сдѣлать изъ этихъ очерковъ ихъ составитель. Схема общественнаго развитія, выставленная М. О. Гершензономъ, представляется намъ истинно общественной, а приводимые имъ для иллюстраціи этой схемы примѣры отъ браны на нашъ взглядъ довольно произвольно. Почему типъ декабриста есть типъ человѣка, которому „внутри себя нечего дѣлать“ и который поэтому весь обращенъ наружу? Почему типичными представителями поколѣнія декабристовъ избираются Раевскіе и Орловъ, лишь космъ захваченные „декабристскимъ“ движеніемъ? Почему для персонификаціи общественнаго теченія, пошедшаго отъ Станкевича, Грановскій предпочесть Бѣлинскому, а Огаревъ—Герцену? Всѣхъ этихъ вопросовъ мы ставили бы М. О. Гершензону, если бы онъ не заставлялъ насъ бѣ изъ его книги болѣе того, чѣмъ тамъ находится, если бы онъ не являлъ собранія своихъ очерковъ „исторіей“ молодой Россіи. Теперѣ

эти вопросы выдвигаются сами собой, и намъ думается, что въ отвѣтъ на нихъ авторъ можетъ сослаться только на произволь своего личнаго вкуса.

А. Кизеветтеръ.

А. Сорель. Европа и французская революція. Переводъ съ французскаго. Томъ седьмой. Континентальная блокада. Великая имперія. Томъ восьмой. Коалиція. Трактаты 1815 г. Изданіе Пантелъева. Спб., 1908 г. Цѣна за 7-й и 8-й томы 5 р. 50 коп. Вышедшіе въ текущемъ году въ русскомъ переводѣ седьмой и восьмой томы „Европы и французской революціи“ заключаютъ собою громадную работу Сореля, явившуюся въ результатѣ тридцатилѣтняго труда (1874—1904 г.) и поставившую имя автора въ изученіи великой революціи на одно мѣсто съ именами Токвиля, Зибеля, Тена и Олара. Седьмой томъ обнимаетъ время отъ 1806 по 1812 г., восьмой—отъ 1812 по 1815 г. и заканчивается вѣнскимъ конгрессомъ. Сорель изучаетъ въ своемъ громадномъ трудѣ, главнымъ образомъ, исторію внѣшнихъ отношеній въ эпоху великой революціи, но несмотря на такую, казалось бы, сухую тему, его книга читается съ глубокимъ интересомъ, потому что за войнами и дипломатическими переговорами у него всюду видны внутреннія силы, вызывавшія ихъ и руководившія ими. Въ огромномъ спорѣ изъ-за границъ, какимъ была, по признанію Сореля, эпоха революціонныхъ войнъ, онъ не только отмѣтилъ основныя тенденціи внѣшней политики каждаго изъ государствъ тогдашней Европы, но и выяснилъ, въ силу какихъ историческихъ основаній они явились такими, а не иными; въ этомъ отношеніи его книга является единственной среди всѣхъ книгъ, которыя когда-либо писались о внѣшней политикѣ.

По своему основному методу Сорель является ученикомъ Токвиля: въ революціи онъ видитъ порожденіе силъ, скопившихся въ предшествовавшей ей исторіи Франціи; поэтому революція, въ его глазахъ, является не столько разрывомъ и историческимъ прошлымъ, сколько его непосредственнымъ продолженіемъ, въ которомъ основныя тенденціи старины выразились даже болѣе ярко, чѣмъ онѣ выражались раньше. „Всѣ идеи и духъ войнъ времени революціи,—пишетъ Сорель,—какъ ихъ вели французы, обнаруживаются въ крестовыхъ походахъ, начиная съ перваго, предпринятаго самопроизвольно самимъ народомъ, который совершалъ шумный крестный ходъ для освобожденія святыхъ мѣстъ, и кончая тѣми, которые на-ряду съ священными цѣлями прилетали политическіе расчеты... Тѣмъ же духомъ и идеями проникнуты войны для завоеванія Неаполя и въ эпоху возрожденія, и во время революціи“. Будучи порожденіемъ старины, революція, по мнѣнію Сореля, съ другой стороны имѣетъ связи и съ будущимъ: она завѣщала XIX вѣку рѣзко подчеркнутый ею принципъ національности, и именно со времени революціи борьба народовъ за право управлять собою независимо отъ всякихъ внѣшнихъ вліяній стала однимъ изъ основныхъ содержаній внѣшней политики Европы, ибо „принципъ духовной власти націи“ былъ первые провозглашенъ Франціей во время великой революціи.

Однимъ изъ наиболѣе крупныхъ достоинствъ книги Сореля является то, что она вполне объективна и въ ней нѣтъ пристрастія къ родинѣ; ей чуждъ и апологетическій тонъ раннихъ историковъ великой революціи, видѣвшихъ въ ней только героическую борьбу народа про-являющаго политическаго деспотизма и соціальныхъ несправедливостей, и рѣзко ждебный по отношенію къ революціи, исполненный страстныхъ напа-тъ на нее тонъ Тена. Сорель не старается возвеличить ни отдѣльныя

парти, ни отдѣльныхъ личностей, какъ это дѣлали раньше Мишле, Ламартинъ и Минье,—ко всѣмъ партиямъ и лицамъ онъ относится съ возможной вообще для историка научностью и безпристрастиемъ. Это должно вѣнчаться французскому историку тѣмъ въ большую заслугу, что Сорель является горячимъ французскимъ патриотомъ, заинтересованнымъ въ судьбахъ Франціи не только съ научной точки зрѣнія. „Я потратилъ тридцать лѣтъ жизни на эту книгу,—такими словами заключаетъ онъ свой трудъ,—и старался выразить словами свою любовь къ моей родинѣ, свое поклоненіе передъ ея гениемъ, свое преклоненіе передъ ея исторіей, свое умиленіе передъ ея иллюзіями, свою скорбь объ ея несчастіяхъ, свою гордость ея побѣдами и свою непоколебимую вѣру въ ея судьбы“.

Помимо научныхъ достоинствъ за Сорелемъ должно быть признано достоинство первокласснаго психолога: французъ времени великой революціи встаетъ передъ читателемъ живымъ, конкретнымъ образомъ, животноворящимъ книгу психологической вѣрностью изображенія.

Это не только герой, „идушій защищать свое отечество, изгнать иностранцевъ изъ королевства, основать для французовъ французскую республику, повѣдать новое евангеліе народамъ, жаждущимъ справедливости“, но и „солдатъ по влеченію или по ремеслу, вооружившійся ради величія этой республики и порожденной ею имперіи, ради благодѣтельнаго верховенства Франціи“; „бѣдняга, не шадившій души и тѣла въ погонѣ за честью и славой, изможденный, больной, изувѣченный, усѣивающій пути кусками своихъ искалѣченныхъ членовъ“.

Книга Сореля не можетъ быть рекомендована широкимъ слоямъ читающей публики уже по однимъ своимъ размѣрамъ: въ ней 8 томовъ отъ 400 до 500 страницъ въ каждомъ; но для тѣхъ, кто пожелаетъ детально ознакомиться и съ внѣшними отношеніями Франціи къ Европѣ, и съ духомъ французской революціи она явится единственнымъ и незаменимымъ пособіемъ. Переводъ вполне удовлетворителенъ.

В. Перцевъ.

Л. Ф. Пантелѣевъ. Изъ воспоминаній прошлаго. Книга II. Спб., 1908 г. Стр. 273. Ц. 1 р. 25 к. Воспоминанія г. Пантелѣева относятся къ далекой эпохѣ ожесточенной борьбы русскаго правительства съ революціонно-политическимъ движеніемъ въ Польшѣ, отголоскомъ только что подавленнаго возстанія 1863 г. Въ концѣ 1864 года авторъ, преданный офицеромъ-полякомъ, членомъ революціонной организаціи, открьвшимъ на дознаніи принадлежность г. Пантелѣева къ обществу „Земля и Воля“ и сношенія его съ польскими революціонерами, былъ арестованъ и увезенъ изъ Петербурга въ Вильно. Тамъ онъ былъ брошенъ въ „Доминиканы“,—тюрьму для политическихъ, откуда въ то время, при муравьевскомъ режимѣ, дорога всего чаще вела на эшафотъ или на каторгу. Просто, безъ сгущенія красокъ, описываетъ г. Пантелѣевъ свои первыя тюремныя впечатлѣнія, сцены безконечныхъ мучительныхъ допросовъ, сопровождавшихся угрозами, неожиданными очными ставками съ предателемъ и иными приемами безпощаднаго давленія на безъ то угнетенную психику узника, внезапно вырваннаго изъ родной обстановки и попавшаго въ руки не знающаго пощады врага.

Подробно рисуя тюремный бытъ со всѣми специфическими чертами и времени, г. Пантелѣевъ знакомитъ читателя также съ характерными фигурами невольныхъ обитателей „Доминиканъ“, польскихъ и встанцевъ. Среди заключенныхъ были, впрочемъ, на-ряду съ революціонерами-націоналистами, вполне мирные обыватели, привлекавшіеся въ

время ретивыми агентами Муравьева по доносу перваго встрѣчнаго. Авторъ съ удивленіемъ останавливается передъ необыкновенной живостью темперамента и жизнерадостностью польской натуры. Обреченные на вѣрную каторгу, заключенные, сходясь иногда въ общую камеру, предавались беззабѣтному веселію—съ увлеченіемъ пѣли патріотическія пѣсни и вдохновенно, съ удивительнымъ мастерствомъ исполняли національный танецъ—мазурку.

Г. Пантелѣвъ, несмотря на отказъ офицера-предателя отъ своихъ показаній, былъ приговоренъ военнымъ судомъ къ каторжнымъ работамъ. Нѣкоторое время онъ провелъ въ Петербургѣ, въ пересыльной тюрьмѣ, къ каковому времени относятся любопытныя воспоминанія автора о нѣкоторыхъ сильныхъ міра сего, съ которыми ему приходилось сталкиваться, особенно о кн. Суворовѣ, изображаемомъ авторомъ въ симпатичномъ свѣтѣ. Не менѣе тюремныхъ воспоминаній, интересны также дорожныя впечатлѣнія автора. Въ петербургской пересыльной тюрьмѣ и въ дорогѣ ему приходилось сталкиваться съ многочисленными участниками польскаго патріотическаго движенія, непрерывной лентой тянувшимися изъ западныхъ губерній на дальній востокъ, въ сибирскіе свѣта. Г. Пантелѣвъ отмѣчаетъ рѣзкую взаимную вражду „умѣренныхъ“ и „красныхъ“ польскихъ революціонеровъ, приводившую въ иныхъ случаяхъ къ форменнымъ побоищамъ. Среди первыхъ авторъ встрѣтилъ отъявленныхъ реакціонеровъ—крѣпостниковъ, возмущавшихся отѣвѣной полицейской власти помѣщиковъ, установленіемъ обязательныхъ крестьянскихъ надѣловъ и пр. Кромѣ соціальной реакціонности отличалъ ихъ отъ „красныхъ“ также клерикальный фанатизмъ. Заканчиваетъ свои воспоминанія г. Пантелѣвъ описаніемъ своего водворенія въ мѣстѣ ссылки, коей ему была замѣнена каторга, откладывая до другого раза описаніе своего восьмилѣтняго житія въ Енисейской губ.

Во время своего пребыванія въ „Доминиканахъ“ авторъ былъ свидѣтелемъ позорнаго слѣдствія по нашумѣвшему въ то время „пожарному дѣлу“, придуманному агентами Муравьева съ явной цѣлью создать себѣ на немъ карьеру. Група поляковъ во главѣ съ Ст. Будревичемъ была обвинена ими въ поджогахъ съ непонятными политическими цѣлями. Къ „Воспоминаніямъ“ г. Пантелѣва приложено въ концѣ книги въ высшей степени интересное повѣствованіе Будревича, раскрывающее всю подоплеку этого невѣроятнаго слѣдствія. Военная слѣдственная коммиссія воспользовалась услугами двухъ поляковъ-подростковъ, оговорившихъ цѣлый рядъ ни въ чемъ неповинныхъ лицъ. Обвиняемымъ не давали возможности оправдываться, уличать доносчиковъ въ лживости ихъ показаній на часто устраивавшихся коммиссіей очныхъ ставкахъ. Будревича держали въ строго одиночномъ заключеніи безъ книгъ, табаку, прогулокъ, лишили даже стола и стула—все съ цѣлью вынудить признаніе въ мнимомъ преступленіи. Семья его, изгнанная изъ роднаго имѣнія, вела голодное, нищенское существованіе и подвергалась всяческому униженіямъ со стороны властей, требовавшихъ, наприм., чтобы жена Будревича, знавшая только польскій языкъ, объяснялась съ ними и съ мужемъ на свиданіяхъ по-русски. Усилія коммиссії, однако, ни къ чему не привели: доносчики въ концѣ-концовъ сознались во лжи, и военный судъ вынужденъ былъ оправдать ложно оговоренныхъ. Всего же характернѣ эпизодъ пожарной эпопеи: оправданные судомъ „поджигатели“ были, распоряженіемъ начальника края Кауфмана, смѣнившаго Муравьева, сосланы въ Сибирь,—повидимому, въ награду за незаслуженныя тяжкія страданія...

Г. Пантелѣевъ описываетъ въ „Воспомяніяхъ“ также свои встрѣчи съ Салтыковымъ и Чернышевскимъ—до и послѣ своей ссылки. Не прибавляя ничего значительнаго къ тому, что уже имѣется въ литературѣ о нихъ, авторъ, однако, даетъ нѣкоторые любопытные штрихи и факты, драгоценные ужь однимъ тѣмъ, что касаются личностей двухъ крупнѣйшихъ дѣятелей нашей литературы и общественности.

Л. Шифъ.

СОЦИОЛОГІЯ, ПРАВОВѢДѢНІЕ.

Ж. Ж. Руссо. 1) О причинахъ неравенства. Перев. подъ ред. С. Н. Южакова. 2) Объ общественномъ договорѣ. Перев. подъ ред. Д. Е. Жуковского.—*Поль Дюбуа*. Пропорціональное представительство въ опытѣ Бельгіи.

Ж.-Ж. Руссо. О причинахъ неравенства. Переводъ съ французскаго Н. С. Южакова, подъ редакціей и съ предисловіемъ С. Н. Южакова. Библіотека „Свѣточа“, подъ редакціей С. А. Венгерова. Спб., 1907 г. Ц. 75 к. Жанъ-Жакъ Руссо. Объ общественномъ договорѣ. Переводъ Л. Неманова, подъ редакціей Д. Е. Жуковского. Спб., 1907 г. Ц. 75 к. Въ этихъ двухъ книгахъ изложены социальныя и политическія взгляды Руссо; въ нихъ онъ является защитникомъ двухъ основныхъ идей, борьбой за которыя наполнена эпоха великой революціи и весь XIX в.: въ первой книгѣ („О причинахъ неравенства“)—защитникомъ экономическаго равенства и горячимъ противникомъ частной собственности, въ которой онъ видитъ главную причину неравенства между людьми; во второй („Объ общественномъ договорѣ“)—защитникомъ политической свободы, которую онъ понимаетъ, однако, довольно своеобразно,—какъ полное отчужденіе правъ личности въ пользу верховной власти народа. Историческое значеніе обоихъ указанныхъ сочиненій Руссо громадно и далеко выходитъ за предѣлы ближайшей къ Руссо эпохѣ. На нихъ получили свое политическое воспитаніе самыя разнообразныя дѣятели Европы и Америки; несмотря на все различіе въ своихъ взглядахъ и стремленіяхъ, Руссо называли своимъ учителемъ Мирабо, Лафайетъ, Робеспьеръ, Франклинъ, Вашингтонъ, Джеферсонъ и многіе другіе. Даже Наполеонъ I при всемъ своемъ презрѣніи къ политическимъ идеологамъ говорилъ, что если бы не было Руссо, то не было бы и французской революціи. И въ настоящее время Руссо далеко еще не отошелъ въ область исторіи, и вокругъ его имени отъ времени до времени вспыхиваетъ самая ожесточенная борьба. Причина такого исключительнаго вниманія къ Руссо заключается въ томъ, что этотъ социальный консерваторъ, звавшій къ стариннымъ формамъ натурального, самодовлѣющаго хозяйства и къ примитивнымъ чувствамъ первобытнаго времени,—былъ въ то же время провозвѣстникомъ совершенно новыхъ, воспринятыхъ только въ XIX столѣтіи принциповъ и точекъ зрѣнія. Изъ всѣхъ крупныхъ мыслителей Франціи XVIII вѣка онъ одинъ поднималъ социальный вопросъ и въ то время, какъ умы всѣхъ выдающихся писателей того времени были заняты лишь политическими вопросами, указавъ, что причины общественнаго зла лежатъ глубже политическихъ формъ и коренятся въ экономической структурѣ общества.

Острые даже и для современности вопросы, которые ставитъ Руссо въ своихъ разсужденіяхъ „о причинахъ неравенства“ и „объ общественномъ договорѣ“, дѣлаютъ эти знаменитыя сочиненія французскаго мыслителя интересными и для насъ, и притомъ не только съ исторически

точки зрѣнія. Поэтому ознакомленіе съ ними можно смѣло рекомендовать.

Переводу разсужденія „о причинахъ неравенства“ предшествуетъ статья С. Н. Южакова, выясняющая общій характеръ литературной дѣятельности Руссо; кромѣ того, къ книгѣ приложено „Письмо Ж.-Ж. Руссо къ Филополису“ (псевдонимъ извѣстнаго женевского метафизика и натуралиста Ш. Бонне), заключающее въ себѣ критику „общественнаго состоянія“ человѣчества (въ противоположность „естественному состоянію“). Переводъ „Общественнаго договора“ сдѣланъ съ новѣйшаго (лучшаго) французскаго изданія Жоржа Болавона и снабженъ цѣнными примѣчаніями французскаго издателя. Къ „Общественному договору“ приложенъ отрывокъ изъ „Исповѣди“ Руссо и библиографическій указатель, содержащій въ себѣ перечень главныхъ сочиненій самого Руссо, а также иностранную и русскую литературу о Руссо.

Переводъ обоихъ сочиненій сдѣланъ вполне удовлетворительно.

В. Перцевъ.

Поль Дюбуа. Пропорціональное представительство въ опытѣ Бельгіи. Пер. И. Блинова и З. Дзичканецъ. Спб., 1908 г. Стр. 169. Ц. 90 к. Авторъ—горячій сторонникъ пропорціональнаго представительства и пропагандируетъ введеніе его во Франціи. Сначала онъ излагаетъ самый механизмъ новой бельгійской системы пропорціональнаго представительства, которую онъ предпочитаетъ всѣмъ другимъ. Нельзя сказать, чтобы это изложеніе было очень ясно, въ чемъ, впрочемъ, кажется, слѣдуетъ винить иногда больше переводчиковъ, чѣмъ автора.

Авторъ подробно разсматриваетъ результаты сдѣланнаго Бельгіей опыта и приходитъ къ заключенію, что они во всѣхъ отношеніяхъ были благодѣтельны. По его мнѣнію, пропорціональное представительство водворило миръ въ Бельгіи, помѣшало расколу между провинціями валлонскими и фламандскими, удовлетворило всѣ партіи, установивъ между ними равновѣсіе, и улучшило составъ парламента. Очень можетъ быть, что въ этомъ перечисленіи благодѣяній, оказанныхъ пропорціональнымъ представительствомъ, имѣется извѣстная доля увлеченія пропагандиста, что и опытъ былъ еще слишкомъ непродолжителенъ, чтобы изъ него можно было дѣлать неоспоримые выводы. Наконецъ, нѣкоторыя доказательства едва ли и логически правильны, какъ, напримѣръ, указаніе на улучшеніе состава парламента. Достоинство той или иной системы выборовъ можетъ опредѣляться лишь тѣмъ, даетъ ли она представительство, вѣрно выражающее общее настроеніе страны. А сужденіе о томъ, лучше или хуже составъ парламента, основывается почти всегда на субъективномъ личномъ или партійномъ мнѣніи о его практической дѣятельности, а не о томъ, соответствуетъ ли онъ среднему составу и направленію народныхъ массъ. Болѣе важное значеніе имѣетъ разборъ авторомъ возраженій противъ пропорціональнаго представительства. Однимъ изъ самыхъ серьезныхъ возраженій было указаніе на сложность этой системы. Но авторъ на основаніи опыта Бельгіи справедливо доказываетъ, что техническія трудности системы нисколько не затрудняютъ ни подачи голосовъ, ни подсчета ихъ. Изъ того же опыта видно, что и слишкомъ большое дробленіе партій, которымъ угрожали противники пропорціональнаго представительства, не имѣло мѣста на дѣлѣ. Говорилось также, что новая система будетъ препятствовать образованію сильнаго большинства въ парламентѣ и тѣмъ затруднитъ функционированіе парламентскаго режима. Но если бы это и было вѣрно, то „не болѣе ли логично,—

говорить авторъ,—предоставить двумъ главнымъ группамъ, силы которыхъ почти равны, одинаковое представительство, чѣмъ отдать все одной, не оставляя другой ничего? Не долженъ ли вопросъ справедливости стоять выше всѣхъ другихъ?“ Во всякомъ случаѣ, недостатки существующаго теперь почти всюду такъ называемаго „мажоритарнаго“ представительства настолько очевидны, что всякая попытка замѣнить его другой системой, ставящей своею задачею болѣе справедливое распредѣленіе депутатскихъ полномочій между представителями различныхъ партій, не можетъ не внушать сочувствія. Поэтому несомнѣнно можно пожелать возможно большаго распространения въ обществѣ знакомства съ такими попытками, а слѣдовательно и распространения способствующей этому знакомству книжки Дюбуа.

В. Дундъ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

Проф. В. Э. Денъ. Очерки по экономической географіи. Ч. I. Сельское хозяйство.— С. Прокоповичъ. Рабочее движеніе въ Германіи. 2-е изд.

Проф. В. Э. Денъ. Очерки по экономической географіи. Часть первая: Сельское хозяйство. Курсъ лекцій, чит. на экон. отд. Спб. политехнич. института. Спб., 1908 г. VI—387 страницъ. Цѣна 2 р. 50 к. Экономическая или хозяйственная географія, какъ ее понимаетъ проф. Денъ,—это наука, „ставящая себѣ цѣлью изученіе современнаго состоянія отдѣльныхъ отраслей хозяйственной жизни въ ихъ географическомъ распространеніи, а также тѣхъ физическихъ и культурныхъ условій, которыя такъ или иначе вліяютъ на каждую изъ этихъ отраслей“ (стр. 3); при этомъ, изучая состояніе отдѣльныхъ отраслей хозяйства, экономическая географія „должна дать не только факты, касающіеся данной отрасли, но и подвергнуть ихъ анализу съ точки зрѣнія господства тѣхъ или другихъ формъ“ (стр. 7). Вышедшая нынѣ первая часть курса проф. Дена содержитъ, прежде всего, нѣчто вродѣ общаго введенія, наиболѣе существенными частями котораго являются двѣ главы, посвященныя: одна—изложенію ученія о стадіяхъ хозяйственнаго развитія и о формахъ хозяйства, другая—общему хозяйственно-географическому обзору Россіи, а затѣмъ хозяйственно-географическую характеристику сельскаго хозяйства и ряда другихъ, тѣсно связанныхъ съ послѣднимъ, сторонъ экономической и соціальной жизни Россіи, до нѣкоторой степени—параллельно съ другими европейскими странами и съ Северо-Американскими Соединенными Штатами.

Въ своемъ теоретическомъ введеніи и въ частности въ главѣ его, посвященной ученію о стадіяхъ хозяйственнаго развитія и о формахъ хозяйства, авторъ воспроизводитъ, въ значительно переработанномъ видѣ, содержаніе двухъ своихъ болѣе раннихъ статей, напечатанныхъ въ свое время въ *Научномъ Словѣ* и въ *Извѣстіяхъ* политехническаго института. Въ ученіи о стадіяхъ хозяйственнаго развитія онъ старается согласовать взгляды Бюхера съ взглядами Зомбарта, въ ученіи о формахъ хозяйства онъ исходитъ изъ весьма существеннаго, предложеннаго Зомбартомъ, различія между техническимъ и экономическимъ принципами классификаціи. Въ отличіе отъ обоихъ названныхъ авторовъ, примѣнявшихъ понятіе о формахъ хозяйства исключительно къ области обрабатывающей промышленности, проф. Денъ предлагаетъ соотвѣствующую классификацію и для сельско-хозяйственной сферы. Беря въ основу тот.

же принципъ классификаціи, что и для обрабатывающей промышленности, проф. Денъ устанавливаетъ для сельскаго хозяйства, прежде всего, форму натурального хозяйства, затѣмъ вторую, соответствующую „городскому“ хозяйству Бюхера, потомъ третью, капиталистическую, въ двухъ основныхъ разновидностяхъ: и децентрализованной, съ мелкою технической формою предпріятія, и централизованной, допускающей одинаково мелкую, среднюю и крупную техническую форму (стр. 37—38). Проф. Денъ относитъ современное русское крестьянское хозяйство къ типу децентрализованнаго капиталистическаго предпріятія: „поскольку, — говоритъ онъ, — наше крестьянское хозяйство, работая на скупщиковъ, въ то же время впадо въ экономическую зависимость отъ послѣднихъ — а это имѣетъ мѣсто, вѣроятно, въ большинствѣ случаевъ, — оно представляетъ собою такое же капиталистическое предпріятіе, какъ и домашняя промышленность; но, какъ и послѣдняя, оно является представителемъ не второй, но первой стадіи капитализма, а именно децентрализованнаго капитализма“ (стр. 94).

Обстоятельный разборъ изложеннаго взгляда не можетъ, конечно, быть данъ въ рамкахъ краткой рецензіи. Намъ кажется однако, что, подводя *все* русское крестьянство подъ типъ децентрализованнаго капитализма, проф. Денъ впадаетъ въ такую же односторонность, какъ и тѣ, кто хотѣлъ бы видѣть въ крестьянскомъ хозяйствѣ нѣчто по существу отличное и противоположное капитализму. Вѣдь если относить къ капиталистическому типу *всякую* хозяйственную единицу, работающую на скупщика, то въ настоящее время на всемъ земномъ шарѣ не окажется ничего, кромѣ капиталистическихъ формъ хозяйства; общераспространенность же болѣе тѣсной экономической зависимости крестьянина отъ капиталиста не доказывается, а только предполагается проф. Деномъ („вѣроятно!“...) и едва ли; въ такой общей формѣ, можетъ быть доказана.

Характеристика русскаго сельскаго хозяйства, которую даетъ проф. Денъ въ послѣдующихъ главахъ своей книги, основывается, какъ оговариваетъ авторъ въ предисловіи, на статистическомъ матеріалѣ, почерпнутомъ, главнымъ образомъ, изъ официальныхъ изданій нашей правительственной статистики. Земскими изданіями авторъ, за однимъ, кажется, исключеніемъ (стр. 113), не пользовался, главнымъ образомъ въ виду ихъ географической разрозненности и неудобосравнимости, — обстоятельства, при наличности которыхъ „привлеченіе ихъ потребовало бы непосильнаго для единичнаго изслѣдователя черноваго статистическаго труда“ (пред., I). Несомнѣнно, работа проф. Дена отъ этого потеряла въ яркости красокъ и конкретности; если, конечно, сплошное использование земскихъ данныхъ было бы непосильно для единичнаго изслѣдователя, то во всякомъ случаѣ авторъ могъ бы использовать, въ видѣ дополненій и иллюстрацій къ своему основному матеріалу, работы тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ земствъ, съ особенною яркостью освѣщающія тѣ или иные вопросы нашей сельско-хозяйственной экономики и географіи.

Тѣмъ не менѣе, и въ тѣхъ рамкахъ, какія поставилъ себѣ авторъ, его работа обнимаетъ огромный матеріалъ и, что главное, представляетъ собой нѣчто весьма далекое отъ простой механической сводки цифровыхъ и вообще фактическихъ данныхъ: и фактическія данныя и ближайшіе выводы изъ нихъ вездѣ получаютъ широкое теоретическое освѣщеніе, которое заставляеть читателя временами совершенно забывать, что онъ имѣетъ дѣло съ руководствомъ по сельско-хозяйственной географіи, а не съ трактатомъ по экономіи сельскаго хозяйства. Въ самомъ использованіи матеріала вездѣ проявляются свойственные проф. Дену критическій

тактъ и осторожность, причемъ особенно цѣнными, и притомъ не только для учащихся, но во многомъ—и для специалистовъ, являются многочисленныя, разбросанныя по книгѣ и мѣстами занимающія по нѣскольку страницъ, критико-методологическія указанія; отмѣчу хотя бы замѣчанія проф. Дена относительно методовъ статистики землевладѣнія (стр. 74—75, 81—83, 116), статистики угодій (стр. 126—130), урожая и т. д.

При всѣхъ своихъ, ясныхъ изъ предыдущаго, крупныхъ достоинствахъ „очерки“ проф. Дена не свободны отъ недостатковъ въ смыслѣ, такъ сказать, общей архитектоники и пропорціональности частей. Какъ уже было отмѣчено А. Ф. Фортунатовымъ въ *Русскихъ Выдмостяхъ*, мы находимъ въ „очеркахъ“ слишкомъ мало того, что, судя по заглавію, должно бы составлять ихъ существенное содержаніе—слишкомъ мало *географіи*: только въ заключительной (VI) главѣ книги, содержащей общую характеристику состоянія земледѣлія, мы находимъ параллельную характеристику послѣдняго для Россіи и для другихъ главнѣйшихъ странъ, между тѣмъ какъ такія характеристики были бы желательны и въ другихъ главахъ „очерковъ“. Съ другой стороны, характеристики проф. Дена носятъ, если можно такъ выразиться, обще-россійскій характеръ, и въ нихъ почти нѣтъ той порайонной детализаціи, необходимость которой вытекаетъ изъ самаго понятія географіи.

Слѣдуетъ затѣмъ отмѣтить и нѣкоторую непропорціональность изложенія. Почти пятая часть всей книги (стр. 142—193) посвящена вопросу о лѣсахъ и лѣсномъ хозяйствѣ Россіи, причемъ детальность изложенія доходитъ до того, что перечисляются фирмы, съ которыми казна заключала договоры на эксплуатацію сѣверныхъ лѣсовъ (стр. 178). При этомъ вопросъ о лѣсахъ и лѣсномъ хозяйствѣ казны освѣщенъ, повидимому, исключительно по официальнымъ даннымъ, благодаря чему нѣкоторыя очень существенныя стороны дѣла остались вовсе незатронутыми: авторъ вовсе не касается, напр., довольно остраго вопроса о томъ, какою цѣною достигнуто быстрое увеличеніе лѣсныхъ доходовъ, или другого вопроса, какъ отразились хозяйственные заготовки казны на интересахъ населенія.

Если, такимъ образомъ, глава о лѣсахъ разрослась сильнѣе, чѣмъ соответствовало бы задачѣ „очерковъ“ проф. Дена, то нѣкоторыя другія главы отличаются не всею желательною полнотою. Такъ, въ чрезвычайно интересной главѣ о „неудобныхъ земляхъ“, трактующей, вмѣстѣ съ тѣмъ, вопросъ о меліорацияхъ, вовсе не упоминается объ искусственномъ орошеніи; между тѣмъ, оставляя даже въ сторонѣ попытки орошенія въ европейской Россіи, для такихъ нашихъ окраинъ, какъ Закавказье или Туркестанъ, вопросъ объ орошеніи доминируетъ надъ всѣмъ прочимъ, а сопоставленіе огромной работы, сдѣланной въ этомъ направленіи „некультурными“ туземцами, съ безсиліемъ нашей бюрократической „культуры“ могло бы навести на очень поучительныя размышленія. Другое, болѣе частное замѣчаніе по поводу той же главы: говоря объ осушительныхъ работахъ, авторъ даже не упоминаетъ объ осушкѣ Баррабы, которая, по своимъ размѣрамъ, занимаетъ, надо думать, второе мѣсто послѣ работъ въ западномъ Полѣсьѣ.

Нѣкоторыя дополненія были бы желательны и въ отдѣлѣ о системахъ сельскаго хозяйства и въ частности—системахъ полеводства. Въ началѣ авторъ даетъ образцово отчетливое разъясненіе довольно сложныхъ и запутанныхъ понятій системы хозяйства, системы полеводства сѣвооборота (стр. 193 и сл.), но слѣдующая затѣмъ характеристикъ господствующихъ въ различныхъ районахъ Россіи системъ страдаетъ

излишнюю сжатостью и схематичностью. Въ частности, авторъ совершенно не использовалъ, хотя бы въ томъ объемѣ, какъ они сведены у А. С. Ермолова, данныя, относящіяся къ нашимъ азиатскимъ окраинамъ (исключение составляетъ только киргизскій край). А между тѣмъ, если бы онъ сдѣлалъ это, онъ не могъ бы утверждать, напримѣръ, что плодосѣвная система „можетъ появиться только на почвѣ развитого денежнаго хозяйства“ и что она „неизбѣжно влечетъ за собою примѣненіе науки къ сельскому хозяйству“ (стр. 227): этимъ положеніямъ рѣшительно противорѣчатъ факты, наблюдаемые въ Закавказьѣ, въ Туркестанѣ и на нашемъ Дальнемъ Востоцѣ, у китайцевъ и корейцевъ. На основаніи сибирскихъ данныхъ авторъ могъ бы значительно пополнить характеристику типовъ залежнаго хозяйства, — онъ, напримѣръ, совершенно не упоминаетъ о господствующей въ Сибири ея залежно-паровой разновидности. Что касается до подсѣчной системы, то здѣсь приходится отмѣтить уже прямую погрѣшность: по мнѣнію проф. Дена, подсѣчное хозяйство имѣетъ важное значеніе въ Сибири, между тѣмъ, насколько я знаю, подсѣчное хозяйство въ Сибири совсѣмъ не существуетъ, — по крайней мѣрѣ въ имѣющихся источникахъ на его существованіе нѣтъ никакихъ указаній. О подсѣчномъ хозяйствѣ въ Европейской Россіи проф. Денъ говоритъ исключительно по книгѣ Приклонскаго, игнорируя данныя производившихся въ 1900—1902 гг. мѣстныхъ изслѣдованій, благодаря чему у него получается, между прочимъ, нѣсколько одностороннее представленіе о причинахъ упадка подсѣчнаго хозяйства, какъ вызваннаго исключительно правительственными мѣропріятіями (стр. 211—213).

Еще одно, заключительное, замѣчаніе. Совершенно правильно, на мой взглядъ, признавая „самымъ насущнымъ вопросомъ современной хозяйственной жизни Россіи“ поднятіе сельско-хозяйственной техники и усматривая въ „возможномъ расширеніи земельной площади“ лишь палліативъ или суррогатъ, необходимый „въ виду того, что поднятіе техники не можетъ быть быстро осуществлено“ (стр. 93), проф. Денъ однако слишкомъ широко ставитъ вопросъ о малоземельѣ, какъ о *всеобщемъ* явленіи и объ *общей* основной причинѣ переживаемаго нами кризиса. Онъ безъ всякихъ оговорокъ воспроизводитъ вычисленія покойнаго Ю. Э. Янсона (стр. 77—78), которыя, будучи чрезвычайно важными и цѣнными для своего времени, въ настоящее могутъ быть приняты лишь съ существенными поправками, и даже не упоминаетъ хотя бы о расчетахъ проф. Л. В. Ходскаго, показывающихъ, что значительная часть даже бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ была надѣлена землей достаточно, а нѣкоторая часть — даже въ избыточномъ размѣрѣ.

Все это, однако, не болѣе нежели частныя замѣчанія. Въ общемъ книга проф. Дена представляетъ собою весьма цѣнный вкладъ въ нашу экономико-статистическую литературу и прочтется съ пользой всякимъ, кто интересуется вопросами географіи и статистики нашего сельскаго хозяйства.

А. Кауфманъ.

С. Прокоповичъ. Рабочее движеніе въ Германіи. 2-е изданіе, дополненное. Изданіе книжнаго магазина «Наша жизнь». Спб., 1908 г. Ц. 1 р. 50 к. Книга г. Прокоповича охватываетъ всѣ формы рабочаго движенія въ Германіи въ XIX вѣкѣ, начиная отъ частныхъ организацій рабочихъ, вроде обществъ взаимопомощи и кассъ страхованія рабочихъ, до общей организаціи всего рабочаго класса въ социаль-демократическую рабочую партію. Съ особенной подробностью авторъ изслѣдуетъ различныя формы профессиональнаго и кооператив-

наго движенія. Послѣ краткаго очерка профессиональнаго движенія до 1848 года, когда въ Германіи еще не было многочисленнаго класса фабричныхъ рабочихъ и профессиональное движеніе охватывало, главнымъ образомъ, ремесленниковъ, авторъ подробно останавливается на различныхъ формахъ профессиональнаго движенія во второй половинѣ XIX вѣка, — на гиришъ-дункеровскихъ союзахъ, организованныхъ прогрессистами и враждебныхъ социаль-демократамъ, — на лассальянскихъ союзахъ съ ихъ рѣшительной склонностью преобразоваться въ боевую, политическую партію, — на союзахъ эйзенахцевъ (марксистовъ), относившихся, наоборотъ, съ несочувствіемъ ко всякому привнесенію политическаго элемента въ профессиональное движеніе, на мѣстныхъ кассахъ борьбы съ предпринимателями, расцвѣтшихъ во время дѣйствія исключительныхъ законовъ противъ социаль-демократовъ (1878—1900), — на христіанскихъ профессиональныхъ союзахъ, все болѣе теряющихъ свой прежній сочувственный буржуазный и мирный характеръ и становящихся боевыми организациями пролетариата, — на шульце-деличевскихъ товариществахъ съ ихъ стремленіемъ примирить интересы труда и капитала и ограничить рабочее движеніе преслѣдованіемъ ближайшихъ практическихъ цѣлей, — на сельскохозяйственныхъ товариществахъ, успѣшно конкурирующихъ съ крупнымъ сельскимъ хозяйствомъ, — на женскомъ профессиональномъ движеніи, все болѣе принимающимъ обще-соціальныи характеръ, — наконецъ, на различныхъ видахъ кооперативовъ, пытающихся организовать потребление, производство и торговлю. Последняя часть книги (100 страницъ) посвящена исторіи социаль-демократической партіи, начиная отъ Лассалья и вплоть до выборовъ 1907 года. Въ эволюціи нѣмецкой социаль-демократіи г. Прокоповичъ находитъ одну общую тенденцію: она все болѣе превращается изъ секты, преслѣдующей только агитационныя цѣли, только „революціонизированіе головъ“, въ политическую партію, считающуюся съ рамками, которыя ей ставятъ факты. Изъ двухъ борющихся тенденцій нѣмецкой социаль-демократіи, одной, желающей установить только принципы, и другой, стремящейся къ практической дѣятельности въ интересахъ рабочаго класса, по мнѣнію г. Прокоповича, все болѣе беретъ верхъ вторая, и партійная идеологія, бывшая въ первое время существованія партіи совершенно самостоятельной силой, налагавшей притомъ оковы на дальнѣйшее развитіе партіи, отступает на задній планъ передъ реальными интересами рабочаго класса. Нарожденіе и укрѣпленіе новой „умѣренной“ тактики среди нѣмецкой социаль-демократіи авторъ доказываетъ, цитируя не только ревизионистовъ, какъ Фольмаръ, Бернштейнъ, Шиппель и Давидъ, но и такихъ „ортодоксовъ“, какъ Либкнехтъ и Каутскій. Онъ констатируетъ, что „единого ревизионистскаго теченія“ нѣтъ среди нѣмецкой социаль-демократіи и что по нѣкоторымъ вопросамъ даже наиболѣе правобѣрные марксисты являются ревизионистами.

Но, считая переходъ партіи отъ абстрактнаго „революціонаризма“ къ социаль-реформаторской практической политикѣ признакомъ выхода социаль-демократіи изъ „дѣтскаго состоянія“, авторъ находитъ отсутствіе положительной доктрины, противорѣчія и неясности и въ самомъ ревизионизмѣ. По мнѣнію автора, Бернштейнъ, доказавшій, что капиталистическій строй не стремится съ неудержимой силой къ собственному гибели вслѣдствіе внутреннихъ причинъ своего развитія, и отвергнувшій старую теорію процесса социализаціи общества, не поставилъ на ея мѣсто ничего новаго; не подвергнута также ревизионистами радикальному пересмотру и теорія классовой борьбы, несмотря на обиліе частныхъ замѣ-

чаній относительно нея; нѣтъ у ревизионистовъ и ясной, лишенной противорѣчій теоріи о томъ, въ какое положеніе по отношенію къ капитализму должны стать классы, создавшіеся въ докапиталистическое время (наприм., крестьяне), и какъ должно относиться къ организациямъ, создавшимся въ борьбѣ не за общіе интересы всего рабочаго класса, а за частныя нужды отдѣльныхъ профессій. Даже самый принципъ, который долженъ, хотя бы и постепенно, утверждаться реформами на пользу рабочаго класса, у ревизионистовъ опредѣленъ неясно и противорѣчиво.

Интересно объясненіе, данное г. Прокоповичемъ поражению социаль-демократовъ на выборахъ 1907 года. Авторъ находитъ объясненіе этому поражению въ случайныхъ обстоятельствахъ времени (въ союзѣ всѣхъ буржуазныхъ партій, напуганныхъ событиями русской революціи и мобилизовавшихъ свои силы противъ социаль-демократіи, въ отсутствіи у партіи положительныхъ законодательныхъ успѣховъ въ періодъ 1903—1906 гг., въ чрезмѣрномъ ростѣ социаль-демократическихъ голосовъ на выборахъ 1903 г.) и думаетъ, что уже слѣдующіе выборы дадутъ огромный ростъ с.-д. депутатовъ.

„Для партіи,—говоритъ онъ,—имѣющей такіе прочные корни въ экономической дѣйствительности, страшны не временныя пораженія, а идейный застой и остановка внутренняго развитія... Консервативная сила традиціи является для социаль-демократіи гораздо болѣе опаснымъ внутреннимъ врагомъ, чѣмъ всѣ ея виѣшніе противники“.

Книга г. Прокоповича даетъ много въ высшей степени интереснаго матеріала по теоріи германскаго рабочаго движенія; ее особенно можно рекомендовать современнымъ русскимъ читателямъ, желающимъ себѣ выяснитъ политическую и экономическую цѣнность профессиональнаго и кооперативнаго движенія, а также разобратъ въ нѣкоторыхъ спорныхъ вопросахъ тактики.

В. Перцевъ.

ФИЛОСОФІЯ.

Генрихъ Риккертъ. Философія исторіи. Перев. съ нѣм. С. Гессена.

Генрихъ Риккертъ. Философія исторіи. Переводъ съ нѣмецкаго С. Гессена, съ предисловіемъ автора къ русскому изданію. Спб. Изданіе Д. Е. Жуковскаго. 1908 г. Стр. XVI + 154. Ц. 75 к. Эта небольшая книжка есть переводъ статьи Риккерта въ посвященномъ Куно-Фишеру сборникѣ „Die Philosophie im Beginne des XX Jahrhunderts“ (2 изд.). Она представляетъ сжатое изложеніе замѣчательной теоріи историческаго познанія, развитой Риккертъ въ его большомъ трудѣ „Границы естественно-научнаго образованія понятій“. Хотя только что названная работа также имѣется на русскомъ языкѣ (въ переводѣ А. М. Водена), тѣмъ не менѣе переводъ статьи Риккерта о „Философіи исторіи“ можетъ оказаться весьма полезнымъ, такъ какъ въ ней гораздо отчетливѣе и выпуклѣе намѣчены основныя идеи Риккерта, которыя въ его основномъ трудѣ слиты съ цѣлымъ рядомъ побочныхъ мыслей и спеціальныхъ изслѣдованій по инымъ вопросамъ (не говоря уже о томъ, что русскій переводъ „Границъ etc.“, весьма точный, довольно тяжело-вѣсенъ). Въ „Философіи исторіи“ ярко выступаютъ и сильныя, и слабыя стороны гносеологической конструкціи исторіи у Риккерта. Сильная сторона ея состоитъ въ выясненіи принципіальной противоположности между констатированіемъ однократныхъ, неповторяющихся фактовъ, къ кото-

рому сводится историческое познание, и изслѣдованіемъ законмѣрности, образующемъ задачу „естествознанія“. Отраженіе натуралистическихъ попытокъ превратить исторію въ естествознаніе и уясненіе принципиальнаго гносеологическаго смысла историческаго начала даетъ впервые философское обоснованіе „историческаго духа“, этого своеобразнаго продукта умонастроенія XIX вѣка, и представляетъ одну изъ немногихъ совершенно оригинальныхъ идей философскаго творчества нашего времени. (Идея эта, впрочемъ, не принадлежитъ Риккерту: она была намѣчена еще Дильтеемъ и уже вполне ясно высказана въ рѣчи Виндельбанда „Исторія и естествознаніе“). Слабыя стороны ученія Риккерта отчасти состоятъ въ чисто формально-методологическомъ пониманіи этого различія между исторіей и естествознаніемъ, благодаря чему остается недостаточно выясненнымъ существенная особенность исторіи, какъ изученія человѣческой жизни; отчасти же онѣ стоятъ въ связи съ недостаткомъ общаго гносеологическаго ученія Виндельбанда-Риккерта, по которому философія характеризуется, какъ наука о *цѣнностяхъ* и ненормально обрабатывается въ *этический* цвѣтъ.

Къ сожалѣнію, мы не можемъ остановиться здѣсь на выясненіи этихъ недостатковъ. Отмѣтимъ лишь, что теорія Риккерта требуетъ, на нашъ взглядъ, дополненія и исправленія путемъ слиянія ея съ иной теоріей исторіи, которая также проскальзываетъ у Дильтея и была развита Мюнстербергомъ (въ его „Grundzüge der Psychologie“); согласно этой теоріи, различіе между исторіей и естествознаніемъ покоится не на логическомъ различіи между индивидуальнымъ и общимъ, а на гносеологическомъ различіи между „субъективирующимъ“ и „объективирующимъ“ синтезомъ. (Сходныя мысли развиты Gottl'емъ въ книгѣ „Die Grenzen der Geschichte“; ср. также замѣчательную книгу Зиммеля „Probleme der Geschichtsphilosophie“, 3 изд. 1907). Во всякомъ случаѣ, рѣшеніе Риккерта не можетъ считаться окончательнымъ; но ему принадлежитъ великая заслуга постановки совершенно новаго философскаго вопроса, и если его отвѣты вызываютъ новые споры и вопросы (вокругъ его произведеній выросла большая полемическая литература, которая отчасти приведена въ литературномъ указателѣ, приложенномъ къ книгѣ), то это только свидѣтельствуетъ о жизненности и глубинѣ его мыслей.

Переводъ исполненъ въ общемъ правильно и старательно, но не лишень погрѣшностей. „Gesetzesbegriff“ и „Wertbegriff“ значать у Риккерта не „понятіе закона“ и „понятіе цѣнности“, а „понятіе, основанное на идеѣ закона“ или „цѣнности“. Напрасно также переводчикъ, ссылаясь на авторитетъ Вл. Соловьева, передаетъ „Geltung“ нелѣпнымъ словомъ „значимость“; слово это не имѣетъ за себя ничего, кромѣ авторитета имени; терминъ „Geltung“ нужно передавать или описательно, или, гдѣ это невозможно, словами „дѣйствіе“, „значеніе“, „примѣнимость“, смотря по смыслу фразы. На стр. 96 встрѣчаемъ фразу: „или можетъ быть истины ... столь очевидныя не были извѣстны уже и до Дарвина?“ Нѣмецкое „nicht“, конечно, должно было исчезнуть въ русскомъ переводѣ. Совершенно недопустимы такіе обороты: „человѣкъ, который стоитъ въ всякаго подозрѣнія *въ томъ, что касается недооцѣнivanja* національнаго момента“ (стр. 99). Нельзя также сказать: направленія „питающаго ...мыслей“ (стр. 2).

Курьезно предисловіе Риккерта къ русскому изданію. Какіе-то русскіе студенты очевидно рассказали ему, что въ Россіи его считают „философомъ буржуазіи“, и онъ серьезнѣйшимъ образомъ выясняетъ что его труды лишены всякой политической тенденціи. Если бы онъ зна-

какъ щедро раздаются въ извѣстныхъ кругахъ Россіи такія клички и какъ далеки эти круги отъ какой бы то ни было науки, онъ врядъ ли счелъ бы нужнымъ упоминать о такой оцѣнкѣ своей теоріи. Предисловіе Риккерта есть печальное свидѣтельство того низкаго мнѣнія, которое европейцы имѣютъ о нашей умственной культурѣ; хотѣлось бы увѣрить Риккерта, что русская философская наука, какъ бы ее ни оцѣнивать, неспособна на ту безвкусницу, съ которой онъ находитъ нужнымъ считаться.

Рекомендуемъ новое произведеніе Риккерта, богатое идеями и возбуждающее мысль, вниманію русской публики, интересующейся философскими вопросами.

С. Франкъ.

ПУБЛИЦИСТИКА:

II. Бирюковъ. Духоборцы. Сборникъ статей, воспоминаній и другихъ документовъ.— Коллективистъ. Сборникъ статей.

II. Бирюковъ. Духоборцы. Сборникъ статей, воспоминаній и другихъ документовъ. Съ приложеніемъ рисунковъ и избранныхъ духоборческихъ псалмовъ. Изд. „Посредника“. М., 1908 г. Стр. 236. Ц. 1 р. Авторъ настоящей книги не ставитъ себѣ цѣлью дать исторію духоборцевъ. Онъ собралъ „рядъ документовъ, представляющихъ большею частью личныя, свѣжія впечатлѣнія людей, участвовавшихъ такъ или иначе въ тѣхъ значительныхъ событіяхъ, которыми ознаменовалась за послѣднее десятилѣтіе исторія духоборчества“. Сюда вошли письма самихъ духоборцевъ и письма къ нимъ, газетныя корреспонденціи, журнальныя статьи и проч.

Почти всѣ эти документы относятся ко времени, заключающемуся, приблизительно, между 1894 и 1907 годами. Время это можетъ быть названо героической эпохой въ жизни духоборцевъ. За этотъ періодъ они пережили гоненія на Кавказѣ, истязанія нѣкоторыхъ изъ нихъ въ дисциплинарномъ батальонѣ, ссылку другихъ въ Сибирь, переселеніе на Кипръ и въ Канаду и, наконецъ, первые шаги на новой родинѣ.

Размѣры библиографической замѣтки не позволяютъ намъ обстоятельно изложить сущность духоборческаго ученія, съ которой знакомятъ нѣкоторыя мѣста книги Бирюкова.

Сочиненій, дающихъ полный очеркъ жизни духоборцевъ, насколько намъ извѣстно, въ печатной литературѣ пока не существуетъ. А документы, собранные II. Бирюковымъ, и подобные имъ даютъ лишь отдѣльные штрихи изъ картины ихъ быта и исторіи. Но и этого малаго достаточно, чтобы признать вообще жизнь духоборческихъ общинъ, а въ особенности ихъ имущественныя отношенія въ своей средѣ и къ внѣшнему міру крупнымъ фактомъ въ исторіи всего человѣчества.

При этомъ нужно помнить, что жизнь духоборческихъ общинъ—не кратковременный опытъ: она имѣетъ за собой солидную давность. Въ началѣ книжки II. Бирюкова помѣщена записка, составленная неизвѣстнымъ авторомъ въ 1805 году и содержащая данныя о прошломъ духоборства. Авторъ относитъ происхожденіе духоборовъ ко второй половинѣ XVIII столѣтія, но, какъ видно изъ общаго смысла статьи, въ это время только стало извѣстно правительству о существованіи обществъ духоборовъ, а когда оно образовалось „имъ самимъ неизвѣстно, ибо они, какъ простолюдины и безграмотные, не имѣютъ у себя никакой исторіи“. И

вотъ объ отношеніи духоборовъ къ собственности въ запискѣ этой читаемъ слѣдующее: „У нихъ нѣтъ между собой собственности; но каждый имѣніе свое почитаетъ общимъ. По переселеніи ихъ на Молочныя Воды они доказали сіе на самомъ дѣлѣ; ибо они сложили тамъ всѣ свои пожитки въ одно мѣсто, такъ что теперь у нихъ общая денежная касса, одно общее стадо и въ двухъ селеніяхъ два общихъ хлѣбныхъ магазина. Каждый беретъ изъ общаго имѣнія все, что ему ни понадобится“.

Такъ распорядились духоборцы съ собственностью въ началѣ прошлаго вѣка; такъ же обходятся они съ ней и теперь, спустя сто лѣтъ. Одинъ изъ друзей П. Бирюкова, посѣтившій въ 1901 году духоборческое поселеніе въ Канадѣ—село „Терпѣніе“, рассказываетъ, что село это „пашетъ, сѣетъ, убираетъ хлѣбъ, возитъ сѣно и вообще всѣ хозяйственныя работы производить сообща; скотъ и инвентаръ тоже общественыя“ (стр. 189). Мука, овощи и другіе предметы потребления сложены въ общественныхъ амбарахъ и берутся оттуда отдѣльными семьями или всей общиной по мѣрѣ надобности. О томъ, какъ организовано потребленіе, находимъ въ отвѣтахъ самихъ духоборовъ на вопросы, предложенныя имъ въ 1906 году П. Бирюковымъ. „Молоко распределяется,—рассказываютъ они,—по равной части на каждого человѣка. Печеніе хлѣба производится лѣтомъ въ рабочее время, въ одномъ мѣстѣ, а въ остальное время по-семейно. Приготовленіе пищи на работахъ вообще всегда сообща, а дома каждый по-семейно“ (стр. 216).

Таковы имущественныя отношенія духоборовъ въ ихъ средѣ. Но и сталкиваясь съ посторонними, они остаются вѣрными себѣ. При поселеніи ихъ на Кавказѣ первое время нѣкоторые изъ мѣстныхъ жителей воровали у нихъ, но „когда узнали, что поселенные среди нихъ духоборы живутъ по Евангелію, не противятся злу и охотно отдаютъ все свое нуждающимся и насильно отнимающимъ у нихъ, стали сами защищать ихъ“ и т. д. (стр. 58).

Интересъ къ духоборамъ въ русскомъ обществѣ, несомнѣнно, существуетъ. Поэтому книжка г. Бирюкова является въ свѣтъ вполне своевременно и будетъ прочтена, вѣроятно, широкимъ кругомъ читающей публики.

Если г. Бирюковъ продолжитъ свои труды по исторіи духоборчества, то судя по настоящей его работѣ, можно надѣяться, что онъ сообщитъ въ будущемъ много интереснаго въ этой области. Его личныя отношенія съ духоборцами, начавшіяся съ 1894 года и не прерывающіяся, повидимому, до настоящаго времени, даютъ ему, полагаемъ мы, полную возможность для изученія ихъ быта и вѣроученія. А любовь и интересъ къ нимъ, какъ къ дорогимъ для него и уважаемымъ имъ людямъ, съ которыми П. Бирюковъ къ нимъ относится, позволяютъ вѣрить, что онъ дѣйствительно продолжитъ начатую работу.

С. Б. Айзенманъ.

Коллективистъ. Сборникъ статей. М., 1907 г. Стр. 104. Ц. 20 к. Въ сборникѣ выдѣляется статья А. Рудина о „максимализмѣ“, явленіи, съ большой силой выросшемъ у насъ въ моментъ наивысшаго революціоннаго подъема и въ настоящее время почти исчезнувшимъ. Авторъ жестоко иронизируетъ надъ теоретической путаницей, царящей въ ума максималистовъ, надъ ихъ наивными стараніями „захватить социалистическій строй“ (26), воспользовавшись подходящимъ революціоннымъ ментомъ. Весьма характеренъ въ устахъ фанатическаго сторонника „ціализации“ земли призывъ къ трезвому анализу общественныхъ отношеній. Авторъ, впрочемъ, не вездѣ выдерживаетъ тонъ, и на вопросъ м

сималистовъ, будутъ ли социалисты-революционеры удерживать массы отъ захвата фабрикъ и заводовъ, весьма „опредѣленно“ отвѣчаетъ: „можетъ быть, будемъ, а можетъ быть, и не будемъ... Но призывать къ этому мы не будемъ“ (32). Стоя на такой позиціи, трудно бороться съ максималистами, на сторонѣ которыхъ преимущество послѣдовательнаго, не знающаго компромиссовъ радикализма. Г. Рудинъ также рѣзко протестуетъ противъ демагогіи максималистовъ, „приспособляющей къ массамъ“, противъ антиобщественныхъ нападокъ ихъ на интеллигенцію. Но и здѣсь опять-таки у самихъ критиковъ совѣсть не чиста. На страницахъ того же сборника гг. Панкратовъ и Якобій употребляютъ по отношенію къ болѣе умѣреннымъ группамъ демократіи тѣ же полемическіе приемы, что и максималисты по отношенію къ с.-р. Такъ, г. Панкратовъ, въ статьѣ: „Къ характеристикѣ современнаго парламентаризма“, „раскрываетъ глаза рабочему классу на его мнимыхъ друзей“ въ лицѣ „меньшевиковъ“ (73). Статья эта занимается разносомъ социалистическихъ партій, увлекшихся мирной парламентской дѣятельностью и покорно склонившихъ свое знамя предъ смѣлой и рѣшительной буржуазіей, умѣющей защищать свои интересы не въ примѣръ мягкотѣлымъ социалистамъ-пролетаріямъ. Нечего и говорить, что всѣ разсужденія г. Панкратова основаны на обычномъ смѣшеніи національной государственной организаціи съ организаціей класса капиталистовъ и противопоставленіи государству социалистическихъ организацій. Заслуживаетъ также вниманія статья г. Горцева „Какъ можно осуществить равноправіе національностей?“, въ которой авторъ выясняетъ сложность и трудность правильнаго рѣшенія вопроса. Онъ справедливо указываетъ на плачевное положеніе этого вопроса у социаль-демократовъ, склонныхъ, подъ влияніемъ своей односторонней доктрины, вовсе игнорировать національный вопросъ.

Л. Шифъ.

**Списокъ книгъ, поступившихъ въ редакцію журна-
нала „Русская Мысль“ съ 1 мая по 1 іюня
1908 г.**

- Вельше, В.** Любовь въ природѣ. Пер. Пименовой. Спб., 1908 года. Стр. 470. Ц. 2 р.
- Верманъ, Я.** Діалектика въ свѣтѣ современной теоріи познанія. Московское книгоиздательство. М., 1908 г.
- Воборыкинъ, П. Д.** Великая разруха. Изд. Саблина. М., 1908 года. Ц. 1 р. 25 к.
- Вогольповъ, С. И.** Въ помощь родителямъ и учащимся. М., 1908 года. Ц. 50 к.
- Бодляръ, Шарль.** Цвѣты зла. Пер. Элиса. Книгоиздат. „Заратустра“. М., 1908 г. Стр. VII+63+299. Ц. 2 р. 50 к.
- Вагановъ, В.** Замѣтки по астрономіи. М. Стр. 94. Ц. 60 к.
- Варгинъ, В. Н.** Вредныя вліянія, которымъ подвергаются растенія, и уходъ за растеніями. 92 рис. въ текстѣ. Изд. Девриена. Спб., 1908 года. Стр. 161. Ц. 70 к.
- Вороновъ, С. А.** Промышленный плодородный садъ. Съ 223 рис. въ текстѣ. Изд. Девриена. Спб., 1908 г. Стр. 304. Ц. 1 р. 75 к.
- Вульфсонъ, Э. С.** Какъ живутъ сарты. М., 1908 г. Ц. 30 к.
— Эсты, ихъ жизнь и нравы. М., 1908 г. Ц. 15 к.
- Гансонъ, Ола.** Видѣнія молодого Офенса. Пер. М. Коваленской. Изданіе В. М. Саблина. М., 1908 г. Стр. 143. Ц. 50 к.
- Грузинскій, А. Е.** Литературныя очерки. Изд. Сотруд. школъ. М., 1908 г. Стр. 302. Ц. 1 р.
- Движеніе легко-пассажииск. пароходовъ Мельниковой по рр. Западн. Сибири.** Томскъ, 1908 г.
- Ермиловъ, В. Е.** Пойдемъ за ними. Изд. Сытина. М., 1908 г. Стр. 327. Ц. 75 к.
- Жилинскій, И.** Рюрикъ. Изд. Дмитриева. Спб., 1908 г. Стр. 38. Ц. 20 к.
- Зарубинъ, В.** Въ мастерской художника Руджіо. Изд. Дмитриева. Спб., 1908 г. Стр. 14. Ц. 15 к.
— Добродѣтельная фея. Изд. Дмитриева. Спб., 1908 г. Стр. 16. Ц. 15 к.
— Скромное геройство. Изд. Дмитриева. Спб., 1908 г. Стр. 11. Ц. 15 к.
- Исторія Россіи въ XIX в.** Вып. № 10. Изд. Гранатъ. М., 1908 г.
- Кантъ, В.** Краткая системат. грамматика франц. языка. М., 1908 г. Ц. 60 к.
- Каменоградскій, П. И.** Дачный садъ. Изд. Девриена. Спб., 1908 года. Стр. 360. Ц. 1 р. 75 к.
- Кашъ, С.** Страничка изъ жизни проф. Д. И. Менделѣева. Изданіе Дмитриева. Спб., 1908 г. Стр. 24. Ц. 20 к.
- Коллежинскій, Г.** Письма изъ деревни. Спб., 1908 г. Стр. 16. Ц. 20 к.
- Кругомъ свѣта по Европѣ.** Ч. II. Сост. И. Горбуновъ-Посадовъ и Е. Горбунова. Съ 246 рис. Изд. „Русскаго товарищества“. Москва, 1908 г. Стр. 457. Ц. 1 р. 80 к.
- Кубасовъ, П. И.** О микробахъ патологизма. Ташкентъ, 1908 г.
— О микробѣ брюшнаго тифа. Ташкентъ, 1908 г.
- Кукулеско, Ив.** Элементарный курсъ качественного анализа для средн. уче завед. Съ 42 рис. Киевъ, 1908 г. Стр. 85. Ц. 60 к.
- Литературно-научковій вѣстник.** Київ-Лѣ 1908 г. Ц. 8 р. год.
- Лоджъ, Оливеръ.** Сущность въ связи съ наукой. Катехизисъ родителей и учителей. Спб. Стр. 1. Ц. 1 р. 25 к.

- Лозинскій, Е.** Машинный прогрессъ и народное образованіе. Екатеринбургъ, 1908 г. Стр. 31. Ц. 10 к.
- М. Б.** Въ свѣтъ правды. М., 1908 г. Стр. 76. Ц. 35 к.
- Материалы къ поземельнымъ вопросамъ кавказскаго края.** Ч. I. Поземельное обложение. Тифлисъ, 1908 г.
- Мережковскій, Д. Павелъ I.** Драма. Спб., 1908 г. Стр. 261. Ц. 1 р. 25 к.
- Мещерская, С.,** кн. Первая Рождественская елка. Пер. съ французскаго. Изд. Дмитріева. Спб., 1908 г. Стр. 16. Ц. 15 к.
- Милянъ, Дм.** Бюрократы. Спб., 1908 г. Ц. 1 р. 20 к.
- Мостовенко, З.** Изъ наблюденій природы. Спб., 1908 г. Стр. 157. Ц. 85 к.
- Музыченко, А.** На пути къ демократизаціи школы. Спб., 1907 г. Стр. 22.
- Наглядныя пособия, учебники и учебныя пособія.** Изд. Сытина. М., 1908—1909 гг.
- На очереди.** Сборникъ статей. Спб., 1908 г. Ц. 50 к.
- Нордау, Максъ.** Ложь современнаго брака. М., 1908 г. Стр. 71. Ц. 35 к.
- Оренбургскія педагогическія замѣтки.** Оренбургъ. Ц. за годъ 1 р., преподающимъ 50 к.
- Отчетъ комитета по управленію народн. домоу Харьковскаго общ. грамотн. за 1907 г.**
- Полетаева, О.** Сила науки въ экономическ. борьбѣ. Спб., 1908 г. Стр. 16. Ц. 20 к.
- Программы домашняго чтенія. Комиссія по органнз. домашняго чтенія.** Изд. 8-е. М. Ц. 35 к.
- Плехановъ, Г. В.** Основные вопросы марксизма. Спб., 1908 г.
- Пименова, Э.** Джонъ Бернсъ, вожь рабочей партіи въ Англіи. Изд. Дмитріева. Спб., 1908 г. Стр. 39. Ц. 20 к.
- Ремизовъ, Алексѣй.** Часы. Изд. Еос. Спб., 1908 г. Стр. 174. Ц. 1 р.
- Роптманъ, Дм.** Курсъ элементарной геометріи. Серія „Книги для современной школы“. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М., 1907 г. Стр. 369. Ц. 1 р. 25 к.
- Рыбаковъ, Э. Е.** Современные писатели и болные нервы. М., 1908 г. Стр. 49. Ц. 40 к.
- Сборникъ „Знаніе“ XXII.** Спб., 1908 г., Стр. 338. Ц. 1 р.
- Сборникъ разсказовъ и статей Толстого, Л. Н., Ермолова, А. С., Кехрова, I., свящ., Озерова, И. X., проф. Изд. Дмитріева. Спб., 1908 г. Стр. 64. Ц. 20 к.**
- Сетонъ-Томисонъ, Э.** Маленькій боевой конь. Перев. Хавкиной. Изд. Сытина. М. Ц. 20 к.
- Мальчикъ и рысь. Перев. Хавкиной. Изд. Сытина. М.
- Снѣгъ. Перев. Хавкиной. Изд. Сытина. М. Ц. 15 к.
- Сибирскіе вопросы.** Еженедѣльн. журналъ. Спб., 1908 г. годов. плата 6 р.
- Стриндбергъ, Августъ.** Повѣсти, разсказы, драмы. Т. II. Изд. В. М. Саблина. М., 1908 г. Стр. 230. Ц. 1 р.
- Swiat Slowianski.** Краковъ.
- Тихомировъ, Д. П.** Материалы для библиографическаго указателя произведеній Ник. Плат. Огарева и литературы о немъ. Спб., 1908 г.
- Троицкій, В. П.** Торговля на общественныя началахъ при содѣйствіи государства. Харьковъ, 1908 г.
- Тулузовъ, Н. В. и Шестаковъ, П. М.** Про плутуюку лису. Ц. 3 к.
- Про мышъ зубастую да про воробья богатаго. Изд. Сытина. М. Ц. 3 к.
- Уайльдъ, Оскаръ.** Полное собраніе сочиненій. Т. VI. Изд. В. М. Саблина. Стр. 385. Ц. 1 р. 50 к.
- Федченко, Б. А. и Флеровъ, А. Э.** Флора Европ. Россіи. Изд. Девріена. Спб., 1908 годъ. Стр. 286. Ц. 1 р. 20 к.
- Френсенъ, Густавъ.** Іеръ Уль. Перев. съ нѣмец. Изд. Миліана. Спб. Стр. 396. Ц. 2 р.
- Ферри, Энрико.** Уголовная социологія. Перев. проф. Познышева. Изд. Саблина. М., 1908 г. Стр. 386. Ц. 3 р.
- Чуковский, К. Леонидъ Андреевъ** большой и маленький. Изд. „Издательское бюро“. Спб., 1908 г. Стр. 190. Ц. 80 к.
- Шимановскій, В. 1)** Садъ при народн. школѣ. 2) Пасѣка при народн. школѣ. Изд. Девріена. Спб., 1908 г. Ц. по 35 к.
- Шулятиковъ, В.** Оправданіе капитализма въ западно-европейской философіи. М., 1908 г.
- Шуманъ, Берта.** Что разсказывала бабушка. Перев. съ нѣмец. Изд. Сытина. М., 1908 г. Стр. 109. Ц. 60 к.
- Эллинекъ, Г.** Борьба стараго права съ новымъ. Перев. Р. К. Ч. съ вступительной статьей проф. А. С. Алексѣва. К-во Заратустра. М., 1908 г. Стр. 52. Ц. 40 к.
- Эдодоровъ, А. М.** Степь сказалась. Изд. И. Д. Сытина. М., 1908 года. Стр. 272. Ц. 1 р.

ОГЛАВЛЕНІЕ

БІБЛІОГРАФИЧЕСКАГО ОТДѢЛА.

I. Книги.

	<i>Стр.</i>
Беллетристика: Сборникъ товарищества „Знаніе“ за 1908 г. Книга XXII.—Литературно-художественные альманахи изд. „Шиповника“. Книга пятая. 119	119
Исторія: <i>Баронъ С. А. Корфъ.</i> Исторія русской государственности.— <i>М. Гершензонъ.</i> Исторія молодой Россіи.— <i>А. Сорель.</i> Европа и французская революція.— <i>Л. Ф. Пантелеевъ.</i> Изъ воспоминаній прошлаго. Кн. II.	121
Соціологія, правовѣдѣніе: <i>Ж. Ж. Руссо.</i> 1) О причинахъ неравенства. Перев. подъ ред. С. Н. Южакова. 2) Объ общественномъ договорѣ. Перев. подъ ред. Д. Е. Жуковскаго.— <i>Поль Дюбуа.</i> Пропорціональное представительство въ опытѣ Бельгіи.	128
Политическая экономія: <i>Проф. В. Э. Денъ.</i> Очерки по экономической географіи. Ч. I. Сельское хозяйство.— <i>С. Прокоповичъ.</i> Рабочее движеніе въ Германіи. 2-е изд.	130
Философія: <i>Генрихъ Риккертъ.</i> Философія исторіи. Перев. съ нѣмецк. С. Гессена	135
Публицистика: <i>П. Бирюковъ.</i> Духоборцы. Сборникъ статей, воспоминаній и другихъ документовъ.— <i>Коллективистъ.</i> Сборникъ статей	137

II. Списокъ книгъ, поступившихъ въ редакцію журнала «Русская Мысль» съ 1 мая по 1 іюня 1908 г.

1908 годъ. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ Годъ XIX.

„Вопросы Философіи и Психологіи“.

Изданіе Московскаго Психологическаго Общества

при содѣйствіи С.-Петербургскаго Философскаго Общества.

на 1908 годъ.

Вышла III-я (май—іюнь) книга 1908 г.

Ея содержаніе: Философскіе взгляды В. Я. Цингера. Л. М. Лопатина. О предметѣ психологіи. Г. И. Челпанова. Кривизнѣ современнаго правосознанія. П. И. Новгородцева. (Продолженіе.) Пессимизмъ какъ вѣра и міропониманіе. Семена Грузенберга. Психастенія и навязчивыя психическія состоянія. С. А. Суханова. Къ критикѣ теоріи познанія Риккерта. Б. Яковенко. Объ антологической гносеологіи. Николая Бердяева. Критика и библиографія. Полемика. Въ защиту интуитивизма. (По поводу статьи С. Аскольдова „Новая гносеологическая теорія Н. О. Лосскаго“ и статьи проф. Л. Лопатина „Новая теорія познанія“.) И. Лосскаго.

Журналъ выходитъ ПЯТЬ разъ въ годъ (приблизительно въ концѣ февраля, апрѣля, іюня, октября и декабря) книгами около 15 печатныхъ листовъ.

Условія подписки: На годъ (съ 1 января 1908 г. по 1 января 1909 г.) безъ доставки 3 руб., съ доставкой въ Москвѣ—6 руб. 50 коп., съ пересылкой въ другіе города—7 руб., за границу—8 руб.

Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, сельскіе учителя и сельскіе священники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на льготныхъ условіяхъ принимается только въ конторѣ журнала: Москва, Б. Никитская, Чернышевскій пер., д. 9, кв. 5 и книжныхъ магазинахъ: „Новаго времени“, Карбасникова, Вольфа, Оглоблина, Башпакова и другихъ.

Редакторъ Л. М. Лопатинъ.

XL г. изд.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ

XL г. изд.

НА ЖУРНАЛЫ

4 р. 50 к.
безъ пере-
сылки.

ЮНАЯ РОССИЯ

5 руб.
съ пере-
сылкой.

(„Дѣтское Чтеніе“).

ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

Сороковой годъ изданія.

Особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета Мин. Нар. Просв. журналъ допущенъ къ выпискѣ, по предварительной подпискѣ, въ учебныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній, въ городскія, по положенію 1872 года, училища и въ бесплатныя народныя библіотеки и читальни.

Въ 1908 г. журналъ „Юная Россія“ („Дѣтское Чтеніе“) дастъ:

12 ежемѣсячныхъ книжекъ,

а также бесплатныя приложенія: 1) Избранные рассказы для семьи и школы Л. Н. Толстого. 2) Избранные рассказы для школы и семьи Бретъ-Гарта. 3) Сказки Оснара Уальда. 4) Очеркъ исторіи Польши,—профес. А. Я. Погодина (со многими рисунками).

Вышла юньская книга журнала „Юная Россія“ за 1908 г.

Содержаніе: I. Вечеръ. Рисунокъ на отд. листѣ. II. Похъ сельской кровлей. Стихотвореніе. Ив. Бѣлусова. III. Мореходы. Рассказъ. И. Сазанова. Окончаніе. IV. На родинѣ. Стихотвореніе Е. Нечаева. V. Черный Принцъ-капризука. Сказка Н. Гарина. Съ рисункомъ художн. В. Сласснаго. VI. Сонъ. Стихотв. Вас. Смирнова. VII. Ребекка Мэри. Очерки Анны Гамльтонъ Доннелъ. Перев. съ англ. Р. Рубиновой. Съ рисункомъ. VIII. Наступленіе дня. Стих. С. Неволина. IX. Сѣнокосъ. Очеркъ крестьянской жизни. П. Сергѣенко. Съ рисунками. X. Послѣ грозы. Стих. Пет. Недачина. XI. Пѣвецъ родной природы. Стих. А. Доброхотова. XII. Карменъ Сильва. Воспоминанія П. Лотти. Перев. кн. Р. Голицыной. Окончаніе. Съ рисункомъ. XIII. Троцновскій панъ. Историч. романъ изъ временъ гуситскихъ войнъ. Ал. Атаева. Съ рисунк. худ. Фридберга. Продолженіе. XIV. Образы минувшаго. V. Странствующие поэты средневѣковья. Я. А. Берлина. Съ рисунками. XV. Миръ отрадный предъ очами... Стихотвор. А. Кузнецова. XVI. Календарь природы. С. Покровскаго. Съ рисунками. XVII. Какъ животныя добываютъ себѣ пищу. Н. А. Скворцова. Съ рисунками. XVIII. Наканунъ Ивановъ дня. Стих. А. Доброхотова. XIX. Охота на оранг-утанга. Е. Т. XX. Объявленія.

Адресъ редакціи Москва, Большая Молчановка, д. № 24.

Подписка принимается и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ, Книгопродавцамъ уступка 5%.

Плата за объявленія въ журналахъ „Юная Россія“ и „Педагогическій Листокъ“: за страницу 40 руб., за 1/2 страницы 20 руб.

Издательница Е. Н. Тихомирова.

Редакторъ Д. И. Тихомиръ

При журналѣ „Юная Россія“ и „Педагогическій Листокъ“ организованъ кн. ный складъ изданій Д. И. Тихомирова: 1) Библіотека для семьи и школы; 2) сельская библіотека; 3) Учебники и пособія Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается бесплатно по первому требованію.

